This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

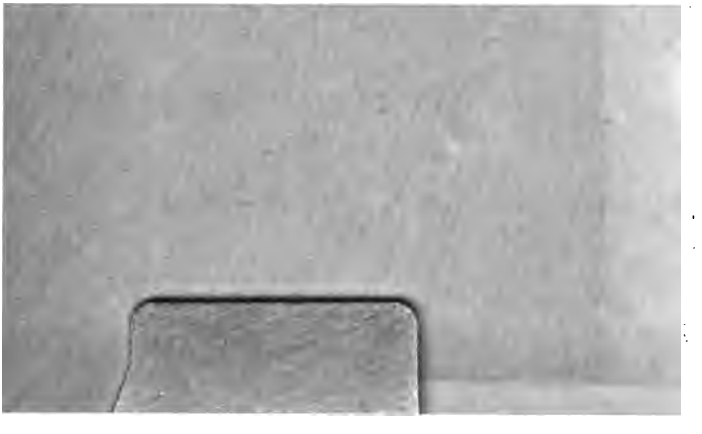
Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

EX LIBRIS

STANFORD LIBRARIES

Gift of

Mr. and Mrs. Julian J. Meyer



Saltykov. M.E.

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІЙ

М. Е. САЛТЫКОВА

[Н. ЩЕДРИНА].

ИЗДАНІЕ ПЯТОЕ.

Съ «Матеріалами для біографіи М. Е. Салтыкова»,
К. К. Арсеньева, и съ двумя портретами М. Е. Салтыкова.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ на 1905 г.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.
1905.

891.73
S171
ed.5
v.21

Артистическое заведеніе А. Ф. МАРКСА, Пэмайловскій просп., № 29.

ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ.

Отъ автора.

Молодые наши помпадуры очень часто обращаются ко мнѣ за разъясненіями, какъ въ томъ или въ другомъ случаѣ слѣдуетъ поступить. Обращенія эти ставятъ меня въ большое затрудненіе, ибо у меня нѣтъ ни секретарей, ни канцеляріи, вслѣдствіе чего бо́льшую часть писемъ я бываю вынужденъ оставлять безъ отвѣта. Между тѣмъ никто лучше меня не понимаетъ, что единообразіе въ дѣйствіяхъ по вопросамъ внутренней политики не только полезно, но и необходимо. Поэтому я рѣшился разъяснить хотя тѣ основные пункты помпадурской дѣятельности, которые настолько необходимы для начинающаго помпадура, чтобы онъ, пріѣзжая на мѣсто, являлся не съ пустыми руками. Таковы, напримѣръ: проводы, встрѣчи, отношеніе помпадуровъ къ подчиненнымъ, къ обывателямъ и къ закону, выборъ помпадуршъ и т. д. Я выбралъ форму разсказовъ, потому что она понятнѣе. Сухія, отвлеченныя разсужденія едва ли доступны молодымъ людямъ, получившимъ воспитаніе въ заведеніи искусственныхъ минеральныхъ водъ,—и во всякомъ случаѣ должны показаться имъ несносными. Разсказы же они прочтутъ и даже, быть-можетъ, усвоятъ. Знаю, что я далеко не исчерпалъ всѣхъ случаевъ помпадурской дѣятельности, но меня утѣшаетъ то, что я первый сдѣлалъ починъ въ этомъ смыслѣ. Быть-можетъ, другіе послѣдуютъ

по указанному мною пути и внесутъ въ это дѣло болѣе ясности и болѣе таланта. Я же льщу себя надеждой, что господа помпадуры пріобрѣтутъ мою книгу, хотя бы для того только, чтобы поощрить мою попытку пролить нѣкоторый свѣтъ въ эту своеобразную сферу жизненной дѣятельности, въ которой до сихъ поръ все было такъ темно и неопредѣленно.

I.—„Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!“

Очень ужъ нынче часто приходится намъ съ начальниками прощаться. Пріѣдетъ начальникъ, не успѣетъ еще распорядительности показать — глядь, его ужъ смѣнили, новаго шлютъ! Поэтому мостовая въ Вислоуховскомъ переулкѣ и доднесь не докончена, а проектъ о распространеніи въ народѣ надлежащихъ чувствъ такъ и лежитъ въ канцеляріи не переписанный на-бѣло. Одинъ начальникъ, какъ пріѣхалъ, такъ первымъ дѣломъ приступилъ къ сломкѣ пола въ губернаторскомъ кабинетѣ—и что же? сломать-то сломалъ, а новаго на его мѣсто построить не успѣлъ! «Много,—говорилъ онъ потомъ, когда прощался съ нами:—много намѣревался для пользы сдѣлать, да, видно, Богу, друзья мои, не угодно!» И дѣйствительно, пріѣхалъ на мѣсто его новый генералъ, и тотчасъ же разсудилъ, что полъ надо было ломать не въ кабинетѣ, а въ гостиной, и соотвѣтственно съ этимъ сдѣлалъ надлежащее распоряженіе. Слѣдовательно, если и этого генерала скоро смѣстятъ, то другой генералъ, пожалуй, найдетъ, что надо ломать полъ въ столовой, и такимъ образомъ весь губернаторскій домъ постепенно перепакостятъ, а надлежащей распорядительности, все-таки, не покажутъ.

Говорятъ, будто это такъ нужно. Говорятъ, что прежде можно было допускать засиживаться на одномъ мѣстѣ, потому что тогда ничего больше отъ администратора не требовалось, кромѣ того, чтобъ онъ былъ администраторомъ; нынче же, будто бы, требуется, чтобъ онъ, кромѣ того, какую-то «суть» понималъ. Я полагаю, однакожъ, что все это одна пустая фанаберія, ибо, по мнѣнію моему, всякій человѣкъ всякую «суть» всегда понимать способенъ: стоитъ только внушить. Возражаютъ противъ этого, что иногда такая «суть» бываетъ, которую, будто бы, внушить совѣстно,

но это возраженіе, очевидно, неосновательное, потому что человѣкъ надежный и благонравный отъ самой природы одаренъ такою внутреннею закваскою, которая заключаетъ въ себѣ матеріалъ для всякаго рода «сути»; слѣдственно, тутъ даже и внушеній прямыхъ не нужно, а достаточно только крючокъ запустить: непремѣнно какую-нибудь бирюльку да вытащишь!

Скажу, напримѣръ, про себя: сдѣлайте меня губернаторомъ—я буду губернаторомъ; сдѣлайте цензоромъ—я буду цензоромъ. Въ первомъ случаѣ: сломаю на губернаторскомъ домѣ крышу, распространю больницу, выбѣлю въ присутственныхъ мѣстахъ потолки и соберу старыя недоимки; если, кромѣ этого, надобно будетъ еще «суть» какую-нибудь сдѣлать, и «суть» сдѣлаю; останетесь довольны. Во второмъ случаѣ: многія сочиненія совсѣмъ забракую, многія ощиплю, многія украшу изреченіями моего собственнаго вымысла; если же, кромѣ этого, потребуется, чтобы я сдѣлалъ «суть», то и «суть» сдѣлаю. Всѣмъ быть могу; могу даже быть командиромъ фрегата «Паллада», и если Богъ мнѣ поможетъ, то, чего добраго, выиграю морское сраженіе. Повторяю: если иногда намъ кажется, что кто-либо изъ нашихъ подчиненныхъ дѣйствуетъ не вполнѣ согласно съ нашими видами, что онъ не понимаетъ «сути» и недостаточно дѣлаетъ распоряженій, то это кажется намъ ошибочно; не нужно только торопиться, а просто призвать такого подчиненнаго и сказать ему: «милостивый государь! неужто вы не понимаете?» Вѣрьте, что онъ пойметъ тотчасъ же и почнетъ такія чудеса отчеканивать, что вы даже залюбуетесь, на него глядя. Это все равно, какъ видѣлъ я однажды на желѣзодѣлательномъ заводѣ молотъ плющильный; молотъ этотъ однимъ ударомъ разбивалъ и сплющивалъ цѣлыя кувалды чугунныя, которыя въ силу было поднять двумъ человѣкамъ, и тотъ же самый молотъ, когда ему было внушаемо о правилахъ учтивости, разбивалъ кедровый орѣшекъ, положенный на стекло карманныхъ часовъ, и притомъ разбивалъ такъ ласково, что стекла нисколько не повреждалъ. Стало-быть, дѣло совсѣмъ не въ томъ, какой молотъ, большой или малый, а въ томъ, какое сдѣлано ему свыше внушеніе...

Но—будетъ философствовать; разскажу о томъ, какъ мы на-дняхъ лишились своего начальника. Но прежде считаю не лишнимъ познакомить читателя съ моей собственной особой.

Я человѣкъ преданный; всѣ начальники знаютъ это и смотрятъ на меня одинаково; я, съ своей стороны, тоже смотрю на всѣхъ начальниковъ одинаково, потому что всѣ они — начальники. Растолковать это какъ слѣдуетъ я не могу, но полагаю, что читатель пойметъ меня и безъ объясненій. Всѣхъ начальниковъ я одинаково жалѣю, всѣмъ— одинаково радуюсь. Знаю, что если начальникъ безъ причины вспылитъ на меня, то онъ же, когда будетъ нужно, и проститъ меня. Знаю, что я виноватъ; если не виноватъ въ дѣйствительности, то виноватъ тѣмъ, что сунулся на глаза начальнику не во-время; потому что вѣдь и онъ тоже человѣкъ, и по временамъ имѣетъ надобность въ уединеніи. Начальство, съ своей стороны, снисходительно, и хотя знаетъ, что я виноватъ, но видитъ, что и я это очень чувствую, и потому прощаетъ мнѣ. Въ этихъ мысляхъ я воспиталъ жену свою и надѣюсь воспитать все семейство. Весь городъ за это насъ уважаетъ, и когда случается провожать стараго или встрѣчать новаго начальника, то я всегда при этомъ играю видную роль.

«Встрѣчать»—дѣло не трудное; тутъ чѣмъ больше радушія, чѣмъ больше привѣтствій, тѣмъ лучше: начальники это любятъ. Возражаютъ иные, что и здѣсь излишествомъ можно пересолить, потому что начальникъ еще не заслужилъ; но начальникъ никогда такъ не думаетъ, а думаетъ, что онъ ужъ тѣмъ заслужилъ, что начальникъ. Но «прощанья» своего рода политики требуютъ. Тутъ надобно такъ устроить, чтобы новый начальникъ не обидѣлся излишними похвалами, отбывающему воздаваемыми, а думалъ бы только, что «и тебѣ то же со временемъ будетъ». Слѣдовательно, необходимо прежде всего, чтобъ торжество прощанья имѣло исключительно характеръ преданности. А потому, если отбывающій начальникъ учинилъ что-нибудь очень великое, какъ, напримѣръ: воздвигнулъ монументъ, неплодоносныя земли обратилъ въ плодоносныя, безлюдныя пустыни населилъ, изъ сплавной рѣки сдѣлалъ судоходную, промышленность поощрилъ, торговлю развилъ или пріобрѣлъ новый шрифтъ для губернской типографіи и т. п., то о такихъ дѣлахъ должно упомянуть съ осторожностью, ибо сіе не всякому доступно, и новый начальникъ самое упоминовеніе о нихъ можетъ принять за преждевременное ему напоминаніе: и ты, дескать, дѣлай то же. Но если отбывающій дѣлалъ дѣла среднія, какъ, напримѣръ: тогда-то усмирилъ, тогда-то изловилъ, тогда-то къ наградѣ за отлично-

усердную службу представилъ, то о такихъ дѣлахъ можно говорить со всею пространностью, ибо они всякому уму доступны, а слѣдовательно и новый начальникъ будетъ ихъ непремѣнно совершать. Все это опытный устроитель прощальныхъ торжествъ долженъ имѣть въ виду. Въ особенности же надлежитъ быть мудрымъ въ такихъ случаяхъ, когда оба начальника—и выбывающій, и вновь назначенный—налицо. Тутъ надобно быть осторожнымъ не только въ рѣчахъ, но и въ купаньяхъ, и въ винахъ.

Итакъ, мы лишились нашего начальника. Уже за нѣсколько дней передъ тѣмъ я начиналъ ощущать жалость во всемъ тѣлѣ, а въ ночь наканунѣ самаго происшествія даже жена моя—и та безпокойно металась на постели и все говорила: «другъ мой, я чувствую, что съ его превосходительствомъ что-нибудь непріятное сдѣлается!» Дѣти тоже находились въ жару и плакали; даже собаки на дворѣ выли.

Генералъ нашъ былъ старикъ добрый, но еще годный. Назначенъ онъ былъ къ намъ еще при прежнемъ главноначальствующемъ, но не долго повластвовалъ. Несправедливость явная, потому что старикъ мнѣ самъ по секрету не разъ впослѣдствіи говорилъ: «не знаю, подлинно не знаю, за что отъ общенія отметаюсь! Если новое начальство новые виды имѣетъ, то стоило только приказать—я готовъ!» И если при этомъ вспомнить, сколько этотъ человѣкъ претерпѣлъ прежде, нежели мѣсто свое получилъ, то именно можно сказать: великій былъ страстотерпецъ! Прежде всего у начальника отдѣленія въ послушаніи былъ, да еще не у одного, а у нѣсколькихъ; по воскресеньямъ съ праздникомъ поздравлять ѣздилъ, по буднямъ между тремя и четырьмя часами въ департаментъ анекдоты разсказывать ходилъ! А въ брюхѣ-то щелкъ, а на умѣ-то только и есть одна мысль: «Господи! вскую!» Потомъ попалъ въ передѣлъ къ директору; ну, тутъ тоже сноровку надо имѣть! Ждетъ, бывало, сердечный, у двери кабинета, и не для того совсѣмъ, чтобъ что-нибудь сообщить, а только чтобы показать, что готовъ, молъ... хоть на куски! Ну, и пройдетъ директоръ, улыбнется: «что, старикъ, готовъ?»—Хоть въ Астрахань, ваше превосходительство!—«Гм!.. въ Астрахань! Туда Шарлотта Ѳедоровна тоже объ одномъ старичкѣ просила!» скажетъ директоръ и пройдетъ мимо. Даже въ кабинетъ къ себѣ не допуститъ, выплакаться-то не дастъ. «Господи! вскую!» только и твердилъ, бывало, нашъ старикъ, покуда не подобрался, наконецъ, къ Шарлоттѣ Ѳедоровнѣ.

Понравился онъ ей, впрочемъ, не чѣмъ другимъ, а именно только строгостью правилъ. И такъ пришелся по душѣ, что вмѣсто Архангельска угодилъ къ намъ! Каково же, послѣ этакого-то искуса, нѣсколько лишь мѣсяцевъ провластвовать, и вдругъ—клопъ!

Первое извѣстіе о постигшемъ насъ ударѣ я получилъ отъ вице-губернатора. Еще невѣжественный, пріѣхалъ я утромъ къ нему и засталъ его расхаживающимъ взадъ и впередъ по кабинету; по всей вѣроятности, онъ обдумывалъ, какая участь должна постигнуть нашу губернію. Нашъ вице-губернаторъ человѣкъ нравовъ придворныхъ, и потому чувствительности большой не имѣетъ, но и онъ былъ тронутъ.

— А знаете ли вы, что нашего-то уволили?—спросилъ онъ меня съ перваго же слова.

Въ груди у меня словно оборвалось что-то. Не смѣя, съ одной стороны, предполагать, чтобы господинъ вице-губернаторъ отважился, безъ достаточнаго основанія, распускать такой серьезный слухъ, а съ другой стороны зная, что онъ любитъ иногда пошутить (терпѣть не могу этихъ шутокъ, въ которыхъ нельзя понять, шутка ли это, или испытаніе!), я принялъ его слова со свойственною мнѣ осмотрительностью.

— Про кого это, ваше превосходительство, говорить изволите?—спросилъ я, по силѣ возможности мягкостью тона умѣряя рѣзкость моего вопроса.

— Про кого? извѣстно, про кого: про Шарлотты Ѳедоровны выкормка!

Сердце въ груди моей окончательно упало. Но не прошло минуты, какъ ужъ въ головѣ моей созрѣлъ вопросъ:

— А извѣстно вашему превосходительству, кого на мѣсто ихъ назначаютъ?

При этомъ вопросѣ сердце мое мало-по-малу поднималось: я начиналъ предчувствовать, что не буду оставленъ безъ начальника.

— А назначаютъ Ударъ-Ерыгина.

— Генерала-съ?

— Генерала-съ.

Сердце мое окончательно уставилось на своемъ мѣстѣ, ибо я получилъ увѣренность, что предчувствіе мое сбылось.

— Изъ какихъ-съ они?—спросилъ я нѣсколько смѣлѣе.

— Изъ млекопитающихъ-съ!—отвѣтилъ вице-губернаторъ (онъ вообще ужаснѣйшій циникъ).

Мы оба задумались и стали въ молчаніи ходить по кабинету (въ первый разъ въ жизни я шелъ *рядомъ* съ начальникомъ, а не слѣдовалъ за нимъ «пѣтушкомъ»: несчастіе уравниваетъ всѣ ранги).

— Я думаю, нужно будетъ старому начальнику прощальный обѣдъ устроить?—первый прервалъ я молчаніе.

— Гм!.. да... знаю я этого Ударъ-Ерыгина... знаю!

— Я думаю, ваше превосходительство, что можно и купцовъ пригласить какую-нибудь демонстрацію сдѣлать!

— Гм!.. купцовъ... Однажды призываетъ меня этотъ Ударъ-Ерыгинъ къ себѣ и говоритъ: «я, говоритъ, по утрамъ занятъ, такъ вы ко мнѣ въ это время не ходите, а приходите каждый день обѣдать»...

— Такъ они и гостепріимные?

— Гм!.. да... гостепріименъ... «Только, говоритъ, такъ какъ я за обѣдомъ отъ трудовъ отдыхаю, такъ люблю, чтобъ у меня было весело».

— Преданность всякое испытаніе, ваше превосходительство, превозмочь можетъ!—прервалъ я, невольно потупляя глаза.

— Да-съ, но вѣдь веселье веселью рознь-съ: бываютъ веселья ужасныя-съ... «Такъ вы, говоритъ, съ этимъ соображайтесь»...

— И сообразовались, ваше превосходительство?

—. И сообразовался-съ.

Мы опять умолкли: я чувствовалъ, что на душѣ у меня смутно и что сердце опять начинаетъ падать въ груди, несмотря на то, что сожалѣніе о смѣнѣ любимаго начальника умѣрялось надеждою на присылку другого любимаго начальника.

— Только этимъ и замѣчателенъ новый начальникъ?—вновь прервалъ я молчаніе.

— Только этимъ и замѣчателенъ-съ.

— Но, быть-можетъ, они снисходительны?

— Для тѣхъ, кто веселиться умѣетъ...

— Стало-быть, ваше превосходительство...

— Находимся съ его превосходительствомъ въ наилучшихъ отношеніяхъ. Кстати, однакожъ: вѣдь прощальный-то обѣдъ, все-таки, устроить слѣдуетъ...

— Это, ваше превосходительство, и для новаго начальника будетъ поощреніемъ...

— Ну, да; будетъ, по крайности, видѣть, что мы втунѣ не оставляемъ...

Я вышелъ на улицу и просто даже удивился. Представьте себѣ, что все стояло на своемъ мѣстѣ, какъ будто ничего и не случилось; какъ будто бы добрый нашъ старикъ не подвергнулся превратностямъ судебъ; какъ будто бы въ прошлую ночь не проросъ сквозь него и не процвѣлъ совершенно новый и вовсе нами не жданный начальникъ! Попрежнему на парѣ бойкихъ саврасенькихъ спѣшилъ съ утреннимъ рапортомъ полицеймейстеръ («вотъ-то вытянется у тебя физіономія, какъ узнаешь!»—подумалъ я); попрежнему, сломя голову, летѣлъ Сеня Бирюковъ за какой-то помадой для Матрены Ивановны и издали привѣтливо махалъ мнѣ шляпой; попрежнему проклятые мужичонки во все горло галдѣли и торговались изъ-за копейки на базарной площади. Даже воздухъ былъ совершенно такой же, какъ вчера. Все это какъ-то странно подѣйствовало на мои нервы, а ожесточенье безчувственнаго мужичья до того меня озлобило, что я почелъ за нужное даже вмѣшаться.

— Что вы тутъ горло дерете! базаръ, что ли, здѣсь!—крикнулъ я, подходя къ одной кучкѣ.

— А не базаръ нешто?—отвѣчалъ мнѣ одинъ голосъ.

Я смутился, ибо сообразилъ, что и въ самомъ дѣлѣ стою на базарѣ.

— А знаете ли вы, мужичье проклятое, что у насъ нынче ночью на всю губернію несчастье случилось?

Мужики глядѣли на меня съ недоумѣніемъ.

— Знаете ли вы, что его превосходительство, Анфима Евстратича, отъ должности уволили?

— О! де...

Но не успѣлъ дерзкій договорить, какъ уже рука моя исполняла свою обязанность.

— Да вѣдь, поди, новый на мѣсто его будетъ! новый будетъ!—кричалъ провинившійся.

Сначала я не слыхалъ его объясненія и продолжалъ дѣлать свое дѣло; но, признаюсь, когда слова: «новый будетъ! новый будетъ!» явственно коснулись моего слуха, то рука моя невольно опустилась. И въ самомъ дѣлѣ, разсудилъ я, если нѣтъ стараго, то это значитъ, что есть новый—и ничего больше! Изъ-за чего же тутъ мѣняться воздуху? Изъ-за чего предметамъ, уже установившимся и, могу сказать, вросшимъ въ землю, перескакивать съ мѣста на мѣсто? Вчерашняя смерть не содержитъ ли въ себѣ зерна сегодняшняго возрожденія? Вчерашнее помраченіе не воз-

награждается ли сегодняшнимъ просвѣтлѣніемъ? Однимъ словомъ, я вынужденъ былъ дать гривенникъ напрасно обиженному мной поселянину и, успокоивши себя разными солидными размышленіями, отправился съ визитомъ къ затативщейся нашей звѣздѣ.

Въ пріемной я засталъ правителя канцеляріи и полицеймейстера; оба стояли понуривши головы и размышляли. Первый думалъ о томъ, какъ его сошлютъ на покой въ губернское правленіе; второй даже и о ссылкѣ не думалъ, а просто во-очію видѣлъ себя съѣденнымъ.

— Вы читали бумагу?—спросилъ я правителя канцеляріи.

— Читалъ,—отвѣчалъ онъ грустно.

— Но что же за причина?

— Да никакой причины не приписывается. Напротивъ того, даже похвалы нашему генералу примѣчаются... Преклонность лѣтъ!

— Какая преклонность лѣтъ! И всего-то по формуляру семьдесятъ пять лѣтъ значится! Въ самой еще порѣ!

— Только бы управлять еще старику!

Въ это время къ намъ вышелъ самъ закатившійся старикъ нашъ. Лицо его было подобно лицу Печорина: губы улыбались, но глаза смотрѣли мрачно; повидимому, онъ весело потиралъ руками, но въ этомъ потиранья замѣчалось что-то такое, что, вотъ, казалось, такъ и сдеретъ съ себя человѣкъ кожу съ живого.

— Наконецъ, давнишнее желаніе моего сердца свершилось!—сказалъ онъ, обращаясь къ намъ.

— Весь городъ, ваше превосходительство... — началъ было я.

— Наконецъ, давнишнее желаніе моего сердца свершилось!—повторилъ онъ и остановился, чтобы перевести духъ.

Я понялъ, что старикъ играетъ роль, но что роль эту онъ выучилъ довольно твердо.

— Намъ остается утѣшаться, что новый нашъ начальникъ будетъ столь же распорядителенъ, какъ и ваше превосходительство!—сказалъ я, пользуясь паузой.

Къ удивленію, генералъ былъ какъ будто сконфуженъ моею фразой. Очевидно, она не входила въ его расчеты. На прочихъ свидѣтелей этой сцены она подѣйствовала различно. Правитель канцеляріи, казалось, понялъ меня и досадовалъ только на то, что не онъ первый ее высказалъ. Но полицеймейстеръ, какъ человѣкъ, повидимому, покончившій всѣ расчеты съ жизнью, далъ дѣлу совершенно иной оборотъ.

— Нѣтъ, ужъ позвольте! *такого* начальника у насъ не было и не будетъ!—сказалъ онъ взволнованнымъ голосомъ, выступая впередъ.

— Благодарю!—сказалъ генералъ.

— Ваше превосходительство!—продолжалъ полицеймейстеръ, уже красный какъ ракъ отъ душившаго его чувства преданности.

— Благодарю!

Полицеймейстеръ ловилъ генеральскую руку, которую генералъ очень искусно пряталъ; правитель канцеляріи молчалъ и думалъ, что если его сошлютъ въ судное отдѣленіе, то штука будетъ еще не совсѣмъ плохая; я стоялъ какъ на иголкахъ, ибо видѣлъ, что намѣренія мои совсѣмъ не такъ поняты.

— Я хотѣлъ только выразить,—пояснилъ я, наконецъ:—что должности вашихъ превосходительствъ никогда не прекращаются, и что Провидѣніе...

— Вѣрю-съ!

— Что Провидѣніе, осчастлививши насъ однажды правителемъ, подобнымъ вашему превосходительству, конечно, озаботится и на будущее время.

— Вѣрю-съ!

Сказавши это, его превосходительство удалился во внутреннія комнаты; за нимъ послѣдовали полицеймейстеръ и правитель канцеляріи; я же долженъ былъ съ носомъ отправиться въ переднюю.

Въ передней швейцаръ улыбался и спрашивалъ: «когда будетъ новый генералъ?» Часы, пріобрѣтенные для генеральскаго дома за пять генераловъ передъ симъ, стучали «тикъ-такъ, тикъ-такъ!»—какъ будто бы говорили: «мы видѣли пять генераловъ! мы видѣли пять генераловъ! мы видѣли пять генераловъ!»

Оставалось, слѣдовательно, отдать нашему генералу послѣдній долгъ. Избранъ былъ комитетъ изъ самыхъ опытныхъ по этой части обывателей; комитетъ, въ свою очередь, избралъ распорядителями торжества меня и Сеню Бирюкова. Для меня это дѣло привычное, потому что я не разъ ужъ въ своей жизни катафалки-то эти устраивалъ; но Сеня такъ возгордился сдѣланнымъ ему довѣріемъ, что даже шею выгнулъ, словно конь сѣдлистый, да въ этакомъ видѣ и носился съ утра до вечера по городу. Когда вопросъ о кушаньяхъ былъ подвергнутъ зрѣлому обсужденію,

тогда самъ собою возникъ вопросъ о тостахъ и рѣчахъ. Но это такой важный предметъ, что я считаю необходимымъ сказать о немъ нѣсколько лишнихъ словъ.

Въ прежнія времена разрѣшеніе этого вопроса не представляло никакихъ затрудненій, ибо въ прежнія времена всѣ говорили вдругъ. Одинъ изъ распорядителей выступалъ на средину, провозглашалъ тостъ: «за здоровье его превосходительства!» — и всѣ дружно подхватывали: «прощайте, ваше превосходительство!» «ура, ваше превосходительство!» Его превосходительство, въ свою очередь, обходилъ кругомъ стола и говорилъ: «нижайше вамъ кланяюсь, господа!» «усерднѣйше васъ благодарю, почтенные мои сослуживцы!» И, смотря по степени воодушевленія, или плакалъ, или просто только утиралъ глаза. И такимъ образомъ, за общимъ шумомъ, ничего понять было нельзя. Конечно, эта форма изъявленія чувствъ была не совсѣмъ правильная, но зато она была трогательна и искренна. Но нынче и этому дѣлу дали совершенно иной оборотъ. Скажу вамъ по секрету, что у насъ разнеслись недавно слухи о какомъ-то конституціонномъ началѣ, которое въ томъ, будто бы, состоитъ, что одинъ кто-нибудь говоритъ, а другіе молчатъ; и когда одинъ кончитъ говорить, то начинаетъ говорить другой, а прочіе опять молчатъ, и такимъ образомъ идетъ это дѣло съ самаго начала обѣда и до тѣхъ поръ, пока присутствующіе не сдѣлаются достаточно веселы. Тутъ-то собственно и начинается настоящая конституція, ибо все, что происходитъ прежде, считается только предварительнымъ къ ней приготовленіемъ. Повидимому, самое лучшее было бы прямо начать съ настоящей конституціи; однако, этого сдѣлать нельзя, во-первыхъ, потому, что надобно, чтобъ все происходило по порядку, а во-вторыхъ, потому, что предварительныя дѣйствія освѣщаютъ путь для предстоящей веселой конституціи и служатъ для нея руководящею нитью. Понятно, что при такихъ условіяхъ встрѣчается необходимость въ людяхъ, которые умѣли бы говорить даже въ такое время, когда другіе молчатъ; но понятно также, что это положеніе совершенно проклятое и что люди скромные принимаютъ его весьма неохотно. Это почти то же, что въ-одиночку публично производить какое-нибудь предосудительное отправленіе, когда никто кругомъ никакихъ предосудительныхъ отправленій не производитъ. А потому выборъ людей для произношенія тостовъ и спичей всегда сопрягается съ затрудненіями очень серьезными, и обязан-

ность эта представляется такою повинностью, нарядъ на которую почти равносиленъ наряду на барщину.

На этотъ разъ ораторами выбраны были: вице-губернаторъ — отъ лица чиновъ пятаго класса, совѣтникъ губернскаго правленія Звенигородцевъ—отъ лица всѣхъ прочихъ чиновъ, Сеня Бирюковъ — отъ лица молодого поколѣнія и, наконецъ, командиръ гарнизоннаго батальона — отъ имени воинскаго сословія. Полицеймейстеръ до того разревновался, что вызвался сказать сверхштатную рѣчь отъ лица полиціи. Разумѣется, всѣ они тотчасъ же отправились домой и занялись чтеніемъ «Московскихъ Вѣдомостей», дабы ближе ознакомиться съ политическимъ положеніемъ Россіи и усвоить себѣ нѣкоторые, необходимые въ краснорѣчіи, обороты.

Но главнымъ украшеніемъ прощальнаго обѣда долженъ былъ служить столѣтній старецъ, Максимъ Гаврилычъ Крестовоздвиженскій, который еще въ семьсотъ-восемьдесятъ-девятомъ году служилъ въ нашей губерніи писцомъ въ намѣстнической канцеляріи. Идея пригласить къ участію въ праздникѣ эту живую лѣтопись нашего города, этого свидѣтеля его величія и славы, была весьма замѣчательна и, какъ увидимъ ниже, имѣла совершенный и полный успѣхъ.

Я не стану описывать дѣйствій депутаціи, на которую возложено было приглашеніе генерала къ прощальному обѣду. Ничего замѣчательнаго при этомъ не произошло, кромѣ того, что отъѣзжающій прослезился и завѣрилъ депутацію, что будетъ непремѣнно. Приступлю прямо къ описанію торжественныхъ минутъ прощанья.

Въ три часа пополудни мы собрались въ нарочно приготовленной для того залѣ. Нѣкоторые тотчасъ же выпили водки. Всѣ вообще, повидимому, уже освоились съ мыслью о предстоящей разлукѣ и потому держали себя совсѣмъ не такъ, какъ бы торжество прощанья того требовало, а такъ, какъ бы просто собрались выпить и закусить; одинъ правитель канцеляріи по временамъ еще вздрагивалъ. Въ четыре часа отъѣзжающій прибылъ въ залъ, сопровождаемый двумя ассистентами, и всѣ присутствующіе тотчасъ же сгруппировались вокругъ него. Начались пожатія рукъ, причемъ, впопыхахъ, генералъ удостоилъ пожатія даже клубнаго лакея Ѳедора, и тутъ же очень мило самъ разсмѣялся своей ошибкѣ.

За столомъ всѣ размѣстились по старшинству безъ особенныхъ затрудненій; только операторъ врачебной управы

(нѣсколько уже выпившій) заупрямился сѣсть на конецъ стола, на томъ основаніи, что, будто бы, ему будутъ доставаться плохіе куски, но и это недоразумѣніе было улажено положительнымъ удостовѣреніемъ, что кушанья наготовлено слишкомъ достаточно, чтобы могли имѣть мѣсто подобнаго рода опасенія. Генералъ держалъ себя съ твердостью и достоинствомъ, но когда подали супъ, то невольная слеза канула изъ его глазъ въ тарелку. Послѣ супа слѣдовалъ первый тостъ. Вице-губернаторъ всталъ и, когда все умолкло, произнесъ:

«Ваше превосходительство! одинъ древній сказалъ: Timeo Danaos et dona ferentes! Это значитъ: опасаюсь данайцевъ даже тогда, когда они приходятъ съ дарами»...

Кругомъ раздается одобрительный шопотъ; совѣтникъ Звенигородцевъ блѣднѣетъ, потому что «Timeo Danaos» было включено и въ его рѣчь; онъ обдумываетъ, какъ бы вмѣсто этой цитаты помѣстить туда другую: «sit venia verbo»: операторъ врачебной управы вполголоса объясняетъ своему сосѣду:—«Timeo—боюсь, а не опасаюсь; et dona ferentes—и дары приносящихъ, а не «даже тогда, когда они приходятъ съ дарами»; слѣдовательно, «боюсь данайцевъ и дары приносящихъ» — вотъ какъ по-настоящему перевести слѣдуетъ». — Но вице-губернаторъ не слышитъ этого зловреднаго объясненія и, ободряемый общимъ вниманіемъ, продолжаетъ:

...«съ дарами. Но здѣсь ваше превосходительство, вы изволите видѣть не «данайцевъ», приходящихъ къ вамъ съ дарами, а преданныхъ вамъ подчиненныхъ, приносящихъ вамъ — и не тѣ дары, о которыхъ говоритъ древній, — а дары своего сердца».

— Отлично! великолѣпно!—раздается кругомъ; отъѣзжающій тронутъ, ораторъ куражится.

...«своего сердца. Въ особенности скажу я это о тѣхъ, отъ имени которыхъ обращаю къ вашему превосходительству прощальное слово! (Ораторъ окидываетъ взоромъ небольшое пространство стола, усѣянное чинами пятаго класса; отъѣзжающій кланяется и жметъ руки сосѣдямъ; управляющій удѣльной конторой лѣзетъ цѣловаться. Картина). Эти дары, ваше превосходительство, можете принять съ полною увѣренностью, что въ нихъ нѣтъ ни орсиніевскихъ гранатъ, ни другихъ разрывающихъ составовъ. Я принялъ на себя сладкую, но трудную обязанность, ваше превосходительство! Я принялъ обязанность въ устномъ словѣ

изобразить передъ вашимъ превосходительствомъ эти скромные, но горячіе дары, которые безмолвно, но краснорѣчиво пламенѣютъ въ нашихъ сердцахъ. Я не боюсь упрековъ; зоилы и свистуны стоятъ ниже меня»...

— Браво! браво! урра!—раздается кругомъ.

...«зоилы и свистуны стоятъ ниже меня. Но во всякомъ случаѣ, ваше превосходительство, не заподозрите меня, если я скажу: дары, которые приносятся здѣсь вашему превосходительству, суть дары сердца, а не тѣ дары, о которыхъ говорилъ «древній». Ура!»

Вице-губернаторъ умолкъ; на средину залы вывели подъ руки «столѣтняго старца», который заплакалъ. Отъѣзжающій былъ такъ тронутъ, что могъ сказать только:

— Успокойте старика! успокойте старика!

Столѣтняго старца увели; подали ростбифъ; Звенигородцевъ, чувствуя приближеніе минуты, дрожалъ какъ въ лихорадкѣ. Наконецъ, онъ всталъ, съ бокаломъ въ рукѣ, противъ виновника торжества и произнесъ:

«Ваше превосходительство! Еще недавно ваше превосходительство, не изволивъ утвердить журналъ губернскаго правленія о преданіи за противозаконныя дѣйствія суду зарѣченскаго земскаго исправника, изволили сказать слѣдующее: «пусть лучше говорятъ про меня, что я баба, но не хочу, чтобъ кто-нибудь могъ сказать, что я жестокій человѣкъ!» Какимъ чувствомъ была преисполнена грудь земскаго исправника при извѣстіи, что онъ отъ суда и слѣдствія учиненъ свободнымъ — это понять не трудно. Гораздо труднѣе понять чувства, волновавшія при этомъ насъ, подписавшихъ упомянутый выше журналъ. Нечего и говорить о томъ, что мы приняли рѣшеніе вашего превосходительства къ непремѣнному исполненію; этого мало: предоставленные самимъ себѣ, мы думали, что этого человѣка мало повѣсить за его злодѣянія; но, узнавши о вашихъ начальническихъ словахъ, мы вдругъ постигли всю шаткость человѣческихъ умозаключеній и внутренно почувствовали себя просвѣтленными»...

— Браво! прекрасно! вотъ истинныя отношенія подчиненныхъ къ начальникамъ!

«Мы поняли, что истинное искусство управлять заключается не въ строгости, а въ томъ благодушіи, которое, въ соединеніи съ прямодушіемъ, извлекаетъ дань благодарности изъ самыхъ черствыхъ и непреклонныхъ, повидимому, сердецъ. Эта невольная дань несется къ вашему

превосходительству не только отъ лицъ, здѣсь присутствующихъ, но и отъ всей губерніи. Да, не одно благодарное сердце бьется въ настоящую минуту въ безвѣстности! не одинъ выспренній умъ содрогается при мысли о предстоящей разлукѣ! Но для того, чтобы доказать справедливость моихъ словъ, считаю не лишнимъ изложить здѣсь вкратцѣ прохожденіе службы вашего превосходительства».

Ораторъ на мгновеніе останавливается, чтобы перевести духъ, и затѣмъ продолжаетъ:

«Умолчу о трудахъ, понесенныхъ вашимъ превосходительствомъ въ теченіе слишкомъ тридцатипятилѣтней службы въ различныхъ вѣдомствахъ, которыя были осчастливлены вашимъ содѣйствіемъ. Начертать такую перспективу было бы подвигомъ, далеко превышающимъ мои слабыя силы. А потому позволяю себѣ застигнуть ваше превосходительство въ тотъ моментъ, когда наша губернія, въ свою очередь, была, такъ сказать, застигнута вашимъ превосходительствомъ. У насъ прохожденіе вашей службы было всего шесть мѣсяцевъ и пять дней, но и этого краткаго періода времени было достаточно, чтобы дать почувствовать, что нами руководитъ опытная рука».

При этихъ словахъ раздается громъ рукоплесканій, и восторженное «ура!» потрясаетъ стѣны залы. Даже лакеи взволновались. Управляющій удѣльной конторой опять идетъ цѣловаться. Ораторъ продолжаетъ:

«Прибывши къ намъ, ваше превосходительство не посѣтили ли городовъ нашей губерніи? Посѣтивши города, не обревизовали ли во всей подробности наши присутственныя мѣста? Предложеніе объ этомъ предметѣ вашего превосходительства, по которому губернскимъ правленіемъ въ свое время уже сдѣлано надлежащее распоряженіе, не останется ли вѣчнымъ памятникомъ вашей распорядительности и вашей проницательности? Отеческимъ сердцемъ вы изволили отнестись ко всѣмъ нашимъ недугамъ и слабостямъ; отъ взора вашего не укрылось ни то, что наши земскіе суды не пользуются соотвѣтствующими помѣщеніями, ни то, что города наши до сихъ поръ остаются незамощенными. Все это вы поставили губернскому правленію на видъ и все это должно на будущее время служить этому высшему въ губерніи присутственному мѣсту (вице-губернаторъ охорашивается, прочіе предсѣдатели завистливо, но сомнительно улыбаются) путеводной звѣздой, къ которой *имѣютъ устремляться* его административныя усилія. За все

это—дань благодарности вашему превосходительству! Дань благодарности отъ всѣхъ неиспорченныхъ сердецъ, той благодарности, о которой сейчасъ такъ краснорѣчиво выразился мой достойный начальникъ (вице-губернаторъ) и которую ваше превосходительство можете принять безъ всякихъ опасеній, ибо здѣсь нельзя (крики кругомъ: «да, нельзя! нельзя!») даже сказать подобно «древнему»: timeo Danaos et dona ferentes. Ура!»

Смута, произведенная этою рѣчью, была такъ велика, что никто даже не обратилъ вниманія, какъ «столѣтній старецъ» вышелъ на середину залы и прослезился. Всѣхъ поразила мысль: вотъ человѣкъ, который слишкомъ тридцать шесть лѣтъ благополучно служилъ въ разныхъ вѣдомствахъ—и въ какіе-нибудь шесть мѣсяцевъ невинно погибъ! Этимъ же смятеніемъ воспользовался и полицеймейстеръ, чтобы наскоро сказать свою рѣчь безъ очереди.

— Ваше превосходительство!—сказалъ онъ:—я не умѣю говорить, но всегда скажу: вы заставили уважать полицію!

Волненіе насилу стихло; очевидно, что приближалась торжественная минута «настоящей конституціи». Подали и съѣли огромнѣйшую рыбу. На сцену выступилъ Сеня Бирюковъ, въ сопровожденіи всей нашей блестящей молодежи, съ отличіемъ занимающей мѣста чиновниковъ особыхъ порученій, мировыхъ посредниковъ и судебныхъ слѣдователей. Однимъ словомъ, все наше «воинство возрожденія» было тутъ налицо.

— Ваше превосходительство! — началъ Сеня: — я не ораторъ...

— Я коллежскій регистраторъ!—очень явственно прошипѣлъ операторъ врачебной управы, бывшій ужъ очень близко къ «конституціи».

— Шш!.. — пронеслось по залѣ.

«Я не ораторъ, но не могу не сказать нѣсколькихъ словъ о тепломъ участіи, которое вы принимали въ благодѣтельныхъ учрежденіяхъ послѣдняго времени. На вашихъ глазахъ совершился ужаснѣйшій переворотъ, которому когда-либо былъ свидѣтелемъ изумленный міръ. Передъ вашимъ превосходительствомъ были двѣ стороны, но вы не склонились ни на ту, ни на другую. Передъ вашимъ превосходительствомъ были двѣ дороги, но вы не пошли ни по той, ни по другой. Результаты дѣятельности вашего превосходительства еще не видны, но они будутъ. Привѣтствуя васъ отъ лица нашего молодого поколѣнія, я могу ручать-

вить одно: привѣтствіе это есть дань сердца, которую ваше превосходительство можете принять со всею безопасностью. Какъ выразились мои уважаемые предшественники, вы не имѣете даже повода сказать въ этомъ случаѣ: *timeo Danaos et dona ferentes*, потому что здѣсь всякій приноситъ дары свои отъ чистаго сердца. Ура!»

— Ура! ура! ура!—дружно грянуло молодое поколѣніе, потрясая бокалами.

Генералъ потупился: онъ скромно сознавалъ въ эту минуту, что успѣлъ угодить всѣмъ. Но настроеніе умовъ постепенно принимало направленіе къ веселости: на многихъ пунктахъ стола громко раздавались требованія, чтобы оркестръ сыгралъ что-нибудь русское; совѣтникъ казенной палаты Храниловъ лилъ на столъ красное вино и посыпалъ залитое пространство солью, доказывая, что при этой предосторожности всякая прачка можетъ легко вывести изъ скатерти какія угодно пятна; правитель канцеляріи уже не вздрагивалъ, но весь покрылся фіолетовыми пятнами—явный признакъ, что онъ былъ близокъ къ буйству. Однимъ словомъ, во избѣжаніе неожиданностей, я, какъ распорядитель, долженъ былъ просить батальоннаго командира, чтобъ онъ сказалъ свою рѣчь какъ можно скорѣе и какъ можно короче, что онъ, къ общему удовольствію, и исполнилъ.

— Ваше превосходительство!—сказалъ онъ:—буду кратокъ, чтобъ не задерживать драгоцѣнные ваши часы. Я не краснорѣчивъ, но знаю, что когда понадобилось отвести для батальона огороды—вы отвели ихъ; когда приказано было варить для нижнихъ чиновъ пищу изъ общаго котла—вы приказали пріобрѣсти эти котлы въ лучшемъ видѣ. Ввѣренный мнѣ батальонъ имѣетъ честь благодарить за это ваше превосходительство. Ура!

Этою рѣчью заключалась первая часть нашего торжества. Затѣмъ уже началась такъ-называемая конституція, которую я не стану описывать, потому что, по мнѣнію моему, всѣ проявленія, имѣющія либеральный характеръ, какъ бы преданны они ни были, заключаютъ въ себѣ одно лишь безобразіе...

———

На другой день я посѣтилъ помѣщеніе, въ которомъ происходило прощальное торжество. На полу валялись объѣдки, скатерть пестрѣла пятнами, цѣлая масса прогорклаго дыма висѣла надъ столами. Сердце мое сжалось...

II.—Старый котъ на покоѣ.

I.

Новый начальникъ либеральничаетъ, новый начальникъ политиканитъ, новый начальникъ стоитъ на стражѣ. Онъ устраиваетъ союзы, объявляетъ войны и заключаетъ миръ. Одно допускаетъ, другое устраняетъ. Принимая въ соображеніе одно, не упускаетъ изъ вида и другое, при чемъ не лишнимъ считаетъ обратить вниманіе и на третье. Въ отношеніи однихъ дѣйствуетъ мѣрами благоразумной кротости; въ отношеніи другихъ употребляетъ строгость. Онъ пишетъ обширнѣйшіе циркуляры, въ которыхъ призываетъ, поощряетъ, убѣждаетъ, надѣется, а въ *случаѣ нужды*— даже требуетъ и угрожаетъ. Однимъ словомъ, создаетъ новую эру.

Въ согласность съ нимъ настраивается и подначальный людъ. Несутся сердца, задаются пиры и банкеты въ честь виновника торжества; языки безъ всякаго опасенія предаются благодѣтельной гласности; произносятся спичи и тосты; указываются новые невредные источники народнаго благосостоянія, процвѣтанія и развитія; выражаются ожиданія, упованія и надежды, которыя, при помощи шампанскаго, изъ области упованій crescendo переходятъ въ твердую и непоколебимую увѣренность.

Даже дамы не остаются праздными: онѣ наперерывъ устраиваютъ для новаго начальника спектакли, шарады и живыя картины; интригуютъ его въ маскарадахъ, выбираютъ въ мазуркѣ, и при этомъ выказываютъ такое высокое чувство гражданственности, что ни одному разогорченному супругу даже на мысль не приходитъ произнести слово: «безстыдница» или «срамница».

Среди этого всеобщаго гвалта, среди этого ливня мѣропріятій съ одной стороны и восторговъ съ другой, никто не замѣчаетъ, что тутъ же, у насъ подъ бокомъ, увядаетъ существо, которое тоже (и какъ недавно!) испускало изъ себя всевозможныя мѣропріятія и тоже было предметомъ всякаго рода сердценесеній, упованій, переходящихъ въ увѣренность, и увѣренностей, покоящихся на упованіяхъ.

Да, онъ не оставилъ насъ, нашъ добрый старый начальникъ: онъ поселился тутъ же, вмѣстѣ съ достойною своею супругой Анной Ивановной, въ подгородномъ своемъ имѣніи, и тамъ, на лонѣ природы-матери, употребляетъ всѣ

усилія, чтобы блаженствовать. Конечно, злые языки распускаютъ, будто внутри у него образовалась цѣлая урна слезъ, будто слезы эти горячими каплями льются на сердце старика и вызываютъ на его лицо горькія улыбки и судорожныя подергиванья: но я имѣю всѣ данныя утверждать, что слухи эти неосновательны. Я самъ посѣтилъ его въ благопріобрѣтенномъ селѣ Обираловѣ (и даже не скрылъ этого отъ новаго начальника) и собственными глазами убѣдился, что онъ точно блаженствуетъ. Онъ съ безпечнымъ видомъ ходитъ по полямъ и лугамъ; онъ рветъ цвѣточки и плететъ изъ нихъ вѣнки; онъ питается исключительно молочными скопами; онъ вступаетъ въ непринужденный разговоръ съ добродушными поселянами и поголовно называетъ ихъ друзьями... Какихъ доказательствъ блаженства еще надо?

Коли хотите, въ немъ дѣйствительно произошла нѣкоторая перемѣна: глаза не мещутъ, носъ не угрожаетъ, уста не изрыгаютъ, длани не устремляются. Коли хотите, нѣтъ недостатка и въ подергиваньяхъ, и въ горькихъ улыбкахъ... Но, по мнѣнію моему, эта перемѣна произошла совсѣмъ не вслѣдствіе унынія, а оттого единственно, что добрый старикъ, вышедши въ отставку, пріобрѣлъ опасную привычку слишкомъ часто поднимать завѣсу будущаго. При такомъ безпрерывномъ поднманіи довольно трудно обойтись безъ подергиваній (я зналъ одного мудреца, который даже зажималъ носъ, какъ только приходилось поднимать завѣсу будущаго). Самъ старикъ въ этомъ сознается и даже довольно картинно выражаетъ плоды своихъ наблюденій по этому предмету.

Да-съ,—говоритъ онъ:—я озабоченъ-съ. Посмотришь въ эту закрытую для многихъ книгу—увидишь тамъ все такое несообразное. Кружатся-съ, рвутъ другъ друга, скалятъ зубы-съ. Неутѣшительно-съ.

Итакъ, вотъ единственное облако, которое омрачаетъ тихій вечеръ отставного администратора: во всѣхъ прочихъ отношеніяхъ онъ блаженствуетъ. Онъ охотно смѣшиваетъ либерализмъ съ сокращеніемъ переписки, и когда однажды у насъ зашла рѣчь о постепенномъ шествіи впередъ на пути гражданственности и устности:

— Это еще при мнѣ началось, — сказалъ онъ: — въ то время я осмѣлился подать слѣдующій совѣтъ: если позволительно такъ думать, сказалъ я, то предоставьте все усмотрѣнію главныхъ начальниковъ!

— А что вы думаете? Вѣдь и въ самомъ дѣлѣ это значительно сократило бы переписку!—замѣтилъ я.

— Значительно-съ, — отвѣчалъ онъ съ одушевленіемъ, очевидно намѣреваясь сообщить дальнѣйшее развитіе этой замѣчательной темѣ, но вдругъ замолкъ, какъ бы опасаясь проронить государственную тайну.

Вообще о дѣлахъ внутренней и внѣшней политики старикъ отзывается сдержанно и загадочно. Не то одобряетъ, не то порицаетъ, не забывая, однакожъ, при каждомъ случаѣ прибавить: «это еще при мнѣ началось», или: «я въ то время осмѣлился подать такой-то совѣтъ».

— Отчего же мнѣніе вашества не было принято въ уваженіе?—иногда спрашиваютъ его веселые собесѣдники.

— А оттого-съ, что нынче старыхъ слугъ не уважаютъ,— отвѣчаетъ онъ съ нѣкоторою скорбью, но вслѣдъ затѣмъ веселенько прибавляетъ:—Да, пора, давно пора было мнѣ отдохнуть!

О новомъ начальникѣ старикъ или вовсе умалчиваетъ, или выражается иносказательно, то-есть начинаетъ, по поводу его, разговоръ о древнемъ языческомъ богѣ Меркуріи, прославившемся не столько дѣлами доблести, сколько двусмысленнымъ своимъ поведеніемъ, и затѣмъ старается замять щекотливый разговоръ и обращаетъ вниманіе собесѣдниковъ на молочные скопы и другіе предметы сельскаго хозяйства.

Однажды зашла рѣчь о пожарахъ, и нѣкоторый веселый собесѣдникъ выразилъ предположеніе, что новый начальникъ, судя по его дѣйствіямъ, долженъ быть, по малой мѣрѣ, скрытный членъ народоваго жонда.

— Не отрицаю-съ,—скромно замѣтилъ благодушный старикъ:—но не смѣю и утверждать-съ. Скажу вамъ по этому случаю анекдотъ-съ. Однажды, когда князь Петръ Антонычъ требовалъ, чтобы я высказалъ ему мое мнѣніе насчетъ сокращенія въ одномъ вѣдомствѣ фалдъ, то я откровенно отвѣчалъ: «Ваше сіятельство, и фалды сокращенныя, и фалды удлиненныя — мы все примемъ съ благодарностью!» —«Дипломатъ!» выразился по этому случаю князь и изволилъ милостиво погрозить мнѣ пальцемъ. Такъ-то-съ.

Даже противъ реформъ, или—какъ онъ ихъ называлъ— «катастрофъ», старикъ не огрызался; напротивъ того, всякое новое мѣропріятіе находило въ немъ мудраго толкователя. Самыя земскія учрежденія, и тѣ не смутили его. Конечно, онъ сначала испугался, но потомъ вникъ, взвѣсилъ, разсудилъ... и простилъ!

— Такъ, вашество, одобряете? — спрашиваютъ его иногда собесѣдники.

— Одобряю-съ, — отвѣчалъ онъ.—Сначала, конечно... опасался-съ; но теперь... одобряю-съ!

— Чего же собственно, вашество, опасаться изволили?

— Упраздненія власти-съ!

— А теперь одобряете?

— Теперь одобряю-съ. На этотъ счетъ доложу вамъ вотъ что-съ. Съ блаженной памяти государя Петра Алексѣевича исторія русской цивилизаціи принимаетъ характеръ, такъ сказать, піонерный. Являются, знаете, одни за другими піонеры. Расчищаютъ, пролагаютъ, прорубаютъ, строятъ, ломаютъ и опять строятъ... однимъ словомъ, ведутъ жизнь дѣятельную. Сперва губернаторы, прокуроры, экономіи директоры, капитанъ-исправники—это, такъ сказать, піонеры первобытные. Потомъ-съ: окружные начальники, воспитанники училища правовѣдѣнія, акцизные чиновники, контрольные чиновники, мировые посредники—это уже піонеры второй формаціи, піонеры съ утонченными чувствами и деликатными манерами. Наконецъ, земство-съ.

— Стало-быть, и Василій Петровичъ, и Николай Дмитричъ—все это піонеры?

— Піонеры-съ, и больше ничего!

Послѣ такого толкованія слушателямъ не оставалось ничего болѣе, какъ оставить всякія опасенія и надѣяться, что не далеко то время, когда Русская земля процивилизуется, наконецъ, вплотную. Вотъ что̀ значитъ опытность старика, пріобрѣвшаго, по выходѣ въ отставку, привычку поднимать завѣсу будущаго!

Такимъ образомъ, тихо и неслышно текутъ дни благодушнаго старца, еще недавно удивлявшаго міръ своею распорядительностью. Въ обхожденіи онъ кротокъ и какъ-то задумчиво-сдержанъ; на исправника глядитъ благосклонно, какъ будто говоритъ: «это еще при мнѣ началось!» съ мировымъ судьей холодно-учтивъ, какъ будто говоритъ: «по этому предмету я осмѣлился подать такой-то совѣтъ!» Въ одеждѣ своей онъ не придерживается никакихъ формальностей и предпочитаетъ бѣлый цвѣтъ всякому другому, потому что это цвѣтъ угнетенной невинности. Однажды даже онъ отпустилъ себѣ бороду, въ знакъ того, что и ему не чуждо «сокращеніе переписки», но скоро оставилъ эту затѣю, потому что князь Петръ Антонычъ, встрѣтивши его въ этомъ видѣ, сказалъ: «Эге, братъ, да и ты, кажется, въ

нигилисты попалъ!» Вообще онъ счастливъ и увѣряетъ всѣхъ и каждаго, что никогда такъ не блаженствовалъ, какъ находясь въ отставкѣ.

II.

Каждый день утромъ къ старику пріѣзжаетъ изъ города бывшій правитель его канцеляріи, Павелъ Трофимычъ Кошельковъ, старинный соратникъ и соархистратигъ, вмѣстѣ съ нимъ нѣкогда возжегшій административный свѣтильникъ и съ нимъ же вмѣстѣ погасившій его. Это гость всегда дорогой и всегда желанный; отъ него узнаются всѣ городскія новости и, что̀ всего важнѣе, онъ же, изо-дня въ-день, повѣдываетъ почтенному старцу трогательную повѣсть подвиговъ и дѣяній того, кто хотя и замѣнилъ незамѣнимаго, но не могъ заставить его забыть.

Утро; старикъ сидитъ за чайнымъ столомъ и кушаетъ чай со сдобными булками; Анна Ивановна усердно намазываетъ масломъ тартинки, которыя незабвенный проглатываетъ тѣмъ съ бо̀льшею готовностью, что, со времени выхода въ отставку, онъ совершенно утратилъ инстинктъ плотоядности. Но мысль его блуждаетъ индѣ; глаза, обращенные къ окошкамъ, прилежно испытуютъ пространство, не покажется ли вдали пара саврасокъ, влекущая стариннаго друга и собесѣдника. Наконецъ, старецъ оживляется, на̀скоро вышиваетъ остатки молока и бѣжитъ къ дверямъ.

— Ну-съ, что̀ новенькаго?—спрашиваетъ онъ послѣ первыхъ взаимныхъ привѣтствій.

— Моститъ базарную площадь-съ.

— Какъ? кто?

— Новый-съ.

Извѣстіе это поражаетъ изумленіемъ. Старикъ многое предвидѣлъ, многое предсказалъ; но этого ни предвидѣть, ни предсказать не могъ.

— Признаюсь!—произноситъ онъ не безъ смущенія:—признаюсь!

— Да и мы таки-подивились!—поддакиваетъ Павелъ Трофимычъ.

Не то чтобы идея о замощеніи базарной площади была для старика новостью; нѣтъ, и его воображеніе когда-то плѣнялось ею, но онъ оставилъ эту затѣю (и не безъ сожалѣнія оставилъ!), потому что изъ устныхъ и письменныхъ преданій убѣдился, что до него уже семь губернаторовъ погибли жертвою этой ужасной идеи.

— Но предвидѣлъ ли онъ, этотъ безразсудный молодой человѣкъ, тѣ непреодолимыя трудности, даже опасности, съ которыми связано подобное предпріятіе?

— Сказывали-съ; Яковъ Астафьичъ даже примѣры представляли-съ...

— Ну?

— Остался непреклонснъ-съ.

Начинаются сѣтованія и соболѣзнованія; разсказывается исторія о погибшихъ губернаторахъ, и въ особенности приводится въ примѣръ нѣкоторый Иванъ Петровичъ, который все совершилъ, что смертному совершить доступно, то-есть недоимки собралъ, безпокойныхъ укротилъ, нравственность водворилъ и даже однажды высѣкъ совсѣмъ неподлежаще одного обывателя, но по вопросу о мостовыхъ сломился, былъ отрѣшенъ отъ должности и умеръ въ отставкѣ, не выслуживъ пенсіона.

— А я такъ вотъ выслужилъ!—прибавляетъ благодушный старецъ.

— Раненько, вашество, тяготы-то съ себя снять изволили!—льститъ Павелъ Трофимычъ.

— Я?.. Что-жъ?.. Я послужить готовъ!.. Я, мой любезный Павелъ Трофимычъ... Меня этими мостовыми не удивишь! Я не только передъ мостовыми, но даже передъ тротуарами не дрогну! Только надо къ этому предмету осторожно, мой милый... Ой, какъ осторожно надо подступить!

— Что говорить, вашество, съ осторожностью и гору просверлить можно!

— Это такъ. Потому, сегодня стукнешь—ямочка, завтра стукнешь—анъ она глубже, послѣзавтра—и еще глубже. Такъ-то, мой любезный!

Въ такихъ разговорахъ незамѣтно летитъ время до обѣда, послѣ чего Кошельковъ отправляется обратно въ городъ за свѣжимъ запасомъ новостей.

На другой день та же обстановка и тотъ же дорогой гость. Оказывается, что «новый» переломалъ въ губернаторскомъ домѣ полы и потолки.

Старикъ дѣлается серьезенъ, почти строг

— А знаетъ ли онъ, этотъ безразсудный молодой человѣкъ,—говоритъ онъ:—что въ этомъ домѣ до него жили тридцать три губернатора, и жили, благодареніе Богу, въ изобиліи!

На третій день Павелъ Трофимычъ повѣствуетъ, что «новый», прибывъ въ нѣкоторое присутственное мѣсто, спро-

силъ книгу, подложилъ ее подъ себя и затѣмъ, бія себя въ грудь, сказалъ предстоявшимъ:

— Я вамъ книга, милостивые государи! Я — книга, и больше никакихъ книгъ вамъ знать не нужно!

Старикъ начинаетъ колебаться. Онъ начинаетъ подозрѣвать, что въ «безразсудномъ молодомъ человѣкѣ» не все сплошь безразсудства, но по временамъ являются и признаки мудрости.

— Дай Богъ!—говоритъ онъ:—дай Богъ! Но, все-таки, скажу: осторожность, мой любезный! Ой, какъ нужна осторожность!

На четвертый день—опять то же посѣщеніе; оказывается, что «новый» выбралъ себѣ въ «помпадурши» жену квартальнаго Толоконникова.

Чело старика проясняется; въ головѣ его шевелятся веселыя мысли.

— А что ты думаешь, любезный,—говоритъ онъ:—вѣдь онъ... тово! вѣдь онъ бабенку-то... тово!

— Толоконниковъ ужъ и шинель съ бобрами себѣ построилъ-съ!

— Въ знакъ удовлетворенія... это такъ! Я полагаю даже, что онъ его куда-нибудь въ совѣтники... Потому, мой любезный, что это, такъ сказать, общая наша слабость, и... долженъ признаться... пріятнѣйшая, братъ, эта слабость!

— Ужъ чего же, вашество, лучше!

— То-то, любезный другъ, ты пойми! Насчетъ этого нельзя такъ легко говорить! Ужъ на что я къ Аннѣ Ивановнѣ привязанъ, а тоже, бывало, завидишь этакую помпадуршу—чай, помнишь?..

— Какъ не помнить-съ! Только раненько, вашество, тяготы-то эти сбросить съ себя изволили!

— Что-жъ, я послужить готовъ!.. А онъ... тово! Онъ, я тебѣ скажу, эту бабенку... Это—вѣрно!

Наконецъ, въ одно прекрасное утро пріѣзжаетъ Павелъ Трофимычъ и смотритъ не то загадочно, не то торжественно.

— Ну-съ, что еще напроказили?—спрашиваетъ старикъ по обыкновенію.

— Недоимки собираетъ!

— Самъ собираетъ?

— Самъ-съ.

— И сѣчетъ?

— И сѣчетъ-съ! (Кошельковъ, очевидно, вретъ, но дѣ-

ласть это въ тѣхъ видахъ, чтобы извѣстіе подѣйствовало на старика какъ можно живительнѣе).

При этомъ извѣстіи съ отставнымъ начальникомъ совершается нѣчто необыкновенное. Онъ какъ бы впадаетъ въ восторженное забытье: ему мнится, что онъ куда-то въѣзжаетъ на бѣломъ конѣ, что онъ облаченъ въ свѣтозарныя одежды; что сзади него миріада исправниковъ, сотскихъ, десятскихъ, а передъ нимъ...

— Даже бабъ сѣчетъ-съ!—окончательно прилыгаетъ Павелъ Трофимычъ, видя успѣхъ своей стратагемы.

— Бацъ! бацъ! — ни съ того, ни съ сего, вдругъ восклицаетъ старикъ.—Такъ ты говоришь, и бабъ?

— Точно такъ, вашество, потому что бабы...

— Бацъ! бацъ!

Старикъ быстрыми шагами ходитъ по комнатѣ, дѣлая движеніе рукой сверху внизъ.

— А знаешь ли, что я тебѣ скажу!—говоритъ онъ, останавливаясь съ размаху передъ своимъ собесѣдникомъ.

— Что, вашество, приказать изволите?

— Онъ... молодецъ!

III.

По вечерамъ старецъ пишетъ свои мемуары или, какъ онъ называетъ, «воспоминанія о бывшемъ, небывшемъ и грядущемъ». Онъ занимается этимъ въ величайшемъ секретѣ, такъ что только Анна Ивановна, Павелъ Трофимычъ да я знаемъ, чему посвящаетъ свои досуги бывшій глубокомысленный администраторъ.

— Я, мой милый, фрондеръ! — такъ всегда начинаетъ онъ, когда рѣшается прочитать намъ какой-нибудь отрывокъ изъ своихъ мемуаровъ.—По выраженію старика Державина,—

Я истину царямъ съ улыбкой говорилъ...

Ну, и почтенъ былъ за это въ свое время... А нынче, друзья мои, этого не любятъ! Нынче нашего брата, фрондера, за ушко да на солнышко... за истину-то! Вотъ, когда я умру... тогда отдайте все Каткову! Никому, кромѣ Каткова! Хочу лечь рядомъ съ старикомъ Вигелемъ!

Нѣкоторыя выдержки изъ этихъ мемуаровъ столь любопытны, что я не могу воздержаться, чтобы не подѣлиться ими съ любезнымъ читателемъ. Вотъ, напримѣръ, какъ описываетъ благодушный старецъ свое назначеніе въ помпадуры:

«Въ 18... году, іюля 9-го дня, поздно вечеромъ, сидѣли мы съ Анной Ивановной въ грустномъ унынiи на квартирѣ (жили мы тогда въ приходѣ Пантелеймона, близъ Соляного Городка, на хлѣбахъ у одной почтенной нѣмки, платя за все по 50 рублей на ассигнаціи въ мѣсяцъ—такова была въ то время дешевизна въ Петербургѣ, но и та, въ сравненіи съ московскою, называлась дороговизною) и громко сѣтовали на неблагосклонность судьбы. Какъ вдругъ раздается у дверей громкій и продолжительный звонокъ, и слышимъ, что кѣмъ-то произносится мое имя и чинъ дѣйствительнаго статскаго совѣтника (тогда ужъ я былъ онымъ). Предчувствуя въ судьбѣ своей счастливую перемѣну, наскоро запахиваю халатъ, выбѣгаю и вижу курьера, который говоритъ мнѣ: «Ради Христа, ваше превосходительство, поскорѣе поспѣшите къ его сіятельству, ибо васъ сдѣлали помадуромъ!» Забывъ на минуту разстояніе, раздѣлявшее меня отъ сего добраго вѣстника, я нѣсколько разъ искренно облобызалъ его и, поручивъ доброй сопутницѣ моей жизни угостить его хорошимъ стаканомъ вина (съ придачею красной бумажки), не поѣхалъ, а скорѣе полетѣлъ къ князю. И дѣйствительно, былъ принятъ отъ его сіятельства съ отмѣнною ласкою. Поздравивъ меня съ высокимъ саномъ и дозволивъ поцѣловать себя въ плечо (при чемъ я, вслѣдствіе волненія чувствъ, такъ крѣпко нажималъ губами, что даже князь это замѣтилъ), онъ сказалъ: «Я знаю, старикъ (я и тогда уже былъ онымъ), что ты смиренномудренъ и преданъ, но, главное, объ чемъ я тебя прошу и даже приказываю,—это: обрати вниманіе на возрастающіе успѣхи вольномыслія!» Съ тѣхъ поръ слова сіи столь глубоко запечатлѣлись въ моемъ сердцѣ, что я и нынѣ, какъ живого, представляю себѣ этого сановника, высокаго и статнаго мужчину, серьезно и важно предостерегающаго меня противъ вольномыслія! Нечего и говорить, въ какомъ я вышелъ отъ князя настроеніи; дождливая и довольно темная ночь показалась мнѣ свѣтлѣе радостнаго утра, а Невскій проспектъ, черезъ который пришлось мнѣ проходить—эдемомъ, въ коемъ все приглашало меня къ наслажденію. И дѣйствительно, я зашелъ въ кофейную Амбіеля (въ домѣ армянской церкви) и на двугривенный пріобрѣлъ сладкихъ пирожковъ (тогда двугривенный стоилъ въ Петербургѣ восемьдесятъ копеекъ на ассигнаціи, въ Москвѣ же цѣнность его доходила до рубля) и раздѣлилъ ихъ съ доброю своею подругой. На

другой день явился къ намъ откупщикъ и предложилъ свои услуги. И такимъ образомъ наше грустное уныніе превратилось въ веселую и невинную радость. Такъ совершился сей достопримѣчательнѣйшій въ жизни моей фактъ, коего подробности и доднесь запечатлѣны въ моей памяти. Сначала я былъ назначенъ въ Вятку, потомъ, постепенно возвышаясь, достигъ, наконецъ, Саратова, гдѣ нахожусь и нынѣ, пребывая хотя и въ отставкѣ, но съ полнымъ пенсіономъ».

Или вотъ еще эпизодъ, изображающій собственно административную дѣятельность благодушнаго старца:

«Нерѣдко случалось мнѣ слышать отъ постороннихъ людей исторію о томъ, какъ мы съ генераломъ Горячкинымъ ловили червей въ Нерехотскомъ уѣздѣ; но всегда исторія эта передавалась въ извращенномъ видѣ. Дѣло было такъ. Въ 18... году, въ сентябрѣ, будучи уже костромскимъ помпадуромъ, получилъ я отъ исправника донесеніе, что въ Нерехотскомъ уѣздѣ появился необыкновенной величины червякъ, который поѣдаетъ озимь, сію надежду будущаго урожая, и что, несмотря на принятыя полицейскія мѣры, сей червь, какъ бы посмѣиваясь надъ оными, продолжаетъ свое истребительное дѣло. Дѣлать нечего: какъ ни жаль было разставаться съ доброй спутницей жизни и теплымъ гнѣздомъ, однако отправился. Пріѣзжаю на мѣсто, требую, чтобы мнѣ показали образцы зловреднаго насѣкомаго — и что же вижу? Огромной величины травоядное, съ виду точь-въ-точь похожее на солитера! Подивившись, тутъ же составили планъ кампаніи и легли спать. На другой день, едва лишь встало солнце, какъ вдругъ мнѣ докладываютъ, что на границѣ сосѣдней губерніи ожидаетъ меня генералъ Горячкинъ, для совокупныхъ дѣйствій по сему же дѣлу, такъ какъ вредный тотъ червь производилъ свои опустошенія и въ смежности. Наскоро умываюсь, выхожу и вижу генерала, гарцующаго на бѣломъ конѣ близъ самой границы, но черезъ оную не переступающаго. Тогда, пригласивъ любезно добраго сосѣдушку въ свою убогую хижину и заказавъ себѣ уху изъ волжскихъ стерлядей, начали мы толковать о предстоящихъ мѣрахъ. Но какъ ночь была проведена почти безъ сна, по случаю безпрерывныхъ трудовъ и совѣщаній, то вскорѣ мы заснули. Каково же было наше удивленіе, когда, проснувшись, вдругъ узнали, что червь, какъ бы по мановенію волшебства, вдругъ исчезъ! Тогда, поѣвши ухи и наскоро наказавъ обывате-

лимъ, дабы они всячески озаботились, чтобы яйца червя остались безъ оплодотворенія, мы разстались: я—въ одну сторону, а ярославскій сосѣдушка мой—въ другую. Такимъ образомъ происходило сіе достопамятное дѣло, стоившее мнѣ немалыхъ трудовъ и безпокойствъ».

Или вотъ, наконецъ, третій и послѣдній отрывокъ:

«Однажды одинъ предсѣдатель, слывшій въ обществѣ остроумцемъ (я въ то время служилъ уже симбирскимъ помпадуромъ), сказалъ въ одномъ публичномъ мѣстѣ: «ежели бы я былъ помпадуромъ, то всегда ходилъ бы въ колпакѣ!» Узнавъ о семъ черезъ преданныхъ людей и улучивъ удобную минуту, я, въ свою очередь, при многолюдномъ собраніи, сказалъ неосторожному остроумцу (весьма, впрочемъ, заботившемуся о соблюденіи казеннаго интереса): ежели бы я былъ колпакомъ, то, навѣрно, вмѣщалъ бы въ себѣ голову предсѣдателя!» Онъ тотчасъ же понялъ, въ кого направлена стрѣла, и закусилъ языкъ. Но съ тѣхъ поръ уже не повторялъ своей дерзкой замашки, и дружба наша болѣе не прерывалась».

Кромѣ того, мнѣ извѣстно, что, независимо отъ мемуаровъ, благодушный старикъ имѣетъ и другія, еще болѣе серьезныя занятія, которымъ посвящаетъ вечерніе досуги свои. А именно, онъ пишетъ различныя административныя руководства, порою же разрабатываетъ и посторонніе философическіе вопросы.

Изъ административныхъ его руководствъ мнѣ извѣстны слѣдующія: «Три лекціи о строгости» (планъ сего сочиненія задуманъ и даже отчасти въ исполненіе приведенъ былъ еще во время административной дѣятельности старца, и вступительная (первая) лекція была читана въ полномъ собраніи гг. исправниковъ и городничихъ; но за сіе-то именно и былъ уволенъ нашъ добрый начальникъ отъ должности!!!): «О необходимости административнаго единогласія, какъ противоядія таковому-жъ многогласію», «Краткое разсужденіе объ усмиреніяхъ, съ примѣрами», «О скорой губернаторской ѣздѣ на почтовыхъ», «О вредѣ, производимомъ вице-губернаторами, «О способахъ административнаго усмотрѣнія» и, наконецъ, «О благовидной администратора наружности».

Изъ сочиненій философическаго содержанія мнѣ извѣстны слѣдующія: «О солнечныхъ и лунныхъ затменіяхъ и о преимуществѣ первыхъ надъ послѣдними», «Что, ежели бы я жилъ на необитаемомъ островѣ и имѣлъ собесѣдникомъ

лишь правителя канцеляріи?» и, наконецъ, третье: «О непримѣтномъ для глазъ теченіи времени».

Мы съ Павломъ Трофимычемъ не разъ приступали къ доброму старику, чтобы позволилъ опубликовать хоть одинъ изъ этихъ трактатовъ, въ которыхъ философическая мудрость до такой степени сплетена съ мудростью житейскою, что невозможно ничего разобрать; но всегда встрѣчали упорный отказъ.

— Нѣтъ, друзья, — отвѣчалъ намъ незабвенный: — вотъ когда я умру — тащите все къ Каткову! Никому, кромѣ Каткова! Хочу лечь рядомъ со старикомъ Вигелемъ!

Тѣмъ не менѣе (несмотря на строгость и горечь этого отказа), я и до сихъ поръ не могу безъ благороднаго умиленія вспомнить о тѣхъ сладостныхъ вечерахъ, которые мы проводили, слушая мастерское и одушевленное чтеніе нашего добраго, хотя и отставного начальника. Сидимъ мы, бывало, вчетверомъ: онъ, Анна Ивановна, Павелъ Трофимычъ и я, въ любимой его угловой комнатѣ; въ каминѣ пріятно тлѣютъ дрова; въ сторонѣ, на столѣ шипитъ самоваръ, желтѣетъ только-что сбитое сливочное масло и радуютъ взоры румяныя булки, а онъ звучнымъ, отчетливымъ голосомъ читаетъ:

«Необходимо, чтобы администраторъ имѣлъ наружность благородную. Онъ долженъ быть не тученъ и не скареденъ, роста былъ не огромнаго и не излишне-малаго, долженъ сохранять пропорціональность въ частяхъ тѣла и лицо имѣть чистое, не обезображенное ни бородавками, ни тѣмъ болѣе злокачественными сыпями. Сверхъ того, долженъ имѣть мундиръ».

Или:

«Прежде всего замѣчу, что истинный администраторъ никогда не долженъ дѣйствовать иначе, какъ чрезъ посредство мѣропріятій. Всякое его дѣйствіе не есть дѣйствіе, а есть мѣропріятіе. Привѣтливый видъ, благосклонный взглядъ суть такія же мѣры внутренней политики, какъ и экзекуція. Обыватель всегда въ чемъ-нибудь виноватъ»...

— Не хотите ли простокваши съ сахаромъ?—прерветъ, бывало, милая Анна Ивановна, при чемъ больше всего имѣетъ въ виду дать доброму старику время передохнуть.

«Обыватель *всегда* въ чемъ-нибудь виноватъ, и потому всегда надлежитъ на порочную его волю воздѣйствовать»,— продолжаетъ старикъ, и вдругъ, прекращая чтеніе и отирая навернувшіяся на глазахъ слезы (съ нѣкотораго времени,

и именно съ выхода въ отставку, онъ пріобрѣлъ такъ-называемый «слезный даръ»), прибавляетъ: — Друзья, отложимте чтеніе до завтра! Сегодня я... взволнованъ!

О, сладкія минуты! о, милыя, гостепріимныя тѣни! гдѣ вы?

IV.

Однако, старикъ не утерпѣлъ. Въ одинъ праздничный день стояли мы всѣ въ соборѣ, какъ вдругъ онъ появился среди насъ. Вошелъ онъ безъ помпы, однакожъ и безъ ложной скромности, и направилъ шаги свои къ лѣвому клиросу, такъ какъ у праваго стоялъ «новый». Легкій трепетъ прошелъ по толпѣ. Мы молча любовались изящною картиной противопоставленія сихъ двухъ административныхъ свѣтилъ, изъ коихъ одно представляло полный жизни восходъ, а другое — прекрасный, тихо потухающій закатъ; но многіе замѣтили, что «новый», при появленіи благодушнаго старца, вздрогнулъ. Вѣроятно, воображенію его, по этому поводу, представлялись тѣ затрудненія, которыя могли возникнуть во время прикладыванья ко кресту; вѣроятно, онъ опасался, что заматерѣлый старый администраторъ, по прежней привычкѣ, подойдетъ первымъ, и при этой мысли правая нога его уже сдѣлала машинально шагъ впередъ, чтобы отнюдь не допустить столь явнаго умаленія власти. Но тонкій старикъ, появившись столь неожиданно среди насъ, очевидно имѣлъ иныя цѣли, и потому, дабы достигнуть желаемаго безпрепятственно и вмѣстѣ съ тѣмъ не поставить въ затрудненіе преосвященнаго, великодушно разрѣшилъ всѣ сомнѣнія, добровольно удалившись изъ церкви за минуту до окончанія богослуженія.

Оказалось, что цѣлью пріѣзда старика было благо и счастіе той самой страны, на пользу которой онъ въ свое время такъ много поревновалъ. Надо сказать правду: въ послѣднее время въ немъ произошелъ значительный нравственный переворотъ; въ особенности же спасительно въ этомъ отношеніи повліяли дѣйствія «новаго» по взысканію недоимокъ (а отчасти и по выбору помпадурши). Легко можетъ быть даже, что въ виду этихъ мѣропріятій нашъ незабвенный рѣшился, не предупредивъ никого, сдѣлать послѣдній шагъ, чтобы окончательно укрѣпить и наставить того, который въ нашемъ интимномъ обществѣ продолжалъ еще слыть подъ именемъ «безразсуднаго молодого человѣка». И дѣйствительно, немедленно послѣ обѣдни, цѣлый городъ былъ свидѣтелемъ, какъ «старый» направился съ визитомъ къ «новому».

Что происходило во время этого свиданія, длившагося слишкомъ два часа, — осталось для всѣхъ тайной. Несомнѣнно, однакожъ, что тутъ обсуждались интересы и мѣропріятія немногимъ легковѣснѣе тѣхъ, о коихъ была рѣчь во время свиданія на границѣ двухъ губерній по случаю избіенія вредоносныхъ червей. Очевидцы, стоявшіе въ это время въ пріемной комнатѣ, утверждаютъ одно: совѣщаніе происходило тихо и на какомъ-то никому не вѣдомомъ языкѣ, при чемъ восклицанія перемежались вздохами, вздохи же перемежались восклицаніями. Сверхъ того, нерѣдко слышались слова: «ваше превосходительство!» Очевидно, что обѣимъ сторонамъ было равно тяжко. Наконецъ, администраторы разомъ вышли изъ кабинета, красные и до крайности взволнованные. Нѣкоторое время они безмолвно стояли, взирая другъ другу въ глаза и пожимая руки: наконецъ, «новый» стремительно обратился къ своему правителю канцеляріи и сказалъ:

— Сейчасъ же, мой любезный, пойдите и скажите, чтобы мостовую базарной площади немедленно прекратили! Прикажите также, чтобы полы и потолки въ губернаторскомъ домѣ настилали попрежнему!

Затѣмъ, взаимно и любезно облобызавшись, оба свѣтила разстались.

Вечеромъ того же дня старикъ былъ счастливъ необыкновенно. Онъ радовался, что ему опять удалось сдѣлать доброе дѣло въ пользу страны, которую онъ привыкъ въ душѣ считать родною, и, въ ознаменованіе этой радости, ѣлъ необыкновенно много. Съ своей стороны, Анна Ивановна не могла не замѣтить этого чрезвычайнаго аппетита, и хотя не была скупа отъ природы, но сказала:

— Ахъ, Nicolas! ты сегодня такъ много кушаешь, что у тебя непремѣнно заболитъ животъ!

На что незабвенный отвѣтилъ:

— Другъ мой, не смущай моей радости! Сегодня я убѣдился, что наше дѣло находится въ добрыхъ и надежныхъ рукахъ!

Въ этотъ же вечеръ добрый старикъ прочиталъ намъ нѣсколько отрывковъ изъ вновь написаннаго имъ сочиненія подъ названіемъ: «Увѣтъ молодому администратору», въ коихъ меня особенно поразили слѣдующія истинно-вѣщія слова: «Юный! ежели ты думаешь, что наука сія легка — разувѣрься въ томъ! Самонадѣянный! ежели ты мечтаешь все совершить съ помощью одной необдуманности—оставь

сіи мечты и склони свое неопытное ухо увѣту старости и опытности! Перо сіе, быть-можетъ, въ послѣдній разъ»...

Когда онъ читалъ сіи строки, мы заливались слезами. Кто могъ думать, что этотъ веселый вечеръ будетъ послѣднимъ проблескомъ нашего счастія!

V.

Вдругъ старикъ началъ хирѣть. Многіе увѣряютъ, что хворость эта началась съ того дня, какъ онъ посѣтилъ «новаго», такъ какъ прямымъ послѣдствіемъ этого посѣщенія была неумѣренность въ пищѣ, вслѣдствіе которой сначала заболѣлъ животъ, а затѣмъ... Но не стану упреждать событій и скажу только, что подобное толкованіе кажется мнѣ поверхностнымъ уже по тому одному, что невозможно допустить, чтобы опытные администраторы лишались жизни вслѣдствіе разстройства желудка. Я объясняю себѣ эту болѣзнь иначе, а именно: тѣмъ нравственнымъ переворотомъ, о которомъ говорено выше и который произошелъ въ старикѣ въ послѣднее время.

Надо сказать правду: старикъ долго не одобрялъ дѣйствій «новаго». Всѣ эти распоряженія и мѣропріятія (таковы, напримѣръ: замощеніе базарной площади, приказъ о подвязываніи колокольчиковъ при въѣздѣ въ городъ и т. п.), которымъ съ такою нерасчетливою горячностью предался на первыхъ порахъ безразсудный молодой человѣкъ, казались ревнивому старику направленными лично противъ него. Онъ хмурился, нерѣдко ропталъ, и хотя деликатность не позволяла ему стать во главѣ недовольныхъ, тѣмъ не менѣе, никто не могъ сомнѣваться насчетъ его истинныхъ чувствъ. Въ этомъ недовольствѣ уже заключалось извѣстное положеніе, прямое и даже независимое, дававшее отставному администратору право критически относиться къ дѣйствіямъ новой администраціи, право негодовать, упрекать въ неблагодарности и проч. Въ скоромъ времени это грустное право обратилось даже въ привычку и, незамѣтно для своего обладателя, поддерживало и питало его существованіе. Старикъ увидѣлъ себя центромъ, къ которому устремились скептики и недовольные. Испытавъ на себѣ всѣ послѣдствія преждевременной отставки, онъ, какъ древле Коріоланъ, съ горькою веселостью видѣлъ, какъ въ любезномъ ему отечествѣ, на развалинахъ заведеннаго имъ порядка, водворяется анархія, то-есть безначаліе. И ежели бы у него подъ руками были вольски, то онъ, быть-можетъ, не

усомнился бы даже прибѣгнуть къ ихъ помощи, лишь бы предписать условіе новому Риму, утопающему въ развратѣ и гордости. Однимъ словомъ, это была своего рода пища, пища не вполнѣ здоровая, но не лишенная извѣстной доли пріятности и возбудительности. И вдругъ... рухнуло разомъ все это зданіе недовольства, упрековъ, критиканствъ и негодованій: вдругъ оказалось, что новый Римъ вовсе не утопаетъ въ развратѣ безначалія и что даже Рима совсѣмъ никакого нѣтъ... Извѣстія слѣдуютъ за извѣстіями съ быстротою молніи, и все извѣстія самыя благонадежныя, самыя благонамѣренныя! Вѣсть объ избраніи помпадурши была первою въ этомъ смыслѣ: съ нея старикъ задумался, и слово «молодецъ» впервые сорвалось съ его языка въ примѣненіи къ «новому». Затѣмъ извѣстіе о сборѣ недоимокъ потрясло еще болѣе; тутъ онъ положительно убѣдился, что «новый» совсѣмъ не тотъ фанфаронъ, какимъ его произвольно создало его воображеніе, но что это администраторъ дѣйствительный, употребляющій, гдѣ нужно, мѣры кротости, но не пренебрегающій и мѣрами строгости. Наконецъ, великодушная уступка, сдѣланная по вопросу о мостовыхъ, докончила начатое и поразила старика до того, что онъ тотчасъ же объѣлся, и вотъ въ этомъ (но только въ этомъ!) смыслѣ можетъ быть признано справедливымъ мнѣніе, что неумѣренность въ пищѣ послужила косвенною причиной тѣхъ бѣдственныхъ происшествій, которыя случились впослѣдствіи.

На другой день послѣ описаннаго выше свиданія старецъ еще бродилъ по комнатѣ, но уже не снималъ халата. Онъ особенно охотно бесѣдовалъ въ тотъ вечеръ о сокращеніи переписки, доказывая, что всѣ позднѣйшія «катастрофы» ведутъ свое начало изъ этого зловреднаго источника.

— Сокращеніе переписки, — говорилъ онъ: — отняло у администраціи ея жизненные соки. Лишенная радужной одежды, которая, въ теченіе многихъ вѣковъ, скрывала ея формы отъ глазъ нескромной толпы, администрація прибѣгла къ «катастрофамъ», какъ къ послѣднему средству, чтобы опериться. Правда, новая одежда явилась, но она оказалась съ прорѣхами.

— Но неужели же, вашество, нѣтъ средствъ починить ее?—взывали мы съ Павломъ Трофимычемъ.

— Есть-съ; средство это—вырвать корень со всѣми его послѣдствіями; но,—прибавилъ онъ, вздохнувши:—для такого подвига нынче слугъ нѣтъ!

— Ранепько, вашество, тяготы-то эти съ себя снять извволили!—заикнулся-было Павелъ Трофимычъ.

— Что-жъ! Я послужить готовъ!—отвѣчалъ онъ и даже пріободрился, но тутъ же почувствовалъ новый припадокъ въ желудкѣ и вышелъ.

Въ этотъ вечеръ онъ даже не писалъ мемуаровъ. Видя его въ такомъ положеніи, мы упросили его прочитать еще нѣсколько отрывковъ изъ сочиненія «О благовидной администратора наружности»; но едва онъ успѣлъ прочесть: «Я зналъ одного тучнаго администратора, который, притомъ, отлично зналъ законы, но успѣха не имѣлъ, потому что отъ тука, во множествѣ скопленнаго въ его внутренностяхъ, задыхался»... какъ почувствовалъ новый припадокъ въ желудкѣ, и уже въ тотъ вечеръ не возвращался.

На слѣдующій день онъ казался нѣсколько бодрѣе, какъ вдругъ пріѣхалъ Павелъ Трофимычъ и сообщилъ, что вчерашняго числа «новый» высѣкъ на пожарѣ купца (съ горестью я долженъ сказать здѣсь, что эта новость была ложная, выдуманная съ цѣлью потѣшить больного). При этомъ извѣстіи благодушный старецъ вытянулся во весь ростъ.

— Моло...—проговорилъ онъ, и вдругъ ослабѣлъ и упалъ на диванъ.

На третій день онъ лежалъ въ постели и бредилъ. Организмъ его, потрясенный предшествовавшими событіями, очевидно, не могъ вынести послѣдняго удара. Но и въ бреду онъ продолжалъ быть гражданиномъ; онъ поднималъ руки, онъ къ кому-то обращался и молилъ спасти «нашу общую, бѣдную»... Въ рѣдкія минуты, когда воспитательное состояніе утихало, онъ разсуждалъ объ анархіи.

— Пуще всего, друзья,—обращался онъ къ намъ:—опасайтесь анархіи: то-есть, безначалія. Какъ, съ одной стороны, чинобоязненность и начальстволюбіе есть то естественное основаніе, изъ котораго со временемъ прозябнетъ для вкушающаго сладкій плодъ, такъ, съ другой стороны, безначаліе, какъ и самое сіе слово о томъ свидѣтельствуетъ, есть не что иное, какъ зловонный тукъ, изъ котораго имѣютъ произрасти одни зловредные волчцы. Посему, ежели кто вамъ скажетъ: «идемъ и построимъ башню, касающуюся облакъ», то вы того человѣка бойтесь и даже представьте въ полицію; ежели же кто скажетъ: «идемъ, преклонимъ колѣна», то вы, того человѣка облобызавъ, за нимъ послѣдуйте. Небоящіеся чиновъ оными награждены не будутъ; боящемуся же все дастся, и даже...

Въ одну изъ такихъ свѣтлыхъ минутъ доложили, что пріѣхалъ «новый». Старикъ вдругъ вспрянулъ и потребовалъ чистаго бѣлья. «Новый» вошелъ, потрясая плечами и гремя саблею. Онъ дружески подалъ больному руку, объявилъ, что сейчасъ лишь вернулся съ усмиренія, и заявилъ надежду, что здоровье почтеннѣйшаго старца не только поправится, но, съ Божьею помощью, получитъ дальнѣйшее развитіе. Старикъ былъ видимо тронутъ и пожелалъ остаться съ «новымъ» наединѣ.

Что происходило на этой второй и послѣдней конференціи двухъ административныхъ свѣтилъ—осталось тайною. Какъ ни прикладывали мы съ Павломъ Трофимычемъ глаза и уши къ замочной скважинѣ, но могли разобрать только одно: что старикъ увѣщавалъ «новаго» быть твердымъ и не взирать. На этомъ моментѣ насъ поймала Анна Ивановна и крѣпко-таки пожурила за нашу нескромность.

Черезъ полчаса «молодой человѣкъ» вышелъ изъ спальной съ красными отъ слезъ глазами; онъ чувствовалъ, что лишился друга и совѣтника. Что же касается старика, то мы нашли его въ такой степени спокойнымъ, что онъ могъ безъ помѣхъ продолжать свои наставленія объ анархіи.

Увы! на другой день страшная вѣсть поразила весь городъ...

Такъ потухъ этотъ административный свѣточъ, столь долго удивлявшій міръ своею распорядительностью! Такъ закатилось это свѣтило, не успѣвшее совершить и половину предначертаннаго ему круга!

Склонился долу спѣлый гроздій! склонился подъ бременемъ собственныхъ доблестныхъ подвиговъ и дѣяній! Палъ старый безстрашный боецъ! палъ... жертвою сокращенія переписки!

III.—Старая помпадурша.

I.

Ни для кого внезапная отставка стараго помпадура не была такъ обильна горькими послѣдствіями, ни въ чьемъ существованіи не оставила она такой пустоты, какъ въ существованіи Надежды Петровны Бламанжѐ. Квартальные, секретари и другіе подьячіе, въ ожиданіи новаго помпадура, все-таки продолжали именоваться квартальными, секретарями и подьячими; она одна, въ одно мгновеніе и навсегда, утратила и славу, и почести, и величіе...

Были минуты, когда ей казалось, что она даже утратила свой полъ.

— Главное, ma chère, несите свой крестъ съ достоинствомъ!—говоритъ пріятельница ея, Ольга Семеновна Проходимцева, которая когда-то черезъ нее пристроила своего мужа куда-то секретаремъ:—не забывайте, что на васъ обращены глаза цѣлаго города!

Надежда Петровна вздрогнула и мысленно сравнивала себя съ Изабеллой Испанскою. Что ей теперь «глаза цѣлаго города»! что въ нихъ, когда они устремлялись на нее лишь для измѣренія глубины ея горести! Утративши своего помпадура, она утратила все... даже способность быть патріоткою...

Послѣднія минуты разставанія были особенно тяжелы для нея. По обыкновенію, прощаніе происходило на первой отъ города станціи, куда собрались самые преданные, чтобы проводить въ дальнѣйшій путь добрѣйшаго изъ помпадуровъ. Закусили, выпили, поплакали; секретарь Проходимцевъ даже до того обмочился слезами, что старый помпадуръ только махнулъ рукою и сказалъ:

— Уведите! уведите его... онъ добрый!

Однако, Надежда Петровна была сдержанна и даже довольно искусно притворилась веселою. Ее попросили спѣть что-нибудь—она не отказалась; взяла гитару и пропѣла любимую помпадурову пѣсню:

Шли три онѣ...

И только въ ту минуту, когда пришлось выводить:

Ты, Матрена!
Ты, Матрена!
Не подвертывайся!

голосъ ея какъ будто дрогнулъ...

Но когда доложили, что лошади поданы, когда старый помпадуръ началъ укутываться и уже заносилъ руки, чтобы положить въ уши канатъ, Надежда Петровна не выдержала. Она быстро сдернула съ своихъ плечъ пуховую косынку и, обвернувъ ею шею помпадура, вскрикнула... Отъ этого крика проснулось эхо сосѣднихъ лѣсовъ.

— Nadine a été sublime d'abnégation!—говорила потомъ одна изъ присутствовавшихъ на проводахъ дамъ.—Представьте себѣ, она всю дорогу ѣхала съ открытой шеей и даже не хотѣла запахнуть салопа.

— Et ce cri!—прибавила другая дама:—ce cri! Это было какое-то вдохновеніе! Это было просто что-то такое...

Какъ бы то ни было, но старый помпадуръ уѣхалъ, до такой степени уѣхалъ, что самый слѣдъ его экипажа въ ту же ночь занесло снѣгомъ. Надежда Петровна съ ужасомъ помышляла о томъ, что ее съ завтрашняго же дня начнутъ называть «старой помпадуршей».

Ничто такъ болѣзненно не дѣйствуетъ на впечатлительныя души, какъ перемѣны и утраты. Бываетъ, что даже просто стулъ вынесутъ изъ комнаты, и то ищешь глазами, чувствуешь, что чего-то недостаетъ; представьте же себѣ, какое нравственное потрясеніе должно было произойти во всемъ организмѣ Надежды Петровны, когда она убѣдилась что у нея вынесли изъ квартиры цѣлаго помпадура! Долгое время она не могла освоиться съ этою мыслью; долгое время ее какъ будто подманивало и подмывало. Руки ея машинально поднимались, чтобъ ущипнуть или потрепать кого-то по щекѣ; голова и весь корпусъ томно склонялись, чтобъ отдохнуть на чьей-то груди. Въ ушахъ явственно раздавался чей-то голосъ; талія вздрагивала отъ мнимаго прикосновенія чьей-то руки; грудь волновалась и трепетала; губы полуоткрывались, дыханіе становилось прерывистымъ и жгло. Однимъ словомъ, въ ней какъ будто самъ собой еще совершался тотъ процессъ вчерашней жизни, когда счастье полнымъ ключомъ било въ ея жилахъ, когда не было ни одного дыханія, которое не интересовалось бы ею, не удивлялось бы ей, когда вокругъ нея толпились необозримыя стада робкихъ поклонниковъ, когда она, чтобъ сдерживать ихъ почтительныя представленія и заявленія, была вынуждаема съ томнымъ самоотверженіемъ говорить: «Нѣтъ, вы объ этомъ не думайте! Это все не мое! Это все и на вѣкъ принадлежитъ моему милому помпадуру!..»

— Душенька, не мучь ты себя! Утри свои глазки!— успокаивалъ Надежду Петровну мужъ ея, надворный совѣтникъ Бламанжѐ, стоя передъ ней на колѣняхъ.—Повѣрь, такія испытанія никогда безъ цѣли не посылаются! Со временемъ...

— Что̀ «со временемъ»? Ужъ не вы ли думаете замѣнить мнѣ *сіе*?—съ негодованіемъ прервала его Надежда Петровна.

— Другъ мой! голубчикъ! полно! куда мнѣ! Я говорю: со временемъ...

— Отстаньте! вы мерзки!

Бламанжѐ удалялся въ другую комнату и оттуда робко вслушивался, какъ вздыхала Надежда Петровна.

Бламанжѐ былъ малый кроткій и несъ названіе «помпадуршина мужа» безъ нахальства и безъ особенной развязности, а такъ только, какъ будто былъ имъ чрезвычайно обрадованъ. Онъ успѣлъ снискать себѣ всеобщее уваженіе въ городѣ тѣмъ, что не задиралъ носа и не гордился. Другой на его мѣстѣ непремѣнно сталъ бы и обрывать, и козырять, и финты-фанты выкидывать; онъ же не только ничего не выкидывалъ, но постоянно велъ себя такъ, какъ бы его поздравляли съ праздникомъ.

— Какъ здоровье Надежды Петровны?—спрашивали его знакомые, встрѣтившись на улицѣ.

— Благодарю васъ,—отвѣчалъ онъ любезно:—въ ту минуту, какъ я оставилъ ее, у нея сидѣлъ...

И потомъ, вдругъ скорчивъ таинственную мину, онъ прибавлялъ своему собесѣднику на ухо:

— Опять повздорили!—или:—опять помирились!—смотря по тому, было ли извѣстно собесѣднику, что передъ этимъ между помпадурами произошла любовная размолвка или любовное соглашеніе.

Обыватели не только цѣнили такую ровность характера, но даже усматривали въ ней признаки доблести; да и нельзя было не цѣнить, потому что у всѣхъ былъ еще въ свѣжей памяти мужъ предшествовавшей помпадурши, корнетъ Отлетаевъ, который не только разбивалъ по ночамъ винные погреба, но однажды голый и съ штандартомъ въ рукахъ проскакалъ верхомъ черезъ весь городъ.

Поэтому, когда уѣхалъ старый помпадуръ, Бламанжѐ огорчился этимъ едва ли не болѣе, нежели сама Надежда Петровна. Онъ чувствовалъ, что и въ его существованіи образовался какой-то пропускъ; что ему хочется кому-то поклониться—и поклониться некому; хочется во-время уйти изъ квартиры—и уйти не для чего; хочется сказать: «какъ прикажете?»—и сказать нѣтъ повода. Просто, не стало резона производить тѣ дѣйствія, говорить тѣ рѣчи, которыя производились и говорились въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ сряду и совокупность которыхъ сама собою составляла такую естественную и со всѣхъ сторонъ защищенную обстановку, что и жилось въ ней какъ-то уютнѣе, и спалось словно мягче и безмятежнѣе.

Съ своей стороны, и Надежда Петровна, за все время своего помпадурствованія, вела себя до такой степени умно и осторожно, что не только не повредила себѣ во мнѣніи общества, но даже значительно выиграла. Правда, она гор-

дилась своимъ положеніемъ, но гордилась только въ томъ смыслѣ, что она по совѣсти выполняетъ ту роль благодѣтельной феи, которая выпала на ея долю по волѣ судьбы. Ни одинъ подьячій не уходилъ отъ нея безъ утѣшенія, ни одинъ частный приставъ не миновалъ того, чтобъ не придти въ восторгъ отъ ея ласковаго обращенія.

— Вотъ ужъ именно можно сказать: мухѣ зла не сдѣлала!—восклицали хоромъ эти ревностные исполнители начальственныхъ предначертаній.

Всякому она какъ будто говорила: «посмотри, какая я мягкая, славная, сочная, добрая! И какъ долженъ быть счастливъ со мною твой начальникъ!» Всякому она сумѣла сдѣлать что-нибудь пріятное. У одного крестила дочь или сына, у другого была посаженою матерью; у безплодныхъ ѣла пироги. Не сердилась даже, когда у нея цѣловали ручки и заводили при этомъ разслабляющій чувства разговоръ. Она сама не прочь была поврать; но всякій разъ, когда вранье начинало принимать двусмысленный оборотъ, она, безъ всякой, впрочемъ, строптивости, прерывала разговоръ словами: «Нѣтъ! объ этомъ вы, пожалуйста, ужъ забудьте! Это не мое! Это все принадлежитъ моему милому помпадуру!» Однимъ словомъ, стояла на стражѣ помпадурова добра.

Очень понятно, что обыватели и это сумѣли оцѣнить по достоинству. Вспоминали прежнихъ помпадуршъ, какія онѣ были халды и притязательныя, какъ наушничали, сплетничали и даже истязали; какъ онѣ увольняли и опредѣляли, какъ отягощали налогами и экзекуціями... Передавали другъ другу разсказы о корнетшѣ Отлетаевой, которая однажды въ своего помпадура апельсиномъ на званомъ обѣдѣ пустила, и даже не извинилась потомъ,—и, сравнивая этотъ порывистый образъ дѣйствія съ благосклонно-мягкими, почти неслышными движеніями Надежды Петровны, всѣ въ одинъ голосъ вопіяли:

— Мухи не обидѣла! Самому послѣднему приказному—и тому не сдѣлала зла!

Однимъ словомъ, по мѣрѣ того, какъ она утѣшала своего помпадура, общественное уваженіе къ ней возрастало все больше и больше. Поэтому выходъ ея изъ помпадуршъ былъ не только сносный, но даже блестящій. Обыкновенно бываетъ, что старую помпадуршу немедленно же начинаютъ рвать на куски, т. е. начинаютъ не узнавать ея, дѣлать въ ея присутствіи нѣкоторыя несовмѣстныя тѣло-

движенія, называть «душенькой», подсылать къ ней извозчиковъ; тутъ же, напротивъ, все обошлось какъ нельзя приличнѣе. Цѣлый городъ понялъ великость понесенной ею потери, и когда нѣкоторый остроумецъ, увидѣвъ на другой день Надежду Петровну, одѣтую съ ногъ до головы въ черное, стоящею въ церкви на колѣняхъ и сдержанно, но пламенно молящеюся, вздумалъ-было сдѣлать рукой какой-то вольный жестъ, то все общество протестовало противъ этого поступка тѣмъ, что тотчасъ же послѣ обѣдни отправилось къ ней съ визитомъ.

— Jamais, au grand jamais! même dans ses plus beaux jours, elle n'a été fêtée de la sorte! — говорила статская совѣтница Глумова, вспоминая объ этомъ торжествѣ невинности.

— Просто даже какъ будто она не Бламанжѐ, а какая-нибудь принцесса! — прибавлялъ отъ себя дѣйствительный статскій совѣтникъ Балбесовъ.

Даже кучера долгое время вспоминали, какъ господа ѣздили «Бламанжейшино горе утолять»—такъ великъ былъ въ этотъ день съѣздъ экипажей передъ ея домомъ.

— Вы, пожалуйста, душечка, къ намъ попрежнему! — убѣждала Надежду Петровну предводительша Веденѣева.

— Вы знаете, какъ мы были привязаны къ тому, что̀ для васъ такъ дорого!—прибавляла госпожа Прохвостова.

— Вы знаете, какъ мы цѣнимъ, какъ мы понимаемъ!— перебивала статская совѣтница Глумова.

— Mais venez donc dîner, chère... sans cérémonies! — благосклонно упрашивала дѣйствительная статская совѣтница Балбесова.

— И чѣмъ чаще-съ, тѣмъ лучше-съ! — присовокуплялъ дѣйствительный статскій совѣтникъ Балбесовъ, поглядывая на помпадуршу масляными глазами.—Горе ваше, Надежда Петровна, большое-съ; но, смѣю думать, не безъ надежды на уврачеваніе-съ.

Не мало способствовало такому благополучному исходу еще и то, что старый помпадуръ былъ одинъ изъ тѣхъ, которые зажигаютъ неугасимые огни въ благодарныхъ сердцахъ обывателей тѣмъ, что принимаютъ по табельнымъ днямъ, не манкируютъ званыхъ обѣдовъ и вечеровъ и съ ангельскимъ терпѣніемъ подписываютъ подаваемыя имъ бумаги. Припоминали, какъ предшествовавшіе помпадуры швыряли и даже топтали ногами бумаги, какъ они слонялись по городу, съ пѣной у рта, какъ хлопали квар-

тальныхъ по животу, прибавляя: «что, много тутъ погребено всякихъ курочекъ да поросяточекъ!» какъ невѣжничали на званыхъ обѣдахъ... и не могли не удивляться кротости и обходительности новаго (увы! теперь уже отставного!) помпадура. А такъ какъ и онъ, по началу, оказывалъ нѣкоторыя топтательныя поползновенія, и однажды даже, разсердившись на городническое правленіе, приказалъ всѣмъ членамъ его умереть, то не безъ основанія догадывались, что перемѣна, въ немъ совершившаяся, произошла единственно благодаря благодѣтельному вліянію Надежды Петровны.

— Нѣтъ, вы подумайте, сколько надо было самоотверженія, чтобы укротить такого звѣря!—говорили одни.

— Вѣдь она, можно сказать, всякую его выходку на своемъ тѣлѣ приняла!—утверждали другіе.

— Да-съ, это искусство не маленькое! Быть ввержену въ одну клѣтку съ звѣремъ—и не проштрафиться! — прибавляли третьи.

И такимъ образомъ, и старый помпадуръ, и сама Надежда Петровна, и даже надворный совѣтникъ Бламанжѐ— все дѣйствовало заодно, все способствовало, чтобы привязать къ ней сердца обывателей. Такъ что когда старый помпадуръ уѣхалъ, то она очутилась совсѣмъ не въ томъ ложномъ положеніи, какое обыкновенно становится удѣломъ всѣхъ вообще уволенныхъ отъ должности помпадуршъ, а просто явилась интересною жертвою жестокой административной необходимости. Одно только казалось ей страннымъ: что въ ея существованіи вдругъ какъ будто нѣкто провелъ черту и сказалъ при этомъ: «отнынѣ быть тебѣ, попрежнему, дѣвицей!»

Однако, какъ ни велика была всеобщая симпатія, Надежда Петровна не могла не припоминать. Прошедшее вставало передъ нею, осязательное, живое и ясное; оно шло за ней по пятамъ, жгло ея щеки, тѣснило грудь, закипало въ крови. Она не могла взглянуть на себя въ зеркало безъ того, чтобы вездѣ... вездѣ не увидѣть слѣдовъ стараго помпадура!

— Противный ты, помпадурушка! нашалилъ и уѣхалъ!— говорила она, томно опускаясь на кушетку, а слезы такъ и сыпались крупными алмазами на пылающія щеки.

Надворный совѣтникъ Бламанжѐ обыкновенно ловилъ такія минуты на лету и неслышно, словно у него были бархатныя ноги, подползалъ къ кушеткѣ.

— Другъ мой, — начиналъ онъ: — Богъ милостивъ! Со временемъ...

— Отстаньте! вы мнѣ мерзки! Все противно, все мерзко, все отвратительно!— кричала она на него и нерѣдко даже разбивала при этомъ какую-нибудь бездѣлицу.

Прежде всего ей припоминались первые, медовые дни ихъ знакомства. Что она плѣнила его—въ томъ ничего не было удивительнаго. Это была одна изъ тѣхъ роскошныхъ женщинъ, мимо которыхъ ни одинъ человѣкъ, на заставахъ команду имѣющій, не можетъ пройти безъ содроганія. Въ особенности же раздражительно дѣйствовала ея походка, и когда она, неся поясницу на отлетѣ, не шла, а словно устремлялась по улицѣ, то помпадуръ, самъ того не замѣчая, начиналъ подпрыгивать. Многіе пробовали устоять противъ одуряющаго дѣйствія этой походки, но не устоялъ никто. Однажды окружной акцизный даже пари подержалъ, что устоитъ, но какъ только поровнялся съ очаровательницей, то вдругъ до такой степени взвизгнулъ, что жившій неподалеку мѣщанинъ Полотебновъ сказалъ женѣ: «а что, Мариша, никакъ въ лѣсу заяцъ пѣсню запѣлъ!» Въ этомъ положеніи засталъ его старый помпадуръ.

— Вы, государь мой, въ такихъ лѣтахъ, что можете, кажется, сами понимать, что визжать на улицѣ не прилично!—сказалъ онъ ему строго.

Но акцизный даже не извинился, а продолжалъ лопотать языкомъ что-то непонятное и указывалъ рукой на удаляющуюся Надежду Петровну.

Съ тѣхъ поръ все пошло у нихъ какъ по маслу.

Помпадуръ началъ съ того, что обласкалъ надворнаго совѣтника Бламанжѣ. Потомъ сталъ безпрерывно прохаживаться подъ окнами дома, въ которомъ жила Надежда Петровна, и напѣвать: «Jeune fille aux yeux noirs». Напѣвалъ онъ этотъ романсъ то грустнымъ фальцетомъ, то подражая звуку трубы, при чемъ фальшивилъ неупустительно. Весь городъ замѣтилъ нелѣпое помпадурово шатанье и съ тревожнымъ волненіемъ ожидалъ, чѣмъ оно кончится. Надежда Петровна тоже что-то предчувствовала и, завидѣвъ изъ окна влюбленнаго помпадура, смѣялась тѣмъ тихимъ, счастливымъ смѣхомъ, какимъ смѣются маленькія дѣти, когда у нихъ слегка пощекотятъ животикъ. Наконецъ, въ этомъ дѣлѣ приняла участіе Ольга Семеновна Проходимцева...

Провинція на этотъ счетъ очень услужлива. Когда за-

мѣтитъ, что помпадуръ на охотѣ, то сейчасъ же со всѣхъ сторонъ такъ и посыплются на него всякія благодатныя случайности: и нечаянныя прогулки въ загородномъ саду, и нечаянныя встрѣчи въ домѣ какой-нибудь гостепріимной хозяйки, и нечаянныя столкновенія за кулисами во время благороднаго спектакля. Однимъ словомъ, нѣтъ такого живого дыханія, которое не подѣйствовало бы какимъ-нибудь омерзительнымъ движеніемъ успѣху сего омерзительнаго предпріятія.

Такъ было и тутъ. Помпадуръ встрѣчался съ Надеждой Петровной у Проходимцевой, и встрѣчался всегда случайно. Сначала онъ все пѣлъ: «Jeune fille aux yeux noirs», и объяснялъ, что музыка этого романса была любимымъ церемоніальнымъ маршемъ въ его полку. Иногда, впрочемъ, для перемѣны, принимался разсматривать лежавшія на столѣ картинки и бормоталъ себѣ, по-дурацки, подъ носъ:

— Неприступная!

— Про кого вы тамъ еще шепчете? — спрашивала его Надежда Петровна.

— Небожительница!

О, ежели бы у него былъ хвостъ, она навѣрное увидѣла бы, какъ онъ вилялъ имъ въ это время!

Долго, однакожъ, она не поддавалась обаянію его любезности; по временамъ случалось даже такъ, что онъ затянетъ:

— Des chevaliers ainsi m'ont exprimé leur flamme...

А она въ отвѣтъ:

— Et moi, j'ai refusé l'offre des chevaliers...

И съ такой усмѣшкой посмотритъ на него, что онъ вдругъ, словно обожженный, перемѣнитъ матерію и затянетъ: «T'en souviens-tu?»

— Что это вы вдругъ какую похоронную? — спроситъ Ольга Семеновна.

— Что-жъ дѣлать-съ! Вотъ Надеждѣ Петровнѣ не имѣемъ счастья нравиться!—отвѣтитъ онъ, и какъ-то такъ уморительно надуетъ губы, что Надеждѣ Петровнѣ такъ вотъ и хочется попробовать, какой онѣ издадутъ звукъ, если нечаянно хлопнуть по нимъ пальчикомъ.

Но такъ какъ никто своей судьбы не избѣжитъ, то и для нихъ настала рѣшительная минута.

Однажды—это было осеннимъ вечеромъ—помпадуръ, по обыкновенію, пришелъ къ Проходимцевой и, по обыкнове-

нію же, засталъ тамъ Надежду Петровну. Въ этотъ разъ нервы у нея были какъ-то особенно впечатлительны.

— Jeune fille aux yeux noirs! tu règnes sur mon âme!— затянулъ помпадуръ. Надежда Петровна вполголоса ему вторила:

— Et moi, j'ai refusé...

— Ахъ, нѣтъ! ахъ, нѣтъ! не пойте этого! не смѣйте пѣть!—какъ-то нервически вскрикнула Надежда Петровна, какъ будто хотѣла заплакать.

— Вы... ты...

Сердца ихъ зажглись.

Вспоминала объ этомъ Надежда Петровна въ теперешнемъ своемъ уединеніи,—вспоминала, какъ послѣ этого она пріѣхала домой, безъ всякой причины бѣгала и кружилась по комнатамъ, какъ Бламанжѐ ползалъ по полу и цѣловалъ ея руки; вспоминала... и сердце ея вотще зажигалось, и по щекамъ текли горькія-горькія слезы...

— Какой онъ, однакожъ, тогда глупенькій былъ!—говорила она:—и какъ онъ смѣшно глазами вертѣлъ! какъ онъ старался рулады выдѣлывать, какъ будто я и безъ того не понимала, къ чему эти рулады клонятся!

Отъ одного воспоминанія мысль ея невольно переходила къ другому.

Однажды у Проходимцевой состоялись живыя картины. Были только *свои*. *Онъ* представлялъ Іакова, она—Рахиль. Она держала въ рукахъ наклоненную амфору; складки ея туники спускались на груди и какъ-то случайно разстроились... *Онъ* протягивалъ губы («и какъ онъ уморительно ихъ протягивалъ... глупушка мой!»—думалось ей).

— Эхъ, Надежда Петровна! кабы вы меня такимъ манеромъ попоили!—сказалъ ей тогда дѣйствительный статскій совѣтникъ Балбесовъ; но она сдѣлала видъ, что не слышитъ, и даже не пожаловалась *ему*.

Почему она не пожаловалась? А потому, что онъ однажды сказалъ ей:

— Ты, Наденька, если будутъ къ тебѣ приставать, только скажи! Я сейчасъ его на телѣжку—и фюить!

Она же не только не добивалась ничего подобнаго, но желала одного: чтобы всѣ на нее смотрѣли и радовались.

Потомъ, однажды—было ужъ очень-очень поздно—*онъ* расшалился и вдругъ сказалъ ей:

— Наденька! какое, однакожъ, у тебя тѣло: такъ и таетъ!

Потомъ... они были однажды въ командировкѣ... *онъ* —

по дѣламъ, она—случайно... Ихъ пригласилъ предводитель обѣдать... Бесѣдка... садъ... поетъ соловей... вдали ходитъ письмоводитель и куритъ сигару.

Все это такъ и металось въ глаза, такъ и вставало передъ ней какъ живое! И что всего важнѣе,—по мѣрѣ того, какъ она утѣшала своего друга, уваженіе къ ней все болѣе и болѣе возрастало! Никто даже не завидовалъ! Всѣ знали, что это такъ и есть, такъ и быть должно... А теперь? Что она такое теперь? *Старая* помпадурша! Развѣ это положеніе? развѣ это постъ?

— Ахъ, гдѣ-то онъ теперь, глупушка мой?!

Надежда Петровна томилась и изнывала. Она видѣла, что общество благосклонно къ ней попрежнему, что и квартальные нимало не утратили своей предупредительности; но это ее не радовало и даже какъ будто огорчало. Всякій новый зовъ на обѣдъ или вечеръ напоминалъ ей о прошедшемъ, когда приглашенія приходили естественно, а не изъ сожалѣнія или какой-то искусственно-вызванной благосклонности. Правда, у нея былъ другъ—Ольга Семеновна Проходимцева...

Съ этимъ другомъ она запиралась одинъ-на-одинъ и вспоминала. Она даже сама удивлялась, какой неисчерпаемый источникъ подробностей открывался передъ нею всякій разъ, какъ она принималась припоминать.

— Вотъ какой этотъ помпадурушка глупенькій! Сколько онъ напалилъ!—говорила она Ольгѣ Семеновнѣ, и вновь отыскивала какую-нибудь еще неразсказанную подробность и повѣствовала о ней своему другу.

Отъ остальныхъ знакомыхъ она почти отказалась, а дѣйствительному статскому совѣтнику Балбесову даже напрямки сказала, чтобы онъ и не думалъ, и что хотя помпадуръ уѣхалъ, но она попрежнему принадлежитъ одному *ему*, или, лучше сказать, благодарному воспоминанію о *немъ*. Это до такой степени ожесточило Балбесова, что онъ прозвалъ Надежду Петровну «ходячею панихидой по помпадурѣ»; но и за всѣмъ тѣмъ успѣха не имѣлъ.

— Вѣдь вотъ, сударь, какое этому помпадуру счастье,—говорилъ онъ:—вѣдь, кажется, только и хорошаго въ немъ было, что на обезьяну похожъ, а такую привязанность къ себѣ внушилъ!

Бо́льшую часть времени она сидѣла передъ портретомъ стараго помпадура и все вспоминала, все вспоминала. Случалось иногда, что люди, особенно преданные, успѣвали-

таки проникать въ ея уединеніе и уговаривали ее принять участіе въ какомъ-нибудь увеселеніи. Но она на всѣ эти уговоры отвѣчала презрительной улыбкой. Наконецъ, это сочтено было даже опаснымъ. Попробовали призвать на совѣтъ надворнаго совѣтника Бламанжѐ и заставили его еще разъ стать передъ ней на колѣни...

— Голубчикъ! не отъ себя, а отъ имени цѣлаго общества...—умолялъ злосчастный Бламанжѐ, ползая по полу.

— Вы съ ума сошли! Вы, кажется, забыли, *кто* меня любилъ!—отвѣчала она, величественно указывая на портретъ стараго помпадура.

А помпадуръ, словно живой, выглядывалъ изъ рамокъ и, казалось, одобрялъ ея рѣшеніе.

И вотъ, однажды утромъ, Надежда Петровна едва успѣла встать съ постельки, какъ увидала, что на улицѣ происходитъ какое-то необыкновенное смятеніе. Какъ ни поглощена была ея мысль воспоминаніями прошлаго, но сердце ея невольно вздрогнуло и заколотилось въ груди.

— Поздравляю, душенька! новый помпадуръ пріѣхалъ!—весело сказалъ вошедшій въ это время надворный совѣтникъ Бламанжѐ.

II.

Между тѣмъ уваженіе къ Надеждѣ Петровнѣ все росло и росло. Купцы открыто говорили, что «если бы не она, наша матушка, *онъ* бы, какъ святъ Богъ, и насъ всѣхъ, да и прахъ-то нашъ по вѣтру развѣялъ!» Дворяне и чиновники выводили ее чуть не по прямой линіи отъ князя Олега. Полицеймейстеръ настолько встревожился этими слухами, что, несмотря на то, что былъ обязанъ своимъ возвышеніемъ единственно Надеждѣ Петровнѣ, счелъ долгомъ доложить о нихъ новому помпадуру.

— Скажите бабѣ, чтобы она унялась, а не то... фюить!—отвѣчалъ новый помпадуръ и какъ-то самонадѣянно-лихо щелкнулъ при этомъ пальцами.

Новый помпадуръ былъ малый молодой и совсѣмъ отчаянный. Онъ не зналъ ни наукъ, ни искусствъ и до такой степени мало уважалъ такъ-называемыхъ идеологовъ, что даже изъ Поль-де-Кока и прочихъ классиковъ прочиталъ только избраннѣйшія мѣста. Любимѣйшія его выраженія были: «фюить!» и «куда Макаръ телятъ не гонялъ!»

Тѣмъ не менѣе, когда онъ объѣхалъ мѣстную интеллигенцію, то, несмотря на свою безнадежность, понялъ, что

Надежда Петровна составляетъ своего рода силу, съ которою не считаться было бы неблагоразумно.

— Повѣрьте, mon cher,—открывался онъ одному изъ своихъ приближенныхъ:—эта Бламанжé.. это своего рода московская пресса! Столь же податлива... и столь же тверда. Но что она, во всякомъ случаѣ, волнуетъ общественное мнѣніе—это такъ же вѣрно, какъ дважды-два!

Но что всего болѣе волновало его, такъ это то, что онъ еще ничѣмъ не успѣлъ провиниться, какъ уже встрѣтилъ противодѣйствіе.

— Помилуйте! я пріѣхалъ сюда... и, кромѣ открытаго сердца... клянусь Богомъ, ничего! — говорилъ онъ. — И что-жъ!.. на первыхъ же порахъ...

Однако, мало-по-малу, любопытство взяло верхъ, и однажды, когда полицеймейстеръ явился утромъ, по обыкновенію, то новый помпадуръ не выдержалъ.

— А что... эта старая... какова?— спросилъ онъ.

— Птичка-съ!

— Гм!.. вы понимаете... я... Но...

— Точно такъ-съ.

— Ну, да!

У полицеймейстера сперло въ зобу дыханіе отъ радости. Онъ прежде всего былъ человѣкъ доброжелательный и не могъ не болѣть сердцемъ при видѣ какихъ бы то ни было междоусобій и неустройствъ. Поэтому онъ немедленно отъ помпадура поскакалъ къ Надеждѣ Петровнѣ и засталъ ее сидящею въ унынiи передъ портретомъ стараго помпадура. У ногъ ея ползалъ Бламанжѐ.

— Гдѣ-то ты теперь, глупушка?! Нашалилъ—и уѣхалъ!— разсуждала она сама съ собою.

Однако, когда въ передней послышалось звяканье полицейской шпаги, она не могла не вздрогнуть. Такъ вздрагиваетъ старый боевой конь, заслышавъ призывный звукъ трубы. Надо сказать, впрочемъ, что къ Надеждѣ Петровнѣ всякій и во всякое время могъ входить безъ доклада и требовать себѣ водки и закуски.

— Принеси ты мнѣ, Семенъ, этой рыбки—знаешь?— скомандовалъ полицеймейстеръ въ передней.—А вы, Надежда Петровна, все еще въ слезахъ! Матушка! голубушка! да что-жъ это такое?—продолжалъ онъ, входя въ комнату.— Ну, поплакали, ну, и будетъ!—Глазки-то, глазки-то зачѣмъ же портить?

— Да-съ, вотъ не могу убѣдить!—вступился Бламанжѐ.

— До тѣхъ поръ, покуда...—сказала Надежда Петровна, и голосъ ея оборвался.

— Ну, да, есть резонъ, а вы бы, сударыня, и объ насъ, грѣшныхъ, тоже подумали!

— Что-жъ я могу сдѣлать! теперь моя роль...

Надежда Петровна поникла головой.

— А я вотъ что вамъ доложу, сударыня,—настойчиво продолжалъ полицеймейстеръ:—вмѣсто того, чтобы передъ этимъ, прости Господи, идоломъ унывать, вамъ бы, сударыня, бразды-съ... вотъ что, сударыня!

Но Надежда Петровна попрежнему смотрѣла въ упоръ на стараго помпадура.

— Я, сударыня, еще сегодня имѣлъ счастье докладывать...

Полицеймейстеръ вздохнулъ.

— Что же?—вступился Бламанжѐ.

— А что-жъ, говорятъ, коли они хотятъ противодѣйствовать, такъ и пускай!.. Не хорошо это, Надежда Петровна! Богъ съ васъ за это спроситъ! Такъ-то-съ!

Но она все молчала и, казалось, въ глазахъ смотрящаго на нее помпадура почерпала все бо́льшую и бо́льшую душевную твердость.

«Нашалилъ — и уѣхалъ!»—думалось ей.

— Вотъ то́-то оно и есть-съ!—продолжалъ полицеймейстеръ, какъ бы предвосхищая ея мысль.—Они-то уѣхали, а мы вотъ тутъ отдувайся-съ!

— Я постоянно ей это твержу, — оправдывался Бламанжѐ:—и не я одинъ—все общество!

Но Надежда Петровна уже не слушала болѣе. Она вскочила съ мѣста и, какъ раненая тигрица, устремилась на полицеймейстера.

— Такъ вы забыли, кто меня любилъ?—вскрикнула она на него.—А я... я помню, я все помню!

И съ этимъ словомъ она величественно удалилась изъ комнаты.

Попытки, однако, этимъ не ограничились. Чаще и чаще начали навѣщать Надежду Петровну городскія дамы, и всякая непремѣнно заводила рѣчь о новомъ помпадурѣ. Нѣкоторыя говорили даже, что онъ начинаетъ пріударять.

— Какъ жаль, что около него нѣтъ... vous savez?—прибавляла при этомъ какая-нибудь сердобольная дамочка.

— Нѣтъ, не знаю! — отвѣчала Надежда Петровна съ изумительнымъ равнодушіемъ.

— Ну, этого... какъ это лучше выразить... руководящаго...

— A!

Наступила эпоха обѣдовъ и баловъ. Надежда Петровна все крѣпилась и не спускала глазъ съ портрета стараго помпадура. Въ городѣ стали разсказывать другъ другу по секрету, что она надѣла на себя вериги.

— Mais, enfin, cela commence à devenir ridicule, ma chère!—говорили ей подруги, приглашая принять участіе въ общественныхъ торжествахъ.

— Вы не знаете, mesdames, *кто* меня любилъ, — былъ ея обыкновенный отвѣтъ на эти приставанья: — а я... я знаю! О! я очень, очень много знаю!

— Все это такъ... c'est sublime, il n'y a rien à dire! но все же... всему есть, наконецъ, мѣра!

— Вотъ такъ-то я съ ней каждый Божій день бьюсь! — вступался при этомъ надворный совѣтникъ Бламанжѐ, который въ послѣднее время истаялъ какъ свѣчка.

Въ сущности, однакожъ, сердце ея мало-по-малу подавалось. Она начинала уже анализировать физіономію стараго помпадура и находила, что у него носъ...

— Ахъ, ma chère, посмотрите, какой у него уморительный носъ!—говорила она Ольгѣ Семеновнѣ.

— Я удивляюсь, какъ вы прежде этого не замѣтили,— отвѣчала госпожа Проходимцева, которая и съ своей стороны употребляла всѣ усилія, чтобы заставить Надежду Петровну позабыть о прошедшемъ.—Да и губы-то не больно мудрящія.

И вотъ, однажды, она рискнула даже взглянуть въ окошко... О, ужасъ, она увидѣла новаго помпадура, который шелъ по улицѣ, мурлыкая себѣ подъ носъ:

L'amour—qu'est que c'est que ça, mamselle?
L'amour—qu'est que c'est que ça?

Онъ былъ такъ хорошъ, что она невольно заглядѣлась. Брюнетъ, небольшого роста, но чрезвычайно пропорціонально сложенный, онъ, казалось, былъ созданъ для того, чтобы повелѣвать и очаровывать. На лѣвой щекѣ его была брошена небольшая бородавка (она все замѣтила!), а надъ губой прихотливо вился темный усъ, который онъ по временамъ прикусывалъ. Красота его была совсѣмъ другого рода, нежели красота стараго помпадура. У того и носъ, и губы были такіе мягкіе, такіе уморительные, что такъ и позывало какъ-нибудь ихъ скомкать, смять, а потомъ, пожалуй, и поцѣловать. Но не за красоту поцѣловать, а именно за уморительность. У этого, напротивъ, все было

крѣпко, все говорило о неуклонности, неупустительности и натискѣ.

Но вотъ онъ приближается больше и больше; вотъ онъ уже поровнялся съ домомъ Надежды Петровны; походка его колеблется, колеблется... вотъ онъ остановился... онъ взялся за ручку звонка... Надежда Петровна, вся смущенная и трепещущая, устремилась подъ защиту портрета стараго помпадура. Бламанжѐ еще разъ оказалъ свою понятливость, стремглавъ бросившись вонъ изъ дома.

— Вы меня извините, милая Надежда Петровна,—говорилъ «онъ» черезъ минуту своимъ вкрадчивымъ голосомъ:— я до такой степени уважалъ вашу горесть, что не смѣлъ даже подумать потревожить васъ раньше своимъ посѣщеніемъ. Но прошу васъ вѣрить, что мое нетерпѣніе... тѣ лестные отзывы... если-бъ я могъ слушаться только голоса моего сердца...

Но у Надежды Петровны стучало въ ушахъ. Она уставилась глазами въ портретъ, и ей показалось, что старый помпадуръ сверкалъ на нее оттуда глазами!

— Повѣрьте, — продолжалъ звучать тотъ же медоточивый голосъ: — что я, тѣмъ не менѣе, отнюдь не оставался безучастнымъ зрителемъ вашего горя. Господинъ полицеймейстеръ, конечно, не откажется удостовѣрить васъ, что я неоднократно приказывалъ и даже настаивалъ, чтобы вамъ предоставлены были всѣ способы... словомъ, все, что̀ находится въ моей власти...

Надежда Петровна сидѣла попрежнему, не шевелясь, словно съ ней происходилъ какой-то кошмаръ.

— Однако, мнѣ очень обидно, — гудѣлъ помпадуръ: — скажу больше... мнѣ даже больно, что вы... какъ будто изъ-за меня... лишаете общество, такъ сказать, лучшаго его украшенія! Конечно, я... мои достоинства... Я не могу похвалиться опытностью...

— Нѣтъ, васъ хвалятъ!—промолвила Надежда Петровна, почти не сознавая сама, что̀ говоритъ.

— Общество слишкомъ ко мнѣ снисходительно! Конечно, все, что̀ отъ меня зависитъ... я готовъ жертвовать жизнью... но, в) всякомъ случаѣ, милая Надежда Петровна, вы мнѣ позвольте уйти съ пріятною мыслью... или, лучше сказать, съ надеждою... что вы не захотите меня огорчить, лишая общество, такъ сказать, его лучшаго украшенія!

— Я-съ... если прикажете-съ!—отвѣчала она съ прежнею безсознательностью.

— Не приказываю-съ, но прошу!

Онъ взялъ ея руку и поцѣловалъ.

— Это, кажется, портретъ моего предмѣстника? — спросилъ онъ.

— Да-съ; это онъ-съ.

— Какъ счастливъ онъ былъ въ своихъ привязанностяхъ, и какъ много, какъ много утратилъ съ отъѣздомъ отсюда!

Глаза помпадура становились масляными, рѣчи принимали тенденціозный оттѣнокъ; но Надежда Петровна все еще не выходила изъ своего оцѣпенѣнія.

— Да-съ, онъ былъ счастливъ-съ,—промолвила она, сама удивляясь, отчего языкъ ея говоритъ только однѣ глупости.

— Извините, я больше не смѣю утруждать васъ своимъ присутствіемъ, но позволяю себѣ думать, что уношу съ собою пріятную надежду, что отнынѣ всѣ недоразумѣнія между нами кончены, и вы... вы не лишите общество его... такъ сказать, лучшаго украшенія!—сказалъ онъ, наконецъ, поднимаясь съ дивана и вновь цѣлуя ручку хозяйки.

По уходѣ его Надежда Петровна нѣкоторое время стояла въ остолбенѣніи. Ей казалось, что она выслушала какую-то неуклюжую канцелярскую бумагу, которой смыслъ былъ для нея еще не совсѣмъ ясенъ, но на которую необходимо, во что бы ни стало, дать объясненіе. Наконецъ, когда она очнулась, то первымъ ея движеніемъ было схватить портретъ стараго помпадура.

— Помпадурушка! глупушка мой! Куда-жъ ты уѣхалъ! Что ты со мной сдѣлалъ!—вскрикнула она, какъ бы предчувствуя, что въ судьбѣ стараго помпадура долженъ произойти рѣшительный переворотъ.

III.

Дни шли за днями. Въ головѣ Надежды Петровны все такъ перепуталось, что она не могла уже отличить «jeune fille aux yeux noirs» отъ «l'amour qu'est que c'est que ça». Она знала навѣрное, что то и другое нѣтъ какой-то помпадуръ, но какой именно—доподлинно опредѣлить не могла. Съ своей стороны, помпадуръ горячился, тосковалъ и впадалъ въ административныя ошибки.

Мало-по-малу затворническая жизнь прискучила, и Надежда Петровна начала выѣзжать. Тѣмъ не менѣе, портретъ стараго помпадура все еще стоялъ на прежнемъ мѣстѣ, и когда она уѣзжала на балъ, то всякій разъ останавливалась передъ нимъ на нѣсколько минутъ, во всемъ сіяніи

бальнаго туалета и красоты, чтобы, какъ она выражалась, «не уѣхать, не показавшись своему глупушкѣ». Балы слѣдовали за балами, обѣды за обѣдами, и на каждомъ изъ нихъ она неизбѣжно встрѣчала новаго помпадура, который такъ и пожиралъ ее глазами. Наконецъ, она стала замѣчать, что между нимъ и его предмѣстникомъ существуетъ какое-то странное сходство. Долго она не могла опредѣлить, въ чемъ состоитъ это сходство, пока, наконецъ, не догадалась, что они оба «глупушки». Съ тѣхъ поръ «показываніе» себя передъ портретомъ стараго помпадура сдѣлалось уже пустою формальностью.

Гдѣ бы она ни была, куда бы ни пріѣхала, съ кѣмъ бы ни заговорила — вездѣ и отъ всѣхъ слышала только одно: хвалу новому помпадуру. Полицеймейстеръ хвалилъ въ немъ благородство души, секретарь—мудрость, прокуроръ—стремительность и натискъ.

— Вы, Надежда Петровна, что̀ думаете?—говорилъ прокуроръ.—Вы, можетъ-быть, думаете, что онъ тамъ на балахъ или на обѣдахъ... что онъ пустяками какими-нибудь занимается?.. на плечи нашихъ барынь облизывается?.. Нѣтъ-съ, онъ мѣропріятіе обдумываетъ! Онъ ужъ у насъ такой! Онъ шагу не можетъ ступить, чтобы чего-нибудь не рѣшить!

— Такъ-то такъ, — задумчиво отвѣчала Надежда Петровна:—да боюсь я...

— Чего же вы боитесь? Вы, можетъ-быть, думаете, что онъ на руку тяжелъ? Напрасно-съ! Онъ у насъ вотъ какъ: мухѣ зла не сдѣлаетъ; вотъ онъ у насъ каковъ!

Заволновалась и добрая старушка Проходимцева, про которую въ городѣ говорили, что она минуты не можетъ прожить, чтобы не услужить.

Но помпадуръ былъ робокъ, что̀, впрочемъ, отчасти объяснялось уже тѣмъ, что въ самомъ формулярѣ его было отмѣчено, что онъ не былъ въ походахъ. Онъ легко обдумывалъ мѣропріятія, но чуть только выходилъ на арену практической дѣятельности—оказывался слабымъ и вялымъ. Всѣ его дѣйствія относительно Надежды Петровны были нерѣшительны и даже просто глупы. Такъ, напримѣръ, однажды, на какомъ-то званомъ обѣдѣ, онъ, въ ея глазахъ, похитилъ со стола грушу, положилъ въ карманъ и послѣ обѣда, подавая ее Надеждѣ Петровнѣ, какимъ-то отчаяннымъ голосомъ сказалъ:

— Кушайте!

— На что мнѣ?—изумилась Надежда Петровна.

— Такъ... это такъ!—почти закричалъ онъ, какъ будто воровство груши терзало его сердце, и вслѣдъ затѣмъ какъ-то такъ глупо заржалъ, что старая помпадурша не могла не подумать:

«Господи! да какой же онъ, однако, глупушка!»

Въ другой разъ, на балу, онъ долгое время стоялъ молча подлѣ нея и вдругъ проглаголалъ:

— Какъ бы я желалъ, чтобы въ вашемъ домѣ случился пожаръ!

— На что-жъ это вамъ?—изумилась Надежда Петровна.

— Такъ! Я бы... я бы собственноручно васъ вынесъ изъ пламени!

Въ третій разъ онъ ее спросилъ:

— Вы когда-нибудь цѣлуете вашего Бламанжѐ?

— Зачѣмъ вамъ?

— Хочу знать!

— Не слишкомъ ли вы любопытны?

— Хочу знать!

— Н-нѣ... иногда...

— Отлично! А знаете ли вы, что вашъ Бламанжѐ на скорохода похожъ?

Въ четвертый разъ онъ накинулся на Бламанжѐ и началъ его цѣловать.

— Что вы дѣлаете?—испугалась Надежда Петровна.

— Цѣлую!

— Да перестаньте же! Развѣ не видите, что онъ весь посинѣлъ?

— Цѣлую!—повторялъ онъ, обнаруживая какое-то нестественное ожесточеніе.

Вообще дѣйствія его были не только не рѣшительны, но и загадочны. Иногда онъ возьметъ Надежду Петровну за руку, держитъ ее, гладитъ и вдругъ какъ-то такъ нелѣпо рванетъ, что она даже вскрикнетъ; иногда вскочитъ со стула, словно ужаленный, схватитъ фуражку и, не говоря ни слова, удеретъ домой. Однимъ словомъ, были всѣ признаки; недоставало одного: словесности.

Надеждѣ Петровнѣ показалось, что его стѣсняетъ портретъ стараго помпадура. Его сняли со стола и повѣсили на стѣну. Но и оттуда онъ какъ будто бы примѣчалъ. Тогда надворный совѣтникъ Бламанжѐ предложилъ перенести его, какъ личнаго своего друга, въ свою комнату. Надежда Петровна задумалась, вздохнула... и согласилась.

Не надо думать, однако, чтобы новый помпадуръ былъ человѣкъ холостой; нѣтъ, онъ былъ женатъ и имѣлъ дѣтей; но жена его только и дѣлала, что съ утра до вечера ѣла печатные пряники. Это зрѣлище до такой степени истерзало его, что онъ, съ горя, чуть-чуть не погрузился въ чтеніе недоимочныхъ реестровъ. Но и это занятіе представляло слишкомъ мало пищи для ума и сердца, чтобы наполнить помпадурову жизнь. Онъ сталъ ходить въ губернское правленіе и тосковать.

Между тѣмъ, зимній сезонъ окончился; наступилъ постъ; пахнуло весной. Надежда Петровна чувствовала, какъ грудь ея млѣла и закипала. Чтобы угомонить наплывъ жизни, она по цѣлымъ часамъ выстаивала передъ открытою форточкой, вдыхая влажный воздухъ, и выхаживала десятки верстъ, безстрашно проникая въ самые глухіе закоулки города. Усталая, полуразбитая возвращалась она домой, опускалась на кушетку и закрывала глаза. Тяжелая, безпокойная дремота на короткое время оковывала ея члены, и цѣлыя сотни помпадуровъ вереницею проходили передъ ея умственными взорами. Тутъ были всякіе: и съ усами, и безъ усовъ, и бѣлокурые, и брюнеты, и съ бородавками, и безъ бородавокъ, и высокоствольные, и низкоствольные; но,—увы!—между ними не было одного—не было новаго помпадура! Что-то странное произошло съ нимъ: онъ не только пересталъ прохаживаться подъ ея окнами, но даже какъ будто избѣгалъ встрѣчи съ нею. Такъ-таки вдругъ и оборвалъ.

«Неужто-жъ онъ только того и добивался, чтобъ расцѣловать этого противнаго Бламанжѐ?»—думалось иногда Надеждѣ Петровнѣ.

Дѣло состояло въ томъ, что помпадуръ отчасти боролся съ своею робостью, отчасти кокетничалъ. Онъ не меньше всякаго другого ощущалъ на себѣ вліяніе весны, но, какъ всѣ люди робкіе и въ то же время своевольные, хотѣлъ, чтобы Надежда Петровна сама повинилась передъ нимъ. Въ ожиданіи этой минуты, онъ до такой степени усилилъ нѣжность къ женѣ, что даже сталъ вмѣстѣ съ нею ѣсть печатные пряники. Такимъ образомъ, дни проходили за днями; Надежда Петровна тщетно ломала себѣ голову; публика ожидала въ недоумѣніи.

Публика эта раздѣлилась на два лагеря. Часть ея, имѣя во главѣ полицеймейстера, рѣшительно во всемъ обвиняла Надежду Петровну.

— Я все ей прощу,—гремѣлъ въ клубѣ глава недовольныхъ

ныхъ:—но одного простить не могу: зачѣмъ она истерзала благороднѣйшее въ мірѣ сердце!

Другая часть, напротивъ, оправдывала ее. Утверждали, что помпадуръ самъ во всемъ виноватъ, что онъ сначала завлекъ благороднѣйшую въ мірѣ женщину, а потомъ своею непростительною медлительностью поставилъ ее въ фальшивое положеніе.

— Чѣмъ въ правленіе-то шататься да пустяки на бобахъ разводить, лучше бы дѣло дѣлать!—говорили защитники.

Какъ бы то ни было, но Надежда Петровна стала удостовѣряться, что уваженіе къ ней съ каждымъ днемъ умаляется. То вдругъ, на какомъ-нибудь благотворительномъ концертѣ, угонятъ ея карету за тридевять земель; то кучера совсѣмъ напрасно въ части высѣкутъ; то Бламанжѐ скажутъ въ глаза язвительнѣйшую колкость. Никогда ничего подобнаго прежде не бывало, и всѣ эти маленькія непріятности тѣмъ сильнѣе язвили ея сердце, что старый помпадуръ избаловалъ ее въ этомъ отношеніи до послѣдней степени.

Наконецъ, посинѣли и разлились рѣки; въ полѣ показалась первая молодая травка; въ сосѣднемъ пруду затрещали лягушки, въ сосѣдней рощѣ защелкалъ соловей. До Надежды Петровны стали доходить слухи, что у нея явилась соперница, какая-то татарская княгиня Уланбекова, которую недовольная партія нарочно выписала изъ Казанской губерніи.

«Изъ-за чего же онъ со мной эту комедію игралъ?»—спрашивала она себя, бѣгая въ отчаяньи по комнатамъ и вымещая на Бламанжѐ свою досаду.

Однажды она, по обыкновенію, утомляла себя ходьбою по городскимъ улицамъ, какъ вдругъ, на углу одной изъ нихъ, столкнулась лицомъ къ лицу съ самимъ помпадуромъ. Онъ былъ обаятеленъ попрежнему, хотя на его лицѣ вскочило нѣсколько прыщей.

— Вы что-жъ это перестали ко мнѣ ходить?—спросила она его голосомъ, въ которомъ слышались и укоръ, и строгость.

Помпадуръ растерялся и началъ разводить на бобахъ какую-то канцелярскую чепуху.

— Какъ вы смѣете не ходить ко мнѣ?—наступала она на него, не слушая возраженій.

Она была въ неописанномъ волненіи; голосъ ея дрожалъ; на глазахъ блистали слезы. Эта женщина, всегда столь *скромная,* мягкая и даже слабая, вдругъ дошла до такого

изступленія, что помпадуръ началъ опасаться, чтобъ съ ней не сдѣлалась на улицѣ истерика.

— Знаю я; знаю я все, что̀ вы дѣлаете!—продолжала она, не помня себя отъ волненія.—Вы около этой мерзкой татарки ухаживаете! Только смѣйте у меня не придти сегодня къ Ольгѣ Семеновнѣ!

Помпадуръ не сопротивлялся. Онъ понялъ, что участь его рѣшена.

IV.

Сердца ихъ зажглись...

Но, какъ правдивый историкъ, я не могу скрыть, что новое помпадурство Надежды Петровны далеко не имѣло того кроткаго характера, какъ первое. Напротивъ того, оно ознаменовалось нѣсколькими жестокостями, которыя, по мнѣнію моему, были, по малой мѣрѣ, безполезны.

Во-первыхъ, татарскую княгиню Уланбекову немедленно—фюить! и водворили въ городѣ Свіяжскѣ, при сліяніи рѣки Свіяги съ Волгою.

Во-вторыхъ, полицеймейстера удалили отъ должности, а прочихъ недовольныхъ разослали въ заточеніе.

Въ-третьихъ, помпадурову жену лишили послѣдняго утѣшенія: запретили ѣсть печатные пряники.

Въ-четвертыхъ, съ Бламанжѐ поступили до того скверно, что даже невозможно сказать...

IV.—«Здравствуй, милая, хорошая моя!»

Кому изъ петербургскихъ обывателей не извѣстенъ Дмитрій Павлычъ Козелковъ? Товарищи и сверстники звали его Митей, Митенькой, Козликомъ и Козленкомъ; старшіе при видѣ его какъ-то особенно благодушно улыбались. Должность у Козелкова была не мудреная: выйти въ двѣнадцать часовъ изъ дому въ департаментъ, тамъ потереться около столовъ и разсказать пару скандалезныхъ анекдотовъ, отъ трехъ до пяти пограпить мостовую на Невскомъ, потомъ обѣдать въ долгъ у Дюссо, потомъ въ Михайловскій театръ, потомъ... всюду, куда ни потянетъ Сережу, Сережку, Левушку, Петьку и прочихъ шалуновъ возрождающейся Россіи. Вотъ и все. Козелковъ прожилъ такимъ образомъ съ самаго выхода изъ школы до тридцати лѣтъ и все продолжалъ быть Козленкомъ и Митенькой, несмотря на то, что по чину ужъ глядѣлъ въ превосходительные. Старшіе все такъ же благодушно улыбались при его появленіи, а сверстники

подмигивали и на ходу спрашивали: «Что, Козликъ, сегодня хватимъ?» — «Хватимъ», отвѣчалъ Козликъ и продолжалъ гранить тротуары на Невскомъ проспектѣ, покуда не наступалъ часъ обѣдать въ долгъ у Дюссо.

Но въ тридцать лѣтъ Козелкова вдругъ обуяла тоска. Пересталъ онъ разсказывать скандальные анекдоты, началъ обижаться даваемыми ему въ носъ щелчками и аккуратнѣе прежняго пустился ловить взоры начальниковъ. Однимъ словомъ, обнаружилъ признаки нѣкоторой гражданственной зрѣлости.

— Митенька! да что съ тобой, милый человѣкъ?—спрашивали его сверстники.

— Mon cher, мнѣ ужъ все надоѣло!

— Что надоѣло-то?

— Всѣ эти Мальвины... Дюссо... однимъ словомъ, эта жизнь безъ цѣли, въ которой тратятся лучшія наши силы!

— Повтори, повтори! какъ ты это сказалъ?

И т. д., и т. д. Но Козликъ былъ себѣ-на-умѣ и началъ все чаще и чаще похаживать къ своей тетушкѣ, княжнѣ Чепчеулидзевой-Уланбековой, несмотря на то, что она жила гдѣ-то на Пескахъ и питалась одною капицей. «Ma tante» Чепчеулидзева была фрейлиной въ 1778 году, но, по старости, до такой степени перезабыла русскую исторію, что даже однажды, начитавшись анекдотовъ г. Семевскаго, увѣряла, будто бы она, еще маленькую, носила на рукахъ блаженныя памяти императрицу Елизавету Петровну.

— Красавица была!—шамкала старая дѣвственница.— И бойкая какая! Однажды призываетъ графа Аракчеева,— или нѣтъ... кто, бишь, Митя, при ней Аракчеевымъ-то былъ?

— Le général Münich, ma tante,—отвѣчалъ Митя наудачу.

— Ну, все равно. Призываетъ она его и говоритъ: «графъ Петръ Андреичъ!»...

Но, высказавши эти нѣсколько словъ, старуха уже утомлялась и засыпала. Потомъ, черезъ нѣсколько минутъ, опять просыпалась и начинала разсказывать:

— Вѣдь этотъ Данилычъ-то изъ простыхъ былъ! Ну, да: покойница бабушка разсказывала, что она сама разъ видѣла, какъ онъ къ покойной великой княгинѣ Софьѣ Алексѣевнѣ... А какъ Хованскій-то былъ хорошъ! Покойница царица Тамара сама говорила мнѣ, что однажды на балу у Матрены Балкъ...

Однимъ словомъ, это была старуха безтолковая, къ кото-

рой собственно и не стоило бы ѣздить, если-бъ у нея не было друга въ лицѣ князя Оболдуй-Тараканова. Князь былъ камергеромъ въ то же самое время, когда княжна была фрейлиной; годами онъ былъ даже старше ея, но могъ еще съ грѣхомъ пополамъ ходить и называлъ княжну: «ma chère enfant». Въ то время, когда Козлику исполнилось тридцать лѣтъ, князь еще не совсѣмъ былъ сданъ въ архивъ, и потому, при помощи старыхъ связей, могъ, въ случаѣ надобности, оказать и протекцію.

Однажды вечеромъ, когда старики уже досыта наговорились, Козликъ не безъ волненія приступилъ къ дѣйствительной цѣли своихъ посѣщеній.

— Ma tante,—сказалъ онъ:—я хотѣлъ бы пристроиться.

— Что-жъ, мой другъ, это доброе дѣло! Вотъ если-бъ жива была покойница Машенька Гамильтонъ..

— Mais comme il l'a traitée, le barbare!—вставилъ отъ себя словцо старикъ-князь.

— Pardon, ma tante, я не объ этомъ говорю... Мнѣ хотѣлось бы пристроиться, то-есть мѣсто найти.

— Такъ что-жъ, мой другъ! Я могу объ этомъ государю написать! Козелковы всегда были въ силѣ: это, мой другъ, старинный дворянскій домъ! Однажды, блаженныя памяти императрица Анна Леопольдовна...

— Ma tante, il ne s'agit pas de cela! Нынче ужъ даже совсѣмъ не тотъ государь царствуетъ, о которомъ вы говорите!

— Le gamin a raison! Мы съ вами увлеклись, chère enfant!—произнесъ князь.

— Я хотѣлъ, ma tante, просить васъ, чтобы вы замолвили за меня словечко князю,—опять началъ Козелковъ.

— Для Козелковыхъ, мой другъ, всѣ дороги открыты! Я помню еще покойный князь Григорій Григорьевичъ говаривалъ...

— Извините меня, ma tante: все это было очень давно, а теперь хоть я и Козелковъ, но долженъ хлопотать!

— Le gamin a raison!—повторилъ князь.

— Если-бъ вы взяли, князь, на себя трудъ сказать нѣсколько словъ вашему внуку...

— Вамъ, молодой человѣкъ, при дворѣ хочется мѣсто получить?

— Нѣтъ, я хотѣлъ бы въ губернію...

— Гм!.. А въ мое время молодые люди все больше при дворѣ заискивали... Въ мое время молодые люди при дворѣ монимаску танцовали... Вы помните, chère enfant?

Однимъ словомъ, съ помощью ли ходатайства стараго князя, или цѣною собственныхъ усилій, но Козелковъ, наконецъ, назначенъ былъ въ Семиозерскую губернію. Извѣстіе это произвело шумную радость въ рядахъ его сверстниковъ.

— Такъ это правда, милый человѣкъ, что тебя въ Семиозерскую губернію назначили?—спрашивалъ одинъ.

— А, ну, представь-ка намъ, какъ ты чиновниковъ принимать будешь.—приставалъ другой.

И т. д., и т. д.

А Митенька слушалъ эти привѣтствія и втихомолку старался придать себѣ сколько возможно болѣе степенную физіономію. Онъ пріучилъ себя говорить басомъ, началъ диспутировать объ отвлеченныхъ вопросахъ, каждый день ходилъ по департаментамъ и съ большимъ прилежаніемъ справлялся о томъ, какіе слѣдуетъ имѣть principes въ различныхъ случаяхъ губернской административной дѣятельности.

Черезъ нѣсколько дней онъ появился въ кругу своихъ товарищей уже совершенно обновленный.

— Mon cher, il faut avoir des principes pour administrer!—серьезно убѣждалъ онъ Левушку Погонина.

— Да что-жъ ты будешь администрировать-то, душка ты этакой?!

— Однако, mon cher, согласись самъ, что есть вопросы, въ которыхъ можно идти и такъ, и этакъ!

— Ну, ты и иди и такъ, и этакъ!

— Я, съ своей стороны, принялъ себѣ за правило: быть справедливымъ—и больше ничего!

Разумѣется, Митенька счелъ священнымъ долгомъ явиться и къ ma tante; но при этомъ видъ его уже до того блисталъ красотою, что старуха совсѣмъ не узнала его.

— Господи! да никакъ это камеръ-юнкеръ Монсъ пришелъ!—сказала она и чуть-чуть не отправилась на тотъ свѣтъ отъ страха.

Старикъ-князь тоже принялъ его благосклонно и даже почтилъ наставленіемъ.

— Въ наше время, молодой человѣкъ,—сказалъ онъ:—когда назначали на такіе посты, то назначаемые преимущественно старались о соединеніи общества и потомъ ужъ вникали въ дѣла...

— Я, князь, постараюсь.

— Я вами доволенъ, молодой человѣкъ, но не могу не сказать: прежде всего вы должны выбрать себѣ правителя

канцеляріи. Я помню: покойникъ Маркъ Константинычъ никогда бумагъ не читалъ, но у него былъ правитель канцеляріи... une célebrité! Вся губернія знала его comme un coquin fieffé... но дѣла шли отлично!

На семиозерскій міръ назначеніе Козелкова подѣйствовало какимъ-то ошеломляющимъ образомъ. Чиновники спрашивали себя, кто этотъ Козелковъ, и могли дать отвѣтъ, что это Козелковъ, Дмитрій Павлычъ—и больше ничего. Два совѣтника казенной палаты чуть не поссорились между собою, разсуждая о томъ, будетъ ли Козелковъ дерзокъ на языкъ, или же будетъ «мягко стлать, да жестко спать». Наконецъ, однакожъ, губернскій прокуроръ получилъ изъ Петербурга письмо, въ которомъ писалось, что ѣдетъ, дескать, къ вамъ «Козелковъ—малый удивленія достойный». Прокуроръ до того разозлился на своего корреспондента за такое непростительно-неясное опредѣленіе, что тутъ же разорвалъ его письмо въ клочки.

Но, въ сущности, корреспондентъ былъ правъ, ибо Козелковъ былъ именно «малый удивленія достойный»—и ничего больше.

Тотъ, кто зналъ Козелкова въ Петербургѣ,—Козелкова, съ мучительнымъ безпокойствомъ размышлявшаго о томъ, что Дюссо во всякую минуту жизни можетъ прекратить ему кредитъ,—тотъ, конечно, изумился бы, встрѣтивши его въ Семиозерскѣ на первыхъ порахъ административной его дѣятельности. Во-первыхъ, тамъ никто не называлъ его ни Митей, ни Митенькой, ни Козликомъ, ни Козленкомъ, а звали всѣ вашествомъ; и только немногіе аристократы позволяли себѣ употреблять въ разговорѣ его имя и отчество во-вторыхъ, въ его наружности появилась сановитость и какая-то глянцовитая непроходимость; въ-третьихъ, въ головѣ его завелось цѣлое гнѣздо принциповъ.

Тѣмъ не менѣе, первое знакомство его съ семиозерской публикой произвело на послѣднюю самое благопріятное впечатлѣніе. Одинъ почтенный старецъ выразился о немъ, что онъ «достолюбезный сынъ церкви»; жена губернскаго предводителя сказала: «ничего, онъ очень милъ, но, кажется, слишкомъ серьезенъ»; вице-губернаторъ промычалъ что-то невнятное; градской голова удивился, что онъ «въ такихъ младыхъ лѣтахъ, а поди-ткось!» Одинъ губернскій прокуроръ, какъ человѣкъ желчный, отозвался: «а что это нашъ Дмитрій-то Павлычъ какъ будто на Митьку похожъ!» Онъ

нимъ словомъ, всѣ, за исключеніемъ прокурора, нашли, что это молодой администраторъ вникательный и, кажется, съ направленіемъ.

Съ своей стороны, Митенька дѣлалъ все, чтобы очаровать семиозерскихъ сановниковъ и расположить общественное мнѣніе въ свою пользу. Онъ съ каждымъ губернскимъ тузомъ побесѣдовалъ отдѣльно, каждаго разспросилъ о подробностяхъ ввѣренной ему части и каждому любезно присовокупилъ, что онъ долженъ еще учиться, и очень счастливъ, что нашелъ такихъ опытныхъ и достойныхъ руководителей.

Разумѣется, дѣло началось съ губернскаго предводителя, и, надо сказать правду, это было дѣло самое щекотливое. Предводитель былъ малый суровый и безцеремонный, и на всѣхъ вообще «сатраповъ» смотрѣлъ безразлично, то-есть какъ на лицъ, мѣшавшихъ дворянству развиваться безпрепятственно. Онъ постоянно былъ въ контрѣ со всѣми губернаторами, и когда ему замѣчали, что всѣ эти лица—точно такіе же дворяне, какъ и онъ самъ, онъ неизмѣнно отвѣчалъ:

— Чтобъ дворянинъ пошелъ продавать себя за двугривенный—да это Боже упаси! Значитъ, вы, сударь, не знаете, что русскій дворянинъ служитъ своему государю даромъ, что дворянское, сударь, дѣло—не кляузничать, а служить!

Повторяю: это былъ малый суровый и несообразительный. Но за эту-то несообразительность онъ и держался нѣсколько трехлѣтій сряду на своемъ посту, потому что мы, русскіе, очень охотно смѣшиваемъ это качество съ твердостью характера и неподкупностью убѣжденія. Митенька зналъ это качество, и, признаться, немножко-таки потрухивалъ.

— Я надѣюсь, Платонъ Иванычъ, что вы не оставите меня вашими совѣтами,—началъ онъ.

— Радъ-съ. Только у насъ, вашество, такая чепуха идетъ, что никакъ этого дѣла перемѣнить нельзя... Въ губернскомъ правленіи, въ строительной комиссіи—просто денной грабежъ!

— Тсс... такъ вы полагаете?..

— Ничего я не полагаю, а навѣрное говорю, что въ губернскомъ правленіи денной грабежъ. Мнѣ что! я въ чужія дѣла не вмѣшиваюсь, а сказать—всегда скажу!

— Какая же причина, однакожъ?

— А та и причина, что до вашества у насъ на этомъ мѣстѣ сряду десять фофановъ сидѣло... ну, и насидѣли!

Митеньку нѣсколько покоробило.

— Я всѣмъ говорилъ правду, — продолжалъ предводитель: — и вамъ буду правду говорить! Хотите меня слушать—слушайте! Не хотите—мнѣ что̀ за дѣло!

— Я, Платонъ Иванычъ, пріѣхалъ сюда учиться...

— Ну, ужъ гдѣ намъ ученыхъ учить!

— Нѣтъ, увѣряю васъ! Я очень счастливъ, что нахожу такого опытнаго и достойнаго руководителя!

— Очень радъ-съ, очень радъ-съ! Милости просимъ ко мнѣ хлѣба-соли откушать.

— Благодарю васъ. Повторяю вамъ, что я счастливъ, я совершенно счастливъ, встрѣчая такого опытнаго и достойнаго руководителя!

Такимъ образомъ, дѣло сошло съ рукъ благополучно. Съ остальными тузами и чиновниками оно пошло еще лучше. Вице-губернатора Митенька принялъ вмѣстѣ съ прочими членами губернскаго правленія. Всѣ обладали темно-оливковыми физіономіями, напоминавшими собой изображенія эѳіоповъ. Принимая ихъ, Митенька имѣлъ видъ довольно строгій, потому что ему предстояло сдѣлать внушеніе.

— Господа! правда ли, что̀ до свѣдѣнія моего дошло: будто вы ссоритесь между собою? — спросилъ онъ совершенно серьезно.

Члены злобно взглянули другъ на друга.

— Мы не ссоримся, а по дѣламъ диспуты имѣемъ,— выступилъ впередъ старшій совѣтникъ Штановскій.

— Вотъ изволите, вашество, видѣть! —подстрекнулъ и въ то же время сфискалилъ вице-губернаторъ.

— Господинъ Штановскій, ваша рѣчь впереди!—замѣтилъ Митенька, слегка возвышая голосъ.—Господа! я желаю, чтобъ у меня этихъ диспутовъ не было!

— Во второмъ томѣ свода законовъ, статья...—заикнулся было Штановскій.

— Господинъ Штановскій, я имѣлъ честь замѣтить вамъ, что ваша рѣчь впереди! Господа! Я увѣренъ, что, имѣя такого опытнаго и достойнаго руководителя, какъ Садокъ Сосѳеновичъ (пожатіе руки вице-губернатору), вы ничего не придумаете лучшаго, какъ слѣдовать его совѣтамъ! Ну-съ, а теперь поговоримъ собственно о дѣлахъ. Въ какомъ, напримѣръ, положеніи у васъ недоимки?

— Тысячъ пятьсотъ, а може и поболѣ буде,—отозвался на этотъ вопросъ совѣтникъ Валяй-Бурляй.

— Вотъ онъ всегда такъ, вашество, отвѣчаетъ! — опять сфискалилъ вице-губернаторъ и, обращаясь къ Валяй-

Бурляю, прибавилъ: — А вы скажите, сколько поболѣ-то будетъ?

— Самы кажыты!

— Господинъ Валяй-Бурляй! извините меня, но я долженъ сказать, что вы совсѣмъ не такъ говорите съ своимъ прямымъ начальникомъ, какъ слѣдуетъ говорить подчиненному! Господа! обращаю ваше вниманіе на недоимки и, въ виду этого предмета, убѣждаю прекратить ваши раздоры! Недоимка — это, такъ сказать, государственный нервъ... Надѣюсь, что мнѣ больше не придется вамъ это повторять.

Митенька простился и пожелалъ остаться наединѣ съ вице-губернаторомъ. Но когда совѣтники были уже у дверей, онъ что-то вспомнилъ.

— Господинъ Мерзопупіосъ!—сказалъ онъ, кличa третьяго совѣтника:—не знаю, правда ли, что̀ до свѣдѣнія моего дошло: будто бы здѣсь собственность совершенно не уважается?

Мерзопупіосъ вильнулъ всѣмъ тѣломъ.

— Собственность есть священнѣйшее изъ правъ человѣка,—продолжалъ Митя:—и взысканія по безспорнымъ обязательствамъ...

Митенька запнулся, потому что вспомнилъ, что самъ не заплатилъ еще своего долга Дюссо.

— Я надѣюсь, что вы не заставите меня повторять это,— продолжалъ онъ и взглядомъ отпустилъ Мерзопупіоса.

Я не буду описывать дальнѣйшихъ представленій. У управляющаго палатой государственныхъ имуществъ Митенька спросилъ, въ какомъ состояніи находится скотоводство въ губерніи; у предсѣдателя казенной палаты—до какой цифры простирается питейный доходъ и т. д. Всѣмъ вообще сказалъ, что очень радъ найти въ нихъ достойныхъ и опытныхъ руководителей.

Не могу умолчать и о разговорѣ съ губернскимъ полковникомъ. Впустивши его въ кабинетъ, Митенька даже счелъ за надобное притворить за нимъ дверь поплотнѣе и вообще, кажется, предположилъ себѣ всласть отвести душу бесѣдой съ этимъ сановникомъ.

— Что̀ вы скажете, полковникъ, насчетъ здѣшняго образа мыслей?—спросилъ онъ, значительно понизивши голосъ.

— Образъ мыслей здѣсь самый, вашество, благородный,— отвѣчалъ полковникъ:—и если-бъ только начальство уважило мое ходатайство о высылкѣ отставного поручика Шишкина, то смѣло могу сказать...

— Кто этотъ Шишкинъ?—прервалъ Митенька, нѣсколько встревожившись.

— Отставной поручикъ-съ. Вы не можете вообразить себѣ, вашество, что̀ это за ужаснѣйшій человѣкъ! Намеднись, можете себѣ представить, ухитрялся пролѣзть подъ водою въ женскую купальню!

— И много тамъ дамъ было?

— Въ самый, вашество, разъ попалъ! И представьте, вашество, что̀ говоритъ въ свое оправданіе: «я, говоритъ, съ купчихой Берендеевой хотѣлъ свиданіе имѣть!»—Да развѣ вамъ нѣтъ, сударь, другихъ мѣстъ для свиданій? Развѣ вы простолюдинъ какой-нибудь, что не можете благороднымъ манеромъ свиданіе получить?

— Однако, у него губа не дура, у этого Шишкина!

— Просто, вашество, весь женскій полъ цѣлую недѣлю въ смятеніи былъ.

— Гм!.. объ этомъ нужно подумать! Ну, а политическаго ничего нѣтъ?

— Политическаго, вашество, рѣшительно ничего въ нашей губерніи нѣтъ.

— А молодые люди есть?

— Есть, вашество, но это именно прекраснѣйшіе молодые люди, изъ которыхъ со временемъ образуются прекраснѣйшіе сановники.

— Что̀ читаютъ?

— «Московскія Вѣдомости», вашество, но и то—какъ бы сказать?—одно литературное прибавленіе, а не политику.

Собесѣдники на минуту смолкли.

— Знаете ли что̀,—первый прервалъ молчаніе Митенька:—я думаю преимущественно обратить вниманіе на общественную безопасность... А?

— Конечно, вашество, это самая главная вещь въ губерніи. Вотъ если-бъ, вашество, Шишкина...

— Потому что—вы меня понимаете?—если общественная безопасность обезпечена, то, значитъ, и собственность ограждена, и всякимъ удовольствіямъ мирные граждане могутъ предаваться съ полною непринужденностью...

— Ужъ на что̀ же лучше? Только бы, вашество, Шишкина... право, вашество, это не человѣкъ, а зараза!

— Объ Шишкинѣ, полковникъ, не заботьтесь! Я ручаюсь вамъ, что сдѣлаю изъ него полезнаго члена общества! А еще я полагаю посмотрѣть здѣшній гостиный дворъ и установить равновѣсіе между спросомъ и предложеніемъ.

Полковникъ потупился, потому что не понималъ.

— Я вижу, что это для васъ ново. «Спросъ»—это вообще... требованіе товара; «предложеніе»—это... предложеніе товара же. Понимаете? Теперь, значитъ, если спросъ великъ, а предложеніе слабо, то цѣна на товаръ возвышается, и бѣдные отъ этого страдаютъ...

— Это, вашество, будетъ для города такая польза... такое, можно сказать, благодѣяніе...

— Я хочу, чтобъ у меня каждый могъ имѣть все, что ему нужно, за самую умѣренную цѣну,—продолжалъ Митенька, и даже самъ выпучилъ глаза, вспомнивъ, что почти такую же штуку вымолвилъ въ свое время Генрихъ IV.

Собесѣдники опять смолкли, потому что полковникъ окончательно раскисъ.

— Ну-съ, очень радъ; очень счастливъ, что нахожу такого опытнаго и достойнаго руководителя,—заключилъ Митенька и разстался съ полковникомъ.

Въ это же утро Митенька посѣтилъ острогъ; ѣлъ тамъ щи съ говядиной и гречневую кашу съ масломъ, выпилъ кружку квасу и велѣлъ покурить въ коридорѣ. Затѣмъ посѣтилъ городскую больницу, ѣлъ габеръ-супъ, молочную кашицу и велѣлъ покурить въ палатахъ.

— A thea chinensis частенько прописываете?—любезно спросилъ онъ ординатора, который слѣдовалъ за нимъ какъ тѣнь.

Ординаторъ понялъ шутку и улыбнулся.

— Нѣтъ, кромѣ шутокъ,—прибавилъ Митенька:—я нахожу, что здѣсь хоть куда! Только, пожалуйста, курите почаще! Я особенно объ этомъ прошу!

Затѣмъ, такъ какъ ужъ болѣе не съ кѣмъ было бесѣдовать и нечего осматривать, то Митенька отправился домой и вплоть до обѣда размышлялъ о томъ, какого рода произвелъ онъ впечатлѣніе и не уронилъ ли какъ-нибудь своего достоинства. Оказалось по повѣркѣ, что онъ, несмотря на свою неопытность, дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ отнюдь не хуже, какъ и всѣ вообще подобные ему помпадуры: Чебылкины, Зубатовы, Слабомысловы, Бенескриптовы и Фютяевы.

Митенька очень хорошо запомнилъ совѣтъ Оболдуй-Тараканова, заповѣдавшаго ему прежде всего обратить вниманіе на соединеніе общества. Совѣтъ этотъ отлично гармонировалъ съ его собственными сибаритскими наклонно-

стями (genre Oeil de Boeuf). «Что такое общество?» задалъ онъ себѣ вопросъ, и тотчасъ безъ запинки отвѣчалъ, что общество составляютъ les dames et les messieurs. «Что нужно, чтобы общество жило въ единеніи?»—нужно удалить отъ него такія мысли, которыя могутъ служить поводомъ для раздоровъ и пререканій. Вотъ Мерзопупіосъ и Штановскій засѣли тамъ въ своей мурьѣ и грызутся, разбирая по косточкамъ вопросъ о подсудности—это понятно, потому что они именно ничего, кромѣ этой мурьи, и не видятъ; но общество должно жить не такъ; оно должно имѣть идеи легкія. Les messieurs et les dames обязаны забывать обо всемъ, кромѣ взаимныхъ другъ къ другу отношеній. Поэтому города, въ которыхъ господствуетъ легкое поведеніе, процвѣтаютъ и отличаются веселостью; города же, въ которыхъ les messieurs вносятъ служебные свои дрязги даже въ частную жизнь, отличаются унынiемъ, и les dames, вслѣдствіе того, пріобрѣтаютъ тамъ скверную привычку ложиться спать вмѣстѣ съ курами.

Во время утреннихъ своихъ слоняній съ визитами по Семіозерску Митенька, какъ знатокъ по части клубнички, не могъ не замѣтить, что городъ обладаетъ въ изобиліи самыми разнообразными «charmants minois», которыя, однакожъ, вслѣдствіе неряшества и домосѣдства, кажутся заспанными и словно беременными. Въ домахъ онъ замѣтилъ какой-то странный, почти необъяснимый запахъ («чортъ его знаетъ! словно дѣтьми или морскими травами пахнетъ!») и чуть-чуть было не распорядился, чтобъ покурили. «А все это оттого, что мастера нѣтъ, который вдохнулъ бы душу въ эти хорошенькіе матеріалы... Нѣтъ, надо ихъ подтянуть!»

Эта идея до того ему понравилась, что онъ рѣшился провести ее во что бы то ни стало, и для достиженія цѣли дѣйствовать преимущественно на дамъ. Для начала, обѣдъ у губернскаго предводителя представлялъ прекраснѣйшій случай. Тамъ можно было побесѣдовать и о spectacles de société, и о лотереѣ-аллегри, этихъ двухъ неизмѣнныхъ и неотразимыхъ административныхъ средствахъ сближенія общества.

Въ этихъ видахъ онъ отправился на обѣдъ нѣсколько пораньше («кстати, ужъ и за предводительшей пріударить!»—подумалъ онъ); но оказалось, что на этотъ разъ весь губернскій людъ словно сговорился и собрался ранѣе обыкновеннаго. Оставалось покориться.

Предводительша, пикантная брюнетка, взглянула на него довольно пронзительно и указала мѣсто подлѣ себя. Кругомъ тоже сидѣли дамы, въ числѣ которыхъ было нѣсколько дѣйствительно хорошенькихъ.

— Да избавьте вы насъ, Дмитрій Павлычъ, ради Бога, отъ этого разбойника Мухоярова, который заодно съ губернскимъ правленіемъ по дорогамъ грабитъ!—совершенно некстати забасилъ хозяинъ.

— Pardon, cher Платонъ Иванычъ, позвольте мнѣ на этотъ разъ не слушать васъ! Я, конечно, сдѣлаю все, что вамъ угодно будетъ мнѣ приказать, но здѣсь я исключительно въ распоряженіи дамъ,—отвѣчалъ Митенька, очень граціозно поматывая головкой.

Дамы просіяли и инстинктивно оправили свои платья.

— Бываютъ у васъ здѣсь спектакли?—обратился Митенька къ хозяйкѣ.

— Да... зимою пріѣзжаютъ какіе-то актеры, но *мы* ихъ никогда не видимъ,—отвѣчала хозяйка и опять взглянула на Митеньку.

«Такъ бы я тебя и съѣлъ!»—подумалъ Митенька, пожирая ее глазами, но вслухъ продолжалъ:—Нѣтъ, я, конечно, не объ городскихъ спектакляхъ говорю... Я говорю о такъ-называемыхъ spectacles de société...

Изъ дамъ нѣкоторыя перешепнулись, другія перемигнулись, какъ будто говорили другъ другу: а вотъ, погоди, заставитъ онъ насъ всѣхъ пѣть водевильные куплеты и изображать «рѣзвящихся русалокъ»!

— Нѣтъ, здѣсь этимъ некому было заняться.

— Но вы, Татьяна Михайловна?

— Я?.. а почему вы предполагаете, что именно *я* могу этимъ заняться?

Митенька сконфузился; онъ, конечно, былъ въ состояніи очень хорошо объяснить, почему онъ такъ думаетъ, но такое объясненіе могло бы обидѣть прочихъ дамъ, изъ которыхъ каждая, безъ сомнѣнія, мнила себя царицей общества. Поэтому онъ только мялъ въ отвѣтъ губами. Къ счастію, на этой скользкой стезѣ онъ былъ вырученъ вошедшимъ офиціантомъ, который провозгласилъ, что подано кушать. Татьяна Михайловна подала Митенькѣ руку. Процессія двинулась.

— Давайте вашу руку, но за обѣдомъ вы мнѣ непремѣнно должны объяснить, почему вы считаете, что именно

я должна принять на себя устройство спектакля? — полушопотомъ сказала хозяйка дорогой.

— Стоитъ только взглянуть на васъ, чтобы... — началъ Митенька, и не кончилъ.

— А!—не то насмѣшливо, не то сочувственно произнесла Татьяна Михайловна.

За столомъ размѣстились по-парно, то-есть мужчины вперемежку съ дамами. Излишекъ мужчинъ (преимущественно старцы, уже совсѣмъ непотребные) сгруппировался на другомъ концѣ стола, поближе къ хозяину.

— Ну-съ, «чтобы»?.. — начала опять Татьяна Михайловна, очевидно кокетничая. Она кушала при этомъ супъ съ такою граціей, какъ будто играла ложкой.

— Чтобы убѣдиться, что вы — единственная женщина, которая можетъ привлечь...

— Публику?

— Вы жестоки, Татьяна Михайловна!..

— Вашество! рекомендую вамъ пирожки, у меня для нихъ особенный поваръ есть, въ Новотроицкомъ учился!— приглашалъ съ другого конца хозяинъ дома.

— Ѣмъ-съ, Платонъ Иванычъ; пирожки, дѣйствительно, безподобны!

— Шесть лѣтъ въ ученьи былъ,—продолжалъ хозяинъ, но Митенька уже не слушалъ его. Онъ дѣлалъ всевозможныя усилія, чтобъ соблюсти приличіе и заговорить съ своею сосѣдкой по лѣвую сторону; но разговоръ рѣшительно не вязался, хотя и эта сосѣдка была тоже очень и очень увлекательная блондинка. Онъ спрашивалъ се, часто ли она гуляетъ, ѣздитъ ли по зимамъ въ Москву, но далѣе этого, такъ сказать, полицейскаго допроса идти не могъ. И мысли, и взоры его невольно обращались къ хорошенькой предводительшѣ.

— Кушайте же пирожки; ихъ шесть лѣтъ учились готовить,—насмѣшливо говорила, между тѣмъ, хозяйка.

Митенька ободрился.

— Такъ вы согласны будете взять на себя трудъ устроить spectacle de société?—спросилъ онъ.

— Да, если вы будете внимательны къ нашимъ дамамъ... Mesdames! Дмитрій Павлычъ проситъ, чтобы вы приняли участіе въ предполагаемомъ имъ спектаклѣ! Но вы и сами непремѣнно должны принять въ немъ участіе,—продолжала она, обращаясь къ Митенькѣ:—вы должны быть нашимъ premier amoureux...

— Да, да! непремѣнно! непремѣнно!—вторили дамы.

— Увы! для меня это недоступно! Печальная необходимость... мой постъ... Но я могу, если угодно, быть вашимъ режиссеромъ, mesdames, и тогда—прошу меня слушаться, потому что вѣдь я очень строгъ!

— Будто вы строги!—мимоходомъ замѣтила предводительша, взглядывая на него исподлобья.

— Увы!.. боюсь, что нѣтъ!

— Это вы, вашество, нхъ спектакль устроить приглашаете?—вступился опять хозяинъ.—Напрасно стараетесь! Эта штука у насъ пробована и перепробована!

— Mon mari va dire quelque bêtise,—шепнула предводительша про себя, но такъ, что Митенька слышалъ.

— А что же?—спросилъ онъ предводителя.

— Да наши барыни, какъ соберутся, такъ и передерутся!—отвѣтилъ хозяинъ, отнюдь не церемонясь.

— Fi, mon ami, какія ты вещи говоришь! — обидѣлась супруга его.

— Ну, ужъ извини меня, Татьяна Михайловна, а что правда, то правда!

— Какія же пьесы мы будемъ играть? — молвила блондинка, сидѣвшая по лѣвую сторону.

— Позвольте... я знаю, напримѣръ, водевиль... онъ называется: «Азъ и Фертъ»... le titre est bizarre, mesdames, но пьеса, право, очень, очень миленькая! Есть въ ней этакое brio...

— Я однажды въ Москвѣ у князя Сергія Борисыча «Полковника старыхъ временъ» играла, — пискнула-было вице-губернаторша, но на нее никто не обратилъ вниманія.

— Есть еще, вашество, пьеса: «Несчастія красавца»,— откликнулся хозяинъ, можетъ-быть съ намѣреніемъ, а можетъ-быть и безъ намѣренія; но Митенька почувствовалъ, что его въ это время словно ударило чѣмъ въ спину.

— Да, и такая пьеса есть, но, признаюсь, я болѣе люблю живыя картины. Je suis pour les tableaux vivants, moi!

На минуту всѣ смолкли; слышенъ былъ только стукъ ножей и вилокъ.

— Дуракъ родился!—сказалъ хозяинъ.

Всѣ засмѣялись.

— Но, Платонъ Иванычъ, позвольте вамъ замѣтить, что если всегда въ подобныя минуты долженъ непремѣнно родиться дуракъ, то, такимъ образомъ, ихъ должно бы быть ужъ черезчуръ много на свѣтѣ!—замѣтилъ Митенька.

— А вашество развѣ думали, что ихъ мало?

Митенькѣ сдѣлалось положительно неловко, потому что хозяинъ, очевидно, начиналъ придираться.

— Mon mari est jaloux!—шепнула опять-таки про себя предводительша, очень мило обгладывая крылышко цыпленка.

Начали подавать шампанское. Начались поздравленія и пожеланія. Предводительша мило чокнулась и сказала:—«Je désire que vous nous restiez le plus longtemps possible!»—А еще что?—процѣдилъ сквозь зубы Митенька.—«Nous verrons»,—тоже процѣдила хозяйка.

— Вашество, извините! тоста не провозглашаю, а за здоровье ваше выпью съ удовольствіемъ,—говорилъ, между тѣмъ, предводитель.

«Ишь вѣдь, оболтусъ, и у себя-то не хочетъ почтенія сдѣлать!»—подумалъ Митенька.

— Вотъ у меня письмоводитель въ посреднической комиссіи есть, такъ тотъ мастеръ за обѣдами предики эти говорить,—продолжалъ хозяинъ.—Вотъ онъ!

Тутъ только Митенька замѣтилъ, что въ темномъ углу комнаты, около стѣны, былъ накрытъ еще столъ, за которымъ сидѣли какія-то три личности. Одна изъ нихъ встала.

— Я отъ хлѣба-соли никому не отказываю, потому—народъ бѣдный, оборванцы!—ораторствовалъ хозяинъ.—Прикажете ему, вашество, привѣтствіе сказать?

— Отчего же... я съ удовольствіемъ!

— Катай, Анпетовъ!

— Ахъ, mon ami, какія у тебя выраженія!

— Ну, ужъ, Татьяна Михайловна, не взыщи! каковъ есть, таковъ и есть! что правда, то правда!

Анпетовъ вышелъ къ серединѣ стола и произнесъ:

«Почтеннѣйшія госпожи и милостивые господа!

«Если солнцу восходящу всякая тварь радуется и всякая птица трепещетъ отъ живительнаго луча его, то значитъ, что въ самой природѣ Всеблагой Промыслъ установилъ такой законъ, или, лучше сказать, предопредѣленіе, въ силу котораго тварь обязывается о восходящемъ лучѣ радоваться и трепетать, а о заходящемъ печалиться и недоумѣвать.

«Здѣсь вижу я, благородныя слушательницы и почтеннѣйшіе слушатели, собраніе гостей именитыхъ, въ цѣломъ краѣ славныхъ, и между ними нѣкоего, который именно тотъ восходящій солнца лучъ прообразуетъ, о коемъ ска-

зано: онъ еще младъ, но умудренъ знаніями, глава его не убѣлена сѣдинами, но умъ обогащенъ наукой. Не дерзостный и не гордостный, но благостный и душепріятный пришелъ ты къ намъ! Дерзнемъ ли же мы пренебречь тѣмъ закономъ, который сама природа всещедрая вложила въ сердца наши? Дерзнемъ ли печалиться и недоумѣвать въ такія минуты, когда надлежитъ трепетать и радоваться?

«Нѣтъ, не дерзнемъ, но воскликнемъ убо: за здравіе и долгоденствіе его вашества Дмитрія Павловича Козелкова! Ура!»

— Благодарю васъ!—отвѣчалъ Митенька и, обратившись къ дамамъ, прибавилъ:—Mais il a le don de la parole!

— Приходи ужò, водки дамъ!—сказалъ хозяинъ.

Наконецъ, обѣдъ кончился. Провожая свою даму въ гостиную, Митенька дерзнулъ даже пожать ей локоть, и хотя ему не отвѣчали тѣмъ же, однакоже и мины непріятной не сдѣлали. Митеньку это ободрило.

— Такъ судьба нашихъ спектаклей въ вашихъ рукахъ?—сказалъ онъ.

— Да, я постараюсь... если Платонъ Иванычъ позволитъ...

— О, мы нападемъ на него всѣмъ обществомъ! Но вы представьте себѣ, какъ это будетъ пріятно! Можно будетъ видѣться... говорить!

Предводительша легонько вздохнула.

— Репетиціи... трепетное мерцаніе лампы... — началъ было фантазировать Митенька.

— Вашество, милости просимъ въ кабинетъ! Господа, милости просимъ!—приглашалъ гостепріимный хозяинъ.

Митенька долженъ былъ покориться печальной необходимости, но онъ утѣшался дорòгой, что первый толчокъ соединенію общества ужъ данъ, и что, кажется, дѣло это, съ Божьею помощью, должно пойти на ладъ.

Былъ уже девятый часъ вечера, когда Митенька возвращался отъ предводителя домой. Дрожки его поровнялись съ ярко-освѣщеннымъ домомъ, сквозь окна котораго Митенька усмотрѣлъ Штановскаго, Валяй-Бурляя и Мерзопупіоса, рѣзавшихся въ преферансъ. На столикѣ у стѣны была поставлена закуска и водка. По комнатѣ шныряли дѣти. Какая-то дама оливковаго цвѣта сидѣла около Мерзопупіоса и заглядывала въ его карты.

— Чей это домъ?—спросилъ Митенька кучера.

— Совѣтника Мерзопупіоса.

«Га! помирились-таки!—подумалъ Митенька:—ну, и здѣсь, съ Божьею помощью, дѣло, кажется, пойдетъ на ладъ!»

Возвратившись домой, Митенька долгое время мечталъ. «Кажется, что дѣло не дурно устраивается,—думалъ онъ:—кажется, что ужъ я успѣлъ дать ему нѣкоторое направленіе!»

Онъ подошелъ къ зеркалу, поставилъ на столъ двѣ свѣчи и посмотрѣлся:—ничего, хорошъ!

— Что же, когда Дюсѣ деньги-то посылать будете?—спросилъ старикъ-камердинеръ Гаврила, снимая съ него сапоги. Митенька молчалъ и притворился погруженнымъ въ глубокія соображенія.

— Вѣдь Дюса-то Никиту маркела передъ отъѣздомъ ко мнѣ присылалъ. «Ты смотри, говоритъ, какъ у барина первыя деньги будутъ, такъ безпремѣнно чтобы къ намъ посылалъ!»

Митенька все молчалъ.

— Что-жъ вы молчите! Нешто я у Дюсы-то ѣлъ!

— Молчать, скотина!

— Какъ я могу молчать? Я дѣло завсегда говорить долженъ!

— Цыцъ, каналья!

Митенька легъ спать и видѣлъ во снѣ Дюссо и хорошенькую предводительшу.

V.—«На зарѣ ты ее не буди».

I.

Къ несчастію для Митеньки, въ Семиозерскѣ случились выборы—и онъ совсѣмъ растерялся. Ужъ и безъ того Безелковъ замѣтилъ, что предводитель, для пріобрѣтенія популярности, сталъ грубить ему болѣе обыкновеннаго, а тутъ пошли по городу какія-то шушуканья, стали наѣзжать изъ уѣздовъ и изъ столицъ старые и молодые помѣщики; въ квартирѣ извѣстнаго либерала, Коли Собачкина, начались таинственныя совѣщанія; даже самые, что-называется, «сивые»—и тѣ собирались по вечерамъ въ клубѣ и о чемъ-то безпорядочно толковали... Дмитрій Павлычъ смотритъ изъ окна своего дома на квартиру Собачкина и, видя, какъ къ крыльцу ея безпрерывно подъѣзжаетъ цвѣтъ россійскаго либерализма, негодуетъ и волнуется.

— И за что они мнѣ не довѣряютъ! за что они мнѣ не довѣряютъ!—восклицаетъ онъ, обращаясь къ правителю канцеляріи, стоящему поодаль съ портфелью подъ-мышкой.

— Чувствъ, вашество, нѣтъ-съ...

— Если имъ либеральныхъ идей хочется, то надѣюсь...

— Ужъ чего же, вашество, больше!

— Потому что хотя я и служу... однако не вижу, что же тутъ... предосудительнаго?

И Дмитрій Павлычъ, съ грустью въ сердцѣ, удаляется къ себѣ въ кабинетъ подписывать бумаги.

— Спустите, пожалуйста, шторы,—обращается онъ къ правителю канцеляріи:—этотъ Собачкинъ... я просто даже квартиры его выносить не могу!

Но и при спущенныхъ шторахъ дѣло спорится плохо. Козелковъ подписываетъ бумаги зря и все подумываетъ о томъ, какъ бы ему «овладѣть движеніемъ». Планъ за планомъ, одинъ другого безпутнѣе, мѣняются въ его головѣ. То онъ воображаетъ себѣ, что стоитъ передъ рядами и говоритъ: «messieurs, вы видите эти твердыни? Хотите, я *самъ* поведу васъ на нихъ?» — и этою рѣчью приводитъ всѣхъ въ восторгъ; то мнитъ, что задаетъ какой-то чудовищный обѣдъ и, по окончаніи, принимаетъ отъ благодарныхъ гостей обязательство въ томъ, что они никогда ничего противъ него злоумышлять не будутъ; то представляется ему, что онъ, истощивъ всѣ кроткія мѣры, влетаетъ во главѣ эскадрона въ залу...

И видится ему, что, по исполненіи всѣхъ этихъ подвиговъ, онъ мчится по ухабамъ и сугробамъ въ Петербургъ и думаетъ дорогой завѣтную думу...

«Стани...», шепчетъ эта завѣтная дума, но не дошептываетъ, потому что ухабъ заставляетъ его прикусить языкъ.

«Слава! слава! слава!»—подзвякиваетъ въ это время колокольчикъ, и экипажъ мчится да мчится себѣ впередъ...

— А знаете ли что?—говоритъ Дмитрій Павлычъ вслухъ правителю канцеляріи:—я полагаю, что это будетъ очень не дурно, если я, такъ сказать, овладѣю движеніемъ...

Правитель канцеляріи не понимаетъ, но дѣлаетъ видъ, что понимаетъ.

— «Овладѣть движеніемъ» — это значитъ: стать во главѣ его,—толкуетъ Козелковъ.—Я очень хорошо помню, что когда у насъ, въ Петербургѣ, буянили нигилисты, то я еще тогда сказалъ моему пріятелю, капитану Реброву: что вы смотрите, капитанъ! Овладѣйте движеніемъ—и все будетъ кончено!

Дмитрій Павлычъ опять задумался, и опять въ ушахъ его загудѣлъ колокольчикъ, позвякивая: «слава! слава! слава!»

— Просто, пойду сейчасъ къ Собачкину, — заговорилъ

онъ:—и скажу: «messieurs! за что вы мнѣ не довѣряете? Повѣрьте, что хотя я и служу, но чувства мои, messieurs... я полагаю»...

— Это точно-съ,—ввернулъ свое слово правитель канцеляріи.

— Потому что, въ сущности, чего они желаютъ? Они желаютъ, чтобы всѣмъ было хорошо? Прекрасно. Теперь спросимъ: чего я желаю? Я тоже желаю, чтобъ всѣмъ было хорошо! Слѣдовательно, и я, и они желаемъ, въ сущности, одного и того же. «Unitibus rebus vires cresca parvunt!» какъ сказалъ нашъ почтеннѣйшій Михаилъ Никифоровичъ въ одной изъ своихъ передовыхъ статей.

Правитель канцеляріи, услышавъ эту неслыханную цитату, чуть не захлебнулся.

— А какъ поступалъ мой предмѣстникъ въ подобныхъ случаяхъ?—спросилъ его Дмитрій Павлычъ.

— Просто-съ. Они, вашество, больше такъ поступали: сначала однихъ позовутъ—имъ репримандъ сдѣлаютъ, потомъ другихъ позовутъ—и имъ репримандъ сдѣлаютъ. А иногда случалось, что и стравятъ-съ...

— То-есть, какъ же это—стравятъ?

— А такъ-съ, однихъ посредствомъ другихъ уничтожали-съ... У нихъ вѣдь, вашество, тоже безобразіе-съ! Начнутъ это другъ дружкѣ докладывать: «ты тарелки лизалъ!» — «анъ ты тарелки лизалъ!»—и пойдетъ-съ! А тѣмъ временемъ и дѣло къ концу подойдетъ-съ... и скрутятъ ихъ въ ту пору живымъ манеромъ!

— Гм!.. это недурно!—молвилъ Козелковъ и насупилъ брови.—Только какъ же это? Надобно какой-нибудь предлогъ!

— А вы, вашество, вотъ что-съ. Позовите кого постарше-съ, да и дайте этакъ почувствовать: кабы, молъ, не болтали молодые, такъ никакихъ бы реформъ не было; а потомъ попросите изъ молодыхъ кого, да и имъ тоже внушите: кабы, молъ, не безобразничали старики, не рѣзали бы дѣвкамъ косы, да руками не озорничали, такъ никакихъ бы, молъ, реформъ не было. Они на это пойдутъ-съ.

— Вы полагаете?

— Вѣрно-съ. И почнутъ они промежду себя считаться... А дня этакъ за два до срока, вашество, и напомните, что скоро, дескать, и по домамъ пора... Шары въ руки—и дѣло съ концомъ-съ!

— Гм!.. это недурно. Благодарю.

Правитель канцеляріи давно уже ушелъ, а Козелковъ

все ходитъ по комнатамъ и все о чемъ-то думаетъ, а по временамъ посматриваетъ на окна либерала Сабачкина, за которыми виднѣются курящія и закусывающія фигуры.

Предложенная правителемъ канцеляріи программа понравилась ему. Мало-по-малу онъ до того вошелъ во вкусъ ея, что даже заподозрилъ, что онъ совсѣмъ не Козелковъ, а Меттернихъ. «Что такое дипломація?—спрашиваетъ онъ себя по этому случаю, и тутъ же сгоряча отвѣчаетъ:—дипломація — это, братъ, такое исскуство, за которое тебѣ треуховъ надавать могутъ!» Однако и на этой горестной мысли онъ долго не останавливается, но спѣшитъ къ другой и, въ концѣ концовъ, даже приходитъ въ восторженность. «Дипломація,—говоритъ онъ:—это все равно, что тонкая, чуть-чуть примѣтная паутина: паукъ стелетъ себѣ да стелетъ паутину, а мухи въ нее попадаютъ да попадаютъ—вотъ и «дипломація»!

— A nous deux maintenant!—воскликнулъ онъ, весело потирая руки и обращаясь къ какому-то воображаемому врагу:—посмотримъ, посмотримъ, messieurs, чья дипломація одержитъ побѣду!

А messieurs совсѣмъ и не воображали, что Дмитрій Павлычъ строитъ противъ нихъ ковы. Они въ это время закусывали, прохаживались по «простячкамъ», приготовлялись публично «проэкзаменовать» мировыхъ посредниковъ за ихъ продерзостные поступки и вообще шутили обычныя шутки.

Уже начинали спускаться сумерки и на улицахъ показалось еще больше усиленное движеніе, нежели утромъ. По такъ-называемой Губернаторской улицѣ протянулась цѣлая вереница разнообразнѣйшихъ экипажей; тутъ были и пошевни, запряженныя лихими тройками, украшенными лентами и бубенчиками съ малиновымъ звономъ, и простыя городскія сани, и уродливые, нелѣпо-тяжелые возки, и охотницкія сани, везомыя сильными, едва сдерживаемыми рысаками. Въ пошевняхъ блистали наѣзжія львицы, жены мѣстныхъ аристократовъ; охотницкими санями и рысаками щеголяли молодые наѣзжіе львы. По временамъ какая-нибудь тройка выѣзжала изъ ряда и стремглавъ неслась по самой серединѣ улицы, подымая цѣлыя облака снѣжной пыли; за нею вдогонку летѣло нѣсколько охотницкихъ саней, перегоняя другъ друга; слышался смѣхъ и визгъ; нарумяненныя морозомъ молодыя женскія лица суетливо оборачивались назадъ и въ то же время нетерпѣливо понукали

кучера; тройка неслась сильнѣе и сильнѣе; догоняющіе сзади наѣздники приходили въ азартъ и ничего не видѣли. Тутъ былъ и Коля Собачкинъ на своемъ сѣромъ, сильномъ рысакѣ; онъ ѣхалъ д-бокъ съ предводительскими санями и, повидимому, говорилъ нѣчто очень острое, потому что пикантная предводительша хохотала и грозила ему пальчикомъ; тутъ была и томная мадамъ Первагина, и величественная баронесса фонъ-Цанарцтъ, урожденная княжна Абдулъ-Рахметова, которой что-то напѣвалъ въ уши Сережа Свайкинъ. Однимъ словомъ, это была цѣлая выставка, на которую губернія прислала лучшіе свои цвѣты, и которая могла бы назваться вполнѣ изящною, если бы не портили общаго впечатлѣнія дѣвицы Лоботрясовы, дѣвицы пожилыя и скаредныя, выѣхавшія на гулянье въ какомъ-то лохматомъ возкѣ, запряженномъ тройкой лохматыхъ же клячъ.

Козелковъ смотрѣлъ изъ окошка на эту суматоху и думалъ: «Господи! зачѣмъ я уродился сановникомъ? зачѣмъ я не Сережа Свайкинъ? зачѣмъ я не Собачкинъ?» Въ эту минуту ему хотѣлось побѣгать. Въ особенности привлекала его великолѣпная баронесса фонъ-Цанарцтъ. «Такъ бы я тамъ...» говорилъ онъ, и не договаривалъ, потому что у него духъ занимался отъ одного воображенія.

И въ самомъ дѣлѣ онъ ничего подобнаго представить себѣ не могъ. Цѣлый букетъ разомъ! Букетъ, въ которомъ каждый цвѣтокъ такъ и прыщетъ свѣжестью, такъ и обдаетъ ароматомъ! Сами губернскія дамы понимали это и на все время выборовъ скромно, хотя и не безъ секретнаго негодованія, стушовывались въ сторонку.

Это и понятно, потому что губернскія дамы, за немногими исключеніями, все-таки были не болѣе какъ чиновницы, какія-нибудь предсѣдательши, командирши и совѣтницы, родившіяся и воспитывавшіяся въ четвертыхъ этажахъ петербургскихъ казенныхъ домовъ и только недавно, очень недавно, получившія понятіе о комфортѣ и о томъ, что такое значитъ «ни въ чемъ себѣ не отказывать». Напротивъ того, наѣзжія барыни представляли собою такъ-называемую «породу»; онѣ являлись свѣжія, окруженныя блескомъ и роскошью; въ рѣчахъ ихъ слышались настоящія слова; ихъ жесты были настоящими жестами; онѣ не жались и не сторонились ни передъ кѣмъ, но бодро смотрѣли всѣмъ въ глаза и были въ губернскомъ городѣ какъ у себя дома. Понятно, что всѣ сердца къ нимъ неслись, и что какой-нибудь Гриша Трясучкинъ, еще вчера очень усердно

пріударявшій за батальонной командиршей, вдругъ начиналъ находить ее худосочною, обтрепанною и полинявшею. Понятно, что и Козелковъ сильнѣе, нежели когда-либо, почувствовалъ всю тяжесть, всю тоску своего административнаго одиночества.

Между тѣмъ, ужъ совсѣмъ стемнѣло; улица вдругъ опустѣла, во всѣхъ окнахъ замелькали огни. Козелкову представилось, что въ этихъ домахъ теперь обѣдаютъ; что тамъ шумнымъ потокомъ льется бесѣда, что тамъ кто-нибудь что-нибудь нашептываетъ, и кто-нибудь эти нашептыванья выслушиваетъ...

Въ столовой его уже ожидалъ чиновникъ особыхъ порученій, французикъ Фавори, котораго Козелковъ опредѣлилъ на эту должность собственно за то, что онъ былъ ужъ очень вертлявъ и казался готовымъ на всевозможныя услуги.

Французикъ Фавори какъ-то замалодушничалъ всѣми оконечностями, какъ только на порогѣ столовой появилась фигура Козелкова. Онъ сразу догадался, что начальство пасмурно и что нужно его развеселить.

— А я намѣреваюсь дать вамъ дипломатическое порученіе, Фавори!—молвилъ Митенька, принимаясь за супъ.

Фавори весь превратился въ преданность; тѣло его словно пополамъ распалось: верхняя часть выдалась впередъ и застыла въ неподвижности, нижняя—отпятилась назадъ и судорожно виляла. Фавори былъ убѣжденъ, что Козелковъ пошлетъ его узнать о здоровьи Марьи Петровны, и потому ухмыльнулся всѣмъ своимъ поганымъ лицомъ.

— Нѣтъ, не то!—сказалъ Козелковъ, какъ бы отгадывая его мысли:—порученіе, которое я намѣренъ на васъ возложить, весьма серьезно.

Митенька выговорилъ эти слова очень строго; но, должно-быть, важный видъ былъ не къ лицу ему, потому что лакей Степанъ, принимавшій въ эту минуту тарелку у Фавори, не выдержалъ и поспѣшилъ поскорѣе уйти.

— Дѣло въ томъ,—продолжалъ Козелковъ:—что я нахожусь въ величайшемъ затрудненіи. Теперь у меня здѣсь цѣлое скопище, а я рѣшительно не знаю, что у нихъ дѣлается. Никто мнѣ не докладываетъ.

— Вашество...

— Я поручаю вамъ каждодневно докладывать мнѣ обо всемъ! Вы должны знать обо всемъ! Вы должны проникать всюду! Вы должны быть вездѣ—и нигдѣ!

Козелковъ до того разревновался, что даже жестами

показывалъ Фавори, какъ онъ долженъ быть вездѣ и нигдѣ.

— Повѣрьте, вашество...

— Знаю. Вы должны будете говорить старикамъ: «это все молодые своей болтовней надѣлали!» Съ другой стороны, молодымъ людямъ должно внушать, что все произошло благодаря безобразію стариковъ. Однимъ словомъ, вы обязаны употребить всѣ усилія, чтобы поселить спасительное междоусобіе!

Козелковъ остановился и зорко посмотрѣлъ на своего собесѣдника, какъ бы желая узнать, готовъ ли онъ. Но Фавори былъ готовъ, такъ сказать, отъ самаго рожденія, и потому не удивительно, что Митенька остался доволенъ своимъ осмотромъ.

— Я долженъ раскрыть передъ вами свои виды вполнѣ,— сказалъ онъ.—Я долженъ сказать вамъ, что смотрю на администрацію преимущественно, *и даже исключительно,* съ дипломатической точки зрѣнія. По моему мнѣнію, администрація есть борьба, а наука не показываетъ ли намъ, что борьба безъ дипломаціи не мыслима?

Сказавши это, Дмитрій Павлычъ самъ разинулъ ротъ отъ удивленія. Фавори внималъ и благоговѣлъ.

— Исходя изъ этого принципа, я нахожу, что мы, администраторы, должны преимущественно, и *даже исключительно,* заботиться о томъ, чтобы выиграть время. Объясню вамъ это примѣромъ...

Козелковъ задумался: какой отыскать примѣръ? Но примѣра на этотъ разъ не отыскалось.

— Все равно, вы меня понимаете. Но, выигрывая время, мы достигаемъ разомъ двухъ результатовъ: во-первыхъ, мы отклоняемъ то, что своею преждевременностью могло бы, такъ сказать, возмутить обычное гармоническое теченіе жизни; во-вторыхъ...

Козелковъ опять задумался, ибо второй результатъ рѣшительно не приходилъ ему въ голову. Онъ зналъ, что всякая вещь непремѣнно должна имѣть два и даже три результата, и сгоряча сболтнулъ это, но теперь долженъ былъ убѣдиться, что есть въ мірѣ вещи, которыя могутъ имѣть только одинъ, а даже, пожалуй, и вовсе не имѣть ни одного результата.

— Исполню, вашество!—возразилъ Фавори, чтобы вывести изъ затрудненія обожаемаго начальника.

— Я надѣюсь на вашу расторопность, а главное—на

вашу преданность. Помните, Фавори, что я не умѣю быть неблагодарнымъ.

Сказавши это, Митенька всталъ изъ-за стола, а Фавори поспѣшилъ отправиться для исполненія возложеннаго порученія. Козелковъ опять взглянулъ на окна либерала Собачкина и увидѣлъ, что въ квартирѣ его темно.

«Гдѣ-то они каверзы свои теперь сочиняютъ?»—невольно шевельнулось въ его головѣ.

II.

А въ городѣ, между тѣмъ, происходили толкотня и суета невообразимыя. Не только гостиницы, но и постоялые дворы были биткомъ-набиты; владѣльцы домовъ и квартиранты очищали лучшія комнаты своихъ квартиръ и отдавали ихъ подъ постой, а сами на время кое-какъ размѣщались на заднихъ половинахъ, чуть-чуть не въ чуланахъ. Цѣлые обозы мелкопомѣстныхъ дворянъ ежедневно прибывали въ городъ и удивляли обывателей своими новенькими полушубками и затѣйливыми мѣховыми шапками. Предводитель только пыхтѣлъ и отдувался, потому что весь этотъ людъ ему надобно было размѣстить, обогрѣть и накормить. Мелкопомѣстные понимали, что въ нихъ имѣется нужда, знали, что случаи такого рода повторяются не часто (разъ въ три года), и спѣшили воспользоваться своими правами широкою рукой. На улицахъ все чаще и чаще встрѣчался тотъ крѣпкій, сельскимъ хлѣбомъ выкормленный народъ, при видѣ котораго у замореннаго городского жителя уходитъ душа въ пятки. Румяныя щеки, жирные кадыки, круглые и обширные затылки, диковинныя шапки—вотъ спектакль, который представляли городскія улицы съ утра до вечера. Въ клубѣ шло почти-что столпотвореніе.

Предводитель пыхтитъ и отдувается. Выборы положительно живого его обжигаютъ. «Вы, батюшка, то сообразите, — жалѣючи объясняетъ мелкопомѣстный Сила Терентьичъ:—что у него каждый день, по крайности, сотни полторы человѣкъ перебываетъ,—ну, хоть по двѣ рюмки на каждаго: сколько одного этого винища вылакаютъ!» И точно, въ предводительскомъ домѣ съ самаго утра, что-называется, труба нетолченая. Туда всякій идетъ какъ въ трактиръ, всякій не только ѣстъ и пьетъ, но требуетъ, чтобы его обласкали. Каждый день предводитель устраиваетъ у себя обѣды на 40—50 персонъ и угощаетъ «вліятельныхъ»; но *этого мало: онъ не* смѣетъ забыть и про такъ-называемую

мелюзгу. Онъ шутитъ съ ними, называетъ ихъ Иванычами; онъ пожимаетъ имъ руки и вліятельнѣйшимъ изъ нихъ посылаетъ даже бламанже («Татьяна Михайловна кланяться приказали и велѣли доложить, что сами на тарелку накладывать изволили»). Одна мысль денно и нощно преслѣдуетъ его: «а ну, какъ прокатятъ на вороныхъ!»

Супруга Платона Иваныча очень усердно ему содѣйствуетъ. Она устраиваетъ спектакли и лотереи въ пользу дѣтей бѣдныхъ мелкономѣстныхъ, хлопочетъ о стипендіяхъ въ мѣстной гимназіи и въ то же время успѣваетъ бросать обворожающіе взгляды на молодыхъ семиозерскихъ аристократовъ и не прочь пококетничать съ старымъ графомъ Козельскимъ, который уже три трехлѣтія сряду безуспѣшно добивается чести быть представителемъ «интересовъ земства» и, какъ достовѣрно извѣстно, не отказывается отъ этого домогательства и теперь. Митенька забытъ и заброшенъ; его не приглашаютъ даже распоряжаться на репетиціяхъ, чтобы не дать ни малѣйшаго повода подумать, что между «земствомъ» и «бюрократіей» существуетъ какая-нибудь связь. Тѣмъ не менѣе, несмотря на всѣ усилія предводителя достигнуть единодушія, общество видимо раздѣлилось на партіи. Главныхъ партій, по обыкновенію, двѣ: партія «консерваторовъ» и партія «красныхъ». Въ первой господствуютъ старцы и тѣ молодые люди, о которыхъ говорятъ, что они со старыми стары, а съ молодыми молоды; во второй бушуетъ молодежь, къ которой пристало нѣсколько живчиковъ изъ стариковъ. «Консерваторы» говорятъ: «шествуй впередъ, но по временамъ мужайся и отдыхай!» «Красные» возражаютъ: «отдыхай, но по временамъ мужайся и шествуй впередъ!» Разногласіе, очевидно, не весьма глубокое, и дѣло, конечно, разъяснилось бы само собой, если-бъ не мѣшали тѣ внутреннія развѣтвленія, на которыя подраздѣлялась каждая партія въ особенности и которыя значительно затемняли вопросъ о шествованіи впередъ.

Такихъ развѣтвленій было очень много. «Консерваторы» насчитывали ихъ три. Была, прежде всего, партія «маркизовъ», во главѣ которой стоялъ графъ Козельскій и которая утверждала, что главное достоинство предводителя должно состоять въ томъ, чтобы онъ обладалъ «грасами». Самъ графъ былъ ветхій старикашка, почти совершенно выжившій изъ ума, но съ помощью парика, вставныхъ зубовъ и корсета казался еще молодцомъ: онъ очень мило сюсюкалъ,

называлъ семиозерскихъ красавицъ «belles dames» и любилъ играть маркизовъ на домашнихъ спектакляхъ. Партія эта была многочисленна, и сколько ни старался графъ попасть въ предводители, но успѣха не имѣлъ, и, вмѣсто предводительства, всякій разъ былъ избираемъ въ попечители губернской гимназіи. Другая партія (партія «крѣпкоголовыхъ»), во главѣ которой стоялъ Платонъ Иванычъ, утверждала, что для предводителя нужно только одно: чтобъ онъ шелъ неуклонно. Сторонники ея были многочисленны и славились дикою непреклонностью убѣжденій, вмѣстимостью желудковъ, исполинскими размѣрами затылковъ, необычайною громадностью кулаковъ и способностью производить всякаго рода шумныя манифестаціи, т. е. подносить шары на блюдѣ, кричать «ура!» и зыкомъ наводить трепетъ на противниковъ. Самые отважные люди другихъ партій приходили въ смущеніе передъ свирѣпыми взглядами этихъ допотопныхъ, и въ собраніяхъ они всегда безъ труда овладѣвали всякимъ дѣломъ. Платонъ Иванычъ зналъ это, и потому ревниво слѣдилъ, чтобъ никто другой, кромѣ его, не присвоилъ права прикармливать этихъ новыхъ эоіоповъ. Наконецъ, третья партія называлась партіей «дикихъ», и также была довольно многочисленна. Члены ея были люди безъ всякихъ убѣжденій, пріѣзжали на выборы съ тѣмъ, чтобы попить и поѣсть на чужой счетъ, цѣлые дни шатались по трактирамъ и удивляли половыхъ силою клопштосовъ и умѣньемъ съ трескомъ всадить желтаго въ среднюю лузу. Многіе изъ нихъ были женаты и обладали многочисленными семействами, но всѣ сплошь смотрѣли холостыми, дома почти не жили, никогда путнымъ образомъ не обѣдали, а все словно перехватывали на скорую руку. Къ общественнымъ дѣламъ они были холодны и шары всегда и всѣмъ клали направо. Что касается до партіи «красныхъ», то и она раздѣлялась на три отдѣла: на такъ-называемыхъ «стригуновъ», на такъ-называемыхъ «скворцовъ» и на такъ-называемыхъ «плаксъ или канюкъ». Къ «стригунамъ» принадлежали сливки семиозерской молодежи, люди съ самоновѣйшими убѣжденіями и наилучшимъ образомъ одѣтые. «Стригуны» мечтали о возрожденіи, и въ этихъ видахъ очень много толковали о principes. На Россію они взирали съ сострадательнымъ сожалѣніемъ, а въ крестьянской реформѣ, подобно г. Н. Безобразову, видѣли «попытку... прекрасную», но въ то же время утверждали, что если-бъ отъ нихъ зависѣло, то, конечно, дѣло

устроилось бы гораздо прочнѣе. «Скворцы» собственныхъ убѣжденій не имѣли, но удачно передразнивали «стригуновъ», около которыхъ преимущественно и терлись. Это были веселые и совершенно пустые малые, которые выходили изъ себя только тогда, когда ихъ называли «скворушками». Они сразу полюбили Козелкова, и Козелковъ тоже полюбилъ ихъ сразу, и, конечно, между ними непремѣнно установилось бы entente cordiale, если-бъ политическія теоріи «стригуновъ» о самоуправленіи, о прерогативахъ земства и бюрократическомъ невмѣшательствѣ не держали «скворцовъ» въ постоянномъ страхѣ. «Это бюрократъ!»—говорили «скворушки», съ нѣкоторымъ смущеніемъ указывая на Митеньку... Что же касается до «плаксъ или канюкъ», то партія эта была не многочисленна и почти исключительно состояла изъ мировыхъ посредниковъ.

Таковы были эти «великія партіи», лицомъ къ лицу съ которыми очутился Дмитрій Павлычъ Козелковъ. Мудрено ли, что, съ непривычки, онъ почувствовалъ себя въ этомъ обществѣ и маленькимъ, и слабенькимъ.

Тѣмъ не менѣе, онъ все-таки рѣшился попытать счастья и съ этою цѣлью отправился вечеромъ въ клубъ.

Въ клубѣ преимущественно собирались консерваторы и лишь тѣ немногіе изъ «скворцовъ», которымъ ужъ рѣшительно некуда было дѣваться. «Маркизы» собирались въ такъ-называемой «уборной», бесѣдовали о «грасахъ», разсказывали скромные анекдоты и играли въ лото. «Крѣпкоголовые» занимали центръ, играли въ карты, шевелили усами и прерывали угрюмое молчаніе для того только, чтобы царапнуть водки. «Дикіе» толпились въ бильярдной; «скворцы» порхали во всѣхъ комнатахъ понемножку, но всего болѣе въ «уборной», ибо не только чувствовали естественное влеченіе къ «маркизамъ», но даже навѣрное знали, что сами современемъ ими сдѣлаются.

Козелковъ вошелъ въ уборную. «Скворцы», будучи внѣ надзора «стригуновъ», такъ со всѣхъ сторонъ и облѣпили его («однакожъ, я любимъ!» — съ чувствомъ подумалъ Митенька). «Маркизы» толковали о какой-то Марьѣ Петровнѣ, о какомъ-то родимомъ пятнышкѣ, — толковали, вздыхали и хихикали.

— А, вашество!—привѣтствовалъ его графъ.—А я сейчасъ разсказывалъ à ces messieurs про нашу бывшую предводительшу! Представьте себѣ...

Козелковъ сочувственно хихикнулъ въ отвѣтъ. Маркизы и скворцы облизнулись.

— Le bon vieux temps!—вздохнулъ графъ.—Тогда, вашество, старшихъ уважали!—внезапно прибавилъ онъ, многозначительно и строго посмотрѣвъ на «скворцовъ» и даже на самого Дмитрія Павлыча.

Козелковъ нѣсколько застыдился; ему и самому словно совѣстно сдѣлалось, что онъ какимъ-то чудомъ попалъ въ «сановники». Онъ уже хотѣлъ и съ своей стороны сказать нѣсколько острыхъ словъ насчетъ непочтительности и опрометчивости нынѣшняго молодого поколѣнія, хотѣлъ даже молвить, что это «отъ ихъ, именно отъ ихъ болтовни все и дѣло пошло», но убоялся «скворцовъ», которые такъ и кружились, такъ и лепетали около него. Поэтому онъ вознамѣрился благоразумно пройти по серединкѣ.

— Я полагаю, графъ, что это только недоразумѣніе, — сказалъ онъ: — и я, конечно... употреблю зависящія отъ меня мѣры...

Онъ не кончилъ и, по привычкѣ, самъ разинулъ ротъ, услышавши свое собственное изреченіе. «Маркизы» тоже выпучили на него глаза, какъ бы спрашивая, что онъ вознамѣрился надъ ними учинить.

— Но каковъ у васъ посредникъ, графъ? — спросилъ Козелковъ, чтобы прекратить общее изумленіе.

Графа даже передернуло всего.

— Позвольте мнѣ, вашество, не отвѣчать на этотъ вопросъ,—сказалъ онъ, величественно выпрямляясь и строго озирая Митеньку.

— Но отчего же, графъ?

— А оттого-съ, что есть вещи, объ которыхъ въ обществѣ благовоспитанныхъ людей говорить нельзя-съ, — продолжалъ графъ, и потомъ, къ великому изумленію Козелкова, прибавилъ: — Я, вашество, маркиза въ «Le jeu du hasard et de l'amour» игралъ!

— Я самъ, графъ, игралъ нѣкогда въ «Le sécretaire et le cuisinier»,—съ гордостью отвѣтилъ Митенька.

— Да, Скрибъ тоже имѣетъ свои достоинства, но все это не Маривò? Замѣтьте, вашество, что въ насъ эта грація почти врожденная была. А какъ я лакея представлялъ! Покойница Лизавета Степановна (она «маркизу» играла) просто въ себя придти не могла.

Графъ поникъ головой на минуту и потомъ, махнувъ рукою, прибавилъ:

— А теперь у насъ даже въ предводители какихъ-то жокрисовъ выбираютъ!..

— Богъ дастъ, любезный графъ, дворянство откроетъ глаза, и твои достоинства будутъ оцѣнены! — прошамкалъ одинъ изъ «маркизовъ».

— Не вѣрю!

— Но не можетъ же быть, чтобъ передовое сословіе...

— Не вѣрю!

— Я, графъ, съ своей стороны, готовъ... — шепнулъ было Митенька, но тотчасъ же и умолкъ, потому что графъ окинулъ его величественнымъ взоромъ съ ногъ до головы.

— Мы, вашество, не понимаемъ другъ друга; я о содѣйствіи не прошу!—холодно сказалъ онъ и усѣлся за лото.

Козелкову оставалось только покраснѣть и удалиться.

— Бюрократъ!—прошипѣлъ ему вслѣдъ одинъ изъ «маркизовъ».

Черезъ минуту стукъ креселъ, шарканье ногъ и смѣшанный гулъ голосовъ извѣстили «маркизовъ», что Козелкова привѣтствуютъ «крѣпкоголовые».

Между «крѣпкоголовыми» самыми замѣтными личностями были Созонтъ Потапычъ Праведный и Яковъ Филиппычъ Гремикинъ. Праведный происходилъ изъ приказныхъ; это былъ мозглявый старичишка, весь словно изъѣденный желчью, весь сведенный непрерывною судорогой, которая, какъ молнія въ грозныхъ облакахъ, такъ и вилась во всемъ его бренномъ тѣлѣ. Но репутацію этотъ человѣкъ имѣлъ ужаснѣйшую. Говорили, что во время процвѣтанія крѣпостного права у него былъ цѣлый гаремъ; говорили, что онъ по ночамъ ходилъ къ своимъ крестьянамъ съ обыскомъ, и что ни одинъ мужикъ не могъ укрыть ничего цѣннаго отъ зоркаго его глаза. Весь околотокъ трепеталъ его; крестьяне, не только его собственные, но и чужіе, блѣднѣли при одномъ его имени; даже помѣщики — и тѣ пожимались, когда заходила о немъ рѣчь. Пять губернаторовъ сряду порывались «упечь» его, и ни одинъ ничего не могъ сдѣлать, потому что Праведнаго защищала цѣлая неприступная стѣна, состоявшая изъ тѣхъ самыхъ людей, которые, будучи въ своемъ кругу, гадливо пожимались при его имени. Зато, какъ только пронеслась въ воздухѣ вѣсть о скорой кончинѣ крѣпостного права, Праведный, не мѣшкая много, заколотилъ свой господскій домъ, распустилъ гаремъ и уѣхалъ навсегда изъ деревни въ городъ. Здѣсь онъ занялся въ обширныхъ размѣрахъ ростов-

щичествомъ, ежедневно посѣщалъ клубъ, но въ карты не игралъ, а поджидалъ, не угоститъ ли его кто-нибудь изъ должниковъ чаемъ. Въ партіи «крѣпкоголовыхъ» онъ представлялъ начало письменности и ехидства; говорилъ плавно, мягко, словно змѣй ползъ; голосъ имѣлъ дѣтскій; когда злился, то злобу свою обнаруживалъ чѣмъ-то въ родѣ хныканья, отъ котораго вчужѣ морозъ подиралъ по кожѣ. Словомъ сказать, это былъ человѣкъ мысли. Напротивъ того, Гремикинъ былъ человѣкъ дѣла. Здоровенный, высокій, широкій въ кости и одаренный пространнымъ и жирнымъ затылкомъ, онъ рыкомъ своимъ поражалъ, какъ Юпитеръ громомъ. Онъ былъ не рѣчистъ и даже угрюмъ; враги даже говорили, что онъ, въ то же время, былъ глупъ и золъ, но, разумѣется, говорили это по секрету и шопотомъ, потому что Гремикинъ шутить не любилъ. Употреблялся онъ преимущественно для производства скандаловъ, и въ особенности былъ прелестенъ, когда, заложивъ одну руку за жилетъ, а другою слегка подбоченившись, молча становился передъ какимъ-нибудь крикливымъ господиномъ и взорами своихъ оловянныхъ глазъ какъ бы приглашалъ его продолжать разговоръ. «Крѣпкоголовые» хихикали и надрывали животики, видя, какъ крикливый господинъ (особливо, если онъ былъ изъ новичковъ) вдругъ прикусывалъ язычокъ и превращался изъ гордаго пѣтуха въ мокрую курицу. «Стригуны», «скворцы» и «плаксы» ненавидѣли и боялись его; Козелковъ тоже провидѣлъ въ немъ что-то таинственное, и потому всячески его избѣгалъ. И его тоже трепетали мужики, и свои, и чужіе; но онъ и не подумалъ бѣжать изъ деревни, когда крѣпостное право было уничтожено, а, напротивъ, очень спокойно и въ краткихъ словахъ объявилъ, что «другіе какъ хотятъ, а у меня будетъ попрежнему». И до него тоже добирались пять губернаторовъ, но тоже ничего не доспѣли, потому что Гремикинъ сразу отучилъ полицію ѣздить въ свое имѣніе. «Нѣтъ тебѣ ко мнѣ въѣзду», сказалъ онъ исправнику, и исправникъ понялъ, что въѣзду дѣйствительно нѣтъ и не можетъ быть. Два раза онъ былъ присужденъ на покаяніе въ монастырь за нечаянное смертоубійство, но оба раза приговоръ остался неисполненнымъ, потому что полиція даже не пыталась, а просто наизусть доносила, что «отставной корнетъ Яковъ Филипповъ Гремикинъ находился въ тягчайшей болѣзни». Когда онъ игралъ въ преферансъ, то никто ему вистовать не отваживался, какую бы сумасшедшую игру

онъ ни объявилъ. Понятно, что для «крѣпкоголовыхъ» такой человѣкъ былъ сущій кладъ и что они ревниво окружали его всевозможными предупредительностями.

Козелковъ очень любезно поздоровался съ Праведнымъ и боязливо взглянулъ на Гремикина, который, въ свою очередь, бросилъ на него исподлобья воспаленный взоръ. Онъ угрюмо объявилъ десять безъ козырей.

— Ну-съ, какъ дѣла въ собраніи, почтеннѣйшій Созонтъ Потапычъ?—любезно вопросилъ Козелковъ.

— Посредниковъ, вашество, экзаменуемъ, — отвѣчалъ Праведный своимъ дѣтскимъ голосомъ, и такъ веселенько хихикнулъ, что Дмитрій Павлычъ ощутилъ, какъ будто наступилъ на что-то очень противное и ослизлое.

— Десять безъ козырей,—снова объявилъ Гремикинъ.

— Однако, мой приходъ, кажется, счастье вамъ принесъ, Яковъ Филиппычъ?—подольстился Козелковъ.

— Я иногда... всегда!..—отвѣчалъ колоссъ, даже не поворачивая головы.—Скорѣе такимъ манеромъ ремизы списываются...

— Съ Яковомъ Филиппычемъ это, вашество, бываетъ-съ,— вступился одинъ изъ партнеровъ, очевидно, смущенный.— А ну-те, я повистую!

— Не совѣтую! — мрачно цыркнулъ колоссъ и тутъ же смѣшалъ карты.

— Такъ вы говорите, Созонтъ Потапычъ, что у васъ посредники...—обратился Козелковъ къ Праведному, чтобъ разсѣять овладѣвшее имъ смущеніе.

— Изъ поджигателей-съ! — кротко молвилъ Праведный и хныкнулъ.

— Скажите, однако!

— Всѣхъ на одну осину!—сквозь зубы произнесъ Гремикинъ.

— Проэкзаменуемъ-съ, — еще кротче продолжалъ Праведный.

— На осину—и баста! и экзаменовать нечего!

— Нѣтъ-съ, зачѣмъ же-съ! По формѣ, Яковъ Филиппычъ, по формѣ-съ все сдѣлаемъ-съ... Позовемъ, этакъ, къ столу-съ, и каждый свою лепту-съ...

— Но, скажите, пожалуйста... можетъ-быть, я... Если-бъ вамъ угодно было сообщить мнѣ ваши соображенія... я могъ бы...

— Нѣтъ-съ, вашество, этакъ-то лучше-съ... Вотъ мы ихъ

ужѣ позовемъ-съ, кроткимъ манеромъ побесѣдуемъ-съ, а потомъ и попросимъ-съ...

— Но ежели они не согласятся?

Праведный опять хныкнулъ.

— Ну, ужъ объ этомъ спросите, вашество, у Якова Филиппыча!—молвилъ онъ какъ-то особенно мягко.

Козелковъ взглянулъ на Гремикина и увидѣлъ, что тотъ уже смотритъ на него во всю ширину своихъ воспаленныхъ глазъ.

— Мы, вашество, «доходить» не любимъ!—продолжалъ, между тѣмъ, Праведный:—потому что судиться, вашество, еще не всякій дарованіе это имѣетъ! Пожалуй, вашество, еще доказательствъ потребуете, а какія же тутъ доказательства представить можно-съ?

— Повѣрьте, почтеннѣйшій Созонтъ Потапычъ, что я всегда готовъ!—горячо вступился Козелковъ.—Я просто по одному слову благороднаго человѣка...

— Знаемъ, вашество, и видимъ это! Это точно, что у вашества чувства самыя благородныя...

— Слѣдовательно, отчего-жъ вамъ не обратиться ко мнѣ? Обратитесь съ полною откровенностью, довѣрьтесь мнѣ... откройтесь, наконецъ, передо мной!—затолковалъ Дмитрій Павлычъ, и въ самомъ дѣлѣ ощутилъ, что и въ груди его дѣлается какъ будто приливъ родительскихъ чувствъ.

— Дожидайся!—прошипѣлъ Гремикинъ, но такъ ясно, что шипъ его проникнулъ во всѣ углы комнаты.

— Нѣтъ-съ ужъ, вашество, зачѣмъ вамъ безпокоиться! Мы это сами-съ... сперва одинъ къ нему подойдетъ, потомъ другой подойдетъ, потомъ третій-съ... и все, знаете, въ лицо-съ!..

— «Поджаривать» это, по-нашему, называется,—отозвался изъ угла чей-то голосъ.

— Это такъ-съ, это точно-съ. Потому онъ тутъ, вашество, словно вьюнъ живой на сковородкѣ: и на одинъ бокъ прыгнетъ, и на другой бокъ перевернется—и вездѣ жарко-съ!

Праведный вздохнулъ и умолкъ, прочіе присутствующіе тоже молчали. Гремикинъ смотрѣлъ на Козелкова такъ пристально, что послѣднему сдѣлалось совсѣмъ неловко.

— А нельзя ли, голубчикъ, стаканчикъ чайку мнѣ?—обратился Праведный къ лакею.—Да жиденькаго мнѣ, миленькій, жиденькаго!

Митенька вздрогнулъ при звукахъ этого голоса; ему серьезно померещилось, что кто-то словно высасываетъ изъ него

кровь. Снова водворилось молчаніе: только карты хляскали по столамъ, да по временамъ раздавались восклицанія игроковъ: «пасъ!» — «а ну, гдѣ наше не пропадало!» и т. д., или краткіе разговоры въ родѣ слѣдующихъ:

— Опять-таки ты, Семенъ Ивановичъ, характеръ не выдержалъ! Вѣдь тебѣ говорено было, что сдавать тебѣ не позволимъ!

— Клянусь...

— Нечего «клянусь»! Самъ своими глазами видѣлъ. Король-то бубенъ кому слѣдовалъ? Мнѣ слѣдовалъ! А къ кому онъ попалъ? къ кому онъ попалъ?

— Да что съ нимъ толковать! Сдавайте за него, Терентій Петровичъ, да и все тутъ!

— Нѣтъ, братъ, играть съ тобой еще можно, но позволять тебѣ карты сдавать—ни-ни! и не проси впередъ!

Или:

— Ужъ я, братъ, ему рожу-то салилъ-салилъ, такъ онъ даже обалдѣлъ подъ конецъ!

— Неужто?

— Право, глядитъ это во всѣ глаза и не понимаетъ, ни гдѣ онъ, ни что съ нимъ... только перевертывается!

— Ха-ха-ха!

Козелковъ потихоньку всталъ съ своего мѣста и направилъ шаги въ бильярдную.

— Бюрократъ!—пустилъ ему вслѣдъ Гремикинъ.

«Отчего они меня такъ называютъ? отчего они не хотятъ мнѣ довѣриться?» — мучительно подумалъ Козелковъ, услышавъ долетѣвшее до него восклицаніе.

Но въ бильярдной происходила цѣлая исторія.

— Кто смѣетъ Олимпіаду Фавстовну здѣсь упоминать!— гремѣлъ чей-то голосъ.

— Да ужъ это такъ! Была бы здѣсь Олимпіада Фавстовна, она бы не позволила тебѣ рыло-то мочить!—отвѣчалъ другой, не менѣе рѣшительный голосъ.

— Какъ ты смѣлъ самое имя моей жены въ этомъ кабакѣ произносить?—настаивалъ первый голосъ.

— Да ужъ это такъ! часто ужъ очень, братъ, къ водкѣ прикладываешься!

Митенька не рѣшился проникать далѣе и полегоньку началъ отступать къ дверямъ. Ему даже показалось, что кто-то задушевнымъ голосомъ крикнулъ: «караулъ», но онъ рѣшился игнорировать это обстоятельство и только спросилъ у швейцара, суетившагося около него съ шинелью.

— Каждый день у васъ такъ бываетъ?

— Кажный, вашество, день!

Какъ-то легко и хорошо почувствовалъ себя Дмитрій Павлычъ, когда очутился на улицѣ и его со всѣхъ сторонъ охватило свѣжимъ, морознымъ воздухомъ. Кругомъ было пустынно и тихо, только кучера дремали на козлахъ у подъѣздовъ, да изрѣдка бойко пробѣгалъ по тротуарамъ какой-нибудь казачокъ, поспѣшая въ погребокъ за виномъ. Козелковъ хотѣлъ вывести какое-нибудь заключеніе изъ того, что онъ видѣлъ въ тотъ вечеръ, но не могъ ничего сообразить. Съ одной стороны, онъ понималъ, что не выполнилъ ни одной іоты изъ программы, начертанной правителемъ канцеляріи; съ другой стороны, ему казалось, что программа эта должна выполниться сама собой, безъ всякаго его содѣйствія.

«Съ Божьею помощью»...—подумалъ онъ, и въ это самое время поровнялся съ квартирою Коли Собачкина.

Квартира Собачкина была великолѣпно освѣщена и полна народу. Повидимому, тутъ было настоящее сходбище, потому что всѣ «стригуны» и даже бо́льшая часть «скворцовъ» состояли налицо. Митеньку такъ и тянуло туда, даже сердце его расширялось. Онъ живо вообразилъ себѣ, какъ бы онъ сѣлъ тамъ на канапѣ и началъ бы рѣчь о principes: кругомъ внимали бы ему «стригуны» и лепетали бы безпечные «скворцы», а онъ все бы говорилъ, все бы говорилъ...

— Итакъ, messieurs, если на предстоящее намъ дѣло взглянуть съ точки зрѣнія вѣчной идеи права... — заговорилъ-было Козелковъ вслухъ, но оглянулся и увидѣлъ себя одного среди пустынной улицы.

III.

А у Коли Собачкина было дѣйствительно цѣлое сходбище. Тутъ присутствовалъ именно весь цвѣтъ семиозерской молодежи: былъ и Сережа Свайкинъ, и маленькій виконтикъ де-Сакрекокенъ, и длинный баронъ фонъ-Цанарцтъ, былъ и князекъ Соломенныя Ножки. Изъ «не-нашихъ» допущенъ былъ одинъ Родивонъ Петровъ Храмолобовъ, но и тотъ преимущественно въ видахъ увеселенія. Тутъ же забрался и Фавори, но говорилъ мало, а все больше слушалъ.

Собрались, усѣлись въ кружокъ противъ камелька и начали говорить о principes. Юные семиозерцы были въ большомъ затрудненіи, ибо очень хорошо сознавали, что если

не придумаютъ себѣ какихъ-нибудь principes, то имъ въ самомъ непродолжительномъ времени носу нельзя будетъ никуда показать.

— Позвольте, messieurs,—сказалъ, наконецъ, Коля Собачкинъ:—по моему мнѣнію, вы излишне затрудняетесь! Я нахожу, что principes можно изъ всего сдѣлать... даже изъ регулярнаго хожденія въ баню!

Присутствующіе нѣсколько изумились.

— Во всякомъ случаѣ, это не будутъ крестовые походы!—скромно замѣтилъ князекъ Соломенныя Ножки.

— Не прерывай, князекъ, и вы, господа, не изумляйтесь, потому что тутъ совсѣмъ нѣтъ никакого парадокса. Что такое principe?—спрашиваю я васъ. Principe—это вообще такая суть вещи, которая принадлежитъ или отдѣльному лицу, или цѣлой корпораціи въ исключительную собственность; это, если можно такъ выразиться, девизъ, клеймо, которое имѣетъ право носить Иванъ и не имѣетъ права носить Петръ. Слѣдовательно, если вы пріобрѣтете себѣ исключительное право ходить въ баню, то ясно, что этимъ самымъ пріобрѣтаете и исключительное право опрятности; ясно, что на васъ будутъ указывать и говорить: «вотъ люди, которые имѣютъ право ходить въ баню, тогда какъ прочіе ихъ соотечественники вынуждены соскабливать съ себя грязь ножомъ или стекломъ!» Ясно, что у васъ будетъ принципъ! Ясно?

«Стригуны» молчали; они понимали, что слова Собачкина очень послѣдовательны и что со стороны логики подъ нихъ нельзя иголки подточить; но въ то же время чувствовали, что въ нихъ есть что-то такое неловкое, какъ будто похожее на парадоксъ. Это всегда такъ бываетъ, когда дѣло идетъ о великихъ principes, и, напротивъ того, никогда не бываетъ, когда идетъ рѣчь о предметахъ низкихъ и обыкновенныхъ. Такъ, напримѣръ, когда я вижу столъ, то никакъ не могу сказать, чтобы тутъ скрывался какой-нибудь парадоксъ; когда же вижу передъ собой нѣчто невѣсомое, какъ, напримѣръ: геройство, расторопность, самоотверженность, либеральныя стремленія и проч., то въ сердце мое всегда заползаетъ червь сомнѣнія и формулируется въ видѣ вопроса: «вѣдь это кому какъ?» Для чего это такъ устроено — я хорошенько объяснить не могу, но думаю, что для того, чтобы порядочные люди всегда имѣли такія sujets de conversation, по поводу которыхъ одни могли бы ораторствовать утвердительно, а другіе—оратор-

ствовать отрицательно, а въ результатѣ du choc des opinions jaillit la vérité! Такъ точно было и въ настоящемъ случаѣ. «Стригуны» сознавали, что Собачкинъ правъ, но въ то же время ехидныя слова князька: «а все-таки крестовыхъ походовъ изъ этого не выйдетъ!» невольно отдавались въ ушахъ. Собачкинъ угадалъ молчаніе, послѣдовавшее за его словами.

— Я понимаю,—сказалъ онъ:—васъ сбиваютъ съ толку крестовые походы... Mais entendons-nous, messieurs! Я совсѣмъ не изъ тѣхъ, которые отрицаютъ важность такого историческаго précédent; однако, позвольте вамъ замѣтить, что вѣдь въ крестовыхъ походахъ участвовали цѣлыя толпы, но развѣ всѣ участвовавшіе получили право ссылаться на нихъ? Нѣтъ, это право получили только les preux chevaliers! Вы слышите... вы чувствуете, что и здѣсь сила совсѣмъ не въ фактѣ участія, а въ правѣ ссылаться на него... Ясно?

Собачкинъ окинулъ присутствующихъ торжествующимъ взоромъ; «стригуны» поколебались и начали что-то понимать.

— Пропинаціонное право... — задумчиво пробормоталъ длинноногій фонъ-Цанарцтъ.

— Mais vous concevez, mon cher, что право хожденія въ баню я привелъ вовсе не съ точки зрѣнія какой-нибудь драгоцѣнности!

— Пропинаціонное право полезно было бы получить...— еще разъ и задумчивѣе прежняго повторилъ Цанарцтъ.

— Господа! въ шестисотыхъ годахъ, въ Малороссіи, жиды имѣли право...—заикнулся князекъ.

— Такъ то жиды!—отвѣчалъ Собачкинъ и бросилъ такой леденящій взоръ, что князекъ даже присѣлъ.

— Messieurs! расшибемъ князенку голову!—вдругъ воскликнулъ кто-то, какъ бы озаренный сверху вдохновеніемъ.

— Браво! браво! расшибемъ князенку голову!—повторили «скворцы» хоромъ.

— Chut, messieurs! Ваша выходка напоминаетъ каннибальское времяпровожденіе нашего старичья! Я увѣренъ, что они даже въ настоящую минуту дуютъ водку и занимаются расшибаніемъ кому-нибудь головы въ клубѣ — неужели вы хотите идти по стопамъ ихъ? Ахъ, messieurs, messieurs, неужели же и дѣйствительно такова наша участь, что мы никогда не будемъ въ состояніи ни до чего договориться?

Тонъ, которымъ были сказаны Собачкинымъ эти послѣднія слова, звучалъ такою грустью, что «стригуны» невольно

задумались. Вся обстановка была какая-то унылая; отъ камелька разливался во всѣ стороны синеватый, трепещущій свѣтъ; съ улицы доносилось какое-то гудѣніе: не то вѣтеръ порхалъ властелиномъ по опустѣлой улицѣ, не то «старичье» хмельными ватагами разъѣзжалось по домамъ; частый, мерзлый снѣжокъ дребезжалъ въ окна, наполняя комнату словно жужжаніемъ безчисленнаго множества комаровъ...

— Господа! необходимо, однакожъ, чѣмъ-нибудь рѣшить наше дѣло! — первый прервалъ молчаніе тотъ же Собачкинъ.—Мнѣ кажется, что если мы и на этотъ разъ не покажемъ себя самостоятельными, то утратимъ право быть твердыми безвозвратно и на вѣки-вѣковъ!

Фавори, до сихъ поръ смирненько сидѣвшій въ уголку и перелистывавшій какой-то кипсекъ, навострилъ уши.

— Новгородцы такали-такали, да и протакали!—меланхолически замѣтилъ князекъ.

— «Les novogorodiens disaient: oui, disaient: oui, — et perdirent leur liberté»; «Die Novogorodien sagten: ja, und sagten: ja,—und verloren ihre Freiheit»,—вдругъ отозвались голоса изъ разныхъ угловъ комнаты. Лица на минуту изъ хмурыхъ опять сдѣлались веселыми.

— Я все-таки полагаю, что узелъ вопроса заключается въ пропинаціонномъ правѣ, — глубокомысленно отрубилъ Цанарцтъ. — Вино, messieurs, — это такой продуктъ, относительно котораго всѣ руки развязаны. Съ одной стороны, употребленіе его возбраняется законами нравственности, и, слѣдовательно, ограниченіе его производства не противорѣчитъ требованіямъ самыхъ строгихъ моралистовъ; съ другой стороны — это продуктъ не только необходимый, но и вполнѣ соотвѣтствующій требованіямъ народнаго духа. Слѣдовательно, правильный и изобильный истокъ его обезпеченъ на долгія времена! Вотъ, messieurs, тѣ данныя, которыя заставляютъ меня особенно настаивать на этомъ предметѣ.

Однакожъ, эта рѣчь произвела дѣйствіе не столь благопріятное, какъ можно было ожидать, потому что всякій очень хорошо понималъ, что для того, чтобъ сообщить пропинаціонному праву тотъ пользительный характеръ, о которомъ упоминалъ Цанарцтъ, необходимо было обладать достаточными капиталами. Но капиталовъ этихъ ни у кого, кромѣ Цанарцта, не оказывалось, по той простой причинѣ, что они давнымъ-давно были просвистаны достославными предками на разныя головоушибательныя увеселенія. По-

этому, если и чувствовалась надобность въ какомъ-либо исключительномъ правѣ, то отнюдь не въ видѣ пропинаціоннаго, а въ такомъ, которое имѣло бы основаніе преимущественно нравственное и философическое («вотъ кабы въ зубы безпрекословно трескать можно было!»—секретно думалъ князекъ, но мысли своей, однако, не высказалъ). Мысль эту въ совершенствѣ усвоилъ себѣ Коля Собачкинъ.

— Я вполнѣ согласенъ съ доводами Цанарцта насчетъ пропинаціонной привилегіи, — сказалъ онъ:—но могу допустить ее только на второмъ планѣ и, такъ сказать, между прочимъ. Это право носитъ на себѣ слишкомъ явную печать эгоистическихъ цѣлей, чтобы можно было прямо начать съ него. По мнѣнію моему, мы обязаны прежде всего показать себя безкорыстными и великодушными; мы должны дать чувствовать, что въ насъ заключается начало цивилизующее. Я знаю, что и знаменитѣйшій изъ публицистовъ нашего времени не отвергаетъ важности пропинаціоннаго права, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ указываетъ и на нѣчто другое, на что преимущественно должны быть устремлены наши взоры. Это нѣчто, эта драгоцѣнная панацея, отъ которой мы должны ожидать уврачеванія всѣхъ золъ... есть self-government, въ томъ благонадежномъ смыслѣ, въ которомъ его понимаютъ лучшіе люди либерально-консервативной партіи!

Фавори навострилъ уши сугубо. Общій одобрительный шопотъ пронесся по комнатѣ, хотя, по правдѣ сказать, очень немногіе усвоили себѣ истинный смыслъ рѣчи Собачкина.

— Потому что главная цѣль, къ которой мы должны стремиться, — продолжалъ Собачкинъ: — это пріобрѣсти въ свою собственность принципъ, такъ сказать, нравственный! А затѣмъ...

Ораторъ остановился на минуту, какъ бы смакуя ту сладость, которую онъ намѣревался выпустить въ свѣтъ.

— А затѣмъ и всѣ прочіе принципы естественнымъ порядкомъ перейдутъ къ намъ же! — договорилъ онъ вполголоса.

«Скворцы» встрепенулись и, считая предметъ исчерпаннымъ, вознамѣрились-было, по обыкновенію, шутки шутить, но Собачкинъ призвалъ ихъ къ порядку и продолжалъ:

— Въ этомъ смыслѣ,—сказалъ онъ:—мы должны начать дѣйствовать съ завтрашняго же дня, и притомъ дѣйствовать рѣшительно и единодушно!

— А старики?—произнесъ кто-то изъ присутствующихъ.

«А старики?» — пронеслось надъ душою каждаго. Начались толки; предложенія слѣдовали одни за другими. Одни говорили, что ежели привлечь на свою сторону Гремикина, то дѣло будетъ выиграно навѣрное; другіе говорили, что надобно ближе сойтись съ «маркизами» и ополчиться противъ деспотизма «крѣпкоголовыхъ»; одинъ голосъ даже предложилъ подать руку примиренія «плаксамъ», но противъ этой мысли вооружились рѣшительно всѣ.

— Да вспомните же, господа, кто у насъ у шаровъ-то стоитъ!—горячился князь Соломенныя Ножки.—Вѣдь Гремикинъ стоитъ! Гремикинъ! Поймите вы это!

— Гремикина, Гремикина, messieurs, надо пріобрѣсти!— кричали «скворцы».

— Вотъ вы увидите, что мы и теперь накидаемъ только шаровъ, да и разъѣдемся, ничего не сдѣлавши!

— Ну, нѣтъ, это дудки!

— Messieurs! да позвольте же мнѣ высказать свое мнѣніе!

— Messieurs! выслушайте, ради Христа!

Поднялся шумъ и гамъ, столь родственный русскому сердцу; когда же лакей доложилъ, что подано кушать, то всѣ principes окончательно забылись. Фавори только этого и дожидался, потому что зналъ, что настоящее его торжество начнется за ужиномъ. Онъ мастерски пѣлъ гривуазныя пѣсни и при этомъ какъ-то лихо вертѣлъ направо и налѣво головою и шевелилъ плечами. Все это очень нравилось искателямъ принциповъ, которые все-таки канканъ цѣнили выше всего на свѣтѣ. И дѣйствительно, какъ только подали ужинать, Фавори мало-по-малу началъ вступать въ свои права. Уже за первымъ блюдомъ онъ очень шикарно спѣлъ «Un soir à la barrière», а за вторымъ — до того расходился, что вышелъ изъ-за стола и представилъ, какъ, по его мнѣнію, Гремикинъ долженъ канканъ танцовать. Но, сдѣлавши это, онъ струсилъ и впалъ въ уныніе, потому что очень живо вообразилъ себѣ, что сдѣлаетъ съ нимъ Гремикинъ, если узнаетъ объ его продерзости. Но такъ какъ впечатлѣнія проходили по его французской душѣ быстро, то и это мгновенное уныніе скоро уступило главному, всесильно имъ овладѣвшему чувству—чувству доказать всѣмъ и каждому, что онъ славный малый и что для общаго увеселенія готовъ во всякое время сглонуть живьемъ своего собственнаго отца. Даже Козелкову досталось въ этихъ юмористическихъ упражненіяхъ, хотя и тутъ Фавори не преминулъ слегка потрепетать. Подъ конецъ онъ

даже притворился пьянымъ, чтобы окончательно отнять у своихъ амфитріоновъ поводъ женироваться съ нимъ и въ то же время пріобрѣсти для себя нѣкоторое оправданіе въ будущемъ.

— А что вы скажете насчетъ Марьи Петровны?—приставали къ нему «скворцы».

— Марья Петровна, messieurs... это я вамъ скажу... у ней... — болталъ Фавори, и выбалтывалъ такую мерзость, отъ которой у «скворцовъ» и у «стригуновъ» захватывало духъ отъ наслажденія.

IV.

Время шло да шло, а въ собраніи все «экзаменовали» посредниковъ. Напрасно вопіяли «стригуны», что въ настоящія «торжественныя минуты» не до дрязговъ, а надо, дескать, подумать о спасеніи принципа и дать хорошій отпоръ бюрократіи — никто не убѣждался и не унимался. Платонъ Иванычъ, которому пуще всего хотѣлось посидѣть на своемъ мѣстѣ еще трехлѣтіе, очень основательно разсудилъ, что чѣмъ больше господа дворяне проводятъ такъ время, тѣмъ лучше для него, потому что на этой почвѣ онъ всегда будетъ имъ пріятенъ, тогда какъ на почвѣ болѣе серьезной, пожалуй, найдутся и другіе выскочки, которые могутъ пустить въ глаза пыль. Поэтому онъ всячески разжигалъ рьяныхъ экзаменаторовъ, число которыхъ росло не по днямъ, а по часамъ. Большинство до того увлеклось «экзаменами», что даже возвышалось нѣкоторымъ образомъ до художественности, придавало своимъ запросамъ разнообразныя литературныя формы, изображало ихъ въ лицахъ и т. п.

— *Вы* вынудили меня, милостивый государь, прибѣгнуть къ ручной расправѣ! — ораторствовалъ одинъ. — Я отроду, государь мой! — слышите ли? — отроду пальцемъ никого не тронулъ, а, по милости вашей, долженъ былъ— понимаете ли? — вынужденъ былъ «легко» потрепать *его* за бороду!

— Вы сдѣлали меня воромъ!—вопіялъ другой.

— Каково мнѣ эти плюхи-то ѣсть?—вопрошалъ третій.

— Нѣтъ, вы представьте себѣ, что онъ со мной сдѣлалъ!— докладывалъ четвертый. — Сидитъ этакъ онъ, этакъ я, а этакъ стоитъ Катька-мерзавка... Хорошо. Только, слышу я, говоритъ онъ ей: «вы тоже, голубушка, можете сѣсть»... Это Катькѣ-то! Хорошо. Только я, знаете, смотрю на него, да и Катька тоже смотритъ: не помстилось ли ему! Ни-

чуть не бывало! Сидитъ себѣ да бородку пощипываетъ: «Садитесь, говоритъ, садитесь!» Это Катькѣ-то!

— Какъ вы оправдываете такой поступокъ?—сурово произноситъ предводитель.

— Позвольте, господа, заявить мнѣ здѣсь жалобу отъ имени доброй, больной жены моей!—начинаетъ пятый.

Однимъ словомъ, жалобамъ и протестамъ не предвидится конца. Посредники пыхтятъ и дѣлаютъ презрительныя мины, но внутренно обливаются слезами. Изрѣдка Праведный пуститъ шипъ по-змѣиному: «поджигатели!»—и посмотритъ не то на окошко, не то на экзаменуемаго посредника; отъ шипа этого виноватаго покоробитъ, какъ бересту на огнѣ, но привязаться онъ не можетъ, потому что Праведный сейчасъ и въ кусты: «это я такъ, на окошко вотъ посмотрѣлъ, такъ вспомнилось!» И опять обольется сердце посредника кровью. Словомъ сказать, такое положеніе—хоть не кажи морды!

— И на что мы сюда притащились! — толкуютъ между собою «плаксы».

— Всѣхъ на одну осину повѣсить—и баста!—цыркаетъ во все горло проходящій мимо Гремикинъ и *нечаянно* задѣваетъ одного изъ плаксъ локтемъ.

Въ эту минуту голосъ Платона Ивановича покрываетъ общій шумъ.

— Господа!—говоритъ онъ:—баллотируется предложеніе объ исключеніи господина Курилкина изъ собранія! Не угодно ли брать шары?

Курилкинъ обращается къ прокурору и проситъ разъяснить законъ; прокуроръ встаетъ и разъясняетъ. Происходитъ общая суматоха; «крѣпкоголовые» не вѣрятъ, «стригуны» презрительно улыбаются, «плаксы» временно торжествуютъ.

Козелковъ слѣдитъ изъ своего кабинета за этою суматохой и весело потираетъ руки.

— А вѣдь я ловко-таки продернулъ ихъ!—говоритъ онъ правителю канцеляріи.

— Я, вашество, докладывалъ-съ...

— Да; это вы хорошо дѣлаете, что излагаете передо мной ваши мысли, но, конечно, я бы и самъ...

Однимъ словомъ, такъ развеселился нашъ Дмитрій Павлычъ, что даже похорошѣлъ. Онъ видѣлъ, что надобность искать броду уже миновалась, и потому не избѣгалъ даже Гремикина; напротивъ того, заигрывалъ съ нимъ и потомъ

увѣрялъ всѣхъ и каждаго, что «если съ нимъ (Гремикинымъ) хорошенько сойтись, то онъ совсѣмъ даже и не страшенъ, а просто добрый малый».

Мало того: онъ почувствовалъ потребность выкинуть какую-нибудь штуку. Это бываетъ. Когда человѣка начинаетъ со всѣхъ сторонъ одолѣвать счастье, когда у него на лопаткахъ словно крылья какія-то вырастаютъ, которыя такъ и взмываютъ, такъ и взмываютъ его на воздухъ, то въ сердцѣ у него все-таки нѣчто сосетъ и зудитъ, точно вотъ такъ и говоритъ: «да сооруди же, братецъ, ты такое дѣло разлюбезное, чтобы такой-то сударь Иванычъ не усидѣлъ, не устоялъ!» И до тѣхъ поръ не успокоится бѣдное сердце, покуда дѣйствительно не исполнитъ человѣкъ всего своего предѣла.

Козелкову давно ужъ не нравился Платонъ Иванычъ. Не то чтобы они не сходились между собой въ воззрѣніяхъ—воззрѣній ни у того, ни у другого никакихъ ни на что не было, — но Дмитрію Павлычу почему-то постоянно казалось, что Платонъ Иванычъ словно грубитъ ему. Козелкову собственно хотѣлось чего? — ему хотѣлось, чтобы Платонъ Иванычъ былъ ему другомъ, чтобы Платонъ Иванычъ его уважалъ и объяснялся передъ нимъ въ любви, чтобы Платонъ Иванычъ пріѣзжалъ къ нему совѣтоваться: «вотъ, вашество, въ какое я затрудненіе поставленъ»... А вмѣсто того Платонъ Иванычъ смотрѣлъ сурово, и постоянно, ни къ селу, ни къ городу, упоминалъ о какихъ-то «фофанахъ». Каждое изъ этихъ упоминаній растопленнымъ оловомъ капало на сердце Козелкова, и, несмотря на врожденное его расположеніе къ веселости, дѣло доходило иногда до того, что онъ готовъ былъ растерзать своего врага. Конечно, растерзать онъ не растерзалъ, но зло таки-порядочно укоренилось въ немъ и ждало только удобнаго случая, чтобъ устроить свое маленькое дѣльце.

Настоящая минута казалась благопріятною. Опасенія миновались, затрудненій не предвидѣлось, и Козелковъ могъ дерзать безъ риска. До срока ужъ оставалось только два дня; завтра должны состояться уѣздные выборы, на послѣзавтра назначалось самое настоящее, генеральное сраженіе.

Козелковъ имѣлъ по этому случаю совѣщаніе.

— Платошка этотъ... претитъ! — сказалъ онъ и впился глазами въ правителя канцеляріи.

— Человѣкъ необрѣзанный-съ.

— Я, знаете, думаю даже, что онъ много общимъ интересамъ вредитъ!

— Ужъ на что же, вашество, хуже-съ!

— Потому что возьмите хоть меня! Я—человѣкъ расположенный! Я прямо говорю: я — человѣкъ расположенный! Но за всѣмъ тѣмъ... когда я имѣю дѣло съ этимъ грубіяномъ... я не знаю... я не могу!

— А вы, вашество, сюрпризъ имъ сдѣлайте-съ!

— Ну, да, я объ этомъ и подумываю!

— Вы, вашество, вотъ что-съ: завтра, какъ уѣздные-то выборы кончатся, вы вечеромъ на балу и подойдите къ нимъ, да такъ при всѣхъ и скажите-съ: «благодарю, молъ, васъ, Платонъ Иванычъ, что вы согласно съ моими видами въ этомъ важномъ дѣлѣ дѣйствовали». Господа дворяне на это пойдутъ-съ.

— А что вы думаете, въ самомъ дѣлѣ!

— Это вѣрно-съ. Они на этотъ счетъ просты-съ.

Козелковъ повеселѣлъ еще больше. Онъ весь этотъ день, а также утро другого дня употребилъ на дѣланіе визитовъ и вездѣ говорилъ, какъ онъ доволенъ «почтеннѣйшимъ» Платономъ Иванычемъ и какъ желалъ бы, чтобъ этотъ достойный человѣкъ и на будущее трехлѣтіе удержалъ за собой высокое довѣріе дворянства.

— Согласитесь сами,—говорилъ онъ:—вотъ теперь у насъ выборы—ну, гдѣ же бы мнѣ, при моихъ занятіяхъ, управить такимъ обширнымъ дѣломъ? А такъ какъ я знаю, что тамъ у меня вѣрный человѣкъ, то я спокоенъ! Я увѣренъ, что тамъ ничего такого не сдѣлается, что было бы противно моимъ интересамъ!

Козелковъ говорилъ такимъ образомъ преимущественно барынямъ, такъ какъ мужей никогда нельзя было найти дома. Барыни, разумѣется, тотчасъ же пересказали мужьямъ и, разумѣется же, такъ перепутали слова Козелкова, что нельзя было даже разобрать, кто о комъ говорилъ: Козелковъ ли о Платонѣ Иванычѣ, или Платонъ Иванычъ о Козелковѣ. Но обстоятельство это не только не повредило дѣлу, а, напротивъ того, содѣйствовало его успѣху, ибо оно раздражило любопытство мужской половины, сдѣлало сердца ихъ готовыми къ воспріятію сплетни, но самую сплетню, до поры до времени, еще скрыло. Наконецъ, наступилъ и вечеръ, во время котораго все сіе должно было совершиться.

Просторная зала клуба вся залита свѣтомъ. Отъ огромнаго количества зажженныхъ свѣчъ и множества народа атмосфера душна и влажна. Около дамъ, замѣчательныхъ либо красотою, либо развязностью манеръ, живо образовались цѣлые кружки молодежи. Демуазельки прохаживаются по залу вереницами, очень часто убѣгаютъ въ уборную и, возвратившись оттуда, о чемъ-то шепчутся и хихикаютъ. Баронесса фонъ-Цанарцтъ, высокая, стройная, роскошная, рѣшительно привлекаетъ всѣ сердца; она одѣта въ великолѣпное желтое платье, которое очень идетъ къ ея смуглому и рѣзко-выразительному лицу; около нея такъ и жужжитъ цѣлый рой вздыхающихъ и пламенѣющихъ «стригуновъ». Въ одномъ изъ угловъ сидитъ томная мадамъ Первагина и какъ-то знойно дышитъ подъ вліяніемъ рѣчей и взглядовъ Сережи Свайкина; она счастлива и, быть-можетъ, одна изъ всѣхъ наличныхъ дамъ не завидуетъ баронессѣ. «Крѣпкоголовыхъ» не видать никого; они изрѣдка выглядываютъ изъ внутреннихъ комнатъ въ залу, постоятъ минуту около дверей, зѣвнутъ, подумаютъ: «а вѣдь это все наши!»— и исчезнутъ въ ту зіяющую пропасть, которая зовется собственно клубомъ. «Маркизы» всѣ налицо въ залѣ и показываютъ публикѣ свои грасы. Музыка слаживается и ждетъ только сигнала, чтобы наполнить залу цѣлыми потоками посредственнаго достоинства гарнизонной гармоніи. Господа офицеры натягиваютъ перчатки.

И вдругъ весь этотъ людъ закружился, а съ нимъ вмѣстѣ заколыхался и горячій воздухъ. «Стригуны» вальсируютъ солидно; «скворцы» прыгаютъ и изгибаются; князекъ Соломенныя Ножки, при маломъ своемъ ростѣ, представляется безплодно стремящимся достать до плеча своей дамы; Свайкинъ до того перегнулся, что издали кажется совершеннымъ складнымъ ножикомъ; Цанарцтъ выбралъ какого-то подростка изъ демуазелекъ и мнется съ нимъ на одномъ мѣстѣ, словно говоритъ: «а ну, душенька, вотъ такъ ножкой! ну, и еще такъ!» Мадамъ Нервагина не вальсируетъ, а, такъ сказать, млѣетъ.

— Приходите завтра утромъ,—шепчетъ она своему кавалеру, Свайкину.—Я вамъ покажу картинки...

Но вотъ и опять музыка смолкла; демуазельки тотчасъ же ринулись въ уборную, и вслѣдъ затѣмъ оттуда послышалось невинное хихиканье. Баронесса опять стояла среди залы, окруженная цѣлой толпой, и по временамъ взглядывала на входную дверь, какъ будто ждала кого-то. Читатель,—увы!—

я долженъ сознаться, что она ждала Козелкова! Да; въ теченіе какихъ-нибудь семи-восьми дней успѣло многое измѣниться, и баронесса не устояла-таки противъ обаяній, которыя тонкою струей истечаетъ изъ себя соблазнъ. Отъ нея одной Козелковъ не утаилъ своихъ намѣреній и даже успѣлъ сдѣлать изъ нея вѣрную союзницу, очень ловко намекнувъ, что баронъ слишкомъ ужъ скроменъ, что отъ него зависѣло бы, и т. д. При этомъ Козелковъ такими жадными глазами смотрѣлъ на баронессу, что ей дѣлалось, въ одно и то же время, и жутко, и сладко. Цѣлая цѣпь губернскихъ торжествъ и поклоненій въ одно мгновеніе пронеслась въ ея воображеніи: цѣлое облако острыхъ губернскихъ оиміамовъ разомъ нахлынуло на нее и отуманило ея голову. И какъ ни упирался скаредный сынъ Эстляндіи противъ искушеній жены, какъ ни доказывалъ, что винокуренная операція требуетъ неотлучнаго пребыванія его въ деревнѣ, лукавая дочь Евы успѣла-таки продолбить его твердый черепъ и съ помощью обмороковъ, спазмовъ и другихъ всесильныхъ женскихъ обольщеній заставила мужа положить оружіе.

Наконецъ, Козелковъ явился весь радостный и словно даже свѣтящійся. Онъ прямо направилъ стопы къ баронессѣ, и такъ какъ въ это время оркестръ заигралъ ритурнель кадрили, то они сѣли въ парѣ. Визави у нихъ былъ графъ Козельскій и пикантная предводительша.

— Прикажете, вашество, начинать? — вдругъ грянулъ надъ самымъ его ухомъ батальонный командиръ, который въ то же время былъ и распорядителемъ танцевъ.

Козелковъ вздрогнулъ и граціозно склонился къ баронессѣ, которая, въ свою очередь, бросила на усерднаго командира не то насмѣшливый, не то утвердительный взглядъ. Командиръ махнулъ платкомъ, и пары заколыхались.

— Онъ согласенъ,—сказала баронесса Козелкову.

— Стало-быть, вамъ остается быть только любезной нынѣшній вечеръ съ молодыми людьми и графомъ.

— А вы?

— Я свое дѣло сдѣлаю... Но, баронесса...

Митенька вздохнулъ такъ, какъ будто бы ему было очень жарко.

— Что еще? — спросила баронесса и, обернувшись къ нему, улыбнулась всѣмъ своимъ прекраснымъ лицомъ.

Но онъ не отвѣчалъ и все продолжалъ вздыхать.

— Какой вы еще мальчикъ, однакожъ!

— Баронесса!—чуть-чуть простоналъ Козелковъ.

— Молчите! Вы смотрите на меня съ такимъ ужаснымъ краснорѣчіемъ, что даже самые непонятливые—и тѣ могутъ легко убѣдиться. Давайте лучше говорить de choses indifférentes и потомъ оставьте меня на цѣлый вечеръ.

— Я, баронесса, уѣду домой.

— Это жаль; но если нужно... Впрочемъ, я сама думаю, что такъ будетъ лучше...

Въ это время Платонъ Иванычъ, конечно, всего менѣе ожидалъ какихъ-либо нападеній или подвоховъ и преспокойно стоялъ-себѣ въ одной изъ карточныхъ залъ, окруженный приверженцами и заранѣе предвкушая завтрашнее свое торжество. Онъ даже слегка разсуждалъ о принципахъ и въ «шутливомъ русскомъ тонѣ» проходился насчетъ бюрократіи, и хотя разсужденія его были отмѣнно-глупы, но они удовлетворяли «крѣпкоголовыхъ», которые, въ отвѣтъ ему, ласково сопѣли. Однимъ словомъ, Платонъ Иванычъ торжествовалъ, а въ городѣ носились уже слухи насчетъ какого-то чудовищнаго обжорства, которое готовилъ предводитель въ заключеніе выборовъ.

Въ такую-то минуту въ эту самую комнату вошелъ Дмитрій Павлычъ Козелковъ и прямо подошелъ къ Платону Иванычу.

— Господа!—сказалъ онъ голосомъ, нѣсколько дрожавшимъ отъ волненія:—пользуюсь этимъ случаемъ, чтобы передъ лицомъ вашимъ засвидѣтельствовать мою искреннюю признательность достойнѣйшему Платону Иванычу! Платонъ Иванычъ! мнѣ пріятно сознаться, что въ такомъ важномъ дѣлѣ, каково настоящее собраніе гг. дворянъ, вы вполнѣ оправдали мое довѣріе! Вы не только дѣйствовали совершенно согласно съ моими видами и предначертаніями, но, такъ сказать, даже благосклонно предупреждали ихъ. Еще разъ благодарю!

Платонъ Иванычъ сгоряча ничего не понялъ и съ чувствомъ пожалъ протянутую ему Козелковымъ руку. Окружающіе, бо́льшею частью, были умилены, но нѣкоторыхъ уже нѣчто кольнуло. Сказавши свою рѣчь, Козелковъ рысцой поспѣшилъ оставить клубъ.

Гремикинъ, какъ говорится, взвился...

На другой день, съ самаго утра, по городу уже ходилъ слухъ о кандидатурѣ барона фонъ-Цанарцта, какъ о такой, которая имѣетъ всего болѣе шансовъ на успѣхъ. И дѣй-

ствительно, къ четыремъ часамъ пополудни эти слухи получили полное осуществленіе. Платона Иваныча, по обыкновенію, окружили и просили еще разъ пожертвовать собой на пользу сословія; но когда онъ изъявилъ готовность баллотироваться (и при этомъ даже заплакалъ), то, противъ обыкновенія, его прокатили на вороныхъ. Графа Козельскаго вновь, и огромнымъ большинствомъ, выбрали въ попечители губернской гимназіи.

Нахожу излишнимъ прибавлять здѣсь, что чудовищное обжорство, задуманное Платономъ Иванычемъ, не состоялось, и городъ, дня черезъ два, принялъ свою будничную, пустынную физіономію.

Я охотно изобразилъ бы, въ заключеніе, какъ Козелковъ окончательно увѣрился въ томъ, что онъ—Меттернихъ, какъ онъ собирался въ Петербургъ, какъ онъ поѣхалъ туда и о чемъ дорогой думалъ, и какъ, наконецъ, пріѣхалъ; я охотно остановился бы даже на томъ, что онъ говорилъ о своихъ подвигахъ въ вагонѣ на желѣзной дорогѣ (до такой степени все въ жизни этого «героя нашего времени» кажется мнѣ замѣчательнымъ), но предпочитаю воздержаться.

VI.—«Она еще едва умѣетъ лепетать»...

I.

Побывавши въ Петербургѣ, Козелковъ окончательно убѣдился, что для того, чтобы хорошо вести дѣла, нужно только всѣхъ удовлетворить. А для того, чтобы всѣхъ удовлетворить, нужно всѣхъ очаровать; а для того, чтобы всѣхъ очаровать, нужно—не то чтобы лгать, а такъ объясняться, чтобы никто ничего не понималъ, а всякій бы облизывался. Онъ припомнилъ, что всякій предметъ имѣетъ нѣсколько сторонъ: съ одной стороны—то-то, съ другой стороны — то-то, между тѣмъ — то-то, а если принять въ соображеніе то и то—то-то, и наконецъ, въ заключеніе—то-то. Да, пожалуй, въ крайнемъ случаѣ, можно обойтись и безъ «заключенія», и «очарованіе» не только отъ этого не терпитъ, но даже дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе открывается всякаго рода сторонъ и чѣмъ меньше выводится изъ нихъ заключеній. Ибо такимъ образомъ слушатель постоянно держится, такъ сказать, на привязи, постоянно чего-то ждетъ, постоянно что-то, какъ будто, получаетъ и въ то же время никакимъ родомъ это получаемое ухватить не можетъ.

Козелковъ даже и говорить сталъ какъ-то иначе. Прежде онъ совѣстился; скажетъ, бывало, чепуху—сейчасъ же самъ и ротъ разинетъ. Теперь же онъ словно даже и не говорилъ, а гудѣлъ; гудѣлъ изобильно, плавно и мѣрно, точно муха, не повышающая и не понижающая тона, гудѣлъ неустанно и часъ, и два, смотря по тому, сколько требовалось времени, чтобы очаровать,—гудѣлъ самоувѣренно и, такъ сказать, резонно, какъ человѣкъ, который до тонкости понимаетъ, о чемъ онъ гудитъ. И при этомъ не давалъ слушателю никакой возможности сдѣлать возраженіе; а если послѣдній ухитрялся какъ-нибудь ввернуть свое словечко, то Митенька не смущался и этимъ: выслушавъ возраженіе, соглашался съ нимъ и вновь начиналъ гудѣть, какъ ни въ чемъ не бывало. И дѣйствительно, внимая ему, слушатель, съ теченіемъ времени, мало-по-малу впадалъ какъ бы въ магнетическій сонъ и начиналъ ощущать признаки разслабленія, сопровождаемаго одновременнымъ пораженіемъ всѣхъ умственныхъ способностей. Снилось ему, что онъ куда-то плыветъ, что его что-то поднимаетъ, что впереди у него мелькаетъ свѣтъ—не свѣтъ, а какое-то тайное пріятство, которое потому именно и хорошо, что оно тайное, и что его слѣдуетъ прямо вкушать, а не анализировать.

Самая фигура Митеньки измѣнилась. Былъ онъ въ первобытномъ состояніи невысокъ ростомъ и нѣсколько сутуловатъ, а теперь сдѣлался, что называется, бель-омомъ и даже излишне выпрямился; прежде было въ лицѣ его что-то до такой степени уморительное, что всякій такъ и порывался взять его за цацы; теперь и это исчезло, а взамѣнъ того явилось какое-то задумчивое, скорбное, почти-что гражданственное выраженіе. Точно онъ вотъ-вотъ сейчасъ о чемъ-то думалъ и пришелъ къ безрадостному заключенію, что надо и еще думать, все думать... думать безъ конца. Манеры онъ пріобрѣлъ благосклонныя, но сдержанныя, и хотя всѣмъ безъ исключенія протягивалъ руку, но актъ этотъ совершалъ съ такою щепетильною осмотрительностью, что лицу, до котораго онъ относился, оставалось или благоговѣть, или же прыснуть со смѣху.

Къ нововведеніямъ Митенька сталъ относиться критически. Находилъ, что многаго еще остается желать и что хотя, конечно, всего вдругъ нельзя, однако, не мѣшало бы кое-что и поприкинуть. Но и въ этомъ случаѣ онъ надѣялся, что практика значительно поправитъ теорію, а подъ практикою разумѣлъ себя и другихъ Козелковыхъ, разсѣянныхъ

по лицу Россійской имперіи. «Вся суть, mon cher, заключается въ исполнителяхъ,—развивалъ онъ по этому случаю *свою* теорію:—если исполнители хороши, и главное (s'est le mot) если они *съ направленіемъ*, то всякій законъ»...

Уже съ самой минуты вшествія своего въ вагонъ желѣзной дороги онъ началъ поражать всѣхъ своимъ глубокомысліемъ, зрѣлостью сужденій и, такъ сказать, преданнымъ фрондерствомъ. Во-первыхъ, онъ встрѣтился тамъ съ Петей Боковымъ, своимъ другомъ, сослуживцемъ и однокашникомъ, который тоже ѣхалъ по направленію къ Москвѣ. Разумѣется, образовался обмѣнъ мыслей.

— Ты къ себѣ?—спросилъ Митя.

— Да; а ты тоже къ себѣ?—въ свою очередь, спросилъ Петя.

— Да. Пора. Надо дѣло дѣлать.

Оба друга умолкли и уставились глазами въ землю, какъ будто застыдились. Спутники ихъ переглянулись; одни, которые понеопытнѣе, заключили, что съ ними путешествуютъ инкогнито два среднихъ лѣтъ чимпандзе *), возвращающіеся къ стадамъ своимъ; другіе же, которые поопытнѣе и преимущественно изъ помѣщиковъ, тотчасъ догадались, въ чемъ дѣло, и, взирая то на Митеньку, то на Петеньку, думали: «а что, вѣдь это, кажется, нашъ?»

— Знаешь ли, что я полагаю? Я полагаю, что обязанности, подобныя моимъ, совершенно ни съ чѣмъ не сообразны!—продолжалъ, между тѣмъ, Митенька, вдругъ переставъ стыдиться.

Петенька гамкнулъ что-то въ отвѣтъ. Спутники опять переглянулись; опытные сказали себѣ: «ну, да, это онъ! это нашъ!» Неопытные :«эге! какъ нынче чимпандзе-то выравниваться начали!»

— Я полагаю, что на моемъ мѣстѣ надобно заниматься, такъ сказать, одною внутреннею политикой, — продолжалъ умствовать Митенька.—А то представьте себѣ, напримѣръ, мое положеніе: однажды мнѣ случилось—à la lettre вѣдь это такъ!—разрѣшать вопросъ о выдачѣ вдовьяго паспорта какой-то ратничихѣ!

— Я тебѣ лучше скажу,—вступился Петенька: — предмѣстникъ мой завелъ, чтобы всѣ низшія присутственныя мѣста представляли ему на утвержденіе дѣла о покупкѣ

*) *Чимпандзе* — особый видъ изъ семейства человѣкоподобныхъ обезьянъ, послѣ *гориллы* наиболѣе подходящій своею физическою организаціею къ человѣку.

перьевъ, нитокъ и прочей канцелярской дряни! Разумѣется, я это уничтожилъ, но спрашиваю тебя: каковъ гусь мой предмѣстникъ?!

— Я говорилъ и повторяю: если вы желаете, чтобъ мы дѣло дѣлали, развяжите намъ руки! Развяжите намъ руки! повторяю я, потому что странно, наконецъ, и требовать отъ человѣка со связанными руками, чтобы онъ дѣйствовалъ!

Въ этомъ духѣ бесѣдовалъ Козелковъ довольно продолжительное время; въ заключеніе же объявилъ себя рѣшительно противъ излишней, изсушающей соки централизаціи, и угрожалъ, что если эта система продолжится, то «нѣкогда плодоносныя равнины Россіи въ самомъ скоромъ времени обратятся въ пустыню».

— Намъ надо дать возможность дѣйствовать, — прибавилъ онъ:—надо, чтобы каждый изъ насъ былъ хозяиномъ у себя дома и свободенъ въ своихъ движеніяхъ. Наполеонъ это понялъ. Онъ понялъ, что страсти тогда только умолкнутъ, когда префекты получатъ полную свободу укрощать ихъ.

— Я совершенно съ тобою согласенъ,—отозвался съ чувствомъ Петенька.

Я не знаю, согласились ли съ Козелковымъ прочіе пассажиры, но съ своей стороны спѣшу заявить, что никакихъ препятствій къ приведенію въ исполненіе его преднамѣреній не встрѣчаю.

Только пріѣздъ въ Москву остановилъ потоки козелковскаго краснорѣчія, но и тутъ, выходя изъ вагона, онъ во всеуслышаніе сказалъ другу своему Петенькѣ:

— Я полагаю, mon cher, что намъ не мѣшало бы вступить въ соглашеніе съ здѣшними публицистами!

Однакожъ, къ публицистамъ не поѣхалъ, а отправился обѣдать къ «ma tante» Селижаровой, и за обѣдомъ до такой степени очаровалъ всѣхъ умнымъ разговоромъ о необходимости децентрализаціи и о томъ, что децентрализація не есть сепаратизмъ, что молоденькая и хорошенькая кузина Вѣра не выдержала и въ глаза сказала ему:

— Какой вы, однакожъ, Митенька, сдѣлались умный!

II.

Пріѣхавши «къ себѣ», Митенька былъ встрѣченъ гурьбою «преданныхъ». Еще до отъѣзда своего въ Петербургъ, онъ постепенно образовалъ около себя цѣлое поколѣніе молодыхъ бюрократовъ, которые отличались тѣмъ, что ходили въ щегольскихъ пиджакахъ, цѣлые дни шатались съ визи-

тами, очаровывали дамъ отличнымъ знаніемъ французскаго діалекта и немилосерднѣйшимъ образомъ лгали. Во главѣ этой камарильи стоялъ правитель канцеляріи, который хотя былъ малый на возрастѣ и происходилъ изъ семинаристовъ, однако, какъ человѣкъ сообразительный, вынужденъ былъ слѣдовать за общимъ потокомъ. Митенька гордился этою молодежью и называлъ ее своею гвардіею.

Нынче довольно много развелось такихъ бюрократовъ. Начальники неутомимо стараются о томъ, чтобы окружить себя молодыми людьми, которые бы имѣли отчетливое понятіе объ англійскомъ проборѣ и показывали въ пріемахъ грацію. Это, по мнѣнію ихъ, возвышаетъ администрацію, сообщая ей извѣстнаго рода шикъ. Нѣкоторые даже снимаютъ съ себя фотографическіе портреты въ такомъ видѣ: посрединѣ сидитъ молодой начальникъ, по бокамъ—молодые подчиненные—и, право, группы выходятъ хоть куда! Начальникъ обыкновенно представляется нѣчто разъясняющимъ, подчиненные—понимающими. Что разъясняетъ начальникъ и что понимаютъ подчиненные — объ этомъ до сихъ поръ не могъ дать отчета ни одинъ фотографъ; однако, я никакъ не позволю себѣ предположить, чтобы это былъ съ ихъ стороны наглый обманъ.

Итакъ, «преданные» гурьбой встрѣтили Митеньку. Произошла сцена. Въ былыя времена администраторъ ограничился бы тѣмъ, что прослезился; но Митенька, какъ человѣкъ современный, произнесъ рѣчь.

— Въ настоящую минуту, господа,—сказалъ онъ:—мнѣ болѣе, нежели когда-нибудь, необходимо ваше усердіе. Прежде я многое предугадывалъ, теперь—убѣдился. Виды выяснились совершенно. Намъ предстоитъ только условиться насчетъ плана будущей кампаніи—о планѣ этомъ вы будете въ свое время поставлены мною въ извѣстность—и затѣмъ дружно направить свои усилія къ единой общей цѣли. Не обѣщаю вамъ, что трудъ будетъ легкій; напротивъ того, не скрою, что онъ даже будетъ очень и очень тяжелъ, но надѣюсь, что, съ Божьею помощью, мы преодолѣемъ препятствія и уничтожимъ преграды. Главное, messieurs,—быть всегда на стражѣ. Вы поставлены, такъ сказать, у кормила общественнаго спокойствія; а съ общественнымъ спокойствіемъ — по крайней мѣрѣ, таково мое мнѣніе—въ сильной степени связано общественное благосостояніе. Съ одной стороны, ничто такъ не обезпечиваетъ благонамѣренный человѣческій трудъ, какъ общая тишина;

съ другой стороны, что же можетъ намъ гарантировать тишину, какъ не благонамѣренный человѣческій трудъ? Эти двѣ великія общественныя силы неразрывны (Митенька соединилъ при этомъ пальцы обѣихъ рукъ и сдѣлалъ видъ, что не можетъ ихъ растащить), и если мы взглянемъ на дѣло глазами проницательными, то поймемъ, что въ тѣсномъ ихъ единеніи лежитъ залогъ нашего славнаго будущаго. Тѣмъ не менѣе, взирая на предметъ безпристрастно, я не могу не сказать, что намъ еще многаго кой-чего въ этомъ смыслѣ недостаетъ; а если принять въ соображеніе, съ одной стороны, славянскую распущенность, а съ другой стороны, что время никогда терять не слѣдуетъ, то мы естественно придемъ къ заключенію, что дѣло не ждетъ и что необходимо приступить къ нему немедленно. Eheu, Posthume, Posthume! — такъ предостерегаетъ насъ древній поэтъ, и мы не имѣемъ права не воспользоваться его совѣтомъ. Итакъ, господа, бодрость и смѣлость! Будемъ вмѣстѣ работать и вмѣстѣ надѣяться. Съ своей стороны, я всегда, какъ вы знаете, готовъ ходатайствовать передъ высшимъ начальствомъ за достойнѣйшихъ.

Такова была, въ первый разъ по возобновленіи, вступительная рѣчь Митеньки. Правитель канцеляріи сейчасъ же опредѣлилъ ея достоинство, сказавъ, что эта рѣчь безъ подлежащаго, безъ сказуемаго и безъ связки, но «преданные» поняли. Съ своей стороны, хотя я и согласенъ съ мнѣніемъ правителя канцеляріи, но нахожу, что такого рода краснорѣчіе составляетъ истинное благополучіе и положительный рессурсъ при нашей бѣдности. Съ помощью его можно администрировать, можно издавать журналы, можно даже написать цѣлый ученый трактатъ. И будетъ хорошо.

Разумѣется, если бы у насъ были другія средства, если бы мы, по крайней мѣрѣ, впрямь желали что-нибудь сказать — тогда дѣло другое; а то вѣдь и сказать-то мы ничего не хотимъ, а только такъ, зря выбрасываемъ слова изъ гортани, потому что на языкѣ болона выросла. Стало-быть, тутъ рѣчи безъ подлежащаго, сказуемаго и связки приходятся именно какъ разъ въ пору. Во-первыхъ, обиліе словотеченія можетъ обмануть слушателя; во-вторыхъ, ежели слушатель и не обманется, то что же онъ сдѣлаетъ?—плюнетъ и отойдетъ прочь, и ничего больше.

Сказавъ свое слово, Козелковъ не устыдился, какъ дѣлывалъ это прежде, но зажмурилъ глаза и представился утомленнымъ.

— Безъ вашества къ намъ «земскія учрежденія» пришли-съ,—робко молвилъ правитель канцеляріи.

— Будемъ орудовать-съ.

— Прикажете, вашество, распоряженіе сдѣлать?

— Будемъ распоряжаться-съ.

Присутствующіе думали, что Козелковъ вновь вступаетъ въ состояніе единословія, однако ошиблись. Дѣйствительно, онъ нѣсколько минутъ простоялъ, словно отуманенный, но такъ какъ закваска была положена, то не успѣли слушатели оглянуться, какъ уже толчея была въ исправности и попрежнему толкла безостановочно.

— «Земскія учрежденія», messieurs, — сказалъ онъ: — вотъ часть той перспективы, которая виднѣется передъ нами въ будущемъ. Всѣ картины, messieurs, пишутся по частямъ и постепенно, и ни одна изъ нихъ никогда еще не являлась на свѣтъ вдругъ, готовою во всѣхъ своихъ частяхъ. Начатая съ извѣстнаго пункта, картина растетъ, растетъ, развивается, развивается, все дальше и дальше, покуда, наконецъ, художникъ не почувствуетъ потребности довершить начатое, освѣтивъ дѣло рукъ своихъ лучами солнца. И все въ мірѣ слѣдуетъ этому мудрому закону постепенности. Все живетъ, все работаетъ, все дѣлаетъ свое дѣло потихоньку и не спѣша. Все смотритъ впередъ, messieurs. И я почитаю себя счастливымъ, что могу быть передъ вами истолкователемъ тѣхъ чувствъ, которыми болѣе или менѣе всякій изъ васъ волнуется. Да; еще въ школахъ насъ заставляли заучивать мудрое изреченіе: «надежда утѣшаетъ царя на тронѣ, земледѣльца за сохою, страждущаго на одрѣ смерти», и еще:

Надежда, кроткая посланница небесъ!

И я нахожу, что незабвенные наши педагоги очень хорошо поступали, что упражняли наши молодые умы подобными изреченіями. Итакъ, повторяю: картина еще не нарисована, но она будетъ нарисована—въ этомъ порукой вамъ... я! Я многое могъ бы сказать вамъ по этому поводу, о многомъ желалъ бы условиться, объясниться, посовѣтоваться (я человѣкъ, messieurs, и, какъ человѣкъ, могу ошибаться), но нахожу полезнѣйшимъ оставить этотъ предметъ до времени. А покамѣстъ, messieurs, подумайте, и ежели встрѣтите какія-либо сомнѣнія, обращайтесь ко мнѣ съ полною откровенностью. Подумайте, messieurs!

Единодушное «ура!» было отвѣтомъ на эту новую предику обожаемаго начальника. Но Козелковъ уже утомился

и только махнулъ рукой на шумныя заявленія «преданныхъ».

Дѣло было вечеромъ, и Митенька основательно разсудилъ, что самое лучшее, что онъ можетъ теперь сдѣлать— это лечь спать. Отходя на сонъ грядущій, онъ старался дать себѣ отчетъ въ томъ, что онъ дѣлалъ и говорилъ въ теченіе дня, — и не могъ. Во снѣ тоже ничего не видалъ. Тѣмъ не менѣе, далъ себѣ слово и впредь поступать точно такимъ же образомъ.

III.

А на дворѣ, между тѣмъ, не на шутку разыгралась весна. Крыши домовъ ужъ сухи; на обнаженныхъ отъ льдяного черепа улицахъ стоятъ лужи; солнце на пригрѣвѣ печетъ совершенно по-лѣтнему. Прилетѣли съ юга птицы и стали вить гнѣзда; жаворонокъ кружится и заливается въ вышинѣ колокольчикомъ. Поползли червяки; гдѣ-то въ зскрывшемся прудѣ сладострастно квакнула лягушка. Огнемъ залило все тѣло молодой купчихи Безселендѣевой.

— Не могу я ноченьки спать! все тебя, ненагляднаго, зижу!—говоритъ она старому, дряхлому мужу своему.

— Спи! — рычитъ старый мужъ и, перекрестивши ротъ, перевертывается на другой бокъ.

Словомъ, все, всѣ улицы города Семиозерска переполнены какою-то особенною, горячею атмосферой.

Митенька тоже ощущаетъ на себѣ признаки всемогущей весны. Во-первыхъ, на лицѣ у него появилось безчисленное множество прыщей, что очень къ нему не идетъ. Каждый разъ, вечеромъ, передъ сномъ, онъ садится передъ зеркаломъ и спрашиваетъ камердинера своего Ивана:

— А что, братъ, кажется, ужъ и въ самомъ дѣлѣ весна?

— Сами видите!—угрюмо отвѣчалъ Иванъ.

— Много?

— Не есть числа!

— Дай пудру!

Во-вторыхъ, онъ каждый день, около сумерекъ, пробирается окольными переулками къ дому, занимаемому баронессой фонъ-Цанарцтъ. Въ отдаленіи, на почтенномъ разстояніи, рѣютъ квартальные.

Но административныя заботы парализуютъ все, даже порывы любви. Нѣтъ той силы, нѣтъ той страсти, которая изгнала бы изъ головы Митеньки земскія учрежденія. «Что такое земскія учрежденія?» — спрашиваетъ онъ себя сто

разъ на дню, и хотя объяснить не можетъ, но понимаетъ, чувствуетъ, что понимаетъ. И такимъ образомъ вліяніе весны уничтожается само собою и выражается въ однихъ прыщахъ. Напрасно хочетъ онъ забыть свои преждевременныя опасенія, напрасно хочетъ упиться виномъ любви: въ ту самую минуту, когда уста его уже отваживаются прикоснуться къ чашѣ, вдругъ что-то словно кольнетъ его въ бокъ: «а про земскія-то учрежденія и забылъ?»

— Вы не повѣрите, Marie, какъ я озабоченъ,—говоритъ онъ баронессѣ, которая смотритъ на него отчасти съ досадой, отчасти иронически.—Эти земскія учрежденія... я начинаю, наконецъ, думать о нигилизмѣ!

— Такъ вы... нигилистъ?—произноситъ баронесса и смотритъ еще насмѣшливѣе, какъ будто хочетъ сказать:—Базаровъ никогда не позволилъ бы себѣ поступать такимъ нелѣпымъ образомъ съ хорошенькой женщиной...

— Скажу вамъ, Marie, по секрету: мы всѣ, сколько насъ ни есть, мы всѣ немножко нигилисты... Да! Разумѣется, мы обязаны, покамѣстъ, держать это подъ спудомъ, но вѣдь шила въ мѣшкѣ не утаишь, и истина, bon gré, mal gré, должна же когда-нибудь открыться!

Баронесса съ изумленіемъ слушаетъ это новаго рода признаніе, но оно начинаетъ интересовать ее.

— Au fait, что̀ такое нигилизмъ?—продолжаетъ ораторствовать Митенька.—Откиньте уродливыя крайности, урезоньте стриженыхъ дѣвицъ... и, спрашиваю я васъ, что̀ вы получите въ результатѣ? Вы получите: vanitas vanitatum et omnia vanitas — и больше ничего! Но развѣ это не правда? развѣ всѣ мы, начиная съ того древняго философа, который въ первый разъ выразилъ эту мысль, не согласны насчетъ этого?

Митенька наклоняется очень близко къ плечу баронессы и заискивающими глазами смотритъ ей въ лицо.

— Не нужно только бунтовать,—прибавляетъ онъ нѣжно.

— Но надѣюсь, что вы бунтовать не будете?

— Конечно, противъ васъ, Marie, какой же бунтъ съ моей стороны возможенъ?

— Вы меня не знаете, Marie,—говоритъ онъ таинственно:—я совсѣмъ не таковъ, какимъ кажусь съ перваго взгляда. Конечно, я служу... но вѣдь я честолюбивъ! Marie! поймите, вѣдь я честолюбивъ! Откиньте это, вглядитесь въ меня пристальнѣе — и вы увидите, что административная оболочка далеко не исчерпываетъ всего моего содержанія!

— Итакъ... вы повстанецъ?

— Я не говорю этого, баронесса, опять-таки, зачѣмъ впадать въ крайности? Но я могу... я, во всякомъ случаѣ, могу сохранить свою независимость! Этого, я надѣюсь, никто отъ меня не отниметъ!

Митенька чувствуетъ, что онъ все болѣе и болѣе запутывается, но приходъ барона очень кстати выводитъ его изъ неловкаго положенія.

— А знаешь ли, Шарль, вѣдь Дмитрій Павлычъ хочетъ идти... какъ еще это въ газетахъ пишутъ... «до лясу», кажется?—продолжаетъ приставать баронесса.

— Что-жъ, вашество, въ городской лѣсъ уединиться изволите?—любезно шутитъ баронъ.

— Баронесса меня просто сегодня преслѣдуетъ... Но, серьезно, у меня есть много кой-о-чемъ переговорить съ вами, баронъ!

— Къ вашимъ услугамъ, вашество.

— Во-первыхъ, баронъ, какъ хотите, а эти земскія учрежденія ужасно заботятъ меня...

— Что же въ особенности внушаетъ вашеству опасенія?

— Нѣтъ, не опасенія собственно, но... какъ хотите, а это предметъ такой важности, что прежде, нежели приступить къ нему, необходимо, по моему мнѣнію, обсудить его внимательно и со всѣхъ сторонъ.

— Я, съ своей стороны, полагаю, вашество, что намъ предстоитъ только исполнить...

— Исполнить—это такъ; но, съ другой стороны, нельзя не принять во вниманіе и того, что и при самомъ исполненіи необходимо принять мѣры къ обезпеченію нѣкоторой свободы совѣсти...

Баронъ кусаетъ губы; баронесса просто хохочетъ.

— Нѣтъ, мьсё Козелковъ, я вижу, что вы и въ самомъ дѣлѣ помышляете «до лясу»!—говоритъ она.

— Вы смѣетесь, баронесса, а между тѣмъ тутъ дѣйствительно идетъ дѣло о предметѣ первой важности.

Митенька окончательно начинаетъ гнѣваться, и разговоръ упадаетъ самъ собою. Чрезъ нѣсколько минутъ онъ удаляется, сопровождаемый насмѣшливыми взглядами баронессы. Въ отдаленіи рѣютъ квартальные.

На другой день губернскіе остроумцы развозятъ по городу извѣстіе, что Козелковъ скрылся «до лясу» и что его даже видѣли въ городскомъ лѣсу токующимъ съ тетеревами.

IV.

Дни проходятъ за днями; Митенька все болтаетъ.

— Вы поймите мою мысль,—твердитъ онъ каждый день правителю канцеляріи:—я чего желаю? Я желаю, чтобы у меня процвѣтала промышленность, чтобы священное право собственности было вполнѣ обезпечено, чтобы порядокъ ни подъ какимъ видомъ нарушенъ не былъ и, наконецъ, чтобы вездѣ и на всемъ видна была рука! Вы понимаете: «рука»! Вотъ программа, съ которою я выступаю на административное поприще; и натурально, что покуда я не осуществлю всѣхъ своихъ предположеній, покуда, такъ сказать, не увѣнчаю зданія, я не буду въ состояніи успокоиться. Не претендуйте же на меня, почтеннѣйшій Разумникъ Семенычъ, что я частенько-таки буду повторять вамъ: впередъ! впередъ! впередъ! Есть вещи, о которыхъ никогда нельзя достаточно наговориться, и къ числу ихъ принадлежатъ именно тѣ цѣли, о которыхъ я вамъ говорю и которыхъ достиженіе составляетъ всю задачу моей администраціи. Повторяю: покуда мы съ вами не достигнемъ ихъ, покуда я не приду къ убѣжденію, что, гдѣ бы я ни былъ, рука моя, все-таки, вездѣ будетъ давать себя чувствовать необременительнымъ, но, тѣмъ не менѣе, равномѣрнымъ давленіемъ,— до тѣхъ поръ, говорю, я не положу оружія. А теперь будемъ подписывать бумаги.

Рѣчи эти, ежедневно и регулярно повторяемыя, до такой степени остервенили правителя канцеляріи, что онъ, несмотря на всю свою сдержанность и терпкость, нѣсколько разъ покушался крикнуть: «молчать!» И дѣйствительно, надо было войти въ кожу этого человѣка, чтобы понять весь трагизмъ его положенія. Каждый день, въ теченіе нѣсколькихъ часовъ, быть обязательнымъ слушателемъ длинноухихъ рѣчей и не имѣть права заткнуть уши, убѣжать, плюнуть или инымъ образомъ выразить свои чувства—какъ хотите, а такое положеніе можетъ навести на мысль о самоубійствѣ. Во время этихъ рѣчей почтеннѣйшій Разумникъ Семенычъ блѣднѣлъ и краснѣлъ, и ощущалъ въ рукахъ судорогу и даже чуть ли не колики въ желудкѣ. А Митенька, между тѣмъ, подписывалъ бумаги одна за другой, и все болталъ, все болталъ.

— Я бы желалъ,—ораторствовалъ онъ:—чтобы всѣ, начиная отъ самаго приближеннаго ко мнѣ лица и до самаго послѣдняго субалтернъ-офицера, поняли мою мысль такъ

же точно, какъ я ее самъ понимаю. Я желалъ бы собрать всю губернію, соединить, такъ сказать, на одно мгновеніе всѣ административные рычаги въ одинъ пунктъ и сказать имъ: «Господа! вотъ моя мысль! вотъ моя программа! Поймите, господа, что я вамъ говорю, и сообразуйтесь!» Да-съ, почтеннѣйшій Разумникъ Семенычъ, я былъ бы совершенно счастливымъ начальникомъ, если бы это оказалось возможнымъ!

— Что-жъ, вашество, это не трудно-съ; можно завтра же оповѣстить-съ,—отвѣчалъ правитель канцеляріи, заранѣе обольщаясь мыслью, что часть лежащей на немъ тяжести обрушится на другихъ.

— Вы полагаете оповѣстить здѣшнихъ?

— Точно такъ, здѣшнихъ-съ.

— Да, это недурно; но все же это не то. Я желалъ бы, чтобы вся губернія—понимаете, *вся* губернія?—присутствовала при этой моей, такъ сказать, внутренней исповѣди. Вы читали Карамзина?

— Такъ точно-съ.

— Помните тамъ одно мѣсто, когда Іоаннъ Грозный, убѣжденный добродѣтельнымъ Сильвестромъ, рѣшается... Это можетъ вамъ дать нѣкоторую идею о томъ, чего бы именно я желалъ!

— Осмѣлюсь, вашество, доложить, что царь Иванъ Васильевичъ не долженъ былъ испрашивать разрѣшенія высшаго начальства, чтобы устроить подобное торжество, а вашество...

Митенька закручинился.

— Да,—сказалъ онъ:—вѣдь я забываю объ этихъ подробностяхъ. Да, Разумникъ Семенычъ, вся жизнь наша—подробности, и притомъ жалкія, несносныя подробности! Желалъ бы парить, желалъ бы летѣть—анъ, смотришь, крылья вдоль и поперекъ связаны!

— Такъ прикажете, вашество, здѣшнихъ покамѣстъ оповѣстить?

— Да, покамѣстъ... а впослѣдствіи надѣюсь постепенно, съ Божьею помощью, и прочихъ пріобщить къ осуществленію моихъ плановъ!

Разумѣется, правитель канцеляріи поспѣшилъ исполнить данное приказаніе, но исполнилъ его такимъ образомъ, что по городу сейчасъ же разнеслись цѣлыя легенды.

Послѣдствіемъ этого было, что на другой день мѣстные гранды сказались больными (такъ что всѣ присутственныя мѣста въ Семиозерскѣ были въ этотъ день закрыты), а

исправникъ, какъ только прослышалъ о предстоящей исповѣди, ту-жъ минуту отправился въ уѣздъ. Явился только городской голова съ гласными да бургомистръ съ ратманами, но Митенька и тутъ нашелся.

— Много званыхъ, но мало избранныхъ,—такъ началъ онъ рѣчь свою.—Очень радъ, господа, что имѣю дѣло съ почтенными представителями одного изъ почтеннѣйшихъ сословій нашего любимаго отечества, нашей дорогой сердцу Россіи! Милостивые государи! нѣтъ сомнѣнія, что трудъ есть то оживляющее начало, которое въ каждомъ благоустроенномъ обществѣ представляетъ собой главный государственный нервъ. Трудящійся человѣкъ тихъ, скроменъ, покоренъ начальству и заботится объ исправномъ платежѣ податей и повинностей. Трудящійся человѣкъ спѣшитъ на защиту отечества въ минуту опасности, ибо знаетъ, что опасность эта угрожаетъ и его труду. Лѣнивый, напротивъ того, безпокоенъ, строптивъ, къ начальству непочтителенъ и къ уплатѣ податей равнодушенъ. Лѣнивый на самую опасность отечества взираетъ беззаботно и на защиту его не спѣшитъ. Таково, милостивые государи, значеніе труда въ общей государственной системѣ, и я совершенно счастливъ, что имѣю честь объяснить это передъ вами, какъ передъ естественными его представителями.

Дмитрій Павлычъ остановился, чтобы перевести духъ и въ то же время дать возможность почтеннымъ представителямъ сказать свое слово. Но послѣдніе стояли выпучивши на него глаза и тяжко вздыхали. Городской голова понималъ, однакожъ, что надобно что-нибудь сказать, и даже нѣсколько разъ раскрывалъ ротъ, но какъ-то ничего у него, кромѣ: «мы, вашество, всѣ силы-мѣры», не выходило. Такимъ образомъ Митенька вынужденъ былъ одинъ нести на себѣ всѣ тяжести предпринятаго имъ словеснаго подвига.

— Я желалъ бы, чтобы вы поняли мою мысль, господа! — продолжаетъ онъ.— Чего я хочу, къ чему я стремлюсь? Отвѣтъ на это очень простой. Я хочу, чтобы всѣ, по возможности, были довольны, чтобы никто не былъ обиженъ, чтобы всякій могъ беззавѣтно пользоваться плодами рукъ своихъ. Я стремлюсь къ тому, чтобы у меня процвѣтала промышленность, чтобы священное право собственности было для всѣхъ обезпечено и чтобы порядокъ ни подъ какимъ видомъ нарушенъ не былъ. Надѣюсь, почтенные представители, что въ этихъ желаніяхъ и стремленіяхъ нѣтъ ничего такого, чему бы вы не сочувствовали. (Представители ещ-

болѣе пялять глаза на Митеньку; нѣкоторые, однакожъ, кланяются; городской голова шепчетъ: «мы, вашество, всѣ силы-мѣры!»). Не сомнѣваюсь, друзья мои, не сомнѣваюсь! Знаю и вижу. Но, съ другой стороны, ежели я буду желать и стремиться одинъ, ежели я буду усиливаться, а почтенные представители отечественной гражданственности и общественности не будутъ оказывать мнѣ содѣйствія («мы, вашество, всѣ силы-мѣры!»—озлобленно сопитъ голова), то спрашиваю я васъ: что изъ этого можетъ произойти? А вотъ что, друзья мои: я могу уподобиться форрейтору, который, не замѣчая, что постромки, привязывавшія къ экипажу выносныхъ лошадей, оборвались, все мчится впередъ и впередъ, между тѣмъ какъ экипажъ давно остановился и погрязъ въ болотѣ...

Вымолвивши такую штуку, Митенька окончательно сталъ втупикъ и даже раскрылъ ротъ. Проходитъ нѣсколько томительныхъ минутъ, покуда Митенька, наконецъ, убѣждается, что кончить какъ-нибудь, все-таки, надобно. На сей разъ онъ рѣшается «завершить зданіе» посредствомъ фигуры воззванія, поощренія или возбужденія.

— Итакъ, господа, впередъ! Бодрость и смѣлость! Вы знаете мою мысль, я знаю вашу готовность! Если мы соединимъ то и другое, а главное если дадимъ нашимъ усиліямъ надлежащее направленіе, то будьте увѣрены, ни зависть, ни неблагонамѣренность не осмѣлятся уязвить насъ своимъ жаломъ; я же, съ своей стороны, во всякое время готовъ буду ходатайствовать о достойнѣйшихъ предъ высшимъ начальствомъ. Прощайте, господа! не смѣю удерживать васъ посреди вашихъ полезныхъ занятій. До свиданія!

Митенька сдѣлалъ прощальный знакъ рукою и вышелъ. Но почтенные представители долго еще не могли придти въ себя отъ удивленія. Все мнилось имъ, что это не даромъ, и что хотя Митенька ни слова не упомянулъ о пожертвованіи, но пожертвованіе потребуется. Городской голова до такой степени былъ убѣжденъ въ этомъ, что, сходя съ крыльца Митенькиной квартиры, обратился къ своимъ сотоварищамъ и молвилъ:

— Что-жъ, православные, по мѣрѣ силы-возможности каждаго есть долгъ и обязанность! А нутко, Господи благослови! ура!

V.

Дни идутъ за днями, а Митенька все болтаетъ.

— Знаете ли что?—говоритъ онъ однажды правителю канцеляріи.

При этомъ вступленіи Разумникъ Семенычъ зеленѣетъ, запускаетъ подъ жилетъ руку и всею пятерней до крови скребетъ себѣ грудь.

— Я желалъ бы имѣть въ своемъ распоряженіи публициста!—продолжаетъ, между тѣмъ, Митенька съ невозмутимѣйшимъ хладнокровіемъ.

«Лгунище ты необузданный!»—шипитъ про себя Разумникъ Семенычъ, но вслухъ говоритъ:

— То-есть, какъ же это, вашество, публициста?

— Подъ публицистомъ я разумѣю такого механика, которому я могъ бы подать мысль, намекнуть, а онъ бы сейчасъ привелъ все это въ порядокъ!

— Если вашеству угодно что-нибудь приказать, то, кажется, мы завсегда...

— Нѣтъ, это не то! Я вижу, что вы меня не понимаете! Вы исполняете свои обязанности, а публицистъ долженъ исполнять свои! Въ Петербургѣ это ведется такъ: чиновники пишутъ свое, публицисты—свое. Ежели начальникъ желаетъ распорядиться келейно, то приказываетъ чиновнику; ежели онъ желаетъ выразить свою мысль въ приличной формѣ, то призываетъ публициста! Вы меня поняли?

— Понялъ-съ.

— Слѣдственно, вы должны понять и то, что человѣкъ, который бы могъ быть готовымъ во всякое время слѣдовать каждому моему указанію, который былъ бы въ состояніи не только понять и уловить мою мысль, но и дать ей приличныя формы, что такой человѣкъ, повторяю я, мнѣ рѣшительно необходимъ. Въ настоящее время я безъ рукъ: ибо, спрашиваю я васъ, въ чемъ собственно заключается моя обязанность? Моя обязанность заключается въ томъ, чтобы подать мысль, начертить, сдѣлать наметку... но сплотить все это, собрать въ одно цѣлое, сообщить моимъ намѣреніямъ гармонію и стройность—все это, согласитесь, находится уже, такъ сказать, внѣ круга моихъ обязанностей, на все это я долженъ имѣть особаго человѣка! Вы меня поняли? Вы поняли, что я хочу вамъ сказать?

— Но какія же, вашество, будутъ занятія у этого публициста?

— Выслушайте меня. Вы уже знаете изъ объясненій со мной, что на мнѣ собственно лежитъ, такъ сказать, внутренняя политика—и ничего больше. Всѣ эти бумаги: до-

несенія, предписанія, подтвержденія—все это только печальная необходимость, которой я подчиняюсь единственно потому, что покуда это такъ требуется. Но главное—все-таки, политика. Что такое «политика»? Политика, почтеннѣйшій Разумникъ Семенычъ,—это такое обширное понятіе, которое въ немногихъ словахъ объяснить довольно трудно. Политика—это все. Достаточно будетъ, если я на первый разъ скажу вамъ, что политика можетъ быть разныхъ родовъ; можетъ быть политика здравая и можетъ быть политика гибельная; можетъ быть политика, ведущая къ наилучшему концу, и можетъ быть политика, которая ни къ чему, кромѣ разстройства, не приводитъ. Но для того, чтобы мысль моя была для васъ еще яснѣе, очерчу въ легкомъ абрисѣ мою собственную политику. Я желаю, во-первыхъ, чтобы у меня процвѣтала торговля; во-вторыхъ, чтобы священное право собственности было вполнѣ обезпечено, и, въ-третьихъ, наконецъ, чтобы порядокъ ни подъ какимъ видомъ нарушенъ не былъ. Вотъ моя внутренняя политика. Но будемъ продолжать нить нашего разсужденія. Имѣя, такимъ образомъ, опредѣленную внутреннюю политику, я, съ одной стороны, долженъ быть весьма озабоченъ ею; съ другой же стороны, эта самая озабоченность должна на каждомъ шагу возбуждать во мнѣ самыя разнообразныя мысли. При настоящемъ моемъ, такъ сказать, изолированномъ положеніи, что̀ дѣлается съ моими мыслями? Хоть и горько, но я долженъ сознаться, что бо̀льшая ихъ часть забывается и исчезаетъ безслѣдно. Я мыслю, и въ то же время не мыслю, потому что не имѣю въ распоряженіи своемъ человѣка, который слѣдилъ бы за моими мыслями, могъ бы уловить ихъ, такъ сказать, на лету и, въ концѣ концовъ, изложить въ приличныхъ формахъ. Вотъ здѣсь-то, почтеннѣйшій Разумникъ Семенычъ, именно и нуженъ мнѣ публицистъ, то-есть такой механикъ, которому я могъ бы во всякое время сказать: «вотъ, милостивый государь, моя мысль! Теперь не угодно ли вамъ привести ее въ надлежащій видъ!» Вы меня поняли?

— Понимаю, вашество, и осмѣлюсь, съ своей стороны, положить...

— Знаю, почтеннѣйшій Разумникъ Семенычъ, знаю, и ко всему мною уже высказанному могу прибавить одно: вы меня знаете, и слѣдственно можете быть увѣрены, что я всегда готовъ ходатайствовать передъ высшимъ начальствомъ за достойнѣйшихъ!

Въ тотъ же день публицистъ былъ отысканъ. Это былъ нѣкто Златоустовъ, учитель словесности въ семиозерской гимназіи, homo scribendi peritus, уже нѣсколько разъ помѣщавшій въ мѣстной газетѣ статейки о предполагаемыхъ водопроводахъ и о преимуществѣ спиртового освѣщенія передъ масляным. Вечеромъ онъ уже имѣлъ съ Митенькой продолжительное совѣщаніе, во время котораго держалъ себя очень ловко, то-есть смотрѣлъ своему амфитріону въ глаза, улыбался и по временамъ нетерпѣливо поворачивался въ креслѣ, словно конь, готовый по первому знаку заржать и пуститься въ атаку. Однимъ словомъ, показалъ видъ, что сочувствуетъ и понимаетъ. А въ слѣдующемъ же нумерѣ губернскихъ вѣдомостей былъ напечатанъ слѣдующій leading къ читателямъ:

«НАШИ ЖЕЛАНІЯ».

«Читатель! тебѣ покажется страннымъ, что мы чего-нибудь желаемъ. Тебѣ все еще сдается, что мы не созрѣли, не имѣемъ права желать, и что за насъ долженъ желать кто-то другой... Разувѣрься! Посмотри кругомъ себя и вложи пальцы въ язвы. Что ты видишь окрестъ? Ты видишь просвѣщенное начальство, которое, съ своей стороны, ничего такъ страстно не жаждетъ, какъ того, чтобы ты желалъ, и не только желалъ, но и выражалъ свои желанія устно и письменно. Что такое «начальство»? спросишь ты меня.—Начальство, отвѣчаю я тебѣ, есть то зиждущее, всепроникающее начало, которое непрестанно бдитъ и изыскиваетъ. О чемъ бдитъ? что изыскиваетъ? Вотъ тѣ вопросы, надъ которыми тебѣ предстоитъ задуматься, читатель, и надъ которыми ты несомнѣнно задумаешься, если дашь себѣ трудъ вникнуть въ смыслъ моихъ словъ. Я же, съ своей стороны, продолжаю.

«Итакъ, несмотря на кажущуюся странность подобной претензіи, мы желаемъ. Чего мы желаемъ? Мы желаемъ, во-первыхъ, чтобы промышленность въ нашемъ краю процвѣтала; во-вторыхъ, чтобы священное право собственности повсюду и для всѣхъ было обезпечено, и, въ-третьихъ, наконецъ, чтобы порядокъ ни въ какомъ случаѣ нарушенъ не былъ. Желанія, повидимому, очень скромныя; да они и не «повидимому» только скромны, но и въ самомъ существѣ своемъ. Ибо кто же изъ васъ, читатели, желалъ бы, чтобы рынки наши представляли картину запустѣнія, чтобы собственность наша была отнята или поругана, или чтобы

міръ потрясался громами революцій? Конечно, врядъ ли найдется такой чудакъ, а это несомнѣнно доказываетъ, что стремленія, нами высказанныя, не только скромны, но и вполнѣ осуществимы. Однако, на дѣлѣ оно выходитъ не совсѣмъ такъ.

«Что такое промышленность? спрашиваемъ мы самихъ себя.—Промышленность (industrie), отвѣчаютъ намъ экономисты, есть совокупность тѣхъ плодовъ, которые составляютъ необходимый результатъ занятія рукъ человѣческихъ. Слѣдственно, гдѣ руки человѣческія не праздны, тамъ есть занятіе; гдѣ есть занятіе—тамъ въ результатѣ плоды, то-есть промышленность. То ли мы видимъ у насъ? На это позволимъ себѣ отвѣчать фактомъ, котораго мы, къ несчастію, были очевидцами. На-дняхъ, отправившись для прогулки въ загородный садъ, мы шли мимо заведенія, надъ дверьми котораго нахально красуется вывѣска: «и дешево, и сердито». И въ самомъ заведеніи, и около него толпилось простонародье, хотя день былъ не праздничный, погода стояла ясная и теплая и все, казалось, приглашало къ животворящему труду. Насъ это изумило; мы обратились къ одному изъ стоявшихъ у дверей съ вопросомъ: какая причина такого многочисленнаго сборища?—и получили отвѣтъ: «извѣстно, зачѣмъ въ кабакъ ходятъ!» Не удовлетворившись этимъ, мы вновь спросили: «но отчего же вы не работаете, друзья?» Но на этотъ вопросъ, вмѣсто отвѣта, послѣдовалъ наглый, возмущающій душу смѣхъ! Вотъ наша промышленность!

«Затѣмъ, что такое собственность и въ чемъ должно заключаться ея обезпеченіе? Тѣ же экономисты отвѣчаютъ намъ: собственность есть прямое и законное продолженіе промышленности, это есть промышленность, такъ сказать, консолидированная. Изъ такого опредѣленія не въ правѣ ли мы будемъ вывести слѣдующій силлогизмъ: гдѣ человѣческія руки не праздны, тамъ есть занятіе; гдѣ есть занятіе, тамъ въ результатѣ есть плодъ, а гдѣ есть плодъ, тамъ неминуемо должна быть и собственность (proprietas)? Tout s'enchaîne, tout se lie dans ce monde, говоритъ одинъ знаменитый писатель, и ежели мы признаемъ законность этой связи (а не признать ея невозможно), то, само собой разумѣется, должны будемъ признать и законность того явленія, которое изъ нея выходитъ. Но то ли мы видимъ у насъ? На это, опять-таки, позволимъ себѣ отвѣтить разсказомъ объ одномъ происшествіи, котораго мы были на-

днях не только очевидцами, но и жертвою. Не далѣе, какъ 7-го сего мѣсяца, ночью, въ квартиру нашу вошли воры. Мы спали. Только на другой день утромъ уже удостовѣрились мы, что были самымъ наглымъ образомъ лишены наиболѣе цѣннаго имущества. Разумѣется, мы тотчасъ же обратились въ полицію — и что же встрѣтили? Вмѣсто того, чтобы немедленно броситься по горячимъ слѣдамъ и отыскать преступниковъ, полиція къ намъ же обратилась съ вопросами: гдѣ мы во время происшествія были, что дѣлали и не вымышленъ ли нами самый фактъ съ какими-либо противозаконными цѣлями!!! Вотъ наши понятія о собственности!

«Все это прямо приводитъ насъ къ вопросу объ обезпеченіи. Ежели собственность есть явленіе законное, то само собой разумѣется, что она должна быть обезпечена и что пользованіе ею должно считаться неприкосновеннымъ правомъ того, кому она путемъ наслѣдованія или купли принадлежитъ. Но что больше и дѣйствительнѣе всего можетъ обезпечить спокойное обладаніе собственностью? Отвѣтъ на этотъ вопросъ заключается въ третьемъ и главномъ нашемъ желаніи—въ томъ, *чтобы порядокъ ни въ какомъ случаѣ нарушенъ не былъ.*

«И дѣйствительно, разсматривая «порядокъ» съ точки зрѣнія полнаго и гармоническаго соотвѣтствія всѣхъ частей цѣлаго, мы безъ труда найдемъ, что въ немъ одномъ заключается зиждительная государственная сила. Онъ даетъ намъ обезпеченіе и ограду; съ одной стороны, онъ успокаиваетъ и проливаетъ утѣшеніе въ сердце труженика; съ другой—устрашаетъ и полагаетъ препону тунеядцу, ищущему безъ труда воспользоваться плодами рукъ своего ближняго; онъ поощряетъ гражданина скромнаго, вѣрнаго и преданнаго, и угрожаетъ карой гражданину наглому, безпокойному и преданному анархическимъ стремленіямъ.

«Итакъ, мы всѣ желаемъ порядка—это несомнѣнно; но для того, чтобы достигнуть этой дорогой для насъ цѣли, что должны мы сдѣлать, читатель? И на это есть отвѣтъ очень простой: мы должны всѣ вообще и соединенными силами содѣйствовать просвѣщенному начальству въ его благихъ стремленіяхъ къ прекращенію безпорядковъ. Знаемъ, что вошло въ обычай и даже сдѣлалось какъ бы модой обвинять начальство въ тѣхъ неустройствахъ, которыхъ мы, къ сожалѣнію, нерѣдко бываемъ свидѣтелями. Но справедливо ли это? Сойдемте въ глубину нашей совѣсти, чест-

вѣдуемте самихъ себя: исполняемъ ли мы, общество, какъ слѣдуетъ, наши обязанности въ отношеніи къ начальству? Мы, конечно, могли бы въ отвѣтъ на это привести великое множество фактовъ, очень знаменательныхъ, но... на сей разъ умолкаемъ.

«Однакоже, умолкаемъ лишь на время. А покуда попросимъ читателя поразмыслить надъ нашимъ настоящимъ обращеніемъ: быть-можетъ, ему удастся разрѣшить кое-что и безъ нашей помощи».

Когда Митенькѣ принесли нумеръ вѣдомостей, въ которомъ была напечатана эта статья, то онъ, не развертывая, подалъ его правителю канцеляріи и сказалъ:

— Вотъ мой публицистъ!

VI.

Дни идутъ за днями, а Митенька все болтаетъ.

Всѣ его оставили, всѣ избѣгаютъ. Баронесса ощущаетъ нервные припадки при одномъ его имени; супругъ ея говоритъ: «этотъ человѣкъ испортилъ мою Magie!» и безъ церемоніи называетъ Митеньку наѣзжею слякотью; обыватели, завидѣвши его на улицѣ, поспѣшно перебѣгаютъ на другую сторону; долго крѣпился правитель канцеляріи, но и тотъ, наконецъ, не выдержалъ и подалъ въ отставку.

— Я васъ рѣшительно не понимаю, Разумникъ Семенычъ!—сказалъ ему Козелковъ, когда тотъ объяснилъ предметъ своего прошенія.

— Имѣю желаніе отдохнуть-съ.

— Помилуйте! теперь такое время... съ одной стороны, земскія учрежденія, съ другой стороны, внѣшнія и внутреннія неурядицы...

— Не въ мѣру, вашество, притѣснять меня изволите!

— Я васъ притѣсняю? я?

— Предика эта... каждый день-съ!

Правитель канцеляріи даже побагровѣлъ отъ изступленія при этомъ воспоминаніи.

— Но, согласитесь сами, долженъ же я убѣдиться, что вы поняли мою мысль!

— Имѣю желаніе отдохнуть-съ!

— Странно!

Митенька съ горечью швырнулъ прошеніе на столъ.

— Будетъ сдѣлано распоряженіе-съ,—сказалъ онъ сухо и расшаркнулся.

Когда правитель канцеляріи вышелъ, Митенька раздумался.

«Вотъ, — думалъ онъ: — человѣкъ, который отчасти уже понялъ мою мысль—и вдругъ онъ оставляетъ меня, и когда оставляетъ? — въ самую рѣшительную минуту! Въ ту минуту, когда у меня все созрѣло, когда планъ кампаніи былъ уже начертанъ, и только оставалось, такъ сказать, со всѣхъ сторонъ ринуться, чтобъ овладѣть!»

Митенька въ одну минуту одѣлся и полетѣлъ въ губернское правленіе съ секретною цѣлью застать членовъ врасплохъ и сразу обдать ихъ потокомъ своего краснорѣчія. Тѣ такъ и ахнули.

— Господа!—сказалъ онъ, засѣвши въ кресло:—я желалъ бы, чтобы вы поняли мою мысль. Покуда мы будемъ тянуть въ разныя стороны: я въ одну, а вы въ другую—до тѣхъ поръ, говорю я, управленіе у насъ идти не можетъ! Быть-можетъ, вы захотите знать, чего я желаю? — въ такомъ случаѣ, прошу разъ навсегда, выслушайте меня внимательно и запомните, что̀ я вамъ скажу. Желанія мои болѣе нежели скромны; я желаю, чтобы у меня процвѣтала промышленность, чтобы священное право собственности было вполнѣ обезпечено и чтобы порядокъ, ни подъ какимъ видомъ, нарушенъ не былъ. Вотъ программа, съ которою я вступилъ на поприще административной дѣятельности. Конечно, программа эта обширна, даже, смѣю сказать, слишкомъ обширна; конечно, она обнимаетъ собой всѣ, такъ сказать, нервы общественнаго благоустройства; но, съ другой стороны, развѣ вы не имѣете во мнѣ совѣтника, всегда готоваго разрѣшить всѣ ваши недоумѣнія? развѣ вы не имѣете во мнѣ всегда вѣрную и надежную опору? Господа! я ничего болѣе не желаю, кромѣ того, чтобы вы поняли мысль мою и приняли ее къ соображенію. Все остальное я беру на себя. Излишнимъ считаю повторять вамъ, что я, съ своей стороны, всегда готовъ ходатайствовать предъ высшимъ начальствомъ за достойнѣйшихъ. Вы знаете, что въ этомъ отношеніи я твердо держу свое слово. Прощайте.

Это было послѣднее словесное торжество Митеньки. Онъ изнемогъ подъ бременемъ собственнаго своего краснорѣчія и вечеромъ почувствовалъ себя дурно, а къ ночи уже бредилъ.

— Доврался-таки!—говорилъ Иванъ съ укоризною, когда Митенька, весь въ огнѣ, показывалъ уже признаки горячечнаго состоянія.

— Ты пойми мою мысль, болванъ! — отвѣчалъ ему Митенька. — Я чего желаю? Я желаю, чтобы у меня процвѣтала промышленность, чтобы поля были тщательно удобрены, но чтобы въ то же время порядокъ ни подъ какимъ видомъ нарушенъ не былъ!

И вдругъ, среди самаго, повидимому, мирнаго настроенія мысли, онъ вскочилъ, какъ озаренный, и не своимъ голосомъ закричалъ:

— Раззорю!

VII.—Сомнѣвающійся.

«Онъ» началъ задумываться почти внезапно.

Видъ задумывающагося человѣка вообще производитъ тягостное впечатлѣніе; но когда видишь задумывающагося помпадура, то дѣлается не только тяжело, но даже неловко. И тутъ, и тамъ — тайна; но въ первомъ случаѣ — тайна, отъ которой никому ни тепло, ни холодно; во второмъ — тайна, къ которой всякій невольнымъ образомъ чувствуетъ себя прикосновеннымъ. Эта послѣдняя тайна очень мучительна, ибо неизвѣстно, что̀ именно она означаетъ: сомнѣніе или рѣшимость?

Если задумчивость имѣетъ источникомъ сомнѣніе, то она для обывателей выгодна. Сомнѣніе (на помпадурскомъ языкѣ) — это не что иное, какъ разбродъ мыслей. Мысли бродятъ, какъ въ лѣтнее время мухи по столу; побродятъ-побродятъ и улетятъ. Сомнѣвающійся помпадуръ — это простой смертный, предпринявшій ревизію своей души; а такъ какъ мѣстопребываніе послѣдней неизвѣстно, то и выходитъ пустое дѣло.

Совсѣмъ другого рода задумчивость, предшествующая рѣшимости: это задумчивость полная содержанія, но содержанія неизвѣстнаго, угрожающаго. А такъ какъ исторія слишкомъ рѣдко представляетъ примѣры помпадуровъ сомнѣвающихся, то и обыватели охотнѣе истолковываютъ помпадурскую задумчивость рѣшимостью, нежели сомнѣніемъ. Задумался — значитъ вознамѣрился нѣчто предпринять. Что̀ именно?

На этотъ разъ, однакожъ, содержаніе задумчивости составляло сомнѣніе. Вчера еще онъ былъ полонъ силы и вѣры—и вдругъ усомнился.

Изъ объясненій съ правителемъ канцеляріи онъ совершенно случайно узналъ, что существуетъ законъ, который въ извѣстныхъ случаяхъ разрѣшаетъ, въ другихъ — свя-

называетъ. И до того времени ему, конечно, было небезызвѣстно, что законъ есть, но онъ представлялъ его себѣ въ видѣ переплетенныхъ книгъ, стоящихъ въ шкафу. Когда эти книги валялись по столамъ и имѣли разорванный и замаранный видъ, то онъ называлъ это безпорядкомъ, когда онѣ стояли чинно на полкѣ, онъ былъ убѣжденъ, что порядокъ у него изъ лучшихъ видѣ. Но разрѣшающей или связывающей силы законъ онъ не зналъ, и даже скорѣе предполагалъ, что законъ есть не что иное, какъ дегтярь, сочиненный на пользу и въ поученіе помпадурамъ. И такъ какъ онъ былъ человѣкъ скромный и всегда краснѣлъ, когда его въ глаза хвалили, то понятно, что онъ не особенно любилъ заглядывать въ законы.

И вотъ, въ одно прекрасное утро, когда онъ продолжалъ окончательно рыжеватъ, правитель канцеляріи объявилъ ему о существованіи закона, которой жестокою рукою поставляетъ извѣстные предѣлы.

— Возьмемъ хоть бы вору, — сказалъ онъ: — есть случаи, въ которыхъ дѣйствіе ея признается полезнымъ, и есть другіе, въ которыхъ дѣйствіе сіе совсѣмъ не допускается-съ.

— Что-жъ, вы, что ли, будете указывать мнѣ, когда можно и когда нельзя? — спросилъ «онъ» нѣсколько иронически.

— Не я-съ, а законъ-съ.

— Весьма любопытно.

На этотъ разъ разговоръ исчерпался; но въ то же утро, придя въ губернское правленіе и проходя мимо шкапа съ законами, помпадуръ почувствовалъ, что его нѣчто какъ бы обожгло. Подозрѣніе, что въ шкапу скрывается змѣй, уже запало въ его душу и породило какое-то странное любопытство.

Что заключается въ этихъ томахъ, глядящихъ корешками наружу? Какимъ слогомъ написано то, что тамъ заключается? Употребляются ли слова, въ родѣ: «закатить», «влѣпить», которыя онъ считалъ совершенно достаточными для отправленія своего несложнаго правосудія? Или, быть-можетъ, тамъ стоятъ совершенно другія слова? И точно ли тамъ заключается это странное слово «нельзя», которое, съ самой минуты своего вступленія въ помпадуры, онъ считалъ упраздненнымъ, и о которомъ такъ не въ пору напомнилъ ему правитель канцеляріи?

Все это было до такой степени любопытно, что, не-

смотря на то, что онъ всячески старался не выказать своего безпокойства, но подъ конецъ не выдержалъ-таки и, какъ-то боязливо улыбаясь, обратился къ правителю канцеляріи:

— А ну-те-съ: желаю я, напримѣръ, подвергнуть тѣлесному наказанію мѣщанина Прохорова... какъ-съ, разрѣшите вы мнѣ или нѣтъ?

— Мнѣ что же-съ! Не я, а законъ-съ?

— Ну, положимъ, хоть бы и законъ-съ?

Правитель канцеляріи направился-было къ шкапу, но на полдорогѣ остановился.

— Келейно высѣчь-съ?—спросилъ онъ.

— Нѣтъ, не келейно, а какъ слѣдуетъ... по закону-съ!

Правитель канцеляріи раскрылъ томъ и показалъ статью о лицахъ, изъятыхъ отъ тѣлеснаго наказанія.

«Онъ» прочиталъ однажды; потомъ какъ-то механически повторилъ прочитанное по складамъ. На него вдругъ пахнуло чѣмъ-то совершенно новымъ и неожиданнымъ.

— А въ указѣ, который по сему предмету изданъ былъ, даже прямо истолковано,—объяснялъ, между тѣмъ, правитель канцеляріи:—что мѣщане потому отъ тѣлеснаго наказанія изъемлются, что они, какъ образованные, имѣютъ больше чувствительности...

— А въ какомъ университетѣ Прохоровъ образованіе получилъ?

— Какое образованіе-съ!.. просто дикій человѣкъ-съ!

— Влѣпить ему!

Никогда «онъ» не былъ въ такомъ возбужденномъ состояніи духа. Опасность, казалось, придала ему крылья и превратила предназначенную Прохорову казнь въ какую-то личную противъ него месть. При обыкновенномъ ходѣ вещей Прохоровъ, быть-можетъ, былъ бы отпущенъ съ однимъ внушеніемъ; теперь же онъ представлялъ собою врага, на которомъ должна была найти себѣ примѣненіе первая изъ помпадурскихъ доблестей: презрѣніе къ опасностямъ. До сихъ поръ, не сомнѣваясь въ діоирамбическомъ содержаніи закона, помпадуръ руководился исключительно инстинктомъ и потому размахивался лишь въ такихъ случаяхъ, когда того требовала его широкая натура. Теперь эта самая широкая натура, разожженная непредвидѣннымъ препятствіемъ, выступила разомъ со всѣми своими правами и какъ бы подсказывала ему: да докажи ты ему, милый человѣкъ, каково-таково существуетъ въ пользу его изъятіе!

— Не позволите ли келейно-съ?—докладывалъ встревоженный правитель канцеляріи.—Все одно свою порцію получитъ-съ!

Но «онъ» уже не слушалъ, а съ какою-то дурной ироніей повторялъ:

— Нѣтъ, по закону-съ! Я—по закону-съ! Не отступая-съ... ни на шагъ-съ... ни на волосъ-съ!

И затѣмъ приготовился выйти изъ присутствія, но въ дверяхъ, какъ бы вспомнивъ нѣчто, опять повернулся всѣмъ корпусомъ и твердымъ голосомъ произнесъ:

— Влѣпить-съ!

Очевидно было, однакожъ, что это былъ послѣдній, почти насильственный взрывъ темперамента, не вѣдавшаго узды. Мысль была ужъ возбуждена, и ежели не осадила человѣка сразу, то въ ближайшемъ будущемъ должна была выйти побѣдительницей.

Мучимый любопытствомъ, онъ напрасно старался подавить тревожное чувство, овладѣвшее всѣмъ существомъ его. Онъ дурно обѣдалъ, дурно спалъ послѣ обѣда. Работа разложенія дѣлала свое дѣло, и прежнее прочное и цѣльное міросозерцаніе терпѣло видимые ущербы. До сихъ поръ онъ относился къ встрѣчающимся въ природѣ разновидностямъ почти безсознательно, какъ къ созданію своего внутренняго *я*. И вдругъ оказывается, что разновидности существуютъ въ природѣ вполнѣ независимо отъ личныхъ его вкусовъ и даже предъявляютъ претензію на обязательное ихъ признаніе.

«Изъ сего изъемлются»... Эти слова онъ видѣлъ самъ, собственными глазами, и чѣмъ больше вдумывался въ нихъ, тѣмъ больше они его поражали. Первая степень изумленія формулировалась такъ: «отчего же я этого не зналъ?» Во второй степени формула уже усложнялась и представлялась въ такомъ видѣ: «отчего же, несмотря на несомнѣнность изъятій, я всегда дѣйствовалъ такъ, какъ бы ихъ не существовало, и никакого ущерба отъ того для себя не получалъ?»

Это былъ вопросъ настолько для него существенный, что онъ даже предложилъ его правителю канцеляріи.

— До поры, до времени-съ, — уклончиво отвѣчалъ послѣдній:—вотъ и Филиппъ Филиппычъ (предмѣстникъ помпадура) тоже блаженствовали, да пріѣхалъ ревизоръ-съ...

— Позвольте! не объ этомъ васъ спрашиваютъ. Ревизоръ—это само собою. Это—коли и я захочу: пріѣду и пре-

кращу. Но вѣдь вы говорите, что они, эти изъятія-то, всегда существуютъ и существовали?

— Всегда-съ.

— Не въ ревизорѣ, а въ законѣ... вотъ здѣсь, у васъ въ шкапу?

— Точно такъ-съ.

— Почему же?!

Онъ выпрямился во весь ростъ, какъ бы говоря: ты видишь, однако, что я до сихъ поръ живёхонекъ!

— То-то, все до поры, до времени-съ.

Отвѣтъ этотъ, однакожъ, не удовлетворилъ его, потому что правитель канцеляріи только представлялъ центръ тяжести: отъ помпадура къ ревизору. А ему хотѣлось знать, какимъ образомъ этотъ центръ тяжести, будучи первоначально заключенъ въ шкапу съ законами, вдругъ оттуда исчезъ, а теперь, въ роли непомнящаго родства, перебѣгаетъ отъ помпадура къ ревизору, а отъ ревизора опять къ помпадуру.

— Дуракъ!—сказалъ онъ рѣзко.

Правитель слегка зарумянился и уткнулся въ бумагу.

Онъ это замѣтилъ и поспѣшилъ поправиться.

— Извините, пожалуйста, я погорячился. Постараемтесь привести это дѣло въ ясность. Итакъ, вы утверждаете, что изъятія существуютъ?

— Существуютъ-съ.

— Что они не могутъ быть ни отмѣнены, ни измѣнены? Что и я, и ревизоръ, и чортъ, и дьяволъ—всѣ одинаково обязаны имѣть ихъ въ виду и соображаться съ ними? Такъ, что ли?

— Точно такъ-съ.

— Почему-жъ?!

Онъ опять выпрямился во весь ростъ, какъ бы спрашивая: да почему-жъ я до сихъ поръ живъ-живёхонекъ?

— Все до поры до времени-съ...

— Садитесь!

Загадка не давалась, какъ кладъ. На всѣ лады переворачивалъ онъ ее, и все оказывалось, что онъ кружится какъ бѣлка въ колесѣ. Съ одной стороны складывалось такъ: ежели эти изъятія, о которыхъ говоритъ правитель канцеляріи,—изъятія солидныя, то, стало-быть, мнѣ матъ. Съ другой стороны выходило и такъ: ежели я никакихъ изъятій никогда не зналъ и не знаю, и за всѣмъ тѣмъ чувствую себя совершенно хорошо, то, стало-быть, матъ изъятіямъ.

Что правитель смѣшалъ тутъ два предмета совершенно разнородныхъ: ревизора и шкапъ съ законами—это было для него ясно. Что̀ такое ревизоръ? Это человѣкъ, сложенный изъ такого же матеріала, какъ и онъ, помпадуръ. Это—помпадуръ въ квадратѣ,—и ничего больше. Онъ приступаетъ къ дѣлу съ такими же голыми руками, какъ и самый послѣдній изъ помпадуровъ. Онъ можетъ знать, что̀ происходитъ въ шкапу съ законами, но можетъ и не знать—дѣло отъ того отнюдь не пострадаетъ. Онъ тоже ограниченъ словами: «до поры, до времени» и, стало-быть, въ свою очередь, долженъ состоять въ непрерывномъ опасеніи другого ревизора. Этотъ послѣдній будетъ уже помпадуръ въ кубѣ, но, все-таки, не болѣе какъ помпадуръ, имѣющій въ виду грядущаго вдали помпадура четвертой степени. Какое же отношеніе ко всему этому можетъ имѣть шкапъ съ законами?

Но, быть-можетъ, въ этомъ шкапу заключался не самый источникъ «поры» и «времени», а только тотъ матеріалъ, который давалъ возможность въ удобный, по усмотрѣнію, моментъ опредѣлить «пору» и «время»? Это ли хотѣлъ сказать правитель канцеляріи?

Вѣроятнѣе всего, послѣдній именно такъ и разумѣлъ это дѣло. Онъ былъ слишкомъ опытенъ въ обращеніи съ шкапами, чтобы видѣть въ нихъ что-нибудь больше, нежели простые шкапы. За бытность его въ этой должности, передъ глазами его преемственно прошло до десятка помпадуровъ, и всѣ они исчезли какъ дымъ, именно въ силу правила: до поры, до времени. Въ этомъ правилѣ заключалась, по мнѣнію его, вся жизнь. Онъ распространялъ его не только на помпадуровъ, но и на всю природу, на все окружающее. Видѣлъ ли онъ беззавѣтное ликованіе, или осторожность, доходящую до трепета, онъ говорилъ: «до поры, до времени», и всегда оказывался пророкомъ. На ликующаго человѣка набѣгалъ помпадуръ и съ словами: «ты что̀ горло-то распустилъ?»—приказывалъ взять его въ часть. Тотъ же помпадуръ набѣгалъ и на осторожнаго человѣка, и съ словами: «прятаться, что ли, ты отъ меня хочешь?»—тоже приказывалъ взять его въ часть. Даже и самого себя правитель канцеляріи не исключалъ изъ этого правила, и зналъ, что и для него придетъ пора и время.

Но здѣсь онъ былъ непослѣдователенъ и вмѣсто того, чтобы ждать бодро и твердо наступленія своего часа, уклонялся, лавировалъ и всячески старался объ его отдаленіи.

Инстинктъ самосохраненія былъ слишкомъ силенъ, именно тотъ инстинктъ, который заставляетъ осужденнаго на казнь питать надежды, которымъ никогда не суждено сбыться. Подстрекаемый этимъ инстинктомъ, онъ обращалъ тоскливые взоры къ шкапу съ законами и какъ бы выжидалъ отъ него защиты. Онъ зналъ, что ожиданія его тщетны,—и, все-таки, ждалъ. Это была слабая сторона его философіи, почти отрицаніе ея, и нельзя сказать, чтобъ онъ не понималъ этого. Иногда огораживаніе себя отъ преждевременнаго наступленія «часа» требовало отъ него такихъ усилій, что онъ даже помышлялъ бросить это дѣло. «Брошусь, да и поплыву по всему раздолью, какъ прочіе!»—раздумывалъ онъ; но инстинктъ самосохраненія такъ и зудилъ, такъ и нашептывалъ: «погоди, можетъ-быть, и завтра живъ будешь!» И такимъ образомъ онъ жилъ, питая, съ одной стороны, твердое упованіе, что «часъ» неизбѣженъ, съ другой—ободряя себя смутною надеждою, не придетъ ли къ нему въ этотъ страшный моментъ на выручку шкапъ съ законами.

Помпадуръ понялъ это противорѣчіе, и для начала призналъ безусловно-вѣрною только первую половину письмоводителевой философіи, то-есть, что на свѣтѣ нѣтъ ничего безусловно-обезпеченнаго, ничего такого, что̀ не подчинялось бы закону поры и времени. Онъ обнялъ совокупность явленій, лежавшихъ въ районѣ его духовнаго ока, и вынужденъ былъ согласиться, что весь міръ стоитъ на этомъ краеугольномъ камнѣ. «Все тутъ-съ». Придя къ этому заключенію и примѣняя его спеціально къ обывателю, онъ даже расчувствовался.

— Вѣдь вотъ,—говорилъ онъ самъ съ собою:—у него даже минуты нѣтъ... совсѣмъ безопасной! Возьмемъ, напримѣръ, хоть меня. Ну, ревизоръ, ну, тамъ чортъ-дьяволъ... конечно, это въ своемъ родѣ моментъ! Но вѣдь не свалится же онъ ко мнѣ какъ камень на голову. Все же предупредятъ какъ-нибудь; цидулочку, по секрету, добрый человѣкъ напишетъ: ѣдетъ, молъ. Ну, вотъ тогда хоть бы этого самаго Прохорова на время и убрать можно, чтобы ревизору въ глаза не кинулся. Да и самый ревизоръ — вѣдь онъ тоже помпадуръ! Развѣ ему эти чувства не извѣстны? Стало-быть, можно и разговоръ съ ними повести. А обыватель? кто его предупредитъ? и что̀ онъ предпринять можетъ? Для него всегда «пора» и всегда «время». Завсегда онъ со всѣхъ сторонъ окруженъ. Онъ думаетъ кусокъ до рта донести, анъ тутъ пришла «пора»—и полетѣлъ кусокъ на полъ. Вотъ-съ.

Богъ-вѣсть, куда привело бы его это грустное настроеніе мыслей, если-бъ онъ не сознавалъ, что вопросъ долженъ быть разрѣшенъ, помимо сентиментальныхъ соображеній, лично для него самого. И онъ приступилъ къ этому разрѣшенію прямо, безъ колебаній.

— Если пора и время неизбѣжны,—размышлялъ онъ:— то, стало-быть, нечего объ нихъ и думать. Существованіе ихъ равняется несуществованію, ибо необезпеченность, возведенная въ принципъ, вполнѣ равняется обезпеченности. Omnia mea mecum porto—что съ меня возьмешь! Если я совсѣмъ-совсѣмъ не обезпеченъ, то это значитъ, что я обезпеченъ вполнѣ. *Гдѣ столъ былъ яствъ, тамъ гробъ стоитъ*,— и ничего больше. Сегодня я помпадуръ, стою прямо и бодро; завтра явился помпадуръ въ квадратѣ—прилетѣлъ и переломилъ. *Гдѣ пиршествъ раздавались крики, надгробные тамъ воютъ лики*,—вотъ и все.

— Да-съ, все-съ,—повторилъ онъ уже вслухъ, и это теченіе мыслей было бы крайне для него благопріятно, если-бъ оно не было разстроено однимъ совершенно случайнымъ обстоятельствомъ.

Дѣло въ томъ, что, разгуливая безпокойно по комнатѣ, онъ какъ разъ налетѣлъ на шкапъ съ законами.

— Вотъ гдѣ «пора» и «время»!—шепнулъ ему какой-то таинственный голосъ.

— Вздоръ-съ!—заревѣлъ онъ во все горло въ отвѣтъ этому предостереженію, но тутъ же сконфузился и поблѣднѣлъ.

Инстинктъ самосохраненія, уже испортившій цѣльность міросозерцанія письмоводителя, вспыхнулъ и въ немъ.

Онъ судорожно схватилъ въ руки томъ и началъ его перелистывать. Что онъ тамъ увидѣлъ! Боже! что онъ увидѣлъ!

Онъ увидѣлъ, что вся жизнь человѣческая предусмотрѣна и опредѣлена. Все, начиная съ питанія и кончая просвѣщеніемъ и обязанностью устраивать фабрики и заводы и содержать въ исправности мосты и перевозы. На все—подробное правило, и за неисполненіе каждаго правила— угроза. Ему, ему... угроза! Да, и ему. И его жизнь предусмотрѣна и опредѣлена, и она обставлена многосложнѣйшими обязанностями и отношеніями. Онъ былъ центромъ, около котораго группировались: и обывательское продовольствіе, и обывательская нравственность, и просвѣщеніе, и торговля. И всему этому присвоялось названіе «обязан-

ностей», но отнюдь не «правъ». Правда, что для выполненія этихъ обязанностей онъ былъ вооруженъ угрозою, но размѣры этой угрозы также были опредѣлены заранѣе и выходить изъ этихъ размѣровъ представлялось не безопаснымъ.

«Воспрещается», «вмѣняется въ обязанность»—вотъ выраженія, съ которыми онъ совершенно неожиданно вынужденъ былъ познакомиться. Ни «закатить», ни «влѣпить»—ничего подобнаго. Прохоровъ же былъ «изъятъ» несомнѣнно.

Онъ былъ подавленъ, уничтоженъ. Тѣмъ не менѣе, капризная мысль его и тутъ не измѣнила своему обычному характеру. Онъ не сказалъ себѣ:—вотъ какое бремя лежитъ на мнѣ, безвѣстномъ кадетѣ, выбравшемся въ помпадуры! вотъ съ чѣмъ надлежало мнѣ познакомиться, прежде чѣмъ расточать направо и налѣво: «влѣпить» да «закатить»!—но вскочилъ, какъ ужаленный, и съ какимъ-то горькимъ, нервнымъ смѣхомъ воскликнулъ:

— Послѣ этого... послѣ этого... зачѣмъ же мы, помпадуры, нужны?!

«Нужны ли помпадуры»? Неотразимая ясность этого вопроса оскорбляла нашего помпадура до крови. И всего больнѣе при этомъ было то, что оскорбленіе шло изнутри, что онъ самъ, своею неумѣренною пытливостью, вызвалъ его.

Съ этой минуты горькое чувство окрасило все его существованіе. Прямого врага не было, но чувствовалось по всему, что врагъ этотъ существуетъ, что онъ невидимо сопутствуетъ всюду, во всякое время. Явилась страстная потребность полемизировать; но когда полемика воспріяла начало, то оказалось, что она имѣетъ характеръ косвенный, робкій. Въ ея ироніи не сказывалось свободы; ея дерзость проявлялась порывами и свидѣтельствовала о напряженномъ состояніи душевныхъ силъ. Проходя мимо шкапа, онъ улыбался и дѣлалъ головой ироническій жестъ, но даже мало-проницательный человѣкъ могъ догадаться, что и улыбкой, и жестомъ онъ только обманываетъ самого себя. Съ такою неувѣренностью улыбается человѣкъ передъ врагомъ, котораго онъ имѣетъ причины опасаться, но передъ которымъ считаетъ, однакожъ, нужнымъ слегка похорохориться. Какъ-то сойдетъ ему съ рукъ эта улыбка? Пройдетъ ли врагъ мимо, не замѣтивъ ея, или же замѣтитъ и тутъ же за нее покараетъ?

Онъ начиналъ полемизировать съ утра. Когда онъ при-

ходилъ въ правленіе, первое лицо, съ которымъ онъ встрѣчался въ передней, былъ неизмѣнный мѣщанинъ Прохоровъ, подобранный въ безчувственномъ видѣ на улицѣ и посаженный въ часть. Въ прежнее время свиданіе это имѣло, въ глазахъ помпадура, характеръ обычая и заканчивалось словомъ: «влѣпить!» Теперь на первый планъ выступила полемика, то-есть терзаніе, отражающееся не столько на Прохоровѣ, сколько на самомъ помпадурѣ.

— Ну-съ, господинъ Прохоровъ, что скажете?—начинаетъ онъ, останавливаясь передъ безобразнымъ малымъ съ отекшимъ лицомъ и налитыми кровью глазами.

— Виноватъ, ваше благородіе!

Горькая улыбка появляется на лицѣ помпадура.

— Что же-съ... съ Богомъ! Будто вы не знаете, что вы изъятые!.. Да-съ, изъятые. Это не я говорю, а законъ-съ. По случаю вашей образованности-съ...

— Ваше высокоблагородіе! помилосердствуйте! Съ нынѣшняго дня даже зарокъ себѣ положилъ.

— Зачѣмъ же зарокъ-съ, кушайте! Въ прежнее время я васъ за это по спинѣ глаживалъ, а теперь... законъ-съ! Да что же вы стоите, образованный молодой человѣкъ? Стулъ господину Прохорову! По крайности, посмотрю я, какъ ты, к-к-каналья, сидѣть передо мной будешь!

Онъ не выдерживаетъ роли и, хлопнувъ дверью, весь кипящій и колышущійся, входитъ въ канцелярскую камору. Но тамъ ожидаютъ его новые поводы для полемики: журналы, исходящія бумаги, нераспечатанная почта и проч.

— Зачѣмъ вы всю эту чепуху на столъ ко мнѣ навалили?—обращается онъ къ правителю, указывая на ворохъ.

— Бумаги-съ...

— Знаю, что бумаги. Да вѣдь вы говорили, что есть законъ?

— Точно такъ-съ.

— Слѣдственно, и докладывайте ихъ господину закону, а меня отъ каверзъ увольте!

Правитель безпокойно слѣдитъ за его тѣлодвиженіями.

— Я теперь такъ поступать буду,—продолжалъ ораторствовать помпадуръ:—что бы тамъ ни случилось—законъ. Пѣшкомъ человѣкъ идетъ—покажи законъ! въ телѣгѣ ѣдетъ—законъ! Я васъ дойму, милостивый государь, этимъ закономъ! Вонъ онъ! вонъ онъ!—восклицаетъ онъ, завидѣвъ изъ окна мужика, ѣдущаго на базаръ.—Съ огурцами на базаръ ѣдетъ! гдѣ законъ? Остановить его!

— Не возбраняется-съ.

— Гдѣ сказано: «не возбраняется»? Покажите!

Правитель краснѣетъ и извивается, какъ вьюнъ на сковородѣ. Къ счастью, помпадуръ, исчерпавъ одинъ предметъ, уже чувствуетъ потребность перейти къ другому.

— Вонъ у меня на пожарномъ дворѣ всѣ рукава у трубъ ссохлись,—говоритъ онъ:—посмотримъ, какъ-то починитъ ихъ господинъ законъ!

Водворяется временное молчаніе. Правитель канцеляріи садится на мѣсто и тихо поскрипываетъ перомъ. Самъ помпадуръ, нѣсколько успокоенный, останавливается передъ зерцаломъ и вглядывается въ вклеенные по бокамъ его указы. Но, увы! онъ не только не извлекаетъ изъ нихъ никакихъ поученій, но, напротивъ того, съ какимъ-то безконечно-горькимъ упрекомъ произноситъ:

— Ты!!

Бумаги, однакожъ, не ждутъ. Какъ ни постылы кажутся ему онѣ въ настоящую минуту, но онъ, волей-неволей, садится къ столу и начинаетъ съ ожесточеніемъ распечатывать одинъ пакетъ за другимъ.

— И зачѣмъ они мнѣ предписываютъ! — восклицаетъ онъ.—Знаютъ, что есть законъ—ну, и предписывали бы закону! Анъ нѣтъ—все ко мнѣ да ко мнѣ!

Слышится шелестъ бумаги и бормотаніе: «предписывается вамъ», «велѣть ему, помпадуру», «неотложно», «немедленно», «подъ опасеніемъ взысканія по законамъ»...

— Я вамъ говорю!—придирается онъ къ правителю канцеляріи.

— Что изволите приказать-съ?

— Я не приказываю, а говорю. Приказываетъ законъ, а я только говорю. Я спрашиваю васъ: зачѣмъ они мнѣ предписываютъ, коли законъ есть?

— Потому собственно...—оправдывается правитель, но оправданіе его выходитъ неловкое, спутанное.

Правитель канцеляріи самъ чувствуетъ эту неловкость. Случайно затѣявши кутерьму, онъ сталъ втупикъ при видѣ бездны противорѣчій, въ которую ввергло его совмѣстное существованіе закона и помпадура.

— Садитесь.

Помпадуръ подмахиваетъ одну бумагу за другой, но однажды начатая работа мысли уже не покидаетъ его. Онъ смутно сознаетъ, что объясненія ему ждать неоткуда. По крайней мѣрѣ, онъ найдетъ его не здѣсь, не въ стѣнахъ

канцелярской каморы. Эти стѣны положительно начинаютъ давить его. Пространство, окруженное ими, кажется ему заколдованнымъ кругомъ, въ который не можетъ пробраться ни одинъ простой и ясный отвѣтъ. Здѣсь все заколочено наглухо, все смотритъ упрекомъ, все допрашиваетъ, язвитъ, загадываетъ загадки и тутъ же бросаетъ эти загадки безъ всякой попытки къ ихъ разрѣшенію. Гдѣ взять это разрѣшеніе? гдѣ искать его?

Онъ еще въ кадетскомъ корпусѣ слышалъ, что есть на свѣтѣ явленіе, именующееся «борьбою съ закономъ». Что многіе боролись успѣшно, но многіе же и изнемогали въ этой борьбѣ. Такъ, напримѣръ, одинъ губернаторъ болѣе двухъ десятилѣтій боролся, и даже чуть-было не побѣдилъ, но пріѣхалъ ревизоръ и сразу заставилъ побѣдителя положить оружіе. Минута этого плѣненія губернаторскаго была страшною минутой для многихъ. Помпадуры гибли десятками; зеркальная поверхность административнаго моря возмутилась почти мгновенно; униженные и оскорбленные подняли голову, ликующіе и творящіе расправу опустили ее долу; такъ-называемые ябедники выползли изъ своихъ норъ и продерзостно называли себя представителями общественной совѣсти. Крушеніе было общее.

Роль борющагося съ законами человѣка имѣла свою привлекательность, и очень можетъ быть, что въ другое время онъ охотно остановился бы на ней. Но, во-первыхъ, онъ понималъ, что бороться (успѣшно или неуспѣшно) могутъ только очень сильные люди, и что ему, безвѣстному помпадуру Богъ-вѣсть которой степени, предоставлена въ этомъ случаѣ лишь мелкая полемика, которая ни къ чему другому не можетъ привести, кромѣ изнуренія. Во-вторыхъ, онъ зашелъ уже слишкомъ вглубь вопроса, чтобы увлечься какою-нибудь эпизодическою подробностью, какъ бы блестяща она ни была. Его занимало совсѣмъ не то, что борьба возможна, а то, *въ силу чего она возможна,* и почему для однихъ она оканчивается лаврами, а для другихъ—постыднымъ бѣгствомъ въ отставку и даже подъ судъ. Что-нибудь изъ двухъ: либо законъ, либо онъ, помпадуръ. Такъ, по крайней мѣрѣ, представлялось это дѣло его пониманію. Если законъ можетъ умиротворить мѣщанина Прохорова—пускай и умиротворитъ; если законъ можетъ исправить ссохшіеся рукава у пожарныхъ трубъ—пускай и исправитъ!

— Пускай-съ!—восклицаетъ онъ мысленно.

Но если законъ не можетъ не исправить, ни умиротворить, то пусть же онъ и не мѣшаетъ ему, помпадуру, пусть не становится поперекъ его предначертаній.

Неуязвимость этой логики была ясна какъ день.

Но вотъ нить его размышленій прерывается криками, несущимися съ пожарнаго двора. То бунтуетъ Прохоровъ, гребуя, чтобы его рѣшили немедленно. Полемика возобновляется.

— Какъ прикажете?—спрашиваетъ письмоводитель.

— Зачѣмъ вы спрашиваете? Вѣдь вы знаете, что я ничего не могу! Что теперь—*Законъ!* Какъ тамъ написано, такъ тому и быть. Ежели написано: господину Прохорову награду дать—я радъ-съ; ежели написано: влѣпить!—я и противъ этого возраженій не имѣю!

Въ такихъ безрезультатныхъ рѣшеніяхъ проходитъ все утро. Наконецъ, присутственные часы истекаютъ: бумаги и журналы подписаны и сданы; дѣло Прохорова разрѣшается само собою, то-есть изморомъ. Но даже въ этотъ вожделѣнный моментъ, когда вся природа свидѣтельствуетъ о наступленіи адмиральскаго часа, чело его не́ разглаживается. Въ былое время онъ зашелъ бы передъ обѣдомъ на пожарный дворъ, осмотрѣлъ бы рукава, ящики, насосы; при своихъ глазахъ велѣлъ бы все зачинить и заклепать... Теперь онъ думаетъ: «пускай все это сдѣлаетъ законъ».

Онъ положительно озлобленъ и даже домой идетъ какою-то нервною, оскорбленною походкой.

Къ обѣду является стряпчій, бездомный малый, давно ужъ пріобрѣвшій привычку питаться на счетъ помпадура. Но разговоръ какъ-то не клеится. Первое кушанье съѣдается молча; передъ вторымъ помпадуръ рѣшается пустить въ ходъ мучащую его загадку.

— Давеча мнѣ письмоводитель цѣлую предику насчетъ законовъ прочиталъ,—произноситъ онъ.

— Что́ же такое?

— Да все насчетъ этой... обязательной силы, что ли...

Стряпчій выпиваетъ рюмку водки и совершенно флегматично отвѣчаетъ:

— Давненько ужъ эти слухи-то ходятъ!

— А по-твоему какъ?

— По-моему, все до поры, до времени.

— Фу! опять это слово! Да пойми же, братецъ, что ежели есть законъ и можетъ этотъ законъ все сдѣлать, такъ при чемъ же я-то въ помпадурахъ состою?

— Надоѣло, видно, тебѣ жалованье-то получать!

Помпадуръ пробуетъ продолжать споръ, но оказывается, что почва, на которой стоитъ стряпчій, та самая, на которой держится и письмоводитель, что, слѣдовательно, тутъ можно найти только обходъ и отнюдь не рѣшеніе вопроса по существу. «Либо законъ, либо я», — вотъ какую дилемму поставилъ себѣ помпадуръ, и требовалъ, чтобъ она разрѣшена была прямо, не норовя ни въ ту, ни въ другую сторону.

«Нѣтъ, это все не то!—думалось ему.—Если бы я собственными глазами не видѣлъ: «законъ»—ну, тогда точно! И я бы могъ жалованье получать, и законъ бы своимъ порядкомъ въ шкапу стоялъ. Но теперь вѣдь я видѣлъ, стало-быть, знаю; стало-быть, даже невѣдѣніемъ оттовариваться не могу. Какъ ни поверни, а соблюдать долженъ. А попробуй-ка я соблюдать—да тутъ одинъ Прохоровъ такую задачу задастъ, что ногъ не унесешь!»

Въ такихъ колебаніяхъ и сомнѣніяхъ проходятъ дни за днями. Очень возможно, что онъ и совсѣмъ не добился бы отвѣта на мучившіе его вопросы, если бы внезапно не осѣнила его героическая рѣшимость, которую онъ и привелъ немедленно въ исполненіе.

Рѣшимость эта заключалась въ томъ, чтобы изслѣдовать въ самомъ источникѣ, узнать отъ чистыхъ сердцемъ и нищихъ духомъ (сіи суть столпы), нужны ли помпадуры. Въ какихъ отношеніяхъ находится къ этому источнику практика помпадурская и въ какихъ — практика законовъ? которая изъ нихъ имѣетъ перевѣсъ? въ какомъ смыслѣ—въ смыслѣ ли творческомъ, или просто въ смыслѣ реактива, производящаго баламутъ?

Чтобы осуществить эту мысль, онъ прибѣгнулъ къ самому первоначальному способу, то-есть переодѣлся въ партикулярное платье, и въ первый воскресный день incognito отправился на базарную площадь.

День былъ веселый и базаръ многолюдный; площадь была загромождена возами съ осенними продуктами; говоръ несся отовсюду. Въ воздухѣ пахло капустой, грибами и овощами. Звякали мѣдные гроши, слышалось хлопанье по рукамъ, пробное щелканье глиняной посуды, ржаніе лошадей. Въ одномъ мѣстѣ пѣли пѣсни, въ другомъ ругались; тамъ и сямъ кричали: «караулъ!» Бабы торговались съ такой энергіей, что, казалось, готовы были перерватъ

другъ другу горло. Были и случаи неповиновенія властямъ: будочникъ просилъ у торговки пять грибовъ на щи, а она давала два, и будочникъ качалъ головой, какъ бы обдумывая, не разстрѣлять ли бабу за упорство...

Но помпадуръ ничего не замѣчалъ. Онъ былъ отъ природы не сентименталенъ, и потому вопросъ, счастливы ли подвѣдомственные ему обыватели, интересовалъ его мало. Быть-можетъ, онъ даже думалъ, что они не смѣютъ не быть счастливыми. Поэтому проявленія народной жизни, проходившія передъ его глазами, казались не болѣе какъ фантасмагоріей, ключъ къ объясненію которой, быть-можетъ, когда-то существовалъ, но уже въ давнее время однимъ изъ наѣзжихъ помпадуровъ былъ закинутъ въ колодецъ, и съ тѣхъ поръ никто оттуда достать его не можетъ.

Тѣмъ не менѣе, кое-что изъ происходившаго даже ему бросилось въ глаза.

Прежде всего его поразило слѣдующее обстоятельство. Какъ только онъ сбросилъ съ себя помпадурскій образъ, такъ тотчасъ же всѣ перестали оказывать ему знаки уваженія. Стало-быть, того особаго помпадурскаго вещества, которымъ онъ предполагалъ себя пропитаннымъ, вовсе не существовало; а если и можно было указать на что-нибудь въ этомъ родѣ, то, очевидно, что это «что-нибудь» скорѣе принадлежало мундиру помпадура, нежели ему самому.

Второе поразившее его обстоятельство было такого рода. Шелъ по базару полицейскій унтеръ-офицеръ (даже не квартальный),—и всѣ передъ нимъ разступались, снимали шапки. Вскорѣ, вслѣдъ за унтеръ-офицеромъ, прошелъ по тому же базару такъ-называемый ябедникъ съ томомъ законовъ подъ мышкой, — и никто передъ нимъ даже пальцемъ не пошевелилъ. Стало-быть, и въ законѣ нѣтъ того особливаго вещества, которое заставляетъ держать руки по швамъ; ибо если бы это вещество было, то оно, конечно, дало бы почувствовать себя и подъ мышкой у ябедника.

Стало-быть, вещество заключено собственно въ мундирѣ; взятые же независимо отъ мундира, и онъ, помпадуръ, и законъ—равны.

Заключеніе это вскорѣ было самымъ блистательнымъ образомъ подтверждено и другими изслѣдованіями.

Какъ ни старательно онъ прислушивался къ говору толпы, но слова: «помпадуръ», «законъ» — ни разу не долетѣли до его слуха. Либо эти люди были счастливы сами по себѣ, либо они просто дикіе, не имѣющіе даже элементарныхъ

понятій о томъ, что̀ во всемъ образованномъ мірѣ извѣстно подъ именемъ общественнаго благоустройства и благочинія. Долго онъ не рѣшался заговорить съ кѣмъ-нибудь, но, наконецъ, замѣтилъ довольно благообразнаго старика, стоявшаго у воза съ кожами, и подошелъ къ нему.

— Вотъ что̀, почтеннѣйшій, — началъ онъ: — человѣкъ я пріѣзжій, и нужно мнѣ до вашего градоначальника дойти. Каковъ онъ у васъ?

— Это какой же начальникъ?

— Да вонъ тотъ... главный... что̀ на пожарномъ дворѣ живетъ.

— А кто его знаетъ! надобности намъ въ немъ не видится.

Помпадура даже передернуло при этомъ отвѣтѣ.

— Какъ же это, почтеннѣйшій, до градоначальника—да надобности нѣтъ? А ну, ежели, напримѣръ... что̀ бы, напримѣръ...

Онъ сталъ отыскивать подходящій примѣръ, но какъ ни усиливался—могъ отыскать только слѣдующій:

— А ну, напримѣръ, ежели въ часть попадешь?

— До сихъ поръ Богъ миловалъ. А ежели когда попадемъ, тогда и узнаемъ.

— Но, можетъ-быть, слухи какіе-нибудь ходятъ... Вѣдь это градоначальникъ, почтеннѣйшій! говорятъ же о немъ что-нибудь!

— И слуховъ не знаемъ. Потому ничего намъ этого не надобно.

— Гм!.. Стало-быть, такъ и живете? и ничего не опасаетесь?

— Опасаться какъ не опасаться, завсегда опасаемся, потому что все до поры, до времени.

— Можетъ, закона боишься?

— Говорю тебѣ: до поры, до времени. Выѣдешь это изъ дому хоть бы на базаръ, а воротишься ли домой—впередъ сказать не можешь. Вотъ тебѣ и сказъ. Можетъ-быть, законъ тебѣ пропишутъ, али бы что...

— Странно это. Если ты ведешь себя хорошо, если ты ничего не дѣлаешь... я надѣюсь, что господинъ градоначальникъ настолько справедливъ...

— Ты и надѣйся, а мы надежды не имѣемъ. Никакихъ мы ни градоначальниковъ, ни законовъ твоихъ не знаемъ, а знаемъ, что у каждаго человѣка своя планида. И ежели, примѣрно, сидѣть тебѣ, милый человѣкъ, сегодня въ части,

такъ ты хоть за сто верстъ отъ нея убѣги—все къ ней же воротишься!

Таково было содержаніе перваго разговора. Покончивъ съ кожевенникомъ, помпадуръ устремился къ старичку-мѣщанину, стоявшему у палатки, увѣшанной лубочными картинками. Старикъ былъ обритъ и одѣтъ въ нѣмецкое платье и сквозь круглые очки читалъ одну изъ книгъ московскаго издѣлія, которыми тоже, повидимому, производилъ торгъ.

— Почтеннѣйшій!—обратился онъ къ мѣщанину.—Я человѣкъ пріѣзжій и имѣю надобность до вашего градоначальника. Каковъ онъ?

— А какъ вамъ, сударь, сказать. Нужды мы до сихъ поръ въ господинѣ градоначальникѣ не видѣли?

— Однакожъ?

— Такъ точно-съ. Отъ съѣзжей покуда Богъ миловалъ, а о прочемъ о чемъ же намъ съ господиномъ градоначальникомъ разговоръ имѣть?

— Стало-быть, такъ живете, что опасаться вамъ нѣчего?

— Ну, тоже не безъ опаски живемъ. И въ Писаніи сказано: блюдите да опасно ходите. По нашему званію, каждую минуту опасаться должно.

— Чего же вы боитесь? О градоначальникѣ, какъ вы сами сейчасъ сказали, даже понятія не имѣете, — законъ, что ли, вамъ страшенъ?

— И о законѣ доложу вамъ, сударь: законъ для вельможъ да для дворянъ дѣйствіе имѣетъ, а простой народъ ему не подверженъ.

— Не понимаю.

— Да и не легко понять-съ, а только дѣйствительно оно такъ точно. Потому народъ — онъ больше натуральными правами руководствуется. Повѣрите ли, сударь, даже податей понять не можетъ!

— Однако, чего же-нибудь да боитесь вы?

— Планиды-съ. Все до поры, до времени. У всякаго своя планида, все равно, какъ камень съ неба. Выйдешь утромъ изъ дому, а воротишься ли — не знаешь. Въ темномъ страхѣ такъ и проводишь всю жизнь.

— Но я надѣюсь, что господинъ градоначальникъ настолько справедливъ, что ежели вы ничего не сдѣлали...

Въ это время къ бесѣдующимъ подошелъ сельскій священникъ и дружески поздоровался съ продавцомъ картинъ.

— Вотъ, отецъ Трофимъ, господинъ пріѣзжій свѣдѣніе о господинѣ градоначальникѣ получить желаютъ.

— Надобность имѣете?—спросилъ отецъ Трофимъ.

— Да-съ, надобность.

— Личнаго знакомства съ господиномъ градоначальникомъ не имѣю, да и надобности до сихъ поръ, признаться, не видѣлось, но, по слухамъ, рекомендовать могу. Къ храму Божьему прилеженъ и мзду пріемлетъ безъ затрудненія... Только вотъ съ закономъ, повидимому, въ ссорѣ находится.

— А они вотъ и насчетъ законовъ тоже разговорились,— вставилъ свое слово продавецъ картинъ: — спрашиваютъ, боится ли простой народъ закона?

— Законъ, я вамъ доложу, наверху начертанъ. Все равно, какъ планета...

Но онъ уже не слушалъ дальше. Завидѣвъ пошатывающагося вдали, съ гармоніей въ рукахъ, мастерового, онъ правильно заключилъ, что этотъ человѣкъ несомнѣнно сиживалъ на съѣзжей, а слѣдовательно, во всякомъ случаѣ, имѣетъ понятіе о степени и предѣлахъ власти градоначальника.

— Эй, почтенный, слышь!

Но не успѣлъ онъ формулировать свой вопросъ, какъ мастеровой сразу огорошилъ его восклицаніемъ:

— Вашему благородію, господину пррахвостову!

Онъ шарахнулся, какъ обожженный, и скрылся въ толпу. Тамъ, чтобы не быть узнаннымъ, подсѣлъ онъ на скамеечку къ торговкѣ, продававшей сусло и гречневики.

— А позвольте, голубушка, узнать,—сказалъ онъ:—каковъ таковъ здѣшній градоначальникъ?

Но торговка даже не взглянула на него, а просто сказала краткое, но сильное слово:

— А что, видно, давно ты на съѣзжей не сиживалъ?

Онъ былъ удовлетворенъ и уже хотѣлъ возвратиться во-свояси, но по дорогѣ завидѣлъ юродивую Устюшу и не вытерпѣлъ, чтобы не подойти къ ней.

— Устюша, скажи ты мнѣ, сдѣлай милость...

Но блаженная, не давъ ему кончить, не своимъ голосомъ закричала:

— Воняетъ! воняетъ!

Въ дальнѣйшихъ изслѣдованіяхъ, очевидно, не предстояло никакой надобности.

Результатъ перешелъ за предѣлы его ожиданій. Ни помпадуры, ни законъ—ничто не настигаетъ полудикую массу. Ее настигаетъ только «планида»,—и дорого бы онъ далъ въ эту минуту, чтобы имѣть эту «планиду» въ своихъ рукахъ.

Что̀ такое «законъ», что̀ такое «помпадуръ» въ глазахъ толпы?—это не что̀ иное, какъ страдательные агенты «планиды», и притомъ не *всей* «планиды», а только той ея части, которая осуществляетъ собою карательный элементъ. Они не могутъ ни оплодотворять земли, ни послать дождь или ведро, ни предотвратить наводненіе — однимъ словомъ, не могутъ принять творческаго участія во всемъ томъ кругѣ явленій, среди которыхъ движется толпа и вліяніе которыхъ она исключительно на себѣ ощущаетъ. Они могутъ воспрепятствовать, возбранить, покарать; но творчество никогда имъ принадлежать не будетъ, а будетъ принадлежать «планидѣ». Даже самая кара ихъ имѣетъ свойство далеко не «планидное», ибо, настигая однихъ, она не замѣчаетъ, что тутъ же рядомъ стоятъ десятки и сотни другихъ, которыхъ тоже не мѣшаетъ подобрать и посадить на съѣзжую. А потому толпа даже и въ карѣ видитъ не кару, а несчастіе.

Въ хаотическомъ видѣ всѣ эти мысли мелькали въ головѣ помпадура. Одну минуту ему даже померещилось, что онъ какъ будто совсѣмъ лишній человѣкъ, въ родѣ пятаго колеса въ колесницѣ; но въ слѣдующее затѣмъ мгновеніе эта мысль представилась ему до того обидною и дикою, что онъ даже весь покраснѣлъ отъ негодованія. А такъ какъ онъ вообще не могъ порядкомъ разобраться съ своими мыслями, то выходили какія-то душевныя сумерки, въ которыхъ свѣтъ хотя и борется съ тьмою, но въ концѣ концовъ тьма все-таки должна остаться побѣдительницею.

Впрочемъ, во всемъ этомъ была и утѣшительная для его самолюбія сторона, та именно, что ни помпадуру, ни закону никакихъ преимуществъ другъ передъ другомъ не отдавалось. Эту сторону онъ понялъ сразу и ухватился за нее съ жадностью. Конечно, изслѣдованіе раскрыло ему не одно это, а гораздо больше: оно доказало, что онъ не что иное, какъ микроскопическій агентъ великой силы, называемой «планидою», и что, затѣмъ, самая полезность его существованія вовсе не такъ несомнѣнна, какъ это казалось ему самому. Но онъ поспѣшилъ скомкать этотъ главный результатъ и проглотить заключавшуюся въ немъ обиду, сдѣлавъ видъ, что не замѣчаетъ ея. Зато тѣмъ съ бо̀льшимъ жаромъ онъ привязался къ другому, частному результату, гласившему объ упраздненіи привилегій и преимуществъ, приписываемыхъ закону. Онъ даже шелъ дальше этого резуль-

тата; онъ провидѣлъ перспективы и надѣялся оттягать частичку въ свою пользу.

— Да-съ; мы еще потягаемся!—бормоталъ онъ въ забвеніи чувствъ:—посмотримъ еще, кто кого!

Но первоначальный толчокъ, возбудившій потребность изслѣдованія, былъ такъ силенъ, что собственными средствами отдѣлаться отъ него было невозможно. Такъ какъ вопросъ пришелъ извнѣ (отъ письмоводителя), то надобно было, чтобы и найденное теперь рѣшеніе вопроса было провѣрено въ горнилѣ чьего-нибудь посторонняго убѣжденія.

Съ этою цѣлью онъ отправился вечеромъ въ клубъ, это надежнѣшее и вѣрнѣйшее горнило, въ которомъ провѣряются и крѣпнутъ всевозможныя помпадурскія убѣжденія. Обычная картина высшаго провинціальнаго увеселительнаго учрежденія представилась глазамъ его. Кухонный чадъ, смѣшанный съ табачнымъ дымомъ, облаками ходилъ по комнатамъ; помѣщики сидѣли за карточными столами; въ столовой предводитель одолѣвалъ ростбифъ; издали доносилось щелканье бильярдныхъ шаровъ; стряпчій стоялъ у буфета и, какъ онъ выражался, принималъ внутрь.

— А я, братъ, пятнадцатую!—зазѣвалъ онъ, увидѣвъ приближающагося помпадура.—Примемъ, что ли?

Но помпадуръ былъ серьезенъ и не хотѣлъ, чтобы, по милости водки, плоды его давнишнихъ изнуреній пропали даромъ.

— Ты вотъ пятнадцатую пропускаешь,—сказалъ онъ:—а я, между тѣмъ, успокоиться не могу!

— Что такое?

— Да все по поводу того разговора... за обѣдомъ; помнишь?

— Брось!

— Куда тутъ бросишь! законъ, братецъ!

— Ну, и пущай его! законъ въ шкапу стоитъ, а ты напирай!

— Но вѣдь ты же самъ говорилъ: до поры до времени?

— А это именно и значитъ: напирай плотнѣе!

— Чудакъ! а подъ судъ?

— Вотъ потому-то и напирай!

Стряпчій выпилъ шестнадцатую, поморщился и прибавилъ:

— А законъ пущай въ шкапу стоитъ!

Очень возможно, что помпадуръ удовлетворился бы этимъ подтвержденіемъ, потому что оно соотвѣтствовало напра-

вленію его собственныхъ мыслей. Но «шестнадцатая» смутила его, и онъ рѣшился продолжать провѣрку. Съ этою цѣлью онъ подсѣлъ къ предводителю, который въ это время уже побѣдилъ ростбифъ и, хлопая глазами, обдумывалъ планъ кампаніи противъ осетра.

Но настоящимъ образомъ онъ могъ изложить только введеніе; ибо едва онъ выговорилъ слово: «законъ», какъ предводитель вскричалъ:

— Брось!

— Законъ-съ...—повторилъ помпадуръ.

— Оставь!

Въ тотъ же вечеръ, за ужиномъ, стряпчій, подъ веселую руку, разсказывалъ посѣтителямъ клуба о необыкновенномъ казусѣ, случившемся съ помпадуромъ. Помпадуръ сидѣлъ тутъ же, краснѣлъ и изрѣдка бормоталъ: «законъ-съ».

— Брось!—раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Напирай плотнѣе!

На другой день, утромъ, помпадуръ, по обыкновенію, пришелъ въ правленіе. По обыкновенію же, въ передней первое лицо, съ которымъ онъ встрѣтился, былъ Прохоровъ.

Но время полемики уже миновало.

— Влѣпить!—сказалъ онъ твердымъ и яснымъ голосомъ, и съ этимъ словомъ благополучно прослѣдовалъ въ канцелярскую камору.

VIII.—Онъ!!

Lui!.. toujours lui!!

Victor Hugo.

Совершенно неожиданно, вслѣдствіе какихъ-то «новыхъ вѣяній времени», въ нашемъ городѣ сдѣлалось праздднымъ мѣсто помпадура. Само собой, въ ожиданіи назначенія новаго помпадура, провинція всецѣло предалась ажитаціи. Загадывали и на того, и на другого, и на третьяго, и, какъ всегда, въ этихъ загадываніяхъ первое мѣсто принадлежало личнымъ качествамъ тѣхъ, на которыхъ могъ пасть жребій уловлять вселенную. При отсутствіи руководства, которое давало бы опредѣленный отвѣтъ на вопросъ: что такое помпадуръ? — всякій чувствовалъ себя какъ бы отданнымъ на поруганіе, и ни къ чему другому не могъ пріурочить колеблющуюся мысль, кромѣ тѣхъ смутныхъ данныхъ, которыя давали свѣдѣнія о темпера*ментѣ, вкусахъ*, привычкахъ и степени благовоспитанности

той или другой изъ предполагаемыхъ личностей. Про одного говорили «строгонекъ!»; про другого: «этотъ подтянетъ!»; про третьяго: «всѣмъ былъ бы хорошъ, да жена у него анаѳема!»; про четвертаго: «вы не смотрите, что онъ ротъ распахня ходитъ, а онъ бѣдовый!»; про пятаго прямо разсказывали, какъ онъ, не обнаруживъ ни малѣйшаго колебанія, пришелъ въ какое-то присутственное мѣсто и прямо сѣлъ на тотъ самый законъ, который, такъ сказать, регулировалъ самое существованіе того мѣста. И никому не приходило въ голову сказать себѣ: что же мнѣ за дѣло до того, каковъ будетъ новый помпадуръ, хорошъ собой или дуренъ, добрая у него жена или анаѳема? Какъ будто всякій, сознательно или безсознательно, чувствовалъ, что въ этой-то комбинаціи личнаго темперамента и внѣшней обстановки именно и замыкается разгадка будущаго...

Какъ сказано выше, старый нашъ помпадуръ упразднился совершенно неожиданно. Мы жили съ нимъ въ самыхъ дружелюбныхъ отношеніяхъ. Ни онъ насъ не трогалъ, ни мы его не обижали. Хотя нравственныя и умственныя его качества всего ближе опредѣлялись пословицей: «не лыкомъ шитъ», но такъ какъ вопросъ о томъ, насколько полезны щегольской работы помпадуры, еще не рѣшенъ, то мы довольствовались и тѣмъ, что у насъ хоть плохенькій, да зато дешевенькій. Мы не страдаемъ шовинизмомъ; намъ не нужно ни блестящихъ усмиреній, ни смѣлыхъ переходовъ черезъ валдайскія горы. Нашъ помпадуръ сидѣлъ смирно,—и этого было съ насъ достаточно. Бывало, какъ ни послышишь,—кругомъ насъ вездѣ война. Бьютъ въ барабаны, въ трубы играютъ. Въ одномъ мѣстѣ помпадуръ цѣлое присутствіе на голову разбилъ; въ другомъ—разсѣялъ цѣлый легіонъ прохожихъ людей, при чемъ многихъ услалъ въ заточеніе; въ третьемъ—въ двухъ словахъ изъяснилъ столько, сколько другому не изъяснить въ цѣлой сотнѣ округленныхъ періодовъ. А у насъ—благодать. О внѣшнихъ и внутреннихъ врагахъ—нѣтъ слуха; походовъ—не предвидится даже въ отдаленномъ будущемъ; ни барабаннаго боя, ни трубныхъ звуковъ, которые свидѣтельствовали бы о свѣтопреставленіи — ничего! Даже междоусобія — и тѣ исключительно нашли себѣ убѣжище въ мѣстномъ клубѣ и были такого сорта, что никто не рѣшался сказать, дѣйствительно ли это междоусобія, или просто драки. Именно съ этой точки зрѣнія относился къ этому явленію и нашъ старый, почтенный помпадуръ.

— Я знаю, — говорилъ онъ: — что въ нашемъ клубѣ междоусобія не рѣдки; вѣроятно, они не менѣе часты и въ клубахъ другихъ городовъ. Но я рѣшительно отказываюсь понять, почему столь обыкновенное въ нашемъ обществѣ явленіе можетъ тревожить моихъ сопомпадуровъ! Не понимаю-съ. Возьмите, напримѣръ, хоть послѣднее наше междоусобіе: князю Балаболкину, за неправильно сдѣланный въ карты вольтъ, вымазали горячей котлеткой лицо. Поступокъ прискорбный—это такъ, но чтобы въ немъ крылось распространеніе вредныхъ мыслей или поползновеніе къ умаленію чьей-нибудь власти—съ этимъ я никогда не могу согласиться! Никогда-съ.

Поэтому, въ теченіе трехъ-четырехъ лѣтъ этого помпадурства, мы порядочно-таки отдохнули. Освобожденный отъ необходимости на каждомъ шагу доказывать свою независимость, всякій дѣлалъ свое дѣло спокойно, безъ раздраженія. Земство облагало себя сборами, суды карали и миловали, чиновники акцизнаго вѣдомства дѣлили дивиденды, а контрольная палата до того осмѣлилась, что даже на самого помпадура сдѣлала начетъ въ 1 р. 43 коп. И помпадуръ—ничего, даже не поморщился. Ни криковъ, ни возванія къ оружію, ни революцій,—ничего при этомъ не было. Просто взялъ и вынулъ изъ кармана 1 р. 43 к., которые и теперь хранятся въ казнѣ, яко живое свидѣтельство покорности законамъ со стороны того, который не токмо былъ въ правѣ утверждать, что для него законъ не писанъ, но могъ еще и накричать при этомъ на цѣлыхъ 7 копеекъ, такъ чтобы вышло ужъ ровно полтора рубля.

Тѣмъ болѣе должно было изумить насъ извѣстіе, что нашъ добрый помпадуръ вынужденъ навсегда прекратить административный свой бѣгъ. Всѣ оглядывались, всѣ спрашивали себя: почему, за что? — и никакихъ отвѣтовъ не обрѣтали, кромѣ отрывочныхъ фразъ, въ родѣ: «распустилъ» и «не удовлетворяетъ новымъ вѣяніямъ времени» (въ старину это, кажется, означало: не подтягиваетъ). Но почему же не удовлетворяетъ? развѣ мы—заговорщики, бунтовщики? развѣ мы безъ ума бѣжимъ впередъ, рискуя самимъ себѣ сломать голову? развѣ мы не всецѣло отдали самихъ себя и всѣ помышленія наши тому среднему дѣлу, которое, казалось бы, должно отстранить отъ насъ всякое подозрѣніе въ превыспренности?

Но, разсуждая такимъ образомъ, мы, очевидно, забывали завѣщанную преданіемъ мудрость, въ силу которой «новыя

вѣянія времени» всегда приходили на сцену отнюдь не въ качествѣ поправки того или другого уклоненія отъ историческаго теченія жизни, а прямо какъ одинъ изъ основныхъ элементовъ этой жизни. Вѣяніе прорывалось естественно, само собой; необходимость его жила во всѣхъ умахъ, не нуждаясь ни въ какихъ обусловливающихъ побужденіяхъ. Не бунтовской вопросъ «за что?» служилъ для него исходною точкой, а совершенно ясное и положительное правило: «будь готовъ». Будь готовъ, то-есть ходи весело, ходи грустно, ходи прямо, ходи вкось, ходи вкривь. Тебѣ ничего не приказываютъ, ни отъ чего не предостерегаютъ; тебѣ говорятъ только: будь готовъ. Не къ тому будь готовъ, чтобъ исполнять то или другое; а къ тому, чтобы претерпѣть. Ты спрашиваешь: что долженъ ты сдѣлать, чтобы избѣжать «претерпѣнія»; но развѣ кто-нибудь знаетъ это? Не чувствуешь ли ты, что даже самый вопросъ твой является въ ту минуту, когда уже все рѣшено и подписано, и когда ничего другого не остается, какъ претерпѣть? Слѣдовательно, это вопросъ запоздалый, ненужный. Ты идешь прямо, а полчаса тому назадъ ты шелъ вкось— тутъ-то вотъ я и налетаю на тебя. Ни ты, ни я, мы оба не можемъ себѣ объяснить, почему нужно, чтобы дѣло происходило наоборотъ, то-есть, чтобы полчаса тому назадъ ты шелъ прямо, а теперь вкось. Мы чувствуемъ только, что мы столкнулись и ни подъ какимъ видомъ разминуться не можемъ. Но если ни ты, ни я не въ состояніи угадать, что будетъ происходить въ моей головѣ въ предстоящій моментъ, то ясно, что единственный практическій выходъ изъ этого лабиринта—это «претерпѣть». И это совсѣмъ не капризъ съ моей стороны, совсѣмъ не преднамѣренное желаніе уязвить тебя; это «порядокъ», съ которымъ я безразлично отношусь и къ тебѣ, и ко всякому другому; это— «вѣяніе времени»...

Словомъ сказать, общее недоумѣніе, возбужденное полученнымъ извѣстіемъ, было таково, что даже воинскій начальникъ, человѣкъ крутой и бывалый, — и тотъ сказалъ:

— Ангелъ-съ! Ангелы Богу нужны-съ!

Само собою разумѣется, что недѣля, предшествовавшая отъѣзду стараго помпадура, была рядомъ цѣлодневныхъ празднествъ, которыми наше общество считало долгомъ выразить свою признательность и сочувствіе отъѣзжающему. Это былъ очень яркій и сильный протестъ, въ основаніи

котораго лежала благоразумная мысль: авось, не повѣсятъ! Всѣ лица сохраняли трогательное и въ то же время сконфуженное выраженіе; но всѣхъ болѣе сконфуженнымъ казался самъ виновникъ торжества. Полный мысли о бренности всего земного, онъ наклонялся къ тарелкѣ и ронялъ невольную слезу въ стерляжью уху. Затѣмъ, хотя, въ продолженіе дальнѣйшихъ перемѣнъ, онъ и успѣвалъ придать своему лицу спокойное выраженіе, но съ первымъ же тостомъ эта напускная твердость исчезала, глаза вновь наполнялись слезами, а голосъ, отвѣчавшій на напутственныя пожеланія, звучалъ безконечною тоскою, почти напоминавшею предсмертную агонію.

Безчисленныя картины непріятнаго, сѣренькаго будущаго проносились въ эти мгновенія въ его воображеніи. То, что происходило передъ нимъ въ эту минуту, несомнѣнно происходило *въ послѣдній разъ*, ибо не было примѣровъ, чтобы помпадуръ, однажды увядшій, вновь расцвѣталъ въ качествѣ помпадура. Все милое сердцу оставлялъ онъ, и оставлялъ не для того, чтобъ украсить собой одну изъ залъ величественнаго зданія, выходящаго окнами на Сенатскую площадь, а для того, чтобы примкнуть въ ряды рощущихъ и безплодно чающихъ, которыми въ послѣднее время какъ-то особенно переполнены стогны Петербурга. «Бѣдный!» читалъ онъ на всѣхъ лицахъ, во всѣхъ глазахъ, и это тѣмъ болѣе усугубляло его страданія, что никто глубже его самого не сознавалъ всю наготу будущаго, въ которое судьба, съ обычною безсознательности жестокостью, погружала его. Да, все, что онъ теперь ѣстъ—онъ ѣстъ *въ послѣдній разъ*; все, что онъ теперь видитъ и слышитъ—онъ видитъ и слышитъ *въ послѣдній разъ*. Сегодня, послѣ обѣда, онъ *въ послѣдній разъ* будетъ играть въ ералашъ по три копейки (въ будущемъ эта игра ему уже не по средствамъ); сегодня, *въ послѣдній разъ*, полицеймейстеръ молодцомъ подлетитъ къ нему съ рапортомъ, что по городу все обстоитъ благополучно; сегодня частные пристава въ послѣдній разъ сдѣлаютъ подъ козырекъ, когда онъ поѣдетъ съ прощальнымъ визитомъ къ архіерею. И вотъ онъ съ какимъ-то испугомъ осматривается кругомъ. Все обстоитъ здѣсь попрежнему и на прежнихъ мѣстахъ, но ему кажется, что и люди, и предметы, и даже стѣны—все сошло съ мѣстъ и уходитъ куда-то вдаль. Онъ уподобляетъ себя свѣточу; вчера еще этотъ свѣточъ горѣлъ свѣтлымъ и яркимъ огнемъ; сегодня онъ потушенъ и ужъ начинаетъ чадить; завтра онъ будетъ

окончательно затоптанъ и выброшенъ на улицу вмѣстѣ съ прочею никуда не нужною ветошью...

Увы! въ человѣческомъ сердцѣ нѣтъ неизгладимыхъ воспоминаній, а воспоминанія о помпадурахъ меньше, нежели всякія другія, выдерживаютъ клеймо неизгладимости. Всѣ эти люди, которые сегодня такъ тепло чувствуютъ его, завтра ни единымъ словомъ, ни единымъ жестомъ не помянутъ о немъ. И какъ нарочно, въ послѣднее время все такимъ образомъ устроилось, чтобы какъ-можно скорѣе изглаживать помпадурскіе слѣды. Прежде, бывало, помпадуръ, возвращаясь съ своего помпадурства вспять, все-таки сутки и больше ѣдетъ въ предѣлахъ этого помпадурства. Слѣдовательно, прошедшее оставляетъ его не вдругъ. На каждой станціи онъ слышитъ сѣтованія и пожеланія: смотритель ахаетъ, ямщикъ старается прокатить на славу... *въ послѣдній разъ!..* «Добрый я, добрый! — мечталъ, бывало, помпадуръ подъ звонъ почтоваго колокольчика:—всѣ-то сословія жалѣютъ обо мнѣ!» И затѣмъ, не торопясь, станція за станціей, погружался въ бездны будущаго. А нынче упраздненному помпадуру предстоитъ только пріѣхать на станцію желѣзной дороги (благо, она тутъ же подъ бокомъ), наскоро всѣхъ расцѣловать, затѣмъ свистнулъ паровозъ—и нѣтъ его! До такой степени нѣтъ, что не успѣлъ еще скрыться поѣздъ за горой, какъ поѣзжане, покончивъ съ проводами, уже предаются злобѣ дня и заводятъ разговоры о предстоящей «встрѣчѣ». Кто тотъ разнузданный романтикъ, который, въ виду этого упрощенія проводовъ и встрѣчъ, пребудетъ настолько закоснѣлъ, чтобы, подъ впечатлѣніемъ проводовъ какого-нибудь помпадура, оглашать стогны города кликами: «нѣтъ Агатона! нѣтъ моего друга!»?..

Но это былъ еще только одинъ уголъ картины, которая проносилась въ воображеніи помпадура въ то время, когда онъ взволнованнымъ голосомъ благодарилъ за участіе и пожеланія. Дальше картина развертывалась мрачнѣе и мрачнѣе и уже прямо ставила его лицомъ къ лицу съ самимъ таинственнымъ будущимъ.

Нѣтъ Агатона! Мѣсто, на которомъ онъ сидѣлъ, сейчасъ же простыло, и губернскій архиваріусъ тщетно отыскивалъ на полкахъ архива дѣло объ административныхъ намѣреніяхъ помпадура Агатона 2-го. Такого дѣла не было заведено, потому что не было самыхъ «намѣреній». У Агатона могъ быть благосклонный (или нетерпящій возраженій) жестъ; у него могла быть благодушная (или огрызающаяся) улыбка;

у него могло быть привѣтливое (или ругательное) слово; но административныхъ намѣреній у него не было. Онъ, подобно актеру, могъ нравиться или не нравиться очевидцамъ-современникамъ; но для потомства (которое для него наступаетъ съ какою-то особенной быстротою) онъ—мертвая буква, ничего никому не говорящая, ни о чемъ никому не напоминающая...

Нѣтъ Агатона! Онъ мчится на всѣхъ парахъ въ Петербургъ и уже съ первой минуты чувствуетъ себя угнетеннымъ. Онъ *ровенъ всѣмъ*; здѣсь, въ этомъ вагонѣ, онъ находится точно въ такихъ же условіяхъ, какъ и *всѣ*. *Въ послѣдній разъ* онъ путешествуетъ во II-мъ классѣ, и уже не слышитъ того таинственнаго шопота: «это онъ! это помпадуръ!»—который встрѣчалъ его появленіе въ прежнія времена.

И вотъ, въ то время, какъ паровозъ, свистя и пыхтя, все больше и больше отдаляетъ его отъ милыхъ сердцу, къ нему подсаживается совершенно посторонній человѣкъ и сразу, самъ того не зная, бередитъ дымящуюся рану его сердца.

— Вы изволите ѣхать изъ N?—спрашиваетъ его незнакомецъ.

Съ какимъ самоувѣреннымъ видомъ, съ какимъ ликованіемъ въ голосѣ отвѣтилъ бы онъ въ былое время: «да... я тамошній помпадуръ! Я ѣду въ Петербургъ представить о нуждахъ своихъ подчиненныхъ! я полагаю, что первая обязанность помпадура—это заботиться, чтобъ законныя требованія его подчиненныхъ были удовлетворены!» и т. д. Теперь, напротивъ того, онъ чувствуетъ, что отвѣтъ словно путается у него на языкѣ, и что гораздо было бы лучше, если-бъ ему совсѣмъ-совсѣмъ ничего не приходилось отвѣчать.

— Да... то-есть, я... конечно, я ѣду изъ N...—смущенно произноситъ онъ, наконецъ.

— Вы тамошній?—продолжаетъ нескромно приставать спутникъ.

— Да... то-есть, не совсѣмъ... я служу... то-есть служилъ...

Онъ старается замять всякій разговоръ; онъ даже избѣгаетъ всѣхъ взоровъ... И только, быть-можетъ, черезъ сутки, уже на послѣднихъ станціяхъ къ Петербургу, онъ разгуляется настолько, чтобъ открыть свое дѣйствительное положеніе и повѣдать печальную исторію своей отставки. Тогда съ души его спадетъ бремя, его тяготившее, и изъ устъ его впервые вырвется ропотъ. Этотъ ропотъ начнетъ

новую эпоху его жизни; онъ наполнитъ все его будущее и проведетъ въ его существованіи черту, которая рѣзко отдѣлитъ его прошедшее отъ настоящаго и грядущаго.

Нѣтъ Агатона! Въ первое время, непосредственно слѣдующее за отставкой, онъ, впрочемъ, еще бодрится и старается водиться съ такъ-называемыми «людьми». Какъ бывшій помпадуръ и какъ дѣйствительный статскій совѣтникъ, онъ легко вторгается въ домъ къ финансисту Фалелею Губошлепову и даже исполняетъ разныя мелкія его порученія. Встрѣчаетъ гостей, которые попроще, и занимаетъ ихъ, представляя лицо хозяина; ѣздитъ въ гостиный дворъ за игрушками для Губошлеповскихъ дѣтей; показываетъ Губошлепову, какъ надѣваютъ на шею орденъ св. Анны; бѣгаетъ на кухню поторопить француза-повара; предшествуетъ Фалелею въ ресторанахъ въ тѣ дни, когда устраиваются тонкіе обѣдцы для лицъ, почему-либо не желающихъ показываться въ Фалелеевскихъ салонахъ; по вечерамъ, вмѣстѣ съ другими двумя дѣйствительными статскими совѣтниками, составляетъ партію въ вистъ для мадамъ Губошлеповой, и проч., и проч. За всѣ эти послуги онъ имѣетъ готовый столъ и возможность съ утра до вечера оставаться въ хорошо натопленныхъ и роскошно убранныхъ салонахъ своего патрона и, сверхъ того, отъ времени до времени, пользуется небольшими подачками, которыя онъ, впрочемъ, принимаетъ съ большимъ чувствомъ собственнаго достоинства. Среди этого изобилія онъ какъ будто даже повеселѣлъ. Узналъ толкъ въ винахъ и сигарахъ, вѣрно угадывалъ цѣну каждаго фрукта, прямо запускалъ лапу туда, гдѣ раки зимуютъ, отпустилъ брюшко, сшилъ себѣ легкій костюмчикъ, ѣлъ такъ смачно и аппетитно, что губы у него припухли и покрылись глянцемъ... Но поэтъ сказалъ правду:

...на счастье прочно
Всякъ надежду кинь...

И правдѣ этой пришлось осуществиться на Агатонѣ самымъ жестокимъ образомъ. Не успѣлъ еще онъ пустить корни въ домѣ Губошлепова, какъ послѣдній ужъ подыскалъ себѣ какого-то бывшаго полководца. Съ этихъ поръ патронъ уже видимо охладѣваетъ къ Агатону. Являются на сцену столкновенія и пререканія. Вопросъ о томъ, кому изъ двухъ соперниковъ владѣть сердцемъ Губошлепова, съ каждымъ днемъ дѣлается больше и больше назойливымъ и, конечно, долженъ разрѣшиться въ ущербъ Агатону. Начинается съ того, что однажды Агатонъ ужъ совсѣмъ-было запустилъ

лапу въ ящикъ съ сигарами какой-то неслыханной красоты, какъ вдругъ почувствовалъ, что его обожгло.

— Вотъ эти... поменьше... онѣ скуснѣе будутъ! — сразу озадачилъ его Губошлеповъ, указывая взглядомъ на другой ящикъ съ менѣе цѣнными сигарами.

Услышавъ эту апострофу, Агатонъ поблѣднѣлъ, но смолчалъ. Онъ какъ-то смѣшно заторопился, досталъ маленькую сигарку и усѣлся противъ бывшаго полководца, попыхивая дымкомъ, какъ ни въ чемъ не бывало. Но дальше—хуже. На другой день, какъ нарочно, назначается тонкій обѣдецъ у Донона, и распорядителемъ его, какъ-то совершенно неожиданно, оказывается бывшій полководецъ, а Агатонъ вынуждается обѣдать дома, съ мадамъ Губошлеповой и дѣтьми.

На третій день Агатонъ, по порученію Губошлепова, купилъ какой-то совершенно новый сыръ, и только-что вознамѣрился похвастаться своей находкой, какъ вдругъ пріѣхалъ бывшій полководецъ и привезъ кусокъ точно такого же сыра. Разумѣется, сыръ полководца оказался «много превосходнѣе»...

Тогда Агатонъ не выдержалъ и пустился въ объясненія. Выдержи онъ, стерпи — онъ, можетъ-быть, и теперь покуривалъ бы прекраснѣйшія (хоть и не первой красоты) сигарки, попивалъ бы отличнѣйшее бордо, ѣлъ бы сочную дюшессу и проч. Но онъ возропталъ, заплакалъ—и тѣмъ окончательно выказалъ свой безпокойный характеръ.

— Это все въ тебѣ зависть плачетъ, — сразу осадилъ его Губошлеповъ: — а ты бы лучше на себя посмотрѣлъ! Какая у тебя звѣзда (у Агатона была всего одна звѣзда, и то самая маленькая)? А у него ихъ три! Да и человѣкъ онъ безстрашный: сколько однѣхъ областей завоевалъ — а ты! На печи лежа, безъ пороху палилъ! И хоть бы ты тѣ подумалъ, что этакихъ-то, какъ ты—какая орава у меня! По одной рублевой цыгаркѣ каждому дай—сколько денегъ-то будетъ! А ты лѣзешь! И легъ ты, и всталъ у меня, и все тебѣ мало!

Агатонъ обидѣлся...

Нѣтъ Агатона! Онъ поселился въ четвертомъ этажѣ, во дворѣ того самаго дома, гдѣ живетъ и бывшій его патронъ, и прозябаетъ подъ командой у выборгской шведки Лотты, которая, въ одно и то же время, готовитъ ему кушанье, чиститъ сапоги и исполняетъ другія неприхотливыя его требованія. Лотта безобразна, рѣдковолоса, лишена бровей и рѣсницъ, и за всѣмъ тѣмъ съ ожесточеніемъ упрекаетъ

его въ томъ, что онъ загубилъ ея молодость. Чтобъ загладить этотъ поступокъ, онъ старается исполнить малѣйшій ея капризъ. Сначала она варила ему кофе, пока онъ нѣжился на постели, теперь — онъ самъ варитъ кофе, пока она, неопрятная и сонная, барахтается въ пуховикѣ. Чтобъ быть ей пріятнымъ, онъ даже выучился говорить «поейному», и такъ чисто произноситъ: «анна-мина-нуси», что Лотта не можетъ удержаться, чтобъ не дать ему за это пинка. По воскресеньямъ къ Лоттѣ ходитъ «ейный» двоюродный братъ, и тогда Агатонъ на цѣлый день уходитъ изъ дома, сначала въ греческую кухмистерскую, потомъ на ералашъ (по 1/10 копейки за пунктъ) къ кому-нибудь изъ бывшихъ помпадуровъ, который еще настолько богатъ средствами, чтобъ на сонъ грядущій побаловать своихъ гостей рюмкой очищенной и кускомъ селедки. Тамъ, въ интервалахъ сдачъ, рощущіе эксъ-помпадуры разсказываютъ другъ другу о бывшемъ привольномъ житьѣ, о стерляжьей ухѣ, о цѣнѣ на рябчиковъ и индюковъ, о любопытнѣйшихъ сенатскихъ указахъ, о столкновеніяхъ, прекаліяхъ и проч. Затѣмъ, проглотивъ по рюмкѣ живительной, всѣ расходятся, а на утро опять наступаетъ понедѣльникъ, опять «анна-мина-нуси», обѣдъ цѣною не свыше тридцати копеекъ, послѣ обѣда спанье, гранъ-пасьянсъ, вечерній чай и опять спанье. И такъ вся недѣля...

Нѣтъ Агатона! Онъ до такой степени самъ сознаетъ это, что въ знакъ покорности велѣніямъ судебъ отпустилъ бороду и усы. Худой и выцвѣтшій, въ поношенномъ пальто съ сильно порыжѣлымъ бобровымъ воротникомъ, онъ перваго числа каждаго мѣсяца сидитъ на площадкѣ лѣстницы главнаго казначейства и, въ ожиданіи своей очереди для полученія пенсіи, бесѣдуетъ со «старушкой». «Старушка» съ ридикюлемъ въ рукахъ — это непремѣнная принадлежность главнаго казначейства. Съ костылями или безъ костылей, въ капорѣ или въ драдедамовомъ платкѣ, въ старомъ бѣличьемъ салопѣ или въ ватномъ поношенномъ пальто, она всегда тутъ, сидитъ на площадкѣ, твердою рукою держитъ ридикюль, терпѣливо выжидаетъ выслуженную и выстраданную зелененькую кредитку и слезящимися глазами слѣдитъ за проходящими франтами, уносящими уймы денегъ въ видѣ арендъ, вспомоществованій и болѣе или менѣе значительныхъ пенсій.

Сказать ли правду? Взирая на нее, помпадуръ чувствуетъ себя какъ-то бодрѣе. Не онъ одинъ забитъ, не онъ

одинъ погуженъ въ бездну. Есть на свѣтѣ существо и еще забитѣе, еще подавленнѣе. И онъ безъ умолку готовъ болтать со «старушкой», ибо отнынѣ только такого рода бесѣда и можетъ влить въ его сердце возстановляющій бальзамъ. Да, онъ былъ имъ! онъ несомнѣнно былъ помпадуромъ! И если напоминаніе объ его помпадурствѣ не возбуждаетъ въ людяхъ счастливыхъ и довольныхъ ничего кромѣ обиднаго равнодушія, то пусть хоть эта «старушка» услышитъ объ этомъ и позавидуетъ ему!

— Всей-то моей пенсіи,—говоритъ «старушка»:—никакъ двѣнадцать рублей сорокъ три копеечки въ мѣсяцъ будетъ. На себя, значитъ, семь рублей получаю, да на внучекъ—сынъ у меня на службѣ померъ—такъ вотъ на нихъ пять рублей сорокъ три копеечки пожаловали!

— Не много, сударыня!

— Четыре зелененькихъ, сударь; тутъ и въ пиръ, и въ міръ. Вотъ старшей-то внучкѣ скоро года выходятъ, такъ, сказываютъ, два рубля семь гривенъ вычету будетъ!

— И живете-съ?

— Живемъ, сударь. Только, надо сказать, житье наше такое: и жить-то бы не надо, да и умирать не хочется. Не разберешь. А тоже вотъ хоть бы и я: такое ли прежде мое житье было! Домъ-то полная чаша былъ, хоть кто приходи—не стыдно! И мы въ гости—и къ намъ гости! Ну, а теперь—не прогнѣвайся! Одинъ день съ квасомъ, а другой и такъ, въ сухомятку поѣдимъ! Ну, а вы, сударь, чай, много суммы-то получаете?

— Да въ мѣсяцъ восемьдесятъ одинъ рубль шестьдесятъ копеекъ. Не развернешься тоже, сударыня!

— И! что вы! Да кабы намъ такія деньги... Вы, сталобыть, большую службу-то несли?

— Да... я... помпадуромъ былъ,—не безъ фатовства отвѣчаетъ Агатонъ, и видимо наслаждается, замѣчая, какъ «старушку» беретъ оторопь при этомъ признаніи.

Эта оторопь есть цѣль всѣхъ его разговоровъ. Достигнувъ ея, помпадуръ счастливъ; онъ чувствуетъ, что онъ не весь еще погасъ и что есть на свѣтѣ существо, которое можетъ позаимствоваться отъ него свѣтомъ.

— Былъ, сударыня, былъ-съ!—продолжаетъ онъ съ увлеченіемъ и вытягиваясь во весь ростъ. — Встрѣчали-съ! Провожали-съ! Шагу по улицѣ не дѣлалъ, чтобы квартальный впереди народъ не разгонялъ-съ! Безъ стерляжьей ухи за столъ не саживался-съ! А что насчетъ этихъ помпадуршъ-съ...

Агатонъ махаетъ рукой и направляется къ стойкѣ, за которою производится раздача пенсій. Защемивъ въ руку пачку красненькихъ кредитокъ, онъ проходитъ назадъ мимо «старушки» и такъ дружелюбно киваетъ головой на ея почтительный поклонъ, что оставляетъ ее въ совершенномъ недоумѣніи, дѣйствительно ли съ ней говорилъ одинъ изъ тѣхъ помпадуровъ, о которыхъ въ газетахъ пишутъ: и пріидутъ во градъ, и имутъ младенцевъ, и разбіютъ ихъ о камни?!..

Нѣтъ Агатона! до такой степени нѣтъ, что никому изъ N-скихъ обывателей, пріѣзжающихъ въ Петербургъ понюхать, чѣмъ пахнетъ, не приходило даже на мысль провѣдать, гдѣ онъ и какъ ему живется. Сначала ему такъ и казалось, что вотъ-вотъ ему сейчасъ доложатъ: «корнетъ Берендѣевъ пріѣхалъ, прапорщикъ Солонина желаютъ васъ видѣть!» Однако, проходятъ дни, недѣли, мѣсяцы, годы, но ни Берендѣевъ, ни Солонина и ухомъ не ведутъ. Помпадуръ долгое время не можетъ освоиться съ мыслью, что онъ забытъ. Слыша, что Берендѣевъ и Солонина ужъ не одинъ разъ наѣзжали въ Петербургъ съ тѣмъ, чтобы во всѣхъ домахъ терпимости отрекомендовать себя какъ непоколебимѣйшихъ консерваторовъ, онъ не хочетъ вѣрить ушамъ своимъ. «Да тѣ ли это? «его» ли это Берендѣевъ и Солонина?» — назойливо допрашиваетъ онъ очевидцевъ консерваторскихъ подвиговъ этихъ людей, и только тогда уже, когда нѣтъ больше мѣста сомнѣніямъ, разражается цѣлымъ ливнемъ безсильныхъ жалобъ противъ людской неблагодарности. «По цѣлымъ часамъ въ пріемной у меня коптѣлъ! у притолоки стоялъ! за честь себѣ считалъ, когда я не то что рукой—мизинцемъ его поманю!»—восклицаетъ онъ, весь дрожа и захлебываясь отъ негодованія. Дай волю своему языку, онъ навѣрное присовокупилъ бы: «а вотъ погоди! я васъ ужо въ бараній рогъ согну!» — но нелѣпость этой угрозы столь очевидна, что самое возникновеніе ея въ разгоряченномъ мозгу уже производитъ въ немъ реакцію въ совершенно обратномъ смыслѣ. Все кончено, все пусто, все голо, все дышитъ холодомъ, все исполнено мрака и безцѣльной, щемящей тоски... Впереди нѣтъ мѣста ни для угрозъ, ни для осаживаній, ни для ошеломленій. Кому какое дѣло, привѣтливая или огрызающаяся улыбка играетъ у него на устахъ? Кому надобность знать, благосклонный или нетерпящій возраженій у него жестъ? Все это имѣло значеніе прежде, а теперь...

Ну [illegible] Иль до меня пыть [illegible], и мнѣ до [illegible] принимаеть онь, наконець, героическое [illegible] на немъ, все больше и больше [illegible] у [illegible] Лотты...

[illegible] Не [illegible] перспектива исчер[illegible] описанными выше, проносятся новыя кар[illegible] проносятся съ быстротою молніи, [illegible] пока отуманенный взоръ окончательно не [illegible] въ этой мрачной, зіяющей безднѣ [illegible]

[illegible] если бы они могли знать! — [illegible] къ самому себѣ — сколь многаго [illegible] могли бы не совер[illegible] ничего или почти ничего [illegible]

[illegible]

Распоряжалась имъ цѣлая комиссія изъ чиновниковъ особыхъ порученій, подъ высшимъ наблюденіемъ губернскаго предводителя дворянства. Въ четыре часа пополудни прибылъ почтенный юбиляръ и подъ звуки военнаго марша, словно гонимый сквозь строй, вступилъ въ залу собранія въ сопровожденіи двухъ ассистентовъ. На особомъ столѣ была сервирована роскошнѣйшая закуска, но взволнованный помпадуръ почти не прикоснулся къ ней, а только оросилъ слезою великолѣпный страсбургскій паштетъ. За обѣдомъ подавали стерляжью уху и soupe à la reine (къ нимъ: растегаи и семь или восемь сортовъ пирожковъ), затѣмъ: громаднѣйшій ростбифъ, salade de homards et de foie de lotte, épigramme de chevreuil, punch glacé, жареные фазаны и перепела, fonds d'artichauts à la lyonnaise и, въ заключеніе, три или четыре сорта пирожныхъ. Тосты предлагались въ безчисленномъ количествѣ, ибо не только начальники отдѣльныхъ частей, но даже совѣтники и ревизоры пожелали чѣмъ-нибудь порадовать отъѣзжающаго на прощаніе. Предсѣдатель суда сказалъ: «Никогда бы нашъ гласный, правый и скорый судъ не всталъ такой прочной ногою, если-бъ вашество не удостоили его вашимъ истинно просвѣщеннымъ сочувствіемъ». Предсѣдатель земской управы сказалъ: «Никогда земство не привилось бы такъ счастливо въ нашемъ краю, если-бъ вашество, съ первыхъ же шаговъ, не ободрили его вашимъ благосклоннымъ содѣйствіемъ!» Управляющій казенной палатой сказалъ: «Никогда выкупные платежи не поступали въ такомъ изобиліи!» Управляющій акцизными сборами сказалъ: «Никогда акцизъ съ вина, а равно и питейный сборъ съ мѣстъ оптовой и розничной распродажи питей всѣхъ наименованій не достигали такихъ размѣровъ!» Управляющій контрольной палатой сказалъ: «Никогда въ нашемъ краю законность не процвѣтала; вашество первый подали примѣръ благосклонной покорности законамъ, внеся 1 руб. 43 коп., начтенные на васъ контрольной палатой. Фактъ этотъ навсегда останется незабвеннымъ въ сердцахъ всѣхъ чиновъ ввѣренной мнѣ палаты, начиная съ меня и кончая сторожемъ!» Совѣтники и ревизоры, каждый порознь, сказали «Позвольте, вашество, и намъ! Никогда законность не процвѣтала въ нашемъ краю! Никогда!» И такъ далѣе. Одни предводители не говорили рѣчей, а только кричали: «уррра!» Наконецъ, выступилъ и самъ юбиляръ съ отвѣтнымъ прощальнымъ тостомъ.

— Господа!—сказалъ онъ.—Я знаю, что я ничего не совершилъ! Но именно потому-то я и позволяю себѣ на прощаньи пожелать вамъ одного. Я отъ души желаю вамъ... я желаю... чтобъ и другой... чтобъ и тотъ, кто замѣнитъ вамъ меня (крики: «никто не замѣнитъ, никто!..»), чтобы и онъ тоже... ничего, подобно мнѣ, не совершилъ! Смѣю думать... да, я именно такъ позволяю себѣ думать... что это самое лучшее... что это самое пріятное пожеланіе, какое я могу сдѣлать вамъ въ эту торжественную минуту.

— Урра!—стономъ застонала въ отвѣтъ вся зала.

Въ семь часовъ вечера помпадуръ, усталый и измученный, оставилъ насъ, чтобы заѣхать въ свою квартиру и переодѣться. Въ 9 мы собрались на станціи желѣзной дороги въ ожиданіи поѣзда. Въ 9½ помпадуръ наскоро перецѣловалъ насъ, выпилъ прощальный бокалъ и усѣлся въ вагонъ. Черезъ минуту паровозъ свистнулъ, и помпадуръ вмѣстѣ со всѣмъ поѣздомъ потонулъ во мракѣ!..

«Его ужъ нѣтъ!»—запѣлъ кто-то въ толпѣ, и этимъ простымъ восклицаніемъ сразу возвратилъ насъ къ дѣйствительности.

Дѣйствительность, которая предстояла впереди, для многихъ изъ насъ была болѣе нежели серьезна.

Какъ я объяснилъ выше, главную черту стараго помпадура составляла кроткая покорность закону и законности. Окруженный ореоломъ власти и пользуясь всѣми ѳиміамами, онъ не былъ, однакожъ, опьяненъ ими, но любилъ соединять величіе съ привѣтливостью и даже допускалъ, что самыя заблужденія людей не всегда должны имѣть непремѣннымъ послѣдствіемъ разстрѣляніе. Устраняясь лично отъ преній по предметамъ внутренней политики, онъ, тѣмъ не менѣе, не находилъ противнымъ человѣческому естеству, если кто-либо изъ его подчиненныхъ, въ приличныхъ формахъ, позволялъ себѣ оспаривать пользу и цѣлесообразность того или другого мѣропріятія. Онъ даже съ удовольствіемъ вслушивался, какъ люди разговариваютъ, какъ изъ устъ ихъ по временамъ вылетаютъ умныя слова и какъ по поводу какого-нибудь непонятнаго для него выраженія вдругъ возникаетъ горячій, но скромный споръ. Какъ будто онъ догадывался, что ни этотъ споръ, ни возбудившія его непонятныя слова не заключаютъ въ себѣ ничего угрожающаго общественному спокойствію, и что дѣло кончится, все-таки, тѣмъ, что оппоненты, поспоривъ другъ съ другомъ, возьмутся за шапки и разбредутся по домамъ.

Такое благодушное настроеніе помпадура сообщало нашему обществу, или, по крайней мѣрѣ, просвѣщенному его меньшинству, совершенно особенный, такъ сказать, скромно-либеральный характеръ. Мы составляли единую дружественную семью, которая днемъ насаждала древо гражданственности въ присутственныхъ мѣстахъ, а по вечерамъ собиралась въ томъ или другомъ домѣ, тоже для насажденія древа гражданственности. Коли хотите, эти собранія были немножко скучны, но зато вполнѣ благонадежны. Мы читали передовыя статьи «Старѣйшей Россійской Пѣнкоснимательницы» и удивлялись благонамѣренной ихъ дерзости. Затѣмъ мы обсуждали казусы, возникавшіе во время утреннихъ засѣданій въ присутственныхъ мѣстахъ, и общимъ совѣтомъ рѣшали вопросы объ истинныхъ свойствахъ ассигновки, подлежащей удовлетворенію, объ единокровіи и единоутробіи, о границахъ, далѣе которыхъ усышка не должна быть допускаема, о томъ, слѣдуетъ ли вынутіе изъ пробоя затычки признавать признакомъ взлома, и т. д. Въ заключеніе, мы предавались радости, что всѣ мы—такіе усердные, нелицепріятные, преданные интересамъ казны, и, закончивши свой день этимъ, такъ сказать, актомъ самообліобованія, несуетливо расходились во-свояси.

Повторяю: каждый изъ насъ былъ искренно преданъ своему скромному, среднему дѣлу, и ежели въ этой преданности можно было отыскать что-нибудь предосудительное, то развѣ только то, что мы не шутя были убѣждены, что наше «дѣло» можетъ развиваться полегоньку, безъ трубныхъ звуковъ, безъ оглашеній, а тѣмъ болѣе безъ сквернословія. «Наше время—не время широкихъ задачъ!»—восклицали мы, и съ непреоборимою серьезностью корпѣли надъ рапортами, вѣдомостями, рѣшеніями и предписаніями. Предсѣдатель суда, конечно, соболѣзновалъ, когда присяжные засѣдатели слишкомъ охотно оправдывали обвиняемыхъ, но въ то же время никогда не позволилъ бы себѣ утверждать, что институтъ присяжныхъ долженъ быть подвергнутъ за это посрамленію. Предсѣдатель казенной палаты всѣмъ сердцемъ желалъ, чтобы подати поступали въ казну бездоимочно, но былъ бы глубоко огорченъ, если-бъ это поступленіе сопровождалось взломомъ головъ у плательщиковъ. Предсѣдатель земской управы страстно лелѣялъ въ душѣ своей идеалъ переложенія дорожной повинности изъ натуральной въ денежную, но первый отступилъ бы въ ужасѣ, если-бъ ему сказали, что для достиженія этого не-

обходимо ту или другую мѣстность объявить въ осадномъ положеніи. Управляющій акцизными сборами охотно принималъ участіе въ дѣлежѣ дивиденда, но при этомъ всегда уповалъ, что наступитъ время, когда количество дивиденда будетъ зависѣть не столько отъ увеличенія арміи пьяницъ, сколько отъ болѣе правильнаго распредѣленія напитка между желающими пользоваться имъ. И такъ далѣе. Но при всемъ либерализмѣ мы не только не отрицали необходимости помпадура, но даже прямо говорили, что безъ помпадура мы пропадемъ, какъ шведы подъ Полтавой. Въ безграничномъ нашемъ усердіи мы желали отъ помпадура только одного: чтобъ онъ не отвлекалъ насъ отъ рапортовъ, предписаній и вѣдомостей, чтобъ не истощалъ казны черезчуръ блестящими предпріятіями и простилъ бы, если-бъ кто-нибудь изъ насъ, по разсѣянности, выказалъ *простую* теплоту чувствъ въ такую минуту, когда принято выказывать теплоту чувствъ *особенную*.

Такимъ образомъ мы жили и, надо сказать правду, не видя ни откуда притѣсненій, даже возгордились. Стали въ глаза говорить другъ другу комплименты, называть другъ друга «гражданами», увѣрять, что другой такой губерніи днемъ съ огнемъ поискать, устраивать по подпискѣ обѣды въ честь чьего-нибудь пятилѣтія или десятилѣтія, а иногда и просто въ ознаменованіе безпримѣрнаго дотолѣ увеличенія дохода съ питей или бездоимочнаго поступленія выкупныхъ платежей.

Понятно поэтому, какое горькое впечатлѣніе произвело на насъ косвенное извѣстіе о какомъ-то «вѣяніи времени», которое должно было немедленно насъ сократить.

Многіе изъ насъ думали: какъ, однакожъ, постыдно, какъ глубоко оскорбительно положеніе человѣка, который постоянно долженъ задавать себѣ вопросъ: за что?—и не находить другого отвѣта, кромѣ: будь готовъ! Я, напримѣръ сижу за столомъ и весь углубленъ въ провѣрку вѣдомостей. Никакой вины за собой я не чувствую. Цифры шеренгами и столбцами мелькаютъ въ моихъ глазахъ; мнѣ тошно отъ нихъ, я радъ бы бѣжать, куда глаза глядятъ, чтобъ только не видѣть ихъ; однако, я преодолѣваю свою тошноту и цѣлымъ рядомъ героическихъ насилій надъ собою достигаю, наконецъ, итога, не только понятнаго для меня самого, но такого, который,—я положительно въ томъ увѣренъ—поймётъ и мое начальство. И вдругъ въ самомъ разгарѣ торжества моего усердія, мнѣ приходятъ сказать: «Ты пре-

ступенъ! Ты преступенъ потому, что когда-то, въ какомъ-то мѣстѣ, не выказалъ *достаточной* теплоты чувствъ!»—Помилуйте,—говорю я:—я вотъ этими вѣдомостями, я числомъ входящихъ и исходящихъ нумеровъ—вотъ чѣмъ доказываю я теплоту своихъ чувствъ!—«Вздоръ!—отвѣчаютъ мнѣ:—наплевать намъ на твои вѣдомости! Пусть будутъ всѣ итоги перевраны, пусть будутъ исходящія бумаги исполнены безсмыслицы—подавай намъ не *эту,* а настоящую теплоту чувствъ!»—Позвольте, однако: стало-быть, у васъ есть термометръ, съ помощью котораго вы...—«Ба! ты еще остришь! Живо! Faites vos bagages, messieurs! faites vos bagages! Фюить!»

И вотъ я, преданнѣйшій изъ либераловъ, я, который всю жизнь мечталъ: какъ бы славно, если-бъ крестьянинъ вносилъ выкупные платежи полностью, и притомъ не по принужденію, а съ сладкимъ сознаніемъ выполненнаго долга,—я долженъ, не оглядываясь, бѣжать «отъ прекрасныхъ здѣшнихъ мѣстъ», бѣжать безъ прогоновъ, съ опасной кличкой человѣка, не выказавшаго *достаточной* теплоты чувствъ!

За что?!

Поймите меня. Если я желалъ, чтобъ выкупные платежи вносили бездоимочно, то вѣдь я желалъ этого не для себя, не для пріобрѣтенія себѣ эфемерной популярности, а для того, что сердце мое обливалось кровью при одной мысли, что государственное казначейство можетъ быть поставлено въ затрудненіе. Какой еще нужно теплоты чувствъ? А если я, сверхъ того, желалъ, чтобъ эти взносы дѣлались не по принужденію, то, опять-таки, не затѣмъ, чтобъ дать поблажку непросвѣщенной и грубой черни, а затѣмъ, что если однажды, въ видахъ скорѣйшаго полученія денегъ, проломить плательщику голову, то онъ умретъ, и въ другой разъ казнѣ уже не съ кого будетъ взыскивать. Ужели и это не теплота чувствъ?!

Теплота чувствъ! О, вы, которые такъ много говорите о ней, объясните, по крайней мѣрѣ, въ чемъ должны заключаться ея признаки? Но, увы! никто даже не даетъ себѣ труда отвѣтить на этотъ вопросъ. Напротивъ того, вопросъ мой возбуждаетъ негодованіе, почти ужасъ. Какъ! ты даже этого, врожденнаго всякому человѣку, понятія не имѣешь! ты *этого* не понимаешь! *Этого!!* Брысь!

Въ тоскѣ, я обращаюсь къ моему сердцу. Сердце-вѣщунъ!—говорю я:—ты, которое, десятки лѣтъ состоя на казенной службѣ, должно знать всѣ формы и степени ка-

зенной теплоты! Повѣдай мнѣ, въ чемъ прегрѣшаю я противъ нихъ?

И вотъ сердце отвѣчаетъ мнѣ: тогда-то, спѣша по улицѣ въ присутствіе, ты забылъ сдѣлать подъ козырекъ! тогда-то, гуляя въ публичномъ саду, ты разсуждалъ съ управляющимъ контрольной палаты на тему о безполезности писать законы, коль скоро ихъ не исполнять, между тѣмъ какъ, *по-настоящему,* ты долженъ былъ стоять въ это время смирно и распѣвать: «громъ побѣды раздавайся!»

О, ужасъ! я припоминаю! Да... это такъ... это дѣйствительно было! Дѣйствительно, я и подъ козырекъ не сдѣлалъ, и не распѣвалъ... Но почему же, о, сердце, ты не предупредило меня?! Ты, которое знаешь, какъ охотно я дѣлаю подъ козырекъ и съ какимъ увлеченіемъ я всегда и на всякомъ мѣстѣ готовъ повторить:

О, россъ! о, родъ непобѣдимый!
О, твердокаменная грудь!

Положимъ, однакожъ, что я преступенъ; но развѣ нѣтъ для меня смягчающихъ вину обстоятельствъ? Та поспѣшность, съ которою я устремился въ присутствіе и которая была причиной, что я не сдѣлалъ подъ козырекъ—развѣ это не оиміамъ въ своемъ родѣ? Тотъ восторженный разговоръ, который я велъ о необходимости покоряться законамъ даже въ томъ случаѣ, если мы признаемъ, что законъ для насъ не писанъ—развѣ это не перифраза того же самаго «громъ побѣды раздавайся», за нераспѣваніе котораго я такъ незаслуженно оскорбленъ названіемъ преступника?

Но никто не внимаетъ мнѣ; никто не хочетъ признать за мной даже смягчающихъ обстоятельствъ! Faites vos bagages, messieurs! faites vos bagages!

Въ ожиданіи такихъ перспективъ очень естественно, что мы и не замѣтили, какъ простылъ слѣдъ нашего добраго стараго помпадура. Намъ было не до того. Не неблагодарность руководила нами, а простое чувство самосохраненія. Въ тоскливой суетѣ сообщали мы другъ другу различныя предчувствія и предположенія; но всѣ эти предчувствія блѣднѣли и меркли передъ однимъ капитальнымъ и, такъ сказать, немеркнущимъ вопросомъ:

Кто... ОНЪ?

Кто онъ? Кто тотъ благовѣстникъ самоновѣйшаго духа времени, которому суждено и на насъ распространить его вѣянія, или, лучше сказать, вывести насъ въ нѣкоторое пустынное и ни откуда не защищенное мѣсто, гдѣ всевоз-

можные вихри будутъ нещадно трепать насъ и сзади, и спереди, и съ боковъ?

Въ чемъ состоятъ «вѣянія» времени?

Que les méchants tremblent! que les bons se rassurent! Все это прекрасно, но кто же тѣ «злые», которые обязываются трепетать? кто тѣ «добрые», которые могутъ съ довѣріемъ взирать въ глаза прекрасному будущему?

Надо сказать правду, что, предложивъ себѣ эти вопросы, мы отвѣтили на нихъ довольно рутиннымъ образомъ. По прежнимъ примѣрамъ, а можетъ-быть и не по примѣрамъ, а просто на основаніи давно упраздненныхъ афоризмовъ административной азбуки, мы думали, что подъ «злыми» слѣдуетъ разумѣть, во-первыхъ, взяточниковъ, во-вторыхъ, такъ-называемыхъ дантистовъ и, въ-третьихъ, всякаго рода шалопаевъ и «шлющихся людей. Нѣкоторые изъ насъ (либералы, но уже съ значительнымъ консервативнымъ оттѣнкомъ) прибавляли къ этимъ тремъ категоріямъ еще четвертую, подъ наименованіемъ «людей» политически неблагонадежныхъ». Но, во всякомъ случаѣ, такъ какъ мы ни къ одной изъ этихъ категорій (даже къ четвертой) себя не причисляли, то многіе чуть-было тутъ же не начали взирать съ довѣріемъ въ глаза прекрасному будущему. Однакожъ, болѣе пристальное разсмотрѣніе дѣла дало намъ почувствовать, что тутъ есть ошибка, и притомъ довольно грубая.

Начать хоть со взяточниковъ—могутъ ли быть они названы «злыми» въ новѣйшемъ значеніи этого слова?

Извѣстно, что въ концѣ пятидесятыхъ годовъ воздвигнуто было на взяточниковъ очень сильное гоненіе. Съ понятіемъ о «взяточничествѣ» сопрягалось тогда представленіе о какой-то язвѣ, которая якобы разъѣдаетъ русское чиновничество и служитъ немалой помѣхой въ дѣлѣ народнаго преуспѣянія. Казалось, что ежели уничтожить взятку и населить міръ неумытными становыми приставами, то вдругъ потекутъ рѣки млека и меда, а къ нимъ на придачу водворится и правда. Такъ понимало «взятку» тогдашнее общество; такъ объясняли это слово и составители толковыхъ словарей. Но съ тѣхъ поръ понятія наши значительно расширились, и мы не только не указываемъ на взяточничество какъ на язву, но даже не интересуемся знать, прекратилось оно или существуетъ. Утративши прежнія наглыя формы, оно, вмѣстѣ съ тѣмъ, утратило и права на наше вниманіе. Прежнія страстныя преслѣдованіія этого

гнуснаго порока утихли или, лучше сказать, замѣнились иными преслѣдованіями иныхъ пороковъ... пороковъ, порожденныхъ новыми вѣяніями времени. Словомъ сказать, вопросъ о взяточничествѣ, нѣкогда столь славный, является въ настоящее время до такой степени забытымъ, что самое напоминаніе о немъ кажется ребяческою назойливостью.

Такъ бываетъ всегда, когда общественное развитіе идетъ слишкомъ быстро и когда общество, въ своемъ нетерпѣніи, отъ копеечной взятки прямо переходитъ къ тысячной, десятитысячной и т. д. Филологи, не успѣвая слѣдить за измѣненіями, которыя вноситъ жизнь въ извѣстныя выраженія, впадаютъ въ невольныя ошибки и продолжаютъ звать «взяткой то, чему уже слѣдуетъ, по всей справедливости, присвоить наименованіе «куша». Отсюда—путаница понятій. Содержаніе «взятки» измѣнилось, границы ея получили совсѣмъ другія очертанія; притягательныя ея силы пріобрѣли особливый полётъ и изумительнѣйшее, дотолѣ неслыханное развитіе, а составители толковыхъ словарей упорствуютъ утверждать, что «взятка» есть то самое, что̀ въ древности собиралъ становой приставъ въ формѣ куръ и яицъ и лишь по временамъ находилъ, въ видѣ полуимперіала, во внутренностяхъ какого-нибудь вонючаго распотрошеннаго трупа. Къ счастью, однакожъ, жизнь не вѣритъ этимъ объясненіямъ и утверждаетъ прямо, что «взятка» окончательно умерла и на ея мѣсто народился «кушъ».

Но понятно, что «кушъ» уже совсѣмъ другого рода дѣло, и что для разъясненія, въ какой мѣрѣ этотъ новый экономическій дѣятель препятствуетъ или способствуетъ народному преуспѣянію, потребно не мало времени. До сихъ поръ, и то лишь на этихъ дняхъ, только прусскій депутатъ Ласкеръ возбудилъ объ этомъ вопросъ, неосторожно назвавъ «взяткою» двадцатитысячный «кушъ», полученный нѣкіимъ тайнымъ совѣтникомъ за содѣйствіе при выдачѣ желѣзнодорожной концессіи. Разумѣется, газетчики обрадовались этому обличенію и увидѣли въ немъ фактъ, свидѣтельствующій о прусской испорченности. Но вотъ выискивается австрійскій журналистъ, который по поводу этого же самаго происшествія совершенно наивно восклицаетъ: «О! если бы намъ, австрійцамъ, Богъ послалъ такую же испорченность, какая существуетъ въ Пруссіи, какъ были бы мы счастливы!» Какъ хотите, а это восклицаніе проли-

ваетъ на дѣло совершенно новый свѣтъ, ибо кто же можетъ поручиться, что вслѣдъ за австрійскимъ журналистомъ не выищется журналистъ турецкій, который пожелаетъ для себя австрійской испорченности, а потомъ нубійскій или кокандскій журналистъ, который будетъ сгорать завистью уже по поводу испорченности турецкой? Очевидно, что разногласія этого не могло бы существовать, если-бъ строгимъ опредѣленіемъ понятія о «кушѣ» была сразу устранена возможность заслонить одну громадную мерзость посредствомъ другой, еще болѣе громадной. Но вотъ этого-то именно и нѣтъ. А покуда не будетъ достигнуто это устраненіе, много пройдетъ времени въ спорахъ, какая степень испорченности желательна, какая терпима и какая, наконецъ, и не желательна, и не терпима.

До тѣхъ поръ мы будемъ имѣть основаніе сказать только одно: да, если взятка еще не умерла, то она существуетъ въ такой облагороженной формѣ, что лучше всего дѣлать видъ, что не примѣчаешь ея. Но, кромѣ того, имѣются и высшія соображенія, которыя не дозволяютъ считать взяточниковъ въ числѣ «злыхъ». Новѣйшія вѣянія времени учатъ все болѣе цѣнить въ человѣкѣ не геройство и способность претерпѣвать лишенія, сопряженныя съ ограниченнымъ казеннымъ содержаніемъ, а покладистость, уживчивость и готовность. Но что же можетъ быть покладистѣе, уживчивѣе и готовнѣе хорошаго, добраго взяточника? Ради возможности стянуть лишнюю копеечку, онъ готовъ ужиться съ какою угодно внутренней политикой, увѣровать въ какого угодно бога. Сегодня, напяливъ мундиръ, онъ отправляется въ соборъ поклониться Богу истинному, а завтра—только прикажите!—въ томъ же мундирѣ выйдетъ на лобное мѣсто и будетъ кричать: «распни! распни Его!»

Ясно, что «новѣйшія вѣянія времени» къ нимъ относиться не должны...

Другая категорія людей, которая, на основаніи азбучныхъ опредѣленій, заслуживала бы наименованія «злыхъ», состоитъ изъ тѣхъ нервно-разстроенныхъ людей, которые въ оглушеніяхъ и заушеніяхъ ищутъ успокоенія для своей разстроенности. Должны ли они трепетать? Нѣкоторые изъ насъ отвѣчали на этотъ вопросъ утвердительно; другіе говорили прямо: нѣтъ, не должны. Но аргументы первыхъ до того страдали риторическою амплификаціей, что невольно напоминали знаменитое и, какъ извѣстно, окончившееся полнѣйшимъ фіаско выраженіе: «въ наше время,

когда»... Напротивъ того, аргументы вторыхъ такъ плотно стояли на реальной почвѣ, что своею осязаемостью поражали слушателя въ самое сердце. «Помилуйте!—говорили послѣдніе:—что же такое оглушенія и заушенія, какъ не самое яркое выраженіе новѣйшихъ вѣяній времени, какъ не роскошный плодъ, въ которомъ они находятъ свое осуществленіе?»

И точно, знаменитѣйшіе изъ нашихъ оглушителей:—маіоръ Зуботычкинъ и капитанъ Рылобейщиковъ, присутствуя при нашихъ спорахъ, здоровымъ и цвѣтущимъ своимъ видомъ выражали не только отсутствіе всякихъ опасеній, но и полнѣйшее довѣріе къ будущему. И при этомъ оба такъ простодушно удостовѣряли: «какъ хотите, а съ простымъ народомъ безъ того нельзя-съ», что даже несомнѣнные противники системы оглушенія—и тѣ становились втупикъ: слѣдуетъ ли ставить въ вину такіе подвиги, которые служатъ лишь выраженіемъ самыхъ завѣтныхъ и искреннихъ убѣжденій? Что могъ почувствовать при видѣ ихъ помпадуръ, который самъ являлся вѣстникомъ «вѣяній времени»? Какъ могъ онъ поступить относительно ихъ? Очевидно, онъ долженъ былъ призвать къ себѣ Зуботычина и Рылобейщикова и сказать имъ: «вы—избранники моего сердца! идите, сѣйте зубы, сокрушайте челюсти и превращайте вселенную въ пустыню! Я съ удовольствіемъ буду слѣдить за вашими успѣхами!»

Ясно, стало-быть, что и «дантисты» стоятъ внѣ того круга, которому угрожаетъ опасность...

Третья категорія «злыхъ»—шалопаи и разнаго рода «шлющіеся» люди. Но относительно ихъ современныя воззрѣнія до того уже выяснились, что мы сами тотчасъ же поняли неумѣстность этой категоріи. Когда Петръ Великій билъ «шлющихся людей» палкой и приказывалъ брить имъ лбы и записывать на службу—это было понятно. Для преобразованія Россіи нужно было, чтобъ шалопаи были на глазахъ, чтобъ они не гадили втихомолку, а дѣлали это, буде хватитъ смѣлости, въ виду всей публики. Но впослѣдствіи мы пріобрѣли такъ много всякаго рода свободъ, что между ними совершенно незамѣтно проскользнула и свобода шалопайствовать. Шалопаи проникли всюду, появились на всѣхъ ступеняхъ общества и постепенно образовали такое компактное ядро, что, за неимѣніемъ другого, болѣе доброкачественнаго, многіе усомнились, не тутъ ли именно и находится та несокрушимая крѣпость, изъ которой

новыя вѣянія времени могутъ производить смѣлѣйшіе набѣги свои. Въ какой степени основательно или неосновательно такое предположеніе—это предстоитъ разрѣшить времени; но до тѣхъ поръ, пока разрѣшенія не послѣдовало, ясно, что «шлющіеся люди», равно какъ взяточники и дантисты, должны стоять внѣ всякихъ угрозъ.

Оставалась, стало-быть, четвертая и послѣдняя категорія «злыхъ», категорія людей «политически-неблагонадежныхъ». Но едва мы приступили къ опредѣленію признаковъ этой категоріи, какъ съ нами вдругъ, ни съ того, ни съ сего, приключился ознобъ. Ознобъ этотъ еще болѣе усилился, когда мы встрѣтились съ прикованными къ намъ взорами нашихъ консерваторовъ. Эти взоры дышали злорадствомъ и ироніей и сопровождались улыбками самаго загадочнаго свойства...

Боже! ужели же мы, всегда считавшіе себя «добрыми», мы, носители идеаловъ о начетахъ не свыше 1 р. 43 к., мы, преданное среднему дѣлу меньшинство, мы, «граждане»—ужели именно мы-то и обязываемся «трепетать»?!

Да! Это жестоко, но это такъ! Это можно было угадать уже по тому конфузу, который овладѣлъ самими нами, какъ только произнесены были слова: политическая неблагонадежность. Скажу по секрету: мы уже давно очень хорошо поняли, что рѣчь пойдетъ не о комъ другомъ, а именно о насъ, и лишь по малодушію скрывали это не только отъ другихъ, но и отъ самихъ себя. Все какъ-то думалось, не совершится ли чудо, не сознаются ли консерваторы, что къ нимъ всего больше подходитъ та кличка политически-неблагонадежныхъ людей, которую такъ удачно создало вѣяніе времени? Не снимутъ ли они на себя тяготѣющій на насъ оговоръ? Но консерваторы не сознавались, а потому пришлось сознаваться намъ самимъ.

Какимъ образомъ случилось, что мы хоть косвенно, но сами признавали себя въ числѣ тѣхъ, противъ которыхъ вѣяніе времени должно было прежде всего направить свои стрѣлы—объяснить это довольно легко. Въ послѣднее время нашъ клубъ былъ ареною такихъ безпрерывныхъ и раздражительныхъ междоусобій, что мы, носители идеала о начетахъ не свыше 1 руб. 43 коп., лишь благодаря благосклонному содѣйствію стараго помпадура, одерживали въ нихъ слабый верхъ. Но даже и при существованіи этого могущественнаго прикрытія мы никогда не могли предотвратить, чтобы наши политическіе противники не напо-

минали намъ, съ едва скрываемою дерзостью, кто мы и изъ какихъ мы принциповъ выходимъ. Повторяю: принципы эти были очень просты и заключались въ томъ, чтобы взятокъ не брать, къ рылобитію не прибѣгать и съ самоотверженіемъ корпѣть надъ рапортами и вѣдомостями. Но консерваторамъ и это казалось ужаснымъ. Что бы мы ни предпринимали, какое бы сужденіе ни высказывали, мы совершенно явственно слышали, какъ тутъ же, о-бокъ съ нами, раздавался ехиднѣйшій шопотъ, который произносилъ: «красные!» Это восклицаніе преслѣдовало насъ всюду: въ клубѣ, на улицѣ, въ присутственномъ мѣстѣ. Да, и въ присутственномъ мѣстѣ, потому что даже просьбы на гербовой бумагѣ, которыя приходилось намъ разбирать,—и тѣ были насквозь пропитаны ядомъ этого выраженія. Вотъ почему это слово не было для насъ новостью и вотъ почему, какъ только оно было произнесено, мы тотчасъ же поняли, что «красные»—это мы. Прежде мы могли относиться къ этой кличкѣ равнодушно и даже шутливо; но теперь, когда мы сознавали себя предоставленными лишь собственнымъ силамъ, она предстала передъ нами во всей наготѣ. Могли ли мы примѣнить ее къ кому бы то ни было, кромѣ самихъ себя? Могли ли мы утверждать, что намъ и на умъ никогда не приходило называть себя «красными», а тѣмъ менѣе быть оными? Увы! улики были налицо, улики страшныя, подавляющія! Такія улики, что начетъ въ 1 руб. 43 коп. сразу выступилъ въ видѣ холодныхъ капель пота на лбу у управляющаго контрольной палатой, какъ только онъ вспомнилъ о немъ!

Это была неправда, это была вопіющая клевета. Но, тѣмъ не менѣе, какъ ни обдумывали мы свое положеніе, никакого другого выхода не находили, кромѣ одного: да, мы, именно мы одни обязываемся «трепетать»! Мы—«злые», лишь по недоразумѣнію восхитившіе наименованіе «добрыхъ». Мы—волкъ въ овечьей шкурѣ. Мы—«красные». На насъ прежде всего должно обрушиться вѣяніе времени, а затѣмъ, быть-можетъ, задѣть на ходу и другихъ.

Уныніе овладѣло нами. Одни изъ насъ дребезжащимъ голосомъ разучивали «Громъ побѣды раздавайся!» Другіе выстаивали по цѣлымъ часамъ, дѣлая рукою подъ козырекъ. Нѣкоторые замышляли измѣну дорогимъ убѣжденіямъ...

Но всѣ средства оказались не практичными и не цѣлесообразными. Не то слѣдуетъ доказать, умѣешь ли ты дѣлать подъ козырекъ, а то, возведено ли въ тебѣ это дѣланіе на

степень врожденной идеи. Не о томъ рѣчь, твердо ли ты заучилъ романсъ «Громъ побѣды раздавайся», а о томъ, составляетъ ли онъ операціонный базисъ твоихъ мыслей и дѣйствій. Измѣна же хотя и казалась наиболѣе практическимъ выходомъ, но вѣдь и ее прежде надобно доказать или, по малой мѣрѣ, доложить объ ней, а это тоже почти невозможно, потому что «вѣянія времени» обращаютъ человѣка въ пепелъ, прежде нежели онъ успѣетъ разинуть ротъ...

Однимъ словомъ, оставалось только ждать.

Въ этомъ ожиданіи прошло нѣсколько томительныхъ недѣль, въ продолженіе которыхъ только одинъ вопросъ представлялся намъ съ полною ясностью:

За что?

Мы ничего не имѣли въ мысляхъ, кромѣ интересовъ казны; мы ничего не желали, кромѣ благополучнаго разрѣшенія благихъ начинаній; мы трудились, усердствовали, лѣзли изъ кожи и въ свободное отъ усердія время мечтали: о, если бы и волки были сыты, и овцы цѣлы!.. Словомъ сказать, мы день и ночь хлопотали о насажденіи древа гражданственности. И вотъ теперь намъ говорятъ: «вы должны претерпѣть!»

За что?!

Да пересмотрите же наши вѣдомости! Загляните въ наши предписанія, донесенія, журнальныя постановленія! Сличите, какой сумбуръ царствовалъ до насъ и какъ рѣшительно двинули мы впередъ многосложное и трудное дѣло сличенія вѣдомостей, поправки кассовыхъ журналовъ, бухгалтерскихъ книгъ, и проч., и проч.

Отвѣтъ: быть-можетъ, это все такъ, но вы *должны* претерпѣть.

Примите, по крайней мѣрѣ, во вниманіе, что ежели мы и провинились, то безъ заранѣе обдуманнаго намѣренія, по разсѣянности, недоразумѣнію, неопытности, глупости и т. д.

Вы должны претерпѣть!

За что?!

Наконецъ, ОНЪ пріѣхалъ...

По внѣшнему виду въ немъ не было ничего ужаснаго, но внутри его скрывалась молнія.

Какъ только онъ почуялъ, что передъ нимъ стоятъ люди, которые хотя и затаили дыханіе, но все-таки дышатъ,— такъ тотчасъ же вознегодовалъ.

Но онъ былъ логиченъ. Онъ не вошелъ даже въ разбирательство, кто передъ нимъ: консерваторы или либералы.

И вотъ онъ раскрылъ ротъ. Едва онъ сдѣлалъ это, какъ молнія, въ немъ скрывавшаяся, мгновенно вылетѣла и, не тронувъ насъ, прямо зажгла древо гражданственности, которое было насаждено въ душахъ нашихъ...

Случайность эта спасла насъ. При кликахъ всеобщей суматохи онъ далъ каждому изъ насъ по нѣсколько щипковъ и затѣмъ всецѣло предался внутреннему ликованію.

Но по мѣрѣ того, какъ онъ щипалъ насъ, мы чувствовали, какъ догораетъ наше милое, дорогое древо гражданственности.

— О, древо!—уныло восклицали мы:—съ какими усиліями мы возрастили тебя и, возрастивъ, съ какимъ торжествомъ публиковали о томъ всему міру! И что-жъ! пришелъ нѣкто—и въ одну минуту испепелилъ всѣ наши насажденія!

Мы уцѣлѣли—но ужъ безъ древа гражданственности. Мы не собираемся вокругъ него и не щебечемъ. Мы не знаемъ даже, надолго ли «онъ» оставилъ намъ жизнь... Но, соображаясь съ вѣяніями времени, твердо уповаемъ, что жизнь возможна для насъ лишь подъ однимъ условіемъ: подъ условіемъ, что мы обязываемся ежемгновенно и неукоснительно трепетать.

IX.—Помпадуръ борьбы

или

ПРОКАЗЫ БУДУЩАГО.

Я съ дѣтскихъ лѣтъ знаю Ѳеденьку Кротикова. Въ школѣ это былъ отличный товарищъ, готовый и въ форточку покурить, и прокатиться въ воскресенье на лихачѣ, и кутнуть гдѣ-нибудь въ заднихъ комнатахъ ресторанчика. По выходѣ изъ школы, продолжая оставаться отличнымъ товарищемъ, онъ въ какихъ-нибудь три-четыре года напилъ и наѣлъ у Дюссо на десять тысячъ рублей и задолжалъ нѣсколько тысячъ за ложу на Минерашкахъ, изъ которой имѣлъ удовольствіе аплодировать m-lle Blanche Gandon. Это заставило его взглянуть на свое положеніе серьезнѣе. Роль добраго товарища обходилась слишкомъ дорого; надо было остепениться и избрать себѣ карьеру. И вотъ, не прошло четырехъ лѣтъ—слышимъ, что онъ прямо изъ-подъ ферулы Дюссо вдругъ выказалъ необыкновенный админи-

стративный блескъ. Еще немного — и Ѳеденька былъ уже помпадуромъ въ городѣ Навсномъ...

Какимъ образомъ все это случилось—никто не могъ дать себѣ отчета. Всѣ видѣли, что Ѳеденька сидитъ у Дюссо, но никто не подозрѣвалъ, что онъ сидитъ не спроста, а изучаетъ духъ времени. У Дюссо же, кстати, собираются наѣзжіе помпадуры и за бутылкой добраго вина развиваютъ виды и предположенія, какіе кому Богъ на душу пошлетъ, а слѣдовательно для молодыхъ кандидатовъ въ администраторы лучшей школы не можетъ быть. И Ѳеденька воспользовался ею вполнѣ, то-есть прислушивался и смекалъ. И вотъ, когда онъ понялъ, что для современнаго администратора ничего больше не требуется, кромѣ свободныхъ манеръ, то тотчасъ же сообразилъ, что и онъ въ этомъ отношеніи не лыкомъ шитъ. Проникнувъ въ извѣстныя сферы, изъ которыхъ, какъ изъ нѣкоего водохранилища, изливается на Россію многоводная рѣка помпадурства, Ѳеденька, не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, сболтнулъ хлёсткую фразу, въ родѣ того, что Россію губитъ излишняя централизація; что необходимо децентрализовать, то-есть эмансипировать помпадуровъ, усиливъ ихъ власть, что высшая администрація слишкомъ погружена въ подробности и мелочи; что мелочи отвлекаютъ ее отъ главныхъ задачъ, то-есть отъ внутренней политики, и т. д. Однимъ словомъ, высказалъ все, что̀ говорится у Дюссо за стаканомъ добраго вина наѣзжими и жаждущими эмансипироваться помпадурами. Сболтнулъ—и понравился; понравился — и былъ признанъ способнымъ уловлять вселенную...

Я первый порадовался возвышенію Ѳеденьки. Во-первыхъ, я зналъ, что у него доброе сердце, а, по моему мнѣнію, въ помпадурѣ это главное. Если помпадуръ настолько простодушенъ, что ничѣмъ другимъ, кромѣ внутренней политики, заниматься не можетъ, и если при этомъ онъ еще золъ, то очевидно, что онъ не сумѣетъ дать другого употребленія своему досугу, кромѣ угнетенія обывателя. Злая праздность подозрительна и ревнива. Лишенная знанія и тѣхъ ограниченій, которыя она приноситъ съ собой, она замѣняетъ его простымъ нахальствомъ, и потому всюду вмѣшивается, во всемъ сознаетъ себя компетентною, всѣмъ мѣшаетъ, вездѣ видитъ посягательство, покушеніе, оскорбленіе. Она съ утра до вечера хлопаетъ глазами и все ищетъ, какъ бы кого истребить, скрутить, согнуть въ бо-

раній рогъ. Клянусь, ничего тутъ хорошаго нѣтъ. Напротивъ того, праздность невѣжественная, но соединенная съ добродушіемъ, не только не вредитъ, но даже представляетъ нѣкоторыя выгоды. Добрый помпадуръ застѣнчивъ; онъ никому не мѣшаетъ и даже избѣгаетъ лишнихъ объясненій, потому что боится сболтнуть что-нибудь несообразное и выказать несостоятельность. Сознавая себя осужденнымъ исключительно на внутреннюю политику, онъ все значеніе послѣдней полагаетъ въ томъ, чтобы не препятствовать другимъ. Онъ посѣщаетъ клубъ—и всѣхъ призываетъ къ согласію. Онъ ѣздитъ на пироги, обѣды и ужины — и всѣмъ желаетъ благополучія. Хороши добрые, невѣжественные помпадуры! При нихъ обыватель съ довѣріемъ смотритъ въ глаза завтрашнему дню, зная, что онъ встрѣтитъ его въ своей постели, а не на съѣзжей, и что никто не перевернетъ вверхъ дномъ его существованія по обвиненію въ недостаточной теплотѣ чувствъ. И вотъ этого именно, этой незлобивой невѣжественности, соединенной съ доброжелательнымъ отношеніемъ къ обывателю, вдалъ я и отъ Ѳеденьки.

Во-вторыхъ, мнѣ было извѣстно, что Ѳеденька имѣетъ и другое драгоцѣнное качество: — что онъ либералъ. Это было время либерализма почти повальнаго, то время, когда вдругъ всѣмъ сдѣлалось тошно и душно. Ѳеденька отлично выразилъ это чувство въ особенной докладной запискѣ, представленной имъ по этому случаю. «Воспрещеніе курить на улицахъ,—писалъ онъ въ этой запискѣ:—ограниченія относительно покроя одежды, въ особенности же истинно-деоклитіановскія гоненія противу лицъ, носящихъ бороды и длинные волосы, — все это, вмѣстѣ взятое, не могло не оказать пагубнаго воздѣйствія на общественную самодѣятельность. Чувствуя себя на каждомъ шагу подъ угрозой мѣропріятій, бо́льшею частью направленныхъ противу невиннѣйшихъ поползновеній человѣческаго естества, общество утратило вѣру въ свои творческія силы и поникло подъ игомъ постыднаго равнодушія къ собственнымъ интересамъ. Посему и въ видахъ поднятія народнаго духа, я полагалъ бы необходимымъ всенародно объявить: 1) что занятіе куреніемъ табака свободно вездѣ, за нижеслѣдующими исключеніями (слѣдовалъ 81 п. исключеній); 2) что выборъ покроя одежды предоставляется личному усмотрѣнію каждаго, съ таковымъ, однакожъ, изъятіемъ, что появленіе на улицахъ и въ публичныхъ мѣстахъ въ обна-

женномъ видѣ, попрежнему, остается недозволительнымъ, и 3) что преслѣдованіе за ношеніе бороды и длинныхъ волосъ прекращается, а всѣ начатыя по сему предмету дѣла предаются забвенію, за исключеніемъ лишь нижеслѣдующихъ случаевъ (поименовано 33 исключенія)». Какъ хотите, а человѣкъ, начинавшій свой административный бѣгъ съ такими смѣлыми задатками, не могъ не заслуживать нѣкотораго довѣрія. Притомъ же, излагая столь ясно свои либеральныя убѣжденія, онъ вѣдь и рисковалъ. Онъ ставилъ на карту все свое административное будущее, ибо ежели смѣлость его могла понравиться, то она же могла и не понравиться и, слѣдовательно, надѣлать ему хлопотъ. Мало того, онъ могъ прослыть опаснымъ мечтателемъ. Къ счастію, онъ попалъ въ такую минуту, когда смѣлыя начинанія нравились...

Какъ бы то ни было, но Ѳеденька достигъ предмета своихъ вожделѣній. Напутствуемый всевозможными пожеланіями, онъ отправился въ Навозный край, я же остался у Дюссо. Съ тѣхъ поръ мы видѣлись рѣдко, урывками, во время наѣздовъ его въ Петербургъ. И я съ сожалѣніемъ долженъ сознаться, что мои надежды на его добросердечіе и либерализмъ очень скоро разрушились.

Первое время административныхъ подвиговъ Ѳеденьки было лучшимъ его временемъ. Это было время либерализма безусловнаго, которому не только не служило помѣхой отсутствіе мудрости, но, напротивъ того, сообщало какой-то ликующій характеръ. Ѳеденька рвался впередъ, нимало не думая о томъ, какія послѣдствія будетъ имѣть его рвеніе. Онъ писалъ циркуляры о необходимости заведенія фабрикъ, о возможности, при добромъ желаніи, населить и оплодотворить пустыни, о пользѣ развитія путей сообщенія, промысловъ, судоходства, торговли, и изъявилъ надежду, что земледѣліе, споспѣшествуемое, съ одной стороны, садоводствомъ, а съ другой — разведеніемъ улучшенныхъ породъ скота, принесетъ желаемые плоды и, такимъ образомъ, оправдаетъ возлагаемыя на него надежды. Онъ призывалъ къ себѣ для совѣщанія купцовъ и доказывалъ имъ неотложность учрежденій кожевенныхъ и мыловаренныхъ заводовъ, при чемъ говорилъ: «прошу васъ, господа, а въ случаѣ надобности, даже требую». Онъ приглашалъ дворянъ и говорилъ, что дворянское сословіе всегда было опорою, а потому и теперь должно первое подать примѣръ. Въ ожиданіи же результатовъ этой судорожной дѣятельности,

онъ дѣлалъ внезапныя вылазки на пожарный дворъ, осматривалъ лавки, въ которыхъ продавались съѣстные припасы, требовалъ исправнаго содержанія мостовыхъ, пробовалъ похлебку, изготовленную въ тюремномъ замкѣ для арестантовъ, прекращалъ чуму, холеру, оспу и сибирскую язву, собиралъ деньги на учрежденіе дѣтскаго пріюта, городского театра и публичной библіотеки, предупреждалъ и пресѣкалъ бунты и въ особенности выказывалъ страстные порывы при взысканіи недоимокъ.

Но, увы! изъ всѣхъ этихъ либеральныхъ затѣй Ѳеденька достигъ относительнаго успѣха лишь по части пресѣченія бунтовъ и взысканія недоимокъ. Ко всѣмъ прочимъ его запросамъ общество отнеслось тупо, почти безучастно. Фабрики не учреждались, холера не прекращалась, судоходство не развивалось, купцы продолжали коснѣть въ невѣжествѣ, а земледѣліе, сопспѣшествуемое сибирскою язвою, давало въ результатѣ болѣе лебеды, нежели истиннаго хлѣба. Это тѣмъ болѣе озадачило Ѳеденьку, что онъ, какъ вообще всѣ администраторы, кончившіе курсъ наукъ въ ресторанѣ Дюссо, не имѣлъ надлежащей выдержки и былъ скорѣе способенъ являть сердечную пылкость, нежели упорство въ преслѣдованіи административныхъ цѣлей.

Тогда наступилъ второй періодъ кротиковскаго либерализма,—либерализма меланхолическаго, жалующагося, укоряющаго. Хотя Ѳеденька еще не пришелъ къ отрицанію самого либерализма, но онъ уже разочаровался въ *либералахъ* и довольно громко выражалъ это разочарованіе.

— Любезный другъ! — говорилъ онъ мнѣ въ одинъ изъ своихъ пріѣздовъ въ Петербургъ. — Я просилъ бы тебя ясно представить себѣ мое положеніе. Я пріѣзжаю въ Навозный и вижу, что торговля у меня въ застоѣ, что ремесленность упала до того, что à la lettre некому пришить пуговицу къ сюртуку, что земледѣліе, эта опора нашего отечества, не приноситъ ничего, кромѣ лебеды... J'espère que c'est assez navrant, ça? hein! qu'en diras-tu?

— Mais oui... le tableau n'est pas des plus agréables...

— Eh bien, я вижу все это — и, разумѣется, принимаю мѣры. Я пишу, предлагаю, настаиваю—и что-жъ! Хоть бы одна каналья откликнулась на мой голосъ! Ничего, кромѣ какого-то подлаго сопѣнія, которое раздается изо всѣхъ угловъ! Вотъ они! вотъ эти либералы, на которыхъ мы возлагали столько надеждъ! Вотъ тотъ либеральный духъ, ко-

торый, по отзывамъ газетъ, «охватилъ всю Россію»! Чорта съ два! Охватилъ!

Тѣмъ не менѣе, Ѳеденька не сразу унылъ духомъ; напротивъ того, онъ сдѣлалъ надъ собой новое либеральное усиліе и по всѣмъ полиціямъ разослалъ жалостный циркуляръ, въ которомъ подробно изложилъ свои огорченія и разочарованія.

«Неоднократно замѣчено было мною, — писалъ онъ въ этомъ циркулярѣ: — что въ нашемъ обществѣ совершенно отсутствуетъ тотъ духъ иниціативы, съ помощью котораго великіе народы совершаютъ великія дѣла. Не разъ указывалъ я, что путей сообщенія у насъ, можно сказать, не существуетъ; что судоходство наше представляетъ зрѣлище въ высшей степени прискорбное для сердца всякаго истиннаго патріота; что въ торговлѣ главнымъ двигателемъ является не благородная и вполнѣ согласная съ предписаніями политико-экономической науки потребность быть посредникомъ между потребителемъ и производителемъ, а гнусное желаніе наживы; что земледѣліе, этотъ главный источникъ благосостоянія странъ, именующихъ себя земледѣльческими, не радуетъ земледѣльца, а землевладѣльцу даже приноситъ чувствительное огорченіе. Указывая на все вышеизложенное, я питалъ надежду, что голосъ мой будетъ услышанъ и что здоровыя силы страны воспрянутъ отъ многолѣтняго безмятежнаго сна, дабы воспользоваться плодами онаго. Скажу болѣе: я былъ увѣренъ, что отечество наше, искони превосходя государства Западной Европы безпрекословнымъ исполненіемъ начальственныхъ предписаній и непреоборимымъ благочестіемъ, станетъ на ряду съ ними и съ точки зрѣнія промышленности и полезныхъ изобрѣтеній. И тогда, думалось мнѣ, то-есть если-бъ все сіе осуществилось, не имѣли ли бы мы полное основаніе воскликнуть: съ нами Богъ—кто же на ны?!

«Но, къ великому и душевному моему огорченію, я усматриваю, что наше общество продолжаетъ коснѣть все въ томъ же бездѣйствіи, въ какомъ я засталъ его въ первое время по пріѣздѣ моемъ въ Навозный край. А именно: путей сообщенія не существуетъ, судоходство въ упадкѣ, торговля преслѣдуетъ цѣли низкія и неблагородныя, а при взглядѣ на земледѣліе единственная мысль, которая приходитъ въ голову, есть слѣдующая: всуе труждаются зиждущіе! Къ сему, съ теченіемъ времени, присоединились: процвѣтаніе кабаковъ и необыкновенный успѣхъ сибирской

язвы. Спрашивается: при всемъ предыдущемъ и при дѣятельномъ пособничествѣ послѣдующаго, какое имѣемъ мы основаніе восклицать: кто же на ны?!

«Уже умственному моему взору безъ труда представляется удручающая сердце картина будущаго. Край пустыненъ; полезныя и кроткія породы птицъ и звѣрей уничтожились, а вмѣсто оныхъ господствуютъ породы хищныя и не полезныя; благочестіе упразднилось, а вмѣсто онаго царствуетъ пьянство и развратъ! Какое сердце патріота не содрогнется при видѣ столь ужаснаго зрѣлища, даже если бы оное было лишь плодомъ моей предусмотрительной фантазіи?!

«А между тѣмъ изъ архивныхъ дѣлъ достовѣрно усматривается, что нѣкогда нашъ край процвѣталъ. Онъ изобиловалъ туками (какъ это явствуетъ изъ самаго названія «Навозный»); туки же, въ свою очередь, способствовали произрастанію разнородныхъ злаковъ. А отъ сего процвѣтало сельское хозяйство. Помѣщики наперерывъ стремились пріобрѣтать здѣсь имѣнія, не пугаясь отдаленностью края, но думая открыть и дѣйствительно открывая золотое дно. Теперь—нѣтъ ни туковъ, ни злаковъ, ни золотого дна. Какая же причина такого прискорбнаго оскудѣнія?

«Я знаю, что упраздненіе крѣпостного права многія надежды оставило безъ осуществленія, а прочія и совсѣмъ прекратило; я вмѣстѣ съ другими оплакиваю сей фактъ, но и за всѣмъ тѣмъ спрашиваю себя: имѣется ли законное основаніе, дабы впадать, по случаю онаго, въ уныніе или малодушіе?

«Тѣмъ не менѣе, я не вхожу въ подробное разсмотрѣніе этого вопроса, ибо разсмотрѣніе привело бы меня къ разслѣдованію, которое, въ свою очередь, повлекло бы за собою полемику, которой въ моемъ положеніи я всячески долженъ избѣгать. Ограничиваюсь лишь слѣдующимъ краткимъ замѣчаніемъ. Помѣщики, подъ вліяніемъ досады, возбужденной въ нихъ упраздненіемъ крѣпостного права, бросились вырубать принадлежащіе имъ лѣса и продавать оные за безцѣнокъ. Къ сожалѣнію, ощутительной выгоды отъ сего они не получили никакой, а странѣ, между тѣмъ, причинили несомнѣннѣйшій ущербъ. Съ истребленіемъ лѣсовъ надолго, если не навсегда, утвердилось господство изсушающихъ вѣтровъ, которые, не встрѣчая преградъ въ своемъ вѣяніи, повсюду производятъ пагубнѣйшее дѣйствіе. Обмелѣніе рѣкъ уже возымѣло начало, а въ близкомъ буду-

щемъ предвидится и недостатокъ влажности въ воздухѣ. Поля угрожаютъ хроническимъ безплодіемъ, а человѣческія легкія будутъ лишены возможности вдыхать животворную влажность воздуха. Въ какомъ же положеніи, среди всего сего, нахожусь я, на котораго довѣріе начальства возложило заботы по обезпеченію народнаго продовольствія, равно какъ и по охраненію народнаго здравія?!

«Въ виду всего вышеизложеннаго, я вновь, и въ послѣдній разъ, предлагаю принять рѣшительныя мѣры (не прибѣгая, однакожъ, до времени, къ экзекуціямъ) къ поднятію общественнаго духа и возбужденію въ оном наклонности къ дѣяніямъ смѣлымъ и великимъ. Съ этой цѣлью имѣете вы непрестанно увѣщавать купцовъ, разночинцевъ и мѣщанъ; помѣщикамъ же и прочимъ благороднымъ людямъ кратко, но убѣдительно доказывать, что временныя лишенія должны быть переносимы безропотно, съ надеждой на милость Божію въ будущемъ. Всѣмъ же вообще внушать за достовѣрное, что я, съ своей стороны, готовъ вездѣ и во всякое время оказывать дѣятельнѣйшее содѣйствіе всякому благому начинанію.

«Объ успѣхѣ вашихъ увѣщаній, внушеній и собесѣдованій обязываетесь сообщать мнѣ черезъ каждыя двѣ недѣли всенепремѣнно и неупустительно».

Одинъ экземпляръ этого циркуляра Ѳеденька прислалъ мнѣ при письмѣ, въ которомъ говорилъ: «Ты видишь, душа моя, что я еще бодрюсь; но если и за симъ наше судоходство останется въ прежнемъ жалкомъ положеніи, тогда— ma foi—я не остановлюсь даже передъ экзекуціей». На что̀ я съ первой же почтой отвѣтилъ: «Мы всѣ удивляемся экспрессіи твоего циркуляра; это своего рода chef d'oeuvre. Ахъ! если-бъ ты жилъ во времена великой французской революціи! Теорія, отыскивающая въ помѣщичьей мстительности причину происхожденія вѣтровъ и обмелѣнія рѣкъ, смѣла и нова. Но не слишкомъ ли, однакожъ, смѣла? Подумалъ ли ты объ этомъ, мой другъ? Смотри, чтобы не было запроса!»

Увы! это былъ послѣдній пароксизмъ Ѳеденькина либерализма. Вскорѣ послѣ этого я на долгое время уѣхалъ за границу и совершенно потерялъ Ѳеденьку изъ виду. Затѣмъ, по возвращеніи въ Петербургъ, встрѣтившись съ однимъ пріѣзжимъ изъ Навознаго (то былъ Рудинъ, котораго Ѳеденька взялъ къ себѣ въ чиновники для особыхъ порученій, несмотря на его крайній образъ мыслей), я

услышалъ отъ него слѣдующую краткую, но выразительную аттестацію о Кротиковѣ: «поретъ дичь». Это вдвойнѣ меня огорчило: во-первыхъ, потому, что я искренно любилъ Ѳеденьку и мнѣ всегда казалось, что онъ можетъ сдѣлать свою карьеру только на либеральной почвѣ, а во-вторыхъ и потому, что меня въ это время уже сильно начали смущать будущія судьбы русскаго либерализма. Одновременно съ Кротиковымъ стезю свободомыслія покинули: Иванъ Хлестаковъ, Иванъ Тряпичкинъ и Кузьма Прутковъ. Все это было тѣмъ болѣе горько, что и до этого времени нашъ либерализмъ существовалъ лишь благодаря благосклонному попустительству нѣкоторыхъ просвѣщенныхъ лицъ.

И вотъ теперь—еще однимъ просвѣщеннымъ попустителемъ меньше!

Подъ вліяніемъ этого горькаго чувства я не выдержалъ и написалъ къ Кротикову письмо, исполненное укоризнъ. А черезъ два мѣсяца получилъ слѣдующій сухой отвѣтъ:

«Извини, что не скоро отвѣтилъ, да и теперь пишу лишь нѣсколько строкъ: въ моемъ положеніи, право, не до переписки съ бывшими товарищами и друзьями. На вопросы твои, впрочемъ, считаю долгомъ объяснить, что, кромѣ либеральныхъ идей, о которыхъ ты такъ много и краснорѣчиво написалъ, есть еще идеи консервативныя, о которыхъ ты вовсе умалчиваешь. Вотъ что ты упустилъ изъ вида и что я не лишнимъ считаю тебѣ напомнить. Какимъ образомъ я пришелъ къ убѣжденію, что либеральныя идеи скрываютъ въ себѣ пагубное заблужденіе—здѣсь объяснять не мѣсто. Надѣюсь, однакожъ, что ты безъ труда поймешь, что въ моемъ положеніи заблуждаться не только неприлично, но и непозволительно. Изъ всѣхъ золъ, которыя до сихъ поръ извѣстны, нѣтъ зла болѣе ужаснаго, какъ заблуждающійся помпадуръ, ибо съ его заблужденіемъ неизмѣнно связывается заблужденіе цѣлаго края. Я думаю, это довольно ясно и прибавлять къ этому нечего. Затѣмъ, моля Подателя всѣхъ благъ, дабы Онъ просвѣтилъ тебя, остаюсь не раздѣляющій твоихъ заблужденій, но все еще любящій тебя, *Ѳедоръ Кротиковъ*».

Однако, я не только не возмутился этимъ наставленіемъ, но, возгорѣвъ вящшею ревностью по либерализмѣ, попытался вразумить самого Ѳеденьку.

«Ѳеденька!—писалъ я ему:—когда ты былъ либераломъ, какъ резюмировалась твоя политическая программа? Она резюмировалась слѣдующимъ образомъ: учрежденіе фабрикъ

и заводовъ, устройство путей сообщенія, развитіе торговли, процвѣтаніе земледѣлія, неустанная разработка нѣдръ земли, устность, гласность и т. д. Теперь, когда ты сдѣлался консерваторомъ, какая возможна для тебя программа? Очевидно, отсутствіе фабрикъ и заводовъ, разстройство путей сообщенія, застой въ торговлѣ, упадокъ земледѣлія, господство изсушающихъ вѣтровъ, обмелѣніе рѣкъ и т. д. Ибо ты желаешь сохранить то, что̀ есть, а есть именно то, что̀ сейчасъ мною исчислено. Или, быть-можетъ, ты надѣешься на кабаки и сибирскую язву? Но въ такомъ случаѣ выразись прямо. Вмѣсто прежнихъ блестящихъ циркуляровъ издай новый, въ которомъ категорически объяви, что впредь воспрещается какое бы то ни было развитіе, кромѣ развитія сибирской язвы».

Отвѣта на это письмо не послѣдовало.

Послѣ того я имѣлъ о Кротиковѣ лишь смутныя свѣдѣнія. Я слышалъ, что первымъ поводомъ къ отреченію его отъ либерализма было появленіе гласныхъ судовъ и земскихъ управъ. Это навело его на мысль, что существуютъ какіе-то корни и нити, которые надобно разыскать и истребить, ибо въ противномъ случаѣ ему, Кротикову, не будетъ житья. Затѣмъ наступили извѣстныя событія въ Западной Европѣ: интернаціоналка, франко-прусская война, парижская коммуна и т. д., и все это сильно заботило его, потому что онъ видѣлъ въ этихъ событіяхъ связь съ новыми судами и земскими учрежденіями. Онъ внимательно слѣдилъ за газетами, предполагая, сообразно съ тѣмъ или другимъ исходомъ событій, дать и своей внутренней политикѣ болѣе рѣшительное направленіе. Въ ожиданіи же того, какія идеи восторжествуютъ, здравыя или такъ-называемыя сюбверсивныя, онъ волновался и угрожалъ.

— Если восторжествуютъ здравыя идеи,—говорилъ онъ:— я, конечно, буду очень радъ. Да-съ, очень радъ-съ. Но, признаюсь откровенно, съ политической точки зрѣнія, я былъ бы не недоволенъ, если-бъ восторжествовала и революція... разумѣется, временно... По крайней мѣрѣ мы, безъ всякой опасности для себя, могли бы узнать, кто наши внутренніе враги, кто эти сочувствователи, которые поднимаютъ голову при всякомъ успѣхѣ превратныхъ идей, какъ велика ихъ сила и до чего можетъ дойти ихъ дерзость. Et alors, messieurs...

Ѳеденька умолкалъ и загадочно грозился въ ту сторону,

гдѣ помѣщались земская управа, окружной судъ и акцизное управленіе.

Но здравыя идеи восторжествовали; Франція подписала унизительный миръ, а затѣмъ пала и парижская коммуна. Ѳеденька, который съ минуты на минуту ждалъ взрыва, какъ-то опѣшилъ. Ни земская управа, ни окружной судъ даже не шевельнулись. Это до того сконфузило его, что онъ бродилъ по улицамъ и придирался ко всякому встрѣчному, испытывая, обладаетъ ли онъ надлежащею теплотою чувствъ. Однако, чувства были у всѣхъ не только въ исправности, но, повидимому, послѣднія событія даже поддали имъ жару...

Ѳеденька недоумѣвалъ. Онъ былъ убѣжденъ, что тутъ есть какая-то интрига, но въ чемъ она состоитъ—объяснить себѣ не умѣлъ. Бѣдный! Онъ, видимо, слѣдовалъ старой рутинѣ и все искалъ какихъ-то фактовъ, которые дали бы ему поводъ объявить походъ. Онъ не подозрѣвалъ, что система фактовъ есть система устарѣлая, что нарождается и уже народилась совершенно иная система, которая позволяетъ безъ всякаго повода, безъ малѣйшаго факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперекъ, приводя въ трепетъ оторопѣлыхъ обывателей...

И вотъ, какъ бы для того, чтобы вывести его изъ недоразумѣнія, въ газетахъ появилось извѣстіе, что въ версальскомъ національномъ собраніи образовалась партія, которая на развалинахъ любезнаго отечества водрузила знамя «борьбы»...

Слово это было для Ѳеденьки цѣлымъ откровеніемъ. Да, это оно, это то самое слово, до котораго онъ столько лѣтъ такъ тщетно додумывался. Все, что безсвязно копошилось въ немъ съ той самой минуты, когда онъ внезапно объявилъ себя консерваторомъ, все, къ чему онъ порывался и къ пріобрѣтенію чего дѣлалъ тщетныя попытки, — все нашло для себя осуществленіе въ словѣ: «борьба». Не то чтобы онъ понялъ смыслъ этого слова, но онъ достигъ результата еще болѣе существеннаго: онъ понялъ, что ему нѣтъ надобности что-нибудь понимать. До сихъ поръ онъ отыскивалъ корни и нити; теперь онъ убѣдился, что ни въ чемъ подобномъ нѣтъ надобности и что на будущее время онъ окончательно освобожденъ отъ труда что-нибудь отыскивать.

Это было очень удобно, ибо давало возможность объявить походъ, не уяснивъ себѣ даже цѣли его. Отсутствіе ясно

сознанной цѣли—вотъ Ахиллесова пята всѣхъ администраторовъ, получившихъ воспитаніе у Дюссо и въ заведеніи искусственныхъ минеральныхъ водъ. И Ѳеденька почувствовалъ себя какъ-то необыкновенно легко и свободно, когда убѣдился, что ему не нужно ни фактовъ, ни цѣлей, а нуженъ только «духъ», «направленіе», «превратныя толкованія»—и ничего больше. Что̀ означаютъ эти слова—это до него не касается; онъ радъ уже и тому, что есть такія слова, которыя хоть и чортъ знаетъ что̀ означаютъ, но даютъ исходную точку для борьбы. Борьба, сама себѣ дающая начало, сама себя питающая и сама себя имѣющая пожрать (Ѳеденька, впрочемъ, не разсчитывалъ на эту послѣднюю особенность), борьба противъ привидѣній прошлаго, настоящаго и будущаго, борьба необъяснимая въ своихъ источникахъ и неуловимая въ своихъ послѣдствіяхъ—вотъ программа, которую предстояло ему разрабатывать въ будущемъ. Она страдаетъ отсутствіемъ содержанія, но зато легче ея ничего нельзя вообразить. Не нужно ни ума, ни изобрѣтательности, ни предусмотрительности; нуженъ только темпераментъ да еще кой-какой внѣшній церемоніалъ, который помогъ бы скрыть безсодержательность системы и отсутствіе цѣлей.

Темпераментомъ Ѳеденька обладалъ въ изобиліи; но хотя этого одного было вполнѣ достаточно для совершенія великаго дѣла борьбы, однако, онъ почему-то рѣшилъ, что нужно прибавить кой-что и еще. Задача, предстоявшая ему, была слишкомъ нова, чтобъ приступить къ ней съ-плеча, подобно тому, какъ приступили къ разрѣшенію *своихъ* задачъ его предшественники-помпадуры. Всѣ бывшія до него помпадурства заимствовали свои опредѣленія отъ котораго-нибудь изъ семи смертныхъ грѣховъ; его же помпадурство должно быть исключительно помпадурствомъ борьбы. «Да-съ, это не то, что брать хапанцы или бить по зубамъ-съ; эта штучка будетъ пограндіознѣе-съ»,—хвастался Ѳеденька, и, весь исполненный жажды славныхъ дѣлъ, рѣшился прежде всего поразить воображеніе обывателей Навознаго.

Церемоніалъ, который придумалъ по этому случаю Ѳеденька, былъ очень сложенъ. Онъ перебралъ въ своей памяти весь курсъ исторіи Смарагдова, весь репертуаръ театра Буффъ и всѣ газетныя извѣстія о чудесахъ въ рѣшетѣ, происходящихъ въ современной Франціи. Образовалось нѣчто волшебное. Крестовые походы, Іоанна д'Аркъ, храбрый рыцарь Дюнуа, лурдскія богомолья, отреченіе отъ

сатаны въ Парэ-ле-Моніалѣ — все нашло себѣ мѣсто въ этомъ громадномъ планѣ. Въ виду предстоящаго нравственнаго возрожденія Навознаго онъ не щадилъ ничего. Пусть завистники утверждаютъ, что его планъ «борьбы» напоминаетъ оперетту Лекока: «Le beau chevalier Dunois» и не имѣетъ никакого отношенія къ Навозному; онъ знаетъ, что въ Навозномъ уже давно прорываются факты, свидѣтельствующіе, что ядъ, погубившій Францію, проникъ и туда, и что, слѣдовательно, именно теперь планъ его какъ нельзя болѣе умѣстенъ и своевременъ. Не дальше какъ вчера предсѣдатель земской управы въ клубѣ публично разсуждалъ о какой-то независимости и утверждалъ, что онъ самъ по себѣ, а Ѳеденька—самъ по себѣ. Вотъ фактъ. — Скажутъ, что въ этомъ фактѣ еще нѣтъ настоящихъ корней и нитей—допустимъ, что это и такъ! Нѣтъ корней и нитей, но есть ядъ! «понимаете ли: ядъ-съ!» И надо этотъ ядъ истребить. «Да-съ».

Душою задуманнаго заговора будетъ, конечно, онъ самъ. Онъ—рыцарь безъ страха и упрека; онъ—Баяръ изъ исторіи Смарагдова и Дюнуа изъ театра Буффъ. Пособниками у него будутъ: правитель канцеляріи, два чиновника особыхъ порученій, отрекшіеся отъ либерализма, и всѣ частные пристава. Для бо́льшаго эффекта можно будетъ еще прихватить Ноздрева, Тараса Скотинина и Держиморду. Ассистенты: предводитель и командиръ гарнизоннаго батальона. По окончаніи похода, городской голова, въ мундирѣ, поднесетъ ему хлѣбъ-соль. А дабы сообщить предстоящему походу вполнѣ волшебный характеръ и вмѣстѣ съ тѣмъ обезпечить его успѣхъ, предстояло еще отыскать что-нибудь въ родѣ Іоанны д'Аркъ (безъ нея немыслимо чудесное возрожденіе Навознаго), очистить администрацію отъ плевелъ и торжественно отречься отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его. Тогда «борьба» пойдетъ какъ по маслу.

Іоанну д'Аркъ онъ имѣлъ уже въ виду. То была дѣвица Анна Григорьевна Волшебнова, дочь начальника одной изъ мѣстныхъ командъ, съ которою Ѳеденька находился въ открытой любовной связи, но которая и за всѣмъ тѣмъ упорно продолжала именовать себя дѣвицею.

Положеніе m-lle Волшебновой было очень фальшивое. Ѳеденька увлекъ ее обѣщаніемъ жениться, но впослѣдствіи не только забылъ о своихъ клятвахъ, но даже прямо объявилъ, что званіе помпадурши и само по себѣ достаточно почтенно. Вѣроломство Кротикова не обошлось, одна-

кожъ, безъ скандала, ибо штабсъ-капитанъ Волшебновъ счелъ долгомъ протестовать. Чтобъ усмирить его, Ѳеденька былъ вынужденъ утвердить какія-то неслыханныя цѣны на провіантъ и фуражъ, и только этимъ актомъ великодушія достигъ того, что оскорбленный отецъ явился къ нему съ повинною и объявилъ, что отнынѣ и навсегда всѣ недоразумѣнія между ними покончены.

Обзаведясь помпадуршей, Ѳеденька предназначалъ ей очень блестящую роль. Онъ желалъ, чтобъ она блистала на балахъ и имѣла салонъ, который служилъ бы средоточіемъ внутренней политики и въ которомъ она царила бы, окруженная толпою почтительныхъ поклонниковъ и плѣняя всѣхъ остроуміемъ, любезностью и граціей. Но Анна Григорьевна была простая и робкая дѣвушка, которая очень серьезно привязалась къ своему помпадуру и въ то же время никакъ не могла освоиться съ такимъ положеніемъ, въ которомъ было слишкомъ много блеска. При всей ея миловидности и граціи, ей было далеко до настоящей, заправской помпадурши. Природа не дала ей ни величественнаго роста, ни роскошнаго бюста, передъ которымъ бы въ умиленіи останавливался прохожій. Не блистала она и нарядами, и какъ-то наивно краснѣла, когда навозные Севинье и Рекамье заводили при ней разговоръ на тему о мужчинѣ и его свойствахъ. Самое возвышеніе ея произошло совершенно неожиданно, такъ что предводительши и совѣтницы, съ нетерпѣніемъ ждавшія, на комъ остановится Ѳеденькинъ выборъ, были изумлены и сконфужены такимъ страннымъ исходомъ дѣла.

Ѳеденька очень хорошо видѣлъ недостатки Анны Григорьевны и даже скорбѣлъ о нихъ. Но нѣкоторое время онъ все еще не терялъ надежды и почти насильно навязывалъ ей политическую роль.

— Vous devez être à la hauteur de votre position, ma chère! — безпрерывно твердилъ онъ ей и, чтобъ не слышать никакихъ отговорокъ, выписалъ для нея на свой счетъ нѣсколько дорогихъ нарядовъ отъ Минангуа изъ Москвы.

Но какъ ни была она малоопытна, однакожъ поняла, что два-три хорошихъ наряда (Ѳеденька не былъ въ состояніи дать больше) въ такомъ обществѣ, гдѣ проматывались тысячи и десятки тысячъ, съ единственною цѣлью быть какъ можно болѣе декольте—все равно, что капля въ морѣ. Въ угоду ему она сдѣлала, однакожъ, нѣсколько по-

пытокъ, но—Боже!—сколько изобрѣтательности нужно ей было имѣть, чтобъ тутъ пришить новый бантъ, тамъ перемѣнить тюникъ — и все для того, чтобъ отвести глаза публикѣ и убѣдить, что она является въ общество не въ «мундирѣ», какъ какая-нибудь асессорша, а всегда въ новомъ и свѣжемъ нарядѣ! И какъ безплодны были эти усилія! Какъ быстро разлетались они передъ проницательностью этихъ дамъ, съ перваго же взгляда безъ ошибки угадывавшихъ однажды видѣнное платье, подъ какими бы сложными комбинаціями оно ни являлось на сцену во второй разъ!

Ей было почти страшно, когда она въ первый разъ шла съ предводителемъ во второй парѣ въ польскомъ (въ первой парѣ шелъ *онъ* съ предводительшей). Она видѣла, что кругомъ дебелыя дамы шушукаются, что ей даютъ мѣсто съ какой-то нахальной торжественностью, что самъ предводитель, ведя ее за руку, чуть не напрямки высказываетъ, что онъ никогда не снизошелъ бы до дочери штабсъ-капитана Волшебнова, если-бъ не требованія внутренней политики. Но вотъ польскій кончился; не успѣла она занять свое мѣсто, какъ музыка заиграла вальсъ; къ ней подлетаетъ пріѣхавшій въ отпускъ гусаръ и съ утонченною любезностью, въ которой она, однакожъ, угадываетъ худо скрываемую развязность, приглашаетъ ее на туръ. Затѣмъ, точно въ сновидѣніи, одни за другими слѣдуютъ: кадриль, полька, опять кадриль, опять вальсъ и, наконецъ, мазурка. И все время, съ упорствомъ, достойнымъ лучшаго дѣла, слѣдитъ за нею Ѳеденька и какъ-то невыразимо страдаетъ, когда она съ добросовѣстностью недавней институтки выдѣлываетъ шассé-круазé.

— Ma chère! vous êtes par trop La Valière! — шепчетъ онъ, подходя къ ней въ одинъ изъ танцовальныхъ промежутковъ.—Я желалъ бы, чтобъ вы взяли себѣ за образецъ m-me de Maintenon!

И вотъ, опять-таки въ угоду ему, она рѣшается сказать нѣсколько словъ объ усиленіи власти и о томъ, что на помпадурахъ долженъ лежать лишь высшій надзоръ, а не подробности; но она дѣлаетъ это такъ нерѣшительно и съ такимъ множествомъ оговорокъ, что Ѳеденька чувствуетъ свою власть не только не усиленною этимъ наивнымъ вмѣшательствомъ, но даже значительно умаленною.

Къ счастію, всѣ эти промахи имѣли мѣсто въ самый разгаръ Ѳеденькина либерализма и потому сошли Аннѣ

Григорьевнѣ съ рукъ довольно легко. Испытавъ неудачу въ своихъ предположеніяхъ относительно блестящаго салона, въ которомъ онъ могъ бы съ полною искренностью развивать свои виды и предположенія, Ѳеденька далъ своей фантазіи болѣе буржуазное направленіе. Небольшая, уютная гостиная, тѣсный кружокъ друзей-либераловъ, скромная бесѣда о томъ, что Россія быстрыми шагами стремится на пути къ преуспѣянію и, наконецъ, безпредѣльно-любящее сердце женщины—ужели это недостаточно завидная обстановка даже для наиболѣе взыскательнаго помпадура? Ѳеденька рѣшилъ, что въ крайнемъ случаѣ это еще будетъ очень недурно, а пожалуй даже лучше, нежели тщетный блескъ, который требуетъ значительныхъ денежныхъ издержекъ и, сверхъ того, почти всегда сопровождается скандалами...

Когда она узнала объ этомъ рѣшеніи, то радости ея не было предѣловъ. Двѣ вещи она ненавидѣла: представительность и внутреннюю политику — и вотъ онъ, ея roi-soleil, навсегда освобождаетъ ее отъ нихъ. Отнынѣ она будетъ имѣть возможность безъ помѣхи удовлетворять своимъ нетребовательнымъ вкусамъ: своей набожности и любви къ домашнему очагу.

Она еще въ институтѣ была набожна (законоучитель, указывая на нее, говорилъ: «вотъ истинная дщерь церкви»), а теперь эта наклонность еще болѣе усилилась, ибо у нея есть предметъ для молитвъ. Она молится за *него;* она проситъ у Неба успѣха его благимъ начинаніямъ и прощенія невольнымъ его прегрѣшеніямъ. Скромно одѣтая въ темненькое платье, она становится у клироса въ женскомъ монастырѣ, и съ ея появленіемъ дѣлается словно свѣтлѣе и пріютнѣе среди этихъ темныхъ стѣнъ. Молодыя монахини юрче перебѣгаютъ отъ клироса къ клиросу и на-бѣгу съ добродушнымъ лукавствомъ привѣтствуютъ ее. Сама мать-игуменья, при видѣ ея, смягчаетъ постоянно строгое выраженіе своего лица. Всѣ ее любятъ здѣсь, всѣ готовы оказать ласку и привѣтъ, не справляясь, согласно или не согласно это будетъ съ видами внутренней политики. Когда она подаетъ любимой своей крылошанкѣ бархатную поминальную книжку, монашка не даетъ ей даже сказать, кого слѣдуетъ помянуть.

— Знаю, сударыня, знаю, за кого молитесь! — говоритъ она съ выраженіемъ добродушнаго себѣ-на-умѣ и почти бѣгомъ бѣжитъ сообщить на ухо отцу протоіерею имя раба Божія Ѳеодора.

Какъ хорошо, какъ спокойно ей здѣсь, подъ сѣнію этихъ мирныхъ стѣнъ! Какое прекрасное варенье подаютъ у матери-игуменьи, какой вкусный квасъ! Она готова по цѣлымъ днямъ болтать съ молодыми монашками; у нея есть между ними фаворитки, которыя даже вступаютъ съ нею въ разговоръ о *немъ*, и она нимало не чувствуетъ себя при этомъ сконфуженною. Всѣ хвалятъ *его* умъ, всѣ утверждаютъ, что никогда не бывало такого помпадура въ Навозномъ. Даже въ тѣ горькія минуты, когда она убѣждалась, что Ѳеденька измѣняетъ ей (а это случалось нерѣдко, потому что онъ далеко не былъ равнодушенъ къ сверкающимъ плечамъ и бюстамъ навозныхъ львицъ), она спѣшила сюда, чтобъ излить свое горе на груди одной изъ юныхъ затворницъ. Она была увѣрена, что услышитъ здѣсь не насмѣшку и злорадство, а слова ободренія и надежды. Въ этихъ случаяхъ она молилась еще усерднѣе и пламеннѣе, и все кругомъ, казалось, молилось вмѣстѣ съ нею о просвѣщеніи раба Божія Ѳеодора свѣтомъ истины. И когда, успокоенная и умиротворенная, она возвращалась домой и встрѣчала тамъ раскаявшагося Ѳеденьку, то ни единымъ движеніемъ не давала ему знать, что замѣчаетъ его продѣлки, а только говорила:

— Théodore! помните, что нигдѣ вы не найдете той преданности, той беззавѣтной любви, какую нашли здѣсь, въ этомъ сердцѣ! И потому, когда вамъ наскучатъ дурныя наслажденія, когда вы убѣдитесь, что за ними таятся коварство и обманъ — возвратитесь ко мнѣ и отдохните на этой груди!

Дома она чувствовала себя счастливою. Она любила стряпню и предпочитала блузу всякому другому платью. Днемъ, покуда «онъ» распоряжался по службѣ, она хлопотала по хозяйству и всю изобрѣтательность своего ума употребляла на то, чтобъ Ѳеденька нашелъ у нея любимое блюдо и сладкій кусокъ. Вечеромъ, управившись съ дѣлами, онъ являлся къ ней, окруженный блестящей плеядой навозныхъ свободныхъ мыслителей, и читалъ свои циркуляры.

Онъ былъ либераленъ, и она была либеральна. Оба выписали изъ Петербурга двухъ товарокъ ея по институту, ходившихъ съ остриженными волосами и отрицавшихъ авторитеты, и ѣздили съ ними въ открытыхъ экипажахъ по городу. Оба страстно желали, чтобъ торговля развивалась, а судоходство оправдывало надежды начальства. Оба вѣ-

рили, что кредитъ возродитъ земледѣліе и дастъ толчокъ нашей заснувшей промышленности. И въ ожиданіи всего этого оба сладко вздыхали...

Иногда на интимныхъ вечернихъ собраніяхъ присутствовалъ и папà Волшебновъ, и тогда вечеръ принималъ окончательно семейный характеръ. Анна Григорьевна ласкалась то къ отцу, то къ Ѳеденькѣ, то у одного, то у другого спрашивала, достаточно ли сладокъ чай. Читали статьи В. П. Безобразова и удивлялись, что такая плодотворная вещь, какъ кредитъ, не только не оплодотворяетъ Навознаго, но даже служитъ какъ бы къ запустѣнію. Упивались передовыми статьями «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», въ которыхъ доказывалось, что нѣтъ ничего легче, какъ отрицать и глумиться надъ прогрессомъ, и что, напротивъ того, нѣтъ задачи болѣе достойной истиннаго либерала, какъ съ довѣріемъ ожидать дальнѣйшихъ разъясненій.

И пока въ гостиной шли либеральные разговоры, папà Волшебновъ хлопоталъ около закуски и, залучивъ подъ шумокъ чиновника особыхъ порученій Веретьева, выкушивалъ съ нимъ по «предварительной».

Но вдругъ чортъ двинулъ Ѳеденьку сдѣлаться консерваторомъ, и онъ сразу оборвалъ съ своими прежними сподвижниками по либерализму. Не стало интимныхъ вечеровъ, замолкли либеральные разговоры, на сцену опять выступила внутренняя политика, сопровождаемая сибирскою язвою и греческимъ языкомъ. Ѳеденька отыскивалъ корни и нити и, не находя ихъ, былъ безпокоенъ и золъ.

Перемѣна эта до того озадачила Анну Григорьевну, что она по началу даже сдѣлала нѣсколько либеральныхъ промаховъ. Ей казалось страннымъ, что чиновники особыхъ порученій, Рудинъ и Волоховъ, еще такъ недавно проповѣдывавшіе въ ея квартирѣ теорію возрожденія Россіи посредствомъ соціализма, проводимаго мощною рукою администраціи, вдругъ стушевались, прекратили свои посѣщенія и уступили мѣсто какимъ-то двужильнымъ ретроградамъ, которые бóльшую часть времени проводили въ каморкѣ у папà Волшебнова и прежде, нежели настоящимъ образомъ приступить къ закускѣ, выпивали отъ пяти до десяти «предварительныхъ». Но вскорѣ Ѳеденька раскрылъ передъ нею загадочность своего поведенія. Онъ объяснилъ ей, что общество въ опасности, что покуда остается неразореннымъ очагъ революцій, до тѣхъ поръ Европа не мо-

жетъ наслаждаться спокойствіемъ, что въ самомъ Навозномъ существуетъ громадный наплывъ неблагонадежныхъ элементовъ, которые, благодаря интригѣ, всюду распространяютъ корни и нити, и что онъ, Ѳеденька, поставилъ себѣ священнѣйшею задачей объявить имъ войну, начавъ съ акцизнаго вѣдомства и кончая судебными земскими учрежденіями.

— Je ferai une guerre à outrance! — гремѣлъ онъ, потрясая кулаками:—une guerre sans merci... oui, c'est ça!

— Однако, какой ты строгій, Théodore!

— Нельзя, ma chère! Вспомни, сколько времени они насъ морочили! вспомни этихъ двухъ нигилистокъ, которыхъ мы возили по городу! Га! я никогда имъ не прощу этого!

— Но онѣ были миленькія, Théodore!

— Миленькія! Vous perdez la tête, ma chère! Des gueuses! des pétroleuses! des filles sans foi ni loi! Дѣвчонки, которыя не признавали авторитетовъ, которыя мнѣ... мнѣ... прямо въ глаза говорили, что я порю дичь!.. Нѣтъ, дальнѣйшая слабость была бы ужъ преступленіемъ! Миленькія! D'un seul coup elles vous demandent cent milles têtes à couper! Excusez du peu!

И онъ метался изъ стороны въ сторону, отыскивая хоть какой-нибудь фактъ, который далъ бы ему поводъ приступить къ разслѣдованію корней и нитей. Но фактовъ не было. Никогда еще съ такимъ рвеніемъ не снимали передъ нимъ шляпы акцизные чиновники; никогда окружной судъ не обнаруживалъ бо̀льшей строгости относительно лицъ, дозволявшихъ себѣ взломъ съ заранѣе обдуманнымъ намѣреніемъ воспользоваться чужимъ пятакомъ; никогда земская управа съ бо̀льшею страстностью не пріобрѣтала для мѣстной больницы новыхъ умывальниковъ и плевальницъ, взамѣнъ таковыхъ же, пришедшихъ въ ветхость. Все какъ бы сговорилось усердіемъ и прилежаніемъ радовать сердце опечаленнаго помпадура...

Это было самое тяжелое время для Анны Григорьевны. Ѳеденька ходилъ сумрачный и громко выражался, что онъ—жертва интриги. Дни проходили за днями; съ каждымъ новымъ днемъ онъ съ бо̀льшимъ и бо̀льшимъ усиліемъ искалъ фактовъ, и ничего не находилъ.

— A la fin ça devient monstrueux!—говорилъ онъ ей. — Вездѣ есть факты; даже Петька Толстолобовъ, соломенный помпадуръ, — и тотъ нашелъ фактъ! И вдругъ у одного меня—ничего! Кто-жъ этому повѣритъ!

Дошло до того, что онъ даже ее однажды упрекнулъ въ тайномъ содѣйствіи интригѣ. Ее, которая... Ахъ! это была такая несправедливость, что она могла только заплакать въ отвѣтъ на обвиненіе. Но и тутъ она не упрекнула его, а только усерднѣе стала молиться, прося у неба о ниспосланіи Ѳеденькѣ фактовъ.

И вотъ, въ ту самую минуту, когда Ѳеденька уже думалъ погибнуть, онъ прочелъ въ газетахъ слово «борьба». Онъ понялъ, что ему ничего не нужно понимать, что не нужно ни фактовъ, ни корней, ни нитей, что можно съ пустыми руками, съ одной доброй волей, начать дѣло нравственнаго возрожденія Навознаго, сопровождаемое борьбою à grand spectacle, съ истребленіями, разореніями, расточеніями и другими принадлежностями возрождающейся власти. Невольнымъ образомъ мысль его обратилась къ Аннѣ Григорьевнѣ, и тутъ только онъ сообразилъ, какъ хорошо, что она не сдѣлалась Ментеноншей, какъ онъ когда-то настаивалъ, а осталась простою и скромною Лавальершей.

— Elle sera ma Jeanne d'Arc! — воскликнулъ онъ и, какъ озаренный, побѣжалъ къ ней.

А она уже ждала его, какъ будто знала, что ему нужна ея помощь.

— Ah! ça! vous serez ma Jeanne d'Arc! — сказалъ онъ ей, простирая руки.—Я всегда видѣлъ, что роль, которую вы до сихъ поръ играли, не по васъ! Наконецъ, ваша роль нашлась. Но, конечно, вы знаете, кто была Jeanne d'Arc!

Она безъ запинки прочла ему то мѣсто изъ исторіи Смарагдова, гдѣ говорится о Іоаннѣ д'Аркъ и ея подвигѣ.

— Oui, c'est cela même! Въ случаѣ надобности, вы сядете на коня... знаете, какъ изображаютъ ее на картинахъ... и тогда... gare à vous, messieurs les communalistes de la zemsskaïa ouprava!

Ѳеденька сдѣлался веселѣе и забавнѣе—ужъ и это былъ выигрышъ для Анны Григорьевны. Покончивши съ Іоанной д'Аркъ, онъ необыкновенно дѣятельно принялся за осуществленіе другихъ частей церемоніала борьбы.

Прежде всего онъ бросился очищать персоналъ своей собственной администраціи. Покуда онъ былъ только консерваторомъ, въ дѣйствіяхъ его замѣчалась нѣкоторая осторожность. Онъ еще какъ бы стыдился. Онъ выказывалъ холодность въ обращеніи съ бывшими сподвижниками по

либерализму, избѣгалъ имѣть съ ними дѣло, но открыто преслѣдовать ихъ не рѣшался. Съ своей стороны, либералы хотя и замѣтили перемѣну въ образѣ мыслей Ѳеденьки, но не только не приняли ее къ руководству, а, напротивъ того, какъ бы въ пику ему, даже усугубили свое рвеніе къ интересамъ казны. И такимъ образомъ дѣло продолжало идти, какъ говорится, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Но теперь онъ разомъ потерялъ всякій стыдъ. Онъ былъ не просто консерваторъ, а представитель принципа нравственнаго возрожденія, и потому долѣе терпѣть не могъ. Начавъ съ своихъ приближенныхъ, онъ выказалъ при этомъ такую рѣшимость, что многіе тутъ же раскаялись—и только этимъ успѣли избѣгнуть заслуженной кары. Первымъ принесъ покаяніе правитель канцеляріи Лаврецкій и увлекъ за собой чиновниковъ особыхъ порученій, Райскаго и Веретьева. Лаврецкій въ это время уже являлъ собой только жалкое подобіе прежняго Лаврецкаго. Онъ до того ожирѣлъ, что лишь съ трудомъ понималъ, какія идеи — либеральныя и какія—консервативныя. Притомъ же, имѣя большое семейство и мотовку-жену, онъ не могъ пренебрегать и жалованьемъ, тѣмъ больше, что Дворянское Гнѣздо, приносившее при крѣпостномъ правѣ прекрасный доходъ, теперь ровно ничего не давало. Поэтому, когда Ѳеденька объявилъ ему, что отнынѣ имъ предстоитъ борьба, то онъ какъ-то апатически пожевалъ губами и, сказавъ: «что-жъ... по мнѣ, пожалуй», отправился въ канцелярію писать циркуляръ о благополучномъ вступленіи Ѳеденьки въ новый фазисъ административной проказливости. Что же касается до Райскаго и Веретьева, то первый изъ нихъ не рѣшался выйти въ отставку, потому что боялся огорчить бабушку, которая надѣялась видѣть его камеръ-юнкеромъ; второй же и прежде, собственно говоря, никогда не былъ либераломъ, а любилъ только пить водку съ либералами, какового времяпровожденія, въ обществѣ консерваторовъ, предстояло ему, пожалуй, еще больше. Изъ остальныхъ либераловъ Маркъ Волоховъ отнесся къ Ѳеденькинымъ проказамъ какъ-то загадочно, сказавъ, что ему кто ни попъ, тотъ батька, и что такихъ курицыныхъ дѣтей, какъ обыватели Навознаго, всяко возрождать можно. Затѣмъ остался Рудинъ, который, подобравъ небольшую шайку «вѣрныхъ», на скорую руку устроилъ комитетъ общественнаго спасенія и въ полномъ его составѣ отправился агитировать страну въ тотъ край, гдѣ помпадурствовалъ Петька Толстолобовъ.

Но такъ какъ административная машина не имѣла права останавливаться, то всѣхъ выбывшихъ изъ строя либераловъ Ѳеденька немедленно замѣнилъ шалопаями, опредѣливъ множество таковыхъ и сверхъ штата, на случай, если-бъ Лаврецкій и другіе раскаявшіеся, подвергшись угрызеніямъ, снова сдѣлались либералами. Тутъ прежде всего фигурировали: Ноздревъ, Тарасъ Скотининъ и Держиморда (разыскивали и Сквозника-Дмухановскаго, но оказалось, что онъ умеръ, состоя подъ судомъ), которые и сдѣлались главными исполнителями всѣхъ Ѳеденькиныхъ предначертаній. Шалопаи сновали по улицамъ, насупивши брови, фыркая во всѣ стороны и не произнося ни единаго звука, кромѣ: «го-го-го!» Видъ ихъ навелъ въ либеральномъ лагерѣ такую панику, что даже либералы постороннихъ вѣдомствъ («независимые», какъ они сами себя называли)—и тѣ трусили. Уныло бродили они по улицамъ, коптя вздохами твердь небесную, не рѣшаясь оставить ни службы, ни либерализма, путаясь между зависимостью и независимостью и ежемгновенно терзаясь надеждой, что ихъ простятъ. Но шалопаи не прощали. Съ зоркостью коршуна намѣчали они скрывающагося въ кустахъ либерала и тотчасъ же ощипывали его, испуская при этомъ злорадно-ироническое цырканье. Ряды либераловъ страннымъ образомъ порѣдѣли и затѣмъ въ теченіе какого-нибудь мѣсяца погибли всѣ молодыя насажденія либерализма. Земская управа прекратила покупку плевальницъ, ибо Ѳеденька по каждой покупкѣ входилъ въ пререканія; присяжные выносили какіе-то загадочные приговоры, въ родѣ: «нѣтъ, не виновенъ, но не заслуживаетъ снисхожденія», потому что Ѳеденька всякій оправдательный или обвинительный (все равно) приговоръ, если онъ былъ выраженъ ясно, считалъ внушеннымъ сочувствіемъ къ коммунизму и галдѣлъ объ этомъ по всему городу, зажигая восторги въ сердцахъ предводителей и предводительшъ. Вдали показывался грозный призракъ сибирской язвы.

Ѳеденька зналъ это, и по временамъ ему даже казалось, что шалопаи, въ дикомъ усердіи своемъ, извращаютъ его мысль. Какъ ни скромно держала себя Анна Григорьевна, но и ее устрашила перспектива сибирской язвы. Маркъ Волоховъ подмѣтилъ въ ней этотъ спасительный страхъ (увы! она противъ воли чувствовала какое-то неопредѣленное влеченіе къ этому змію-искусителю, уже успѣвшему погубить родственницу Райскаго) и всячески старался эксплоатировать его.

— Съѣдятъ они и васъ, и вашего помпадура, и водку всю у васъ вылакаютъ!—угрожалъ онъ ей.—Это, сударыня, сила! Берегитесь, да и помпадура-то поберегите! Мнѣ что! Я уложилъ чемоданъ — и былъ таковъ! А мнѣ васъ жалко! Васъ я жалѣючи говорю—вотъ что, красавица вы наша!

— Ахъ, нѣтъ! ужъ вы пожалуйста! Пожалуйста, хоть вы не оставляйте Ѳеденьку!—всполошилась она и однажды, преодолѣвъ природную робость, очень настоятельно стала доказывать Ѳеденькѣ, что нельзя жить безъ плевальницъ, безъ приговоровъ, съ одною только сибирскою язвою.

— Шалопаи погубятъ васъ, Théodore,—сказала она:— а вмѣстѣ съ вами погубятъ и меня! Pensez y, mon ange, прогоните ихъ; покуда еще есть время! Возвратите Рудина (il était si amusant, le cher homme!) и прикажите Лаврецкому, Райскому и Веретьеву быть, попрежнему, либералами.

Ѳеденька на минутку задумался: въ немъ шевельнулись проблески недавняго либерализма и чуть-чуть даже не одержали верхъ. Но фатумъ ужъ тяготѣлъ надъ нимъ.

— Que voulez-vous, ma chère!—отвѣтилъ онъ какъ-то безнадежно: — мнѣ мерзавцы необходимы! Превратныя толкованія взяли такую силу, что дольше медлить невозможно. Послѣ... быть-можетъ... когда я достигну извѣстныхъ результатовъ... тогда, конечно... Но въ настоящее время, кромѣ мерзавцевъ, я не вижу даже людей, которые бы съ пользою могли мнѣ содѣйствовать!

— Какъ хотите, мой другъ! Вы знаете: что бы съ вами ни случилось, я всегда раздѣлю вашу участь! Но все-таки... отчего бы не обратиться вамъ, напримѣръ, къ Волохову? Я не знаю... мнѣ кажется, что онъ преданный!

— Я знаю это, и не разъ объ этомъ думалъ, душа моя! Но Волоховъ еще такъ недавно сдѣлался консерваторомъ, что не успѣлъ заслужить полнаго довѣрія. Не моего, конечно—я искренно вѣрю его раскаянію!—но довѣрія общества... C'est un conservateur du lendemain, ma chère, tandis que les autres... les chénapans... sont des vrais conservateurs de la veille! Вотъ что для меня важно. Что же касается до сибирской язвы, то ты можешь быть на этотъ счетъ спокойна: ни меня, ни тебя она коснуться не посмѣетъ.

Однимъ словомъ, умопомраченіе, по обыкновенію, восторжествовало. То злое и проказливое умопомраченіе, которое находитъ для себя смягчающія вину обстоятельства лишь въ невмѣняемости помрачившихся.

Къ этому времени какъ разъ подоспѣло извѣстіе о публичномъ отреченіи отъ сатаны и всѣхъ дѣлъ его, происшедшемъ во Франціи въ Парэ-ле-Моніалѣ. Прочитавъ объ этомъ въ газетахъ, Ѳеденька сообразилъ, что необходимо устроить нѣчто подобное и въ Навозномъ. А дабы облечь свое намѣреніе надлежащею торжественностью, онъ отправился за совѣтомъ къ Пустыннику.

Въ Навозномъ, среди мірского круговорота, спасался Пустынникъ. Несмотря на свое званіе и преклонныя лѣта, это былъ мужчина веселый, краснощекій, кровь съ молокомъ. Любилъ онъ въ мѣру поѣсть и въ мѣру же выпить, а еще болѣе любилъ другихъ угостить. Любилъ пѣть духовные и свѣтскіе стихи (послѣдніе всегда старые, сочиненные до «Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою») и терпѣть не могъ уединенія. Почему онъ назывался Пустынникомъ—этого никто, и всего меньше онъ самъ, не могъ объяснить; извѣстно было только, что ни у кого не пекутся такіе вкусные рыбные пироги, ни у кого не подается такой ядреный квасъ, такія вкусныя наливки, соленья и варенья, какъ у него. Все лучшее въ губерніи по части провизіи стекалось у него и ставилось на столъ на радость и утѣшеніе посѣщавшимъ его гостямъ.

— Люблю радоваться!—говаривалъ онъ:—и самъ себѣ радуюсь, а еще больше радуюсь, когда другіе радуются! Нѣтъ мѣста для скорби въ сердцѣ моемъ. Вси пріидите! вси насладитеся!—вотъ какихъ, сударь, правиловъ я держусь! Что толку кукситься да исподлобья на всѣхъ смотрѣть! И самому тоска, да и на другихъ тоску нагонишь!

Ѳеденька засталъ Пустынника въ обществѣ цѣлаго хора домашнихъ пѣвчихъ, которые пѣли:

Не дивитеся, друзья,
Что не разъ
Между васъ
На пиру веселомъ я
Призадумывался!

— «Призадумывался!»—вздохнулъ Пустынникъ, грузно поднимаясь съ дивана и идя навстрѣчу Ѳеденькѣ.—До здѣ задумывались, а днесь возвеселимся! Мы было пирогъ рушить собирались, да я думаю: кого, молъ, это недостаетъ—анъ ты и вотъ онъ! Накрывать на столъ—живо! Да веселую! Что встали? «Ахъ вы, сѣни мои, сѣни!»

Но Ѳеденька охладилъ порывы Пустынника, сказавъ, что имѣетъ сообщить нѣчто важное.

— Вы, гражданскіе, вѣчно съ дѣлами! А посмотришь, дѣла-то ваши всѣ вмѣстѣ выѣденнаго яйца не стоятъ! Ну, сказывай, что еще накуролесилъ?

— Слышали ли вы, Пустынникъ, что во Франціи дѣлается?

Пустынникъ удивленно взглянулъ на Ѳеденьку.

— Не любопытенъ я; а впрочемъ, почтмейстеръ заѣзжаетъ—сказываетъ.

— О томъ, что почти вся палата, въ полномъ составѣ, ѣздила въ городъ Парэ-ле-Моніаль и отъ сатаны отреклась—слышали?

— Что-жъ, пусть лучше Богу молятся, не-чѣмъ шалберничать!

— Не въ томъ дѣло, Пустынникъ, а каковъ фактъ!

— Хоть иновѣрцы, а тоже по-своему Бога почитаютъ. Ничего это. Да скажи ты мнѣ на милость, къ чему ты эту канитель завелъ? Мнѣ что-то даже скучно стало.

— А къ тому, что я эту самую церемонію хочу здѣсь устроить!

Это было до того удивительно, что Пустынникъ ничего не нашелся отвѣтить, а только хлопнулъ Ѳеденьку по ляжкѣ и сказалъ:

— Закусимъ!

— Нѣтъ, Пустынникъ, я безъ шутокъ хочу это здѣсь устроить.

— Да ты опомнись, сударь! Вѣдь мы здѣсь, въ Навозномъ, даже вѣдать не вѣдаемъ, кто таковъ онъ есть, сатана-то!

— Ну, нѣтъ-съ! вы не знаете! вы здѣсь сидите, а о томъ и не знаете, какія вездѣ пошли превратныя толкованія!

— Чего не знаю, о томъ и говорить не могу!

— А я такъ знаю. Свобода-съ! несмѣняемость-съ! независимость-съ! Вотъ оно куда пошло!

— Слыхалъ, сударь.

— Надо все это истребить!

— Сдѣлай милость, закусимъ!

Ѳеденька, наконецъ, обидѣлся.

— Я думалъ, что вы содѣйствіе окажете, а вы съ закуской!

— Да какое же я тебѣ содѣйствіе оказать могу? Зависимые вы или независимые, смѣняемые или несмѣняемые—это ваше, гражданское дѣло! Вотъ свобода—это точно что *ядъ*! Это и я скажу!

— Я вотъ что придумалъ, слушайте. На этихъ дняхъ, какъ только будетъ хорошая погода, я, во главѣ благонамѣренныхъ, отправляюсь въ подгородную слободу и произношу обѣтъ...

— Убѣдительнѣйше тебя прошу: закусимъ!

— Отстаньте вы съ вашей закуской! Говорите: можете ли вы разсуждать или нѣтъ?

— Ну, давай разсуждать натощакъ!

— Итакъ, я иду въ подгородную слободу и произношу обѣтъ...

— По примѣру, значитъ?

— Ну, да, по примѣру. Оттого мы, благонамѣренные, и слабы, что всѣ врозь идемъ. Нѣтъ чтобы хорошему примѣру подражать, а все какъ бы на смѣхъ другъ друга поднять норовимъ!

— Не смѣяться-то нельзя!

— Что же тутъ, однако, смѣшного?

— Ну, какъ же не смѣшно—посуди ты самъ. Идешь ты нѣ вѣсть куда, съ сатаной полемику вести хочешь! А я такъ думаю, что изъ всего этого пикникъ у васъ, у благонамѣренныхъ, выйдетъ! Дѣлать тебѣ нечего—вотъ что!

Ѳеденька даже вспыхнулъ весь.

— Это о комъ-нибудь другомъ можно сказать, что дѣлать нечего, только не обо мнѣ!—произнесъ онъ иронически.—Я не закусываю, какъ другіе, а съ утра до вечера точно въ котлѣ киплю!

— Если ты это на мой счетъ сказалъ, что нѣкто закусываетъ—такъ что-жъ! Нечего мнѣ дѣлать—это я и самъ скажу! Сижу, пѣсни пою, закушу малость—конечно, не Богъ знаетъ какое государственное это дѣло, однако, и вреда отъ него никому нѣтъ. А ты, извини ты меня, завистливъ очень. Своего-то у тебя дѣла нѣтъ, такъ ты другимъ помѣшать норовишь. Анъ вотъ и вредъ. Изволь, спрошу я тебя: управа ли, судъ ли—чѣмъ они тебѣ поперекъ горла встали? пошто ты на всякъ часъ ихъ клянешь? Дѣло свое они дѣлаютъ—достовѣрно знаю, что дѣлаютъ, тебя не замаютъ—чего еще нужно? Да и люди отмѣнные! Заговорятъ — заслушаешься; ровно на гусляхъ играютъ! Скажи ты мнѣ, Христа ради, какую такую строптивость ты въ нихъ замѣтилъ?

— Ну, Пустынникъ, съ вами говорить—пожалуй, и до ссоры не далеко. Скажите-ка лучше прямо: съ нами вы или нѣтъ?

— Это на пикникъ-то?—нѣтъ, ужъ меня уволь: у меня плоть немощна.

— А еще Пустынникомъ называетесь!

— А почему ты знаешь, какъ я въ Пустынники-то попалъ! Можетъ, мнѣ петля была! Можетъ, по естеству-то, мнѣ вотъ такъ же, какъ и тебѣ, по пикникамъ бы ѣздить хорошо! А я сижу да сохну.

— Ну-съ, такъ прощайте-съ.

— Да закуси ты, сдѣлай милость! Авось, у тебя сердце-то отойдетъ!

— Нѣтъ ужъ, увольте.

— Ну, не хочешь, какъ хочешь. А то закусилъ бы инъ! Это все у тебя отъ думы. Брось! пущай другіе думаютъ! Эку сухоту себѣ нашелъ: завидно, что другіе дѣлами занимаются—зачѣмъ не къ нему всѣ дѣла приписаны! Ну, да ужъ прощай, прощай! Вижу, что сердишься! Увидишься съ сатаной—плюнь ему отъ меня въ глаза! Только врядъ ли увидишь ты его. Потому, живемъ мы здѣсь въ благочестіи и во всякомъ благомъ поспѣшеніи, властямъ предержащимъ повинуемся, старшихъ почитаемъ—неповадно ему у насъ!

Ѳеденька вышелъ отъ Пустынника опечаленный, почти раздраженный. Это была первая его неудача на поприщѣ борьбы. Онъ думалъ окружить свое вступленіе въ борьбу невозможною помпой—и вдругъ нѣтъ главнаго украшенія помпы, нѣтъ Пустынника. Пустынникъ, съ своей стороны, вышелъ на балконъ и долго слѣдилъ глазами за удаляющимся экипажемъ Ѳеденьки. Сѣдые волосы его развѣвались по вѣтру, и лицо казалось какъ бы закутаннымъ въ облако. Онъ тоже былъ раздраженъ и чувствовалъ, что нелѣпое объясненіе съ Ѳеденькой разстроило весь его день.

— И чортъ тебя баламутитъ!—бормоталъ онъ, тряся головой.—Именно онъ, духъ праздности, унынія и любоначалія, вселился въ тебя!

Несмотря на неудачу съ Пустынникомъ, Ѳеденька не оставилъ своей затѣи. На другой же день (благо время случилось красное), онъ, въ сопровожденіи правителя канцеляріи, чиновниковъ особыхъ порученій и частныхъ приставовъ, съ ранняго утра двинулся въ подгородную слободу. Шествіе открывалъ Ноздревъ, а замыкалъ Держиморда; Тарасъ же Скотининъ шелъ рядомъ съ Ѳеденькой и излагалъ программу будущаго. Лаврецкій съ прочими раскаявшимися разсѣялись по сторонамъ и притворились,

что рвутъ цвѣты. Придя въ подгородную слободу, Ѳеденька выбралъ пустопорожнее пространство, гдѣ было не такъ загажено, какъ въ прочихъ мѣстахъ, велѣлъ удалить куръ и поросятъ и подвергнулъ себя двухчасовому воздержанію. Затѣмъ всталъ и предъ лицомъ неба проклялъ свои прежнія заблужденія, а дабы запечатлѣть эту клятву самымъ дѣломъ, тутъ же подписалъ заранѣе изготовленный Лаврецкимъ циркуляръ. Въ циркулярѣ этомъ описывался церемоніалъ проклятія и выражалась надежда, что всѣ подчиненные поспѣшатъ послѣдовать этому примѣру. Кромѣ того, излагалось, что наука есть оружіе обоюдоострое, съ которымъ необходимо обращаться, по возможности, осторожно. Что посему, ежели господа частные пристава не надѣются отъ распространенія наукъ достигнуть благонадежныхъ результатовъ, то лучше совсѣмъ оныя истребить, нежели допустить превратныя толкованія, за которыя многія тысячи людей могутъ въ сей жизни получить законное возмездіе, а въ будущей—лишиться спасенія...

Исполнивъ все это, Ѳеденька громко возопилъ: «сатана! покажись!» Но, какъ это и предвидѣлъ Пустынникъ, сатана явиться не посмѣлъ. Обрядъ былъ конченъ; оставалось только возвратиться въ Навозный; но тутъ сюрпризомъ пріѣхала Іоанна д'Аркъ во главѣ цѣлой кавалькады дамъ. Привезли корзины съ провизіей и виномъ, послали въ городъ за музыкой, и покаянный день кончился премиленькимъ пикникомъ, подъ конецъ котораго домы поднесли Ѳеденькѣ бѣлое атласное знамя съ вышитыми на немъ словами: БОРЬБА.

Такимъ образомъ исполнилось и другое предсказаніе Пустынника относительно пикника...

Я знаю: прочитавъ мой разсказъ, читатель упрекнетъ меня въ преувеличеніи. Помилуйте!—скажетъ онъ:—развѣ мы не достаточно знаемъ Ѳедора Павлыча Кротикова? Никто, конечно, не станетъ отрицать, что это—малый забавный, а отчасти даже и волшебный, но вѣдь и волшебность имѣетъ свои предѣлы, которые даже самый безпардонный человѣкъ не въ силахъ переступить. Ну, съ какой стати Ѳеденька будетъ отрекаться отъ сатаны? Не пожелаетъ ли онъ скорѣе познакомиться съ нимъ? Съ какой стати придетъ ему въ голову возводить дѣвицу Волшебнову въ санъ Іоанны д'Аркъ? Зачѣмъ ему Іоанна д'Аркъ? Не поспѣшитъ ли онъ, наоборотъ, и настоящую-то Іоанну д'Аркъ, если-бъ

таковая попала ему подъ руку, поскорѣе произвести въ санъ дѣвицы Волшебновой?

Какъ ни вѣски могутъ показаться эти возраженія, но я позволяю себѣ думать, что они не больше, какъ плодъ недоразумѣнія. Очевидно, что читатель ставитъ на первый планъ форму разсказа, а не сущность его, что онъ называетъ преувеличеніемъ то, что, въ сущности, есть только иносказаніе, что, наконецъ, гоняясь за дѣйствительностью обыденною, осязаемою, онъ теряетъ изъ вида другую, столь же реальную дѣйствительность, которая хотя и рѣдко выбивается наружу, но имѣетъ не меньше правъ на признаніе, какъ и самая грубая, бьющая въ глаза конкретность.

Литературному изслѣдованію подлежатъ не тѣ только поступки, которые человѣкъ безпрепятственно совершаетъ, но и тѣ, которые онъ совершилъ бы, если-бъ умѣлъ или смѣлъ. И не тѣ однѣ рѣчи, которыя человѣкъ говоритъ, но и тѣ, которыя онъ не выговариваетъ, но думаетъ. Развяжите человѣку руки, дайте ему свободу высказать *всю* свою мысль—и передъ вами уже встанетъ не совсѣмъ тотъ человѣкъ, котораго вы знали въ обыденной жизни, а нѣсколько иной, въ которомъ отсутствіе стѣсненій, налагаемыхъ лицемѣріемъ и другими жизненными условностями, съ необычайною яркостью вызоветъ наружу свойства, оставшіяся дотолѣ незамѣченными, и, напротивъ, отброситъ на задній планъ то, что на поверхностный взглядъ составляло главное опредѣленіе человѣка. Но это будетъ не преувеличеніе и не искаженіе дѣйствительности, а только разоблаченіе той *другой* дѣйствительности, которая любитъ прятаться за обыденнымъ фактомъ и доступна лишь очень и очень пристальному наблюденію. Безъ этого разоблаченія невозможно воспроизведеніе *всего* человѣка, невозможенъ правдивый судъ надъ нимъ. Необходимо коснуться всѣхъ готовностей, которыя кроются въ немъ, и испытать, насколько живуче въ немъ стремленіе совершать такіе поступки, отъ которыхъ онъ въ обыденной жизни поневолѣ отказывается. Вы скажете: какое намъ дѣло до того, волею или неволею воздерживается извѣстный субъектъ отъ извѣстныхъ дѣйствій? для насъ достаточно и того, что онъ не совершаетъ ихъ... Но берегитесь! *сегодня* онъ дѣйствительно воздерживается, но завтра обстоятельства поблагопріятствуютъ ему, и онъ *непремѣнно* совершитъ все, что когда-нибудь лелѣяла тайная его мысль. И совершитъ тѣмъ

съ бо̀льшею безпощадностью, чѣмъ бо̀льшій гнетъ сдавливалъ это думанное и лелѣянное.

Я согласенъ, что въ дѣйствительности Ѳеденька многаго не дѣлалъ и не говорилъ изъ того, что̀ я заставилъ его дѣлать и говорить; но я утверждаю, что онъ *несомнѣнно все это думалъ*, и, слѣдовательно, сдѣлалъ бы или сказалъ бы, если-бъ умѣлъ или смѣлъ. Этого для меня вполнѣ достаточно, чтобъ признать за моимъ разсказомъ полную реальность, совершенно чуждую всякой фантастичности.

Многое потому только кажется намъ преувеличеніемъ, что мы безъ должнаго вниманія относимся къ тому, что̀ дѣлается вокругъ насъ. Дѣйствительность слишкомъ примелькалась намъ, да и мы сами какъ-то отвыкли отдавать себѣ отчетъ даже въ тѣхъ наблюденіяхъ, которыя мы несомнѣнно дѣлаемъ. Поэтому, когда литература называетъ вещи не совсѣмъ тѣми именами, съ которыми мы привыкли встрѣчаться въ обыденной жизни, намъ думается уже, что это—небывальщина.

Но на самомъ дѣлѣ небывальщина гораздо чаще встрѣчается въ дѣйствительности, нежели въ литературѣ. Литературѣ слишкомъ присуще чувство мѣры и приличія, чтобъ она могла взять на себя задачу съ точностью воспроизвести карикатуру дѣйствительности. Напрасно усиливалась бы она опошлять и искажать дѣйствительность—въ послѣдней всегда останется нѣчто, передъ чѣмъ отступитъ самая смѣлая способность къ искаженіямъ. «Исказители, карикатуристы!»—возглашаютъ близорукіе люди. Но пускай же они укажутъ предѣлы глупаго и пошлаго, до которыхъ не доходила бы дѣйствительность; пусть хоть разъ въ жизни сумѣютъ понять и оцѣнить то, что на каждомъ шагу слышитъ ихъ ухо и видитъ ихъ взоръ!

Если-бъ я разсказалъ жизнь Ѳеденьки въ формѣ обнаженной лѣтописи выдающихся фактовъ его дѣятельности, я думаю, что читатель былъ бы болѣе въ правѣ упрекнуть меня въ искаженіи, хотя бы въ моемъ разсказѣ не было на горчичное зерно вымысла. Нѣтъ ничего несогласнѣе съ истиной, какъ истина въ томъ смыслѣ, въ какомъ ее понимаетъ большинство людей. Ежели судить по разсказамъ лѣтописцевъ, передающихъ только голые факты, то Ѳеденьку пришлось бы, пожалуй, назвать злодѣемъ. Такова истина большинства. Но это уже по тому одному неправда, что если-бъ Ѳеденька былъ заправскій злодѣй, то обывателю Навознаго невозможно было бы существовать. Сверхъ

того: злодѣй имѣетъ систему, а у Ѳеденьки въ распоряженіи находится лишь яичница: злодѣй не выступитъ на арену, не подготовившись заранѣе, не прозондировавъ тѣ мѣста, гдѣ удобнѣе класть отразу; Ѳеденька же не только ни къ чему не подготовленъ, но имѣетъ всѣ свойства молодого жеребчика, вырвавшагося на волю изъ стойла. Онъ гогочетъ и роетъ землю, самъ не зная зачѣмъ. Поэтому, присматриваясь къ нему, я убѣждаюсь, что главное его качество есть простодушіе, усугубленное неразвитостью, и что вслѣдствіе этого голова его полна бредней, которыя, смотря по обстоятельствамъ, принимаютъ благопріятный или неблагопріятный для обывателя характеръ. Многія изъ этихъ бредней до того фантастичны, что онъ самъ старается скрыть ихъ, но я ловлю его на полусловѣ, я пользуюсь всякимъ темнымъ намекомъ, всякимъ минутнымъ изліяніемъ, и съ помощью ряда усилій вступаю твердой ногой въ храмину той другой, не обыденной, а скрытой дѣйствительности, которая одна и представляетъ вѣрное мѣрило для всесторонней оцѣнки человѣка. Не знаю, въ какой степени усилія мои увѣнчаются успѣхомъ, но убѣжденъ, что пріемъ мой, во всякомъ случаѣ, долженъ быть признанъ правильнымъ.

Говорятъ о карикатурѣ и преувеличеніяхъ,—но нужно только осмотрѣться кругомъ, чтобъ обвиненіе это упало само собою.

Чего стòитъ борьба съ привидѣніями, на которую такъ легко рѣшается даже простодушнѣйшій изъ помпадуровъ!

Чего стòитъ мысль, что обыватель есть не чтò иное, какъ административный объектъ, всѣ притязанія котораго могутъ быть разомъ разсѣчены тремя словами: не твое дѣло!

Это ли не карикатура?

Но кто же пишетъ эту карикатуру? не сама ли дѣйствительность? не она ли на каждомъ шагу обличаетъ самоё себя въ преувеличеніяхъ?

«Изъ Егорьевска пишутъ»... «изъ Белебея пишутъ»... «изъ Пронска пишутъ»... Умѣйте же, наконецъ, читать, господа!

Возьмите для себя исходнымъ пунктомъ хоть извѣстіе: «изъ Пронска пишутъ: вчера нашъ помпадуръ, будучи на охотѣ, устроенной въ честь его однимъ изъ подгородныхъ землевладѣльцевъ, переломилъ пастуху ребро»... и идите дальше. Ежели сегодня оказывается возможнымъ и безна-

казаннымъ такое-то, очевидно, волшебное дѣйствіе, то спросите себя: какіе размѣры приметъ это волшебство завтра? Не останавливайтесь на настоящей минутѣ, но прозрѣвайте въ будущее. Тогда вы получите цѣлую картину волшебствъ, которыхъ, *быть-можетъ*, еще нѣтъ въ дѣйствительности, но которыя несомнѣнно придутъ...

Какъ бы то ни было, но повторяю: карикатуры нѣтъ... кромѣ той, которую представляетъ сама дѣйствительность.

Если смотрѣть на дѣло съ разумной точки зрѣнія, то можно было ожидать, что, совершивъ все вышеизложенное, Ѳеденька кончитъ тѣмъ, что станетъ втупикъ. Однакожъ, къ удивленію, ничего подобнаго не случилось.

Водрузивъ знамя борьбы, онъ почувствовалъ, что у него словно гора съ плечъ свалилась. Никогда ему не было такъ легко и привольно. Онъ весь устремился куда-то въ даль, а на прошедшее взглянулъ какъ на дурной бредъ, который пересталъ быть для него обязательнымъ. Отнынѣ нѣтъ ни устности, ни гласности, ни постройки умывальниковъ при посредствѣ принципа самоуправленія—все это будетъ замѣнено однимъ словомъ: «фюить». Даже несомнѣнно-консервативные «корни и нити», которыми онъ еще такъ недавно щеголялъ, показались ему мелкими и презрѣнными. Все это пустая и лишняя процедура. Ему нужно совсѣмъ не то; ему нуженъ не фактъ, а «духъ».

— Я этотъ «духъ» уничтожу!—вопіялъ онъ на всѣхъ перекресткахъ и распутіяхъ.—Я этотъ «духъ» изъ нихъ выбью!

И вслѣдъ затѣмъ давалъ Ноздреву порученіе поднюхать, чѣмъ пахнетъ.

Но ни онъ, ни Тарасъ Скотининъ не могли опредѣлить, въ чемъ состоитъ тотъ «духъ», который они поставили себѣ задачею сокрушить. На вопросы по этому предмету Ѳеденька мялся и отвѣчалъ: «mais comment ne comprenez-vous pas cela?» Скотининъ же даже не отвѣчалъ ничего, а только усиленно вращалъ зрачками. Поэтому оба, въ концѣ концовъ, разсудили за благо употреблять это слово, какъ нѣчто не требующее толкованій, но вполнѣ ясное и твердое.

Скотининъ до того очаровалъ Ѳеденьку, что совершенно оттѣснилъ Лаврецкаго. Онъ всякое утро представлялъ Кротикову докладъ, подъ которымъ, за неумѣніемъ его грамотѣ, подписывался Кутейкинъ. Въ докладѣ никакихъ цу-

гихъ фразъ не было, кромѣ: «а дабы сей пагубный духъ истребить» и: «а дабы обуздать злокозненный оный духъ». Въ заключеніе предлагалась *мѣра:* фюить! Ѳеденька выслушивалъ эту длинную іереміаду, безъ умолку болтая всякій вздоръ и лишь изрѣдка, ради приличія, дѣлая попытку что-нибудь возразить. Но обыкновенно заключенія доклада принимались всецѣло и тутъ же передавались Ноздреву и Держиморднѣ, которые со всѣхъ ногъ бросались исполнять ихъ.

Вообще Ѳеденька сдѣлался необыкновенно бодръ и дѣятеленъ. Вставалъ онъ чрезвычайно рано и тотчасъ же принималъ Скотинина, Ноздрева и Держиморду, которые, въ ожиданіи его призыва, сидѣли въ передней, бесѣдуя съ камердинеромъ Яшкою. Отдавши нужныя приказанія по части истребленія «духа», онъ призывалъ Веретьева (единственнаго изъ прежнихъ сподвижниковъ, къ которому онъ сохранилъ довѣріе) и заставлялъ его представлять, какъ жужжитъ муха, комаръ, пчела и т. п. Если и затѣмъ оставалось свободное время, то приглашался Митрофанъ Простаковъ, на которомъ Ѳеденька изучалъ, каковъ долженъ быть натуральный, неиспорченный человѣкъ. Такимъ образомъ незамѣтно летѣли часы за часами. Передъ обѣдомъ онъ отправлялся гулять по улицамъ и тутъ дѣлалъ такъ-называемыя личныя распоряженія, то-есть таращилъ глаза, гоготалъ и набрасывался на проходящихъ.

— Что ты? да какъ ты? да зачѣмъ ты?—задыхался онъ.— Я изъ тебя этотъ «духъ» выбью! Я этотъ «духъ» уничтожу! Ого-го!

Затѣмъ, сдѣлавъ всѣ «распоряженія» и завершивъ ихъ словомъ: «фюить!»—Ѳеденька возвращался домой и садился за обѣдъ.

— J'espère que j'ai bien gagné mon dîner,—говорилъ онъ Веретьеву.—Надѣюсь, что я могу потребовать для себя хоть одной минуты спокойствія!

И онъ, дѣйствительно, имѣлъ основаніе спокойно ѣсть свой обѣдъ, потому что Скотининъ въ это время уже обдумывалъ свой завтрашній докладъ, а Ноздревъ и Держиморда неутомимо блюли, чтобъ сегодняшнія скотининскія предначертанія были выполнены неукоснительно. Въ продолженіе цѣлаго дня они врывались въ частныя жилища, дѣлали выемки, хватали, ловили, расточали и къ ночи являлись къ Скотинину съ цѣлыми ворохами захваченныхъ книгъ и бумагъ, которыя Кутейкинъ принималъ для дальнѣйшаго разсмотрѣнія. Ноздревъ, по свойственной ему пыл-

кости нрава, не разъ порывался взять взятку, но Держиморда постоянно его удерживалъ.

— Рано!—увѣщавалъ онъ:—надобно сначала хорошенько себя зарекомендовать! Потомъ наверстаемъ!

А Ѳеденька, видя, что у него день и ночь кипитъ дѣятельность, утѣшался этимъ и говорилъ:

— On me dit que ce sont des chénapans—e t ce que j'en doute! Mais ils font à merveille mes affaires, et c'est tout ce qu'il me faut!

Да и Анна Григорьевна, по мѣрѣ силъ, усердствовала. Съ тѣхъ поръ какъ она побывала на покаянномъ пикникѣ, съ ней совершилось словно перерожденіе. Она не только вошла въ роль Іоанны д'Аркъ, но, такъ сказать, отождествилась съ этою личностью. Глаза у нея разгорѣлись, ноздри расширились, дыханіе сдѣлалось знойное, волосы были постоянно распущены. Въ этомъ видѣ, сидя на ворономъ конѣ, она передъ началомъ каждой церковной службы галопировала по улицамъ, призывая всѣхъ къ покаянію и къ войнѣ противъ матеріализма. Нельзя, впрочемъ, умолчать, что успѣху ея проповѣди не мало содѣйствовали частные пристава, которые употребляли всѣ мѣры кротости, дабы обыватели Навознаго не погрязали въ матеріализмѣ, но наполняли храмы Божіи. Учтиво брали они прохожаго за шиворотъ и говорили ему:

— Ну, сдѣлай ты хоть примѣръ! ну, не молись, а только примѣръ сдѣлай!

И прохожіе, видя, что ихъ «просятъ честью», съ удовольствіемъ бросали дѣла и устремлялись въ храмы.

Ѳеденька не только выполнилъ программу, изложенную имъ въ покаянномъ циркулярѣ, но даже пошелъ дальше. «Лучше совсѣмъ истребить науки, нежели допустить превратныя толкованія»,—писалъ онъ въ циркулярѣ; а Скотининъ, какъ дважды-два—четыре, доказалъ ему, что всякое усиліе, дѣлаемое человѣкомъ съ цѣлью оградить себя отъ какихъ-либо случайностей, есть бунтъ противъ неисповѣдимыхъ путей. А посему: не слѣдуетъ ни пожаровъ тушить, ни принимать какія-либо мѣры противъ голода или повальныхъ болѣзней. Все это посылается не безъ цѣли, но или въ видахъ наказанія, или въ видахъ испытанія. Слѣдовательно, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ не требуется ничего, кромѣ покорности и твердости въ перенесеніи бѣдствій.

— Я, вашество, самъ на себѣ испыталъ такой случай,—

говорилъ Тарасъ.—Были у меня въ имѣніи скотскіе падежи почти ежегодно. Только я, знаете, сначала тоже мудровалъ: и ветеринаровъ приглашалъ, и знахарямъ чортову пропасть денегъ просадилъ, и попа въ Егорьевъ день по полю каталъ—все, знаете, чтобъ польза была. Хоть ты что̀ хочешь! Наконецъ, я рѣшился-съ. Бросилъ все, пересѣкъ скотницъ и положилъ праздновать Ильинскую пятницу. И что-жъ, сударь! Съ тѣхъ поръ—какъ отрѣзало. Вездѣ кругомъ скотина, какъ мухи, мретъ, а меня Богъ милуетъ!

Доктрина эта пришлась Ѳеденькѣ очень по нраву. Во-первыхъ, въ ней было что-то возвышенное, а во-вторыхъ, она освобождала его отъ многихъ обязанностей, которыя мѣшали исключительно предаться дѣлу истребленія ненавистнаго ему «духа». Не дерзость ли предотвращать болѣзни, голодъ, пожары, когда все это посылается свыше, по заслугамъ людей? Чаша нечестій до того переполнилась, что самое лучшее средство спасти это гнѣздилище неключимостей (такъ называлъ Ѳеденька Навозный)—это погубить его. Пусть голодъ, холера и огонь дѣлаютъ свое губительное дѣло; пусть истребляютъ виновныхъ, невинныхъ же подвергаютъ испытанію. Ѳеденька безъ сожалѣнія оставитъ этотъ новый Содомъ и готовъ промѣнять его даже на пустыню. При словѣ «пустыня» воображеніе Ѳеденьки, и безъ того уже экзальтированное, пріобрѣтало такой полетъ, что онъ, не въ силахъ будучи управлять имъ, начиналъ очень серьезно входить въ роль погубителя Навознаго. Ангелъ смерти, казалось ему, паритъ надъ нечестивымъ городомъ; пожаръ истребилъ всѣ дома, по улицамъ валяются распухшіе трупы людей и распространяютъ смрадъ. А онъ, Ѳеденька, одѣтый по-дорожному (поодаль виднѣется заложенный дормезъ, изъ окна котораго выглядываетъ Іоанна д'Аркъ), стоитъ на базарной площади и провозглашаетъ грандіозный походъ въ пустыню. Послушные его голосу, со всѣхъ сторонъ стекаются уцѣлѣвшіе обыватели, посыпаютъ свои головы пепломъ и, разодравъ на себѣ одежды, двигаются, подъ его покровительствомъ, въ степь Сахару (Ѳеденька такъ давно учился географіи, что полагалъ Сахару на границѣ Тамбовской и Саратовской губерній). Пришедши туда, онъ предложитъ обывателямъ приносить покаяніе, валяться на голой землѣ и питаться дикимъ медомъ и акридами, самъ же разобьетъ шатеръ, выпишетъ Дорота въ качествѣ метрдотеля и, въ обществѣ Іоанны д'Аркъ, предводительшъ и предводителей, будетъ вкушать изысканныя

яства. По вечерамъ избранники будутъ играть въ карты, танцовать и говорить дамамъ amabilités...

— Мнѣ и въ пустынѣ будетъ хорошо-съ!—говорилъ Ѳеденька.—Меня хоть на край свѣта ушлите—я и тамъ отлично устроюсь-съ!

— Еще какъ, вашество, устроимся-то!—прибавлялъ, съ своей стороны, Скотининъ.—Возьмемъ съ собою Еремѣевну да Вральмана, заставимъ сказки сказывать, или вотъ Митрофанушкѣ велимъ голубей гонять—и театровъ не надо.

— Le brave homme!—въ умиленіи восклицалъ Ѳеденька и, трепля Скотинина по плечу, присовокуплялъ:—Возьмемъ, старикъ, всѣхъ возьмемъ! Уложимъ чемоданы, захватимъ Еремѣевну и Митрофанушку и поѣдемъ на обывательскихъ, куда глаза глядятъ!

Итакъ, новый фазисъ административной проказливости, въ который вступилъ Ѳеденька, не только не принесъ ему никакихъ затрудненій, но даже произвелъ въ немъ довольно пріятную экзальтацію. И прежняя жизнь его была бредомъ, и теперь она продолжала быть бредомъ, съ тою лишь разницею, что прежній бредъ имѣлъ сначала либеральный, потомъ консервативный характеръ, а теперь онъ принялъ форму бреда борьбы. Но эта послѣдняя форма была даже пріятнѣе двухъ первыхъ, потому что не признавала никакихъ границъ и, слѣдовательно, легко наполнялась всякаго рода содержаніемъ.

Но не столько было замѣчательно то, что Ѳеденька не почувствовалъ въ своемъ положеніи никакой противъ прежняго перемѣны, сколько то, что самый объектъ его административныхъ воздѣйствій нимало не измѣнилъ своей физіономіи. Казалось, что Навозный даже не замѣтилъ, что Кротиковъ, вмѣсто Рудина и Волохова, приблизилъ къ себѣ Скотинина и Ноздрева, что, переставъ писать циркуляры о необходимости учрежденія заводовъ, онъ ударился въ административный мистицизмъ. Обыватели не знали ничего ни о недавнемъ либерализмѣ Ѳеденьки, ни о настоящемъ его умоизступленіи. Они, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжали ѣсть пироги (а въ случаѣ неимѣнія таковыхъ, довольствовались и хлѣбомъ изъ лебеды), платить дани, жениться и посягать. Это было до такой степени необыкновенно, что даже Волоховъ удивился,—онъ, который нѣкогда выразился, что такихъ курицыныхъ дѣтей, какъ обыватели Навознаго, всяко возрождать можно. Ясно было, что большинство находится въ томъ завидномъ положеніи, когда

оно ни въ какомъ случаѣ ни отъ какихъ перемѣнъ ни выиграть, ни проиграть ничего не можетъ.

Собственно говоря, отъ легкомыслія Ѳеденьки пострадали только навозные либералы. Изъ нихъ многіе подверглись расточенію, а многіе распороли себѣ животы, предпочтя напрасную смерть постыдному «фюить!», которое раздавалось въ ихъ ушахъ, безпрерывно угрожая ихъ существованію. Но, во-первыхъ, въ глазахъ большинства это были единичныя жертвы, отъ исчезновенія которыхъ городу было ни тепло, ни холодно; а во-вторыхъ, Ѳеденька старался своимъ преслѣдованіямъ придать характеръ борьбы съ безвѣріемъ и непризнаніемъ властей. А такъ какъ обыватели Навознаго искони боялись вольнодумства пуще огня, то они не только не обращали вниманія на вопли жертвъ, но, напротивъ, хвалили Ѳеденьку и подстрекали его къ новымъ подвигамъ.

Казалось, однакожъ, что было одно обстоятельство, которое не могло не тронуть навозенцевъ. Какъ сказано выше, Ѳеденька возвелъ теорію фатализма до такой крайности, что не хотѣлъ ни пожаровъ тушить, ни принимать мѣры противъ голода и повальныхъ болѣзней. Это ужъ слишкомъ близко касалось навозныхъ животовъ, чтобы не произвести въ нихъ нѣкотораго переполоха. Но на дѣлѣ оказалось, что теорія, до которой Ѳеденька додумался лишь труднымъ процессомъ либеральныхъ разочарованій, была во всѣ времена основаніемъ всѣхъ вѣрованій обывателей, всей ихъ жизни. Изстари они безропотно помирали, исповѣдуя, что противъ бѣды да попущенія, какъ ни мудрствуй, ничего не подѣлаешь. Изстари повелось у нихъ такъ, что сегодня человѣкъ пироги съ начинкой ѣстъ, а завтра онъ же подъ окнами у сосѣдей куски выпрашиваетъ. При всемъ своемъ простодушіи, Ѳеденька отлично постигъ это свойство навозенцевъ. Онъ понялъ, что если край будетъ и въ конецъ разоренъ, вслѣдствіе набѣговъ Ноздрева и Держиморды, то у него все-таки останется мужицкая спина, которая имѣетъ свойство обрастать гуще и пушистѣе, по мѣрѣ того, какъ ее оголяютъ.

Итакъ, и Ѳеденька, и Навозный край зажили на славу, проклиная либераловъ за то, что они своимъ буйствомъ накликали на край различныя бѣдствія. Сложилась даже легенда, что бѣдствія не прекратятся, покуда въ городѣ существуетъ хоть одинъ либералъ, и что только тогда, когда Ѳеденька окончательно разоритъ гнѣздо нечестія, можно

будетъ не страховать имуществъ, не удобрять полей, не сѣять, не пахать, не жать, а только наполнять житницы...

X.—Зиждитель.

Первые дни великаго поста. Городъ словно въ траурѣ. На дворѣ оттепель, туманъ, слякоть, капѣль. Афишъ нѣтъ.

Куда идти? что дѣлать? Сходилъ бы въ департаментъ потолковать о назначеніяхъ, перемѣщеніяхъ и увольненіяхъ, но знаю, что послѣ бѣшеныхъ дней масленицы чиновники сидятъ на столахъ, болтаютъ ногами, курятъ папиросы и на лицахъ ихъ ничего не написано, кромѣ: «было бы болото, а черти будутъ». Сходилъ бы въ редакцію «нашей уважаемой газеты» покалякать, какія стоятъ на очереди реформы, но не дальше, какъ часъ тому назадъ, получилъ отъ редактора записку: «приходить не зачѣмъ; реформъ нѣтъ и не будетъ; калякать не объ чемъ». Сходилъ бы, наконецъ, въ домъ бывшаго откупщика, а нынѣ желѣзнодорожнаго дѣятеля, у котораго каждодневно, съ утра до ночи, жируютъ упраздненные полководцы и губернаторы, посмотрѣлъ бы, какъ они поглощаютъ предоставленную имъ гостепріимнымъ хозяиномъ провизію, послушалъ бы, какъ они костятъ современныхъ реформаторовъ, но постъ и на этотъ храмъ утѣхъ наложилъ свою руку. По крайней мѣрѣ, давеча, совершая утреннюю прогулку, я встрѣтилъ одного изъ «упраздненныхъ», который, поспѣшая въ церковь къ часамъ, на ходу скороговоркой сказалъ мнѣ:

— Сегодня къ Моисею Соломоновичу—ни-ни! Говѣетъ. Кромѣ чесноку и фасоли—ничего! Въ этакомъ-то домѣ!

Идти, стало-быть, некуда. Дома тоже оставаться не зачѣмъ. Читать—нечего, писать—не о чемъ. Весь организмъ пораженъ усталостью и тупымъ безучастіемъ ко всему происходящему. Спать бы лечь хорошо, но даже и спать не хочется.

Сажусь, однако, беру первую попавшуюся подъ руку газету и приступаю къ чтенію передовой статьи. Начала нѣтъ; вмѣсто него, «мы не разъ говорили». Конца нѣтъ; вмѣсто него: «объ этомъ поговоримъ въ другой разъ». Средина есть. Она написана пространно, просмакована, даже не лишена гражданской меланхоліи, но, хоть убей, я ничего не понимаю. Сколько лѣтъ ужъ я читаю это: «поговоримъ въ другой разъ!» Да ну же поговори!—такъ и хочется крикнуть...

Я съ дѣтскихъ лѣтъ имѣю вкусъ къ русской литературѣ.

Всегда былъ усерднымъ читателемъ, и, могу сказать по совѣсти, даже въ то время, когда цензоръ одну половину фразы вымарывалъ, а въ остальную половину, въ видахъ округленія, вставлялъ: «о, ты, пространствомъ безконечный!»—даже и въ то время я понималъ. Отсѣку, бывало, одно слово, другое отъ себя прибавлю—и понимаю. Но именно нынче возникъ у насъ особенный отдѣлъ печатнаго слова, который рѣшительно ничего не возбуждаетъ во мнѣ, кромѣ ропота на Провидѣніе. Это—отдѣлъ передовыхъ газетныхъ статей. Читаю-читаю—и ничего ухватить не могу. Только-что за что-нибудь ухвачусь — глядь, ужъ пропало. Точно сквозь сито—такъ и льется, такъ и исчезаетъ...

Прежде у насъ не было ни гласныхъ судовъ, ни земскихъ учрежденій, но была цензура. При содѣйствіи цензуры, литература была вынуждаема отсутствіе своихъ собственныхъ политическихъ и общественныхъ интересовъ вымещать на Луи-Филиппѣ, на Гизо, на французской буржуазіи и т. д. Несмотря на это, писали не только понятно, но даже занятно. Какъ ни слаба была связь между мной и Луи-Филиппомъ, но мнѣ было лестно, что русская журналистика не одобряетъ его внутренней политики. Въ внушеніяхъ, дѣлаемыхъ Гизо, я видѣлъ извѣстное міросозерцаніе; я толковалъ себѣ ихъ такъ: ужъ если Гизо такъ проштрафился, то что же должно сказать о дѣйствительномъ статскомъ совѣтникѣ Держимордѣ? И вотъ, вмѣстѣ съ устроителями февральскихъ банкетовъ, я кричалъ: à bas Louis-Philippe! à bas Guizot! кричалъ искренно и горячо, хотя лично ничего отъ того не выигрывалъ, что Луи-Филиппъ былъ 24-го февраля 1848 года уволенъ безъ прошенія въ отставку. Выигрывалъ не я, а мое міросозерцаніе, выигрывали тѣ политическіе и общественные идеалы, къ которымъ я себя пріурочивалъ.

Теперь у насъ существуютъ всевозможные политическіе и общественные интересы. Все дано намъ: и гласный судъ, и земскія учрежденія, а сверхъ того многое оставлено и изъ прежняго. Тутъ-то бы и поговорить. По поводу одного—порадоваться, по поводу другого—излить гражданскую скорбь. Вѣдь дѣло идетъ ужъ не о дотаціи герцога Немурскаго (напѣли мы за нее порядкомъ Луи-Филиппу въ свое время!), а о собственной нашей дотаціи въ формѣ гласностей, устностей и т. п. А между тѣмъ никто ничему не радуется, никто ни о чемъ не печалится! Какъ будто бы никакихъ дотацій и не бывало. Спохватился было г. Головачовъ, издалъ книгу:

«Десять лѣтъ реформъ»... цѣлыхъ десять лѣтъ! Но и онъ никого не утѣшилъ и не опечалилъ, а многихъ даже удивилъ.

— Видѣли—подъ стекломъ «Десять лѣтъ реформъ» стоятъ?—изумляясь, спрашивали одни.

— Какія «Десять лѣтъ реформъ»? когда? зачѣмъ?—изумлялись въ отвѣтъ другіе.

И только.

Словомъ сказать, вкусъ къ французской буржуазіи пропалъ, а надежда проникнуть, при содѣйствіи крестьянской реформы, въ какую-то таинственную суть—не выгорѣла. И остался русскій человѣкъ ни при чемъ и не на комъ ему свое сердце сорвать. Въ результатѣ—всеобщая адская скука, находящая себѣ выраженіе въ небываломъ обиліи безформенныхъ общихъ фразъ. Ничего, кромѣ азбуки, въ самомъ пошломъ, казенномъ значеніи этого слова. Менандръ проводитъ мысль, что надо жить въ ожиданіи дальнѣйшихъ разъясненій. Агатонъ выражаетъ, что жить въ ожиданіи разъясненій не штука, а вотъ штука—прожить безъ всякихъ разъясненій. А бѣдный дворянинъ Никаноръ идетъ еще дальше и лѣзетъ изъ кожи, доказывая, что въ такомъ обширномъ государствѣ, какъ Россія, не должно быть рѣчи не только о «разъясненіяхъ», но даже о «неразъясненіяхъ», и что всякому вѣрному сыну отечества надлежитъ жить да поживать, да дѣтей наживать. И все это говорится съ сонливою серьезностью, говорится отъ имени какихъ-то «великихъ партій», которыя стоятъ-де за «нами» и никакъ не могутъ подѣлить между собою выѣденнаго яйца.

Скучное время, скучная литература, скучная жизнь. Прежде хоть «рабьи рѣчи» слышались, страстныя «рабьи рѣчи», иносказательныя, но понятныя; нынче и «рабьихъ рѣчей» не слыхать.

Я не говорю, чтобъ не было движенія—движеніе есть,—но движеніе докучное, напоминающее дерганье изъ стороны въ сторону.

Представьте себѣ человѣка, который сидитъ въ наглухо запертомъ экипажѣ и дремлетъ. Сквозь дремоту онъ чувствуетъ, что и не ѣдетъ, и на мѣстѣ путемъ не стоитъ,—но что есть какое-то дерганье, которое поминутно безпокоитъ его. До него доносится говоръ, людскіе шаги, постукиванье, позвякиванье, и все это смутно, все попеременно то смолкаетъ, то опять возобновляется. Вотъ и опять что-то дернуло, и опять, и опять. Вотъ и дремота, наконецъ,

соскакиваетъ съ путника—зачѣмъ? Вѣдь и придя въ себя, онъ становится лицомъ къ лицу, все-таки, не съ дѣйствительностью, а съ загадкою. Что̀ случилось? что̀ означаетъ дерганье? Предвѣщаетъ ли оно движеніе или безсрочную остановку на мѣстѣ? Пріѣхали ли куда-нибудь? Хоть не туда, куда ѣхали, а туда, откуда выѣхали?

Всѣ эти вопросы остаются безъ отвѣта, потому что кругомъ темнота, а впереди ничего, кромѣ загадки. Въ такомъ безнадежномъ положеніи можно волноваться вопросами только сгоряча, но разъ убѣдившись, что никакія волненія ни къ чему не ведутъ, остается только утихнуть, сложить руки и думать о томъ, какъ бы такъ примоститься, чтобы дерганье какъ можно меньше нарушало покой. Разумѣется, существуютъ люди, которые и въ подобныхъ положеніяхъ не могутъ не обольщаться, что вотъ-вотъ сейчасъ разбудятъ и скажутъ: пріѣхали! Но спрашивается: что же тутъ хорошаго? Ну, пріѣхали! Куда пріѣхали?—вѣдь навѣрное куда-нибудь въ чуланъ, въ которомъ царствуютъ сумерки и среди этихъ сумерекъ безтолково мятется людской сбродъ. Въ движеніяхъ этого сброда замѣчается суета, на лицахъ написано непонятіе. Толкутся, дерутся, рвутъ другъ у друга куски... сами не знаютъ, зачѣмъ рвутъ. Нѣтъ, какъ хотите, а лучше замереть: можетъ-быть, какъ-нибудь оно и пройдетъ, проползетъ это странное время.

До того смякла, понизилась жизнь, что даже административное творчество покинуло насъ. То творчество, которое обязательно переходитъ черезъ весь петербургскій періодъ русской исторіи. По крайней мѣрѣ, послѣ лучезарнаго появленія на аренѣ административной дѣятельности контрольныхъ чиновниковъ, удостовѣрявшихъ, что такъ-называемая «современная ревизія отчетностей» должна удовлетворить самыхъ требовательныхъ русскихъ конституціоналистовъ, я просто ни на какихъ новыхъ административныхъ піонеровъ указать не могу.

Вспомните прежнихъ финансистовъ, статистиковъ, судей! Какою бездной талантливости должны были обладать эти люди! Вѣдь они являлись на арену дѣятельности не только безъ всякихъ приготовленій, но просто въ чемъ мать на свѣтъ родила, однако и за всѣмъ тѣмъ, все-таки, умѣли нѣчто понимать, нѣчто сказать, разсуждать, выслушивать, говорить. Вспомните, наконецъ, прежнихъ помпадуровъ! Пріѣдетъ, бывало, помпадуръ въ предоставленный ему край и непремѣнно что-нибудь да сдѣлаетъ: либо дороги аллеями

обсадитъ, либо пожарную трубу выпишетъ, либо предпишетъ разводить картофель...

Была пытливость, была потребность игры ума. Не знанія, а именно игры ума. Сверхъ того, была потребность воспрославить свое имя... хоть покупкою шрифта для губернской типографіи.

Теперь ни игры ума, ни жажды славы — ничего нѣтъ. Ничѣмъ не подкупишь человѣка, ибо все въ немъ умерло, все замѣнено словомъ «фюить!» Но развѣ это слово? Вѣдь это безсмысленный звукъ, который можетъ заставить только вздрогнуть.

Или опять другое модное слово: «не твое дѣло!» — развѣ можно такъ говорить? Можетъ ли быть что-нибудь предосудительнѣе этой безнадежной фразы? Не она ли изсушила въ конецъ наше пресловутое творчество? не она ли положила начало той адской апатіи, которая съѣдаетъ современное общество и современную русскую жизнь?

Между тѣмъ какъ я такимъ образомъ унывалъ, мнѣ подали карточку, на которой я прочиталъ: le comte Serge de Bystrizinn, conseiller d'état, président de la Société Economique de Tchoukloma, etc., etc.

Сережа Быстрицынъ принадлежалъ къ той блестящей плеядѣ моихъ однокашниковъ, изъ которой потомъ вышли: Ѳедя Кротиковъ, Митя Козелковъ, Петька Толстолобовъ и другіе помпадуры, съ которыми я уже имѣлъ случай познакомить читателя. Но онъ былъ совсѣмъ въ другомъ родѣ. Въ немъ не было ни блеска, которымъ отличался Кротиковъ, ни дипломатической ловкости, которая составляла характеристическую черту дѣятельности Козелкова. Еще на школьной скамьѣ это былъ ребенокъ скромный, чистенькій, хозяйственный и солидный. Сидитъ, бывало, на своемъ мѣстѣ и все надъ чѣмъ-то копается. Или корабликъ изъ бумаги дѣлаетъ, или домикъ вырѣзываетъ, или строгаетъ что-нибудь. Спросишь его:

— Зачѣмъ ты, Сережа, все кораблики дѣлаешь?

Онъ солидно и разсудительно отвѣтитъ:

— А можетъ-быть и понадобятся!

Такимъ образомъ надѣлалъ онъ этихъ корабликовъ видимо-невидимо, и мы, легкомысленныя дѣти, признаться, даже подшучивали надъ нимъ, что это онъ новый флотъ на мѣсто черноморскаго строитъ. Но воспитатели наши уже тогда угадывали въ немъ будущаго хозяина и организатора.

— Oh, celui-là ne perdra pas la tête, comme vous autres, têtes remplies de foin!—говаривалъ, бывало, мосьё Багатель:—faites le passer par toutes les réformes que vous voudrez, il en sortira à son avantage!

И дѣйствительно, по выходѣ изъ школы, онъ не устремился, подобно прочимъ товарищамъ, на поискъ медленной карьеры, но удалился въ свою чухломскую деревню, и тамъ, чтобы не терять права на полученіе чиновъ, пристроился къ мѣсту почетнаго смотрителя уѣзднаго училища. Здѣсь тихими, но вѣрными шагами онъ достигалъ того, что̀ другими было достигнуто быстро, при помощи цѣлованія плечиковъ, посѣщенія Дюссо и заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ. Я не знаю, что̀ собственно дѣлалъ Сережа, сидя въ деревнѣ, но думаю, что онъ, по обыкновенію своему, клеилъ, вырѣзывалъ и строгалъ, потому что крестьянская реформа не только не застигла его врасплохъ, какъ другихъ, но, напротивъ того, онъ встрѣтилъ ее во всеоружіи и сразу сумѣлъ поставить свое хозяйство на новую ногу. Этого мало: примѣромъ своимъ онъ заразилъ нѣсколькихъ молодыхъ чухломцевъ и успѣлъ организовать изъ нихъ общество, имѣвшее цѣлью возрожденіе чухломскаго хозяйства. Этого было достаточно, чтобы составить ему и его уѣзду какую-то полуфантастическую хозяйственно-организаторскую репутацію. Чухломцы были замѣчены. Нѣкоторые изъ нихъ скоро вынырнули изъ чухломскихъ болотъ и успѣли занять хорошія административныя положенія. Поговаривали о школѣ чухломскихъ администраторовъ, которая съ удобствомъ должна была замѣнить другую школу администраторовъ, не имѣвшую за душой ничего, кромѣ «фюить». «Чухломцы все сдѣлаютъ!—говорилось въ петербургскихъ гостиныхъ:—они и земледѣліе возродятъ, и торговлю разовьютъ, и новыя породы скота разведутъ, и общественное спокойствіе спасутъ!» Но Сережа, этотъ прототипъ чухломца-организатора, все еще упорно сидѣлъ въ Чухломѣ и нимало даже не завидовалъ болѣе прыткимъ чухломцамъ, которые спѣшили ковать желѣзо, пока оно горячо. Онъ ждалъ съ терпѣніемъ, ибо зналъ, что чаша сія не минетъ его. И дѣствительно, по мѣрѣ того, какъ прочіе организаторы-чухломцы, разсѣянные по лицу земли и недостаточно выдержанные, постепенно изнемогали въ борьбѣ съ недоимками, Сережа все прочнѣе и прочнѣе устраивалъ свое положеніе. Наконецъ, слава его достигла такихъ размѣровъ, что нельзя ужъ было больше терпѣть. Что-нибудь одно:

или услать его туда, куда Макаръ телятъ не гонялъ, или призвать и сказать: на, возрождай!

Это было что-то невѣроятное, фантастическое. Говорили, будто, занимаясь рыбоводствомъ, онъ дошелъ до того, что скрестилъ налима съ лещомъ, и что отъ этого произошла рыба, соединявшая маслянистую тешку леща съ налимьею печонкою. Потомъ началъ ходить слухъ, что онъ утилизировалъ крапиву, началъ выдѣлывать изъ нея поташъ, который и разсылаетъ теперь во всѣ страны свѣта. Въ довершеніе всего, пришло достовѣрное извѣстіе, что у него на скотномъ дворѣ существуетъ быкъ, который, по усмотрѣнію своего владѣльца, можетъ быть родоначальникомъ и молочной, и мясной породы. Эти скромныя, но полезныя для человѣчества дѣянія до такой степени выгодно выдѣлялись изъ цѣлой цѣпи дѣяній легкомысленныхъ и безплодно возмутительныхъ, что не обратить на нихъ вниманія было невозможно.

— Слышали: Быстрицынъ?..

— Изумительно!

— Да, батюшка, это... организаторъ! Это не свистунъ! Это настоящій, дѣйствительный помпадуръ-хозяинъ! Такой помпадуръ, какихъ именно въ настоящее время требуетъ Россія!

И онъ былъ призванъ...

Пріѣхавши въ Петербургъ, онъ мнѣ первому сообщилъ о сдѣланныхъ ему предложеніяхъ, но сообщилъ застѣнчиво и даже съ оттѣнкомъ опасенія, что у него недостанетъ силъ, чтобъ оправдать столько надеждъ. Какъ истинный чухломецъ, онъ былъ не только скроменъ, но даже немножко дикъ («un peu farouche», какъ говоритъ Федра объ Ипполитѣ), и мнѣ стоило большого труда ободрить его.

— Посмотри на Кротикова, на Толстолобова,—говорилъ я ему:—вѣдь это развѣ люди!

— Кротиковъ и Толстолобовъ,—отвѣчалъ онъ:—это администраторы по призванію. Это герои минуты. Ихъ совѣсть можетъ оставаться спокойною, если у нихъ даже ничего за душою нѣтъ, кромѣ «фюить». Но я, понимаешь ты, я—хозяинъ! Я долженъ, ты понимаешь—*долженъ* создать, организовать, устроить. Наши чухломцы уже сдѣлали нѣчто въ этомъ смыслѣ, но, признаюсь, я не совсѣмъ доволенъ ими. Они еще недостаточно освободились изъ-подъ гнета недоимокъ. Но я... я не могу ограничиться тѣмъ, что взыскалъ столько-то тысячъ недоимокъ! Я могу хвалиться только

тѣмъ, что ничего не взыскалъ... потому что у меня никакихъ недоимокъ нѣтъ и не можетъ быть!

Тѣмъ не менѣе, онъ уступилъ моимъ настояніямъ, то-есть хотя и поломался немного, но принялъ. И справедливость требуетъ сказать, что скромность не только не повредила ему, но даже еще рельефнѣе выставила его организаторскія способности. Не имѣя за себя ни громкихъ воспоминаній о совмѣстномъ посѣщеніи заведенія искусственныхъ минеральныхъ водъ, ни недавнихъ впечатлѣній совмѣстнаго собутыльничества у Дюссо, безъ малѣйшаго посредничества Камиль-де-Ліонъ, Лотаръ или Бланшъ Вилэнъ, просто, естественно явился онъ на судъ—и сейчасъ же сдѣлался героемъ дня. Всѣ стремились видѣть его, всѣ разспрашивали, какимъ образомъ онъ сумѣлъ достигнуть такихъ изумительныхъ результатовъ; всѣ поняли, что даже тѣ бойкіе чухломцы, которыхъ организаторскимъ способностямъ еще такъ недавно удивлялись,—и тѣ, въ сравненіи съ нимъ, не больше, какъ ученики и провозвѣстники. Что настоящій, заправскій чухломецъ—это онъ, это графъ Сергѣй Васильевичъ Быстрицынъ!

. . . . . .

Онъ вошелъ ко мнѣ во всей формѣ, взволнованный. Губы его были сухи, глаза какъ-то особенно блестѣли, все лицо сіяло восторженностью. Онъ былъ очень милъ въ эту минуту.

— Все кончено!—сказалъ онъ, пожимая мнѣ руки:—чаша, которой я такъ избѣгалъ... я уже чувствую прикосновеніе ея краевъ къ губамъ моимъ!

— Куда?

— Въ Паскудскъ!

— Исправляющимъ?

— Нѣтъ, настоящимъ. И съ производствомъ въ дѣйствительные.

Онъ сжалъ губы, какъ будто хотѣлъ овладѣть полнотою своихъ чувствъ.

— Поздравляю! Это шагъ!

— Богъ, Который видитъ мою совѣсть, Онъ знаетъ, какъ я не желалъ этого шага, какъ страшили меня эти почести... все это мишурное величіе!

Онъ опять сжалъ губы, но, противъ воли, глаза его затуманились. Повторяю: онъ очень былъ милъ!

— Что же дѣлать, мой другъ!—утѣшалъ я.—Провидѣніе, надо покориться Его волѣ! Тяжелъ твой вѣнецъ—я со-

гласенъ, но надобно нести его! Неси, братецъ, неси! Ты пострадаешь, зато Паскудскъ будетъ счастливъ!

— Je le jure!—воскликнулъ онъ, простирая руку.

Я принялъ его клятву и, разумѣется, счелъ за долгъ прочитать приличную этому торжеству предику.

— Помни эту клятву, мой другъ!—сказалъ я:—помни, что̀ говорится про клятвы: разъ солгалъ, въ другой солгалъ, въ третій никто ужъ и не повѣритъ! Ты поклялся, что Паскудскъ будетъ счастливъ—такъ и гони эту линію! «Фюить»-то да «не твое дѣло» бросить надобно!

— Какія дрянныя, безсмысленныя выраженія!

— Да, душа моя, надоѣли они, до смерти надоѣли! Лучше совсѣмъ ничего не дѣлать, нежели вращать глазами да сквернословить! Испугать обывателя, конечно, не трудно, но каково-то его въ чувство потомъ привести! Дай же мнѣ слово, что ты никогда не будешь ни зрачками вертѣть, ни сквернословить... никогда!

— Je le jure!

Мы взялись за руки и нѣсколько минутъ стояли, смотрясь другъ другу въ глаза, какъ влюбленные.

— Ну, очень радъ. И радъ не столько за тебя, сколько за Паскудскъ!—сказалъ я, наконецъ.—Теперь тебѣ надобно только великими образцами напитаться. Надѣюсь, однакожъ, что ты будешь искать этихъ образцовъ не въ ближайшихъ своихъ предмѣстникахъ?

— Jamais!

— Но въ древности бывали помпадуры, достойные подражанія. Я самъ зналъ одного, который, въ теченіе семи лѣтъ помпадурства, два новыхъ шрифта для губернской типографіи пріобрѣлъ!

— Mon cher! я ужъ думалъ объ этомъ! Но все это частности... положимъ, полезныя... а все-таки частности! Увы! въ исторіи нашихъ помпадурствъ нѣтъ образцовъ, которыми мы могли бы руководиться! Даже въ самыхъ лучшихъ помпадурахъ творчество имѣетъ характеръ случайности. Это не зиждители, а заплатныхъ дѣлъ мастера. Одинъ сѣетъ картофель, а о путяхъ сообщенія не думаетъ; другой обсаживаетъ дороги березками, а не думаетъ о томъ, что дороги тогда только полезны, когда есть что̀ возить по нимъ. Читая лѣтопись этихъ дѣяній, нельзя не отдавать имъ справедливости, но, въ то же время, нельзя не чувствовать, что все это опыты, дѣлавшіеся, такъ сказать, ощупью. Никто не смотритъ вглубь, никто не видитъ корня. Многіе,

напримѣръ, прославились тѣмъ, что взыскали цѣлую массу недоимокъ...

— Взыскали массу недоимокъ! Какъ ты, однакожъ, легко объ этомъ говоришь!

— Да, но прежде нежели удивляться этому подвигу, спроси себя: что такое недоимки и откуда онѣ? Недоимки и благоустроенное хозяйство—развѣ это понятія совмѣстимыя? Развѣ слово «недоимки» можетъ быть допущено въ сколько-нибудь приличномъ административномъ лексиконѣ! Россія—и недоимки! Эта безконечная карта, на неизмѣримомъ пространствѣ которой человѣкъ на каждомъ шагу попираетъ неисчерпаемыя богатства—и какой-нибудь милліонъ, два милліона, три милліона недоимокъ! Quelle misère! Какое горькое, оскорбительное сопоставленіе!

Я зналъ, что это основной тезисъ чухломской школы. Развитіе творческихъ силъ народа съ цѣлью столь безпрепятственнаго взысканія податей и сборовъ, которое исключало бы самое понятіе о «недоимкѣ»; изысканіе новыхъ источниковъ производительности, въ видахъ воспособленія государственному казначейству, и, наконецъ, упраздненіе военныхъ экзекуцій, какъ средства, не всегда достигающаго цѣли и, притомъ, сопряженнаго съ издержками для казны—вотъ вся сущность чухломской конституціи. Но никогда я не слыхалъ ее высказанною съ такою безповоротною опредѣленностью!

— Если-бъ начальство могло слышать тебя, Serge, какъ бы оно порадовалось!—сказалъ я.

— Все это я ужъ объяснилъ кому слѣдуетъ. И что всего удивительнѣе, всѣ слушали меня, какъ будто я разсказываю какія-то чудеса!

— Какъ же не чудеса! Помилуй! Жизнь безъ недоимокъ! отсутствіе экзекуцій! новые источники! Какихъ еще больше чудесъ!

— Никакихъ чудесъ нѣтъ. Нужно только терпѣніе... и, конечно, немного умѣнья...

— Avec beaucoup de patience et... знаю! Но вѣдь, говорятъ, ты въ имѣніи своемъ, дѣйствительно, устроилъ что-то необыкновенное?

— Ничего необыкновеннаго. Никакихъ чудесъ. Я работалъ, и былъ такъ счастливъ, что нѣкоторые изъ моихъ опытовъ дали результаты... поразительные! Вотъ и все.

— Напримѣръ, помѣсь налима и леща... parlez-moi de ça!

— Ну, да, это такъ. Это опытъ удачный. Но самъ по

себѣ онъ не имѣетъ еще большого значенія. Онъ важенъ... онъ дѣйствительно важенъ... но лишь въ связи съ другими подобными же опытами, долженствующими дать совершенно новыя основанія нашей сельской жизни. Рыбоводство, скотоводство, свиноводство, садоводство—tout se lie, tout s'enchaîne dans ce monde! А моя система—это именно цѣлый міръ!

— Рыбоводство, скотоводство... и тутъ же рядомъ, такъ сказать, во главѣ всего... помпадурство! Какъ ты соединишь это? Какимъ образомъ устроишь ты такъ, чтобъ помпадурство не препятствовало скотоводству, и наоборотъ?

— Ничего нѣтъ проще. Стоитъ только сказать самому себѣ: надо дѣлать совершенно противоположное тому, что дѣлаютъ всѣ прочіе помпадуры,—и результаты получатся громадные. Пойми меня, душа моя. Большинство помпадуровъ главною цѣлью своей дѣятельности поставило такъ-называемую внутреннюю политику. Они ничего другого не признаютъ, кромѣ войны, ничѣмъ другимъ не занимаются, кромѣ пререканій съ обывателями. Вслѣдствіе этого они предпринимаютъ болѣе или менѣе отдаленные походы, производятъ экзекуціи, расточаютъ, разгоняютъ и въ довершеніе всего безпокоятъ начальство донесеніями. Понятно, что при такихъ условіяхъ скотоводство не можетъ процвѣтать. Я же, напротивъ того, прежде всего говорю себѣ: никакой внутренней политики нѣтъ и не должно быть! Все это вздоръ, потому что не существуетъ даже предмета, противъ котораго эта политика могла бы быть направлена.

— Ну, это ты, кажется, ужъ черезъ край хватилъ!

— Напротивъ того, и если ты послѣдуешь за мной въ развитіи моей мысли, ты, конечно, согласишься со мной. Итакъ, raisonnons. Обозрѣвая à vol d'oiseau населеніе какого бы то ни было края, что мы видимъ? Во-первыхъ, мы видимъ сотни, тысячи, сотни тысячъ, милліоны, цѣлое море мужиковъ. Спрашиваю тебя: если я буду истреблять, посредствомъ внутренней политики, мужиковъ—кто будетъ платить подати? кто будетъ производить то, безъ чего я, какъ человѣкъ извѣстныхъ привычекъ, не могу обойтись? кто, наконецъ, доставитъ матеріалъ для цѣлой статистической рубрики подъ названіемъ: «движеніе народонаселенія»? Но этого мало: скажу тебѣ по секрету, что нашъ мужикъ даже не боится внутренней политики, потому просто, что не понимаетъ ея. Какъ ты его ни донимай, онъ

все-таки, будетъ думать, что это не «внутренняя политика», а просто Божеское попущеніе, въ родѣ мора, голода, наводненія, съ тою лишь разницею, что на этотъ разъ воплощеніемъ этого попущенія является помпадуръ. Нужно ли, чтобъ онъ понималъ, что̀ такое внутренняя политика?—на этотъ счетъ мнѣнія могутъ быть различны; но я, съ одной стороны, говорю прямо: берегитесь, господа! потому что какъ только мужикъ пойметъ, что̀ такое внутренняя политика—n,i=ni, c'est fini!

— Гм!.. да... пожалуй, что это и такъ. Сказываютъ, и шахъ персидскій тоже такое мнѣніе высказалъ. Говорятъ, что когда его въ Парижѣ спросили, какая страна ему больше понравилась, то онъ отвѣтилъ: «Moi... Russie... politique jamais!.. hourra toujours... et puis айда!» И такъ это, сказываютъ, Макъ-Магонше понравилось, что она тутъ же выразилась: «и у насъ, говоритъ, ваше величество, къ будущему пріѣзду вашему то же будетъ!»

— Ну, вотъ видишь ли! Но продолжаю. Во-вторыхъ, среди моря мужиковъ, я вижу небольшую группу дворянъ и еще меньшую группу купцовъ. Если я направлю внутреннюю политику противъ дворянъ—кто же будетъ исправлять должность опоры? съ кѣмъ буду я проводить время, играть въ ералашъ, танцовать на балахъ? Ежели я расточу купцовъ — у кого я буду ѣсть пироги? Остается, стало-быть, только одно четвертое сословіе, которое могло бы быть предметомъ внутренней политики, — это сословіе нигилистовъ.

— Итакъ, ты совершенно отвергаешь внутреннюю политику?

— Да, совершенно. Это исходный пунктъ моей программы. Изсушать и уничтожать только болота, а прочее все оплодотворять. Это, коли хочешь, тоже своего рода внутренняя политика, но политика созидающая, а не расточающая. Затѣмъ я приступаю ко второй половинѣ моей программы и начинаю съ того, что приготовляю почву, необходимую для будущаго сѣянія, то-есть устраняю вредные элементы, которые могутъ представлять неожиданныя препятствія для моего дѣла. Такихъ элементовъ я, главнѣйшимъ образомъ, усматриваю три: пьянство, крестьянскіе семейные раздѣлы и общинное владѣніе землей. Вотъ три гидры, которыя мнѣ предстоитъ побѣдить. Прежде всего, разумѣется, — пьянство, какъ противникъ, пользующійся особенной популярностью. Но ты позволишь мнѣ

вмѣсто дальнѣйшихъ объясненій прочитать уже заготовленный мною по этому предмету циркуляръ.

Быстрицынъ порылся въ карманѣ своего мундира и вытащилъ изъ него бумажку, которую онъ, очевидно, показывалъ ужъ не мнѣ первому.

«Въ виду постоянно развивающагося пьянства, я считаю долгомъ изложить вамъ мой взглядъ на сей важный предметъ,—началъ онъ.—Но прежде всего я чувствую потребность надлежащимъ образомъ установить точку зрѣнія, на которой вы должны стоять при чтеніи настоящаго циркуляра. Я отнюдь не намѣренъ настаивать на полномъ изъятіи водки изъ народнаго употребленія. Кромѣ того, что эта задача мнѣ непосильная, я очень хорошо понимаю, что въ нашемъ суровомъ климатѣ совершенно обойтись безъ водки столь же трудно, какъ, напримѣръ, жителю пламенной Италіи трудно обойтись безъ макаронъ и безъ живительныхъ лучей солнца, а обитателю болѣе умѣренной полосы, нѣмцу — безъ кружки пива и колбасы. Водка полезна во многихъ случаяхъ — я это знаю. Во-первыхъ, при согрѣтіи окоченѣвшихъ на холодѣ членовъ; во-вторыхъ,—при угощеніи друга; въ-третьихъ,—при болѣзняхъ. Кто не знаетъ цѣлительныхъ свойствъ рижскаго бальзама и водокъ, на манеръ онаго выдѣлываемыхъ? Кому не извѣстны водки: полынная, желудочная, анисовая, перцовая и, наконецъ, архіерейскій настой?! Рюмка, выпитая передъ обѣдомъ, помогаетъ пищеваренію; точно такъ же рюмка и даже двѣ, выпитыя въ обществѣ хорошихъ знакомыхъ, ободряютъ духъ человѣка, дѣлаютъ его наклоннымъ къ дружеству и къ веселому изліянію чувствъ. Общежитіе безъ водки немыслимо. И, конечно, тотъ можетъ почесть себя истинно счастливымъ, кто знаетъ, на какой рюмкѣ ему остановиться, или, лучше сказать, кто рядомъ прозорливыхъ надъ собой наблюденій сумѣлъ въ точности опредѣлить, послѣ какой счетомъ рюмки онъ становится пьянъ. Но, къ сожалѣнію, свойственная человѣку самонадѣянность не всякому дозволяетъ достигнуть сего желательнаго для преуспѣянія народной нравственности результата.

«Вотъ объ этой-то послѣдней, *пьяной*, рюмкѣ и намѣренъ я бесѣдовать съ вами.

«Гдѣ, въ какомъ притонѣ, въ какомъ товариществѣ человѣкъ находитъ сію пагубную для него рюмку? Дома онъ не найдетъ ея, ибо здѣсь его остановитъ заботливая рука жены, умоляющіе взоры воспитанныхъ въ страхѣ Божіемъ

дѣтей и, наконецъ, благожелательный совѣтъ друга. Въ гостяхъ онъ тоже не найдетъ ея, ибо тутъ его остановитъ простое чувство приличія. Очевидно, стало-быть, что онъ найдетъ ее въ такомъ убѣжищѣ, за порогомъ котораго оставляется не только чувство приличія, но и воспоминаніе о семейномъ очагѣ и его радостяхъ. Это мрачное убѣжище—долженъ ли я называть его? — это кабакъ! Здѣсь отецъ семейства, выпивъ пагубную рюмку, потребуетъ еще пагубнѣйшей, и затѣмъ, заложивъ сперва сапоги, потомъ шубу, незамѣтно утратитъ уваженіе къ самому себѣ. Здѣсь мать семейства, выведенная изъ терпѣнія безобразнымъ видомъ упившагося мужа, начинаетъ собственноручно расправляться съ нимъ въ виду плачущихъ и недоумѣвающихъ дѣтей. Здѣсь едва вышедшій изъ колыбели ребенокъ уже притворяется пьянымъ и ломается въ угоду развратной толпѣ.

«Вотъ мрачная картина пьянства и тѣхъ безобразныхъ вертеповъ, въ которыхъ оно производится. Надѣюсь, что ея достаточно, чтобъ возбудить въ людяхъ благонамѣренныхъ отвращеніе и даже тошноту. А потому, и имѣя въ виду, что пьянство, сверхъ всего вышеизложеннаго, есть главная причина недоимокъ»...

— Ну, тамъ — какъ обыкновенно: слѣдить, наблюдать, увѣщавать и т. д. Ну, какъ по-твоему? убѣдительно?

— Превосходно! Особливо объ этой рюмкѣ... Я, братъ, самъ это на себѣ испыталъ! Пьешь-пьешь иногда — и все ничего; и вдругъ — эта рюмка! Такъ вотъ словно и скоситъ тебя! Только я, признаться, думаю, что не въ одномъ кабакѣ можно эту рюмку найти. Вотъ я, напримѣръ, въ кабакѣ не бывалъ, а эту рюмку знаю!

— Еще бы! а я-то?! Но вѣдь мы... на насъ вѣдь недоимокъ нѣтъ; да и время у насъ свободное — кому до насъ надобность! Ну, а мужикъ—c'est autre chose!

— Да, братъ, мужикъ—это точно, что autre chose. Ему нельзя эту рюмку знать, потому что, кромѣ того, что рюмка сама по себѣ денегъ стоитъ, она еще и расчеты его всѣ запутываетъ. Ему, напримѣръ, чѣмъ-свѣтъ встать надо, рожь на базаръ везти, а у него голова трещитъ. Ему санишки изладить нужно, а у него руки дрожатъ, онъ вмѣсто полоза-то—по рукѣ себя топоромъ тяпнулъ!.. Да, мужикъ—это именно autre chose! За нимъ еще какъ за ребенкомъ ходить надобно, чтобъ онъ, значитъ, въ непре-

станныхъ физическихъ трудахъ находился... тогда, и только тогда, онъ объ одной рюмкѣ забудетъ!

— Вотъ это-то именно я и желаю внушить своимъ подчиненнымъ!

— И прекрасно. Ну-съ, а теперь далѣе.

— Далѣе я поведу войну съ семейными раздѣлами и общиннымъ владѣніемъ. Циркуляры по этимъ предметамъ еще не готовы, но они у меня ужъ здѣсь (онъ ткнулъ себя указательнымъ пальцемъ въ лобъ). Теперь же я могу сказать тебѣ только одно: въ моей системѣ это явленія еще болѣе вредныя, нежели пьянство; а потому я буду преслѣдовать ихъ съ бо́льшею энергіей, нежели даже та, о которой ты получилъ понятіе изъ сейчасъ прочитаннаго мной документа.

Въ его голосѣ звучало такое искреннее убѣжденіе, такая несомнѣнная рѣшимость, что мнѣ невольно пришло на мысль: да, если этотъ человѣкъ не попадетъ подъ судъ, то онъ покажетъ, гдѣ раки зимуютъ!

— Послушай, однакожъ, мой другъ, вѣдь все это: и семейные раздѣлы, и община, и круговая порука — все это находится подъ защитой закона! Стало-быть, ты хочешь сдѣлаться паскудскимъ законодателемъ? Но безопасно ли это?

— Pas de malsaines théories! restons dans la pratique! Практика въ этомъ случаѣ — самый лучшій отвѣтъ. Начнемъ хоть съ тебя. Ты, вотъ, сидишь теперь у себя въ квартирѣ и ужъ, конечно, чувствуешь себя подъ защитой закона. И вдругъ—фюить! — et vous êtes à mille verstes de votre chez-soi, de vos habitudes, de vos amis, de la civilisation... que sais-je enfin! Вѣдь это возможно, спрашиваю я тебя?

— Конечно, оно не невозможно, но...

— Никакихъ «но»! фюить — и больше ничего! Теперь спрашиваю тебя: ежели я, какъ помпадуръ, имѣю возможность обойти законъ ради какого-то «фюить», то неужели же я поцеремонюсь сдѣлать то же самое, имѣя въ виду совершить нѣчто дѣйствительно полезное и плодотворное?

— Да, это такъ. То-есть, коли хочешь, оно и не «такъ», но ужъ если допустить въ принципѣ, что можно дѣлать все, что̀ хочешь, то лучше свиней разводить, нежели вращать зрачками. Итакъ, это рѣшено. Ты исполнилъ первую половину своей программы, ты разорилъ кабаки, положилъ предѣлъ семейнымъ раздѣламъ, упразднилъ общину... затѣмъ?

— Затѣмъ начинается собственно положительная часть моего предпріятія. Оплодотвореніе, орошеніе, разведеніе улучшенныхъ породъ скота, указаніе лучшихъ способовъ воздѣлыванія земли и проч. Тутъ я ужъ какъ у себя дома.

— То-есть, какъ въ своемъ собственномъ чухломскомъ хозяйствѣ?

— Да, это будетъ продолженіемъ моего чухломскаго хозяйства. Но ты не можешь себѣ представить, какіе поразительные результаты я иногда получалъ! Вотъ тебѣ одинъ примѣръ изъ множества: въ 1869 году я пріобрѣлъ себѣ ютландскаго борова и ютландскую свинью — какъ ты думаешь, сколько у меня въ настоящую минуту свиней?

— Любопытно!

— Слушай же. Въ 1870 году свинья, въ два раза, принесла мнѣ двадцать поросятъ; въ числѣ ихъ пять боровковъ, изъ которыхъ я трехъ съѣлъ...

— Вкусные?

— Масло. Нѣжность, манность, таяніе... rien de plus exquis! У васъ, въ Петербургѣ, не имѣютъ объ этомъ ни малѣйшаго понятія! Осталось пятнадцать свинокъ и два боровка. Въ 1871 году та же свинья дала еще двадцать поросятъ, изъ которыхъ семь боровковъ; пять я съѣлъ. Въ 1872 году у меня было налицо, кромѣ родичей, двадцать восемь свинокъ и четыре боровка. Въ 1872 году весь первый приплодъ былъ пущенъ на племя; старую свинью откормили и зарѣзали на ветчину; съ старымъ боровомъ слѣдовало бы поступить такъ же, но жаль стало: какъ производитель, онъ неоцѣнимъ. Я оставилъ его, comme qui dirait, для усиленія департамента, какъ оставляютъ старыхъ, опытныхъ чиновниковъ. Пятнадцать молодыхъ свиней, подобно матери своей, поросились по два раза и принесли... триста поросятъ! Изъ нихъ я съѣлъ тридцать пять боровковъ. Къ 1873 году числилось: пятнадцать свиней приплода 1870 года и тринадцать — приплода 1871 года и четыре борова (стараго борова зарѣзали) — все это было пущено на племя. Сверхъ того, на скотномъ дворѣ бѣгало двѣсти тридцать свинокъ и тридцать пять боровковъ. Въ 1873 году результатъ полученъ неслыханный: двадцать восемь свиней принесли... шестьсотъ поросятъ! Изъ нихъ продано и зарѣзано: двадцать свиней и двѣсти поросятъ. Къ 1874 году числилось налицо: четыреста поросятъ и, *сверхъ того*, двѣсти тридцать восемь свиней и тридцать

одинъ боровъ, которые всѣ пущены на племя. Что будетъ въ 1874 году — не знаю!

— Душа моя! — испугался я: — но вѣдь такимъ образомъ можно весь шаръ земной покрыть свиньями!

— И можно бы, если-бъ этому не препятствовалъ ножъ и человѣческая плотоядность! Но представь себѣ этотъ результатъ въ примѣненіи къ народному хозяйству! Представь себѣ его какъ одно изъ многочисленныхъ административныхъ средствъ, находящихся въ моихъ рукахъ... Какой могущественный рычагъ!

Онъ умолкъ, но лицо его говорило краснорѣчивѣе словъ. Все оно сіяло мягкимъ, благожелательнымъ сіяніемъ, все было озарено мыслью: это по части свиней; затѣмъ пойдутъ коровы, овцы, лошади, куры, гуси, утки! Я, съ своей стороны, тоже молчалъ, потому что мною всецѣло овладѣла мысль: сколько-то будетъ свиней у Быстрицына въ 1900 году? Съ какимъ свинымъ багажомъ онъ закончитъ XIX-е и вступитъ въ XX-е столѣтіе нашей эры?

— И какой навозъ, — продолжалъ онъ вдохновенно: — почти солдатскій! Вѣдь это осуществленіе той мечты, которая не даетъ спать истинному хозяину!

— Итакъ, ты начнешь свою дѣятельность въ Паскудскѣ съ разведенія свиней?

— Желалъ бы; но, къ сожалѣнію, долженъ сознаться, что эта мѣра слишкомъ радикальная. Ça prête tr p au calembour. Поэтому я начну съ племенныхъ быковъ. На первый разъ я брошу въ обращеніе по одному на каждую волость: это немного, но ты увидишь, какія они надѣлаютъ чудеса! Да, мой другъ! Міръ экономическій — это міръ чудесъ по преимуществу. Пусти въ народное обращеніе какого-нибудь симентальскаго быка — и черезъ десять лѣтъ ты не узнаешь мѣстности. Природа, люди — все будетъ другое. На мѣсто болотъ — цвѣтущіе луга, на мѣсто обнаженныхъ полей — обильныя пажити...

— Изумительно!

— Говорю тебѣ: это цѣлый міръ волшебствъ!

— Но на чьи же деньги пріобрѣтешь ты симентальскихъ быковъ?

— Га! Это ужъ они сами! Мой долгъ подать совѣтъ и наблюсти, чтобъ онъ былъ выполненъ, а деньги — это они сами.

— Разумѣется! Твой долгъ — указать, ихъ долгъ — исполнить!

— Добровольно, mon cher, добровольно! Моя система не требуетъ принужденій! Я являюсь на сходъ лично и объясняю...

— Ты! помпадуръ! на сходѣ... и лично!

— Да, душа моя, лично! Я забываю все это мишурное величіе и на время представляю себѣ, что я — простой, добрый деревенскій староста. Итакъ, я являюсь на сходъ и объясняю. Затѣмъ, ежели я вижу, что меня не достаточно поняли, я поручаю продолжать дѣло разъясненія исправнику. И вотъ, когда исправникъ объяснитъ окончательно— тогда, по его указанію, составляется приговоръ и прикладываются печати... И новая хозяйственная эра началась!

— Прелесть! Мнѣ остается удивляться только одному: какъ это до сихъ поръ тебя проглядѣли! Какъ дозволили тебѣ хоть одну лишнюю минуту прозябать въ Чухломѣ!

Въ отвѣтъ на это Быстрицынъ усмѣхнулся и посмотрѣлъ на меня такъ мило и такъ любовно, что я не удержался и обнялъ его. Обнявшись, мы долго ходили по комнатамъ моей квартиры и все мечтали. Мечтали о всеобщемъ возрожденіи, о золотомъ вѣкѣ, о «курицѣ въ супѣ» Генриха IV, и, кажется, дошли даже до того, что по секрету шепнули другъ другу фразу: à chacun selon ses besoins.

— А начальство? развивалъ ли ты передъ нимъ свои мысли?—спросилъ я, когда мы вдоволь намечтались.

— Въ восхищеніи!

— Ну, и слава Богу!

. . . . . .

Словомъ сказать, я такъ пріятно провелъ время, какъ будто присутствовалъ на первомъ представленіи «La Belle Hélène». Согласитесь, что для первой недѣли великаго поста это очень и очень не дурно!

Но другъ мой Глумовъ сумѣлъ-таки разрушить мое очарованіе.

По обыкновенію, онъ вошелъ ко мнѣ мрачный. Мимоходомъ пожалъ мнѣ руку, бросилъ на столъ картузъ, усѣлся на диванъ и угрюмо закурилъ папиросу.

— А у меня сейчасъ Быстрицынъ былъ,—сказалъ я:— онъ въ Паскудскъ помпадуромъ ѣдетъ!

— Скатертью дорога!

— Послушай! Вѣдь ты знаешь, что онъ послѣдователь или, лучше сказать, основатель той чухломской школы помпадуровъ-зиждителей, которая...

— Знаю.

— Ну, такъ онъ разсказывалъ мнѣ свой планъ дѣйствій. Ахъ, это очень серьезно, очень, очень серьезно, что̀ онъ задумалъ!

— Напримѣръ?

— Вообрази себѣ, прежде всего онъ хочетъ уничтожить пьянство; потомъ онъ положитъ предѣлъ крестьянскимъ семейнымъ раздѣламъ и, наконецъ, упразднитъ сельскую общину... Словомъ сказать, онъ предполагаетъ дѣйствовать à la Pierre le Grand... Изумительно, не правда ли?

— То-есть, упразднять и уничтожать à la Pierre le Grand; а что̀ же онъ, вмѣсто всего этого, à la Pierre le Grand заведетъ?

— Полеводство, птицеводство, скотоводство... mais tout un système! Все это они въ Чухломѣ надумали. Вообрази, онъ въ 1869 году пріобрѣлъ для себя ютландскаго борова и ютландскую свинью, и какъ ты думаешь, сколько у него теперь свиней?

— Почемъ мнѣ знать!

— Въ 1874 году его свиное стадо заключало въ себѣ двѣсти тридцать восемь свиней, тридцать одного борова и четыреста поросятъ. Это въ пять лѣтъ — отъ одной пары родичей! И замѣть, что стадо было бы вдвое многочисленнѣе, если-бъ онъ отчасти самъ не ѣлъ, а отчасти не продавалъ лишнихъ поросятъ. Каковъ результатъ!

— Ничего, результатъ важнецкій... хоть бы Коробочкѣ! Только вѣдь Коробочка à la Pierre le Grand не дѣйствовала, съ сводомъ законовъ не воевала, общинъ не упраздняла, а плодила и прикапливала, не выходя изъ той сферы, которая вполнѣ соотвѣтствовала ея разумѣнію!

Удивительный человѣкъ этотъ Глумовъ! Такое иногда сопоставленіе вклеитъ, что просто всякую нить разговора потеряешь съ нимъ. Вотъ хоть бы теперь: ему о Pierre le Grand говоришь, а онъ, ни съ того, ни съ сего, Коробочку приплелъ. И это онъ называетъ «вводить предметъ диспута въ его естественныя границы»! Сколько разъ убѣждалъ я его оставить эту манеру, которая не столько убѣждаетъ, сколько злитъ — и все не въ прокъ.

«Мнѣ, говоритъ, дѣла нѣтъ до того, что дуракъ обижается, когда вещи по именамъ называютъ! Да и какой прокъ отъ лганья? Вотъ навозъ испоконъ вѣка принято называть «золотомъ», а развѣ отъ этого онъ сдѣлался дѣйствительнымъ золотомъ?» И замѣтьте, это — человѣкъ служащій, то-есть

докладывающій, представляющій на усмотрѣніе, дающій объясненія, получающій чины и кресты, и т. д. Какъ онъ справляется тамъ съ своими сопоставленіями? Правда, онъ иногда говаривалъ мнѣ: «на службѣ, братъ, я всѣ пять чувствъ теряю»,—но все-таки какъ-то подозрительно! Какъ ни зажимай носъ, а очутишься съ начальствомъ лицомъ къ лицу — волей-неволей обонять придется!

— Ну, съ какой стати ты Коробочку привелъ?—упрекнулъ я его. — Я сказалъ, что Быстрицынъ намѣревается дѣйствовать à la Pierre le Grand... Положимъ, что я употребилъ выраженіе несвойственное, даже преувеличенное, но все-таки...

— Нимало не преувеличенное. У насъ нынче куда ни обернись — все Пьеръ-ле-Граны! дешевле не берутъ и не отдаютъ. Любой помпадуръ ни о чемъ иномъ не думаетъ, кромѣ того, какъ бы руку на что-нибудь наложить или какой-нибудь монументъ на воздухъ взорвать. И все а-ля Пьеръ-ле-Гранъ. Летитъ, братецъ, онъ туда, въ «свое мѣсто», словно буря, «тьма отъ чела, съ посвиста пыль», летитъ и все одну думу думаетъ: разорю! на законъ наступлю! А-ля Пьеръ-ле-Гранъ, значитъ. А загляни-ка ты ему въ душу: для какой-такой, молъ, причины, ты, милый человѣкъ, на законъ наступить хочешь?—анъ у него тамъ ничего нѣтъ, кромѣ «фюить» или шального «проекта всероссійскаго возрожденія, посредствомъ распространенія улучшенныхъ породъ поросятъ»!

— Душа моя! у тебя натура художественная, и потому ты слишкомъ охотно преувеличиваешь! Ты даже самъ не замѣчаешь этого, а, право, преувеличиваешь! Къ чему это странное уподобленіе бурѣ? Къ чему эти выраженія: «разорю! на законъ наступлю»? И это—въ примѣненіи къ Быстрицыну! Къ Быстрицыну, который, не далѣе какъ полчаса тому назадъ, клялся мнѣ, что вся его система держится на убѣжденіи и добровольномъ соглашеніи! Къ Быстрицыну, который лично — понимаешь! онъ, помпадуръ, и *лично!* — намѣренъ посѣщать крестьянскіе сходы! Гдѣ же тутъ «разорю»?

— Опомнись! Да вѣдь ты сейчасъ же самъ говорилъ, что онъ сельскую общину упразднить хочетъ, что онъ намѣренъ семейные раздѣлы прекратить!?

— Да, но согласитесь, что, съ экономической точки зрѣнія, это вѣдь вещи дѣйствительно вредныя; что при существованіи ихъ человѣкъ, который намѣревается положить начало

новой сельскохозяйственной эрѣ, не можетъ же не чувствовать себя связаннымъ по рукамъ и ногамъ!

Фраза эта вылилась у меня совершенно нечаянно, но, признаюсь, очень мнѣ понравилась. Я даже вознамѣрился, пользуясь симъ случаемъ, прочесть Глумову краткую экономическую предику, въ которой изъяснить, что съ одной стороны несомнѣнно доказано, а съ другой стороны опытъ народовъ свидѣтельствуетъ... Но, къ удивленію моему, Глумовъ не только не увлекся моимъ краснорѣчіемъ, но даже разсердился. Онъ вскочилъ съ дивана и нѣкоторое время не говорилъ, а только разѣвалъ ротъ, какъ человѣкъ, находящійся подъ впечатлѣніемъ сильнѣйшаго гнѣва.

— Да кто же тебѣ сказалъ!—разразился онъ, наконецъ, но, къ удовольствію моему, тотчасъ же сдержалъ себя, и уже спокойнымъ, хотя все же строгимъ голосомъ продолжалъ:—Слушай! дѣло не въ томъ, вредны или полезны тѣ явленія, которыя Быстрицынъ намѣревается сокрушить, въ видахъ безпрепятственнаго разведенія поросятъ, а въ томъ, имѣетъ ли онъ право дѣйствовать à la l'ie r· le Grand относительно того, что находится подъ защитой дѣйствующаго закона?

— Представь себѣ, я вѣдь самъ сдѣлалъ ему именно это возраженіе!

— Ну?

— И знаешь, что онъ отвѣтилъ мнѣ? Онъ отвѣтилъ: «если можно обойти законъ для того, чтобы безпрепятственно произносить «фюить», то неужели же нельзя его обойти въ видахъ возрожденія?» И я вынужденъ былъ согласиться съ нимъ!

— И ты «вынужденъ былъ согласиться съ нимъ»!—передразнивалъ меня Глумовъ.

— Да, потому что если можно дѣлать все, что хочешь, то, конечно, лучше дѣлать что-нибудь полезное, нежели вредное!

Я такъ искусно игралъ силлогизмомъ: «полезная вещь полезна; Быстрицынъ задумалъ вещь полезную; слѣдовательно задуманное имъ полезно», что Глумовъ даже вытаращилъ глаза. Однако, онъ и на этотъ разъ сдержалъ себя.

— Ну, хорошо,—сказалъ онъ:—ну, Быстрицынъ упразднитъ общину и разведетъ поросятъ.

— Не однихъ поросятъ! Это только одинъ примѣръ изъ множества! Тутъ цѣлая система: скотоводство, птицеводство, пчеловодство, табаководство...

— И даже хрѣноводство, горчицеводство... пусть такъ. Допускаю даже, что все пойдетъ у него отлично. Но представь себѣ теперь слѣдующее: сосѣдъ Быстрицына, Петенька Толстолобовъ, тоже пожелаетъ быть реформаторомъ а-ля Пьеръ-ле-Гранъ. Видитъ онъ, что штука эта идетъ на рынкѣ бойко и думаетъ: семъ-ка, я удеру штуку, прекращу празднованіе воскресныхъ дней, а вмѣсто того заведу клоноводство!

— И опять-таки преувеличеніе! Клоноводство! Преувеличеніе, душа моя, а не возраженіе!

— Хорошо; уступаю и въ этомъ. Ну, не клоноводствомъ займется Толстолобовъ, а устройствомъ... положимъ, хоть фаланстеровъ. Вѣдь Толстолобовъ — парень рѣшительный: ему всякая штука въ голову можетъ придти! А на него глядя, и Ѳеденька Кротиковъ возопіетъ: а нутко я насчетъ собственности пройдусь! И тутъ же, не говоря худого слова, декретируетъ: жить всѣмъ, какъ во времена апостольскія живали! Какъ ты думаешь, ладно такъ-то будетъ?

Увы! я даже не могъ отвѣтить на вопросъ Глумова. Я страдалъ. Я такъ жаждалъ «отрадныхъ явленій», я такъ твердо былъ увѣренъ въ томъ, что не дальше, какъ черезъ два-три мѣсяца прочту въ «нашей уважаемой газетѣ» корреспонденцію изъ Паскудска, въ которой будетъ изображено: «Съ нѣкотораго времени нашъ край поистинѣ сдѣлался ареной отрадныхъ явленій. Давно ли со всѣхъ сторонъ стекались мірскіе приговоры объ уничтоженіи кабаковъ, какъ развратителей нашего добраго, простодушнаго народа,—и вотъ снова отовсюду притекаютъ новые приговоры, изъ коихъ явствуетъ, что сельская община въ сознаніи самихъ крестьянъ является единственнымъ препятствіемъ къ пышному и всестороннему развитію нашей производительности!» Да, я ждалъ всего, я надѣялся, я предвкушалъ! И вдругъ — картина! Клоноводство, фаланстеры, возвращеніе апостольскихъ временъ! И что всего грустнѣе— я не могъ даже сказать Глумову: ты преувеличиваешь! ты говоришь неправду! Увы! я слишкомъ хорошо зналъ Толстолобова, чтобы позволить себѣ подобное обличеніе. Да, онъ ни передъ чѣмъ не остановится, этотъ жестоковыйный человѣкъ! Онъ покроетъ міръ фаланстерами, онъ разрѣжетъ грошъ на милліонъ равныхъ частей, онъ засѣетъ всѣ поля персидской ромашкой! И при этомъ будетъ, какъ вихрь, летать изъ края въ край, возглашая: га-га-га, го-го-го! Сколько онъ перековеркаетъ, сколько людей перекалѣчитъ,

сколько добра погадитъ, покамѣстъ самъ, наконецъ, попадетъ подъ судъ! А вмѣсто него другой придетъ и начнетъ перековерканное расковеркивать и опять возглашать: га-га-га, го-го-го! Вѣдь были же картофельныя войны, были попытки фаланстеровъ въ формѣ военныхъ поселеній, были импровизированные, декораціонные селенія, дороги, города? Что̀ осталось отъ этихъ явленій! И что̀ стоило ихъ коверканье и расковерканье!

— А я бы на твоемъ мѣстѣ,—продолжалъ, между тѣмъ, Глумовъ:—обратился къ Быстрицыну съ слѣдующею рѣчью: Быстрицынъ! ты безспорно хорошій и одушевленный добрыми намѣреніями человѣкъ, но ты берешься за такое дѣло, которое ни въ какомъ случаѣ тебѣ не принадлежитъ. Хороша ли сельская община, или дурна, препятствуетъ ли она развитію производительности, или не препятствуетъ— это вопросъ спорный, рѣшеніе котораго (и въ особенности рѣшеніе практическое) вовсе до тебя не относится. Предоставь это рѣшеніе тѣмъ, кто прямо заинтересованъ въ этомъ дѣлѣ; самъ же не мудрствуй, не смущай умовъ и на законъ не наступай! Помни, что ты — помпадуръ, и что твое дѣло не созидать, а слѣдить за цѣлостью созданнаго. Созданы, напримѣръ, гласные суды—ты, какъ левъ, стремись на защиту ихъ! Созданы земства — смотри, чтобы даже вѣтеръ не смѣлъ вѣнуть на нихъ! Тогда ты будешь почтенъ и даже при жизни удостоишься монумента. Творчество же оставь и затѣмъ—гряди съ миромъ.

— Но что̀ же, наконецъ, дѣлать?—воскликнулъ я съ тоскою.—Что̀ дѣлать, ежели, съ одной стороны, для административнаго творчества нѣтъ арены, ежели, съ другой стороны, суды препятствуютъ, земства препятствуютъ, начальники отдѣльныхъ частей препятствуютъ, и ежели, за всѣмъ тѣмъ, помпадуръ обладаетъ энергіей, которую надобно же какъ-нибудь помѣстить?.. Гдѣ же исходъ?

— А ежели человѣкъ ужъ черезъ край изобилуетъ энергіей, то существуетъ прелестное слово: «фюить», которое даже самаго жестоковыйнаго человѣка по горло удовлетворить можетъ!

— Фюить! помилуй! Да это, наконецъ, постыдно!

— Постыдно, даже глупо, но до извѣстной степени отвѣчаетъ потребностямъ минуты. Во-первыхъ, нечего больше говорить. Во-вторыхъ, это звукъ, который, какъ я уже сказалъ, представляетъ очень удобное помѣщеніе для энергіи. Въ-третьихъ, это звукъ краткій и потому затрогивающій

только единичныя явленія. Тогда какъ пресловутое зиждительство разомъ коверкаетъ цѣлый жизненный строй...

XI.—Единственный.

УТОПІЯ.

Это былъ несомнѣнно самый простодушный помпадуръ въ цѣломъ мірѣ.

Природа создала его въ одну изъ тѣхъ минутъ благодатной тишины, когда изъ материнскаго ея лона на всѣхъ льется миръ и благоволеніе. Въ эти краткія мгновенія во множествѣ рождаются на свѣтъ люди не весьма прозорливые, но скромные и добрые; рождаются и, къ сожалѣнію, во множествѣ же и умираютъ... Но умныя муниципіи подстерегаютъ уцѣлѣвшихъ и, по достиженіи ими законнаго возраста, ходатайствуютъ о нихъ передъ начальствомъ. И современемъ пользуются плодами своей прозорливости, то-есть бываютъ счастливы.

Увы! съ каждымъ днемъ подобныя минуты становятся все болѣе и болѣе рѣдкими. Нынче и природа дѣлается словно озлобленною, и все творитъ помпадуровъ не умныхъ, но злыхъ. Злые и неумные, они мечутся изъ угла въ уголъ и въ безумной рѣзвости скачутъ по доламъ и по горамъ, воздымая прахъ земли и наполняя имъ вселенную. Съ чего рѣзвятся? надъ кѣмъ и надъ чѣмъ празднуютъ побѣду?

Но этотъ помпадуръ, даже среди необыкновенныхъ, былъ самый необыкновенный. Начальственнаго любомудрія не было въ немъ нисколько. Во время прогулокъ, когда прохожіе снимали передъ нимъ шапки, онъ краснѣлъ; когда же усматривалъ, что часовой на тюремной гауптвахтѣ, завидѣвъ его, готовится дернуть за звонокъ, то мысленно желалъ провалиться сквозь землю и немедленно сворачивалъ куда-нибудь въ сторону.

— Не люблю я этихъ выбѣганій!—говорилъ онъ.—Прибѣгутъ, какъ шальные, выпучатъ глаза, ружьями кидать начнутъ—что̀ хорошаго!

Даже съ квартальными онъ дозволялъ себѣ быть простодушнымъ. Не допускалъ, чтобы квартальный ожесточалъ обывателя, не скорбѣлъ, когда и обыватель забывалъ о квартальномъ.

— Квартальный,—говорилъ онъ:—*всенепремѣнно* долженъ быть сытъ, одѣтъ и обутъ; обыватель же все сіе воленъ исполнить по мѣрѣ возможности. Ежели онъ и не очень сытъ, то съ него не взыщется!

Ни наукъ, ни искусствъ онъ не зналъ; но если попадалась подъ руку книжка съ картинками, то разсматривалъ ее съ удовольствіемъ. Въ особенности нравилась ему повѣсть о похожденіяхъ Робинзона Крузое на необитаемомъ островѣ (къ счастью, изданная съ картинками).

— Эту книгу,—выражался онъ: — всякій русскій человѣкъ въ настоящее время у себя на столѣ безсмѣнно держать долженъ. Потому, кто можетъ зараньше опредѣлить, на какой онъ островъ попасть можетъ? И сколько, теперича, есть въ нашемъ отечествѣ городовъ, гдѣ ни хлѣба испечь не умѣютъ, ни супу сварить не изъ чего! А ежели кто эту книгу основательно знаетъ, тотъ самъ все сіе и испечетъ, и сваритъ, а по времени, быть-можетъ, даже и другихъ къ употребленію подлинной пищи приспособитъ!

Въ администраціи онъ былъ философъ, и былъ убѣжденъ, что самая лучшая администрація заключается въ отсутствіи таковой.

— Ежели я живу смирно и лишняго не выдумываю, — внушалъ онъ своему письмоводителю: — то и всѣ прочіе будутъ смирно жить. Ежели я буду выдумывать, а тѣмъ паче писать, то непремѣнно что-нибудь выдумаю: либо утѣсненіе, либо просто глупость. А тогда и прочіе начнутъ выдумывать, и выйдетъ у насъ смятеніе, то-есть кавардакъ.

Этого мало: онъ даже полагалъ (и, быть-можетъ, не безъ основанія), что въ каждой занумерованной и писанной на бланкѣ бумагѣ непремѣнно заключается чья-нибудь погибель, а потому принялъ себѣ за правило изъ десяти подаваемыхъ ему къ подписи бумагъ подписывать только одну.

— Вы ко мнѣ съ бумагами какъ можно рѣже ходите,— говорилъ онъ письмоводителю:—потому что я не разорять пріѣхалъ, а созидать-съ. Погубить человѣка не трудно-съ. Черкнулъ: «Помпадуръ 4-й», и нѣтъ его. Только я совсѣмъ не того хочу. Я и самъ хочу быть живъ, и другимъ того же желаю. Чтобъ всѣ были живы: и я, и вы, и прочіе-съ! А ежели вамъ невтерпёжъ бумаги писать, то можете для своего удовольствія строчить сколько угодно, я же подписывать не согласенъ.

Иногда онъ развивалъ свои административныя теоріи очень подробно.

— Всякій,—говорилъ онъ:—кого ни спросите, что онъ больше любитъ, будни или праздникъ,—навѣрное отвѣтитъ: праздникъ. Почему-съ? А потому, государь мой, что въ праздникъ начальники бездѣйствуютъ, а слѣдовательно нѣтъ

ни бунтовъ, ни соотвѣтствующихъ имъ экзекуцій. Я же хочу, чтобъ у меня всякій день праздникъ былъ, а чтобы будни, въ которые бунты бываютъ, даже изъ памяти у всѣхъ истребились!

Или:

— До сихъ поръ такъ было, что обыватель тогда только считалъ себя благополучнымъ, когда начальникъ находился въ отсутствіи. Сіи дни праздновали и, въ ознаменованіе общей радости, ѣли пироги. Почему, спрашиваю я васъ, все сіе именно такъ происходило? А потому, государь мой, что съ отъѣздомъ начальника наставала тишина. Никто не скакалъ, не кричалъ, не спѣшилъ, а слѣдовательно и не сквернословилъ-съ. Я же хочу, чтобы на будущее время у меня такъ было: если я даже присутствую, пускай всякій полагаетъ, что я нахожусь въ отсутствіи!

Но что̀ болѣе всего привлекало къ нему сердца — это административная стыдливость, доходившая до того, что онъ не могъ произнести слово «сѣчь», чтобъ не сгорѣть при этомъ со стыда.

Когда онъ прибылъ въ городъ, то прежде всего, разумѣется, пожелалъ ознакомиться съ дѣлами. Письмоводитель сразу вынесъ ему цѣлый ворохъ. Но когда онъ развернулъ одно изъ нихъ, то первая попавшаяся ему на глаза фраза была слѣдующая:

«... когда же начали ихъ сѣчь...»

Онъ покраснѣлъ и поспѣшно обратился къ другому дѣлу. Но тамъ тоже было написано:

«... а потому начали ихъ сѣчь вновь...»

Тогда онъ покраснѣлъ еще больше, и съ этой минуты рѣшился разъ навсегда никакихъ дѣлъ не читать.

— Всѣ дѣла въ такомъ родѣ?—застѣнчиво обратился онъ къ письмоводителю.

— Послабленій не допускается-съ.

— Какая, однакожъ, печальная необходимость!—задумчиво воскликнулъ онъ, и затѣмъ шопотомъ продолжалъ:— И часто бываютъ у васъ революціи?

— Одна въ годъ—это какъ калачъ испечь, а то такъ и двѣ.

— Грустно! И зачѣмъ это люди дѣлаютъ революціи—не постигаю! Не лучше ли жить смирно, аккуратно и быть счастливыми... безъ революцій?

— Осмѣлюсь доложить, это все умники-съ. А глядя на нихъ, и дураки заимствуются-съ.

Помпадуръ задумался.

— А знаете ли, — сказалъ онъ послѣ минутнаго молчанія:—какая мнѣ вдругъ мысль въ голову пришла?

— Не могу знать-съ.

— Что революцій собственно никакихъ нѣтъ и не бывало-съ!

Письмоводитель даже глаза выпучилъ: до того неумѣстною показалась ему подобная выходка со стороны человѣка, называющаго себя помпадуромъ.

— Какъ это возможно-съ?—бормоталъ онъ.—Всѣ квартальные въ одинъ голосъ доносятъ-съ!

Но помпадуръ уже не слушалъ возраженій и, ходя въ волненіи по комнатѣ, убѣжденнымъ голосомъ говорилъ:

— Да-съ; нѣтъ революцій, и не бывало! Вы думаете, что было во Франціи въ 1789 году? революція-съ? Отнюдь-съ! Просто-напросто умные люди объ умныхъ предметахъ промежду себя разговоръ хотѣли имѣть, а господамъ французскимъ квартальнымъ показалось, что какія-то революціи затѣваются-съ!

Эта мысль была для него какъ бы откровеніемъ. Заручившись ею, онъ вдругъ совершенно ясно созналъ все, что̀ дотолѣ лишь смутно мелькало на днѣ его доброй души.

— Да-съ,—продолжалъ онъ развивать свой взглядъ:—если-бъ господа квартальные поостереглись, многихъ бы непріятностей можно было избѣжать! Да и что за радость отыскивать революціи—не постигаю! Если-бъ даже доподлинно таковыя въ зародышѣ существовали, зачѣмъ оныя преждевременно пробуждать и накликать-съ? Не лучше ли тихимъ манеромъ это дѣло обдѣлать, чтобы оно, такъ сказать, изморомъ изныло, чѣмъ во всеуслышаніе объявлять: вотъ, молъ, мы каковы! каждый годъ по революціи дѣлаемъ! А ежели ужъ нельзя это паскудство скрыть, то все же предварительно увѣщавать, а не сѣчь господъ революціонеровъ надлежитъ!

— Пытали этакъ-то...—скептически замѣтилъ письмоводитель.

— Нѣтъ, вы поймите меня! Я подлинно желаю, чтобъ всѣ были живы! Вы говорите: во всемъ виноваты «умники». Хорошо-съ. Но ежели мы теперича всѣхъ «умниковъ» изведемъ, то какъ вы полагаете, великъ ли мы авантажъ получимъ, ежели съ одними дураками останемся? Вамъ, государь мой, конечно, оно неизвѣстно, но я по собственному опыту эту штуку отлично знаю! Однажды, доложу вамъ, въ походѣ мнѣ три дня пришлось глазъ-на-глазъ съ

дуракомъ просидѣть, такъ я чуть рукъ на себя не наложилъ! Такъ-то-съ.

Письмоводитель нѣсколько разъ разѣвалъ ротъ для возраженій, но тщетно. *Онъ* ходилъ по комнатѣ и твердилъ свое: «не вѣрю! ничему я этому не вѣрю». Наконецъ, остановился и твердымъ голосомъ произнесъ:

— Не только въ революціи, я даже въ чорта не вѣрю. И вотъ по какому случаю. Однажды, будучи въ кадетскомъ корпусѣ—разумѣется, съ голоду—пожелалъ я продать чорту душу, чтобы у меня каждый день булокъ вволю было. И что же-съ? Вышелъ я ночью во дворъ-съ и кричу: «чортъ! явись!» Анъ вмѣсто чорта-то явился вахтеръ, заарестовалъ меня, и я въ то время чуть-чуть не подвергся исключенію-съ! Вотъ оно, легковѣріе-то, къ чему ведетъ!

— Оно точно-съ,—отвѣчалъ письмоводитель, но какъ-то вяло, какъ будто ему до смерти хотѣлось спать:—многіе нынче въ чорта не вѣруютъ!

— И знаете ли что̀ еще?—продолжалъ *онъ*, горячась все больше:—всѣ эти розсказни объ революціяхъ напоминаютъ мнѣ исторію съ жидомъ, у котораго въ носу свистѣло. Идетъ онъ по лѣсу и весь даже въ поту отъ страха: все кажется, что кругомъ разбойники пересвистываются! И только ужъ когда онъ вдоволь надрожался, вдругъ его словно обухомъ по головѣ: «а вѣдь это у меня въ носу»... Такъ-то-съ.

И дѣйствительно, какъ ни старались квартальные измѣнить его взглядъ на дѣла внутренней политики, онъ оставался непоколебимымъ и на всѣ предостереженія неизмѣнно давалъ одинъ и тотъ же отвѣтъ:

— Нѣтъ революцій-съ! нѣтъ и никогда не бывало-съ!

Мало того: даже арестовалъ квартальнаго Перепелкина, когда тотъ, весь блѣдный и почти ополоумѣвшій отъ страха, прибѣжалъ объявить, что въ сосѣдней рощѣ снѣгири затѣяли бунтъ.

— Это вы, милостивый государь, бунтъ затѣваете,— сказалъ онъ ему:—а не снѣгири-съ! Снѣгирь—птица небольшая и къ ученію склонная-съ—зачѣмъ ей бунтовать? Застрѣлить ее не долго-съ; только кто же тогда въ нашихъ рощахъ свистѣть будетъ-съ? Извольте, государь мой, снять сапоги и сѣсть подъ арестъ-съ!

И что̀ же вышло? Сначала, дѣйствительно, обывателямъ казалось нѣсколько страннымъ, что выискался такой помпадуръ, который не вѣритъ въ бунты, но мало-по-малу и

они начали осваиваться съ этимъ взглядомъ. Прошелъ годъ, прошелъ другой; снѣгири свистали и щебетали во всѣхъ рощахъ, а революцій все не было.

— А мы думали, что это-то самая революція и есть,— толковали межъ собой обыватели:—поди-жъ ты!

Онъ же, ласковый и простодушный, ходилъ по улицамъ, и не только никого не ловилъ, но, напротивъ того, радовался, что всякій при какомъ-нибудь дѣлѣ находится, а онъ одинъ ничего не дѣлаетъ и тѣмъ цѣлому городу счастье приноситъ.

Однакожъ, было одно напоминаніе, которое угнетало его, и это напоминаніе заключалось въ словѣ: помпадуръ.

Среди разнообразія помпадурскихъ прерогативъ онъ въ особенности боялся одной: предстоящаго ему выбора помпадурши. Въ безчисленномъ множествѣ помпадуршъ, о которыхъ свидѣтельствуетъ исторія, онъ не зналъ ни одной, которая довела бы своего помпадура до добра. Въ сознаніи своего помпадурства, онъ, еще будучи въ кадетскомъ корпусѣ, до малѣйшей подробности изучилъ литературу этого вопроса, и убѣдился, что въ концѣ помпадурскихъ любовныхъ предпріятій никогда ничего не стояло, кромѣ погибели. И что всего важнѣе—погибель была такъ сладка, что помпадуры сами влеклись къ ней и утопали въ морѣ утѣхъ, нимало не заботясь о своевременномъ выполненіи получаемыхъ отъ начальства предписаній. Опутанные любовными сѣтями, помпадуры, несомнѣнно бодрые, дѣлались въ самое короткое время неузнаваемыми. Тѣлодвиженія ихъ утрачивали развязность, глаза становились тусклыми и неспособными проникать въ сердца подчиненныхъ; языкъ отказывался отъ произнесенія укорительныхъ выраженій; даръ сердцевѣдѣнія пропадалъ совершенно. Все это онъ понималъ—и за всѣмъ тѣмъ чувствовалъ, что надъ нимъ тяготѣетъ фатумъ, котораго онъ ни предотвратить, ни отдалить не въ силахъ.

Искушенія, которыя преслѣдовали его съ самой минуты пріѣзда въ городъ, придавали еще болѣе цѣны его борьбѣ. Еще не успѣлъ онъ какъ слѣдуетъ ознакомиться съ мѣстнымъ обществомъ, какъ уже стало ясно, что усилія всѣхъ первѣйшихъ въ городѣ дамъ направлены къ тому, чтобъ какъ можно скорѣе пробудить въ немъ инстинктъ помпадурства. Узнавали, какія онъ любитъ плечи, какой ростъ, цвѣтъ волосъ, походку. Нѣкоторыя выхваляли при этомъ

добродушіе своихъ мужей и давали понять, что съ этой стороны никакихъ опасеній не можетъ существовать. Но онъ какъ-то загадочно относился ко всѣмъ этимъ заискиваніямъ и обольщеніямъ.

— Всякая походка хороша-съ, ежели ее украшаетъ добродѣтель,—отвѣчалъ онъ на ухаживанья, а ежели замѣчалъ, что и затѣмъ какая-нибудь предпріимчивая предсѣдательша или начальница отдѣльной части продолжаетъ дѣйствовать наступательно, то вѣжливо шаркалъ ножкой и уходилъ прочь.

Очевидно, что у него былъ свой планъ, осуществленіе котораго онъ отложилъ до тѣхъ поръ, пока фатумъ окончательно не пристегнетъ его. Планъ этотъ заключался въ томъ, чтобы, не уклоняясь отъ выполненія помпадурскаго назначенія, устроить это дѣло такъ, чтобы оно, по крайней мѣрѣ, не сопровождалось пушечною пальбою.

Прежде всего, вниманіе его, разумѣется, остановилось на такъ-называемой благородной интригѣ. Но, разсмотрѣвъ этотъ проектъ со всѣхъ сторонъ, онъ долженъ былъ сознаться, что осуществленіе его сопряжено со множествомъ случайностей, которыя положительно могутъ замутить административную ясность его души. Что высокопоставленная помпадурша отличается бо̀льшею нѣжностью и бѣлизною кожи и вообще смотритъ какъ-то сытѣе, нежели помпадурша изъ низкаго званія—это было для него ясно. Но этимъ и ограничивались всѣ преимущества, а затѣмъ открывался цѣлый рядъ такихъ неудобствъ, которыя не выкупались ни роскошью бюста, ни тонкостью прикрывающаго его батиста.

— Удовольствіе отъ этихъ кружевницъ все то же-съ, только крику больше,—отвѣчалъ онъ услужливымъ людямъ, соблазнявшимъ его картиною помпадурши, утопающей въ батистѣ и кружевахъ. Затѣмъ онъ уже не возвращался болѣе къ этому плану.

Надлежало сыскать другую комбинацію, и онъ дѣятельно занялся этимъ. Самою лучшею казалась, конечно, такая, при которой мягкое тѣло соединялось бы съ простодушіемъ. Счастливое соединеніе этихъ качествъ можно было найти или въ средѣ упитаннаго и взлелѣяннаго пуховиками купечества, или въ средѣ мѣщанства, занимающагося содержаніемъ постоялыхъ дворовъ, харчевенъ и кабаковъ. Но тутъ же встрѣчались серьезныя препятствія, которыя *невозможно* было пройти безъ вниманія. Во-первыхъ, онъ

предвидѣлъ, что мѣстная аристократія никакъ не простить ему связи съ мѣщанкой. Во-вторыхъ, онъ задумывался и надъ тѣмъ, какъ посмотритъ на подобную связь начальство. Конечно, съ точки зрѣнія государственной, лучше, если помпадуръ выбираетъ себѣ помпадуршу изъ низкаго званія, ибо это содѣйствуетъ сліянію сословій. Но не всякій начальникъ способенъ возвыситься до государственной точки зрѣнія; бо́льшая же часть дѣйствуетъ просто, безъ высшихъ точекъ зрѣнія, смотря по тому, какая система помпадурства, батистовая или затрапезная, господствуетъ въ данную минуту.

Однимъ словомъ, какъ онъ ни углублялся, ни взвѣшивалъ, все было мракъ и сомнѣніе въ этомъ вопросѣ. Ни уставовъ, ни регламентовъ—ничего. Одно оставалось яснымъ и несомнѣннымъ: что онъ помпадуръ и что не-помпадурствовать ему невозможно.

А судьба уже бодрствовала за него, и на сей разъ бодрствовала совершенно правильно, ибо помогала добродѣтельнѣйшему изъ всѣхъ въ мірѣ помпадуровъ выйти съ честью изъ затрудненія.

Трудно представить себѣ что-нибудь болѣе трогательное и наивное, какъ исторія его сближенія съ *нею*.

Шелъ онъ однажды по городу и, по обыкновенію, никого не ловилъ. И вдругъ видитъ: стоитъ у дверей кабака баба и грызетъ подсолнухи. Баба была какъ всѣ вообще бабы, выросшія въ холѣ подъ сѣнію постоялаго двора или за прилавкомъ кабака: широкая, толстомясая, большеглазая, съ круглымъ лицомъ и такъ-называемыми сахарными грудями. Однакожъ, онъ тотчасъ же сообразилъ, что если эту бабу въ хорошія руки, то она *вся* сдѣлается сахарная. Но такъ какъ дѣло было днемъ, то сейчасъ приступить онъ не рѣшился, а только посѣменилъ ножками, чтобъ дать бабѣ понять.

По наступленіи вечера, онъ снова пошелъ по тому же направленію и увидѣлъ, что баба опять стоитъ у дверей, очевидно уже не случайно. Она была примыта, приглажена, скалила зубы и не безъ лукавства смотрѣла на него своими выпученными глазами.

«Сахарная будетъ!»—молвилъ онъ про себя и, подойдя къ бабѣ, спросилъ отрывисто:—Вы чьихъ-съ?

— Была мужняя, теперь вдова стала,—отвѣтила она, заалѣвшись.

— Кабакъ—вашъ-съ?

— Съ батюшкой хозяйствуемъ.

— Меня знаете-съ?

— Своихъ начальниковъ да не знать!

Онъ нѣкоторое время стоялъ и, видимо, хотѣлъ что-то сказать; быть-можетъ, онъ даже думалъ сейчасъ же предложить ей раздѣлить съ нимъ бремя власти. Но вмѣсто того только разѣвалъ ротъ и тянулся корпусомъ впередъ. Она тоже молчала и, повернувъ въ сторону рдѣющее лицо, потихоньку смѣялась. Вдругъ онъ взглянулъ впередъ и увидѣлъ, что изъ-за угла сосѣдняго дома высовывается голова частнаго пристава и съ любопытствомъ слѣдитъ за его движеніями. Какъ ужаленный, онъ круто повернулъ налѣво кругомъ и быстрыми шагами сталъ удаляться назадъ.

Цѣлый тотъ вечеръ онъ тосковалъ и болѣе, чѣмъ когда-либо, чувствовалъ себя помпадуромъ. Чтобы разсѣять себя, пѣлъ сигналы, повторялъ одиночное ученіе, но и это не помогало. Наконецъ, усѣлся у окна противъ мѣсяца и началъ млѣть. Но въ эту минуту явился частный приставъ и разрушилъ очарованіе, доложивъ, что пойманъ съ поличнымъ мошенникъ. Надо было видѣть, какъ онъ вскипѣлъ противъ этого ретиваго чиновника, уже двукратно нарушившаго млѣніе души его.

— Восцà у васъ, милостивый государь!—кричалъ онъ.— Сколько разъ говорено вамъ: оставьте! Оставьте, милостивый государь, русскимъ языкомъ повторяю я вамъ!

Но по уходѣ пристава тоска обуяла еще пуще. Цѣлую ночь метался онъ въ огнѣ, и ежели забывался на короткое время, то для того только, чтобъ и во снѣ увидѣть, что онъ помпадуръ. Наконецъ, истощивъ всѣ силы въ борьбѣ съ безсонницей, онъ покинулъ одинокое ложе и принялся за чтеніе «Робинзона Крузое». Но и тутъ его тотчасъ же поразила мысль: что было бы съ нимъ, если бы онъ, вмѣсто Робинзона, очутился на необитаемомъ островѣ? Какимъ образомъ исполнилъ бы онъ свое назначеніе?

Ни спать, ни читать не представлялось никакой возможности...

— Сахарная!—вскричалъ онъ въ какомъ-то дикомъ изступленіи и тотчасъ же собрался бѣжать.

Было раннее утро; заря едва занялась; городъ спалъ; пустынныя улицы смотрѣли мертво. Ни единаго звука, кромѣ нерѣшительнаго чириканья кое-гдѣ просыпающихся воробьевъ; ни единаго живого существа, кромѣ боязливо озирающихся котовъ, возвращающихся по домамъ послѣ

ночныхъ похожденій (какъ онъ завидовалъ имъ!). Даже собаки — и тѣ спали у воротъ, свернувшись калачикомъ и вздрагивая подъ вліяніемъ утренняго холода. Надъ городомъ вился туманъ; тротуары были влажны; деревья въ садахъ заснули, словно повитыя волшебной дремой.

Онъ шелъ и чувствовалъ, что онъ помпадуръ. Это чувство ласкало, нѣжило, манило его. Ни письмоводителя, ни квартальнаго, ни приставовъ—ничего не существовало для него въ эту минуту. Несмотря на утренній полусумракъ, воздухъ казался проникнутымъ лучами; несмотря на глубокое безмолвіе, природа казалась изнемогающею подъ бременемъ какого-то кипучаго и нетерпѣливо-просящагося наружу ликованія. Онъ зналъ, что онъ помпадуръ, и зналъ, куда и зачѣмъ онъ идетъ. Грудь его саднило; блаженство катилось по всѣмъ его жиламъ.

И вдругъ его обожгло. Изъ-за перваго же угла, словно изъ-подъ земли, выросъ квартальный и, гордый сознаніемъ исполненнаго долга, дѣлалъ рукою подъ козырекъ. Въ испугѣ онъ взглянулъ впередъ; тамъ, въ перспективѣ, виднѣлся цѣлый лѣсъ квартальныхъ, которые, казалось, только и ждали момента, чтобъ вытянуться и сдѣлать подъ козырекъ. Онъ понялъ, что и на сей разъ его назначеніе, какъ помпадура, не будетъ выполнено.

На другой день онъ собралъ квартальныхъ и сказалъ имъ:

— Я желаю, господа, чтобъ вы не безпокоили себя по ночамъ.

Но квартальные не поняли и гаркали, что имъ не въ тягость, а въ сласть, и т. п.

— Я желаю, господа, чтобъ вы не безпокоили себя по ночамъ! — все еще кротко, но уже вразумительнѣе повторилъ онъ.

Но квартальные продолжали гаркать. Тогда онъ понялъ, что тутъ существуетъ недоразумѣніе, и твердымъ голосомъ произнесъ:

— Русскимъ языкомъ вамъ, прохвосты, говорю: не смѣть меня подстерегать по ночамъ!

Квартальные поняли.

Благодаря этой мѣрѣ, «они» свидѣлись. Озираясь и крадучись, пробрался онъ на зарѣ въ Разъѣзжую слободку, гдѣ стоялъ *ея* домикъ. Квартальные притворились спящими. Будочники, завидѣвъ его приближеніе, исчезали въ подворотни сосѣднихъ домовъ. *Она* стояла у открытаго окна... *она!* Широкая, дородная, бѣлая, вся сахарная! Она ждала.

— Вы-съ? — спросилъ онъ полу-дерзновеннымъ, полуиспуганнымъ голосомъ.

Стыдясь, она закрыла лицо рукавомъ, но слышно было, какъ уста ея шептали: «ахъ! великія наши согрѣшенія!»

— Желаете ли вы, сударыня, жить со мною внѣ онаго, но все равно какъ бы въ ономъ? — спросилъ онъ ее твердымъ голосомъ.

Она слегка дрогнула, но все еще перемогала себя.

— Слушай-ко, — сказала она, не то кокетничая, не то маскируя свое смущеніе: — я вамъ лучше загадку загану. *Взляну я въ окошко, стоитъ рѣпы лукошко,* — что, по-вашему, будетъ?

— Рѣпа-съ!—отвѣчалъ онъ, и даже хихикнулъ отъ переполнявшаго его умиленія.

— Анъ звѣзды!

— Звѣзды-съ?—изумился онъ.

Послѣдовала минута молчанія; оба тяжело и порывисто дышали, а онъ даже чуть-чуть сопѣлъ. Она прервала томительное безмолвіе.

— Вѣдь ты, поди, для лакомства?—сказала она чуть слышно.

Онъ замычалъ.

— Ежели для одного лакомства будешь любить,—продолжала она: — и въ томъ я вамъ запрещаю! Извольте безъ труда оставить!

Онъ замычалъ вторично.

— И что ты во мнѣ, въ бабѣ, лестнаго для себя нашелъ?!—вдругъ вскрикнула она, простирая руки.

Она сама не знала, за что онъ ее полюбилъ.

— За что ты меня любишь? — говорила она ему: — что ты во мнѣ, бабѣ, лестнаго для себя нашелъ? Ни я по-французскому, ни я принять, ни поговорить! Вотъ развѣ тѣло у меня бѣлое...

— За тѣло-съ и за простоту-съ,—отвѣчалъ онъ, спѣша успокоить ея сомнѣнія.

И точно: простоты она была необыкновенной. Даже квартальнымъ—и тѣмъ жаловалась:

— За что онъ меня полюбилъ? Жила я, баба заугольная, въ сору да въ навозѣ копалась — анъ, нѣтъ! и тутъ онъ до меня проникъ! и тутъ меня, простую бабу, сыскалъ!

Квартальные почтительно вздрагивали и отвѣчали:

— За простоту-съ. Сами они ужъ оченно просты. Такъ просты, такъ просты!

Насталъ какой-то волшебный рай, въ которомъ царствовало безпримѣрное блаженство. Прежде онъ нерѣдко бывалъ подверженъ приливамъ крови къ головѣ, но теперь и эту болѣзнь какъ рукой сняло. Вся фигура его приняла бодрый и дѣятельный видъ, совершенно, впрочемъ, лишенный характера суетливости, а выражавшій одно внутреннее довольство. Когда онъ шелъ по улицѣ, привѣтливый взглядъ его, казалось, каждому говорилъ: живи! И каждый жилъ, ибо зналъ, что начальствомъ ему воистину жить дозволено.

День проходилъ такъ быстро, что иногда онъ ропталъ, зачѣмъ сутки заключаютъ въ себѣ только двадцать четыре часа. Утромъ, вставши рано, онъ отправлялся въ Разъѣзжую слободку и уже дорогой начиналъ млѣть. Домикъ, служившій цѣлью его посѣщеній, принялъ веселый и чистенькій видъ. Кабака не осталось и слѣдовъ; стѣны были обиты тесомъ и выкрашены свѣтло-сѣрою краскою; на окнахъ висѣли бѣлыя занавѣски и стояли горшки съ незатѣйливыми растеніями. Внутри все было тоже выскоблено, вычищено и вымыто. Ни мухи, ни таракана; прохлада и тишина. Только съ другой половины, изъ стряпущей, доносился стукъ ножей и звяканіе ухватовъ и сковородъ, но это даже усугубляло очарованіе. Запахъ мяты и липоваго цвѣта былъ господствующимъ; къ нему, по временамъ, когда отворялась дверь, примѣшивался запахъ жареныхъ пироговъ, но и онъ не омрачалъ картины блаженства, но прибавлялъ ей еще больше цѣны. Даже куры, которыя кудахтали на дворѣ, и тѣ, казалось, не спроста кудахтали, а во свидѣтельство исполненія желаній.

Вся раскраснѣвшаяся отъ стряпни, она выбѣгала къ нему навстрѣчу; и онъ не находилъ ни въ этой краснотѣ, ни въ капляхъ пота, выступавшихъ на лицѣ ея, ничего противнаго законамъ изящнаго. Онъ зналъ, что она обливалась потомъ и выбивалась изъ силъ единственно ради него. По приходѣ его она прежде всего начинала допытываться, за что онъ ее, бабу, любитъ; онъ же, съ своей стороны, кротко и обстоятельно объяснялъ ей причину, и въ этомъ несложномъ разговорѣ мгновенія летѣли за мгновеніями; затѣмъ она начинала обнаруживать безпокойство и какимъ-то просительнымъ голосомъ спрашивала:

— Пирожка хочешь?

— А съ чѣмъ у васъ нынче пироги?—въ свою очередь, спрашивалъ онъ, дѣлая видъ, какъ будто не всякая

начинка, приготовленная ея руками, можетъ быть ему по вкусу.

— Съ легкимъ нынче; капустки искали, да не нашли...

— Что-жъ, и съ легкимъ хорошо... можно!

Появлялась цѣлая сковорода шипящихъ пироговъ, которые исчезали одинъ за другимъ, а мгновенія летѣли себѣ да летѣли. Потомъ она принималась опять допытываться, за что онъ ее, бабу, любитъ — и опять летѣли мгновенія. Иногда къ бесѣдѣ присоединялся старикъ, отецъ ея, но отъ него большой пользы не было, потому что, какъ только закрыли его кабакъ, онъ тотчасъ же отъ горести ослѣпъ и оглохъ.

Тѣмъ не менѣе, «слѣпенькій батюшка» все еще жаждалъ дѣятельности и, пользуясь ея офиціознымъ положеніемъ, безпрерывно къ ней приставалъ. Однажды она даже попробовала завести объ этомъ разговоръ съ *нимъ*.

— Хоть бы ты въ базарные смотрители его произвелъ,— сказала она: — а то онъ совсѣмъ отъ ѣды отбился — все пьетъ!

— Не просите-съ, — сказалъ онъ твердо: — ибо я для того собственно съ вами знакомство свелъ, дабы казенный интересъ соблюсти! Какой онъ смотритель-съ! Онъ сейчасъ же первымъ дѣломъ всю провизію съ базара къ себѣ притащитъ-съ! Послѣдствіемъ же сего явятся недоимщики-съ. Станутъ говорить: оттого мы податей не платимъ, что помпадуршинъ отецъ имѣніе наше грабитъ. Въ какомъ я тогда положеніи буду? Недоимщиковъ сѣчь — неправильно-съ; родителя вашего казнить — пріятно ли для васъ будетъ?

— Голубчикъ! да вѣдь онъ слѣпенькій, куда ему за провизіей гнаться! Ему бы жалованье-то получать!

— Это ничего, что слѣпенькій: услышитъ, чѣмъ пахнетъ — прозритъ-съ! А хоть бы и насчетъ жалованья — вы думаете, жалованье-то съ неба падаетъ?

— Ну его!

— Нѣтъ-съ, оно не съ неба-съ, а все съ тѣхъ же сходитъ, которые вотъ поросятами да индѣйками насъ кормятъ-съ! Я это, въ кадетскомъ корпусѣ обучаясь, очень твердо узналъ-съ!

Но размолвки подобнаго рода происходили рѣдко и тотчасъ же прекращались, ибо какъ онъ только начиналъ обнаруживать величіе души, она перемѣняла разговоръ и начинала допытываться, за что онъ ее, бабу, любитъ. Тогда

вновь начиналось подробное разсмотрѣніе этого вопроса, и всѣ недоумѣнія прекращались сами собою.

Среди отдохновеній онъ нерѣдко вступалъ съ нею и въ административные разговоры, всегда въ полной увѣренности, что воззрѣнія ея вполнѣ соотвѣтствуютъ его собственнымъ воззрѣніямъ.

— Вчера ко мнѣ вора привели,—говорилъ онъ: — да я его отпустилъ-съ.

— И Христосъ съ нимъ!—отвѣчала она.

— Я такъ на этотъ счетъ разсуждаю, что все это они дѣлаютъ съ голоду-съ.

— А то съ чего же! Безъ нужды да воровать! Тутъ стыда не оберешься! Я вотъ давно ужъ хочу тебя спросить: отчего между благородными меньше воровства, нежели, напримѣръ, между нашимъ братомъ, простымъ народомъ?

— Оттого, что у благороднаго болѣе благородныхъ чувствъ. Стыдится-съ. А тоже и между благородными бываетъ воровство, только, по обширности своей, не имѣетъ презрительнаго вида.

— Ахъ, грѣхи наши тяжкіе!—вздыхала она.

— Да-съ; я насчетъ этого еще въ кадетскомъ корпусѣ такую мысль получилъ: кто хочетъ по совѣсти жить, тотъ долженъ такъ это дѣло устроить, чтобъ не было совсѣмъ надобности воровать! И тогда все будетъ въ порядкѣ: квартальнымъ будетъ легко, и сѣчь не за что, и обыватели почувствуютъ себя въ безопасности-съ!

— Голубчикъ ты мой!—говорила она, смотря съ умиленіемъ ему въ глаза.

— Да-съ, я давно ужъ такъ думаю, и надѣюсь, что усилія мои не останутся безплодными. Главное въ этомъ дѣлѣ— имѣть въ виду, что воръ есть человѣкъ. Я самъ однажды такимъ манеромъ въ кадетскомъ корпусѣ булку у товарища уворовалъ... Что же-съ!

— И за что ты меня, простую бабу, полюбилъ!

Этимъ восклицаніемъ окончательно заключалось утреннее отдохновеніе. Онъ припоминалъ, что его ждутъ «дѣла», и съ облегченнымъ сердцемъ выходилъ на улицу.

Дѣятельность обывателей, управлявшихся около домовъ своихъ, веселила его. Когда онъ встрѣчался съ человѣкомъ, имѣющимъ угрюмый видъ, онъ не наскакивалъ на него съ восклицаніемъ: «что волкомъ-то смотришь?» — но думалъ про себя: «вотъ человѣкъ, у котораго, должно-быть,

на сердцѣ горе лежитъ!» Когда слышалъ, что обыватель предается звонкому и раскатистому смѣху, то также не обращался къ нему съ вопросомъ: «чего, каналья, пасть-то разинулъ?» — но думалъ: «вотъ милый человѣкъ, съ которымъ бы я охотно посмѣялся, если бы не былъ помпадуромъ!» Результатомъ такого образа дѣйствій было то, что обыватели начали смѣяться и плакать по своему усмотрѣнію, отнюдь не опасаясь, чтобы въ томъ или другомъ случаѣ было усмотрѣно что-либо похожее на непризнаніе властей.

Онъ любилъ, чтобъ квартальные были дѣятельны, но требовалъ, чтобъ дѣятельность эта доказывала только отсутствіе бездѣятельности. Когда онъ видѣлъ, что квартальный вдругъ куда-то поспѣшно побѣжитъ, потомъ остановится, понюхаетъ и, ничего не предпринявъ, тотчасъ же опять побѣжитъ назадъ — сердце его наполнялось радостью. Но и за всѣмъ тѣмъ не проходило минуты, чтобъ онъ не кричалъ имъ вслѣдъ:

— Тише! тише! не заѣзжать!

Сначала квартальнымъ было трудно воздерживаться отъ заѣзжаній, ибо они были убѣждены, что заѣзжаніе представляетъ своего рода упрощеніе формъ и обрядовъ дѣлопроизводства; но такъ какъ они были легковѣрны (исключительно, впрочемъ, въ сношеніяхъ съ начальствомъ), то ему не стоило почти никакого труда увѣрить ихъ, что «незаѣзжаніе» составляетъ форму дѣлопроизводства еще болѣе упрощенную, нежели даже «заѣзжаніе».

— Исторія, господа, никогда не останавливается, но непрерывно идетъ впередъ, — сказалъ онъ имъ. — Сначала люди жили въ дикости и не имѣли никакого дѣлопроизводства, а потому каждый заѣзжалъ каждому по мѣрѣ возможности. Потомъ это бросили, ибо исторія прослѣдовала впередъ-съ. Явились подьячіе, стрикулисты, кляузники, которые, отмѣнивъ заѣзжаніе, стали язвить посредствомъ проторей и убытковъ. Но для многихъ и это было неудобно, ибо время проходило въ волокитѣ, а притомъ же и исторія вновь прослѣдовала впередъ-съ. Тогда опять прибѣгли къ «заѣзжанію», какъ къ формѣ, оставляющей для заѣзжающихъ наиболѣе досуга, и такъ какъ общество постепенно разрасталось, то представилась необходимость раздѣлить его членовъ на заѣзжателей и заѣзжаемыхъ. Такъ ли я, господа, говорю?

— Такъ точно-съ! истинная правда-съ! — кричали въ

отвѣтъ квартальные, при чемъ нѣкоторые, однакожъ, вздыхали.

— Ну-съ, а теперь я вамъ объясню, почему и эта послѣдняя форма дѣлопроизводства оказывается нынѣ уже неудовлетворительною. Когда вы заѣзжали, милостивые государи, вамъ казалось, что вы совершали судъ скорый — это такъ. Но все же вы тратили на это не мало времени и, кромѣ того, испытавали неудовлетвореніе при видѣ побитыхъ носовъ. Затѣмъ вы горячились, выходили изъ себя и мало-по-малу истощали свое здоровье. Я зналъ многихъ курьеровъ, которые буквально усѣяли дороги ямщичьими зубами, но какихъ всходовъ они отъ этого посѣва ожидали—это до сихъ поръ не открыто. Попробуйте теперича не заѣзжать совсѣмъ, и вы увидите, что свободнаго времени останется у васъ больше, жалованье вы будете получать все то же, обыватель же немедленно пріобрѣтетъ сытый видъ и, слѣдовательно, также получитъ средство удѣлять по силѣ-возможности. И вы, и обыватели — всѣ будутъ въ выгодѣ-съ!

И дѣйствительно, предсказаніе это исполнилось съ буквальною точностью: не только обыватели, но сами квартальные пріобрѣли сытый видъ и впослѣдствіи даже удивлялись, какъ имъ не приходила въ голову столь простая и ясная мысль, что лучшій способъ для пріобрѣтенія сытаго вида заключается именно въ воздержаніи отъ заѣзжаній. Какъ только это средство пущено во внутреннюю политику, какъ руководящее, то жиръ самъ собою нагуливается, покуда не сформируется совершенно лоснящійся отъ сытости человѣкъ.

Среди этихъ хлопотъ не забывалъ онъ и своего письмоводителя, особливо ежели послѣдній чересчуръ ужъ приставалъ къ нему съ заготовленными проектами донесеній и отношеній.

— Доселѣ я подписывалъ изъ десяти бумагъ одну,— говорилъ онъ ему: — теперь же рѣшился такъ: не подписывать ни одной! Пускай всѣ объ нашемъ городѣ позабудутъ-съ — только тогда мы благополучно почивать будемъ-съ.

И, видя выраженіе унынія на лицѣ письмоводителя, прибавлялъ:

— А жалованье вы будете получать попрежнему-съ.

Такимъ образомъ наступало время обѣда, когда онъ обыкновенно возвращался домой. Къ обѣду приглашался

письмоводитель и тотъ изъ квартальныхъ, который, на основаніи достовѣрныхъ фактовъ, могъ доказать, что онъ въ теченіе всего предшествующаго дня подлинно никого не обидѣлъ и никому не заѣзжалъ. Пища подавалась жирная и сдобная, и онъ ѣлъ охотно, но вина остерегался и пилъ только квасъ.

— Вино — такая вещь, господа, — говорилъ онъ: — что мало выпить его невозможно, а много выпьешь — еще больше захочется. А выпивши—особливо если кто въ помпадурскомъ званіи состоитъ—непремѣнно кого-нибудь обидишь. А потому я не пью, хотя другимъ препятствовать не желаю: пусть кушаютъ на здоровье!

Послѣ обѣда, по краткомъ отдохновеніи, онъ отправлялся въ рощу и слушалъ щебечущихъ снѣгирей. Онъ не только не боялся ихъ, но всячески старался приручить. И точно: какъ только онъ появлялся въ рощѣ, они стаями слетались къ нему, садились на плечи и на голову и клевали изъ рукъ моченый бѣлый хлѣбъ.

— Ахъ вы, бунтовщики мои, — говорилъ онъ какъ-то жалостливо:—между собой-то вы, милые, мирно ли живете?

Затѣмъ опять возвращался въ городъ, повторяя по пути квартальнымъ:

— Тише! тише! не заѣзжайте!

Наступалъ вечеръ; на землю спускались сумерки; въ домахъ зажигались огни. Выслушавъ перечень добрыхъ дѣлъ, совершенныхъ въ теченіе дня квартальными надзирателями, онъ отправлялся въ клубъ, гдѣ приглашалъ предводителя идти съ нимъ по стезѣ добродѣтели. Предводитель подавался туго, но такъ какъ поставленныя ему на видъ выгоды были до того ясны, что могли убѣдить даже малаго ребенка, то и онъ, наконецъ, уступилъ.

— Вы возьмите, какая это пріятность,—говорилъ *онъ*:— ежели вы теперича мужичку рубль простите, онъ навѣрное вамъ на три рубля сработаетъ, да, кромѣ того, свою любовь задаромъ вамъ подаритъ!

— Это что говоритъ! — колебался предводитель:—благодарности въ нихъ пропасть—это вѣрно!

— А тамъ, смотришь, индюшечка-съ, курочка-съ, яичекъ десяточекъ: самъ не съѣстъ—все вамъ-съ!

— Это такъ! — повторялъ предводитель уже утвердительно, и тотчасъ же шелъ на базаръ и давалъ мужику рубль. Но такъ какъ онъ былъ даже простодушнѣе самого помпадура, то тутъ же прибавлялъ: — Ты смотри, я тебѣ

рубль подарилъ, а ты мнѣ на три сработай, да сверхъ того люби!

Однимъ словомъ, не только между купцами и мѣщанами, но даже въ клубѣ сумѣлъ *онъ* поселить миръ и любовь, и притомъ безъ всякихъ мѣръ строгости, съ помощью одного неизреченнаго своего простодушія.

Позднѣе, когда городъ уже стихалъ совершенно, онъ вновь отправлялся въ Разъѣзжую слободку; но такъ какъ квартальные спали воистину, то никто не слышалъ, какъ изъ открытаго окна веселенькаго домика вылетало восклицаніе:

— И за что̀ ты меня, бабу, любишь?!.

Дни проходили за днями; городъ былъ забытъ. Начальство, не получая ни жалобъ, ни рапортовъ, ни вопросовъ, сначала заключило, что въ городѣ все обстоитъ благополучно, но потомъ, мало-по-малу, совершенно выпустило его изъ вида, такъ что даже не помѣстило въ списокъ населенныхъ мѣстъ, доставляемыхъ въ Академію Наукъ для календаря.

Помпадуръ торжествовалъ; помпадурша сдѣлалась поперекъ себя шире, но все еще не утратила плѣнительности. Въ теченіе десяти лѣтъ не случилось ни одного возстанія; снѣгири постепенно старѣлись и плодили другихъ снѣгирей; но и эти, подобно родителямъ, порхали лишь съ вѣтки на вѣтку, услаждая обывательскій слухъ своимъ щебетаньемъ и отнюдь не думая о революціяхъ; обыватели отъѣлись, квартальные отъѣлись, предводитель просто задыхался отъ жира. Одно было у всѣхъ на умѣ: заживо поставить помпадуру монументъ.

И вдругъ все это блаженство рушилось въ одну минуту, благодаря ничтожнѣйшему обстоятельству.

Помпадуръ совершилъ не все. Онъ позабылъ отвести отъ города пролегавшій черезъ него проѣзжій трактъ.

Въ одно прекрасное утро на стогнахъ города показался легкомысленнаго вида человѣкъ, который, со стеклышкомъ въ глазу, гулялъ по городу, заходилъ въ лавки, нюхалъ, прицѣнивался, разспрашивалъ. Хотя основательные купцы на всѣ его вопросы давали одинъ отвѣтъ: «проваливай!», но такъ какъ онъ и затѣмъ не унимался, то сочтено было за нужное предупредить объ этомъ странномъ обстоятельствѣ квартальныхъ. Квартальные, въ свою очередь, бросились къ градоначальнику.

— Открыли-съ! насъ открыли!—кричали они впопыхахъ.

Онъ поблѣднѣлъ, однакоже, не потерялъ надежды спасти дѣло рукъ своихъ. Поспѣшно надѣлъ онъ на себя мундиръ, прицѣпилъ шпагу и отправился на базаръ отыскивать напугавшаго всѣхъ незнакомца.

— Кто вы таковы-съ? и не угодно ли пожаловать мнѣ вашъ видъ? — спросилъ онъ дрожащимъ отъ волненія голосомъ.

Незнакомецъ молча подалъ свою подорожную. Въ подорожной значилось: «NN, экспертъ отъ наукъ, отправляется по Россіи для изслѣдованія богатствъ, скрывающихся въ нѣдрахъ земли».

— Странно, что вашего города даже на географическихъ картахъ не значится!—замѣтилъ экспертъ отъ наукъ, пока *онъ* разсматривалъ подорожную.

— Ничего страннаго нѣтъ-съ! Сей городъ до настоящей минуты былъ самъ по себѣ столь благополученъ, что не было надобности ему о себѣ объявлять-съ!—отвѣчалъ онъ съ горечью и затѣмъ, не входя въ дальнѣйшія объясненія, повернулъ назадъ и пошелъ по направленію къ Разъѣзжей слободкѣ.

Происшествіе это въ свое время надѣлало очень много шуму, ибо въ нашъ просвѣщенный вѣкъ утерять изъ виду цѣлый городъ съ самостоятельною цивилизаціей и съ громадными богатствами въ нѣдрахъ земли—дѣло не шуточное. Прислана была слѣдственная комиссія, которая горячо принялась за дѣло и прежде всего изумилась крайнему изобилію совершенно сытыхъ и притомъ ручныхъ снѣгирей. Долго она старалась проникнуть въ тайну этого изобилія, но не добилась никакого другого результата, кромѣ того, который заранѣе былъ формулированъ самимъ помпадуромъ, а именно, что снѣгирь есть птица скромная и къ ученію склонная.

Другіе результаты, обнаруженные изслѣдованіемъ, были еще поразительнѣе. Оказалось:

1) что въ городѣ, въ теченіе десяти лѣтъ, не произошло ни одной революціи, тогда какъ до того времени не проходило ни одного года безъ возмущенія;

2) что въ продолженіе того же времени не было ни одного случая воровства;

3) что квартальные надзиратели сыты;

4) что обыватели сыты;

5) что въ теченіе послѣднихъ лѣтъ обыватели обнаружили склонность къ сооруженію монументовъ;

6) что слухъ о богатствахъ, скрывающихся якобы въ нѣдрахъ земли, есть не болѣе какъ выдумка, пущенная экспертомъ отъ наукъ въ видахъ легчайшаго полученія изъ казны прогонныхъ денегъ; въ городѣ же никто изъ жителей никакимъ укрывательствомъ никогда не занимался;

7) что всѣмъ симъ городъ обязанъ своему градоначальнику, Помпадуру 4-му.

Разсмотрѣвши дѣло и убѣдившись въ справедливости всего вышеизложеннаго, начальство не только не отрѣшило добраго помпадура отъ должности, но даже опубликовало его поступки и поставило ихъ въ примѣръ прочимъ. «Да вѣдомо будетъ всѣмъ и каждому,—сказано было въ изданномъ по сему случаю документѣ,—что лучше одного помпадура добраго, нежели семь тысячъ злыхъ имѣть», на основаніи того общепризнаннаго правила, что даже малый каменный домъ все-таки лучше, нежели большая каменная болѣзнь.

Что же касается собственно до города, то ему немедленно присланъ былъ отъ казенной палаты окладной листъ.

XII.—Мнѣнія знатныхъ иностранцевъ о помпадурахъ.

Заканчивая свои разсказы о «помпадурахъ»—разсказы, къ сожалѣнію, не исчерпывающіе и сотой доли помпадурской дѣятельности, я считаю, что будетъ умѣстно познакомить читателей съ тѣми впечатлѣніями, которыя производили мои герои на нѣкоторыхъ знатныхъ иностранцевъ, въ разное время посѣщавшихъ Россію.

Подобнаго рода свидѣтельствъ у меня подъ руками очень много; но я приведу здѣсь только четыре отрывка, наиболѣе подходящіе къ нашимъ литературнымъ условіямъ. Между прочимъ, я имѣю очень рѣдкую книгу, подъ названіемъ: «Путеводитель по русскимъ съѣзжимъ домамъ», соч. австрійскаго серба Глупчича-Ядрилича, пріѣзжавшаго вмѣстѣ съ прочими братьями-славянами, въ 1870 году, въ Россію, но не попавшаго ни въ Петербургъ, ни въ Москву, потому что соломенный помпадуръ подъ личною своею отвѣтственностью посадилъ его на все время торжествъ на съѣзжую. Сочиненіе это проливаетъ яркій свѣтъ не только на внутреннюю, но и на внѣшнюю политику помпадуровъ, и пере-

водъ его послужилъ бы немалымъ украшеніемъ для нашей небогатой литературы, но, къ величайшему сожалѣнію, я не могъ привести изъ него даже самомалѣйшаго отрывка, потому что книга эта безусловно запрещена цензурой... Этого примѣра, я полагаю, совершенно достаточно для читателя, чтобы понять, почему я былъ такъ умѣренъ въ моихъ выдержкахъ.

Затѣмъ, обращаясь къ издаваемымъ нынѣ отрывкамъ, я считаю долгомъ сказать о нихъ нѣсколько словъ.

Какъ и во всѣхъ сочиненіяхъ иностранцевъ о Россіи, насъ прежде всего поражаетъ въ нихъ какое-то неисправимое легковѣріе. Такъ, напримѣръ, князь де-ля-Кассонадъ очень серьезно разсказываетъ, что нѣкоторые помпадуры смѣшили императора Сулука съ королевою Помарѣ, а другой путешественникъ, Шенапанъ, увѣряетъ, будто въ Россіи преподается особенная наука, подъ названіемъ: «Zwon porёta razdawaïss». Ясно, что оба эти лица были жертвою мистификаціи со стороны своихъ амфитріоновъ-помпадуровъ, которые, по прискорбному русскому обычаю, нашли для себя забавнымъ разсказывать иностранцамъ разныя небылицы о своемъ отечествѣ.

Сверхъ того, по обыкновенію всѣхъ иностранцевъ, цитируемые мною авторы очень часто впадаютъ въ преувеличенія и выказываютъ при этомъ колоссальнѣйшее невѣжество...

Я не счелъ, однакожъ, нужнымъ останавливаться на этихъ недостаткахъ, ибо для насъ, русскихъ, самыя преувеличенія иностранцевъ очень поучительны. Читая разсказываемыя про насъ небылицы, мы, во-первыхъ, выносимъ убѣжденіе, что иностранцы—народъ легкомысленный и что, слѣдовательно, въ случаѣ столкновенія, съ ними очень не трудно будетъ справиться. Во-вторыхъ, мы получаемъ увѣренность, что перьями ихъ руководитъ дурное чувство зависти, не прощающее Россіи той глубокой тишины, среди которой происходитъ ея постепенное обновленіе.

Въ самомъ дѣлѣ, представляли ли когда-либо лѣтописи Лаишева, Пошехонья, Сапожка и др. что-нибудь подобное тому, что происходило недавно въ заштатномъ городѣ Висбаденѣ по случаю возвышенія цѣнъ на пиво? Нѣтъ, ничего подобнаго не было, да и не могло быть, потому что и пошехонцы, и лаишевцы слишкомъ хорошо понимаютъ, что цѣны Богъ строитъ, и подъ сѣнію этой пословицы постепенно обновляются. Висбаденцы же ничего этого не знаютъ,

а потому нечего удивляться, что для нихъ всѣ пути къ обновленію закрыты. Ибо какое можетъ быть «обновленіе», когда на улицахъ идетъ шумъ и гвалтъ, за которымъ ни одной пословицы даже разслышать нельзя?

Иностранцы сознаютъ это преимущество лапшевцевъ и белебеевцевъ и завидуютъ. Они понимаютъ, что̀ означаетъ эта тишина и чѣмъ она пахнетъ для висбаденскихъ нарушителей спокойствія, если пошехонцамъ вздумается вразумлять ихъ.

Но встрѣчается въ этихъ невѣжественныхъ разсказахъ и нѣчто такое, надъ чѣмъ можно серьезно задуматься.

Завидуя нашей тишинѣ, иностранцы не безъ ядовитости указываютъ, что мы сами какъ бы тяготимся ею. Что у насъ, среди глубокаго мира, отъ времени до времени трубятъ рога и происходятъ такъ-называемыя усмиренія (répression de la tranquillité). Мало того, нѣкоторые даже прямо утверждаютъ, будто у насъ существуетъ особенное сословіе помпадуровъ, котораго назначеніе въ томъ именно и заключается, чтобы нарушать общественную тишину и сѣять раздоры съ цѣлью успѣшнаго ихъ подавленія. Не безъ иронiи говорятъ они о недостаточной развитости нашихъ помпадуровъ и о происходящей отселѣ безпорядочной, судорожной дѣятельности ихъ. Дѣятельность эту они сравниваютъ съ безцѣльнымъ мельканіемъ въ пустомъ пространствѣ—мельканіемъ, которое на первый взглядъ можетъ показаться смѣшнымъ, но которое, при безпрестанномъ повтореніи, дѣлается почти обременительнымъ...

Повторяю: все это въ высшей степени преувеличено и до безконечности невѣжественно; но даже сквозь эти смѣшныя преувеличенія сквозитъ какой-то намекъ на реальность, которымъ не излишне воспользоваться. Всякому, напримѣръ, извѣстно, что главное побужденіе, руководящее помпадурскими дѣйствіями, составляетъ чрезмѣрная ревность къ охраненію присвоенныхъ помпадурамъ правъ и преимуществъ (прерогативъ). Въ сущности, побужденіе это, конечно, очень похвально, но надо сознаться, что, тѣмъ не менѣе, оно нимало не способствуетъ ни возникновенію новыхъ плодотворныхъ жизненныхъ явленій, ни производству новыхъ цѣнностей. Поэтому было бы не только не вредно, но даже полезно, чтобы на практикѣ эта ревность проявлялась лишь въ той мѣрѣ, въ какой она не служитъ помѣхой мирнымъ гражданамъ въ ихъ мирныхъ занятіяхъ. Если человѣкъ исключительною задачею своей жизненной дѣятель-

ности поставляетъ огражденіе своихъ правъ (какъ напримѣръ, права принимать по праздникамъ поздравленія, права идти въ первой парѣ, когда балъ открывается польскимъ, и т. д.), то результатомъ его усилій можетъ быть только огражденіе правъ, и ничего больше. Положимъ, это будетъ дѣятельность, въ своемъ родѣ, почтенная, но все-таки никакого оплодотворенія изъ нея произойти не можетъ. А помпадуры этимъ именно и грѣшатъ. Ограждая свои права, они забываютъ, что у нихъ есть и обязанности, изъ коихъ главнѣйшая — не отвлекать обывателей слишкомъ усиленными поздравленіями отъ другихъ занятій, которыя тоже могутъ быть названы небезполезными.

А грѣшатъ они потому, что не знаютъ наукъ. Я, конечно, далекъ отъ того, чтобы вмѣстѣ съ мосьё Шенапаномъ утверждать, будто въ нашихъ кадетскихъ корпусахъ преподается только одна наука «Zwon popéta rasdawaïss», но все-таки позволяю себѣ думать, что на воспитаніе помпадуровъ не обращено должнаго вниманія. Дюссо, Борель, Минерашки, театръ Берга—все это школа слишкомъ недостаточная! Если-бъ они знали, напримѣръ, исторію, то помнили бы анекдотъ о персидскомъ царѣ, который, ограждая свои права, высѣкъ море, но и за всѣмъ тѣмъ не могъ побѣдить горсти храбрыхъ грековъ. Если-бъ они знали статистику и политическую экономію, то поняли бы, что обывательская спина не всегда служитъ вѣрнымъ обезпеченіемъ для наполненія казны кредитными билетами. Если-бъ имъ не чужда была юриспруденція, то они знали бы, что излишнее огражденіе собственныхъ личныхъ правъ всегда ведетъ къ нарушенію правъ другихъ; это же послѣднее, въ свою очередь, влечетъ за собою если не непремѣнное возстановленіе нарушеннаго права, то, по крайней мѣрѣ, позывъ къ такому возстановленію. А за этимъ обыкновенно слѣдуетъ скандалъ, а иногда и наказаніе нарушителя по всей строгости законовъ.

Да, какъ это ни тяжело, но надо сознаться, что, даже для взысканія недоимокъ, науки — не безполезная вещь. Онѣ учатъ человѣка, что жизнь пережить — не поле перейти; онѣ заставляютъ его вникать въ смыслъ его поступковъ и даютъ ему нѣкоторыя хорошія привычки. Вотъ чего недостаетъ помпадурамъ и вотъ почему они считаютъ, что у нихъ нѣтъ никакихъ другихъ административныхъ задачъ, кромѣ огражденія присвоенныхъ имъ правъ и преимуществъ. Будучи удалены отъ наукъ, они не могутъ понять, что нѣ-

которая сумма знанія гораздо надежнѣе оградила бы эти права, нежели странное и далеко не всѣхъ настигающее слово: «фюить!»

Недостатокъ знаній порождаетъ чрезмѣрную требовательность; чрезмѣрная требовательность, въ свою очередь, порождаетъ подозрительность. Извѣстно, напримѣръ, съ какою охотою употребляютъ помпадуры такія слова, какъ «посягать», «подкапываться», «потрясать» и т. д., представляя высшему начальству, будто слова эти составляютъ обыденный лексиконъ наровчатскихъ, лукояновскихъ и другихъ обывателей. А между тѣмъ въ этихъ увѣреніяхъ заключается самая вопіющая неправда. Я, по крайней мѣрѣ, искренно убѣжденъ, что никто даже не помышляетъ о томъ, чтобы оспаривать помпадурскія права, и что вся бѣда тутъ въ томъ, что не всякій можетъ эти права уловить. Отсюда— безконечное и довольно тягостное для обѣихъ сторонъ qui-pro-quo. Чаще всего помпадуръ и самъ хорошенько не знаетъ, въ чемъ состоятъ его требованія; но это незнаніе, вмѣсто того, чтобъ ограничить его, дѣлаетъ еще болѣе ненасытнымъ. Столь же часто бываетъ, что обыватель и готовъ бы, съ своей стороны, сдѣлать всякое удовольствіе, но, не зная, въ чемъ это послѣднее заключается, попадаетъ впросакъ, то-есть поздравляетъ тогда, когда не нужно поздравлять, и наоборотъ. А изъ этого происходитъ то, что одинъ невѣдомо что̀ предъявляетъ, а другой невѣдомо на что̀ посягаетъ. Явное недоразумѣніе, которое опять-таки будетъ устранено лишь тогда, когда наука прольетъ свой свѣтъ на запутанныя отношенія, существующія между помпадурами и обывателями, и сумѣетъ регламентировать ихъ.

Итакъ, въ отзывахъ иностранцевъ есть извѣстная доля правды. Но правда эта не должна огорчать насъ. Мы слишкомъ сильны, мы пользуемся слишкомъ несомнѣнною внутреннею тишиной, чтобы впадать въ малодушіе передъ лицомъ правды. Мы спокойно можемъ выслушать самую горькую истину, нимало не измѣняя присущему намъ сознанію нашихъ доблестей.

Притомъ же мы знаемъ, что у насъ есть испытанное средство помпадуровъ. Это средство: повышенія, перемѣщенія и увольненія, которыя очень достаточно гарантируютъ насъ.

Оговорившись такимъ образомъ, перехожу къ самымъ «мнѣніямъ» иностранцевъ. Мнѣнія эти переведены мною

прямо съ подлинниковъ и притомъ съ самою буквальною точностью. Разсказъ же татарина Хабибулы Науматулловича о пребываніи въ Россіи іомудскаго принца (такъ какъ существованіе племени іомудовъ не подлежитъ сомнѣнію, то я полагаю, что долженъ быть и іомудскій принцъ) напечатанъ мною съ оставленіемъ слога и подлинныхъ выраженій разсказчика.

«Impression de voyage et d'art», par le prince de la Cassonade, ancien Grand Veneur de S. M. l'Empereur Soulouque I, actuellement, grâce aux vicissitudes de la fortune, garçon en chef au Café Riche à Paris. Paris. Ledentu éditeur. 18**. Deux forts Vols. («Путевыя и художественныя впечатлѣнія», соч. князя де-ля-Кассонадъ, бывшаго оберъегермейстера Е. В. Императора Сулука I, а нынѣ, благодаря превратностямъ судебъ, главнаго гарсона въ кафе Ришъ въ Парижѣ).

«Когда я былъ командированъ моимъ всемилостивѣйшимъ государемъ и повелителемъ во Францію и Испанію для изученія способовъ дѣлать государственные перевороты, и въ Россію—для изученія способовъ взысканія недоимокъ, я встрѣтился въ этой послѣдней съ особенной корпораціей, которой подобной нѣтъ, кажется, въ цѣломъ мірѣ и которая чрезвычайно меня заинтересовала. Я говорю о помпадурахъ.

«Каждый изъ здѣшнихъ городовъ имѣетъ своего главнаго помпадура, которому подчинено нѣсколько второстепенныхъ помпадуровъ, у которыхъ, въ свою очередь, стоитъ подъ начальствомъ безчисленное множество помпадуровъ третьестепенныхъ, а сіи послѣдніе уже имѣютъ въ своемъ непосредственномъ завѣдываніи массу обывателей или чернь (la vile populace). Всѣ они составляютъ такъ-называемую бюрократическую армію и различаются между собою лишь болѣе или менѣе густымъ шитьемъ на воротникахъ и рукавахъ. Такъ какъ было бы тяжело и затруднительно изслѣдовать нравы всѣхъ этихъ разновидностей, то я, главнымъ образомъ, сосредоточилъ свое вниманіе на главныхъ помпадурахъ, потому что они представляютъ собой прототипъ, по которому можно безъ труда сдѣлать заключеніе и о прочихъ.

«Главные помпадуры избираются преимущественно изъ молодыхъ людей, наиболѣе способныхъ къ тѣлеснымъ упражненіямъ. На образованіе и умственное развитіе ихъ боль-

шого вниманія не обращается, такъ какъ предполагается, что эти лица ничѣмъ заниматься не обязаны, а должны только руководить. При этомъ имѣется, кажется, въ виду еще и та мысль, что науки вообще имѣютъ растлѣвающее вліяніе, и что, слѣдовательно, онѣ всего менѣе могутъ быть у мѣста тамъ, гдѣ требуются лишь свѣжесть и непреоборимость. И дѣйствительно, главные помпадуры живутъ въ столь безнадежномъ отъ наукъ отдаленіи, что нѣкоторые изъ нихъ не шутя смѣшивали моего всемилостивѣйшаго повелителя Сулука I съ королевою Помаре́, а сію послѣднюю—съ извѣстной парижской лореткой того же имени. Признаюсь, эти смѣшенія причиняли мнѣ не мало огорченій, и я не разъ вынуждался объявлять очень категорически, что повтореніе чего-либо подобнаго можетъ имѣть послѣдствіемъ серьезный casus belli.

«Преимущественное назначеніе главныхъ помпадуровъ заключается въ томъ, чтобы *препятствовать*. Несмотря, однакожъ, на мои усилія разъяснить себѣ, противъ чего собственно должна быть устремлена эта тормозящая сила,— я ничего обстоятельнаго по сему предмету добиться не могъ. На всѣ мои вопросы я слышалъ одинъ отвѣтъ: mais comment ne comprenez-vous pas ça? Изъ чего и вынужденъ былъ заключить, что, вѣроятно, Россія есть такая страна, которая лишь по наружности пользуется тишиною, но на самомъ дѣлѣ наполнена горючими веществами. Иначе какая же была бы надобность въ цѣлой корпораціи людей, которыхъ спеціальное назначеніе заключается въ принятіи прекратительныхъ мѣръ безъ всякихъ къ тому поводовъ?

«Такъ, напримѣръ, я съ любопытствомъ наблюдалъ однажды, какъ одинъ чрезвычайно вышитый помпадуръ усмирялъ другого менѣе вышитаго за то, что сей послѣдній не поздравилъ перваго съ праздникомъ. Клянусь, никогда королева Помаре́ (а кто же не знаетъ, до какой степени она неизящна въ своихъ выраженіяхъ?) не обращалась къ своему кучеру съ подобнымъ потокомъ высокоукоризненныхъ словъ! Когда же я позволилъ себѣ усомниться, чтобы обстоятельство столь неважное способно было возбудить столь сильный гнѣвъ, то расшитый помпадуръ взглянулъ на меня съ такимъ страннымъ видомъ, что я поспѣшилъ расклаяться, дабы не вышло изъ этого чего дурного для меня или для моего всемилостивѣйшаго повелителя. Въ другое время другой помпадуръ откровенно мнѣ сознавался, что онъ только и дѣлаетъ, что усмиряетъ бунты, при чемъ на-

звалъ мнѣ и имена главныхъ бунтовщиковъ: предсѣдателей окружного суда и мѣстной земской управы. А такъ какъ, не далѣе какъ за день передъ тѣмъ, я имѣлъ случай съ обоими бунтовщиками играть въ ералашъ и при этомъ не замѣтилъ въ ихъ образѣ мыслей ничего вреднаго, то и не преминулъ возразить негодующему помпадуру, что, по мнѣнію моему, оба названныя лица ведутъ себя скромно и усмиренія не заслуживаютъ. Но онъ, не желая ничего слушать, отвѣтилъ мнѣ, что все это—интрига, и что онъ, помпадуръ, не успокоится, покуда не раскроетъ въ подробности всѣ нити и корни оной. Я могъ бы разсказать здѣсь множество другихъ примѣровъ подобной же загадочной страсти къ усмиреніямъ, но полагаю, что и этихъ двухъ вполнѣ достаточно, тѣмъ болѣе, что причина этой усмирительной болѣзни и до-днесь остается для меня неразъясненною, а слѣдовательно, сколько бы я ни плодилъ фактовъ, въ основаніи ихъ все-таки будетъ лежать таинственное: mais comment ne comprenez-vous pas ça?—и ничего болѣе.

«Всю сумму своихъ административныхъ воздѣйствій помпадуры сумѣли сконцентрировать въ одномъ крошечномъ словѣ: «фюить!» и, кажется, это единственное слово, которое они умѣютъ произносить съ надлежащею ясностью. Все прочее принимаетъ въ ихъ устахъ форму невнятнаго бормотанія, изъ котораго трудно извлечь что-либо поучительное. Я тщетно усиливался доказывать, что слово «фюить», несмотря на удобства, доставляемыя его краткостью, все-таки никакихъ разрѣшеній не заключаетъ; въ отвѣтъ на мои доказательства я повсюду слышалъ одно: pour nous autres, c'est encore assez bon. Это, конечно, заставляло меня умолкать, ибо ежели люди сами признаютъ себя вполнѣ обезпеченными словомъ «фюить», то мнѣ, иностранцу (а тѣмъ болѣе имѣющему дипломатическое порученіе), разувѣрять ихъ въ томъ не приходится.

«Вообще у нихъ есть фаталистическая наклонность обратить міръ въ пустыню и совершенное непониманіе тѣхъ послѣдствій, которыя могутъ повлечь за собою подобное административное мѣропріятіе. Наклонность эту я готовъ бы назвать человѣконенавистничествомъ, если-бъ не имѣлъ безчисленныхъ доказательствъ, что въ основаніи всѣхъ дѣйствій и помысловъ помпадурскихъ лежитъ не жестокость въ собственномъ смыслѣ этого слова, а безграничное легкомысліе. Такъ, напримѣръ, когда я объяснилъ одному изъ

нихъ, что для нихъ же будетъ хуже, ежели міръ обратится въ пустыню, ибо некого будетъ усмирять и даже некому будетъ готовить имъ кушанье, то онъ съ невѣроятнымъ апломбомъ отвѣтилъ мнѣ: «тѣмъ лучше! мы будемъ ѣздить другъ къ другу и играть въ карты; а обѣдать будемъ ходить въ рестораны!» И я опять вынужденъ былъ замолчать, ибо какая же возможность поколебать эту непреоборимую вѣру въ какое-то провиденціальное назначеніе помпадуровъ, которая ни передъ чѣмъ не останавливается и никакихъ невозможностей не признаетъ!

«Вмѣстѣ съ невѣжественностью и легкомысленною страстью къ разрушенію, помпадуры въ значительной мѣрѣ соединяютъ и сластолюбіе. Обаяніе власти привлекаетъ къ нимъ сердца не весьма разборчивыхъ провинціальныхъ женщинъ, а корыстолюбіе мужей-чиновниковъ заставляетъ ихъ смотрѣть сквозь пальцы на продѣлки преступныхъ ихъ женъ. Тѣмъ не менѣе, я напрасно ожидалъ утонченности въ обращеніи помпадуровъ съ женщинами. Хотя всѣ они очень бѣгло говорятъ по-французски (впрочемъ, и тутъ больше въ ходу какой-то безсмысленный жаргонъ парижскихъ кафе-шантановъ, смѣшанный съ не менѣе безсмысленнымъ жаргономъ кокотокъ), но французская вѣжливость столь же чужда имъ, какъ и любому изъ парижскихъ cochers de fiacre. Неоднократно, приглашенный на вечера, на которыхъ присутствовали особенно преданная помпадурамъ молодежь и роскошнѣйшія женщины города, я ничего не видалъ, кромѣ безстыдныхъ жестовъ, которые даже меня, бывшаго оберъ-егермейстера моего всемилостивѣйшаго императора Сулука I, заставляли краснѣть. Въ этомъ заключалась вся веселость, вся аттическая соль этихъ вечеровъ. Я никогда не забуду, какъ одна изъ этихъ дамъ (замѣчательно, впрочемъ, красивая) распѣвала французскую пѣсенку: «et j'frotte et j'frotte—et allez donc!», сопровождая свое пѣніе такими оживленными тѣлодвиженіями, которымъ позавидовала бы любая chanteuse de cabaret. Помпадуръ сидѣлъ тутъ же и не только не унималъ безстыдницу, но даже хмурилъ брови всякій разъ, какъ она ослабѣвала. Въ другомъ городѣ другой помпадуръ повелъ меня въ купальную, въ стѣнѣ которой было очень искусно продѣлано отверстіе въ сосѣднее женское отдѣленіе, и заставилъ меня смотрѣть. Грѣшный человѣкъ, я посмотрѣлъ съ удовольствіемъ, но потомъ все-таки не могъ воздержаться отъ вопроса: какое же отношеніе все это можетъ имѣть къ администраціи?

«Въ заключеніе я долженъ сказать, что это—корпорація очень загадочная. Я не отрицаю въ помпадурахъ нѣкоторой дозы отваги, свидѣтельствующей о величіи души, но, къ сожалѣнію, долженъ сказать, что отвага эта растрачивается на такія дѣла, безъ которыхъ легко можно было бы обойтись. Таковы, напримѣръ: выбиваніе зубовъ у ямщиковъ во время ѣзды на почтовыхъ и проч. Съ грустнымъ чувствомъ оставилъ я эту страну, убѣдившись, что даже относительно взысканія недоимокъ она не представляетъ ничего новаго и поучительнаго для нашего любезнаго отечества.

«Но когда я, по долгу совѣсти, доложилъ о всемъ вышеизложенномъ моему всемилостивѣйшему императору и повелителю Сулуку I, то, къ величайшему моему огорченію и удивленію, услышалъ отъ него: «дуракъ! да намъ именно это-то и нужно!» Съ тѣхъ поръ мнѣ была объявлена немилость за непониманіе истинныхъ интересовъ моего повелителя, а потомъ начались и преслѣдованія, которыя разрѣшились изгнаніемъ изъ отечества. Нынѣ я состою въ качествѣ garçon en chef въ café Riche въ Парижѣ. Но, впрочемъ, не теряю надежды на Бога и Его всещедрую милость ко мнѣ. Ибо опала моя есть лишь плодъ недоразумѣнія; я же во всякое время готовъ и опять занять прежній свой постъ при моемъ всемилостивѣйшемъ повелителѣ, и даже, если ему будетъ угодно, устроить въ любезномъ отечествѣ точь-въ-точь такую же корпорацію помпадуровъ, какую я видѣлъ въ Россіи».

«Une triste histoire. Souvenirs d'un voyage dans les steppes du Nord», par Onésime Chenapan, ancien agent provocateur ayant servi sous les ordres de monseigneur Maupas, préfet de police. 1853. Paris. Librairie nouvelle. 1 vol. («Грустная исторія. Воспоминаніе о путешествіи въ сѣверныя степи». Соч. Онисимъ Шенапанъ, бывшій политическій сыщикъ, служившій подъ начальствомъ монсеньора Моná, префекта полиціи).

«Берусь за перо, чтобы разсказать, какимъ образомъ одинъ необдуманный шагъ можетъ испортить всю человѣческую жизнь, уничтожить всѣ ея плоды, добытые цѣною долгихъ униженій, повергнуть въ прахъ всѣ надежды на дальнѣйшее повышеніе въ избранной спеціальности и даже *отнять* у человѣка лучшее его право въ этомъ мірѣ—право

называться вѣрнымъ сыномъ святой римско-католической церкви!

«Все это сдѣлалъ надо мной одинъ праздный человѣкъ, назвавшій себя помпадуромъ, сдѣлалъ просто, естественно, безъ малѣйшихъ колебаній, не оставивъ въ моемъ сердцѣ ни малѣйшей надежды получить какое-либо вознагражденіе за причиненный мнѣ ущербъ!

«Юноша! ты, который читаешь эти омытыя слезами строки, внимательнѣе вдумайся въ ихъ содержаніе, и ежели когда-нибудь въ Closerie de lilas или въ иномъ подобномъ мѣстѣ тебѣ случится встрѣтиться съ человѣкомъ, именующимъ себя помпадуромъ—бѣги его. Ибо имя этому человѣку: жестокосердіе и легкомысліе!

. . . . . .

«Въ 1852 году, вскорѣ послѣ извѣстнаго декабрьскаго переворота, случай свелъ меня съ княземъ де-ла-Клюква (le prince de la Klioukwa), человѣкомъ еще молодымъ, хотя нѣсколько поношеннымъ (quelque peu taré), въ которомъ я по внѣшнему его виду и веселымъ манерамъ никогда не позволилъ бы себѣ предположить сановника. Оказалось, однако, что онъ былъ таковымъ.

«Встрѣча произошла въ одномъ изъ парижскихъ cafés chantants, которые я посѣщалъ по обязанностямъ службы, такъ какъ въ этихъ веселыхъ мѣстахъ преимущественно ютились заблуждающіеся молодые люди, не выказывавшіе безусловнаго довѣрія къ перемѣнѣ, происшедшей 2-го декабря. Тутъ же можно было найти и множество иностранцевъ, изучавшихъ Парижъ съ точки зрѣнія милой бездѣлицы.

«Разговоръ нашъ начался по поводу пѣсенки: «Ah! j'ai un pied qui r'mue», которая тогда только-что пошла въ ходъ и которую мастерски выполняла m-lle Rivière. Оказалось, что мой сосѣдъ (мы за однимъ столомъ, не торопясь, попивали наши petits verres) не только тонкій цѣнитель жанра, но и самъ очень мило исполняетъ капитальныя пьесы каскаднаго репертуара. Не могу сказать, почему, но, къ моему несчастію, я почувствовалъ какое-то слѣпое, безотчетное влеченіе къ этому человѣку, и послѣ бесѣды, продолжавшейся не больше четверти часа, откровенно сознался ему, что я agent provocateur, пользующійся особеннымъ довѣріемъ монсеньора Моnà. И, къ удивленію моему, онъ не только не бросился меня бить (какъ это почти всегда дѣлаютъ заблуждающіеся молодые люди), но даже проти-

нулъ мнѣ обѣ руки и, въ свою очередь, объявилъ, что онъ русскій и занимаетъ въ своемъ отечествѣ рангъ помпадура.

«— Я объясню вамъ впослѣдствіи,—сказалъ онъ при видѣ недоразумѣнія, выразившагося въ моемъ лицѣ:—въ чемъ заключаются атрибуты и предѣлы власти помпадурскаго ранга; теперь же могу сказать вамъ одно: никакая другая встрѣча не могла бы меня такъ обрадовать, какъ встрѣча съ вами. Я именно искалъ познакомиться съ хорошимъ, вполнѣ надежнымъ agent provocateur. Скажите: выгодно ваше ремесло?

«— Monseigneur,—отвѣчалъ я: — я получаю въ годъ 1.500 франковъ постояннаго жалованья и, сверхъ того, въ видѣ поощренія, особую плату за каждый доносъ.

«— Однакожъ... это не дурно!

«— Если-бъ я получалъ плату построчно, хотя бы наравнѣ съ составителями газетныхъ entrefilets—это было бы, дѣйствительно, не дурно: но въ томъ-то и дѣло, monseigneur, что я получаю мою плату поштучно.

«— Но, вѣроятно, къ Рождеству или къ Пасхѣ являются на выручку какіе-нибудь остаточки?

«— Никакъ нѣтъ, monseigneur. Всѣми остаточками безраздѣльно пользуются monseigneur Maupas и всемилостивѣйшій мой повелитель и императоръ Наполеонъ III. Единственнымъ подспорьемъ къ объясненному выше содержанію служитъ особенная сумма, назначаемая на случай увѣчій и смертнаго боя, очень нерѣдкихъ въ томъ положеніи, въ которомъ я нахожусь. 2-го декабря я буквально представлялъ собою сочащуюся кровью массу мяса, такъ что въ одинъ этотъ день заработалъ болѣе тысячи франковъ!

«— Тысячу франковъ... mais c'est très joli!

«— Но у меня есть престарѣлая мать, monseigneur, у меня есть дѣвица-сестра, которую я тщетно стараюсь пристроить!

«— Oh! quant à cela... чортъ ихъ подери!

«Это восклицаніе было очень знаменательно и должно бы предостеречь меня. Но Провидѣнію угодно было потемнить мой разсудокъ, вѣроятно для того, чтобы не помѣшать мнѣ испить до дна чашу уготованныхъ мнѣ истязаній, орудіемъ которыхъ явился этотъ ужасный человѣкъ.

«— Ну-съ, а теперь скажите мнѣ: случалось ли вамъ когда-нибудь—по обязанностямъ службы, s'entend — распечатывать чужія письма?—продолжалъ онъ послѣ минутнаго перерыва, послѣдовавшаго за его восклицаніемъ.

«— Очень часто, excellence!

«— Поймите мою мысль. Прежде, когда письма запечатывались простымъ сургучомъ, когда конверты не заклеивались по швамъ—это, конечно, было легко. Достаточно было тоненькой деревянной спички, чтобы навертѣть на нее письмо и вынуть его изъ конверта. Но теперь, когда конвертъ представляетъ массу почти непроницаемую... какимъ образомъ поступить? Я неоднократно пробовалъ употреблять въ дѣло слюну, но, признаюсь, усилія мои ни разу не были увѣнчаны успѣхомъ. Получатели писемъ догадывались и роптали.

«— А между тѣмъ нѣтъ ничего проще, excellence. Здѣсь мы поступаемъ въ этихъ случаяхъ слѣдующимъ образомъ: беремъ письмо, приближаемъ его къ кипящей водѣ и держимъ надъ паромъ конвертъ тою его стороною, на которой имѣются заклеенные швы, до тѣхъ поръ, пока клей не распустится. Тогда мы вскрываемъ конвертъ, вынимаемъ письмо, прочитываемъ его и помѣщаемъ въ конвертъ обратно. И никакихъ слѣдовъ нескромности не бываетъ.

«— Такъ просто—и я не зналъ! Да, французы во всемъ насъ опередили! Великодушная нація! какъ жаль, что революціи такъ часто потрясаютъ тебя! Et moi, qui, à mes risques et périls, me consumais à dépenser ma salive! Quelle dérision!

«— Но развѣ распечатываніе чужихъ писемъ входитъ въ ваши атрибуты, monseigneur?

«— Въ мои атрибуты входитъ все, что̀ касается внутренней политики, а въ особенности распечатываніе частныхъ писемъ и взысканіе недоимокъ (extorsion des nédoïmkas, une espèce de peine corporelle, en vigueur en Russie, surtout dans le cas où le paysan, par suite d'une mauvaise recolte, n'a pas de quoi payer les impôts). Знаете ли вы, однакожъ, мой новый другъ, что вы вывели меня изъ очень-очень большого затрудненія?

«Онъ съ чувствомъ пожалъ мнѣ руку и былъ такъ великодушенъ, что пригласилъ меня ужинать въ café Anglais, гдѣ мы почти до утра самымъ пріятнымъ образомъ провели время. Въ заключеніе онъ очень любезно предложилъ мнѣ сопутствовать ему въ его родныя степи, гдѣ, по словамъ его, представлялась для меня очень выгодная карьера.

«— Вы поѣдете со мной и на мой счетъ,—говорилъ онъ мнѣ:—жалованье ваше будетъ простираться до четырехъ сотъ франковъ въ мѣсяцъ; сверхъ того, вы будете жить у

меня и отъ меня же получать столъ, дрова и свѣчи. Обязанности же ваши отнынѣ слѣдующія: научить меня всѣмъ секретамъ вашего ремесла и разузнавать все, что говорится про меня въ городѣ. А чтобы легче достичь этой цѣли, вы должны будете посѣщать общество и клубы и тамъ притворно фрондировать противъ меня... Понимаете?

«Я былъ изумленъ и обрадованъ. O, ma pauvre mère! o, ma soeur, dont la jeunesse se consume dans la vaine attente d'un mari!..

«Но, несмотря на охватившее меня волненіе, я все-таки замѣтилъ нѣкоторую несообразность въ его предложеніи, которую и поспѣшилъ разъяснить.

«— Позволю себѣ одно почтительное замѣчаніе, monseigneur,—сказалъ я.—Вы изволили сказать, что я буду жить у васъ въ домѣ, и въ то же время предписываете мнѣ фрондировать противъ васъ. Хотя я и понимаю, что это послѣднее средство можетъ быть употреблено съ несомнѣнною пользой, въ видахъ направленія общественнаго мнѣнія, но, мнѣ кажется, не лучше ли въ такомъ случаѣ будетъ, если я поселюсь не у васъ, а на особенной квартирѣ—просто въ качествѣ знатнаго иностранца, живущаго своими доходами?

«— Это ничего,—отвѣтилъ онъ мнѣ съ очаровательной улыбкой.—Вы, пожалуйста, не стѣсняйтесь этимъ! У насъ въ степяхъ въ этомъ отношеніи такой обычай: гдѣ ѣдятъ, тамъ и мерзятъ, у кого живутъ, того и ругаютъ...

. . . . . .

«Я рѣшился.

«Разставаясь съ тобой, о, моя возлюбленная Франція я чувствовалъ, какъ сердце мое разрывается на куски!

«O, ma mère!

«O, ma pauvre soeur chérie!

«Но я сказалъ себѣ: oh! ma belle France! если только степь не поглотитъ меня, то я сколочу маленькій капиталецъ и заведу въ Парижѣ контору бракоразводныхъ и бракосводныхъ дѣлъ. И тогда ничто и никогда уже не разъединитъ насъ, о, дорогая, о, несравненная отчизна моя!

«Въ ожиданіи этой вожделѣнной минуты, я рѣшилъ все мое жалованье отдавать моей бѣдной матери. Самъ же предположилъ жить насчетъ постороннихъ доходовъ, въ которыхъ, при нѣкоторомъ съ моей стороны умѣньи и изобрѣтательности, несомнѣнно не будетъ у меня недостатка...

. . . . . .

«Дорогой князь былъ очень предупредителенъ. Онъ по-

стоянно сажалъ меня за одинъ столъ съ собою и кормилъ только хорошими кушаньями. Нѣсколько разъ онъ порывался подробно объяснить мнѣ, въ чемъ состоятъ атрибуты помпадурства; но, признаюсь, этими объясненіями онъ возбуждалъ во мнѣ лишь живѣйшее изумленіе. Изумленіе это усугублялось еще тѣмъ, что во время объясненій лицо его принимало такое двусмысленное выраженіе, что я никогда не могъ разобрать, серьезно ли онъ говоритъ, или лжетъ.

«— Званіе помпадура,—говорилъ онъ мнѣ:— почти не нужное; но именно эта-то ненужность и придаетъ ему то пикантное значеніе, которое оно имѣетъ у насъ. Оно не нужно, и между тѣмъ оно есть... Вы меня понимаете?

«— Не совсѣмъ, monseigneur!

«— Постараюсь высказаться яснѣе. У помпадура нѣтъ никакого спеціальнаго дѣла («лучше сказать, никакого дѣла», поправился онъ); онъ ничего не производитъ, ничѣмъ непосредственно не управляетъ и ничего не рѣшаетъ. Но у него есть внутренняя политика и досугъ. Первая даетъ ему право вмѣшиваться въ дѣла другихъ; второй—позволяетъ разнообразить это право до безконечности. Надѣюсь, что теперь вы меня понимаете?

«— Извините, excellence, но я такъ мало посвященъ въ пружины степной политики (la politique des steppes), что многаго не могу уразумѣть. Такъ, напримѣръ: для чего вы *вмѣшиваетесь* въ дѣла другихъ? Вѣдь эти «другіе» суть служители того же бюрократическаго принципа, котораго представителемъ являетесь и вы? Ибо насколько я понимаю конституцію степей...

«— Прежде всего—у насъ вовсе нѣтъ конституціи. Наши степи вольны... какъ степи или какъ тотъ вихрь, который гуляетъ по нимъ изъ одного конца въ другой. Кто можетъ удержать вихрь? спрашиваю я васъ. Какая конституція можетъ настигнуть его?—прервалъ онъ меня такъ строго, что я нѣсколько смѣшался и счелъ за нужное извиниться.

«— Я не такъ выразился, monseigneur,—сказалъ я:—я употребилъ слово «конституція» не въ томъ смыслѣ, въ какомъ вы удостоили принять его. По мнѣнію людей науки, всякое государство, однажды *конституированное*, уже тѣмъ самымъ заявляетъ, что оно имѣетъ свою *конституцію*... Затѣмъ, разумѣется, можетъ быть конституція вредная, но можетъ быть и полезная...

«— Все это прекрасно-съ, но я прошу васъ не употреблять въ нашихъ разговорахъ ненавистнаго мнѣ слова

«конституція»... никогда! Entendez-vous: jamais! Et maintenant que vous êtes averti, continuons.

«Итакъ, я сказалъ, что для меня непонятно, какое значеніе можетъ имѣть вмѣшательство однихъ бюрократовъ въ занятія другихъ бюрократовъ.

«Я готовъ былъ прибавить: «Быть-можетъ, вы дѣлитесь? Тогда—я понимаю? О, comme je comprends cela, monseigneur!» Но, не будучи еще на совершенно короткой ногѣ съ моимъ высокопоставленнымъ другомъ, воздержался отъ этого замѣчанія. Однакожъ, онъ, повидимому, понялъ мою тайную мысль, потому что покраснѣлъ какъ вареный ракъ и взволнованнымъ голосомъ воскликнулъ:

«— Я протестую всѣми силами души моей! Слышите: протестую!

«— Но въ такомъ случаѣ я, право, не понимаю, въ чемъ же состоитъ цѣль этого безпрерывнаго вмѣшательства?

«— Вы глупы, Chenapan! (Да, онъ сказалъ мнѣ это, несмотря на то, что въ то время былъ еще очень учтивъ относительно меня). Вы не хотите понять, что чѣмъ больше съ моей стороны вмѣшательства, тѣмъ болѣе я получаю правъ на вниманіе моего начальства. Если я усмирю въ годъ одну революцію—это хорошо; но если я усмирю въ годъ двѣ революціи—это ужъ отлично! И вы, который находитесь на службѣ у величайшаго изъ усмирителей революцій—вы не понимаете этого!

«— Я понимаю, я даже очень хорошо понимаю это, monseigneur! Но, признаюсь, я полагалъ, что положеніе вашего отечества...

«— Всѣ отечества находятся въ одномъ положеніи для человѣка, который желаетъ обратить на себя вниманіе начальства—vous m'entendez? Но это еще не все! Я имѣю и личное самолюбіе... sacrebleu! У меня есть внутренняя политика, у меня есть прерогативы! Я хочу проводить мой взглядъ... sapristi! Я желаю, чтобъ съ этими взглядами сообразовались, а не противодѣйствовали имъ! Это мое право... это, наконецъ, мой капризъ! Вы возлагаете на меня отвѣтственность... вы требуете отъ меня et ceci, et cela... позвольте же и мнѣ имѣть свой капризъ! Надѣюсь, что это не какая-нибудь чудовищная претензія съ моей стороны?

«— Но законъ, monseigneur? Какимъ образомъ примирить капризъ съ закономъ?

«— La loi! parlez-moi de ça! nous en avons quinze volumes, mon cher!

«На этомъ нашъ разговоръ пресѣкся. Какъ ни нова была для меня административная теорія, выразившаяся въ послѣднемъ восклицаніи моего собесѣдника, но, признаюсь откровенно, отвага, съ которою онъ выразился о законѣ, понравилась мнѣ. Хотя monseigneur Maupas нерѣдко говаривалъ мнѣ: «по нуждѣ, mon cher, и закону премѣна бываетъ», но онъ говорилъ это потихоньку, какъ бы боясь, чтобы кто-нибудь не услышалъ. И вдругъ—эта ясность, эта смѣлость, этотъ полетъ... какъ было не плѣниться ими! Казаки вообще отважны и склонны видѣть непріятеля даже тамъ, гдѣ мы, люди старой цивилизаціи, видимъ лишь покровительство и гарантію. Эти люди совсѣмъ свѣжіе, не имѣющіе ни одного изъ предразсудковъ, которые обременяютъ жизнь западнаго человѣка. Съ самою веселою непринужденностью смотрятъ они на такъ-называемыя нравственныя обязательства, но зато никто не можетъ сравниться съ ними относительно тѣлесныхъ упражненій, а за столомъ, за бутылкой вина, съ женщинами—это рѣшительно непобѣдимѣйшіе борцы (jouteurs) въ цѣломъ мірѣ. Я, напримѣръ, ни разу не видалъ моего амфитріона пьянымъ, хотя количество истребленныхъ имъ, въ моихъ глазахъ, напитковъ, поистинѣ, едва вѣроятно. Ни разу не сложилъ онъ оружія передъ непріятелемъ, и все дѣйствіе, оказываемое на него виномъ, ограничивалось перемѣною цвѣта лица и нѣсколько бо̀льшимъ одушевленіемъ, съ которымъ онъ начиналъ лгать (blaguer).

«Тѣмъ не менѣе, я долженъ сознаться, что значеніе, которое имѣютъ помпадуры въ русскомъ обществѣ, продолжало казаться для меня неяснымъ. Я не могъ себѣ представить, чтобы могла существовать гдѣ-нибудь такая административная каста, которой роль заключалась бы въ томъ, чтобы мѣшать (я считаю слово «вмѣшиваться» слишкомъ серьезнымъ для такого занятія), и которая на напоминаніе о законѣ отвѣчала бы: sapristi! nous en avons quinze volumes! Сомнѣнія мои я, впрочемъ, относилъ не къ собственной своей непонятливости, а скорѣе къ неумѣнію князя ясно формулировать свою мысль. Онъ самъ, какъ видно, не сознавалъ, въ чемъ состоитъ его административная роль, и это будетъ совершенно понятно, если мы вспомнимъ, что въ Россіи до сихъ поръ (писано въ 1853 году) разсадниками администраціи считаются кадетскіе корпуса. Въ этихъ заведеніяхъ молодымъ людямъ пространно преподаютъ одну только науку, называемую «Zwon popéta razdawaïss» (самъ

князь былъ очень веселъ, когда передалъ мнѣ это длинное названіе, и я увѣренъ, что ни въ какой другой странѣ Европы науки съ подобнымъ названіемъ не найдется); прочія же науки, безъ которыхъ ни въ одномъ человѣческомъ обществѣ нельзя обойтись, проходятся болѣе нежели кратко. Поэтому нѣтъ ничего мудренаго, что лица, получившія такое воспитаніе, оказываются неспособными выражать свои мысли связно и послѣдовательно, а отдѣлываются одними ничего не стоящими восклицаніями, въ родѣ: «sapristi», «ventre de biche», «parlez-moi de ça» и т. д.

«Только тогда, когда негостепріимная степь уже приняла насъ въ свои суровыя объятія, то-есть по прибытіи на мѣсто, я могъ хотя отчасти уразумѣть, что хотѣлъ выразить мой высокопоставленный амфитріонъ, говоря о своихъ прерогативахъ.

«Покуда мы еще не въѣхали въ предѣлы того края, въ которомъ помпадурствовалъ князь де-ла-Клюква, поведеніе его было довольно умѣренно. Онъ билъ ямщиковъ съ снисходительностью, о которой я могу отозваться лишь съ величайшею похвалою (я не говорю уже о поведеніи его за границей, гдѣ онъ былъ весь—утонченная вѣжливость). Но едва онъ завидѣлъ пограничный столбъ, указывавшій начало его владѣній, какъ тотчасъ же вынулъ изъ ноженъ свою саблю, перекрестился и, обращаясь къ ямщику, испустилъ крикъ, имѣвшій зловѣщее значеніе. Мы понеслись стрѣлою и какъ сумасшедшіе скакали всѣ пятнадцать верстъ, остававшихся до станціи. Но ему казалось, что его все еще недостаточно скоро везутъ, потому что онъ черезъ каждыя пять минутъ поощрялъ ямщика полновѣсными ударами сабли. Я никогда не видалъ человѣка до такой степени разсерженнаго, хотя причины его гнѣва не понималъ. Признаться, я сильно боялся, чтобъ во время этой бѣшеной скачки у нашего экипажа не переломилась ось, ибо мы несомнѣнно погибли бы, если бы это случилось. Но уговорить его не торопить ямщика было невозможно, потому что безумная ѣзда по дорогамъ есть одна изъ прерогативъ, за которую помпадуры особенно страстно держатся.

«— Я научу ихъ, какъ ѣздить... каналій!—твердилъ онъ, обращаясь ко мнѣ и какъ бы наслаждаясь страхомъ, который должна была выражать моя физіономія.

«И дѣйствительно, мы проѣхали нѣсколько болѣе двухсотъ верстъ въ теченіе двѣнадцати часовъ, и, несмотря на эту неслыханную быстроту, онъ приказывалъ на станціяхъ сѣчь ямщиковъ, говоря мнѣ:

«— C'est notre manière de leur donner le pourboire!

«Пріѣхавши въ главный городъ края, мы остановились въ большомъ казенномъ домѣ, въ которомъ мы буквально терялись какъ въ пустынѣ (князь не имѣлъ семейства). Было раннее утро, и мнѣ смертельно хотѣлось спать, но онъ непремѣнно желалъ, чтобы немедленно произошло офиціальное представленіе, и потому разослалъ во всѣ концы гонцовъ съ извѣстіемъ о своемъ прибытіи. Черезъ два часа залы дома уже были наполнены трепещущими чиновниками.

«Хотя и въ нашей прекрасной Франціи прерогативы играютъ немаловажную роль, но, клянусь, я никогда не могъ себѣ представить что-либо подобное тому, что я увидѣлъ здѣсь. У насъ слово «негодяй» (vaurien, polisson... и, къ несчастью, chenapan) есть высшая степень порицанія, которую можетъ заслужить провинившійся подчиненный отъ разсерженнаго начальника; здѣсь же, независимо отъ обильно расточаемыхъ личныхъ оскорбленій, принято еще за правило пріобщать къ нимъ родственниковъ оскорбляемаго въ восходящей степени. Князь былъ красенъ какъ ракъ и перебѣгалъ отъ одного подчиненнаго къ другому, источая цѣлые потоки дурной брани. Въ особенности же доставалось отъ него одному хромому маіору, котораго онъ иронически рекомендовалъ мнѣ: «вотъ мой Мопà». Я думалъ, не замышлялъ ли этотъ несчастный человѣкъ похитить, въ отсутствіе князя, его власть (что, конечно, оправдывало бы его гнѣвъ); но оказалось, что ничего подобнаго не бывало. Я до сихъ поръ не могу объяснить себѣ, что мотивировало тѣ прискорбныя сцены, которыхъ я былъ свидѣтелемъ въ это памятное для меня утро. Хотя же князь и объяснилъ ихъ желаніемъ оградить свои прерогативы, но и эта причина казалась недостаточною, ибо никто, повидимому, на эти прерогативы не посягалъ. Словомъ сказать, офиціальное представленіе кончилось къ полнѣйшему торжеству моего высокопоставленнаго амфитріона, который ходилъ по комнатамъ, выгнувъ шею, какъ конь, и гордо празднуя безъ труда одержанную побѣду.

«Только за обѣдомъ я успѣлъ нѣсколько опомниться. Было довольно весело, ибо здѣсь присутствовало нѣсколько фаворитовъ князя, молодыхъ людей, безспорно очень образованныхъ. Одинъ изъ нихъ, недавно возвратившійся изъ Петербурга, очень удачно представилъ, какъ m-lle Page*)

*) Извѣстная въ то время актриса французскаго театра въ Петербургѣ.—*Авт.*

на своихъ soirées intimes поетъ: «Un soir à la barrière». Пѣсенка эта, хотя далеко не новая и почти исчезнувшая изъ моей памяти, доставила мнѣ живѣйшее удовольствіе.

«Вечеромъ того же дня князь представилъ меня дамѣ своего сердца, которую онъ, незадолго передъ тѣмъ, отнялъ у одного изъ здѣшнихъ муниципальныхъ совѣтниковъ *). Роскошнѣйшая эта женщина произвела на меня глубокое впечатлѣніе, которое еще болѣе усилилось, когда нога моя почувствовала подъ столомъ давленіе ея ножки. Мужъ ея былъ тутъ же и очень смѣшилъ насъ своими шутками надъ обманутыми мужьями, изъ числа которыхъ онъ простодушно не исключалъ и самого себя. Нѣкоторыя изъ этихъ шутокъ, подъ личиною наивности, заключали въ себѣ настолько язвительности, что помпадуръ сердился и краснѣлъ. Но морганатическая его подруга, повидимому, уже привыкла къ подобнымъ сценамъ и присутствовала при нихъ совершенно какъ постороннее лицо.

«Веселый нашъ ужинъ приближался къ концу, какъ вдругъ прибѣжали доложить, что въ концѣ города вспыхнулъ пожаръ.

«— Ну, вотъ и прекрасно, — обратился ко мнѣ помпадуръ:—vous allez me voir à l'œuvre!

«Но я, признаюсь, былъ далеко не радъ, когда увидѣлъ (это было въ первый разъ со времени нашего знакомства), что князь совсѣмъ пьянъ. Близость ли любимой особы подѣйствовала на него возбуждающимъ образомъ, или это былъ непосредственный результатъ опьянѣнія властью— какъ бы то ни было, но онъ едва держался на ногахъ. Оказалось, однако, что и это послужило ему на пользу. Обыкновенно ни одинъ пожаръ не обходился безъ того, чтобы онъ кого-нибудь не прибилъ; теперь же онъ все время проспалъ и проснулся уже тогда, когда пламя было совершенно потушено.

«При возвращеніи съ пожара домой онъ такъ непріятно поразилъ меня, что сердце мое впервые болѣзненно сжалось, какъ бы подъ вліяніемъ какого-то темнаго предчувствія.

«— Ну-съ, господинъ Шенапанъ (онъ даже не скрывалъ, что дѣлаетъ изъ моей фамиліи очень обидную для меня игру словъ), понравилось *тебѣ* у меня? — обратился онъ ко мнѣ.

*) Очевидно, это ошибка: муниципальныхъ совѣтниковъ никогда въ Россіи не бывало.—*Авт.*

«Какъ ни больно кольнула меня эта предумышленная игра словъ, а равно и безцеремонное *ты*, обращенное ко мнѣ, человѣку совершенно посторонняго вѣдомства, однако, я чувствовалъ, что надобно покориться.

«— Я болѣе нежели очарованъ, monseigneur! — отвѣтилъ я.

«— Гм!.. желалъ бы я посмотрѣть, какъ бы ты не былъ очарованъ... прохвостъ (prakhvost)!

«Сказавши это, онъ такъ странно засмѣялся, что я тотчасъ же понялъ, что я нахожусь не въ гостяхъ, а въ плѣну.

«O, ma France bien aimée! O, ma mère!

. . . . . .

«Князь очень скоро научился у меня всѣмъ секретамъ ремесла; но по мѣрѣ того, какъ онъ тверже становился на ноги, я больше и больше падалъ въ его глазахъ. Первые два мѣсяца онъ очень аккуратно уплатилъ мое жалованье, но на третій мѣсяцъ прямо объявилъ мнѣ, что я и весь не стою двухъ су. Когда же я началъ умолять его, ссылаясь на престарѣлую мать и дѣвицу-сестру, у которой единственное сокровище на землѣ—ея добродѣтель, то онъ не только не внялъ голосу великодушія, но даже позволилъ себѣ нѣсколько двусмысленностей насчетъ добродѣтели моей доброй, бѣдной сестры.

«Въ ожиданіи, что Богъ просвѣтитъ его сердце, я долженъ былъ удовлетвориться тѣмъ, что мнѣ давали даромъ столъ и квартиру. Но и тутъ дѣло не обошлось безъ важныхъ оскорбленій. У меня отняли мою прежнюю постель и замѣнили ее чѣмъ-то такимъ, чему на нашемъ прекрасномъ языкѣ нѣтъ имени. За столомъ надо мной постоянно издѣвались, принявъ, такъ сказать, за правило называть меня прохвостомъ. Къ несчастью, я имѣлъ неосторожность проговориться, что меня бивали въ Парижѣ при исполненіи обязанностей, и этою ненужною откровенностью я самъ, такъ сказать, приготовилъ безконечную канву для разнообразнѣйшихъ и неприличнѣйшихъ шутокъ, съ которыми эти неизобрѣтательные сами по себѣ люди обращались ко мнѣ. Сверхъ того, меня каждый разъ непремѣнно оставляли безъ какого-нибудь блюда (обыкновенно, съ самою утонченною жестокостью, выбиралось то блюдо, которое я больше всего любилъ), и когда я жаловался на голодъ, то меня безъ церемоніи отсылали въ людскую. Но всего прискорбнѣе для меня было то, что при мнѣ оскорбляли моего все-

милостивѣйшаго повелителя и императора Наполеона III, а въ его лицѣ и мою прекрасную, дорогую Францію. Такъ, напримѣръ, спрашивали меня, правда ли, что Наполеонъ (они нарочно произносили это имя: Napoléosc'ikas—уменьшительное презрительное) торговалъ въ Лондонѣ гусями, или, правда ли, что онъ вмѣстѣ съ Морни содержалъ въ Нью-Іоркѣ домъ терпимости? и т. д. И всѣ эти легкомысленныя шуточки дѣлались въ то время, когда уже стоялъ на очереди грозный восточный вопросъ...

«Такъ продолжалось до осени. Наступали холода, а въ моей комнатѣ не вставляли двойныхъ рамъ и не приказали топить ее. Я никогда не принадлежалъ къ числу строптивыхъ, но при первомъ жестокомъ уколѣ холода и моя самоотверженность дрогнула. Тутъ только я убѣдился, что надежда на то, что Богъ просвѣтитъ сердце моего высокопоставленнаго амфитріона, есть надежда въ высшей степени легкомысленная и несбыточная. Скрѣпя сердце, я рѣшилъ оставить негостепріимныя степи, и явился къ князю съ просьбой снабдить меня хотя такою суммой, которая была нужна, чтобы достигнуть береговъ Сены.

«— Я уже не настаиваю на выдачѣ мнѣ должнаго, monseigneur,—сказалъ я:—на выдачѣ того, что я заработалъ вдали отъ дорогой родины, питаясь горькимъ хлѣбомъ чужбины...

«— И хорошо дѣлаешь, что не настаиваешь... chenapan!—замѣтилъ онъ холодно.

«— Я прошу только одной милости: снабдить меня достаточной суммой, которая позволила бы мнѣ возвратиться на родину и сбнять мою дорогую мать!

«— Хорошо, я подумаю... chenapan!

«Дни проходили за днями; мою комнату продолжали не топить, а онъ все думалъ. Я достигъ въ это время до послѣдней степени прострацiи и никому не жаловался, но глаза мои сами собой плакали. Будь въ моемъ положеніи послѣдняя собака—и та способна была бы возбудить сожалѣніе... Но *онъ* молчалъ!

«Впослѣдствіи я узналъ, что подобныя дѣйствія на русскомъ языкѣ называются «шутками»... Но если таковы ихъ *шутки*, то таковы же должны быть ихъ жестокости!

«Наконецъ, онъ призвалъ меня къ себѣ.

«— Хорошо,—сказалъ онъ мнѣ:—я дамъ тебѣ четыреста франковъ, но ты получишь ихъ отъ меня только въ томъ случаѣ, если перейдешь въ православную вѣру.

«Я съ удивленіемъ взглянулъ ему въ глаза, но въ этихъ глазахъ ничего не выражалось, кромѣ непреклонности, не допускающей никакихъ возраженій.

«Я не помню, какъ былъ совершенъ обрядъ... Я даже не увѣренъ, былъ ли это *обрядъ*, и не исполнялъ ли роль попа переодѣтый чиновникъ особыхъ порученій...

«Справедливость требуетъ, однакожъ, сказать, что по окончаніи церемоніи онъ поступилъ со мною какъ grand seigneur, т. е. не только отпустилъ условленную сумму сполна, но подарилъ мнѣ прекрасную, почти не ношенную пару платья и приказалъ везти меня безъ прогоновъ до границъ слѣдующаго помѣщичества. Надежда не обманула меня: Богъ хотя поздно, но просвѣтилъ его сердце!

«Черезъ двѣнадцать дней я былъ уже на берегахъ Сены и, вновь благосклонно принятый монсеньоромъ Моцà на службу, разгуливалъ по бульварамъ, весело напѣвая:

Les lois de la France,
Votre excellence!
Mourir, mourir,
Toujours mourir!

«O, ma France!
«O, ma mère!»

«La question d'Orient. Le plus sûr moyen d'en venir à bout». Par un Observateur Impartial. Leipzig. 1857. («Восточный вопросъ. Вѣрнѣйшій способъ покончить съ нимъ». Соч. Безпристрастнаго Наблюдателя. Лейпцигъ, 1857 *).

«Хочу разсказать, какъ одинъ мой пріятель вздумалъ надо мной пошутить, и какъ шутка его ему же во вредъ обратилась.

«На-дняхъ пріѣзжаетъ ко мнѣ изъ Петербурга К***, бывшій цѣловальникъ, а нынѣ откупщикъ и публицистъ. Обрадовались; сѣли, сидимъ. Зашла рѣчь о нынѣшнихъ дѣлахъ. Что и какъ. Многое похвалили, иному удивились, о прочемъ прошли молчаніемъ. Затѣмъ перешли къ братьямъ-славянамъ, а по дорогѣ и «больного человѣка» задѣли. Рѣшили, что надо пустить кровь. Переговоривъ

*) Подозрѣваютъ, что подъ псевдонимомъ «Безпристрастный Наблюдатель» скрывается одинъ знаменитый московскій археологъ и чревовѣщатель. Но такъ какъ подобное предположеніе ничѣмъ не доказано, то и этого автора я нашелся вынужденнымъ помѣстить въ число знатныхъ иностранцевъ.—*Авт.*

обо всемъ, вижу, что уже три часа, время обѣдать, а онъ все сидитъ.

«— Разскажи, говоритъ, какъ ты къ черногорскому князю ѣздилъ!

«Разсказалъ.

«— А не разскажешь ли, какъ ты съ Палацкимъ познакомился?

«Разсказалъ.

«— Такъ ты говоришь, что «больному человѣку» кровь пустить надо?

«— Непремѣнно полагаю.

«— А нельзя ли какъ-нибудь другимъ манеромъ его разорить?

«— Нельзя. Водки онъ не пьетъ.

«Бьетъ три съ половиной, а онъ все сидитъ. Зашла рѣчь о предсказаніяхъ и предзнаменованіяхъ.

«— Снилось мнѣ сегодня ночью, что я въ гостяхъ обѣдаю!—вдругъ говоритъ К***.

«Или, другими словами, прямо навязывается ко мнѣ на обѣдъ. Въ величайшемъ смущеніи смотрю на него, тщусь разгадать: какія еще новыя шутки онъ со мной предпринять выдумаетъ? Ибо, какъ человѣкъ богатый, онъ можетъ предпринять многое такое, что̀ другому и въ голову не придетъ. Однако, дѣлать нечего; слѣдуя законамъ московскаго хлѣбосольства, рѣшаюсь покориться своей участи.

«— Дома, говорю, у меня ничего не готовлено, а вотъ въ Новотроицкій, коли хочешь...

«Сказалъ это и испугался.

«— Въ Новотроицкій, такъ въ Новотроицкій, — говоритъ.—Только, чуръ, на твой счетъ. Мнѣ, братъ, сегодня такая блажь въ голову пришла: непремѣнно на твой счетъ обѣдать хочу.

«Дѣлать нечего, поѣхали.

«Выпили по рюмкѣ очищеннаго и съѣли по небольшому кусочку ветчины. Мало. А между тѣмъ, по непомѣрной нынѣшней дороговизнѣ, вижу, что уже за одно это придется заплатить не менѣе пятнадцати копеекъ съ брата.

«Тогда я счелъ, что съ моей стороны долгъ гостепріимства уже исполненъ, и что засимъ я имѣю даже право разсчитывать, что и онъ свой долгъ выполнитъ, то-есть распорядится насчетъ обѣда. Ничуть не бывало. Уже разсказалъ я ему и о томъ, какъ я у Ганки обѣдалъ, и о томъ, какъ едва не отобѣдалъ у Гоголя, а онъ все смѣется

и никакихъ распоряженій не дѣлаетъ. Тогда, дабы уничтожить въ душѣ его всякія сомнѣнія, я позвалъ полового и спросилъ у него счетъ.

«— А обѣдать-то какъ же?—спросилъ меня К***.

«— Я, съ своей стороны, сытёхонекъ!—отвѣтилъ я, едва, впрочемъ, скрывая терзавшій меня голодъ.

«Тогда онъ, весело расхохотавшись, сказалъ:

«— Ну, братъ, вижу, что тебя не побѣдишь! Вѣришь ли, всю дорогу, изъ Петербурга ѣхавши, я твердилъ себѣ: не все мнѣ его кормить! пообѣдаю когда-нибудь и я на его счетъ! Вотъ-те и пообѣдалъ!

«Затѣмъ, когда недоразумѣніе между нами кончилось, засѣли мы за столъ, при чемъ я, изъ предосторожности, завѣсилъ себѣ грудь салфеткою.

«Подавали: селянку московскую изъ свѣжей осетрины—прекрасную; котлеты телячьи паровыя—превосходныя; жаренаго поросенка съ кашей—отмѣннѣйшаго.

«Зная исправность моего желудка, я ѣлъ съ такимъ расчетомъ, чтобъ быть сытымъ на три дня впередъ.

«Наѣвшись, стали опять бесѣдовать о томъ, какъ бы «больного человѣка» подкузьмить, ибо хотя К*** и откупщикъ, но такъ какъ многіе ученые его гостепріимствомъ во всякое время пользуются, то и онъ между ними пріобрѣлъ нѣкоторый въ политическихъ дѣлахъ глазомѣръ.

«Прикладывали и такъ, и этакъ. Флотовъ нѣтъ—передъ флотами. Денегъ нѣтъ—передъ деньгами. Все будетъ, коли люди будутъ; вотъ людей нѣтъ—это такъ.

«Сидимъ. Повѣсили головы.

«Однакожъ, когда выпили нѣсколько здравицъ, то постепенно явились и люди.

«— Какъ людей нѣтъ! кто говоритъ, что людей нѣтъ! да вотъ его пошлите! его! Гаврилу! да!—кипятился К***, указывая на служившаго намъ полового.

«И затѣмъ, разгорячаясь по мѣрѣ каждой выпитой здравицы, онъ въ особенности началъ рекомендовать мнѣ нѣкоего N—скаго помпадура, Петра Толстолобова, какъ человѣка, которому даже и передъ Гаврилой предпочтеніе отдать можно.

«— Это такой человѣкъ!—кричалъ онъ:—такой человѣкъ! Географіи не знаетъ, ариѳметики не знаетъ, а кровь хоть кому угодно пуститъ! Самородокъ!

«— Поди, онъ, чай, и въ Стамбулъ-то доѣхать не сумѣетъ!—усомнился я.

«— Не сумѣетъ—это вѣрно!

«Задумались. Стали прикидывать, сколько у насъ самородковъ въ нѣдрахъ земли скрывается: наукъ не знаютъ, а кровь пустить могутъ!

«— Одна бѣда—какими способами его въ Стамбулъ водворить! Флотовъ нѣтъ, денегъ нѣтъ! — восклицалъ К***.

«— Чудакъ ты, братецъ, самъ же сейчасъ говорилъ, что флотовъ нѣтъ—передъ флотами!

«— Кто говорилъ, что флотовъ нѣтъ? Я, что ли, говорилъ, что флотовъ нѣтъ! Никогда! Я говорилъ...

«Выпили еще здравицу и послали Палацкому телеграмму въ Прагу. Заснули.

«Въ 12 ночи проснулись.

«— Я,—говоритъ К***:—удивительнѣйшій сонъ видѣлъ!

«И разсказалъ мнѣ, что во снѣ ему представилось, будто бы Толстолобовъ ужъ водворенъ въ Стамбулѣ и пускаетъ «больному человѣку» кровь.

«— И такъ, братецъ, онъ ловко...

«Но я, будучи трезвъ, отвѣтилъ на это:

«— Не всегда сны сбываются, другъ мой! Вотъ ты вчера видѣлъ во снѣ, что въ гостяхъ у меня обѣдаешь, а между тѣмъ кто изъ насъ у кого въ гостяхъ отобѣдалъ? По сему можешь судить и о прочемъ.

«Сказавши это, я вышелъ изъ трактира; онъ же остался въ трактирѣ, дабы на досугѣ обдумать истину, скрывавшуюся въ словахъ моихъ.

«Имѣяй уши слышати—да слышитъ!»

«Какъ мы везли Ямуцки принцъ Иззединъ-МузаферъМирза въ Россію». Писалъ съ натуры принцовъ воспитатель Хабибулла Науматуллович, бывшій служитель въ атель Бельвю (въ С.-Питимбурхи, на Невскимъ, противъ кіятра. Съ двухъ до семи обѣды по 1 р. и по 2 р. и по картѣ. Ужины. Завтраки) *). Изданіе Общества покровительства животнымъ.

«Въ пятницу, на масленой, только-что успѣли мы отслужить господамъ, прибѣжалъ въ нашъ атель Ахметка и говоритъ: — Хабибулла! можешь учить принца разумъ?— Я говорю: могу.—Айда, говоритъ, въ Касимовъ, бери плакатъ и ѣзжай въ Ямудію!

---

*) Какой странный воспитатель для молодого іомудскаго принца!— можетъ замѣтить читатель. Совершенно согласенъ съ справедливостью этого замѣчанія, но измѣнить ничего не могу.—*Авт.*

«Ѣзжалъ Касимовъ, биралъ плакатъ—айдà въ Ямудію!

«Ѣзжалъ тамошній сталица. Чуднòй городъ, весь изъ песку. Сичасъ къ прынцу.

«— Иззединъ-Музаферъ-Мирза!—говорю:—хозяинъ атель Бельвю (на самымъ Невскимъ, противъ кіятра, обѣды по 1 р. и 2 р. и по картѣ; ужины, завтраки) прислалъ мине тибе разумъ учить—айдà въ Питембурхъ!

«— Какой такой Питембурхъ?—говоритъ.

«Смѣшно мнѣ стало.

«— Балшой ты ишакъ выросъ, а Питембурхъ не знаешь!

«Согласился.

«— Айдà,—говоритъ:—тольки учи мине разумъ, Хабибулла! пожалста учи!

«Стали сбираться. Чимоданъ—нѣтъ; сакваяжъ—нѣтъ! Бида!

«— Есть ли,—говорю:—по крайности, орденъ у тебя? Наши господа ордена любятъ.

«— Есть,—говоритъ:—орденъ ишакъ. Самъ дѣлалъ.

«— Бери больше,—говорю.

«Ѣхали-ѣхали; плыли-плыли. Страсть!

«Пескамъ ѣхали, полямъ ѣхали, лѣсамъ, горамъ ѣхали. Морямъ плыли, заливамъ-праливамъ плыли, рѣкамъ плыли, озерамъ не плыли...

«Одначе, пріѣхали.

«— Какой такой страна?—спрашивалъ прынцъ.

«— Балшой ты ишакъ выросъ, а такой дурацкой вещь спрашиваешь. Не страна, а Рассея, говорю.

«— Учи мине разумъ, Хабибулла! пажалста учи!

«Ѣзжали одинъ городъ—одинъ помпадуръ стричалъ.

«— Какой такой человѣкъ?—говоритъ прынцъ.

«— Помпадуръ,—говоритъ.

«— Бери орденъ ишакъ и термалама на халатъ!

«Ишакъ бралъ, термалама бралъ, плечомъ цѣловалъ, ружьемъ стрѣлилъ... бида!..

«Другой городъ ѣзжали—другой помпадуръ стричалъ.

«— Бери орденъ ишакъ и термалама на халатъ!

«Ишакъ бралъ, термалама бралъ, плечомъ цѣловалъ, ружьемъ стрѣлилъ!

«Сто верстъ ѣзжали, тысячу верстъ ѣзжали—вездѣ помпадуръ стричали. Народъ нѣтъ, помпадуръ есть.

«— Хорошо здѣсь,—говоритъ прынцъ:—народъ не видать, помпадуръ видать—чисто!

«Въ Маршанскъ на машини ѣзжали—машина какъ

свиснетъ! Страсть! Забоялси нашъ Иззединъ-Музаферъ-Мирза, за животъ взялси.

«— Умрешь здѣсь,—говорилъ:—айда домой, въ Ямудію!

«Досадно мнѣ, ай-ай, какъ досадно стало!

«— Балшой,—говорю:—ты ишакъ выросъ, а до мѣста потерпѣть не можешь!

«Слышать не хочетъ—шабашъ!

«— Айда домой! Риформа дома дѣлать хочу!

«Одну только станцію на машини ѣзжали—айда назадъ въ Ямудію!

«Ѣхали-ѣхали; плыли-плыли.

«Одинъ городъ ѣзжали — одинъ помпадуръ стричалъ; другой городъ ѣзжали—другой помпадуръ стричалъ.

«Ишакъ давалъ, термалама не давалъ. Жалко стало.

«— Ай-ай, хорошо здѣсь!—говорилъ прынцъ:—народъ нѣтъ, помпадуръ есть—чисто! Айда домой риформа дѣлать.

«Домой ѣзжалъ, риформа начиналъ.

«Народъ гонялъ, помпадуръ сажалъ, риформа кончалъ».

1873 г.

САТИРЫ ВЪ ПРОЗѢ.

КЪ ЧИТАТЕЛЮ.

Еще не такъ давно (а можетъ-быть даже и совсѣмъ «недавно») мы не только со снисходительностью, но даже съ крайнимъ равнодушіемъ взирали на гражданскія и нравственныя убѣжденія людей, съ которыми намъ приходилось идти бокъ-о-бокъ въ обществѣ. Намъ сдавалось, что убѣжденія составляютъ нѣчто постороннее, сложившееся силою внѣшнихъ обстоятельствъ, силою фатализма, и отнюдь не причастное личной жизненной работѣ каждаго изъ насъ. Совѣсть наша затруднялась мало, смущалась еще менѣе. Если требовалось опредѣлить признаки извѣстнаго явленія, сдѣлать оцѣнку извѣстнаго поступка, мы, безъ излишнихъ хлопотъ, посылали эту покладистую совѣсть въ тотъ темный архивъ, въ которомъ хранилась попорченная крысами и побитая молью мудрость вѣковъ, и безъ труда отыскивали на пожелтѣвшихъ столбцахъ ея все, что было нужно для удовлетворенія неприхотливыхъ нашихъ потребъ.

Тамъ, въ этомъ мрачномъ хранилищѣ нашихъ жизненныхъ воззрѣній, лежали всегда готовыя къ нашимъ услугамъ связки старыхъ дѣлъ, надписи на которыхъ гласили: убѣжденія дворянскія, убѣжденія мѣщанскія, убѣжденія холопскія. Кодексъ мудрости, общежитія и приличій, кодексъ условной нравственности, условной истины и условной справедливости былъ весь тутъ налицо: стоило только заглянуть въ него, и мы навѣрное знали, какъ слѣдуетъ поступить намъ въ данномъ случаѣ, какъ слѣдуетъ вести себя вообще. Такимъ образомъ, мы узнавали, что дворянину не полагалось приличнымъ заниматься торговлею, промыслами, сморкаться безъ помощи платка и т. п., и не полагалось неприличнымъ поставить на карту цѣлую деревню и промѣ-

нять дѣвку Аришку на борзого щенка; что крестьянину полагалось неприличнымъ брить бороду, пить чай и ходить въ сапогахъ, и не полагалось неприличнымъ пропонтировать сотню верстъ пѣшкомъ съ письмомъ отъ Матрены Ивановны къ Авдотьѣ Васильевнѣ, въ которомъ Матрена Ивановна усерднѣйше поздравляетъ свою пріятельницу съ днемъ ангела и извѣщаетъ, что, слава Богу, здорова.

Въ эти недавнія счастливыя времена мы знакомились другъ съ другомъ, заводили дружескія связи, женились и посягали по соображеніямъ, совершенно не имѣющимъ никакого дѣла до убѣжденій. То-есть, коли хотите, они и были, эти убѣжденія, но то были убѣжденія затылка, убѣжденія брюшной полости, но отнюдь не убѣжденія мысли. Тотъ, напримѣръ, кто пилъ водку зорную и закусывалъ маринованнымъ грибкомъ, тотъ улыбался и подмигивалъ, и вообще чувствовалъ себя особенно радостно лишь при видѣ человѣка, который тоже предпочитаетъ зорную всякимъ другимъ настойкамъ и тоже закусываетъ грибкомъ. Между этими двумя индивидуумами была живая связь, существовала возможность обмѣна мыслей и чувствъ. Тотъ, кто игралъ въ ералашъ по три копейки, подыскивалъ себѣ въ общество такихъ именно людей, которые также играли въ ералашъ и также по три копейки, и на приверженцевъ преферанса смотрѣлъ хотя и не непріязненно, но и безъ сердечнаго участія. И всѣ убѣжденія заключались тутъ въ томъ, что одинъ игралъ рискованно, другой подсидисто, одинъ отъ туза-короля самъ-шестъ начиналъ ходить съ маленькой, другой же прямо лупилъ съ туза и короля.

Даже въ томъ безвѣстномъ, но крѣпко сплоченномъ духовными узами меньшинствѣ людей мыслящихъ, на которомъ съ любовью отдыхаетъ взоръ изслѣдователя явленій нашей общественной жизни, въ тѣхъ немногочисленныхъ кружкахъ, которые въ самыя безотрадныя эпохи исторіи, несмотря на существующую окрестъ слякоть и темень, все-таки прорываются тамъ и сямъ, какъ зеленѣющіе оазисы будущаго на песчаномъ фонѣ картины настоящаго, въ тѣхъ кружкахъ, гдѣ необходимость нравственнаго убѣжденія, какъ внутренняго смысла всей жизни, признается за безспорную истину, гдѣ члены относятся другъ къ другу, съ точки зрѣнія убѣжденій, съ крайнею строгостью и взыскательностью—даже тамъ существовала какая-то патріархальная снисходительность въ сужденіяхъ о лицахъ, стоящихъ внѣ жизни и условій кружка и пользующихся какимъ-

нибудь значеніемъ на поприщѣ общественной дѣятельности.

Говоря о NN, мы не давали себѣ труда изслѣдовать, какого разряда принципъ вноситъ въ общество дѣятельность этого человѣка, но справлялись единственно о томъ, добрый ли онъ малый, или злецъ. И если онъ оказывался добрымъ, то мы приходили въ восторгъ; а если еще при этомъ онъ пускалъ намъ въ носъ фразу, въ родѣ того, что «нельзя, господа, не сочувствовать тому честному направленію, которое характеризуетъ дѣятельность нынѣшняго молодого поколѣнія», то мы готовы были вылизать его всего, отъ головы до пятокъ.

Слѣдствіемъ такой патріархальной простоты нравовъ было то, что многіе люди, очень нелѣпые, пошли чуть не за геніевъ, многія рѣчи, очень глупыя, стали чуть не на ряду съ изреченіями мудрости. Попробовалъ бы кто-нибудь изъ «нашихъ» отпустить такую штуку, что «нельзя, дескать, не сочувствовать» и т. д.—всякій изъ здѣ-сидящихъ зажалъ бы ему уста, сказавши: «охота вамъ, почтеннѣйшій другъ, предаваться такому дремучему празднословію!»—но такъ какъ этимъ празднословіемъ занялся NN, существо, съ трудомъ выговаривающее пàпа и мàма, то въ его устахъ самый позывъ къ празднословію, болѣе или менѣе не изукрашенному обычными ингредіентами нашего древняго краснорѣчія, уже казался поступкомъ, который мы спѣшили запечатлѣть въ нашихъ благодарныхъ умахъ, гдѣ мы тщательно собирали лепестки для будущихъ вѣнковъ героямъ нашихъ сердечныхъ вожделѣній.

И мы, члены этого строгаго и взыскательнаго, члены этого поистинѣ нравственнаго меньшинства, до такой степени искренно восторгались убогими нашими героями, что потребность лизаться упорно засѣла въ насъ даже по сю пору, когда, повидимому, нѣтъ уже и побудительныхъ причинъ ни для лизанія, ни для телячьихъ восторговъ.

Ошибка горькая и обильная послѣдствіями самаго тлетворнаго свойства, ибо она отнимала у нашихъ убѣжденій ту безповоротную крѣпость и силу, безъ которой немыслимо никакое дѣятельное вліяніе на общество, ибо она была причиной безчисленныхъ стачекъ съ неправдою, безобразіемъ ходячей общественной нравственности, ибо она успокаивала насъ въ той пассивной роли наблюдателей-сводниковъ, которую мы сами себѣ навязали.

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, ошибка и не необъяснимая. Въ

самомъ дѣлѣ, къ чему прилѣпиться, какъ распознать истину отъ лжи, при существованіи всеобщей, почти эпидемической путаницы понятій и представленій? И какъ не примкнуть, напримѣръ, къ NN, который, по крайней мѣрѣ, умѣетъ конфузиться и краснѣть, тогда какъ рядомъ съ нимъ какой-нибудь ММ нахально несетъ свою плоскодонную морду, безнаказанно ставя ее поперекъ всему благородно мыслящему? Мысль человѣческая съ трудомъ выноситъ одиночество, а чувство и вовсе не терпитъ его. Это свойство человѣческой природы, эта общительность человѣка сообщаютъ нѣчто роковое всей его дѣятельности, вынуждая его, независимо отъ него самого, признавать за добро то, что въ сущности представляетъ собой лишь меньшую сумму зла. Сквозникъ-Дмухановскій не только во снѣ, но и наяву видѣлъ кругомъ себя только свиныя рыла: что мудренаго, что онъ и Хлестакова призналъ за человѣка? Наши публицисты такъ долго видѣли то же самое, что видѣлъ и вышеупомянутый градоначальникъ: что мудренаго, что въ настоящее время они съ остервенѣніемъ приглашаютъ сограждан лобзать даже въ такихъ случаяхъ, когда, по совѣсти, слѣдовало бы приглашать ихъ плевать?

Скажутъ, быть-можетъ: «зачѣмъ же члены этого добродѣтельнаго, этого взыскательнаго меньшинства не поищутъ образцовъ гражданской доблести среди самихъ себя, зачѣмъ они вторгаются въ ту сферу, гдѣ властвуютъ свиныя рыла?» Отвѣтъ на это простой; затѣмъ, что мысль человѣческая никакъ не можетъ признать кружка за міръ. Какъ бы ни были для насъ милы и симпатичны люди кружка, какъ бы хорошо ни чувствовали мы себя среди нихъ, все-таки мы не можемъ совершенно обрѣзать тѣ нити, которыя привязываютъ насъ къ міру, все-таки мы сознаемъ, что дѣло, настоящее дѣло—не въ кружкѣ, а внѣ его, и именно въ той темной области, въ которой живутъ и дѣйствуютъ Сквозники-Дмухановскіе.

Но въ особенности мудрено было не ошибиться въ выборѣ героевъ въ послѣднее время. Россіяне такъ изолгались въ какія-нибудь пять лѣтъ времени, что рѣшительно ничего нельзя понять въ этой всеобщей хлестаковщинѣ. Въ публичныхъ мѣстахъ нѣтъ отбоя отъ либераловъ всевозможныхъ шерстей, и только слишкомъ чуткое и привычное ухо, за шумихою пустозвонныхъ фразъ, можетъ подмѣтить старинную заскорузлость воззрѣній и какое-то лукавое, чуть сдерживаемое пріурочиваніе вопросовъ общихъ, историче-

скихъ къ пошленькимъ интересамъ скотнаго двора своей собственной жизни.

Ѣдете ли вы, напримѣръ, по желѣзной дорогѣ—присмотритесь, сдѣлайте милость, къ тому, что̀ кругомъ васъ дѣлается, прислушайтесь къ тому, что̀ говорится въ вагонахъ. И рѣчи, и морды—все, кажется, протестуетъ! И протестуетъ въ какомъ-то плюхо-просящемъ, минорномъ тонѣ, какъ будто такъ и суетъ всѣмъ и каждому и въ носъ, и въ ротъ, и въ глаза, что я, дескать, самъ по себѣ ничего, я червь, я слякоть, я клопъ постельный, а вотъ отечество-то за что̀ страдаетъ!

Вы входите въ вагонъ и садитесь на избранное вами мѣсто; передъ вами располагается почтенный старецъ, украшенный усами и словно чувствующій себя неловко въ новомъ партикулярномъ платьѣ, которое на немъ надѣто. Идетъ общая суматоха, всегда сопряженная съ первоначальнымъ прилаживаніемъ и усаживаніемъ; какая-то дама, вся блѣдная и разстроенная, чуть-чуть не каждому пассажиру готова пожаловаться, что ея Grégoire опять-таки потерялъ свой mouchoir de poche; какой-то господинъ съ крестомъ на шеѣ застѣнчиво увѣряетъ своего знакомаго, что онъ вообще орденовъ не носитъ, но въ дорогу всегда надѣваетъ крестъ, потому что у насъ безъ этого нельзя. Проходятъ еще нѣсколько почтенныхъ старцевъ, также съ усами и также въ новыхъ партикулярныхъ платьяхъ.

— Какъ, и вы тоже!—восклицаетъ вашъ сосѣдъ, ловя за руку одного изъ проходящихъ усачей.

— На травяное продовольствіе!—отвѣчаетъ проходящій и, уныло усмѣхнувшись, отправляется далѣе.

Но вотъ поѣздъ трогается. Быстро пролетаетъ передъ глазами пассажировъ всякая чушь и гиль: паршивые лѣсочки, чахлые лужочки, чуть дышащіе ручеечки. Сосѣда вашего замѣтно начинаетъ коробить.

— Ну, посмотрите, что-жъ это за пейзажъ такой!—обращается онъ къ вамъ съ какимъ-то желчнымъ озлобленіемъ.

Вслушайтесь въ его голосъ, и вы безъ труда поймете, что въ этомъ голосѣ есть трещина, и что въ этой трещинѣ засѣла кровная обида.

— Ну, на кой чортъ поѣздъ стоитъ здѣсь десять минутъ!—ораторствуетъ усачъ на одной изъ промежуточныхъ станцій.—За границей на обѣдъ только пять минутъ даютъ. Нѣтъ, видно, далеко еще намъ до нихъ!

И вплоть до самыхъ Ушаковъ не умолкаютъ бунтовскія

рѣчи усатаго сосѣда, и только великолѣпная вилла либеральнаго fermier Василія Александрыча Кокорева на минуту смягчитъ его непреклонное сердце и заставитъ раздвинуться густо разросшіяся его брови.

Для васъ этотъ усачъ—явленіе совершенно новое. Обращаясь къ воспоминаніямъ прожитыхъ лѣтъ, вы отыскиваете въ нихъ образцы усачей совершенно особаго рода, усачей съ клубами пѣны у рта, усачей не внимающихъ и не разсуждающихъ, усачей, снабженныхъ волчьей пастью и употребляющихъ лисій хвостъ лишь въ виду матеріальной, грубой силы, которая одна имѣла привилегію смирять ихъ бѣшенство. И вотъ сердце ваше начинаетъ мало-по-малу мякнуть и расползаться; вы съ любопытствомъ и даже съ пріятнымъ изумленіемъ прислушиваетесь къ бунтовскимъ рѣчамъ сосѣда, и находите, что онѣ... тово... такъ себѣ... ничего! Вы не замѣчаете ихъ нелѣпости и пустоты, вы оставляете безъ изслѣдованія даже ту трещину въ голосѣ, о которой говорено выше: до того васъ поражаетъ новость положенія и неожиданность встрѣчи съ старцемъ, который чѣмъ-то недоволенъ, который почему-то ругается, но ругается безъ прежнихъ раскатистыхъ переливовъ, въ которыхъ такъ и слышалось нахальство и сознаніе ничѣмъ не сокрушимой силы.

«Эге,—думаете вы:—вотъ оно что! Вотъ даже въ какія каменоломни пустили свои корни либеральныя тенденціи вѣка!»

И вслѣдствіе этого разсужденія начинаете смотрѣть на вашего сосѣда если не съ любовью, то непремѣнно съ отеческою снисходительностью. Смѣю, однакожъ, увѣрить васъ, что вы горько ошибаетесь, и что каменоломни все-таки остаются каменоломнями, несмотря ни на какія тенденціи вѣка.

Представьте себѣ, что въ то самое время, какъ вы услаждаете слухъ либеральными рѣчами сосѣда, въ вагонѣ, сверхъ чаянія, отыскивается такой шутникъ, прозорливый знатокъ надтреснутыхъ голосовъ и сердецъ человѣческихъ, который находитъ для себя забавнымъ высвистать мнимаго либерала. Вотъ онъ полегоньку подкрадывается къ нему, вотъ онъ шепчетъ ему на ухо:

— А знаете ли, Иванъ Антонычъ, сейчасъ получено извѣстіе, что князь Петръ Мартынычъ предлагаетъ вамъ занять мѣсто начальника таможеннаго округа?

Господи! какимъ пиковымъ валетомъ вывертывается

вдругъ Иванъ Антонычъ изъ своего либерализма! Какія муравы, какіе водопады внезапно начинаютъ вертѣться въ глазахъ его! И не придетъ ему даже въ голову, что полученное извѣстіе — пуфъ, что въ вагонѣ, и въ особенности «сейчасъ», невозможно было даже получить его!

— Вотъ и насъ, стариковъ, вспомнили! Вотъ и насъ, старыхъ слугъ, не забыли! — восклицаетъ онъ съ какимъ-то дѣтскимъ смѣхомъ, внезапно переходя изъ либерализма ругательнаго въ либерализмъ хвалительный.

Положительно завѣряю васъ, что если бы былъ просторъ и поднесъ ему Василій Александрычъ рюмочку, онъ охотно пустился бы въ-присядку.

А въ другомъ углу вагона завязывается, между тѣмъ, иного сорта либеральный разговоръ. Женоподобный, укутанный плэдами господинъ, какъ дважды два четыре, доказываетъ сидящему съ нимъ рядомъ путешественнику-французу, что мы отупѣли, и что причину этого отупѣнія слѣдуетъ искать въ непомѣрномъ преобладаніи бюрократіи и въ несносной страсти къ регламентаціи.

— Vous croyez donc que si l'on donnait plus d'essort à la libre initiative des poméschiks?..—спрашиваетъ французъ, который желаетъ показать, что онъ отлично-хорошо умѣетъ все понимать à demimots.

— Voilà!—отвѣчаетъ женоподобный господинъ.

— Monsieur est donc pour le système du selfgovernment?—продолжаетъ французъ.

— Voilà!—отвѣчаетъ женоподобный господинъ и горделиво оглядываетъ нищихъ духомъ, сидящихъ въ отдѣленіи вагона.

А нищіе духомъ разѣваютъ рты отъ умиленія и начинаютъ подозрѣвать, что между ними сидитъ, по малой мѣрѣ, самъ знаменитый публицистъ и защитникъ свободы Ржевскій, путешествующій инкогнито въ скромномъ образѣ господина Юматова (Юпитеръ въ образѣ лебедя).

Вы, конечно, не раздѣляете мнѣнія нищихъ духомъ; быть-можетъ, вы даже находите, что идея о помѣщичьемъ selfgovernment вовсе не такъ смѣла и нова, какъ кажется съ перваго взгляда, ибо она достаточно проявила свои достоинства въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій. Но благодушіе, при пособіи сравнительнаго метода и нѣкоторыхъ историческихъ воспоминаній, опять-таки беретъ верхъ надъ всѣми соображеніями. Вы не слыхали до сихъ поръ, чтобъ слово «selfgovernment» произносилось гдѣ-нибудь внѣ ва-

шего кружка, и вдругъ оно произносится громогласно — и гдѣ же?—въ вагонѣ! и кѣмъ же?—какимъ-то золотушнымъ отпрыскомъ нашихъ древнихъ псарей-богатырей! Вы готовы вообразить себя въ Икаріи, гдѣ безпечально ходятъ нагіе люди и непринужденно выбрасываютъ изъ себя всякій вздоръ, который взбредетъ имъ въ голову; вы отнюдь не хотите вѣрить, что находитесь въ любезномъ отечествѣ, гдѣ ходятъ все люди одѣтые, и гдѣ законами общежитія дозволяется изрекать только умныя рѣчи. Васъ это трогаетъ; въ порывѣ умиленія, вы не замѣчаете, что, въ сущности, васъ поражаетъ здѣсь не дѣло, а только звукъ; что точно такъ же смякло бы ваше сердце, если бы кто-нибудь изъ этихъ постороннихъ для васъ людей вдругъ произнесъ имя родной Заманиловки, гдѣ протекло ваше безмятежное дѣтство, и напомнилъ вамъ старую няню Іоновну, тѣшившую васъ сказочками про бабу-ягу костяную-ногу, про козляточекъ-маляточекъ... Что̀ за славная, что̀ за благодатная картина встала бы вдругъ въ душѣ вашей! Какимъ тепломъ, какою яркостью лучей и красокъ охватило бы все ваше существо! И съ какою любовью взглянули бы вы на этого незнакомца, который, самъ того не вѣдая, ударилъ по самой чувствительной струнѣ вашего сердца, который заставилъ васъ еще и еще разъ произнести: «о, моя юность! о, моя свѣжесть!»

Милостивый государь! слово, столь глубоко васъ тронувшее, имѣетъ въ настоящемъ случаѣ именно то самое значеніе, какое имѣло бы нечаянное упоминовеніе родной Заманиловки. Вся разница заключается только въ томъ, что чувствительность, проявляемая по поводу Заманиловки, весьма невинна и ни къ чему не обязываетъ, а чувствительность, проявляемая по поводу произнесеннаго въ упоръ хвастливаго словечка, весьма не похвальна, ибо, кромѣ неопрятности, производимой глазами и носомъ, ведетъ къ затменію и страшной путаницѣ.

Я знаю, вы утѣшаете себя мыслью, что еще немножко, еще одну капельку—и золотушный юноша самъ собой станетъ на ту прямую дорогу, которая такъ складно рисуется въ вашемъ воображеніи. Анъ, нѣтъ, онъ гораздо дальше отъ этой прямой дороги, нежели его предки, псари-богатыри. Тѣ просто ломили себѣ впередъ, какъ ломитъ впередъ Михайло Иванычъ Топтыгинъ, пролагая пути сообщенія сквозь чащу лѣсную; а золотушный юноша впередъ не ломитъ, столѣтнихъ сосенъ не валитъ, а злобствуетъ ти-

хнмъ манеромъ, какъ прилично человѣку благовоспитанному, то-есть показывая кукишъ въ карманѣ. Тѣхъ можно было попросту гнуть въ бараній рогъ; тѣхъ можно было взять за плечи и поставить на прямую дорогу, если они добровольно на нее не становились; а съ золотушнымъ юношей такъ поступить нельзя. Онъ ужъ понахватался кой-чего; онъ уже развратилъ свою мысль десяткомъ-двумя забористаго свойства словечекъ; онъ уже покрылся извѣстнаго рода слизью, по милости которой схватить его безъ перчатокъ—дѣло весьма затруднительное и щекотливое.

Нѣтъ, вы поразмыслите хорошенько да подивитесь природѣ-матери, которая допускаетъ, что въ одной и той же головѣ помѣщаются рядомъ такія понятія, какъ selfgovernment и la libre initiative des poméschiks!

Но вотъ и въ третьемъ углу засѣли либералы, и въ третьемъ углу ведется живая и многознаменательная бесѣда.

— А что вы скажете о нашей дорогой новорожденной? Вѣдь просто, батюшка, сердце не нарадуется! — говоритъ очень чистенькій съ виду, весьма похожій на мышинаго жеребчика старичокъ, бойко поглядывая по сторонамъ и какъ бы заявляя всѣмъ и каждому: «не смотрите, дескать, что наружность у насъ тихонькая, и мы тоже не прочь войти въ задоръ... Какъ-же-съ!»

Вы знаете, что на языкѣ нашихъ мышиныхъ жеребчиковъ подъ именемъ «дорогой новорожденной» слѣдуетъ разумѣть гласность, и что гласность въ настоящее время составляетъ ту милую болячку сердца, о которой всѣ говорятъ дрожащими отъ радостнаго волненія голосами, но вмѣстѣ съ тѣмъ замѣтно перекосивши рыло въ сторону.

— Удивительно! — отвѣчаетъ другой такой же бодренькій, румяненькій старичокъ. — Мы вчера читаемъ съ Петромъ Иванычемъ да только глаза себѣ протираемъ!

— А помните ли, прежде-то! Получишь, бывало, книжку-журналъ: либо тебѣ «трюфель» подносятъ, либо «Двумя словами о происхожденіи славянъ» потчуютъ... Просто, можно сказать, засоряющая зрѣніе литература была!

— Недавно я, Степанъ Сергѣичъ, статью господина Юматова въ одной газетѣ прочиталъ—просто такъ-таки и говоритъ: облагородить, говоритъ, все это нужно, джентри англійскую завести нужно; силу, говоритъ, силу намъ дайте, да гордости маленько прибавьте, а мы ужъ проберемъ сзади проборъ любезному отечеству!

— Неужто такъ и написано?

— Именно такъ, Степанъ Сергѣичъ! И даже какъ бы вы думали, даже не въ Петербургѣ и не въ Москвѣ писано, а такъ въ какомъ-то Сердобскѣ—уму непостижимо!

— Изъ рыбарей...

— Именно изъ рыбарей-съ! И что же-съ, книжки тоже почитываютъ... Гнейста тамъ... Такъ-таки прямо и говоритъ: я, говоритъ, Гнейста читалъ; жаль, говоритъ, что не всѣ его прочитали...

— Н-да; а вѣдь главное что̀ утѣшительно, Ѳедоръ Алексѣичъ, это то, что вѣдь всякую штуку на свой манеръ обрабатываютъ!

— Да ужъ насчетъ чего другого, а насчетъ смѣтки это именно, что противъ русскаго другому не выйти. Возьмемъ, напримѣръ, хоть простого плотника...

Начинаются разсказы о плотникахъ, строящихъ самоучкой великолѣпные дворцы, перекидывающихъ по глазомѣру диковинные мосты и проч. Извѣстно, что анекдоты подобнаго рода еще въ великомъ ходу въ обширной Россійской имперіи, и что они составляютъ тотъ незыблемый фундаментъ, на которомъ мышиные жеребчики созидаютъ славу и надежды Россіи.

— Утѣшительно это, Ѳедоръ Алексѣичъ, какъ себѣ хотите, а утѣшительно это!

— Какъ же-съ, какъ же-съ! Вотъ и господинъ Юматовъ — Гнейстъ-то Гнейстомъ, однако и объ совѣтникахъ губернскихъ правленій упомянулъ: это, говоритъ, не джентри, потому что безъ сапогъ къ намъ приходятъ, а вотъ предводители и засѣдатели — тѣ джентри, потому что въ сапогахъ ходятъ, хоть и нѣтъ у нихъ ни силы, ни гордости...

— Смекалка, значитъ, есть: про чужое читаемъ, а свое тоже примѣчаемъ!

«Добрые люди! — разсуждаете вы мысленно: — и до вашихъ мозговъ коснулся лучъ свѣта! и ваши сердца растворились жаждою гласности! Хоть уморительно, хоть черезъ пень колоду, а все же вы разсуждаете, все же въ головахъ вашихъ копошится какое-то вожделѣніе! Да, и это ужъ шагъ впередъ!» Но, въ сущности, этого шага впередъ нѣтъ, и вы очень неосновательно думаете, что въ старыхъ, мѣстами продыравленныхъ мѣхахъ можетъ заключаться новое вино. Я думаю даже, что добродѣтельное ваше разсужденіе, безъ ущерба для истины, можетъ быть замѣнено слѣдующимъ: «глупые люди! и до вашихъ моз-

говъ коснулась эпидемія болтовни! и вы получили способность извергать изъ себя цѣлые потоки словъ, лишившихся, по милости вашей, смысла и значенія!» и проч., и проч. На мой взглядъ, вы были бы правы. Подумайте, что̀ такое, въ самомъ дѣлѣ, эти люди, на которыхъ вы взираете съ такою отеческою заботливостью! Вѣдь это тѣ самые, которые еще вчера хихикали и радовались, видя, какъ краснорѣцкій буй-туръ Рыковъ трескаетъ по зубамъ благоговѣйно взирающихъ на него обывателей («строгонекъ, но часть свою въ порядкѣ держитъ!» говорили они); это тѣ самые, которые еще вчера съ умиленіемъ и неизреченною душевною сладостью бесѣдовали о томъ, какъ извѣстный магикъ и чревовѣщатель Ударъ-Ерыгинъ услѣдилъ что-то такое, грозящее общественному спокойствію (то самое, что̀ они теперь такъ сладостно привѣтствуютъ подъ именемъ давно желаннаго новорожденнаго), какъ онъ все это искусно накрылъ, раздулъ по мѣрѣ силъ своихъ и преподнесъ кому слѣдуетъ; вѣдь это тѣ самые, которые и завтра будутъ кланяться какому угодно тельцу, и даже не изъ выгодъ, а только потому, что «не нами заведено, не нами и кончится». Вѣдь это не люди, а дрянные людишки, у которыхъ можно позаимствоваться огнемъ для сигары, но въ смыслъ рѣчей которыхъ вслушиваться не только безполезно, но даже вредно, по той простой причинѣ, что занятіе подобнаго рода вливаетъ въ существованіе человѣка отраву праздности и чревоугодничества.

Я предполагаю, что весь этотъ умственный маскарадъ, вся эта путаница понятій и представленій происходитъ отъ того, что мы вступаемъ, такъ сказать, въ эпоху конфуза. Я не могу сообщить положительныхъ свѣдѣній насчетъ того, какимъ образомъ и откуда занесено къ намъ это новое въ русской жизни явленіе. Извѣстно, что мы прежде не только совсѣмъ никогда не конфузились, но, напротивъ того, съ самою любезною откровенностью приступали ко всякаго рода задачамъ. Знаменитая русская поговорка: «тяпъ да ляпъ—и карабь» столь долго служила основаніемъ нашей общественной и политической дѣятельности, что нынѣшній конфузъ составляетъ явленіе несомнѣнно новое и невольно обращающее на себя вниманіе. Вотъ все, что можно сказать положительнаго насчетъ происхожденія конфуза; затѣмъ, что касается до деталей, то, несмотря на всю новость этого явленія, несмотря на то, что оно пришло къ намъ, такъ сказать, на нашихъ

же глазахъ, исторія его, благодаря запутанности сопровождавшихъ ее обстоятельствъ, уже представляется весьма темною. Мнѣ, напримѣръ, всегда казалось, что истиннымъ насадителемъ конфуза былъ почтенный нашъ писатель И. С. Тургеневъ, который еще въ сороковыхъ годахъ предрекалъ его господство своими Рудиными и Гамлетами Щигровскаго уѣзда, но, съ другой стороны, нѣкоторые достойные полнаго вѣроятія помѣщики положительно и даже подъ оболочкою тайны (извѣстно, что секретныя свѣдѣнія всегда вѣрнѣе несекретныхъ) удостовѣряютъ, что первый, бросившій сѣмена стыдливости въ сердца россіянъ, былъ императоръ французовъ, Людовикъ-Наполеонъ. Предоставляю читателю разсудить между этими двумя мнѣніями; я же нахожу для себя удобнѣйшимъ обратиться къ самому явленію. Откуда бы ни происходилъ нашъ конфузъ, но несомнѣнно, что мы сконфузились и оплошали почти поголовно. Конфузъ проникъ всюду: конфузъ въ сердцахъ помѣщиковъ, конфузъ въ соображеніяхъ почтеннаго купечества, конфузъ въ литературѣ и журналистикѣ, конфузъ въ умахъ администраторовъ. Послѣдніе сконфузились сугубо—и за себя, и за другихъ. Они почему-то сообразили, что все бремя эпохи конфуза лежитъ на ихъ плечахъ, и что слѣдовательно имъ предстоитъ учетверить свою собственную конфузливость, дабы укрѣпить корни этого невиданнаго у насъ растенія въ сердцахъ прочихъ человѣковъ. Зубатовъ видимо оторопѣлъ. Ударъ-Ерыгинъ, какъ муха, наѣвшаяся отравы, сонно перебираетъ крыльями. Оба видятъ, что на смѣну имъ готовится генералъ Конфузовъ, и оба изъ кожи лѣзутъ, чтобъ предъявить кому слѣдуетъ, что они и сами способны сконфузиться настолько, насколько начальство прикажетъ.

Величественный Зубатовъ! Ты, который до сихъ поръ представлялъ собой римлянина Катона, расхаживающаго въ вицмундирѣ по каменистому полю глуповской администраціи! Ты, который все подчищалъ и подмывалъ, въ твердомъ упованіи, что смоешь, наконецъ, самую жизнь и будешь себѣ гулять одинъ-одинёшенекъ по травкѣ-муравкѣ, среди животныхъ и птицъ домашнихъ! Что съ тобой сдѣлалось? Куда дѣвался твой «delenda Carthago», переведенный по-русски: «въ бараній рогъ согну»?

Боже! и онъ застыдился, и вслѣдствіе того помолодѣлъ и помилѣлъ! Все подпрыгиваетъ, все «хи-хи-хи» да «ха-ха-ха», не то что прежде: «го-го-го» да «ге-ге-ге»! Все

провиниться боится, все циркуляры пишетъ: «бери, дескать, примѣръ съ меня, съ меня, ангела кротости! взятокъ ни-ни! въ зубы ниже-ни! а съ откупщикомъ амуриться—сохрани тебя Боже!» О крутыхъ мѣрахъ исполнительности и думать забылъ. Когда ему докладываютъ, что такой-то исправникъ не соскочилъ съ колокольни, не утонулъ въ стаканѣ воды, не пролѣзъ сквозь ушко иглиное, онъ не ржетъ какъ озаренный: «подъ судъ, подъ судъ его!»—а кротко замѣчаетъ: «ахъ, любезный! надо еще справиться: можетъ-быть, у него свои резоны есть?» Когда ему объясняютъ, что такой-то Замухрышкинъ цѣлый уѣздъ грабитъ, онъ предварительно полюбопытствуетъ, сколько у него дѣтей, и, получивши свѣдѣніе, что шестеро, молвитъ: «oh, les enfants! les enfants! ils font commettre bien des crimes!»—при чемъ непремѣнно погладитъ по головкѣ своего Колю.

За это всѣ Замухрышкины въ одинъ голосъ величаютъ его ангеломъ, а корреспонденты «Московскихъ Вѣдомостей»—«нашимъ справедливымъ и благодушнымъ начальникомъ». Просители тоже отъ него безъ ума. Всѣмъ-то пообѣщаетъ, всѣхъ-то утѣшитъ, а если и откажетъ кому, то такъ откажетъ, что отъ удовольствія растеряться можно. Только и слышишь: «ахъ, какъ мнѣ жаль!» да «зачѣмъ вы не пожаловали ко мнѣ раньше!» Стонъ стоитъ въ Глуповѣ по случаю учтиваго обращенія.

— И не видывали мы, сударь, — говоритъ обыватель Анемподистъ Ѳедотычъ: — и не видывали такого! Бывало, начальникъ-то позоветъ: «а ну-те, говоритъ, чистописовые! А знаете ли, говоритъ, что васъ всѣхъ правъ состоянія лишить велѣно!» Такъ мы, сударь, такъ, бывало, всѣ ходуномъ и ходимъ передъ нимъ! А этотъ просто даже и на начальника не похожъ! На стулъ-то сажаетъ, папироску подаетъ: «разскажите, говоритъ, какая у васъ статистика!»

Вновь спрашиваю я тебя, величественный Зубатовъ: ты ли это?! Если это ты, то помни, что конфузъ входитъ пудами, а выходитъ золотниками, и что однажды опоенную лошадь никакія человѣческія усилія не въ силахъ возвратить къ прежней лошадиной бодрости и нестомчивости! Что, если вновь когда-нибудь приказано будетъ не конфузиться? Что, если вновь приказано будетъ по десяти разъ въ день утопать въ стаканѣ воды и по сту разъ соскакивать съ колокольни? Дрожать за тебя или нѣтъ? Воспрянешь ты, или... но нѣтъ, меня объемлетъ ужасъ при

одномъ предположеніи... нѣтъ, я не сказалъ, я даже не предполагалъ ничего подобнаго!

И ты, дитя моего сердца, ты, любострастный магикъ и чревовѣщатель Ударъ-Ерыгинъ! Ты, подсмотрѣвшій у Апфельбаума (даже не у Германа) нѣсколько дешевыхъ фокусовъ и удивлявшій ими добродушныхъ соотечественниковъ во время артистическихъ путешествій твоихъ по глуповскимъ палестинамъ,—и ты повѣсилъ голову, и ты о чемъ-то задумался! Я, который вижу насквозь твою душу, я знаю, что ты задумался о томъ, какъ бы примирить инстинкты чревоугодничества съ требованіями конфуза. Я знаю, что ты увидѣлъ грошъ въ карманѣ твоего ближняго, и что тебя терзаетъ мысль, какимъ образомъ такъ устроить, чтобъ выкрасть его. Какъ сдѣлать, чтобъ добрые люди не догадались, что ты занимаешься воровскимъ ремесломъ? Какъ устроить, чтобъ добрые люди, даже и догадавшись, все-таки продолжали относиться къ тебѣ, какъ къ человѣку честному? И вотъ ты замышляешь какой-то новый, неслыханный фокусъ, но—увы!—кромѣ глотанія ножей, ничего изобрѣсти не можешь, потому что и въ этомъ искусствѣ ты не пошелъ дальше Апфельбаума, и въ этомъ искусствѣ ты еще не научился давать представленія безъ помощи стола, накрытаго сукномъ, подъ которымъ сидитъ душка Разбитной, сей нелицемѣрный холопъ и блюдолизъ всѣхъ Чебылкиныхъ, Зубатовыхъ и Ударъ-Ерыгиныхъ, и подаетъ тебѣ, по востребованію, жареныхъ голубей.

Да, усиліи твои тщетны; ибо зеленое сукно, которымъ накрытъ былъ столъ, велѣно сдернуть. Разбитного застали врасплохъ подъ столомъ въ то самое время, какъ онъ, весь потный отъ духоты, совсѣмъ было-состряпалъ въ шляпѣ яичницу. Двугривенный, бывшій у тебя въ рукахъ, такъ и остался двугривеннымъ, и не превратился ни въ апельсинъ, ни въ полуимперіалъ... Тебѣ не воспрещается дѣлать фокусы, но дѣлай ихъ безъ сукна, глотай шпаги на чистоту!

А такъ какъ ты еще недостаточно искусенъ для этого, такъ какъ ты трусъ и боишься подавиться, то очевидно, что грошъ, видѣнный тобой въ карманѣ ближняго, тамъ и останется. Да, ты самъ сознаешь, что останется, ты до такой степени сознаешь это, что даже, скрѣпя сердце, рѣшаешься бросить мысль о благопріобрѣтеніи его. Признаюсь тебѣ, меня очень радуетъ такое самоотверженіе съ твоей стороны; я съ любопытствомъ наблюдаю, какъ ты прі-

учаешься къ твоей новой роли, какъ ты, по старой привычкѣ, все еще лебезишь около чужихъ кармановъ, какъ ты похотливо расширяешь ноздри, заглядывая въ нихъ, и какъ, въ то же время, не смѣешь простереть подергиваемую воровской судорогой руку, чтобъ стяжать чужое достояніе. Другъ! ты до такой степени мило все это дѣлаешь, что добросердечные глуповцы серьезно начинаютъ безпокоиться, ужъ не хочешь ли ты подарить имъ самимъ по двугривенному изъ твоей собственной «неистощимой» шкатулки (помнишь ли фокусъ, который показывалъ ты въ Крутогорскѣ, подъ названіемъ: «неистощимая шкатулка, или крутогорскіе откупщики—основатели женскихъ гимназій»?). Истинно говорю тебѣ, что это самый отчаянный фокусъ изъ всѣхъ, которые ты когда-либо показывалъ въ теченіе твоей многотрудной жизни, и что еще долго послѣ тебя твои многочисленные послѣдователи будутъ показывать его почтеннѣйшей публикѣ, подъ названіемъ: «укрощенная страсть къ мошенничеству, или конфузъ—руководитель администраціи».

Но если Зубатовы и Ударъ-Ерыгины восчувствовали и помилѣли, то какимъ образомъ долженъ дѣйствовать самъ господинъ Конфузовъ? Очевидно, онъ долженъ источать безконечные источники слезъ умиленія при видѣ тѣхъ задатковъ самостоятельности, которые успѣли проявить въ послѣднее время россіяне; очевидно, онъ долженъ восторженно размокать и съ каждой минутой все болѣе и болѣе обращаться въ сырость подъ знойными лучами гласности!

Поборники конфуза—а ихъ не мало, и бо́льшая часть принадлежитъ къ тому достойному меньшинству, о которомъ говорено выше—удостовѣряютъ, что преобладаніе въ жизни этого элемента все-таки лучше, нежели господство нахальства и грубой физической силы. Когда въ отношенія къ жизни—говорятъ они—примѣшивается нѣкоторое чувство стыдливости, то, само собой разумѣется, что и самое развитіе жизни происходитъ безпрепятственнѣе, нежели въ то время, когда отъ неуклюжихъ прикосновеній къ ней остаются лишь слѣды грязныхъ медвѣжьихъ лапъ.

Въ этомъ силлогизмѣ есть, однакожъ, страшная недомолвка. Во-первыхъ, мы принимаемъ на вѣру, что нашъ конфузъ есть конфузъ дѣйствительный, конфузъ разумный, что въ немъ заключается сознательная попытка къ освобожденію жизни отъ одуряющаго попечительства различныхъ непріязненныхъ ея развитію началъ. Но мы они-

баемся. Нашъ конфузъ — временный; нашъ конфузъ, въ переводѣ на русскій языкъ, означаетъ неумѣніе. Мы конфузимся, такъ сказать, скрѣпя сердце; мы конфузимся и въ то же время помышляемъ: «ахъ, какъ бы я тебя жамкнулъ, кабы только умѣлъ!» Отъ этого въ нашемъ конфузѣ нѣтъ ни послѣдовательности, ни добросовѣстности; завтра же, если мы «изыщемъ средства», мы жамкнемъ, и жамкнемъ съ тѣмъ ужасающимъ прожорствомъ, съ какимъ принимается за сытный обѣдъ человѣкъ, много дней удовлетворявшій свой аппетитъ одними черными сухарями. Во-вторыхъ, конфузъ, проводя, въ сущности, тѣ же принципы, которые проводило и древнее нахальство, даетъ имъ болѣе мягкія формы, и, при помощи красивой внѣшности, совершенно заслоняетъ отъ глазъ постороннихъ наблюдателей ничтожество и даже гнусность своего содержанія. Силѣ можно отвѣтить силою же; глупости и пустословію отвѣчать нечѣмъ. Отношенія дѣлаются натянутыми и безнравственными. Чувствуешь, что жизненныя явленія мельчаютъ, что и умы, и сердца изолгались до крайности, что въ воздухѣ словно дымъ столбомъ стоитъ отъ вранья, сознаешь, что между либеральнымъ враньемъ и либеральнымъ дѣломъ лежитъ цѣлая пропасть, — чувствуешь и сознаешь все это, и за всѣмъ тѣмъ, какъ бы колдовствомъ какимъ, приходишь къ оправданію вранья, приходишь къ убѣжденію, что это вранье есть истина минуты, придумываешь какую-то «переходную» эпоху, въ которую будто бы дозволяется безнаказанно нести чушь, и на которую, безъ зазрѣнія совѣсти, сваливаешь всякую современную нечистоту, всякое современное безобразіе!..

Согласитесь: ну, не страшная ли это недомолвка, и не лучше ли, не безопаснѣе ли для самаго дѣла — къ лжи относиться какъ къ лжи, а не придумывать различныхъ оправдательныхъ ухищреній, которыя могутъ только продлить зловредное торжество ея?

Итакъ, противодѣйствовать вранью, обличать его несостоятельность отнюдь еще не значитъ противодѣйствовать стремленіямъ къ самостоятельности и независимости дѣйствій. Если и у дѣйствительнаго либерализма есть свои характеристическіе оттѣнки, дѣлающіе проявленія его крайне разнообразными и имѣющими между собой мало общихъ точекъ соприкосновенія, то тѣмъ бо́льшая неизмѣримость разстоянія легла между либерализмомъ, разсматриваемымъ какъ результатъ цѣлой жизненной работы, и либерализ-

момъ, не уходящимъ вглубь далѣе оконечностей языка. Если, чтобъ дѣйствовать сознательно въ томъ или другомъ смыслѣ, необходимо прежде всего опознаться въ многоразличіи убѣжденій, необходимо уяснить себѣ истинное ихъ значеніе, то тѣмъ болѣе необходимо умѣть различать убѣжденія искреннія отъ убѣжденій, вызванныхъ прихотью минуты и бо̀льшимъ или меньшимъ желудочнымъ засореніемъ. Скажу болѣе: чѣмъ сильнѣе и настоятельнѣе сказывается уму и сердцу чувство уваженія къ первымъ, то тѣмъ живѣе сознается въ то же время необходимость отрицанія послѣднихъ. Да, именно отрицанія, упорнаго, безпощаднаго отрицанія, потому что эти безсмысленныя фіоритуры либерализма, которыми, какъ древле кашею, наполнены въ настоящее время рты россіянъ, мѣшаютъ разслушать простой и честный мотивъ его.

Заглянемъ, напримѣръ, въ нашу текущую литературу,— что̀ за зрѣлище представляется очамъ нашимъ! Увы! это ужъ не то доброе старое время, когда ратовали исключительно наши кондовые, наши цеховые мастера! Увы! даже Корытниковы, даже «Проѣзжіе» и «Прохожіе», несмотря на недавность ихъ появленія, — и тѣ перестаютъ производить впечатлѣніе и составляютъ уже скромное меньшинство! Увы! литературная нива обмірщилась, литературная нива сдѣлалась простымъ выгономъ, на которомъ властительно выступаютъ Ноздревы, Чертопхановы и Пѣночкины! Ноздревъ! ты ли это, mon cher? Если это ты, то почему ты смотришь такимъ Лафайэтомъ? Или у насъ нынче масленица, а объ масленицѣ тебѣ неловко остаться самимъ собою? Или, по мѣстнымъ обстоятельствамъ, тебѣ выгоднѣе быть Лафайэтомъ, нежели прежнимъ сорви-головой Ноздревымъ?

Каждый часъ, каждая минута вызываютъ новыя требованія, ведутъ за собой новыхъ дѣятелей. Еще вчера Глуповъ былъ полонъ хвалебныхъ гимновъ, а нынче онъ ужъ грубитъ, онъ почти ругается! Давно ли кн. Черкасскій торжественно защищалъ розгу, а нынче... розга, гдѣ ты? По крайней мѣрѣ, Ноздревъ не только отвергаетъ пользу ея, но даже стыдится и краснѣетъ при одномъ воспоминаніи, что это орудіе составляло когда-то одно изъ самыхъ существенныхъ опредѣленій глуповской гражданственности.

Всѣ «рыбари», которые доселѣ занимались сокрушеніемъ зубовъ и челюстей человѣческихъ, покинули это занятіе изъ опасенія получить сдачи. Но занятіе было выгодно,

ибо, съ помощью его, пріобрѣталось право преобладанія въ такъ-называемомъ обществѣ. Безъ него чувствовалась тоска и одиночество, безъ него земля исчезала подъ ногами, права попирались и видимо истаевали. Какъ быть? Гдѣ, въ какомъ иномъ принципѣ искать основанія къ сохраненію драгоцѣннаго права? Рыбари недоумѣвали, потому что до сихъ поръ они спокойно отдыхали себѣ подъ сѣнью своихъ смоковницъ (такъ называли они навозныя кучи своихъ скотныхъ дворовъ), и даже сновъ никакихъ не видѣли. Къ счастію, на выручку подоспѣлъ графъ Монталамберъ, который, въ русскомъ извлеченіи, побѣдоноснымъ образомъ доказалъ, что унывать и недоумѣвать не слѣдуетъ. «Воззрите на Англію,—сказалъ онъ нашимъ рыбарямъ:—вѣдь и вы тѣ же лорды, и вы та же джентри, только безъ гордости и силы: старайтесь же добыть и то, и другое, и все пойдетъ какъ по маслу!» Шутка сказать, однакожъ: добыть гордость и силу! Гдѣ ихъ возьмешь! Вѣдь ихъ не добудешь ни бранью ямскою, ни зубосокрушеніемъ! Вѣдь гордость и сила составляютъ продуктъ исторіи, а гдѣ она? Но «рыбари», разъ рѣшившись, не задумались и надъ этими вопросами. «Чортъ съ ней, съ исторіей! — сказали они другъ другу.—Обходились же безъ нея наши отцы-коллежскіе асессоры, наши отцы-татарскіе выходцы, наши отцы-эмигранты; обойдемся какъ-нибудь и мы!» И не откладывая дѣла въ долгій ящикъ, отчасти пустили шипъ по-змѣиному, отчасти защелкали по-соловьиному.

И вотъ отъ чего, въ настоящую минуту, нѣтъ того болота на всемъ пространствѣ глуповскихъ палестинъ, на которомъ не слышалось бы щелканіе соловья-либерала.

Увлеченія мысли, равно какъ и движенія страсти, дѣйствуютъ на людей весьма разнообразно. Однихъ доводятъ они до отчаянія и крайняго упадка нравственныхъ силъ— картина скорбная, но не внушающая, однакожъ, ни отвращенія, ни даже непрошеннаго сожалѣнія къ паціенту, а, напротивъ того, почти всегда возбуждающая искреннюю симпатію къ нему. Ибо въ сегодняшнемъ истощеніи еще чуется вчерашняя сила; ибо и самое разрушеніе имѣетъ здѣсь горькій и полный мучительныхъ невзгодъ смыслъ. Въ другихъ, борьба, посредствомъ которой мысль искупляетъ будущее торжество свое, производитъ не агонію силъ, а общее ихъ возбужденіе, доходящее до героизма. Мысль, сдѣлавшаяся страстною, мысль, доведенная до энтузіазма — вотъ та волканическая сила, которая изъ сокро-

венныхъ нѣдръ толпы выбрасываетъ историческихъ дѣятелей, вотъ та неистощимая струя, которая, капля по каплѣ, неотступно долбитъ камни невѣжества и предразсудковъ. Въ-третьихъ, наконецъ, всякое волненіе душевное разрѣшается лишь прыщами и подозрительною накожною сыпью.

Всѣ эти рекламы либерализма, о которыхъ шла рѣчь выше, не больше какъ прыщи, посредствомъ которыхъ разрѣшилось долго сдерживаемое умственное глуповское худосочіе. Я не говорю, чтобъ прыщи были безполезны, я даже не отрицаю законности ихъ существованія, но вмѣстѣ съ тѣмъ не могу не скорбѣть душою, когда меня увѣряютъ, что дѣло такъ и должно кончиться одними прыщами, и что прыщи составляютъ вѣнецъ исторіи. Исторія, думаю я, должна привести къ просвѣтленію человѣческаго образа, а не къ посрамленію его, и съ этой точки зрѣнія необычайное изобиліе накожной сыпи и упорная ея устойчивость не только не радуютъ меня, но, напротивъ того, до глубины души огорчаютъ. Я положительнымъ образомъ протестую противъ претензіи прыщей на право безконечнаго господства въ жизни и противъ того безнравственнаго девиза, съ которымъ они являются въ міръ и въ силу котораго абсолютная истина жизни представляется опасною и недостижимою химерой, а вмѣсто нея предлагается въ руководство другая истина, заключающаяся въ болѣе или менѣе проворномъ эскамотированіи одной лжи посредствомъ другой.

При этомъ я прибѣгаю къ сравненію и спрашиваю себя: если я свой старый синій камзолъ окрашу въ зеленый цвѣтъ, измѣнится ли отъ того непрочность самой ткани? Если я, относительно затхлаго, отжившаго принципа, ограничусь только перенесеніемъ его съ одного лица на другое, измѣнится ли отъ того вредоносная сущность его? Не только не измѣнится, но я не получу даже удовольствія обмануть самого себя; ибо въ первомъ случаѣ я тотчасъ же убѣждусь, что невинная моя забота повлекла за собой лишь трату денегъ на окраску негоднаго платья, а во второмъ—результатомъ моихъ усилій можетъ быть даже болѣзненное сотрясеніе.

Очевидно, слѣдовательно, что прыщи не обладаютъ тѣми условіями, съ которыми сопрягается мысль о господствѣ надъ истиной. Ихъ существованіе законно и даже необходимо, но оно обусловливается бо̀льшимъ или мѐньшимъ накопленіемъ худосочія. Слѣдовательно, для насъ собственно

весь вопросъ приводится къ тому, какую именно сумму историческаго худосочія благопріобрѣли мы до настоящей минуты возрожденія, съ тѣмъ, чтобъ, на основаніи этого даннаго, опредѣлить время, когда начнутъ подсыхать прыщи. Къ сожалѣнію, мы не привели еще въ извѣстность перваго, и потому не можемъ отвѣчать вполнѣ удовлетворительно и на второе.

Однако, признаки подсыханія начинаютъ уже сказываться. Исторія не останавливаетъ своего хода и не задерживается прыщами. Событія слѣдуютъ одни за другими съ быстротою молніи и мгновенно засушиваютъ волдыри самые злокачественные. То, что вчера было лишь смутною надеждой, нынче является уже фактомъ совершившимся, является побѣдой жизни надъ смертью. Вчерашній либерализмъ сегодня оказывается уже отсталостью. Наступаетъ день расчета, настаетъ пора общаго покаянія.

Если вчера позволительно было ораторствовать и заявлять о сочувствіи, если вчера умѣстно было толковать о необходимости возрожденія, то тѣмъ болѣе умѣстно и позволительно *нынче* окончательно разсчитаться съ прежнею жизнью, разсчитаться не только оконечностями языка, но и самымъ дѣломъ. Но, во всякомъ случаѣ, не только умѣстно, а даже совершенно необходимо объясняться съ полною откровенностью, безъ утайки и удержанія, и, говоря о чемъ-нибудь языкомъ утвердительно, не произносить въ то же время мысленно частицы *не*.

Ибо какъ ни любезно прошедшее, какъ ни привлекательно приволье дней минувшихъ, но оно невозвратимо.

Да, милостивые государи, оно невозвратимо, и я отлично-хорошо понимаю тотъ холодъ, который объемлетъ ваши сердца при этой мысли. Вы уязвлены сугубо: не только въ вашей нелѣпой претензіи остановить жизнь, но и въ вашемъ самолюбіи. Вы пѣли и щелкали, все въ чаяніи, что отъ вашего щелканія туманъ въ болотѣ поднимется, — однако, туманъ не поднялся. Вы прикидывались свободолюбцами, все въ чаяніи, что распущенность мысли и обиліе словоизверженія отведутъ глаза, — однако, глаза не отведены. Мысль обмірщилась, сѣмя брошено, и какъ ни хлопочите вы, оно фаталистически должно пройти всѣ фазисы своего развитія. Конечно, оно можетъ дать плодъ и сторицею, и можетъ уродиться самъ-другъ, но все-таки желанный плодъ будетъ — это вѣрно. Это другое зерно скуднаго урожая также падетъ на землю и также дастъ

плодъ. Истинно вамъ говорю, милостивые государи, что я отлично-хорошо понимаю тотъ холодъ, который объемлетъ сердца ваши!

Вы видите, что жизнь ускользнула у васъ промежъ пальцевъ, что вы, бывшіе до сихъ поръ въ самомъ центрѣ жизненнаго круга, внезапно, какъ бы колдовствомъ какимъ, очутились внѣ его. Вы ли не пѣли жизни диѳирамбовъ, вы ли не обращались къ ней льстивыми голосами, вы ли не угрожали ей распаденіемъ, если она не приметъ васъ въ руководители, вы ли, наконецъ, не доносили, не клеветали на нее! И вотъ, однакожъ, не помогли ни диѳирамбы, ни угрозы: равнодушно катятся себѣ да катятся волны жизни, и съ каждымъ часомъ, съ каждой минутой откатываются отъ васъ все далѣе и далѣе, къ далекимъ берегамъ того безпредѣльнаго океана будущаго, который вы не хотѣли и не умѣли изслѣдовать. Истинно вамъ говорю, что я отлично-хорошо понимаю тотъ холодъ, который объемлетъ сердца ваши!

Вы припоминаете ваше прошлое и сравниваете съ нимъ пустыню настоящаго;—это первая причина скорби.

Вы припоминаете ваши недавнія, еще неостывшія попытки обмануть жизнь; вы чувствуете, съ невольной краской на лицѣ, что на время сдѣлались ренегатами, и—что̀ больнѣе всего — ренегатами неудавшимися; что вы безполезно посрамили свои мозги сочувствіемъ къ какимъ-то новымъ началамъ жизни;—это вторая причина скорби.

Вы сознаете, что васъ никто не уважаетъ, что о васъ даже не скорбятъ, ибо для всѣхъ стала ясна арлекинская пестрота вашей одежды. Вамъ нельзя помянуть добромъ ваше прошлое, а отъ будущаго отказались вы сами; прошлое не принимаетъ васъ, потому что дверь въ него заперта наплывомъ новой жизни и вашимъ собственнымъ ренегатствомъ; будущее не принимаетъ васъ, потому что таковъ ужъ законъ исторіи, что соръ и нечистота фаталистически отметаются ею въ царство тѣней; — это третья причина скорби.

Однимъ словомъ, разсчитывая по пальцамъ и принимая въ соображеніе, что дважды-два, какъ ни вертись, все будутъ составлять четыре, а не пять, вы приходите къ тому убѣжденію, что для васъ остается одно только приличное убѣжище: смерть;—это четвертая причина скорби.

Истинно вамъ говорю, милостивые государи, что я от-

лично-хорошо понимаю тотъ холодъ, который объемлетъ сердца ваши!

Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, я столько же хорошо понимаю и тѣ ругательства, которыми полны ваши души. Горечь ихъ такъ велика, что вы уже не въ силахъ таить ихъ, не въ силахъ долѣе выдержать вашу роль. «Умремъ, но напакостимъ!» — восклицаешь ты, авторъ золотушныхъ фельетоновъ-рекламъ,—ты, идолъ Ноздревыхъ и Чертопхановыхъ! «Ни полъ-пальца! ни четверть шага!» — вторитъ взбудораженный тобой юный англоманъ, Сеня Бирюковъ: «car il faut, à la fin, que nous ayons le courage de notre opinion! — «Ayons le courage de notre opinion!» — поютъ хоромъ полосатые, выдохшіеся потомки Буеракиныхъ и Оболдуй-Таракановыхъ.

Сеня, мой милый Сеня! я согласенъ, что это своего рода гражданское мужество; но ежели ты думаешь, что тебѣ первому принадлежитъ честь открытія его, то горько ошибаешься.

Не знаю, какъ въ твоихъ палестинахъ, а въ моемъ родномъ городѣ Глуповѣ такого рода гражданское мужество давно ужъ въ ходу. Мы только не отдавали ему надлежащей справедливости и даже не выводили изъ него тѣхъ великихъ рекламъ къ будущему, какія выводили славянофилы изъ всероссійскаго смиренія и послушливости, но оно существуетъ — это вѣрно. Да не можетъ быть, чтобъ и въ твоихъ палестинахъ оно не водилось, это гражданское мужество. Стоитъ только, не краснѣя за себя, потревожить свои воспоминанія, а геройскаго хлама, навѣрное, найдется въ нихъ весьма достаточно.

Сколько разъ, напримѣръ, колотилъ ты своего Петрушку за то, что онъ спитъ на твоей шубѣ, покуда ты до упаду отплясываешь съ дочерьми Матрены Ивановны или съ племянницами Анфисы Петровны, — а онъ и до сихъ поръ продолжаетъ высыпаться на той же шубѣ... Это ли не гражданское мужество?

Сколько разъ ты сѣкъ свою маленькую курчавую сучку Джипси за то, что она связывается съ разными неблагообразными дворовыми валетками и барбосками,—а она и до сихъ поръ связывается... Это ли не courage de son opinion?

Сколько разъ ты посылалъ въ часть повареика Никитку за то, что въ твоемъ супѣ поочередно появляются то тараканъ, то мочалка, а тараканъ и мочалка и до сихъ поръ

продолжаютъ составлять неизбѣжную приправу твоего dîner de garçon... Это ли не доблесть безпримѣрная, доблесть неслыханная, доходящая до аскетизма, до горькой насмѣшки надъ собственной спиной ея обладателя?

Слѣдовательно, и въ этомъ дѣлѣ ты и твои единомышленники, Гриша, Сережа и Коля, являетесь не новаторами, а лишь слѣпыми подражателями Петрушки, Никитки и Джипси, съ тою только разницей, что васъ, за ваше гражданское мужество, не будутъ ни колотить, ни сѣчь, ни посылать въ часть.

Тѣмъ не менѣе, откровенность ваша, друзья мои, мнѣ нравится. Во-первыхъ, она отнюдь никому не вредитъ; во-вторыхъ, веселѣе какъ-то смотрѣть на васъ теперь, когда вы на чистоту ругаетесь, нежели въ то время, когда вы подольщались, грустили и клянчили, и выпрашивали себѣ копеечку; и въ-третьихъ, я не могу не держать въ памяти и того, что вы находитесь наканунѣ смерти, а въ такомъ интересномъ положеніи всякая дикость къ лицу. Спросите у меня стаканъ воды со льдомъ, спросите у меня буженины съ чеснокомъ, спросите клюквы, спросите грибовъ— я охотно дамъ вамъ всего этого, ибо знаю, что воздержаніе не подаритъ вамъ ни одной лишней минуты, а удовлетвореніе прихоти утѣшитъ васъ, и вы отойдете въ царство тѣней съ улыбкою, а не съ искривленнымъ ртомъ и стиснутыми зубами.

Итакъ, въ минуту расчета, въ минуту отпущенія грѣховъ, пестрая риза ложнаго либерализма упала сама собою, фраза значительно похудѣла и утратила свою одутловатость, реклама стушевалась... Очень пріятно!

И, Боже, какъ просто, какъ безхитростно совершалась эта внезапная перемѣна диверсіи! Почти механически. Мы не дали себѣ труда даже оговориться, мы даже не почтили публику соблюденіемъ самыхъ простыхъ приличій, обыкновенно употребляемыхъ при подобаго рода метаморфозахъ. Что за дѣло до того, что насъ назовутъ безстыдниками! Чувствуя и цѣня только боль физическую, мы не гонимся за выраженіями, не гонимся даже за толчками, памятуя правило пресловутаго Расплюева, что жаловаться слѣдуетъ тогда только, когда хватятъ, что называется, до безчувствія.

Но эта безхитростность, эта казацкая способность обращаться безцеремонно съ самыми деликатными предметами имѣютъ и свою полезную сторону. По крайней мѣрѣ, мы,

люди меньшинства, которые съ такою сердечною тревогой внимали либеральнымъ упражненіямъ ревнителей тьмы; мы, которые сгоряча повѣрили, что каменоломни раскаиваются и изъявляютъ искреннее желаніе сдѣлаться цвѣтущими и благоухающими садами; мы, которые неусыпно вплетали миртъ и лавръ въ вѣнки героевъ, снисходительно улыбавшихся нашей юношеской горячности, — мы убѣдились, наконецъ, что не отъ гробовъ новопленныхъ предстоитъ ждать слова жизни, что не на нихъ должны покоиться наши упованія.

Эти упованія, эти надежды должны быть обращены нами къ намъ самимъ. Въ нашихъ собственныхъ убѣжденіяхъ, въ жизненности нашихъ собственныхъ силъ должны мы исключительно искать для себя опоры, и ни въ чемъ иномъ.

Если поколѣніе, къ которому обращаются эти строки, хочетъ сдѣлаться достойнымъ своего призванія, пускай оно не пугается исключительности, пускай оно и въ мысляхъ, и въ выраженіяхъ, и въ дѣйствіяхъ соблюдаетъ ту опрятность и даже брезгливость, которая одна можетъ обезпечить дѣйствительный успѣхъ въ будущемъ.

Повторяю: мы, люди глуповскаго міра, слишкомъ повадливы, слишкомъ покладисты. Мы во всякой средѣ легко уживаемся, со всякимъ явленіемъ миримся почти безъ сопротивленія. И потому изъ насъ можно лѣпить всякую фигуру, и даже безъ большихъ издержекъ: стоитъ только по головѣ погладить. Удивительная способность таять и обращаться въ сырость умерщвляетъ въ насъ всякую инициативу, всякую попытку къ самодѣятельности. И вѣдь не то горько, что мы таемъ, а то, что мы таемъ искренно, что мы при этомъ кривляемся и хихикаемъ, что мы чувствуемъ себя столь же счастливыми, сколько счастливыми чувствовали себя наши достославные предки, когда ихъ трепали по плечу ихъ добрые начальники... И вотъ плоды: роковая случайность, какъ господствующая стихія въ жизни, неприличный сумбуръ въ понятіяхъ и представленіяхъ и полное отсутствіе серьезности въ обращеніи съ предметами...

Отъ всего этого добра насъ можетъ спасти только упоминаемая выше опрятность мысли, опрятность чувства. До тѣхъ поръ, покуда мы будемъ направо и налѣво раздавать poignées de main встрѣчному и поперечному, болѣе принимая въ соображеніе покрой жилета, нежели покрой мысли,

до тѣхъ поръ мы будемъ слабы, мы будемъ нелѣпы, мы будемъ презрѣнны, до тѣхъ поръ наше слово будетъ подобно писку кулика-поручейника, назойливо, но безслѣдно раздающемуся надъ пустынными берегами кормилицы-поилицы рѣки Большой Глуповицы.

Да, только доведенная до героизма мысль можетъ породить героизмъ и въ дѣйствіяхъ! Да, только непреклонности логики дана роковая тайна совершать чудеса!

Итакъ, вотъ къ какому пришли мы результату, любезный сынъ Глупова!

Но, договорившись до такого заключенія, я чувствую, что сердце мое поражено смущеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что мы освободились отъ всякихъ глуповскихъ обязательствъ, что въ глазахъ нашихъ ужъ нѣтъ героевъ, что руки и умы у насъ развязаны, что мысль наша не робѣетъ и не ползаетъ въ прахѣ передъ авторитетами — что-жъ дальше?

Вѣдь, навѣрное, мы изъ того съ тобой хлопочемъ и бьемся, читатель, что у насъ есть въ запасѣ какая-нибудь жизненная мысль, что у насъ имѣются въ виду какія-то новыя жизненныя основы, которыми мы хотѣли бы замѣнить прежнія, пораженныя ржавчиной пружины, еще и донынѣ заставляющія дѣйствовать старый глуповскій механизмъ. А если все это есть, то неужто же сидѣть намъ въ скромномъ безмолвіи надъ нашими сокровищами, неужто-жъ прятать намъ ихъ для себя и для пріятелей? Нѣтъ, не сидѣть и не прятать — это ясно, во-первыхъ, потому, что было бы безсмысленно обладать сокровищемъ и въ то же время съ умысломъ уничтожать его цѣнность, а во-вторыхъ, потому, что если-бъ и хотѣли мы смирно сидѣть—не усидимъ ни за что въ свѣтѣ! Другъ! у мысли есть сила особенная, которая такъ и подталкиваетъ человѣка впередъ да впередъ, такъ и шепчетъ ему въ ухо: «разскажи да разскажи!»

Итакъ, мы будемъ, мы обязаны дѣйствовать. Отлично!

Гдѣ же, въ какой средѣ будемъ мы проводить нашу мысль? Памятуешь ли ты, что арена твоей дѣятельности не въ пространствѣ и времени, а все въ томъ же миломъ Глуповѣ, гдѣ нынче такъ сладко свищутъ соловьи-либералы, что ты никогда и никуда не уйдешь отъ Глупова, что онъ будетъ преслѣдовать тебя по пятамъ, доколѣ не загонитъ въ земныя пропасти, что онъ до тѣхъ поръ будетъ всасываться тебѣ въ кровь, покуда не доведетъ ее до разложенія?

люди меньшинства, которые съ такою сердечною тревогой внимали либеральнымъ упражненіямъ ревнителей тьмы; мы, которые сгоряча повѣрили, что каменоломни раскаиваются и изъявляютъ искреннее желаніе сдѣлаться цвѣтущими и благоухающими садами; мы, которые неусыпно вплетали миртъ и лавръ въ вѣнки героевъ, снисходительно улыбавшихся нашей юношеской горячности, — мы убѣдились, наконецъ, что не отъ гробовъ повапленныхъ предстоитъ ждать слова жизни, что не на нихъ должны покоиться наши упованія.

Эти упованія, эти надежды должны быть обращены нами къ намъ самимъ. Въ нашихъ собственныхъ убѣжденіяхъ, въ жизненности нашихъ собственныхъ силъ должны мы исключительно искать для себя опоры, и ни въ чемъ иномъ.

Если поколѣніе, къ которому обращаются эти строки, хочетъ сдѣлаться достойнымъ своего призванія, пускай оно не пугается исключительности, пускай оно и въ мысляхъ, и въ выраженіяхъ, и въ дѣйствіяхъ соблюдаетъ ту опрятность и даже брезгливость, которая одна можетъ обезпечить дѣйствительный успѣхъ въ будущемъ.

Повторяю: мы, люди глуповскаго міра, слишкомъ повадливы, слишкомъ покладисты. Мы во всякой средѣ легко уживаемся, со всякимъ явленіемъ миримся почти безъ сопротивленія. И потому изъ насъ можно лѣпить всякую фигуру, и даже безъ большихъ издержекъ: стоитъ только по головѣ погладить. Удивительная способность таять и обращаться въ сырость умерщвляетъ въ насъ всякую инициативу, всякую попытку къ самодѣятельности. И вѣдь не то горько, что мы таемъ, а то, что мы таемъ искренно, что мы при этомъ кривляемся и хихикаемъ, что мы чувствуемъ себя столь же счастливыми, сколько счастливыми чувствовали себя наши достославные предки, когда ихъ трепали по плечу ихъ добрые начальники... И вотъ плоды: роковая случайность, какъ господствующая стихія въ жизни, неприличный сумбуръ въ понятіяхъ и представленіяхъ и полное отсутствіе серьезности въ обращеніи съ предметами...

Отъ всего этого добра насъ можетъ спасти только упоминаемая выше опрятность мысли, опрятность чувства. До тѣхъ поръ, покуда мы будемъ направо и налѣво раздавать poignées de main встрѣчному и поперечному, болѣе принимая въ соображеніе покрой жилета, нежели покрой мысли,

до тѣхъ поръ мы будемъ слабы, мы будемъ нелѣпы, мы будемъ презрѣнны, до тѣхъ поръ наше слово будетъ подобно писку кулика-поручейника, назойливо, но безслѣдно раздающемуся надъ пустынными берегами кормилицы-поилицы рѣки Большой Глуповицы.

Да, только доведенная до героизма мысль можетъ породить героизмъ и въ дѣйствіяхъ! Да, только непреклонности логики дана роковая тайна совершать чудеса!

Итакъ, вотъ къ какому пришли мы результату, любезный сынъ Глупова!

Но, договорившись до такого заключенія, я чувствую, что сердце мое поражено смущеніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, положимъ, что мы освободились отъ всякихъ глуповскихъ обязательствъ, что въ глазахъ нашихъ ужъ нѣтъ героевъ, что руки и умы у насъ развязаны, что мысль наша не робѣетъ и не ползаетъ въ прахѣ передъ авторитетами — что-жъ дальше?

Вѣдь, навѣрное, мы изъ того съ тобой хлопочемъ и бьемся, читатель, что у насъ есть въ запасѣ какая-нибудь жизненная мысль, что у насъ имѣются въ виду какія-то новыя жизненныя основы, которыми мы хотѣли бы замѣнить прежнія, пораженныя ржавчиной пружины, еще и донынѣ заставляющія дѣйствовать старый глуповскій механизмъ. А если все это есть, то неужто же сидѣть намъ въ скромномъ безмолвіи надъ нашими сокровищами, неужто-жъ прятать намъ ихъ для себя и для пріятелей? Нѣтъ, не сидѣть и не прятать — это ясно, во-первыхъ, потому, что было бы безсмысленно обладать сокровищемъ и въ то же время съ умысломъ уничтожать его цѣнность, а во-вторыхъ, потому, что если-бъ и хотѣли мы смирно сидѣть—не усидимъ ни за что въ свѣтѣ! Другъ! у мысли есть сила особенная, которая такъ и подталкиваетъ человѣка впередъ да впередъ, такъ и шепчетъ ему въ ухо: «разскажи да разскажи!»

Итакъ, мы будемъ, мы обязаны дѣйствовать. Отлично! Гдѣ же, въ какой средѣ будемъ мы проводить нашу мысль? Памятуешь ли ты, что арена твоей дѣятельности не въ пространствѣ и времени, а все въ томъ же миломъ Глуповѣ, гдѣ нынче такъ сладко свищутъ соловьи-либералы, что ты никогда и никуда не уйдешь отъ Глупова, что онъ будетъ преслѣдовать тебя по пятамъ, доколѣ не загонитъ въ земныя пропасти, что онъ до тѣхъ поръ будетъ всасываться тебѣ въ кровь, покуда не доведетъ ее до разложенія?

Если ты это памятуешь, то долженъ также знать, что хотя Глуповъ безспорно хорошій городъ, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, городъ, любящій жить въ мірѣ съ дѣйствительностью и откровенно, даже почти неприлично трусящій при малѣйшемъ намекѣ на разладъ съ нею. Мы, люди стараго глуповскаго закала, любимъ, чтобъ во «всемъ этомъ» было легкое, постепенное и неторопливое впередъ поступаніе, и притомъ чтобъ поступаніе это существовало преимущественно въ нашихъ общественныхъ діалогахъ и только самую чуточку переходило въ практику. Ибо подъ практикой мы разумѣемъ только самую настоящую, дѣйствительную практику, а не химеры. Мы охотно, напримѣръ, пожертвуемъ какимъ-нибудь фестончикомъ, мы охотно побесѣдуемъ между собой насчетъ разныхъ этихъ усовершенствованьицъ, мы даже не прочь шепнуть другъ другу на ушко que la position n'est plus tenable («совсѣмъ-таки мелкихъ денегъ достать нельзя—просто смерть!»), но чтобъ въ соображенія наши входили какія-нибудь этакія абстрактности—отъ этого упаси насъ Боже! И главное, безъ скандала, mon cher, безъ скандала! Ибо согласіе съ дѣйствительностью представляетъ свои безконечныя удобства, ибо согласіе съ дѣйствительностью вноситъ миръ и благоволеніе въ сердца человѣковъ. Mon cher! мнѣ очень пріятно видѣть васъ, человѣка съ широкими, непреклонными убѣжденіями; я вамъ сочувствую, и не только съ удовольствіемъ, но даже съ учащеннымъ біеніемъ сердца прислушиваюсь къ рѣчамъ, горячимъ потокомъ льющимся изъ устъ вашихъ; но оставьте же меня наслаждаться этимъ сладкимъ біеніемъ сердца въ спокойствіи, не тормошите, не огорчайте меня, не отрывайте меня такъ насильственно и грубо отъ раковины, въ которой я съ такимъ удобствомъ обмялъ себѣ мѣсто! Пусть, слушая васъ, я буду воображать себя въ театрѣ—на это я согласенъ; но чтобъ я призналъ за вами право втискивать и меня въ число хористовъ — это ужъ извините! Внимая вамъ, я мысленно созерцаю процессію, несущую съ торжествомъ Іоанна Лейденскаго, я слышу маршъ, я слышу хоръ толпы — все это очень хорошо, все это раздражаетъ мои нервы, и раздражаетъ, могу сказать, въ самомъ благородномъ смыслѣ; но не могу же я... не могу же я... согласитесь, что вѣдь я не могу!

Такова наша глуповская политика, такова наша глуповская философія. И если ты не хочешь дѣйствовать въ пу-

стотѣ, если ты желаешь, чтобъ мы, глуповцы, внимали тебѣ, ты долженъ поддѣлаться подъ нашу масть, ты долженъ признать насъ всецѣло, съ нашею политикой и нашею философіей.

И такимъ образомъ для твоей дѣятельности представляется два пути: или ты рѣшишься самъ притвориться глуповцемъ, съ тѣмъ, чтобы сначала пріучить насъ къ музыкѣ рѣчей, а потомъ, неожиданнымъ движеніемъ руки и не давши намъ, такъ сказать, опомниться, вдругъ снять съ насъ дурацкій колпакъ,—или же прямо пойдешь напроломъ, прямо схватишься за кисточку колпака и будешь тянуть его прочь съ головы.

Если ты послѣдуешь первому пути—ты пропалъ! Во-первыхъ, люди, дѣятельность которыхъ основана на уступкахъ и нравственномъ сводничествѣ, не уважаются. Это ничего, что сами глуповцы первѣйшіе сводники въ мірѣ, и что не пропадаютъ же они отъ этого: развѣ они уважаютъ другъ друга? да развѣ они и нуждаются въ уваженіи? развѣ знаютъ они, что̀ такое уваженіе? Они живутъ — и больше ничего. А для тебя уваженіе нужно, ибо ты имѣешь претензію снять дурацкій колпакъ, ибо, не пріобрѣтя уваженія, ты не «притворишься» глуповцемъ, а сдѣлаешься имъ дѣйствительно. Во-вторыхъ, мы, глуповцы, хотя и простодушный народъ, но имѣемъ чутье острое и цѣпкое. Мы какъ разъ поднюхаемъ, что ты не впрямь глуповецъ, а только прикидываешься имъ. А поднюхавши, мы скажемъ другъ другу: «эге! да онъ мошенникъ, да къ тому же, слава Богу, и трусъ!» И вѣдь натѣшимся же мы въ ту пору надъ тобой! Мы вышлемъ на тебя Зубатова, который, замѣтивъ въ твоей физіономіи нѣчто угрюмое, не подходящее къ дѣтской беззаботности, требуемой правилами глуповскаго этикета, подступитъ къ самому твоему лицу и тономъ, не терпящимъ отговорокъ, потребуетъ, чтобъ ты сдѣлалъ «хи-хи!» (И сдѣлаешь, mon cher! и получше тебя люди бывали—и тѣ «хи-хи!» дѣлывали!). Мы вышлемъ на тебя Ударъ-Ерыгина, который, видя, что ты принялъ образъ жалкой, отощавшей кошки, робко пробирающейся по стѣнѣ, чтобъ стащить со стула кусокъ мяса, подстережетъ тебя и ловко ошпаритъ горячими помоями. А мы-то будемъ надрываться отъ смѣху! А мы-то будемъ взапуски швырять въ тебя, кто камешкомъ, а кто и полѣнцемъ, въ то время, какъ ты, весь въ язвахъ, будешь, подпрыгивая отъ боли, удаляться отъ насъ въ пустыню!

Если ты пойдешь вторымъ путемъ—ты пропалъ сугубо. Представь себѣ, въ самомъ дѣлѣ, какая комическая можетъ выйти изъ этого штука! Съ одной стороны—ты глуповскій реформаторъ, со всѣмъ энтузіазмомъ убѣжденія, со всею непреклонностью мысли и дѣйствія; съ другой стороны—мы, добродушные глуповскіе граждане, съ нашимъ «потихоньку да полегоньку», съ нашимъ «поспѣшишь да людей насмѣшишь», мы, воспитанные на административныхъ фокусахъ Ударъ-Ерыгина... А? какъ бы ты думалъ, развѣ мы не заклюемъ тебя?

Заклюемъ. Это какъ святъ Богъ—заклюемъ. Ишь, вѣдь, чего захотѣлъ: снять съ насъ дурацкій колпакъ! Да знаешь ли ты, что колпакъ этотъ не столько внѣшнее украшеніе, сколько таинственный продуктъ нашего внутренняго существа? Да чуешь ли ты, что колпакъ этотъ не снимается, а соскабливается, и что соскоблить его съ насъ не иначе можно, какъ выскобливъ предварительно самую жизнь нашу? Ишь ты начальникъ какой нашелся! Ишь ты пророкъ какой выискался!

И много острыхъ и исполненныхъ праведнаго негодованія словъ пошлемъ мы тебѣ навстрѣчу—и выживемъ-таки тебя, синьоръ! Если ты съ перваго же раза не убѣдишься, если ты съ перваго раза не бѣжишь съ поля, мы выживемъ тебя постепенными мѣрами; мы исподволь лишимъ тебя огня и воды: мы будемъ выдергивать изъ-подъ тебя стулъ въ то время, какъ ты будешь садиться; мы будемъ внезапно открывать трапы подъ твоими ногами; мы будемъ подсыпать песку въ твое кушанье...

Однимъ словомъ, нехитростными, вполнѣ глуповскими, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и вполнѣ дѣйствительными мѣрами изведемъ-таки тебя! Достанетъ ли всего твоего ума, чтобъ противостоять страшной силѣ нашей глупости? Достанетъ ли всего твоего героизма, чтобъ посвятить твою жизнь на предугадываніе тѣхъ остроумныхъ сюрпризовъ, которые наше глуповское досужество будетъ изготовлять тебѣ на каждомъ шагу?

Но ты, быть-можетъ, усомнишься въ истинѣ моихъ словъ; быть-можетъ, ты возразишь, что не все же глуповское общество предано умственному распутству, что и въ этомъ обществѣ, вѣроятно, найдутся элементы свѣжіе, не подкупленные прошедшимъ, которыхъ явная выгода будетъ заключаться въ томъ, чтобъ внять твоему голосу и поддержать его.

На это скажу тебѣ: я со всякимъ тщаніемъ изучалъ Глуповъ, и хотя въ немъ дѣйствительно имѣются указываемые тобой элементы, тѣмъ не менѣе, свѣжесть ихъ весьма и весьма сомнительна. Другъ! вѣдь и надъ ними прошла исторія, вѣдь и они не вчера рожденные, а тоже позатаскавшіеся въ пыли вѣковъ, и притомъ такъ сильно позатаскавшіеся, что эта вѣковая пыль, что этотъ навозъ вѣковой сдѣлались существенною частью ихъ самихъ и едва ли не извратили ихъ внутренняго смысла. Поразскажу тебѣ, что̀ знаю, о нашихъ глуповскихъ «элементахъ».

Два сорта есть глуповцевъ: глуповцы старшіе, кушающіе сладко, почивающіе мягко, щеголяющіе въ полосатыхъ одеждахъ и носящіе разнообразныя имена и фамиліи, и, наконецъ, глуповцы меньшіе, извѣстные подъ общимъ названіемъ «Иванушекъ».

Первыхъ ты знаешь—это народъ отпѣтый. Это тѣ самые, которые такъ занозисто шумаркаютъ въ вагонахъ, которые, въ сущности, ничего никогда не чувствовали, ничему никогда не сочувствовали, ни о чемъ не мыслили, которые не жили, а, такъ сказать, ѣли жизнь, какъ нѣчто съѣдобное, какъ сочный, еще дымящійся кровью кусокъ говядины. Глуповъ кишитъ ими, этими поборниками матеріализма, видящими въ матеріализмѣ только удовлетвореніе требованіямъ человѣческой похоти. Посмотри на всѣхъ этихъ полосатыхъ, выдохшихся и выродившихся потомковъ Буеракиныхъ и Оболдуй-Таракановыхъ (а быть-можетъ и ихъ куаферовъ), посмотри на этихъ румяныхъ, плечистыхъ и кремнистоголовыхъ представителей славянокуаферской нашей производительности, и суди самъ, можетъ ли проникнуть какая-нибудь мысль сквозь эту плотную каменную обшивку?

Други! пріятели! Сеня Бирюковъ! Бернгардъ Форбрихеръ! Ѳедя Козелковъ! Обнимемъ другъ друга и прольемъ слезы умиленія!

Прежде всего, полюбуемся другъ на друга! Да, мы все тѣ же, какими были восемь лѣтъ тому назадъ, когда всѣ вмѣстѣ, шумною толпою, оставили школьную скамью! Да, мы не измѣнили своимъ убѣжденіямъ, мы каждый день по два раза мѣняли на себѣ бѣлье, мы не позволяли себѣ донашивать разорванныя или потускнѣвшія перчатки, мы остались вѣрными требованіямъ и правиламъ хорошаго тона!

Потомъ, помянемъ воспитателей, охранителей нашей юности! Помянемъ и профессоровъ, хотя — помнишь, Сеня?—

профессоръ исторіи и ставилъ тебѣ единицу за то, что ты никогда не могъ различить Геродота отъ Гомера («чортъ ихъ знаетъ, оба на Г... начинаются!»—объяснялъ ты намъ въ свое оправданіе, и какъ мы помирали со смѣху при этомъ!).

Помянемъ Луизу бѣлолонную, помянемъ Берту чернобровую, помянемъ Мину свѣтлокудрую, этихъ истинныхъ, дѣйствительныхъ наставницъ нашей юности!

Но не забудемъ и Бертона, у котораго мы научились прекраснѣйшимъ манерамъ и обольстительному comme il faut!

Выпьемъ, друзья, выпьемъ!

И потомъ отправимся... «туда»!

Однако, стой, Сеня! Я не хочу, чтобъ ты меня какъ-нибудь «тамъ» осрамилъ: дай-ко, я проэкзаменую тебя, не забылъ ли ты что изъ наукъ, которыя намъ преподавались!

— А позвольте, милостивый государь, узнать, кто нынче первый портной въ Петербургѣ?

— Лѣтъ десять тому назадъ первымъ портнымъ почитался Саррà, но вскорѣ пальму первенства перенялъ у него Шармеръ. Платье Шармера легко и удобно; человѣкъ, одѣтый этимъ портнымъ, нерѣдко впадаетъ въ недоумѣніе, дѣйствительно ли онъ одѣтъ. Впрочемъ, въ послѣднее время многіе указываютъ на Дюмигрона, какъ на достойнаго соперника Шармеру.

— Bene. А позвольте узнать, гдѣ можно пріобрѣсти въ Петербургѣ лучшее мужское бѣлье?

— Все у Лепретра, все у того же несравненнаго Лепретра, или, лучше сказать, у достойнаго преемника его генія, Левека. Нѣкоторые указываютъ на Дюбюра, но, по мнѣнію моему, это парадоксъ. Рубашки послѣдняго отстаютъ отъ груди, скоро вытягиваются сверху, и вообще такъ плохи, что могутъ быть носимы только людьми средняго рода.

— Charmant! Но такъ какъ человѣкъ не можетъ существовать безъ сапоговъ...

— Понимаю вашу заботливость. Въ этомъ отношеніи Эммерманъ можетъ вполнѣ удовлетворить васъ, хотя нельзя не сознаться, что мѣсто стараго Пэля до сихъ поръ остается еще незанятымъ.

— Bravo! Но я хотѣлъ бы съѣсть что-нибудь... легонькое этакое что-нибудь...

— Идите къ Мартену — vous trouverez d'excellentes choses! Можете прибѣгнуть также къ Донону или къ Шотану, но при этомъ не забудьте погрустить о тѣхъ, кото-

рые обязываются утолять свой голодъ у Палкина и Еремѣева!

— Shame! Shame!! — восклицаютъ хоромъ Бернгардъ Форбрихеръ и Ѳедя Козелковъ.

— Bravissimo! Я вижу, Сеня, что ты не измѣнилъ наукѣ, да и наука не измѣнила тебѣ! Идемъ же съ миромъ и вкусимъ отъ уготованныхъ намъ «тамъ» сладостей!

Вотъ тебѣ старшій нашъ Глуповъ. Надѣюсь, что ты съ перваго же слова поймешь, что тутъ ни на Сеню, ни на Ѳедю, ни на Бернгарда разсчитывать нечего. Но если ты настолько наивенъ, что будешь упорствовать въ своихъ видахъ на насъ, то предупреждаю тебя: будь остороженъ, ибо мы какъ разъ на тебя и пожалуемся!

Въ самомъ дѣлѣ, сообрази хорошенько: вѣдь мы счастливы, счастливы настолько, насколько мыслительная наша сила способна понимать идею счастья, а счастливому человѣку что̀ нужно? Счастливому человѣку нужно, чтобъ его оставили въ покоѣ, чтобъ его не развлекали ни мысли горькія, ни картины печальныя, чтобъ весь онъ могъ сосредоточиться въ законномъ наслажденіи принадлежащимъ ему счастьемъ. Счастливый человѣкъ не любитъ даже, чтобъ во время его прогулки ему попался нищій, и для огражденія себя отъ подобной непріятности онъ или велитъ убрать назойливаго нищаго куда слѣдуетъ, или же торопливо суетъ ему въ руку гривенникъ, и потомъ цѣлый часъ улыбается, наслаждаясь мыслью, что сдѣлалъ однимъ счастливцемъ на свѣтѣ больше. Съ какой же стати ты заявляешь претензію на наше вниманіе,—ты, который хочешь потревожить спокойное, роковое теченіе нашей жизни, ты, который ищешь, чтобъ жизнь поступилась въ твою пользу частью или даже и всѣмъ своимъ историческимъ достояніемъ! Mon cher, если хочешь, вотъ тебѣ цѣлый полтинникъ, но не приставай къ намъ, не вынуждай, чтобъ мы велѣли куда-нибудь тебя убрать!

— Что касается до Иванушекъ, то прежде всего я долженъ сдѣлать общее, но весьма справедливое замѣчаніе. Можно мыслить, можно развиваться и совершенствоваться, когда духъ свободенъ, когда брюхо сыто, когда тѣло защищено отъ неблагопріятныхъ вліяній атмосферы и т. п. Но нельзя мыслить, нельзя развиваться и совершенствоваться, когда мыслительныя способности всецѣло сосредоточены на томъ, чтобъ какъ-нибудь не лопнуть съ голоду, а будущее сулитъ только чищеніе сапоговъ и ношеніе под-

носовъ («смотри, подлецъ, не урони подноса: морда отвѣчать будетъ!» — кричитъ господинъ, имѣющій возможность развиваться и совершенствоваться).

Руководясь этими мыслями, наши Иванушки успокоились. Они не смотрятъ ни вверхъ, ни по сторонамъ, а все въ землю и въ землю, справедливо разсуждая, что смотрѣть по сторонамъ и парить подъ облаками—дѣло не ихнее, а Сени Бирюкова, которому на это и крылья даны... И знаешь ли что? Я полагаю, что они даже очень рады тому, что у нихъ выработалась подъ ногами такая солидная историческая почва, потому что, опираясь на нее, они не только освобождаются отъ тѣхъ безчисленныхъ и горькихъ тревогъ, исходъ которыхъ если не совсѣмъ безнадеженъ, то во всякомъ случаѣ крайне сомнителенъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтаютъ для себя всегда готовую и даже весьма приличную отговорку.

Спроси у глуповца:—отчего ты не развитъ, грубъ и невѣжественъ? — онъ отвѣтитъ тебѣ: «а оттого, что тятька и мамка смолоду мало сѣкли». Спроси еще:—отчего ты имѣешь лишь слабое понятіе о человѣческомъ достоинствѣ? Отчего такъ охотно лѣзешь цѣловать въ плечико добрыхъ благодѣтелей? и пр. и пр.—онъ отвѣтитъ: «а вотъ у насъ Сила Терентьичъ есть—такъ тотъ онамеднись, какъ его выстегали, еще въ ноги поклонился, въ благодарность за науку!»

Въ самомъ дѣлѣ, что мы за выскочки такія, чтобъ учить другихъ! Мы находимся на исторической почвѣ—и знать ничего не хотимъ. И какъ ты тамъ ни ломайся, какъ ты тамъ ни глумись, а глуповецъ все-таки останется правъ, спокоенъ и доволенъ... потому что онъ объяснился, и объясненіе это вполнѣ сниметъ гнетъ съ его совѣсти.

Другое дѣло, если ты примешься поплотнѣе, если ты спросишь глуповца, зачѣмъ же онъ не соскочитъ съ этой неудобной исторической почвы? О, въ такомъ случаѣ... въ такомъ случаѣ онъ нѣсколько сконфузится и покраснѣетъ и... и все-таки постарается свернуть на историческую почву.

А впрочемъ онъ и объясняться-то съ тобой не станетъ! Нашъ Иванушка врядъ ли даже сознаетъ, что подъ нимъ есть какая-то историческая почва. Мнѣ кажется, что онъ просто-на-просто носитъ эту почву съ собой, какъ часть своего собственнаго существа, и даже не подозрѣваетъ, чтобъ тутъ настояла надобность въ чемъ-то оправдываться, что-то объяснять.

По этому поводу считаю не лишнимъ разсказать тебѣ нѣкоторый глуповскій анекдотъ.

Однажды, весной, въ самое половодье, подъѣзжалъ я къ родному моему Глупову. День былъ базарный, и та часть рѣки Большой Глуповицы, гдѣ была устроена паромная пристань, была буквально усыпана народомъ. Требовался порядокъ, а если требовался порядокъ, то, натурально, ощущалась потребность и въ начальствѣ. Оно и было тутъ налицо, и на этотъ разъ заблагоразсудило распорядиться такъ, чтобъ ни одна изъ плывущихъ по рѣкѣ барокъ и лодокъ отнюдь не осмѣливалась переплывать за паромный ходъ, покуда не свалитъ весь народъ. Сказано—сдѣлано; барки и лодки остановились и ощѣпенѣли, какъ очарованныя. Однако, одна лодка соскучилась; къ величайшему своему несчастью, она обладала способностью анализа и на этомъ основаніи рѣшила, что разсужденіе начальства неудовлетворительно, и что покуда машина нагружается — сотни лодокъ могутъ очутиться по другую сторону паромнаго хода. Но начальство немедленно подняло гвалтъ и откомандировало своего дантиста для преслѣдованія и наказанія ослушника. До сихъ поръ все въ порядкѣ вещей, и я, конечно, не остановился бы на такомъ общеизвѣстномъ и общепонятномъ фактѣ, если бы рядомъ съ формальнымъ его проявленіемъ не раскрывался и внутренній его смыслъ, высказавшійся какъ въ положеніи, принятомъ преслѣдуемымъ, такъ и въ отношеніи къ нему толпы, тѣснившейся на паромѣ.

Преслѣдуемый, какъ только завидѣлъ дантиста, не пустился наутёкъ, какъ можно было бы ожидать, но показалъ рѣшимость духа изумительную, то-есть пересталъ грести и, сложивъ вёсла, ожидалъ. Мнѣ показалось даже, что онъ заранѣе и инстинктивно далъ своему тѣлу наклонное положеніе, какъ бы защищаясь только отъ смертнаго боя. Ну, натурально, дантистъ орломъ налетѣлъ, и черезъ минуту воздухъ огласился воплями раздирающими, воплями, выворачивающими наизнанку человѣческія внутренности.

А толпа была весела, толпа развратно и подло хохотала. «Хорошѣнь его! хорошѣнь его!» — неистово гудѣла тысячеустая. «Накладывай ему, накладывай! Вотъ такъ, вотъ такъ!» — вторила она мѣрному хлопанью кулаковъ. Только одинъ нашелся честный старикъ, который не вытерпѣлъ и прошепталъ: «разбойники!» — но и тотъ, замѣтивъ, что я разслышалъ невольный его вздохъ, какъ-то

измѣнился въ лицѣ и сталъ робко пробираться сквозь толпу на ту сторону парома.

Разберемъ этотъ фактъ логически.

Ни слова о дѣйствіи паромнаго начальства: оно поступило здѣсь... какъ бы потемнѣе выразиться?.. ну, да поступило по соображенію съ обстоятельствами дѣла и идеею собственнаго своего величія...

Изслѣдованію нашему подлежатъ собственно два предмета: положеніе преслѣдуемаго и отношеніе толпы къ происшествію.

Для чего преслѣдуемый не пошелъ наутёкъ, для чего онъ сложилъ вёсла? Для того, что онъ фаталистъ, что онъ видитъ вдали силу и впередъ убѣжденъ, что отъ силы не скрыть ему своего тѣла нигдѣ. Почему онъ фаталистъ, почему онъ вѣритъ въ вѣчное, неотразимое торжество силы — онъ самъ этого не объясняетъ себѣ, но онъ чувствуетъ паническое ошеломленіе при одномъ появленіи силы, но онъ, какъ кроликъ при видѣ боа, сидитъ недвижимъ и какъ будто очарованъ до тѣхъ поръ, пока чудовище не поглотитъ его.

Однако и онъ вздумалъ же однажды протестовать, и, несмотря на запрещеніе, все-таки переплылъ по ту сторону паромнаго хода. Что̀ означаетъ этотъ фактъ? А то, и только то, что ему не безызвѣстно изъ практики, что не всегда же сила дерется, но иногда и улыбается, что иногда она благодушна и согласна удовольствоваться тѣмъ, что обругаетъ непотребно, но до зубовъ не коснется. Вотъ на эту-то пріятную случайность, на эту-то возможность улыбки онъ и разсчитывалъ.

Но для чего же онъ даетъ своему тѣлу наклонное положеніе, и притомъ такое, чтобъ голова, то-есть именно та часть тѣла, которая всего болѣе представляетъ шансовъ для смертнаго боя, была по возможности защищена? Неужели смерть не составляетъ для него высшаго блага? Неужели и онъ еще дорожитъ жизнью? Нѣтъ, онъ не дорожитъ ею съ разумной точки зрѣнія, то-есть не видитъ въ ней блага, одному ему принадлежащаго, блага, которымъ никто посторонній не имѣетъ права располагать по своему произволу; но онъ дорожитъ ею инстинктивно, дорожитъ потому, что жилъ вчера, живетъ нынче, надо же и завтра жить. Онъ трусъ и не пойдетъ открыто навстрѣчу смерти, но встрѣтитъ смерть равнодушно, когда она сама придетъ къ нему, откуда бы и почему бы она ни пришла (время ли

тутъ справляться, когда умирать надо!), и еще равнодушнѣе или, лучше сказать, ходчѣе, натуральнѣе встрѣтитъ, если она придетъ къ нему какъ логическое послѣдствіе цѣлаго ряда фактовъ, каковы, напримѣръ, побои. Возьмемъ хотя настоящій случай: здѣсь преслѣдуемый укрываетъ отъ ударовъ свою голову, но почему? Потому, и только потому, что онъ еще не знаетъ, потребуется ли она. Потребуйся эта голова — ничего, онъ и ее вытащитъ, и будетъ только охать да взывать къ батюшкамъ и матушкамъ, но защищаться не станетъ ни подъ какимъ видомъ — слишкомъ учтивъ! И выйдетъ тутъ умертвіе—и больше ничего!

Отъ преслѣдуемаго перейдемъ къ толпѣ.

Скажите, Бога ради, благосклонный читатель, отчего ее не прорвало при видѣ этой гнусной расправы съ однимъ изъ своей среды? Ужели она не доросла, по крайней мѣрѣ, до того сознанія, что нельзя же наказывать не только смертнымъ, но и никакимъ боемъ, и не только такое преступленіе, какъ, напримѣръ, нарушеніе безсмысленнаго приказанія паромнаго унтеръ-офицера, но и всякое другое преступленіе, хотя бы оно было во сто разъ тяжелѣе, хотя бы отданное приказаніе было не безсмысленно и отдалъ его не унтеръ-офицеръ, а самъ Ударъ-Ерыгинъ? Положа руку на сердце, я полагаю, что именно оттого ее и не прорвало, что она не доросла даже до этого понятія. Опять-таки повторяю: такого рода понятіе доступно вамъ, любезные читатели, вамъ, которые занимались самоусовершенствованіемъ въ тиши кабинета, въ сообществѣ книжекъ или сочувственныхъ вамъ людей, подъ условіемъ взаимнаго обмѣна мыслей и чувствъ, но недоступно грубой толпѣ, которая, изъ-за куска насущнаго хлѣба, потѣла и выбивалась изъ силъ, вскидывая вилами навозъ на телѣги и потомъ раскидывая его по полямъ.

Но, сверхъ того, толпа имѣетъ ту же непреклонную вѣру въ роковую неизбѣжность силы, какъ и самъ преслѣдуемый. Она живетъ не подъ вліяніемъ умозрѣній, но подъ вліяніемъ дѣйствія эмпириковъ и шарлатановъ, которые научили ее горькому житейскому опыту.

Одинъ утѣшительный фактъ — это старикъ, который вздохнулъ: «разбойники!» Но нѣтъ, и онъ безобразенъ. Какъ онъ подло стушевался, какъ только замѣтилъ, что вздохъ его кѣмъ-то разслушанъ! Какъ робко, съ какимъ наивно-гнуснымъ видомъ сталъ онъ и подмигивать, и подсмѣиваться, и тишкомъ-тишкомъ пробираться на другую

сторону парома, чтобъ не обвинили его въ христіанскомъ сочувствіи къ ближнему! Положимъ, что въ его понятіяхъ я былъ однимъ изъ тѣхъ, противъ которыхъ онъ осмѣлился протестовать — что-жъ изъ этого? Или протестовать можно только втихомолку! Или ужъ такая печать роковая положена, въ силу которой самое праведное негодованіе разрѣшается лишь кукишемъ въ карманѣ?

Вотъ тебѣ младшій нашъ Глуповъ, вотъ тебѣ нашъ Иванушка!

По этому случаю мнѣ вспомнился другой анекдотъ, разсказанный мнѣ когда-то нѣкоторымъ глуповскимъ старожиломъ. «Жили да были въ нашемъ Глуповѣ два сосѣда: Иванъ богатый да Иванъ бѣдный. Много было добра всякаго у Ивана богатаго, а еще больше было у него зависти; у Ивана же бѣднаго только и богатства было, что лошадь пѣгая. Вотъ только и полюбись Ивану богатому этотъ пѣгашко; присталъ къ сосѣду: продай да продай своего живота. Однако, Иванъ бѣдный заупрямился, не размыслилъ, стало-быть, по началу, что если сильному да богатому чего захочется, такъ ужъ, значитъ, такъ тому и быть. «Ладно же, — говоритъ Иванъ богатый: — не хочешь за деньги отдать—отдашь даромъ; не хочешь честью раздѣлаться — раздѣлаешься безчестьемъ!» И возненавидѣлъ онъ его, сударь мой, пуще ворога лютаго, и сталъ съ тѣхъ поръ наше общество на него напущать. Соберемся, бывало, на сходку — сборщика или тамъ добросовѣстнаго выбирать — кого выбирать? «А чего-жъ лучше Ивана бѣднаго?»—говоритъ Иванъ богатый. «Катай Ивана бѣднаго!» — вопятъ глуповцы. Случится ли воровство по сосѣдству (ужъ и лихи наши глуповцы воровать-то!) — на кого подозрѣніе положить? «Ужъ это безпремѣнно Иванъ бѣдный укралъ! — говоритъ Иванъ богатый: — потому, онъ человѣкъ неимущій и кромѣ его некому промежъ насъ этимъ ремесломъ заниматься!» Одно слово: тошно стало жить Ивану бѣдному; прежде былъ онъ неимущъ, а теперь и вовсе разорился. Выйдетъ, бывало, за ворота, лохматый да испитой, глазами впередъ упрется, словно самъ дивуется, какъ это еще жизнь въ немъ держится. Наши глуповскіе ребята про все это знали и очень Ивана бѣднаго жалѣли. И сколько разъ жалѣючи ему говаривали: «поди, ты, Ванюшка, къ своему ворогу: проститъ онъ, это вѣрно — проститъ!» Однако, онъ все еще крѣпился; скажетъ, бывало, совѣтчикамъ: «подлецы вы!» — и отойдетъ

прочь. Хорошо. Вотъ только пала однажды къ намъ вѣсть о рекрутчинѣ; собралась это сходка, и, натурально, прежде всѣхъ за недоимщиковъ принялись. Горланилъ больше Иванъ богатый. «Эти недоимщики,—говоритъ,—всему нашему обществу поношеніе: отъ Ивана-то бѣднаго, поди, лѣтъ за пять уплаты никакой нѣтъ!» Стали судить да рядить, и приговорили Ивана бѣднаго, какъ гражданина нерадиваго и порочнаго, отдать въ солдаты безъ очереди. Узналъ это нашъ Ванюшка, словно съ колокольни спрыгнулъ. Прибѣжалъ это на сходку: и прощенья-то проситъ, и обзываетъ-то непотребно; однако, ребята наши на своемъ стали: «отдать да отдать Ивана въ солдаты!» — твердятъ. А у Ивана жена въ нетопленой избѣ голосомъ голоситъ, у Ивана малыя дѣти верезгомъ верезжатъ... Смирился-съ. Не только пѣгашку Ивану богатому на дворъ свелъ, а, сказываютъ, даже не мало въ ногахъ у него убивался. И вотъ, сударь, живетъ теперь нашъ Иванъ припѣваючи, и сталъ онъ даже Иванычемъ. Иванъ-то богатый, за смиренство, не токмо что продерзость его прежнюю простилъ, а даже замѣсто благодѣтеля ему сдѣлался... Анъ и выходитъ, что ласковое-то теля двѣ матки сосетъ, а гордому-то да строптивому и одна сосать не даетъ»...

Анъ и выходитъ... выходитъ, что ли, достойный сынъ Глупова?

А можетъ-быть, ты скажешь мнѣ, что при такихъ условіяхъ жить невозможно. «Невозможно» — это не совсѣмъ такъ, а что «противно» жить—это вѣрно.

. . . . . .

Вотъ, однакожъ, до чего мы договорились съ тобой. Мнѣ стало грустно, да и читателю, быть-можетъ, не совсѣмъ весело. А между тѣмъ, мнѣ не хочется оставлять читателя въ мрачномъ расположеніи духа; мнѣ хочется, во что бы то ни стало, развеселить его.

И въ самомъ дѣлѣ, изъ-за чего тебѣ мучиться, благосклонный мой читатель! И безъ того слишкомъ одолѣваютъ тебя мелочи и дрязги жизни, мелочи и дрязги дѣйствительныя, дающія себя знать и пощипываніями, и покалываніями, чтобъ къ нимъ прибавлять еще дрязги воображаемыя, какія-то дрязги будущаго. Ты берешь книгу въ руки, чтобъ развлечься, чтобъ отогнать отъ себя жизненный кошмаръ, который такъ аккуратно давитъ тебя, а тебя потчуютъ новыми кошмарами, тебя приглашаютъ о чемъ-то

побезпокоиться, надъ чѣмъ-то задуматься, а пожалуй и помучиться...

Итакъ, будемъ смѣяться.

Передо мной вереницей проходятъ мимо мои отставные герои: Фейеры, Живновскіе, Чебылкины, Порфиріи Петровичи—то-то смѣшные люди!.. Ха-ха!

Передо мной проходитъ Аринушка, но уже безъ сумы, потому что ее укралъ Фейеръ, чтобъ воспользоваться объѣдкомъ пирога, который кинула въ нее рука нищелюбиваго купца Хрептюгина... Ха-ха!

Передо мной проходитъ скитникъ, бѣжавшій отъ міра прелестнаго въ пустыни и разсѣдины земныя, и мирно оканчивающій свой подвигъ въ острогѣ... Ха-ха!

Передо мной проходитъ мой глубокомысленный критикъ, который обвиняетъ меня въ томъ, что я вывожу наружу плутни становыхъ (какъ будто я что-нибудь вывожу, какъ будто я кого-нибудь обличаю, или обрываю, или упрекаю, или бью по щекамъ, а не просто описываю и изображаю... о, милый Глуповъ!), а не вывожу наружу плутней повыше... Ха-ха!

ередо мной проходитъ моя собственная персона, возражающая вышеупомянутымъ критикамъ: «кто же вамъ мѣшаетъ, друзья, прикидывать, сравнивать и прилагать? Дерзайте, дѣти, дерзайте!»... Ха-ха!

Глуповъ, милый Глуповъ! Отчего надрывается сердце, отчего болитъ душа при одномъ упоминовеніи твоего имени? Или есть невидимое, но крѣпкое нѣкоторое звено, приковывающее мою судьбу къ твоей, или ты подбросилъ въ питье мое зелья, которое безвозвратно приворожило меня къ тебѣ? Кажется, и не пригожъ ты, и не слишкомъ уменъ; нѣтъ въ тебѣ ни природы могучей, ни воздуха вольнаго; нищета, да убожество, да дикость, да насиліе... плюнулъ бы и пошелъ прочь! Анъ нѣтъ, всѣ сердца къ тебѣ несутся, всѣ уста поютъ хвалу твою! Странная какая-то творится тутъ штука: подойдешь къ тебѣ поближе, вкусишь отъ винограда твоего — тошнитъ: чувствуешь, какъ въявѣ дуракомъ дѣлаешься; уйдешь отъ тебя — плачешь: чувствуешь, что вдругъ становишься словно не самимъ собою!

Отчего же несутся къ тебѣ сердца? Отчего же уста сами собой такъ складываются, что поютъ хвалу твою? А оттого, милый Глуповъ, что мы всѣ, сколько насъ ни есть, мы всѣ плоть отъ плоти твоей, кость отъ костей твоихъ. Всѣхъ-то ты прикормилъ, всѣхъ-то ты воспиталъ, всѣхъ-то ты на-

поилъ отъ многообильныхъ водъ рѣки Большой Глуповицы—какъ же намъ не любить тебя? Это нужды нѣтъ, что иногда словно тошнитъ: тошнота-то, милый человѣкъ, вѣдь своя, родная, прирожденная, такъ сказать, тошнота! Ну, потошнитъ-потошнитъ, да и пройдетъ! Это нужды нѣтъ, что временемъ словно обухомъ по головѣ тебя треснетъ: обухъ-то вѣдь свой, глуповскій обухъ, тотъ самый обухъ, который дѣйствуетъ по пословицѣ: «кого люблю, того и бью»— бери же его благоговѣйно въ руки и цѣлуй! Свое и бьетъ какъ-то не больно, и смердитъ не совсѣмъ чтобъ неестественно! А все оттого, милый ты человѣкъ, что любовность вездѣ въ-очію присутствуетъ, что и сѣчемъ-то мы не зря, а тоже приговариваемъ: «не груби, не балуй, сударь, сиди смирно, будь послушливъ!»

Многимъ это не нравится; многіе предпочли бы, пожалуй, чтобъ было поменьше любовности да побольше разсчетливости въ дѣйствованіи обухомъ; для многихъ обухъ даже вовсе не представляетъ прелести... Дивлюсь развращенности вкусовъ и не возражаю! Но не могу, однакожъ, умолчать, что я, съ своей стороны, признаю мой Глуповъ всецѣло, со всѣми его особенностями и даже съ его собственнымъ запахомъ. Какой же это былъ бы Глуповъ, спрашиваю я, если бы обитателей его не тошнило, если бы они не были слегка пришиблены? И были ли бы мы, сыны Глупова, такъ безмятежно благополучны, такъ отвратительно счастливы, если бы намъ предлагали какіе-то «проклятые» вопросы, если бы насъ заставляли дѣлать сочиненія на темы въ родѣ: «восходъ солнца въ Глуповѣ» или «сила любви къ Глупову»?

И какіе могли бы мы дать отвѣты на вопросы, кромѣ того, что «отвѣтовъ, по тщательному розыску, въ городѣ Глуповѣ не оказалось», или: «отвѣты были, но въ пожаръ, случившійся въ такомъ-то году, сгорѣли». А сочиненія? Возьмемъ для примѣра хоть тему «восходъ солнца» — что такое восходъ солнца? Мы не знаемъ, восходитъ ли солнце и какъ восходитъ въ городахъ Умновѣ и Буяновѣ, а въ Глуповѣ это тотъ самый моментъ, когда, по преимуществу, сгущаются въ жилыхъ покояхъ ночные звуки — и больше ничего. Коли хотите, это опредѣленіе голо и какъ-то пахуче-просто, но зато оно наглядно и точно, но зато тутъ ни одной черты нельзя ни убавить, ни прибавить. О чемъ же тутъ сочинять? Или опять насчетъ любви — что такое любовь къ Глупову? Откуда любовь? Гдѣ ея сѣда-

лище? За что любовь? Почему любовь? А кто-жъ его знаетъ, откуда, гдѣ, за что и почему! Любимъ — и все тутъ! Глуповъ, высиживая насъ, не говорилъ: люби меня за то, что я, дескать,—

Хорошъ,
Пригожъ,
Прекрасенъ суть,—

а приказывалъ:

Ахъ, люби меня безъ размышленій...

(да и «ахъ» не говорилъ, а по-просту выражался: «люби не люби, а подлясывай!»)—вотъ мы и любимъ безъ размышленія: родители любили, и мы любимъ!

Что тутъ думать! Я—твоя, ты—мой!

Какія же тутъ могутъ быть еще сочиненія?

Повторяю: Глуповъ нравится мнѣ всецѣло, со всѣми особенностями. Я открыто, передъ лицомъ цѣлой вселенной, признаю себя гражданиномъ Глупова и ничего-таки не стыжусь, потому что это дѣло уладили papa и maman, а я только съ благодарностью принялъ его послѣдствія. Я знаю Глуповъ, и Глуповъ меня знаетъ, и мы любимъ другъ друга, и мы счастливы! Мы взглянемъ другъ на друга—и разсмѣемся. «Ты чему, дурашка, смѣешься?» — спроситъ меня Глуповъ. «А ты чему, тятька, смѣешься?»—спрошу и я въ свою очередь. И оба удовлетворимся, и оба вздохнемъ легонько.

Или опять: Глуповъ покажетъ мнѣ палецъ—я зарадуюсь; я покажу Глупову палецъ—онъ зарадуется. «Ну, чему ты, дурашка, радуешься?»—спроситъ меня Глуповъ. «А ты чему, тятька, радуешься?»—спрошу и я въ свою очередь. И опять оба довольны, и опять вздохнемъ легонько. Нѣтъ, воля ваша, а я именно счастливъ, что papa и maman вздумалось въ лицѣ моемъ подарить Глупову лишняго гражданина!

Und ich war in Arcadien geboren...

Да, и я сынъ Глупова, и я катался какъ сыръ въ маслѣ, что̀, какъ извѣстно, и составляетъ настоящую, неподдѣльную глуповскую Аркадію. Я жилъ этою жизнью, я упивался производящимъ сгустѣніе крови виномъ ея; нѣтъ того мѣста въ моемъ организмѣ, которое не было бы вкладцѣ уязвлено тобою, о, Глуповъ!

Не вѣрьте же, добрые мои сограждане, не вѣрьте тому супостату, который станетъ внушать вамъ, будто я озлобленъ противъ васъ, будто я поднимаю васъ на-смѣхъ! Во-

первыхъ, я столько разъ повторялъ вамъ: люблю, люблю и люблю, что сомнѣніе въ истинности моихъ чувствъ было бы даже обидно: не лгу же я въ самомъ дѣлѣ! А во-вторыхъ, откуда возьму я злобы противъ того, что составляло и составляетъ основу моего существованія? Откуда возьму я силы отречься отъ прошлаго, которое, какъ коррозивный меркурій, проникаетъ всѣ поры моего настоящаго? Успокойтесь же, глуповцы, и внимайте мнѣ съ благодушіемъ!

Если я посвящаю вамъ досуги свои, если я подношу вамъ свои сочиненія, я дѣлаю это потому, что желаю порадовать васъ моими успѣхами, желаю, чтобъ вы погладили меня по головкѣ, чтобъ вы сказали: вотъ, молъ, какой у насъ сынишка шустрый растетъ, книжки самъ сочиняетъ! А если въ этихъ книжкахъ вы замѣтите что-нибудь... то, Бога ради, не останавливайтесь на этой горькой мысли! Вѣрьте, отцы мои, что это только отъ усердія, что, въ сущности, всѣ мои усилія направлены только къ тому, чтобъ пощекотать у васъ брюшко! Въ этомъ заключается вся моя претензія, и дальше ея я нейду.

Да если бы я и хотѣлъ идти — кто меня пуститъ! Вы, глуповцы, народъ хоть и смирный, но, съ другой стороны, и упрямый. Вы охотно допустите, чтобъ кто-ни-на-есть (разумѣется, тотъ, кому на это право дано) собственноручно въ вашей физіономіи симметрію поправилъ, но не очень долюбливаете, когда кто-нибудь вамъ очень близко въ душу заглянетъ, да, пожалуй, еще посягнетъ на ваше лучшее достояніе—на вашъ сонъ. Чего добраго, соберетесь съ силами да и пожалуетесь!

Итакъ, примите меня благосклонно и не думайте, что я домогаюсь чести быть вашимъ учителемъ! Я только заношу, что между вами происходитъ, я описываю ваши нравы и обычаи, ваши горести и увеселенія, ваши досуги и сновидѣнія—сдѣлайте же милость, почивайте себѣ съ миромъ и не фискальте на меня!

Я отнюдь не упрекаю васъ за то, что вы не заводите въ средѣ своей общества трезвости, и отнюдь не настаиваю на томъ, чтобъ вы прониклись духомъ благодѣтельной устности! Я только заявляю, что въ васъ нѣтъ ни трезвости, ни устности, и даже не прибавляю отъ себя, нахожу ли этотъ фактъ печальнымъ или радостнымъ (откупщикъ находитъ его радостнымъ). Сдѣлайте же милость, не считайте меня зараженнымъ какимъ-то новымъ духомъ и не фискальте на меня!

О новомъ духѣ, признаюсь вамъ, я даже понятія не имѣю. Слышалъ я, правда, какъ генералъ Зубатовъ кому-то изъ приближенныхъ говорилъ:

— Толкуютъ тамъ: новымъ духомъ вѣетъ! новымъ духомъ вѣетъ! Какимъ это новымъ духомъ, желалъ бы я знать! Только лакеи стали грубить, а то все остается по-старому.

И больше ничего я объ этомъ новомъ духѣ не знаю и не слыхалъ.

Итакъ, будемъ жить въ мирѣ и добромъ согласіи. Пусть младшіе уважаютъ старшихъ, а старшіе утѣшаются младшими. Пусть старшіе, взирая на младшихъ, говорятъ: «кость отъ костей моихъ», а младшіе отвѣчаютъ: «какъ прикажете-съ». Да не будетъ между нами ни раздоровъ, ни распрей, да не будетъ ничего подобнаго тому, что случилось намеднись за морями, въ городѣ Буяновѣ, гдѣ сынъ отцу въ глаза сказалъ: «не дури, тятька! разобью зубы!» Да не будетъ!..

Ну, вотъ, ты и разсмѣялся, читатель!

I. Госпожа Падейкова.

Въ концѣ не помню ужъ какого года, но только не очень давно, случилось происшествіе, которое въ особенности поразило умственныя способности Прасковьи Павловны Падейковой.

А именно, двадцатаго ноября, въ самый день преподобнаго Григорія Декаполита, собственная, приданная ея дѣвка Ѳеклушка торжественно, въ общемъ собраніи всей дѣвичьей, объявила, что скоро она, Ѳеклушка, съ барыней за однимъ столомъ будетъ сидѣть, и что неизвѣстно еще, кто кому на сонъ грядущій пятки чесать будетъ, она ли Прасковьѣ Павловнѣ, или Прасковья Павловна ей.

О таковой, распространяемой дѣвкой Ѳеклушкой, ереси ключница Акулина не замедлила доложить Прасковьѣ Павловнѣ.

Но прежде, нежели продолжать разсказъ, необходимо сказать нѣсколько словъ о героинѣ его.

Госпожа Падейкова—женщина лѣтъ сорока-пяти и въ цѣломъ околоткѣ извѣстна какъ дама, которой пальца въ ротъ не клади. Оставшись послѣ мужа вдовой въ весьма молодыхъ лѣтахъ и будучи еще въ дѣтствѣ воспитана въ самой суровой школѣ («я тандрессовъ-то этихъ да сахаровъ не знала, батюшка... да!»—отзывалась она о себѣ въ минуты откровенности), Прасковья Павловна мало-по-малу

пріучилась къ полной самостоятельности въ своихъ дѣйствіяхъ, что, однакожъ, не мѣшаетъ ей называть себя сиротою и безващитною, въ особенности, если разговоръ коснется чего-нибудь чувствительнаго. Въ ея наружности есть нѣчто мужественное, не терпящее ни противорѣчій, ни оправданій. Высокая и плечистая, она сложена какъ-то по-мужски, голосъ имѣетъ рѣзкій и повелительный, поступь твердую, а взоръ свѣтлый и до того проницательный, что, навѣрно, ни одна дворовая дѣвка не укроетъ отъ него своей беременности. Прасковья Павловна вдовѣетъ честно, то-есть безъ малѣйшей тѣни подозрѣнія, и потому въ дѣйствіяхъ ея царствуетъ совершенное нелицепріятіе. Пріятно видѣть, какъ она за всѣмъ присматриваетъ, сама всѣмъ руководитъ и сама же творитъ судъ и расправу, распредѣляя виновнымъ: кому два, кому три тычка. Велемудрыхъ иностранныхъ очковъ она не носитъ и, будучи съ дѣтства поклонницей патріархальнаго воззрѣнія, съ большою основательностью полагаетъ, что ничто такъ не исправляетъ лѣнивыхъ и не поощряетъ ретивыхъ, какъ тычокъ, данный во-время и съ толкомъ.

— Не нужно только рукамъ волю давать,—говоритъ она сосѣдямъ, пріѣзжающимъ къ ней поучиться мудрому управленію имѣніемъ:—а то какъ не наказывать—не наказывать нельзя!

Понятно, что при такой самостоятельности дѣйствій, посреди общаго, никогда не нарушаемаго безпрекословія, поступокъ Ѳеклушки долженъ былъ сильно взволновать Прасковью Павловну.

— Кто тебя волтеріанству научилъ?—спросила она Ѳеклушку, поставивъ ее предъ лицо свое и предварительнымъ тѣлодвиженіемъ давъ ей почувствовать разницу между дѣйствительностью и утопіей:—отвѣчай, кто тебя волтеріанству научилъ?

Ѳеклушка сначала оробѣла, но потомъ пустилась въ различные изворотъ и доложила барынѣ, что преподобный старецъ являлся ей во снѣ и объявилъ безотмѣнную свою волю, чтобъ она на будущее время всякое кушанье серебряной ложечкой ѣла. Но Прасковья Павловна не далась въ обманъ.

— Врешь ты, паскуда!—сказала она: — станетъ преподобный къ тебѣ, холопкѣ, являться!... Сослать ее, мерзавку, на скотный дворъ!

Сдѣлавши это распоряженіе, Прасковья Павловна, однако, не успокоилась.

Переходя отъ одного умозаключенія къ другому, она весьма основательно пришла къ убѣжденію, что всѣ эти штуки исходятъ не отъ кого другого, какъ отъ садовника Порфишки, котораго ужъ не разъ и не два заставали вдвоемъ съ Феклушкой.

— Такъ вотъ они объ чемъ шушукались!—сказала Прасковья Павловна.—Позвать ко мнѣ Порфишку!

Порфишку привели. Должно-быть, ему уже было приблизительно извѣстно, въ чемъ долженъ заключаться предстоящій съ барыней разговоръ, потому что онъ сталъ передъ Прасковьей Павловной съ рѣшительнымъ видомъ и, заложивъ руки за спину, отставилъ одну ногу впередъ. Прасковью Павловну прежде всего поразило это послѣднее обстоятельство.

— Гдѣ у тебя ноги?—спросила она, подступая къ Порфишкѣ.

— При себѣ-съ,—отвѣчалъ Порфишка, рѣшившись, повидимому, относиться къ барынѣ иронически.

— Я тебя спрашиваю, гдѣ у тебя ноги?—повторила Прасковья Павловна, все рѣшительнѣе и рѣшительнѣе подступая къ Порфишкѣ.

— Не извольте, сударыня, драться!—отвѣчалъ Порфишка, не смущаясь и не перемѣняя позы.

Прасковья Павловна была женщина, и вслѣдствіе того имѣла душу деликатную. При видѣ столь дерзкой невозмутимости, деликатность эта вдругъ всплыла наверхъ и заставила ее не только опустить подъятыя длани, но и сдѣлать нѣсколько шаговъ назадъ.

— Долой съ моихъ глазъ... грубіянъ!—сказала она:—не огорчай меня своимъ присутствіемъ!

Порфишка взглянулъ на барыню съ какою-то грустной ироніей, разинулъ-было ротъ, чтобъ еще что-нибудь высказать, но только пожевалъ губами и, вѣроятно, отложивъ объясненіе до болѣе удобнаго случая, вышелъ. Такимъ образомъ предположенное дознаніе не удалось. Послѣ объясненія этого Прасковья Павловна осталась въ неописанномъ волненіи. Надо сказать правду, что происшествіе съ Феклушкой вовсе не составляло для нея столь неожиданнаго факта, какъ это можно было бы подумать съ перваго взгляда. Давно уже по селамъ и весямъ носились слухи, Богъ вѣсть кѣмъ и откуда заносимые, что вотъ-вотъ всѣ

Ѳеклушки, Маришки, Порфишки и Прошки вдругъ отобьются отъ рукъ, откажутся подавать барынѣ умываться, перестануть чистить ножи, выносить изъ лаханей и проч. Сначала Прасковья Павловна подозрѣвала, что слухи эти идутъ отъ разносчика Фоки, который по-временамъ наѣзжалъ въ Падейково съ разнымъ хламомъ и имѣлъ привычку засиживаться въ дѣвичьей. Вслѣдствіе этого Фокѣ запрещенъ былъ въѣздъ въ деревню и въ то же время приняты были и другія дѣйствительныя мѣры къ охраненію нравственности дворовыхъ. Но слухи не унимались; напротивъ того, какъ волны, они росли и высились, принимая, по обычаю, самыя прихотливыя и фантастическія формы.

То будто звѣзда на небѣ странная появилась: это значитъ—Маришка барынѣ хвостъ показываетъ; то будто середь поля мальчикъ въ бѣлой рубашечкѣ не вѣсть откуда взялся и орѣшки въ рукахъ держитъ, и жалобненько такъ-то на всѣхъ глядитъ: это значитъ—Димитрій царевичъ по Бориса царя приходилъ; то будто Авдей, кузнецъ, лежа на печи, похвалялся: «мнѣ-ста, да мы-ста, да вы-ста», и все въ томъ же тонѣ. Очевидно, что есть что-нибудь, а если что-нибудь есть, то еще очевиднѣе, что надо принять противъ этого «что-нибудь» неотложныя и рѣшительныя мѣры, надо подумать о томъ, какимъ образомъ встрѣтить невзгоду такъ, чтобъ не застала врасплохъ.

Но какъ ни усиливалась Прасковья Платоновна, какъ ни изощряла свои умственныя способности, однако ничего, кромѣ розги, выдумать не могла.

«Такъ бы, кажется, и перепорола всѣхъ!»—думала она по-временамъ, и думала совсѣмъ не потому, чтобъ была зла, а единственно потому, что смыслъ всѣхъ завѣщанныхъ ей преданій удостовѣрялъ ее въ томъ, что въ розгѣ заключается глубокое нравственно-дидактическое таинство.

Поступокъ Ѳеклушки и Порфишки окончательно разстроилъ ее:

«Какъ!—думала она, тревожно расхаживая по залѣ:—какой-нибудь скверный холопишка смѣетъ говорить со мною, отставивши ногу впередъ!»

Въ это время истопникъ Сёмка, полу-калѣка, полу-идіотъ, явился въ комнату, неся на спинѣ беремя дровъ, которыя съ грохотомъ разсыпались по полу.

«Вотъ и этотъ, чай, бариномъ будетъ!»—полупрезрительно, полуиронически сказала про себя Прасковья Павловна, останавливаясь передъ Сёмкой.

— Сёмка, скоро и ты, чу, въ баря выйдешь!

Сёмка безсмысленно засмѣялся и замоталъ головой. Прасковьѣ Павловнѣ показалось, что онъ уже сочувствуетъ Ѳеклушкѣ и Порфишкѣ.

«Нѣтъ, видно, во всѣхъ этотъ *ядъ* ужъ дѣйствуетъ!»— подумала она и вслухъ прибавила:

— Что-жъ, хочется, что ли, Сёмка?

Сёмка загоготалъ и утерся рукавомъ своей пестрядинной рубашки.

— Вонъ, подлецъ!—крикнула Прасковья Павловна и внѣ себя выбѣжала въ дѣвичью.

— Дѣвки, сейчасъ всѣ до одной молитесь Богу, чтобъ *этого зла* не было!—сказала она.

Но не успѣли еще дѣвки исполнить приказанія ея, какъ къ крыльцу подъѣхала повозка, запряженная тройкой лошадей. Оказалось, что пріѣзжій былъ нѣкто Гаврило Семенычъ Грузиловъ, сосѣдъ Падейковой, служившій, вмѣстѣ съ тѣмъ, засѣдателемъ отъ господъ дворянъ въ М. уѣздномъ судѣ.

Грузиловъ хотя и находился въ былыя времена въ военной службѣ, гдѣ, съ Божьею помощью, дослужился даже до прапорщичьяго чина, но за давно прошедшимъ временемъ все, что было въ наружности его напоминающаго о поползновеніяхъ воинственности, улетучилось, и въ немъ, какъ онъ самъ выражался, никакихъ военныхъ аллюровъ не осталось, кромѣ нѣкоторой слабости къ старику-ерофеичу. Вообще, онъ принадлежалъ къ числу тѣхъ благонравныхъ мелкопомѣстныхъ дворянъ, которые, въ присутствіи сильныхъ и богатыхъ помѣщиковъ, скромно жмутся въ углу или около печки, заложивъ одну руку за спину, а другую пріютивши гдѣ-то около пуговицъ форменнаго и всегда застегнутаго сюртука.

— А, Гаврило Семенычъ! Откуда, сударь, пожаловалъ?— сказала Прасковья Павловна, идя навстрѣчу входящему Грузилову.—А у меня, батюшка, здѣсь между дѣвками вольность проявилась... конституціевъ, видишь, хочется! Вотъ я вамъ задамъ ужо конституціевъ!

— Точно такъ-съ, Прасковья Павловна,—осмѣлился замѣтить Грузиловъ:—точно такъ-съ; нынче это промежду нихъ модный духъ... такъ точно, какъ бы сказать, между благородными людьми мода бываетъ!

— Вотъ я эту моду ужо повыбью!—отвѣчала Прасковья Павловна и повела гостя во внутренніе покои.

— Я къ вамъ, Прасковья Павловна, съ дѣльцемъ-съ,— таинственно проговорилъ Грузиловъ, едва держась на кончикѣ стула и безпокойно поглядывая на полуотворенную дверь, мимо которой безпрестанно шмыгали дворовыя дѣвки.

Прасковья Павловна измѣнилась въ лицѣ.

— Что̀ такое?—спросила она дрожащимъ голосомъ, уже предчувствуя бѣду.

— Гм... точно-съ... извѣстіе-съ... до всѣхъ касающе...— пробормоталъ Грузиловъ, самъ инстинктивно робѣя.

— Да ты не гымкай, а говори, сударь, дѣло!—сказала съ сердцемъ Прасковья Павловна.

Грузиловъ снова съ безпокойствомъ взглянулъ на дверь, гдѣ, какъ ему показалось, торчали двѣ женскія головы очевидно желавшія подслушать барскій разговоръ.

— Перметтѐ... ле портъ?—сказалъ онъ рѣшительно, хотя до настоящей минуты отъ роду не выговаривалъ ни одного французскаго слова.

— Фермѐ!—отвѣчала Прасковья Павловна.

Грузиловъ приперъ дверь поплотнѣе.

— Имѣю честь доложить,—сказалъ онъ вполголоса:— что на сихъ дняхъ *оно* ужъ кончено, то-есть рѣшено и подписано-съ!

— Ка̀къ рѣшено? кѣмъ подписано? Да говори же, сударь, говори!

— Такъ точно-съ; для *нихъ*, можно сказать, все счастіе составили-съ!

— Парлѐ франсѐ!—сказала Прасковья Павловна, поднимаясь съ дивана и подступая къ Грузилову:—де ки, де ки савѐ?

— Иванъ Степанычъ вчерашняго числа достовѣрное извѣстіе получили-съ...

Прасковья Павловна съ глухимъ воплемъ опустилась на диванъ. Грузиловъ засуетился около нея.

— Матушка, Прасковья Павловна!—говорилъ онъ нѣсколько ослабнувшимъ отъ страха голосомъ.—Матушка, не сердитесь! Богъ дастъ, все попрежнему будетъ!

Прасковья Павловна, упершись въ спинку дивана и зажмуривъ глаза, безмолвствовала.

— Не прикажете ли изъ дѣвокъ кого-нибудь позвать?— продолжалъ растерявшійся Грузиловъ.

Но Прасковья Павловна попрежнему безмолвствовала. Грузиловъ бросился къ двери.

— Ахъ, нѣтъ!—вскрикнула Прасковья Павловна томнымъ голосомъ.

— Успокойтесь, матушка!—утѣшалъ Грузиловъ.—Иванъ Степанычъ сказывали, что все это только такъ-съ, предварительно-съ... для того только, чтобъ французу по губамъ помазать... Да прикажите же, сударыня, дѣвку-то позвать!

— Ахъ, нѣтъ, Гаврило Семенычъ!—отвѣчала Прасковья Павловна:—зачѣмъ ихъ безпокоить! Богъ знаетъ, можетъ-быть, еще намъ съ тобой придется за ними ухаживать!

— Ужъ это не дай Богъ-съ!—уныло молвилъ Грузиловъ.

— Нѣтъ ужъ, нѣтъ... нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ! Съ нынѣшняго дня, съ нынѣшняго дня!.. Это горько!—восклицала Падейкова, томно устремляя глаза къ небу.

— Успокойтесь же, матушка!—увѣщавалъ, между тѣмъ, Грузиловъ:—все это слухъ одинъ-съ... И въ древности Симъ-Хамъ-Іафетъ были-съ, и на будущее время нѣтъ имъ резона не быть-съ!

— Нѣтъ, Гаврило Семенычъ,—сентиментально продолжала Прасковья Павловна:—я вотъ какъ скажу: съ нынѣшняго дня я всю мою надежду на Бога возложила,—какъ Онъ, Царь Небесный, положитъ, такъ пусть и будетъ... Только ужъ я въ обиду себя не дамъ!—прибавила она совершенно неожиданно.

Грузиловъ молчалъ.

— Я еще давеча чувствовала, что готовится что-то ужасное! Даже сонъ былъ какой-то странный... Всегда видишь во снѣ что-нибудь пріятное: или по ковру ходишь, или по рѣкѣ плывешь, или вообще что-нибудь на пользу дѣлаешь, а нынче просто-на-просто привидѣлось какое-то большущее черное пятно: такъ будто и колышется передъ глазами—то налѣво повернетъ, то направо пошатнется, то будто подъ сердце подступить хочетъ...

— Это точно-съ, что сонъ несообразный,—замѣтилъ Грузиловъ:—а впрочемъ, не всегда сны вѣроятія достойны, сударыня! Не далеко искать, жена-покойница видѣла, примѣрно хоть нынче, будто, съ позволенія сказать, въ грязи погрузла; ну, и думали мы тогда, что это значитъ—наслѣдство получить; анъ, замѣсто того, она на завтра преставилась-съ!..

— Нѣтъ, Гаврило Семенычъ, мой сонъ правду говоритъ... я это вижу! Ну, что-жъ, и пускай всѣ будутъ дворянками! Вотъ завтра позову всѣхъ, и Феклушку позову... ну, и скажу

имъ: теперь, дѣвки, ужъ не мнѣ вами командовать, а вы командуйте мной! Вы теперь барыни, а я ваша холопка! Только прелюбопытно это будетъ, Гаврило Семенычъ, какъ это онѣ за команду-то примутся? Вѣдь онѣ это дѣло какъ понимаютъ? По-ихнему, сидѣлъ бы сложа руки, чтобъ все это имъ даромъ да шаромъ... а того и не подумаютъ, мерзавки, что даромъ-то и прыщъ на носу не вскочитъ: все сначала почешется.

— Это точно-съ.

— Поэтому-то я и говорю, что въ этихъ случаяхъ всего вѣрнѣе на Бога упованіе возлагать. Вотъ и давеча: точно меня въ грудь кольнуло; сижу я одна и все говорю: «что Батюшка Царь Небесный захочетъ, то и сдѣлаетъ; мы Ему не то что тѣла, а и души, и платье, и домъ... и все, словомъ сказать, въ безотчетность препоручить должны!» Такъ вотъ и говорю; и сама не знаю, что со мной сдѣлалось, а только все говорю, все говорю, а въ груди-то у меня такъ и колетъ, словно вотъ кто меня сзади подталкиваетъ: смотри, дескать, все это не даромъ! сокрушатъ твое счастіе! Такъ оно и случилось. Нѣтъ, Гаврило Семенычъ, меня предчувствія никогда не обманываютъ... никогда!

Очевидно, что Прасковья Павловна, незамѣтно для самой себя, понемногу вошла въ тотъ фазисъ душевнаго состоянія, когда постигшее человѣка несчастье мало-по-малу отодвигается на задній планъ, а впередъ выступаетъ безконечное самоуслажденіе своими собственными соболѣзнованіями. Она, если можно такъ выразиться, смаковала свое горе, прислушиваясь къ своимъ рѣчамъ, и, внезапно вообразивъ себя чѣмъ-то въ родѣ кроткой страдалицы, искренно начала чувствовать то пріятное разслабленіе во всемъ организмѣ, которое, какъ извѣстно, предшествуетъ всѣмъ подвигамъ самоотверженія.

— Нѣтъ, видно, ужъ намъ на роду такъ написано!— продолжала она, улыбаясь довольно ласково и трепля Грузилова по плечу:—видно, ужъ мы неугодны стали, а угодны стали холопки. Вонъ у меня ихъ съ тридцать въ дѣвичьей напасено: хоть всѣхъ дѣлай дворянками... съ Богомъ! Такъ-то, Гаврило Семенычъ, такъ-то, почтенный мой! Возьмемся-ка мы съ тобой за соху и станемъ землю ковырять! Что-жъ, вѣдь коли по правдѣ говорить—хуже-то намъ отъ этого не будетъ, еще для души что-нибудь полезное сдѣлаемъ. А то это хозяйство да хлопоты—только грѣхъ съ ними одинъ!

Грузиловъ усмѣхнулся; онъ самъ начиналъ мало-по-малу

расплываться и сочувствовать идиллическому настроенію души Прасковьи Павловны.

— Это вы справедливо насчетъ грѣха изволили замѣтить,—сказалъ онъ:—грѣхъ точно есть-съ, потому что въ хозяйствѣ, дѣло извѣстное, безъ того нельзя, чтобъ не безъ рукъ-съ... Ну, и кровь отъ этого самаго портится, а ужъ жизнь какъ сокращается, такъ это именно, можно сказать, какъ только Богъ по грѣхамъ насъ поддерживаетъ!

— Ну, вотъ, видишь ли! Стало-быть, и правда моя, что все это къ нашему же добру ведетъ!.. Наймемъ вотъ у своихъ же крестьянъ землицы, да и станемъ жить да поживать... Конечно, тогда ужъ сладкаго куска не требуй, а будь сытъ, чѣмъ Богъ послалъ—зато грѣха меньше будетъ! Вотъ мы служили-служили мамону, а что выслужили? Можетъ, за мамонъ-то насъ Богъ и наказываетъ!

При словѣ «мамонъ», Грузиловъ вспомнилъ, что онъ еще не завтракалъ, но сказать объ этомъ Прасковьѣ Павловнѣ не осмѣлился. Съ своей стороны, хозяйка умолкла и нѣсколько минутъ сидѣла потупивши голову и перебирая пальцами.

— А мудреное будетъ дѣло-съ!—сказалъ, наконецъ, Грузиловъ.

Прасковья Павловна ожила.

— Да ужъ такъ-то, сударь, мудрено,—сказала она, снова приходя въ волненіе:—что я вотъ думаю-думаю и никакъ-таки придумать не могу! И такъ прикинешь, и такъ повернешь—и все какъ-то ничего не выходитъ! Ну, ты возьми, сударь, подумай! Всѣ, что ли, барями будутъ? Всѣ, что-ли, хорошія кушанья ѣсть будутъ? Такъ вѣдь про нихъ хорошаго-то не напасешься — пойми ты это! Да опять и то: если бы и можно было доподлинно напастись, такъ вѣдь они, можно сказать, озорствомъ все разбросаютъ! Не то чтобъ кроткимъ манеромъ сѣсть за столъ да поѣсть, чѣмъ Богъ послалъ — онъ, сударь, будетъ только глотку свою драть: подавай ему и того, и сего, и индюшечку-то подай, и теленочка-то зарѣжь, и капустки-то наруби... да Божье-то добро, вмѣсто того, чтобъ въ ротъ брать, онъ подъ столъ да подъ лавку!..

— Это истинно-съ! Вотъ у меня кучеръ Прохоръ — изволите, чай, знать?—такъ онъ, коли хмелинка у него въ голову попадетъ, такъ-таки никакъ въ ротъ кускомъ попасть не можетъ, а все, знаете, мимо суётъ... презабавно на него въ ту пору смотрѣть бываетъ!

— Ну, вотъ видишь ли! А онъ теперь еще въ страхѣ

находится: что-жъ это будетъ, коли на него и страху-то ужъ не станетъ! У меня вотъ Сёмка-дурачокъ есть, такъ онъ даже и ѣсть-то путемъ не попроситъ, коли посторонніе не накормятъ... ну, и онъ, стало-быть, бариномъ сдѣлается?

— Да-съ, это будетъ любопытно-съ, — отвѣчалъ Грузиловъ, хихикнувъ отъ удовольствія.

— Нѣтъ, ты не смѣйся!—сказала Прасковья Павловна строго:—это дѣло слезъ, а не смѣха стоюще! Мое теперь дѣло сторона, а я больше объ нихъ жалѣючи говорю. Ты возьми, сударь, то въ расчетъ, что у нихъ и натура такъ создана, что они больше, какъ бы сказать, къ тяжелымъ трудамъ приспособлены, а не то чтобъ къ нѣжностямъ да къ музыкамъ или тамъ объ душѣ что-нибудь побесѣдовать... Вѣдь это, значитъ, въ нихъ ужъ не человѣческое, а релегеозное! Стало-быть, если у нихъ эти тѣлесныя упражненія отнять, что же изъ этого будетъ? — одно забвеніе, и больше ничего!.. Ну, опять и то подумай: что-жъ, значитъ, мы, дворяне, послѣ этого будемъ! Теперь, какъ у меня что есть, такъ всякій это видитъ, всякій, значитъ, и уважаетъ меня какъ дворянку! А какъ ничего-то у меня не будетъ, кто же мнѣ, какъ дворянкѣ, уваженіе сдѣлаетъ? Вѣдь на лбу-то у меня не написано, что я дворянка! Что одѣта-то я почище—такъ нынче мѣщанки-то лучше дворянокъ еще одѣваются! Всякій, значитъ, и скажетъ: какая ты дворянка! Пошла, скажетъ, голубушка, прочь!

Прасковья Павловна проницательно посмотрѣла въ глаза Грузилову.

— Вотъ и служили мамону!—сказала она: — вотъ и дослужились!

При вторичномъ напоминаніи слова «мамонъ», Грузилову сдѣлалось нестерпимо тоскливо. На этотъ разъ онъ даже рѣшился преодолѣть природную свою робость и напомнить хозяйкѣ объ обязанностяхъ гостепріимства.

— Матушка, Прасковья Павловна, — сказалъ онъ, заикаясь:—не соблаговолите ли... закусить что-нибудь?

— Не знаю, сударь, не знаю, какъ теперь и приказывать! Попроси развѣ самъ дворянокъ-то: можетъ, и дадутъ что-нибудь изъ милости! Я теперь и насчетъ себя ничего не знаю! Будутъ онѣ мою ласку помнить—ну, дадутъ что-нибудь: рыбки, что-ли, солёненькой, огурчиковъ, что-ли; а не будутъ—и не ѣвши день просижу... А ужъ передъ холопками своими унижаться не стану!

Однакожъ, ожиданія Прасковьи Павловны не сбылись. И закуска, и вслѣдъ затѣмъ обѣдъ были поданы, какъ обыкновенно, безъ всякаго замѣшательства. Грузиловъ ѣлъ съ величайшимъ аппетитомъ, хрустѣлъ зубами, щелкалъ языкомъ и причмокивалъ губами. Нельзя сказать того же о Прасковьѣ Павловнѣ: она почти все время исподлобья слѣдила за движеніями лакея Ѳедьки и вслѣдъ за каждымъ проглатываемымъ кускомъ приговаривала: «ну, вотъ, можетъ-быть, и въ послѣдній разъ такъ ѣдимъ!» Иногда аппетитъ ея даже совсѣмъ пропадалъ и она съ досадой бросала на столъ вилку и ножикъ и отодвигала отъ себя тарелку съ непочатымъ еще кушаньемъ.

— Прахъ побери, да и совсѣмъ! — восклицала она восторженно:—пусть все пойдетъ прахомъ! пусть все пойдетъ прахомъ!

Въ этотъ же день, вечеромъ, по отъѣздѣ Грузилова, когда дѣвка Маришка доложила барынѣ, что постелька ихъ ужъ готова, Прасковья Павловна взглянула на нее какъ-то особенно кротко и сказала:

— Нѣтъ ужъ, Мариша, я раздѣнусь сама! Гдѣ мнѣ тебя безпокоить... поди почивать! — Маришка остановилась въ недоумѣніи. — Или тебѣ меня жалко? — продолжала Прасковья Павловна:—ну, что-жъ, если у тебя такое доброе сердце, что ты хочешь раздѣть свою барыню—раздѣнь, я препятствовать не стану!

Ночью привидѣлся Прасковьѣ Павловнѣ сонъ.

Снилось ей, будто она пожалована въ скотницы и доитъ преогромную корову. Только доитъ она и никакъ не можетъ ее выдоить, а между тѣмъ сзади стоитъ Порфишка и приговариваетъ: «доить тебѣ всю жизнь и не отдоиться, доить и не отдоиться!» Она будто бы хочетъ вскочить и замахнуться на Порфишку—не тутъ-то было: ноги словно приросли къ землѣ, хотя самоё ее такъ и подмываетъ, такъ и подмываетъ.

— Это, матушка, значитъ, деньгамъ переводу не будетъ,—объяснила ей ключница Акулина, которой она имѣла привычку сообщать свои сны.

— Ахъ, ужъ какія теперь, Акулинушка, деньги! — сказала Прасковья Павловна и потихоньку при этомъ вздохнула.

Надо, однакожъ, сознаться, что въ дѣвичьей не преминули воспользоваться нравственной перемѣной, происшедшей въ Прасковьѣ Павловнѣ. По увѣренію Акулины, дѣвки

совсѣмъ отъ рукъ отбились, а Порфишка безвыходно поселился въ дѣвичьей и съ утра до вечера тѣмъ только и занимался, что игралъ въ гармонію и нашептывалъ дѣвкамъ любезности, отъ которыхъ онѣ мгновенно шалѣли. Однако, Прасковья Павловна только покачивала головой, когда ей докладывали о всѣхъ этихъ безпорядкахъ, и, не дѣлая никакихъ распоряженій, уныло говорила: «это еще что! дай сроку, и не то еще будетъ!» Однимъ словомъ, изъ прежней дѣятельной и бойкой барыни Прасковья Павловна превратилась въ какую-то институтку-мечтательницу: по цѣлымъ днямъ просиживала у окна, взглядывая въ безграничную даль, и томно при этомъ вздыхала...

Однажды ей доложили, что пришелъ староста.

— Ну, что, Авенирушка, скажешь?—обратилась она къ нему:—барыню, что-ли, свою старую вспомнилъ?

— Хлѣбъ, сударыня, весь измолотили.

— Ну, спасибо тебѣ, Авенирушка! Спасибо вамъ, мои голубчики, что старую барыню не оставляете!

— Куда завтра народъ гнать прикажете!

— А куда гнать? Извѣстно, куда нонче всѣхъ гнать велятъ!.. Нѣтъ, Авенирушка, я нонче приказывать не могу... приказывайте лучше вы мнѣ!

Авенирушка неосторожно осклабился; Прасковья Павловна, которая зорко за нимъ слѣдила, замѣтила это.

— Ты, кажется, смѣяться вздумалъ?—спросила она его строго:—такъ я тебѣ еще докажу, подлецъ ты этакой, что значитъ барыню на смѣхъ подымать... Вонъ съ глазъ моихъ, грубіянъ!

— Я, сударыня, помилуйте... я ничего... какъ можно этакому дѣлу смѣяться! Этакому дѣлу плакать должно!

Прасковья Павловна нѣсколько смягчилась.

«Вотъ хорошіе-то да благонравные всѣ такъ говорятъ!»—подумала она.

— Что же насчетъ барщины изволите приказать?—приставалъ староста.

— Нѣтъ, Авенирушка, хоть я и знаю, что ты добрый, а приказывать не могу!.. Нѣтъ моихъ силъ, Авенирушка!

Очевидно, отношенія ея съ каждымъ днемъ становились тяжелѣе и натянутѣе. Самыя ничтожныя затрудненія, которыя, въ былыя времена, Прасковья Павловна разрѣшала однимъ взмахомъ руки, принимали теперь въ ея воображеніи неприступныя, чуть не чудовищныя формы. Горькія,

безотрадныя мысли посѣщали ея голову во время безмолвнаго сидѣнія у окна.

«Какъ же теперь я кушанье сама себѣ готовить буду?—думала она:—я человѣкъ нѣженный...»

Пробѣгалъ ли въ это время мимо окна теленокъ, или пѣтухъ, взобравшись на кучу навоза, громкимъ голосомъ взывалъ къ своимъ хохлатымъ подругамъ:

«Стало-быть, и это все—имъ!—думала Прасковья Павловна:—и теленочекъ, и курочка!»

Проходила ли по двору дѣвка Аришка, исправляющая въ домѣ должность прачки, неся на плечѣ коромысло, обремененное мокрымъ, сейчасъ только выполосканнымъ, бѣльемъ:

«Успокойся, милая! — думала сама съ собой Прасковья Павловна:—успокойся, подлячка, не долго тебѣ мыть! Скоро, очень скоро...»

Но тутъ мысль ея запутывалась и, незамѣтно для нея самой, получала такія кудреватыя развѣтвленія, что не было никакой возможности уловить ихъ.

Даже преданная Акулина дѣлалась въ глазахъ ея чѣмъ-то въ родѣ отогрѣтой у пазухи змѣи.

— А вѣдь ты отъ меня сейчасъ же стречка дашь!—говорила она, когда Акулина, видя ея горесть и заботясь о ней, какъ о маломъ ребенкѣ, приносила ей пирожка людского попробовать или соченька съ молодымъ творожкомъ отвѣдать.

— Христосъ съ вами, сударыня! Куда мнѣ, старухѣ, отъ васъ зря бѣжать? Вѣдь я васъ еще эконькихъ знавала!

Акулина отмѣривала морщинистой рукой своей пространство на полъ-аршина отъ земли.

— Это нужды нѣтъ, что знавала! — продолжала неумолимая Прасковья Павловна: — я тебя насквозь, ехидную, вижу! Лучше, что ли, ты Θеклушки-то?

— Нашли съ кѣмъ сравнить! Ой, барыня!

— А останешься, такъ еще хуже того будетъ! Навяжетесь вы мнѣ на шею, калѣки да хворые! Чѣмъ бы за мной походить, анъ еще я за вами ухаживать должна... чай, и Сёмка останется!

— Покушайте-ка лучше, сударыня!

— Вотъ видишь, какъ ты со мной обращаться стала! Ну, смѣла ли бы ты прежде меня ѣсть принуждать! Нѣтъ, всѣхъ, всѣхъ съ глазъ долой!

Прасковья Павловна съ негодованіемъ отвергала подно-

симый ей жирный сочень, произнося при этомъ слѣдующія обидныя слова: «еще ядомъ, можетъ, обкормить меня хочешь!»

И все-таки я долженъ сознаться, что Прасковья Павловна была совсѣмъ не дурная женщина, и даже внутренно сама себѣ не вѣрила, обвиняя Акулину въ недостаткѣ преданности, а тѣмъ болѣе въ злостномъ желаніи обкормить ее. Она вполнѣ была убѣждена, что Акулина была преданнѣйшимъ и безотвѣтнѣйшимъ существомъ, какое только могло выработаться на русской почвѣ, подъ вліяніемъ тѣхъ горькихъ отношеній, которыя нѣкоторыми героями не безъ ироніи называются патріархальными.

Она дѣйствительно знала, что Акулина возилась съ ней еще въ ту радужную пору, когда она была «эконькой», и что съ тѣхъ поръ завязалась между ними та неразрывная связь, по свойству которой въ глазахъ Акулины не было человѣка краше Прасковьи Павловны, а въ глазахъ Прасковьи Павловны—не было ключницы честнѣе и преданнѣе Акулины. Если и происходили у нихъ иногда стычки по поводу нѣкоторыхъ весьма невинныхъ вопросовъ, какъ, напримѣръ, пролитаго кваса, безъ вѣсти пропавшаго кусочка сахара, еще вчера вечеромъ видѣннаго на комодѣ, разбитой тарелки и т. п., и если Прасковья Павловна никогда не пропускала случая назвать Акулину старой воровкой и разорительницей, то послѣдняя не только не обижалась этими импровизированными ласками, но, напротивъ того, считала бы, что въ жизни ея нѣчто недостаетъ, если бы ихъ не было. Поэтому и настоящій казусный случай не только не измѣнилъ этихъ отношеній, но еще болѣе скрѣпилъ ихъ. Нерѣдко, когда барыня, безмолвствуя по цѣлымъ часамъ и перебирая въ умѣ своемъ всѣ ужасы, которые представляло угодливое ея воображеніе, смотрѣла въ окошко, Акулина потихоньку становилась въ дверяхъ ея комнаты и, пригорюнившись, смотрѣла на ненаглядную свою барыню.

— Куда это она огурцы несетъ? Куда она огурцы несетъ? — вскрикивала Прасковья Павловна, замѣтивъ, что дѣвочка Васютка воровски пробирается около забора, неся подъ фартукомъ деревянную чашку съ солеными огурцами.— Акулька, мерзкая! Такъ-то ты барское добро бережешь!

Акулина опрометью бросалась изъ комнаты, чтобы накрыть виновную съ поличнымъ.

— Ахъ, нѣтъ!—кричала ей вслѣдъ Прасковья Павловна:—

ахъ, нѣтъ! оставь ее, Акулинушка! Пусть ихъ ѣдятъ, ненасытныя! Пусть все прахомъ пойдетъ!

И снова погружалась въ мечтательность. Въ такихъ тревогахъ прошелъ цѣлый мѣсяцъ.

Однако, Прасковья Павловна съ величайшимъ изумленіемъ вдругъ замѣтила, что въ теченіе этого времени вокругъ нея никакихъ существенныхъ измѣненій не произошло. Попрежнему «дѣвки-поганки» подавали ей умываться и оправляли ей постель; попрежнему «Ѳедька-подлецъ» чистилъ ножи, ставилъ самовары и подавалъ за обѣдомъ кушанья; попрежнему Авенирушка каждый вечеръ являлся за приказаніями... Даже пассажей особенныхъ не было, кромѣ нѣсколькихъ кражъ огурцовъ да изрѣдка раздававшихся робкихъ звуковъ гармоніи (что, впрочемъ, случалось и въ прежнее время).

Надо было истолковать себѣ это явленіе.

Но и тутъ Прасковья Павловна никакъ не могла вывести свою мысль на прямую дорогу изъ круга сомнѣній и противорѣчій, въ которомъ она упорно вращалась.

«Нѣтъ, это они не даромъ!—думала она иногда, по-своему зорко присматриваясь и прислушиваясь ко всему окружающему:—это они нарочно смиренниками прикинулись!»

И вмѣстѣ съ тѣмъ, слѣдомъ за этою черною мыслью, возникала въ умѣ ея другая, болѣе утѣшительная: «а что, если Грузиловъ навралъ? Что, если ничего этого нѣтъ, и все это звонъ и брехъ пустыхъ и неблагонамѣренныхъ людей?»

— Эти дворняжки кургузые только смуту заводятъ! Ѣздятъ по сосѣдямъ да только—тяфъ-тяфъ!..

Чтобъ положить предѣлъ этимъ мученіямъ, она рѣшилась ѣхать въ городъ, къ тому самому Семену Иванычу, въ которомъ, по свидѣтельству Грузилова, заключался первоначальный источникъ, изъ котораго струилось смутившее ее извѣстіе.

Городъ, обыкновенно тихій до мертвенности, былъ какъ-то неестественно оживленъ, когда въ него въѣхала Прасковья Павловна; по улицамъ суетливо сновали и щегольскіе возки, и скромные, обтянутые рогожей баулы, и лихія сани, запряженныя тройками, съ гремящими бубенчиками и заливающимися колокольцами.

Обстоятельство это не ускользнуло отъ вниманія Прасковьи Павловны.

«Ишь, черти, обрадовались!»—произнесла она мысленно.

И съ этой минуты уже не сомнѣвалась. «Какъ только я это увидѣла,—разсказывала она въ тотъ же вечеръ Акулинѣ:—что они, съ позволенія сказать, какъ черти въ аду бѣснуются, такъ съ той же минуты и положилась во всемъ на волю Божію!»

Однако, съ Семеномъ Иванычемъ повидалась, хотя бы для того, чтобъ испить чашу горечи до дна. Семенъ Иванычъ былъ всѣми уважаемый въ уѣздѣ старецъ и точно такъ же ненавидѣлъ *этотъ ядъ*, какъ и Прасковья Павловна. Сверхъ того, онъ имѣлъ еще ту особенность, что говорилъ картаво и невнятно, но, взамѣнъ того, умѣлъ мастерски свистать по-птичьи, поддѣлываясь съ одинаковымъ успѣхомъ и подъ щёлканье соловья, и подъ карканье вороны. Старики свидѣлись и немножко взгрустнули; Прасковья Павловна даже прослезилась.

— Сколько лѣтъ, сколько зимъ! — сказалъ Семенъ Иванычъ, въ грустномъ изумленіи простирая руки.

— И какъ все вдругъ измѣнилось, Семенъ Иванычъ! — отвѣчала Прасковья Павловна.

Они сѣли другъ противъ друга и нѣсколько минутъ безмолвствовали, какъ бы боясь вымолвить тайное слово, обоихъ ихъ тяготившее.

— Правда?—произнесла, наконецъ, Прасковья Павловна.

— Правда! — отвѣчалъ Семенъ Иванычъ, поникая головой.

Снова послѣдовало нѣсколько минутъ безмолвія, въ теченіе которыхъ собесѣдники, казалось, съ усиленнымъ вниманіемъ прислушивались къ бою маятника, въ этотъ разъ какъ-то особенно назойливо шатавшагося изъ стороны въ сторону. Что слышалось имъ въ этомъ несносномъ, мѣрномъ до тошноты «тикъ-такъ»? Слышалось ли, что каждый взмахъ маятника есть взмахъ, призывающій ихъ къ смерти? Чувствовалось ли, что кровь какъ будто застываетъ въ ихъ жилахъ, что во всемъ организмѣ ощущается тупое безпокойство и недовольство?

— Такъ прахъ же побери и совсѣмъ! — неожиданно вскрикнула Прасковья Павловна, шумно поднимаясь съ мѣста и съ сердцемъ отталкивая свой стулъ.

И кто бы могъ подумать? — она тутъ же начала упрекать Семена Иваныча, обвинять его въ вольтеріанствѣ и доказывать, какъ дважды два четыре, что это онъ своимъ поганымъ языкомъ все надѣлалъ.

— Вамъ бы только те-те-те да та-та-та! — разлилась

она, очень удачно передразнивая Семена Иваныча:—вамъ бы только сплетни развозить да слухи распускать—вотъ и досплетничались! Можетъ-быть, безъ вашихъ сплетней да шушуканьевъ и не догадался бы никто, и все было бы смирно да ладно!

Съ этихъ поръ спокойствіе ея было окончательно нарушено. Всякое произнесенное при ней слово, улыбка, взглядъ, движеніе руки, даже всякое явленіе природы — все мгновенно пріурочивалось ею къ одному и тому же вопросу, который всецѣло царилъ надъ всѣми ея помышленіями.

— Мутитъ это, мутитъ все во мнѣ! Хоть бы смерть, что ли, поскорѣй пришла!—жаловалась она безпрестанно, оставаясь наединѣ съ Акулиной.

— Что́ вы, что́ вы, сударыня! вѣдь ишь что́ выдумали!—урезонивала ее Акулина.

— Да куда же я пойду? Ну, говори, дура, куда я дѣнусь-то?—тосковала Прасковья Павловна.—Въ богадѣльню меня не возьмутъ: я не мѣщанка; въ услуженіе идти — силъ моихъ нѣту; дрова колоть—такъ я и топора въ руки взять не умѣю!

— Чтой-то, Господи, ужъ и дрова колоть! — возражала Акулина.

— Нѣтъ, ты скажи, куда же я дѣнусь? Ты вотъ только грубіянничать да отвѣчать мастерица. Я слово, а она—два! я слово, а она—десять! А ты вотъ научи меня, куда мнѣ дѣваться-то? Въ скотницы, что ли, по-твоему идти?.. Такъ врешь ты, холопка, еще не доросла ты до того, чтобъ барынѣ твоей въ скотницахъ быть!

Наконецъ, пришла и весна. Обновилась ею вся природа, но не обновилась Прасковья Павловна. Таяніе снѣга, журчаніе воды и постепенное обнаженіе полей—явленія обыкновенно столь радостныя въ деревнѣ—возбуждали въ Прасковьѣ Павловнѣ досаду и озлобленіе, напоминая ей о приближающейся съ каждымъ днемъ развязкѣ.

— Тай, батюшка, тай!—говорила она, смотря на снѣгъ:—авось времечко скорѣй пролетитъ.

Прилетѣли скворцы. Въ этотъ годъ ихъ было какъ-то особенно много, и мигомъ наполнились всѣ скворешницы неугомоннымъ и болтливымъ ихъ населеніемъ.

Прасковья Павловна, которая всегда питала къ скворцамъ особенную нѣжность, на этотъ разъ возненавидѣла ихъ.

— Болтайте, скворки, болтайте!—говорила она:—точно наши дворняжки: болты-болты, и нѣтъ ничего!

Наконецъ, загремѣлъ первый громъ. Вся природа разомъ встрепенулась и ожила: зелень какъ-то гуще окрасила листву деревъ и стебельки травы; растенія разомъ вытянулись, цвѣты раскрыли свои чашечки; муравейки закопошились, засуетились взадъ и впередъ по землѣ... Все кругомъ заблагоухало, все пришло въ движеніе, все затрепетало какимъ-то сладостнымъ, томительнымъ трепетомъ...

— Греми, батюшка, греми! — сказала Прасковья Павловна, услышавъ въ первый разъ этотъ призывъ природы къ жизни: — греми! Громъ не грянетъ, мужикъ не перекрестится!

А тутъ еще и по дому непріятности безпрестанно выходятъ: то вдругъ Надёжка оказалась съ прибылью, то Ѳедька съ пьяныхъ глазъ легъ на горячую плиту спать...

— Господи! Что́ же мнѣ дѣлать? Что́ же мнѣ дѣлать?— тоскливо восклицаетъ Прасковья Павловна:—инъ, и впрямь умирать пора!..

II.—Недавнія комедіи.

I. СОГЛАШЕНІЕ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Иванъ Павлычъ Сергѣевъ, молодой человѣкъ, уѣздный предводитель дворянства.

Андрей Карлычъ Кирхманъ, уѣздный судья, чистенькій, благообразный старичокъ.

Разумникъ Ѳедотычъ Примогеновъ, помѣщикъ, среднихъ лѣтъ; ходитъ прямо; виски прилизаны; по срединѣ лба кокъ.

Иванъ Иванычъ Петровъ, помѣщикъ, маленькій, кругленькій и до того сластолюбивый, что когда при немъ говорятъ о женщинахъ, то въ ногахъ его образуется движеніе въ родѣ того, какое замѣчается у очень влюбленнаго пѣтуха. Домашній другъ г-жи Антоновой.

Иванъ Ѳомичъ Сидоровъ, старикъ-помѣщикъ, скряга.

Отставной капитанъ Савва Саввичъ Постукинъ, помѣщикъ.

Целестинъ Мечиславичъ Мощиньскій, молодой помѣщикъ; между своими слыветъ подъ именемъ «выходца».

Степанида Петровна Антонова, дама среднихъ лѣтъ; очень полна.

Софья Фавстовна Лизунова, вдова, лѣтъ шестидесяти; лицо коричневое, платье коричневое; сидитъ прямо и ни на кого въ особенности не смотритъ; безпрестанно вынимаетъ изъ засаленной бумажки мятныя лепешки и сосетъ.

Дѣйствіе происходитъ въ деревнѣ Сергѣева; театръ представляетъ просторную и довольно хорошо меблированную комнату. Антонова и Лизунова сидятъ въ глубинѣ сцены, на диванѣ; Кирхманъ — на

стулѣ, около Антоновой; рядомъ съ нимъ въ креслахъ расположился Примогеновъ, величественно протянувши ноги; Сидоровъ дремлетъ въ углу, Мощиньскій, заложивши руки въ карманы, юлитъ и суетится во всѣ стороны; Постукинъ, съ чубучищемъ въ рукахъ, ходитъ по комнатѣ, по-временамъ останавливается и хочетъ нѣчто сказать, но, пожевавши губами, стискиваетъ въ рукѣ чубукъ и опять отправляется въ путь; Петровъ придерживается преимущественно той стороны сцены, гдѣ находится Антонова.

СЦЕНА I.

Всѣ, кромѣ Сергѣева.

Мощиньскій. Мнѣ дѣвки выгоднѣе! Мнѣ дѣвки больше дохода приносятъ!

Антонова. А вѣдь объ этомъ надо подумать, Софья Фавстовна!

Лизунова *(бормочетъ)*. Я ужъ подумала, Степанида Петровна, я подумала.

Антонова *(вздыхая)*. Хорошо, какъ кто думать можетъ! А вотъ я: и сама думать не могу, и Семенъ Семенычъ у меня не пріученъ... хоть ты что хочешь!

Примогеновъ. Слишкомъ строго вы его держите, Степанида Петровна!

Антонова. Да какъ и не держать-то, Разумникъ Ѳедотычъ! Вѣдь онъ у меня ни на часъ безъ проказъ! Намеднись, надо было мнѣ къ Марьѣ Ивановнѣ съѣздить; вотъ я ему и говорю: — ты, Сенечка-душечка, посиди около дѣтей, пока я съѣзжу! — «Слушаю, душечка», — говоритъ. Только что-жъ бы вы думали? Не успѣла я за ворота выѣхать, какъ онъ въ ту же минуту подобралъ свою шайку: Ваньку столяра да Іонку подлеца, да и укатили въ Доробино пьянствовать! Насилу-насилу ужъ на другое утро пьянаго-распьянаго подлѣ дороги нашли!

Петровъ. Это точно-съ; еще надобно удивляться, какъ Степанида Петровна покойны могутъ быть!

Антонова. Нѣтъ, ужъ я теперь научилась; я его на ключъ въ спальной заперла!

Мощиньскій *(на ходу)*. Мнѣ дѣвки выгоднѣе! Мнѣ дѣвки больше дохода приносятъ!

Антонова. Да, бишь... дѣвки! А я вотъ, съ большого-то ума, еще третьёводнись за семьдесятъ бумажкой на выводъ дѣвку продала!

Петровъ. Да еще какую канарсечку-съ!

Антонова. Поди-ка, другіе какіе барыши получаютъ! Пол-

тораста серебрецовъ на кругъ! Тутъ, чай, вѣдь всякія, Андрей Карлычъ—и худая, и хорошая?

Кирхманъ. Всякія-съ.

Антонова. А я вотъ за семьдесятъ бумажкой! Люди за полтораста серебрецомъ, а я за семьдесятъ бумажкой! Люди всякую: и худую, и хорошую, а я самую что ни на есть лучшую! Ай да я! Ай да Степанида Петровна! *(Всѣ смѣются).* Смѣйтесь, батюшки, смѣйтесь!

Кирхманъ. Изволили просчитаться, сударыня.

Антонова. И никто-то вѣдь не скажетъ! *(Лизуновой).* Вы, Софья Фавстовна, продали?

Лизунова. Продала... много... много продала.

Антонова *(добродушно).* Ну, вотъ счастье какое! Андрей Карлычъ, научите меня, родной, какъ бы третьёводнишнюю-то дѣвку воротить? Чай, еще замужъ-то не успѣла выйти?

Кирхманъ. Надо подумать-съ.

Антонова. Сейчасъ ужъ и думать! Для другихъ, небось, не думавши дѣлаете! И никто-таки слова не вымолвилъ! Что бы, кажется, по-христіански предупредить: вотъ, дескать, Степанида Петровна, какая выгода по хозяйству предвидится. Нѣтъ-таки. Ахъ, совсѣмъ нынче настоящаго христіанина не видно! *(Лизунова сочувственно киваетъ головой).*

Кирхманъ. Это потому, сударыня, что нынче всякій прежде всего объ себѣ думаетъ. *(Лизунова киваетъ головой два раза).*

Примогеновъ. Да; при современномъ вопросѣ, оно и не лишнее объ себѣ подумать... *(При словахъ: «современный вопросъ», Постукинъ внезапно останавливается передъ Примогеновымъ).* Вы, капитанъ, сказать что-нибудь хотите? *(Постукинъ мнетъ губами, но, не сказавши ни слова, махаетъ рукою и уходитъ).*

Петровъ. Да, этотъ современный вопросъ... штучка!

Антонова *(задумчиво).* Да какъ же это, однако?! Вѣдь Прохладинъ-то купецъ, а купцамъ владѣть крѣпостными не велѣно?

Примогеновъ. Экъ васъ забота-то изсушила, сударыня!

Антонова. Да нѣтъ, вѣдь это выходитъ, что я на одной Аришкѣ рублей четыреста прозѣвала! Воля ваша, а я этого оставить не могу!

Примогеновъ. Ну, и не оставляйте.

Мощиньскій *(на ходу).* Мнѣ дѣвки выгоднѣе! Мнѣ дѣвки больше дохода приносятъ!

Антонова. Ахъ, да хоть не мутите вы меня, дайте сообразить, Целестинъ Мечиславичъ! *(Кирхману).* Какъ же ты-то, нѣмчикъ, позволяешь купцамъ дѣвокъ скупать?

Кирхманъ. Онѣ не проданы-съ; это такъ только, на разговорномъ языкѣ-съ... Все дѣло сдѣлано на законномъ основаніи-съ...

Примогеновъ. А вы, чай, все-таки, на всякій случай, въ судѣ не присутствовали?

Кирхманъ. По болѣзни-съ.

Петровъ. У насъ Андрей Карлычъ всегда въ такихъ случаяхъ прихварываетъ.

Примогеновъ. Пускай, молъ, другіе купаются! Что же, это резонъ! *(Лизунова многократно киваетъ головой).*

Кирхманъ. Всегда по болѣзни-съ.

Петровъ. Намеднись Анна Николаевна изъ-за двѣсти верстъ чуть не цѣлую деревню на фабрику пригнала... въ одно утро всѣхъ Андрей Карлычъ окрутилъ!

Кирхманъ. Не я, а судъ-съ.

Примогеновъ. Ай да Анна Николаевна!

Петровъ. Онѣ, по вдовству, управляющаго при себѣ имѣютъ: онъ имъ это предпріятіе и внушилъ-съ...

Примогеновъ. Подите-ка: женщина, а какую аферу соорудила!

Петровъ. Какъ же не афёру-съ! Посудите сами: ихъ на фабрику-съ, стало-быть, одними, можно сказать, ихними тѣлами всю цѣнность окупила; земля-то, стало-быть, даромъ-съ, да еще имущества ихняго сколько!

Антонова *(внезапно понявъ, вскакиваетъ).* Ахъ, чортъ возьми! *(Общій смѣхъ).*

Петровъ. И представьте себѣ, даже управляющаго-то этого сами для себя отыскали. Остановились онѣ въ Москвѣ, въ нумерахъ-съ; ну, натурально, какъ женщина молодая, къ коридорному-съ: гдѣ бы, говорятъ, такого управляющаго найтить...

Примогеновъ. Чтобъ изъ себя былъ не малъ и не тощъ...

Антонова *(наивно).* Вотъ вѣдь мнѣ этакого случая не выдается! *(Всѣ смѣются).*

Мощиньскій *(останавливаясь).* А я, господа, вотъ что придумалъ. Такъ какъ Прохладинъ всѣмъ намъ благодѣяніе сдѣлалъ, то, во-первыхъ, дать ему обѣдъ, а во-вторыхъ, просить, чтобъ и на будущее время дѣйствій своихъ по пріобрѣтенію не прекращалъ.

Петровъ. Ужъ Целестинъ Мечиславичъ всегда что-нибудь къ ущербу придумаютъ!

Антонова. На обѣдъ не согласна, а просить согласна. *(Лизунова киваетъ).*

Кирхманъ *(разсудительно).* Я того мнѣнія, что если господинъ Прохладинъ принимаетъ въ этой операціи участіе, стало-быть онъ усматриваетъ въ томъ для себя интересъ.

Примогеновъ. Основательно.

Петровъ. Знаете ли что̀, Целестинъ Мечиславичъ? Не лучше ли, вмѣсто обѣда-то, Ивану Данилычу транспарантъ поднести? Такъ, дескать, и такъ: благодѣтельному купцу благодарные такіе-то...

Антонова *(перебивая).* Просятъ продолжать... Вотъ на это я согласна!

Петровъ. Обѣдъ-то, вѣдь, Целестинъ Мечиславичъ, съѣстся-съ...

Мощиньскій. А транспарантъ останется... А что̀ вы думаете, вѣдь это не дурно!

Примогеновъ. Verba volant, scripta manent.

Сидоровъ *(кричитъ во снѣ).* А? что? куда яблоко дѣла?

Петровъ. Ивану Ѳомичу и во снѣ-то видится, что у него яблоки воруютъ! А еще говорятъ, что одного чистаганчику у него тысячъ на двѣсти въ ланбардѣ лежитъ!

Антонова. Такъ что-жъ что лежитъ! Стало-быть, по-вашему, коли у кого двѣсти тысячъ есть, такъ и смотрѣть сквозь пальцы, какъ все кругомъ растаскиваютъ да разворовываютъ?

Примогеновъ. Не бредить же, однако, сударыня!

Антонова. Нѣтъ, ужъ вы меня извините! Послѣ этого я должна заключить, что вы не хозяинъ! Я и сама не нищая, а яблоки воровать не позволю! *(Сидоровъ вздрагиваетъ во снѣ, вскакиваетъ, крестится, потомъ опять садится и засыпаетъ).*

Примогеновъ. Да, двѣсти тысячъ — это достовѣрно! Вотъ Андрей Карлычъ знаетъ, откуда Ивану Ѳомичу тысячи-то достались! *(Кирхманъ снисходительно улыбается).*

Антонова. Ахъ, я слышала, это цѣлый романъ!

Примогеновъ. Пожалуй, даже цѣлыхъ два. Вотъ Андрей Карлычъ знаетъ.

Петровъ. Андрей Карлычъ обо всѣхъ по-маленечку знаютъ.

Кирхманъ. И не по-маленечку-съ. *(Учтиво).* Многимъ могу непріятности сдѣлать. *(Входитъ лакей. Его окружаютъ всѣ*

мужчины, кромѣ Сидорова. Постукинъ бросается къ лакею почти съ остервенѣніемъ).

Примогеновъ. Ну что, Сеня, какъ благодѣтель? проснулся?

Лакей. Умываются.

Примогеновъ. Ну, а насчетъ того... говорилъ что-нибудь?

Петровъ *(тончайшимъ фальцетомъ).* Разумникъ Ѳедотычъ? мэ комманъ де се шозъ... доместикъ иси!

Лакей. Не слыхать-съ. *(Хочетъ уйти).*

Примогеновъ *(удерживая его).* Постой, постой, Сеня! А водку скоро подадутъ?

Лакей. Иванъ Павлычъ приказали до обѣда никому водки не давать. *(Общее впечатлѣніе. Послѣ ухода лакея слѣдуетъ нѣсколько минутъ молчанія).*

Примогеновъ. Однако... это вещь!

Петровъ. Да-съ, это задача-съ! Бывало, шесть ли часовъ, девять ли, а ужъ какъ собрались дворяне, значитъ ту-жъ минуту и водку на столъ волокутъ. *(Смотритъ на часы).* А теперь бы и время-то самое настоящее!

Кирхманъ. Иванъ Павлычъ смолоду переимчивы были. Можетъ-быть, насмотрѣлись нынче въ Петербургѣ, что въ хорошихъ домахъ не подаютъ водку безвременно — ну, и между нами обычай этотъ ввести желаютъ!

Примогеновъ *(значительно).* Дай Богъ! Дай Богъ!.. А по-моему, такъ просто Иванъ Павлычъ нами гнушается!

Петровъ *(тихо Примогенову, указывая на Мощиньскаго).* Разумникъ Ѳедотычъ! Финиссѐ! полонѐ иси!

Мощиньскій *(останавливаясь посреди авансцены, къ зрителямъ).* Мнѣ дѣвки выгоднѣе! Мнѣ дѣвки больше дохода приносятъ!

Антонова *(тоскливо).* Ахъ ты, Господи, совсѣмъ-было даже забываться стала, а Целестинъ Мечиславичъ тутъ какъ тутъ... точно вотъ ядомъ, точно вотъ ядомъ!

Кирхманъ. Memento mori, сударыня! Это значитъ: всякій помышляй о смертномъ часѣ!

Примогеновъ. Такъ, такъ! Вотъ и намъ, можетъ, придется помышлять объ немъ... объ смертномъ-то часѣ! *(Постукинъ прислушивается.)* Вы, капитанъ, что-нибудь сказать желаете? *(Постукинъ горько улыбается, крутитъ усы и крѣпко стискиваетъ въ рукѣ чубукъ).*

Антонова *(тихо Лизуновой).* Чтой-то, однако, Софья Фавстовна, Савва Саввичъ-то? Помнетъ-помнетъ губами, да и прочь пойдетъ! Помните, какой онъ развеселый да разговорчивый былъ?

Лизунова *(тихо)*. Взволнованъ очень... отъ современнаго вопроса взволнованъ... не спитъ, не ѣстъ... только трубку... трубку только куритъ!

Петровъ. А любопытно бы знать, очень бы любопытно, какія-то Иванъ Павлычъ вѣсти изъ Питера вывезъ?

Антонова. Однако, позвольте васъ, Разумникъ Ѳедотычъ, спросить, объ какомъ это вы смертномъ часѣ изволите говорить?

Примогеновъ. Точно вы, сударыня, маленькія!

Антонова. Нѣтъ, я не маленькая, а только если вы насчетъ этой эмансаціи говорите, такъ я вамъ вотъ что̀ скажу *(съ торжествующимъ видомъ)*: ничему я этому не вѣрю! *(Постукинъ вновь горько улыбается)*.

Мощиньскій. Молодецъ, Степанида Петровна! Charmant! délicieux!

Антонова. Да, не вѣрю! Вы вотъ мужчины, да вѣрите, а я и дама, да не вѣрю!

Примогеновъ. Позвольте, однако...

Антонова. Я этимъ глупостямъ совсѣмъ, совсѣмъ не вѣрю! Я еще давеча всѣмъ своимъ дѣвкамъ сказала: дѣвки-подлянки, если вы этой эмансаціи дожидаетесь, такъ у насъ, говорю, становой не далеко! Такъ, это, стороной, дала имъ понятіе!

Примогеновъ. Повѣрите, Степанида Петровна, коли на бумагѣ покажутъ.

Антонова. Не повѣрю, Разумникъ Ѳедотычъ!

Примогеновъ. И бумагѣ не повѣрите?

Антонова. И бумагѣ не повѣрю... потому, не натурально.

Кирхманъ. Это весьма любопытно. *(Смѣется)*.

Антонова. Смѣйтесь, смѣйтесь, Андрей Карлычъ! Я вѣдь давно знаю, что у васъ змѣя на языкѣ. *(Кирхманъ смѣется сильнѣе)*. А я вотъ не вѣрю да и не вѣрю!

Примогеновъ. Зачѣмъ же вы пріѣхали, коли не вѣрите? Зачѣмъ Семена-то Семеныча безъ призору оставили?

Антонова. Скажите, пожалуйста, какую вы власть надо мной взять хотите! Что-жъ, по-вашему, я и выѣхать безъ вашего позволенія не смѣй!

Примогеновъ. Успокойтесь, сударыня! Я это больше на тотъ предметъ сказалъ, что, можетъ-быть, вы спички въ спальной забыли, такъ Семенъ Семенычъ...

Антонова *(всплеснувъ руками)*. Ахъ, оставила! ахъ, оставила!

Примогеновъ. А это бываетъ. Прошлаго года у Андрея

Петровича на деревнѣ крестьянскій мальчишка... взялъ, знаете, и наложилъ подъ лавку щепочекъ да лучиночекъ: сѣмъ-ко я, дескать, яичницу сотворю.

Антонова. Ахъ, не убивайте!

Примогеновъ. И можете себѣ представить — вѣдь шутя, каналья, всю деревню спалилъ! *(Двери съ шумомъ отворяются; входитъ Сергѣевъ).*

СЦЕНА II.

Тѣ же и Сергѣевъ *(бѣлокурый молодой человѣкъ, весьма приличной наружности; корчитъ дипломата и потому бреетъ усы и бакенбарды и расчесываетъ сзади проборъ à l'anglaise; ходитъ лѣниво, нѣсколько переваливаясь; говоритъ отрывисто и вообще желаетъ принять начальственный тонъ; при появленіи его всѣ встаютъ).*

Примогеновъ *(кланяется, касаясь рукой до земли).* Отцу и благодѣтелю отъ сиротъ...

Мощиньскій. А мы, mon cher, глаза проглядѣли, васъ ждавши!

Сергѣевъ. Здравствуйте, господа! mesdames! *(Жметъ всѣмъ руки).* А Иванъ Ѳомичъ по обыкновенію?..

Петровъ. А вы ему, Иванъ Павлычъ, гусара-съ... прикажете?

Сергѣевъ *(сухо).* Теперь не такое время, чтобъ шутками заниматься. *(Петровъ конфузится).* Очень радъ, господа, видѣть васъ у себя.

Примогеновъ *(въ сторону).* Вонъ оно куда пошло! И гусары въ немилость попали! *(Громко).* Благополучно ли въ Питеръ съѣздить изволили, благодѣтель?

Сергѣевъ. Благодарю васъ, я своей поѣздкой очень доволенъ.

Мощиньскій. Еще бы, нынче тамъ нашего брата провинціала обѣими руками хватаютъ!

Сергѣевъ. Это правда. Ждутъ отъ насъ... да, я имѣлъ честь объ этомъ со многими сановниками совѣщаться, и всѣ въ одинъ голосъ говорятъ: attendez, messieurs, вы будете призваны, чтобъ высказаться! Поздравляю васъ, господа!

Примогеновъ. Вотъ оно что-съ!

Мощиньскій. Au fait, оно и естественно, потому что мы вѣдь сердце Россіи.

Примогеновъ. Объ чемъ же мы высказываться будемъ, благодѣтель?

Сергѣевъ. Въ этомъ отношеніи, господа, вы можете быть

покойны. Конечно, объ насъ озаботятся и дадутъ что-нибудь... ну, руководство какое-нибудь...

Кирхманъ. Діалоги-съ. *(Сергѣевъ снисходительно улыбается).*

Мощиньскій. А вѣдь это отлично, mon cher, будетъ! Встанешь съ мѣста... разумѣется, поблѣднѣешь... *(Становится въ позу).* «Господа, пользуясь дарованною намъ милостью, я прошу васъ позволенія поговорить о различныхъ недугахъ, снѣдающихъ наше любезное отечество»...

Антонова. Гм... мы, кажется, по-добру, по-здорову... Мудрено это! Чуднò, право, чуднò чтой-то вы говорите, господа! Слушаю я васъ, да только молчу! Слушаю, да молчу!

Мощиньскій *(запрывая).* А что-жъ, почтеннѣйшая Степанида Петровна, развѣ худо?

Антонова. Ужъ какіе мы, сударь, съ тобой говорители! Сидѣли цѣлый вѣкъ около печи да молчали! Развѣ по хозяйству что-нибудь распорядишься, такъ и тутъ больше рукой покажешь... а то говорить! Ну, позовутъ хоть меня, ну, посадятъ, разумѣется: «высказывайтесь, молъ, Степанида Петровна, какая у васъ тамъ статистика... сколько коровушекъ, индюшечекъ, поросяточекъ?» А другой еще озорникъ подъѣдетъ: «сколько, молъ, у васъ денегъ въ шкатулкѣ, Степанида Петровна?» Такъ, по-вашему, я и должна на всѣ эти глупости отвѣчать? Какъ же! Держи карманъ! *(Сергѣевъ, а за нимъ и прочіе смѣются; Лизунова сочувственно́ киваетъ головой).*

Кирхманъ. А шкатулочка-то, видно, съ секретомъ, Степанида Петровна?

Антонова *(сентиментально).* Про то только Богъ можетъ знать, что̀ у кого есть, Андрей Карлычъ! Тотъ, котораго считаютъ богачомъ, можетъ вдругъ оказаться бѣднымъ... такъ бѣднымъ, такъ бѣднымъ, что хуже Лазаря!..

Кирхманъ. Такъ-съ.

Антонова *(язвительно).* А тотъ, который весь вѣкъ притворяется неимущимъ, вдругъ можетъ оказаться мильонщикомъ! *(Кирхманъ смѣется).*

Мощиньскій. Нѣтъ, что касается до меня, то я непремѣнно воспользуюсь! *(Прохаживается по сценѣ и жестикулируетъ. Къ Сергѣеву).* А что, mon cher, нынѣшній петербургскій сезонъ очень веселъ былъ?

Сергѣевъ. Н-да... можетъ-быть... но я, признаюсь, не тѣмъ былъ занятъ...

Примогеновъ *(въ сторону).* Въ носу ковырялъ! *(Громко).*

Ужъ пойдутъ ли на умъ веселости, благодѣтель! Чай, однихъ вопросовъ, проектовъ да соображеніевъ и не вѣсть что!

Сергѣевъ. Да, я-таки поработалъ! *(Смотритъ на всѣхъ усталыми глазами).*

Мощиньскій. Ну, нѣтъ, я бы не вытерпѣлъ, я бы ничего не пропустилъ! Представьте себѣ, господа, что нынче въ Петербургѣ устрицы цѣлую зиму не переводились! Кронштадтскій рейдъ такъ-таки и не замерзалъ совсѣмъ! Ужъ я бы истребилъ ихъ—ручаюсь!

Петровъ. Охотники-съ?

Мощиньскій. А главное, то въ Петербургѣ хорошо, что все такъ деликатно! Возьмите самую простую вещь: какую-нибудь котлетку у Дюссо—вѣдь весело посмотрѣть, какъ все это подается! Не то, что гдѣ-нибудь въ Новотроицкомъ, гдѣ одной салфеткой три поколѣнія утираются! *(Къ Сергѣеву).* Не правда ли, cher?

Сергѣевъ. Н-да... можетъ-быть... впрочемъ, каюсь: я какъ-то не тѣмъ былъ занятъ.

Петровъ. Ну, нѣтъ, Целестинъ Мечиславичъ, и Новотроицкій обходитъ для чего-съ? Тамъ тоже лампонъ такое есть, что пальчики оближешь!

Мощиньскій. Нашли съ чѣмъ равнять! Нѣтъ, господа, только тамъ, среди этого вихря приличій, можно постигнуть, до чего можетъ дойти comme il faut! Даже въ самомъ себѣ вдругъ чувствуешь перемѣну: точно вотъ на высоту взошелъ и все это передъ тобой открывается! Чувства совсѣмъ не тѣ дѣлаются; манера, поступь... все совершенно другое!

Примогеновъ. Генераловъ много передъ глазами, Целестинъ Мечиславичъ! Смотришь это на нихъ, ну, и самъ чѣмъ-нибудь заразишься! *(Сергѣевъ льниво улыбается. Нѣсколько минутъ молчанія).*

Антонова. Ахти-хти-хти! Слушаешь васъ, да только диву даешься! И устрицы, и генералы, и Богъ знаетъ, чего вы еще не приплетете! А объ дѣлѣ-то, объ кровномъ-то, хоть бы слово!

Мощиньскій. Да вѣдь вы не вѣрите, Степанида Петровна?

Антонова. Все же, сударь, любопытно! Иногда и мельница мелетъ, и ту послушать любопытно! Болты-болты—и нѣтъ ничего!.. Ну, и отойдешь!

Кирхманъ. У начальства, конечно, побывать изволили, Иванъ Павлычъ?

Сергѣевъ. Разумѣется. Ну, конечно, приняли меня какъ

нельзя лучше. Вообще, господа, должно сознаться, что Петербургъ сталъ неузнаваемъ. Я имѣлъ честь понравиться многимъ значительнымъ лицамъ... бесѣдовалъ съ ними... представлялъ мои резоны... даже противорѣчилъ, и никто ни разу не сказалъ мнѣ ничего непріятнаго!

Мощиньскій. Согласитесь, что это прогрессъ!

Петровъ *(Примогенову).* Что-жъ онъ, однакожъ, объ дѣлѣ-то? Начните хоть вы, Разумникъ Ѳедотычъ!

Примогеновъ. А у насъ, Иванъ Павлычъ, слухи какіе-то безобразные пали... *(Постукинъ приближается).*

Сергѣевъ *(глубокомысленно).* Н-да?

Примогеновъ. Такіе слухи, что будто бы тово... совсѣмъ будто бы ничего не будетъ!

Петровъ. Намеднись у меня Степанида-скотница продать кой-что по хозяйству въ городъ ходила, такъ на базарѣ такого, говоритъ, страмословія наслушалась, что даже волосъ дыбомъ всталъ!

Антонова. У скотницы-то? Перекрестись, батюшка!

Петровъ. А что-жъ, Степанида Петровна, развѣ это не можетъ быть? Она преданная-съ...

Антонова. Да хоть распреданная, а волосы-то у ней все же, чай, въ косу заплетены! *(Петровъ конфузится).* А по моему, Иванъ Павлычъ, такъ ровно никакихъ слуховъ нѣтъ. Извѣстно, разносчики французскую революцію распускаютъ. Такъ это и прежде бывало, и нынче есть. Покойникъ папенька, какъ служилъ исправникомъ, сколько ихъ за это сѣкалъ!

Примогеновъ. Надо бы, благодѣтель, насчетъ этого дѣла ладкомъ да миркомъ посудить!

Кирхманъ. И мнѣ, Иванъ Павлычъ, изъ Петербурга пишутъ, что есть что-то.

Сергѣевъ. Ну да, ну да. Потолкуемте, господа. Я очень радъ васъ у себя видѣть. Дѣйствительно, нынче въ Петербургѣ все какъ-то о меньшей братіи разсуждаютъ.

Примогеновъ. Гм... те-э-къ-съ.

Сергѣевъ. Что-жъ, это нашъ долгъ... это, можно сказать, наша первая обязанность... *(Постукинъ выдается впередъ).* Вамъ угодно высказать ваше мнѣніе, капитанъ?

Постукинъ *(шевелитъ губами и наконецъ издаетъ какой-то звукъ).*

Сергѣевъ. Я полагаю, господа, что и съ христіанской точки зрѣнія меньшая братія заслуживаетъ...

Примогеновъ. Те-э-къ-съ.

Сергѣевъ. Какъ члены просвѣщеннаго сословія, мы съ своей стороны обязаны... это нашъ первый долгъ, господа! Я былъ во многихъ аристократическихъ салонахъ въ Петербургѣ, и вездѣ, рѣшительно вездѣ только и разговору, что объ меньшей братіи. Даже дамы—и тѣ... vraiment!

Антонова. А я бы имъ, Иванъ Павлычъ, языкъ-то къ пяткѣ пришила, такъ онѣ бы узнали, что̀ значитъ ротъ-то непокрытый держать!

Сергѣевъ *(снисходительно).* Вы, Степанида Петровна, все попрежнему?

Антонова. Что, батюшка, попрежнему? Ты-то съ чего свихнулся у насъ, отецъ? Бумагу, что ли, изъ Питера вывезъ?

Примогеновъ. Да, благодѣтель, если ужъ у васъ бумажка есть, такъ вы бы ужъ потрудились...

Мощиньскій. А по мнѣ, такъ хоть завтра; я свои мѣры принялъ! *(Въ сторону).* Завтра же, чѣмъ свѣтъ, всѣхъ къ Прохладину!

Сергѣевъ. Дѣйствительно, господа, у меня есть бумага. Эй, Семенъ! *(Входитъ лакей).* Тамъ, въ карманѣ дорожнаго пальто, есть бумага: подай ее сюда! *(Лакей уходитъ.)*

Антонова. Любопытно это; очень это любопытно.

Сергѣевъ. Впрочемъ, господа, я долженъ вамъ напередъ сказать, что съ своей стороны я ужъ достаточно убѣжденъ, что безъ «этого» нельзя обойтись. Въ Петербургѣ всѣ лучшіе умы такъ думаютъ. *(Рѣшительно).* Для меня ясно, какъ день, что безъ вольнаго труда мы скоро должны будемъ сойти на степень второстепенной державы; слѣдовательно, какое бы вы ни предприняли рѣшеніе, я все-таки буду дѣйствовать согласно съ моими убѣжденіями! *(Лакей входитъ съ бумагой, которую Постукинъ вырываетъ изъ рукъ его. Всѣ, кромѣ женщинъ и Сергѣева, бросаются къ нему. Нѣсколько времени по комнатѣ раздается гулъ).*

Антонова. Любопытно это! Очень любопытно! Точно шмели, точно шмели! *(Судорожно смѣется.)*

Примогеновъ *(громко).* «Первое»...

Антонова *(захлебываясь).* Ну, первое, и четвертое, и десятое! *(Дразнится).* И десятое, и десятое, и десятое! И ничему этому я не вѣрю!

Сергѣевъ. Позвольте, однакожъ, Степанида Петровна, господамъ дворянамъ заняться.

Антонова. Ну, и пускай занимаются! Пусть занимаются—

я не мѣшаю! Я только то̀ знаю, что завтра же *(смотритъ на Петрова)* къ господину губернатору «бумажка» полетитъ, что въ нашемъ уѣздѣ вольныя мысли распространяются! *(Чтеніе прекращается; Постукинъ стоитъ мрачно и крутитъ усы; прочія лица озабочены).*

Лизунова. Мнѣ бы... бумажку бы мнѣ почитать! *(Петровъ подаетъ ей).*

Антонова. Позвольте-ка! позвольте-ка! *(Заглядываетъ въ бумагу черезъ плечо Лизуновой).* Какая же это бумага? Первое дѣло *(читаетъ)*: «господину начальнику» — анъ тутъ вонъ пустое мѣсто оставлено! Какому начальнику? Какой губерніи? Анъ, можетъ-быть, до нашей-то и не дойдетъ никогда!

Сергѣевъ *(смѣется).* Ну, а второе что-съ?

Антонова. А второе, что всякая бумага, коли она бумага, должна быть на гербовой. Я, батюшка мой, сама и не вѣсть что̀ денегъ за гербовую переплатила... я знаю! Нѣтъ, воля ваша, а это обманъ! Это такой обманъ, что даже самый *(ищетъ слова)*... самый фальшивый обманъ!

Сергѣевъ. Такъ не вѣрите?

Антонова. Не вѣрю, не вѣрю и не вѣрю! Покажите мнѣ на гербовой, тогда повѣрю.

Кирхманъ. Однако, сударыня, это дѣло очень серьезное! Вы бы не мѣшали намъ!

Антонова *(стала на своемъ).* Покажите на гербовой — тогда повѣрю!..

Кирхманъ. Убѣдительно просимъ васъ дать намъ заняться! Дѣло слишкомъ серьезно...

Антонова. Ничего я тутъ серьезнаго не вижу.

Кирхманъ. Въ такомъ случаѣ, мы, съ позволенія Ива̀на Павлыча, перейдемъ въ другую комнату, чтобъ вы не мѣшали.

Антонова. Ну, молчу... Ахъ, батюшки, какой грозной! Молчу, сударь, молчу! *(Водворяется молчаніе).*

Сергѣевъ. Какъ же вы думаете, господа?

Примогеновъ. Ужъ вы бы намъ прежде свое мнѣньице высказали, Ива̀нъ Павлычъ!

Сергѣевъ. Н-да... то-есть, вы желали бы узнать мои убѣжденія, съ тѣмъ, чтобъ принять ихъ на будущее время въ руководство? Очень радъ-съ, очень радъ-съ. Я не имѣю надобности скрывать мои убѣжденія, господа! Мои убѣжденія смѣлы, открыты, непоколебимы! Я не скрывалъ ихъ передъ высшимъ начальствомъ, охотно подѣлюсь и съ вами.

Итакъ, я убѣжденъ, милостивые государи, что нашъ первый долгъ, наша, можно сказать, первѣйшая обязанность— какъ можно скорѣе доказать, что мы люди и ничто человѣческое не чуждо намъ. Кромѣ того, что это доставитъ намъ случай насладиться сознаніемъ свято исполненнаго долга, это покажетъ насъ, въ глазахъ цѣлой Россіи, какъ людей, сочувствующихъ современному направленію умовъ. Откровенно говоря, съ нашей стороны было бы очень любезно... вызваться самимъ... предложить свои услуги... однимъ словомъ, что-нибудь въ этомъ родѣ... Я надѣюсь, господа, что вы меня поняли?

Кирхманъ. Понять можно-съ. Это тѣмъ болѣе необходимо, Иванъ Павлычъ, что если мы *теперь* не вызовемся, что завтра или тамъ на будущей недѣлѣ все-таки придется вызваться.

Сергѣевъ. Это иначе не можетъ и быть. Во время пребыванія моего въ Петербургѣ я имѣлъ случай убѣдиться, что въ настоящемъ дѣлѣ вопросъ поставленъ слишкомъ ясно, чтобъ можно было допустить какія-нибудь сомнѣнія. Разсужденія, противорѣчія, представленія и т. п. тогда только хороши и умѣстны, когда въ нихъ ощущается потребность самими тѣми... *(ищетъ выраженія)* однимъ словомъ, тѣми, которые имѣютъ на это конфиденціальное, такъ сказать, полномочіе; въ настоящемъ же случаѣ потребности этой не ощущается. Я какъ сейчасъ помню мой разговоръ объ этомъ съ графомъ Петромъ Петровичемъ: «согласитесь, mon cher,—сказалъ онъ мнѣ,—что человѣкъ, который стоитъ на высотѣ, имѣетъ гораздо болѣе возможности разсмотрѣть всѣ эти виды, перспективы и тому подобное, нежели человѣкъ, стоящій въ ямѣ». Я совершенно согласенъ съ графомъ Петромъ Петровичемъ. *(Закидываетъ назадъ голову)*. А потому убѣжденія мои въ этомъ дѣлѣ такъ опредѣленны и такъ тверды, что я не только себѣ, но и другимъ не позволю отступить отъ нихъ ни на шагъ!

Примогеновъ. Стало-быть, ужъ я разсуждать нельзя, Иванъ Павлычъ?

Сергѣевъ *(сухо)*. Нельзя-съ.

Петровъ *(въ сторону)*. Смотрите-ка, генералъ какой выискался!

Антонова. Видно, ужъ вы въ губернаторы къ намъ поставлены, Иванъ Павлычъ, что такъ цыкаете? Такъ нынче и губернаторы ужъ не цыкаютъ; напротивъ того, лѣтось пріѣзжалъ генералъ-то въ городъ, собралъ дворянъ:

«поговорите, говоритъ, господа, поговорите! Я, говоритъ, васъ послушаю!»

Сергѣевъ *(сухо)*. А я слушать не желаю.

Антонова. Не знаю... ужъ не будетъ ли это слишкомъ строго?

Примогеновъ *(вполголоса)*. Какъ же мы, однакожъ, такимъ манеромъ «высказываться»-то будемъ? *(Наступаетъ нѣсколько минутъ тяжелаго молчанія).*

Сергѣевъ. Слѣдовательно, господа, вамъ извѣстны теперь мои убѣжденія, и такимъ образомъ вамъ предстоитъ за симъ одинъ трудъ: въ точности сообразоваться съ ними. Теперь, если вы желаете переговорить между собой, я не хочу стѣснять своимъ присутствіемъ свободное выраженіе вашихъ мыслей. Я либералъ не на словахъ только, но и на дѣлѣ; я вездѣ и во всемъ ищу свободы... одной свободы! Я оставляю васъ, господа, но предваряю, что никакое возраженіе въ ретроградномъ смыслѣ мною допущено не будетъ. Въ этомъ случаѣ я буду твердъ и неумолимъ. Подумайте... обсудите... и когда вы рѣшитесь, то дайте мнѣ знать: я весь къ вашимъ услугамъ. *(Встаетъ и звонитъ; входитъ лакей).* Семенъ! можешь дать водки господамъ дворянамъ! *(Величественно озираясь, выходитъ).*

Мощиньскій *(вслѣдъ ему)*. И я за вами, mon cher! Я ужъ рѣшился! Стало-быть, мнѣ разсуждать тутъ не объ чемъ! *(Уходитъ).*

СЦЕНА III.

Тѣ же, кромѣ **Сергѣева** и **Мощиньскаго.** *(Нѣсколько времени проходитъ въ глубокомъ безмолвіи. Постукинъ дѣлаетъ движеніе чубукомъ и держитъ его на вѣсу. Первая просыпается отъ оцѣпенѣнія Антонова).*

Антонова *(передразнивая Сергѣева)*. Фу-фу-фу, ту-ту-ту, фить-фить-фить! И все вышелъ пшикъ! Такъ тебя и послушались, Мамеля Тимоѳеевна! *(Къ Постукину).* Ты-то что, батюшка, стоишь, словно блаженный, да чубучищемъ-то помахиваешь! *(Постукинъ желаетъ говорить).* Нечего, нечего на насъ-то махать, — ты бы на него помахалъ! Онъ говоритъ, а они-то молчатъ! Онъ разглагольствуетъ — а они-то помалчиваютъ! Онъ-то разсыпается—а они-то усищами пошевеливаютъ! Точь-въ-точь тараканы! Ай да отцы родные! Ай да защитители! *(Указываетъ на Кирхмана).* И нѣмчикъ-то, и миротворецъ-то нашъ! Вмѣсто того, чтобъ молокососу носъ утереть, а онъ только сидитъ да ножками

стучитъ! *(Кирхманъ смѣется)*. Смѣйся, сударь, смѣйся! Я вотъ одного такого знала, тоже все смѣялся: хи-хи-хи! да ха-ха-ха! да такъ на всю жизнь со смѣхомъ и остался. Кинулись это къ нему, анъ у него ужъ и ротъ на сторону свело. Вотъ тебѣ и ха-ха-ха! *(Общій смѣхъ)*.

Примогеновъ. Да, крутенекъ-таки сталъ Иванъ Павлычъ! Однако, это удивительно, какая въ немъ вдругъ перемѣна сдѣлалась! Какъ поѣхалъ отъ насъ, какой, кажется, былъ благонамѣренный!

Петровъ. И какіе веселые были! Бывало, ужъ никакъ безъ того не обойдутся, чтобъ надъ Иваномъ Ѳомичемъ не пошутить, а нынче даже разгнѣвались...

Антонова. Никогда онъ благонамѣреннымъ не бывалъ. Я еще въ рубашонкѣ его знавала—и тогда ужъ змѣей смотрѣлъ. Такъ, бывало, и посинѣетъ весь, такъ и закатится.

Лизунова. Пискунъ былъ... пискунъ, пискунъ былъ! *(Киваетъ головой)*.

Петровъ. А помните, Разумникъ Ѳедотычъ, какъ они однажды Ивану Ѳомичу усы нарисовали, а на голову-то песочку посыпали... сколько въ ту пору смѣху у насъ было!

Антонова. Смѣялись да смѣялись, а теперь вотъ плакать да плакать приходится.

Петровъ. Нарядиться ли, бывало, съ дѣвушками ли поиграть—на все первый сортъ были!

Кирхманъ. Позвольте, господа, что̀ было, того ужъ не воротить, а намъ теперь предстоитъ предметомъ своимъ заняться. Итакъ, начнемъ.

Антонова. Выручайте, батюшки, выручайте!

Кирхманъ. Ну-съ, Иванъ Иванычъ, ваше мнѣніе?

Петровъ *(смущаясь)*. Я-съ... тово-съ... я-съ... конечно-съ... Отчего же вы, однакожъ, Андрей Карлычъ, съ меня-съ? Тутъ вѣдь и другіе господа дворяне есть!

Кирхманъ. Отчего же не съ васъ-съ?

Петровъ. Нѣтъ, Андрей Карлычъ, это вы по злобѣ на меня, какъ вы надѣетесь меня этимъ сконфузить...

Кирхманъ. Ну-съ, стало-быть Иванъ Иванычъ мнѣнія не имѣютъ... *(Обращается къ Примогенову)*.

Петровъ *(взволнованный)*. Нѣтъ-съ, вы меня извините, Андрей Карлычъ, я свое мнѣніе очень имѣю! Я, Андрей Карлычъ... желаю-съ!

Кирхманъ. Чего вы желаете?

Петровъ. Да-съ... желаю-съ! Хоть это, можетъ-быть, *не-*

которымъ и непріятно, однако, я бунтовщикомъ никогда не былъ-съ!

Антонова. Экъ, батюшка, вывезъ!

Кирхманъ. Ну-съ, стало-быть, это разъ. Вы-съ? *(Обращается къ Примогенову).*

Примогеновъ. Полагаю принять къ свѣдѣнію... но не къ руководству!

Кирхманъ. Вы, капитанъ? *(Постукивъ потрясаетъ головой).* Понятно. Вы, Софія Фавстовна?

Лизунова. Не знаю... не знаю... ничего я не знаю...

Антонова. А я такъ и знать ничего не хочу!

Кирхманъ. Итакъ, мнѣнія собраны. Одинъ голосъ *за,* три—*противъ,* одинъ сомнительный. Результатъ довольно благопріятный. Что до меня, господа, то вы, конечно, не удивитесь, если я скажу, что вполнѣ согласенъ съ Иваномъ Иванычемъ *(не безъ иронiи)*... потому что бунтовщикомъ никогда не былъ и быть не желаю!

Антонова *(встаетъ и присѣдаетъ передъ Кирхманомъ).* Подарилъ, голубчикъ!

Кирхманъ. Да-съ, я согласенъ съ Иваномъ Иванычемъ и имѣю на то свои основательныя причины. Я очень знаю, что коль скоро это дѣло пошло въ ходъ, то намъ *не желать* нельзя. Сегодня мы не желаемъ, завтра не будемъ желать, а ужъ послѣзавтра пожелаемъ... непремѣнно!

Антонова. Не знаю; развѣ языкъ изъ меня вытянутъ или мысли въ головѣ совсѣмъ разобьютъ!

Кирхманъ. И разобьютъ-съ. Слѣдственно, намъ прежде всего нужно поспѣшить заявленіемъ нашей готовности, а потомъ... *(вполголоса)* а потомъ можно будетъ оставить все попрежнему-съ...

Петровъ *(хихикая отъ удовольствія, тончайшимъ фальцетомъ).* А потомъ можно будетъ оставить все попрежнему!

Антонова. Вотъ на это я согласна!

Примогеновъ. Это похоже на дѣло. Что называется, изморомъ, то-есть, изморомъ, изморомъ ее!

Антонова. Эмансацію-то!

Кирхманъ. Разумникъ Ѳедотычъ постигъ мою мысль во всемъ ея объемѣ. Въ дѣлахъ такого рода, господа, прежде всего форму соблюсти надо, чтобъ все глядѣло прилично и гладко.

Петровъ *(хихикая).* А потомъ оставить все попрежнему. Безподобно!

Кирхманъ. Объясню вамъ это примѣромъ. Былъ у меня

въ судѣ секретарь. Бывало, позовешь его, разъяснишь, что такое-то дѣло слѣдуетъ рѣшить такъ-то. Вотъ онъ приготовитъ все, поднесетъ къ подписи; смотришь—совсѣмъ не то! Опять призовешь его, опять внушишь; на другой день онъ опять приготовитъ, и опять не то. И до тѣхъ поръ такимъ образомъ дѣйствуетъ, покуда не махнешь на все рукой и не подпишешь, какъ ему хочется. Не можемъ ли мы изъ этого примѣра извлечь для себя поученіе?

Примогеновъ. Можно!

Петровъ. Даже очень можно-съ!

Кирхманъ. Или вотъ примѣръ еще болѣе практическій. Бывало, когда губернское начальство требуетъ отъ суда какихъ-нибудь очень непріятныхъ объясненій, я всегда поручалъ объясняться этому секретарю. Я дѣлалъ это въ томъ уваженіи, что господинъ секретарь имѣлъ дарованіе писать столь обширно и столь непонятно, что губернское начальство удовлетворялось немедленно.

Петровъ. Какъ же, какъ же? Бывало, мы такъ и говаривали ему: напиши-ка, братъ, Иванъ Дорофеичъ, объясненьице да съ приплетеньицемъ!

Кирхманъ. Не можемъ ли мы, господа, и изъ этого примѣра извлечь для себя поученіе?

Примогеновъ. Ничего, можно!

Петровъ. Даже очень можно-съ!

Кирхманъ. Итакъ, господа, въ настоящемъ положеніи дѣла я еще не вижу причины огорчаться. Я думаю, что не только слѣдуетъ безусловно исполнить желаніе нашего достойнаго представителя, но не мѣшало бы даже для вида прикинуть что-нибудь! Такъ, самую малость... по части чувствъ!

Примогеновъ. Букетами, то-есть, пустить!

Петровъ *(окончательно повеселѣвъ, почти визжитъ).* А потомъ оставить все попрежнему!

Кирхманъ. Ибо прежде всего надобно смотрѣть на дѣло прямо, не пугаясь его. Если вообще во всякомъ предметѣ есть своего рода мягкое мѣсто, то отчего же и здѣсь ему не быть?

Примогеновъ. Это совершенно справедливо.

Кирхманъ. А если есть это мягкое мѣсто, то зачѣмъ же намъ заранѣе тревожиться опасеніями, быть-можетъ и воображаемыми? Не лучше ли приступить къ дѣлу съ легкимъ сердцемъ и устроить такимъ образомъ, чтобъ все осталось попрежнему?

Антонова. Ахъ, какъ это хорошо! Я ужъ теперь начинаю чувствовать, какъ все это во мнѣ дрожитъ!

Кирхманъ. Это оттого, сударыня, что вы благодѣтельствовать очень любите.

Антонова. А что вы думаете, Андрей Карлычъ! Я вотъ иногда сижу одна и все думаю, и все думаю: что вотъ у насъ и курочка-то есть, и поросеночекъ-то есть, и всего-то довольно, и всѣмъ-то мы изобильны, а у нихъ ничего-то, ничего-то этого нѣтъ! Нѣтъ, какъ ни говорите, а это ужасно!

Примогеновъ. Вотъ оно что значитъ нѣмецкая-то нація! Куда бы мы дѣлись безъ нѣмцевъ! Сейчасъ Андрей Карлычъ все разрѣшилъ, даже Степаниду Петровну въ чувство привелъ!

Антонова. Меня, Разумникъ Ѳедотычъ, въ чувство очень привести можно! Ахъ, кабы кто только зналъ! Ахъ, кабы кто только зналъ! Все-то это во мнѣ ослабло! Ничего-то во мнѣ крѣпкаго нѣтъ!

Кирхманъ. Стало-быть, разногласія нѣтъ, господа?

Всѣ. Согласны! Согласны!

Петровъ. Позвольте, надо у Ивана Ѳомича мнѣніе спросить.

Антонова. Да ужъ отстань, стрекоза! Что его, убогаго, трогать! Иванъ Ѳомичъ! Иванъ Ѳомичъ! *(Сидоровъ пробуждается и смотритъ кругомъ съ изумленіемъ).*

Петровъ. Иванъ Ѳомичъ! Все кончено, домой ѣхать пора! *(Всѣ смѣются. Сидоровъ молча достаетъ изъ-подъ стула шапку).*

Кирхманъ. Слѣдственно, мы и Ивану Павлычу можемъ сказать, что согласны?

Всѣ. Согласны! Согласны!

Петровъ. Не хватить ли «уру», господа? *(Постукинъ дѣлаетъ рѣшительное движеніе впередъ).*

Примогеновъ. Господа! Капитанъ предику сказать желаетъ! *(Молчаніе).*

Постукинъ *(долго жуетъ губами, но наконецъ говоритъ).* Согласенъ! да! Я согласенъ! Только ужъ тово... по мордасамъ... ббуду! Хоть ммилліонъ штрафу... а ббуду! *(Смѣхъ и рукоплесканія).*

Антонова. Ахти-хти-хти! Вотъ и весельице наше къ намъ воротилося!

(Занавѣсъ опускается).

II. ПОГОНЯ ЗА СЧАСТЬЕМЪ.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Зубатовъ.
Кузнеевъ, старичокъ лѣтъ семидесяти; одѣтъ бѣдно.
Пересвѣтъ-Жаба, сорока лѣтъ, отставной ротмистръ, бель-омъ съ весьма любезными манерами; говоритъ съ акцентомъ.
Кувшинниковъ, штабсъ-капитанъ.
Пьеръ Уколкинъ, **Simon Накатниковъ** } молодые люди; цвѣтъ и надежда Глупова.
Сеня Бирюковъ.
Мадамъ Артамонова.
Антоша, ея сынъ, восемнадцати лѣтъ.
Дама подъ вуалемъ.
Дежурный чиновникъ.

Театръ представляетъ пріемную комнату въ домѣ Зубатова. Бьетъ десять часовъ.

СЦЕНА I.

(Дежурный чиновникъ, молодой человѣкъ, сидитъ около окна и ничѣмъ въ особенности не занимается; иногда положитъ одну ногу на другую крестомъ, иногда обѣ ноги уставитъ на полъ; иногда взглянетъ на потолокъ и задумается; иногда устремитъ глаза въ уголъ и тоже задумается).

Чиновникъ. Что бы такое сегодня вообразить? Удивительно, какъ это уединеніе дѣйствуетъ! Барыни какія-то являются, цѣлый романъ въ головѣ происходитъ. Если бы я теперича сосчиталъ, сколько меня, со времени поступленія моего въ канцелярію, барынь полюбило, порядочный бы кушъ вышелъ! Намеднись цѣлую недѣлю велъ интригу съ Анной Ивановной... поизрасходовалась она немного, а ничего... можно! Главное, манера пріятная, бѣлье тончайшее, ну, и то еще лестно, что начальница! Бывало, докладываешь *ему*, что черноглазовскій городничій явился, а самъ думаешь: эхъ, кабы ты только зналъ, въ какихъ мы отношеніяхъ съ *твоей*-то сейчасъ были! *(Смѣется).* Не дурна тоже и предсѣдателева жена, только бойка очень! Ну, и съ этой ладкомъ покончили! *(Зѣваетъ).* Что бы, однако, сегодня вообразить? Развѣ ужъ сызнова начать съ Анной Ивановной канитель тянуть? Что-жъ, начнемъ! А то опять эти черти просители развлекутъ!

СЦЕНА II.

Тотъ же и Кузнеевъ *(входитъ робко и бочкомъ пробирается къ чиновнику).*

Чиновникъ *(въ сторону).* Вотъ ужъ и принесла кого-то нелегкая ни свѣтъ, ни заря!

Кузнеевъ. Осмѣлюсь безпокоить васъ, милостивый государь, вопросомъ: скоро ли будутъ принимать ихъ превосходительство?

Чиновникъ. Я надъ ихними мыслями распоряженія не имѣю. *(Мечтаетъ)*... «Сходите-ка въ садъ, говоритъ, доложите Аннѣ Ивановнѣ, что завтракъ поданъ». Иду я это по аллеѣ и вижу: сидитъ она въ бесѣдкѣ, въ бѣломъ неглеже...

Кузнеевъ. Я, признаться, еще въ восемь часовъ заходилъ, однако, ихъ превосходительство почивали.

Чиновникъ. Если бы вы въ шесть зашли, такъ и жандарма, пожалуй, нашли бы спящимъ!.. *(Мечтаетъ).* Сидитъ она въ бесѣдкѣ и книжку читаетъ, ножки подъ себя сложила и неглеже на грудкѣ приподнялось.

Кузнеевъ. Вотъ я и въ девять не полѣнился зайти, однако, опять почиваютъ... ну, я и опять въ садикѣ погулялъ-съ: солнышко-то нынче ужъ очень хорошо грѣетъ, сударь! Веселое солнышко!

Чиновникъ. Дѣло вешнее-съ... *(Мечтаетъ).* «Читали ли вы, говоритъ, Александра Дюма?..»

Кузнеевъ. Только, слышу, на соборной колокольнѣ десять бьетъ; я, знаете, бѣжать, анъ бѣжать-то ужъ ноги не бѣгутъ... Прилелся кой-какъ трусочкомъ, докладываю швейцару: встали?—«Сейчасъ, говоритъ, встали...» Ну, и слава те, Господи!

Чиновникъ *(мечтаетъ).* На другой день призываетъ онъ меня опять: «Подите, говоритъ, доложите Аннѣ Ивановнѣ, что пора ей къ Матренѣ Ивановнѣ ѣхать...»

Кузнеевъ. Осмѣлюсь обезпокоить васъ, милостивый государь, вопросцемъ?

Чиновникъ. Законами не воспрещается. *(Мечтаетъ).* «Антроповъ, говоритъ, у меня, кажется, подвязка на правой ножкѣ развязалась?»

Кузнеевъ. Всеконечно, вамъ не безызвѣстно, сколько по здѣшнему уѣзду этихъ новыхъ мѣстъ роздано?

Чиновникъ. Всеконечно, не безызвѣстно, но сіе есть госу-

дарственная тайна. *(Мечтаетъ).* Вотъ я бросаюсь это на полъ...

Кузнеевъ. Однако?

Чиновникъ. Ну, и «однако» все же тайна. *(Мечтаетъ).* Только въ это самое время входитъ лакей и докладываетъ, что лошади готовы.

Кузнеевъ. Просителей-то, просителей-то, я чай, по утрамъ... и не пересчитаешь?

Чиновникъ. Да-таки въ родѣ того: пятыя сутки съ утра до вечера словно стадо въ пріемной — не продохнешь! *(Мечтаетъ).* «Благодарю, говоритъ, господинъ чиновникъ, что бумажку подняли!»

Кузнеевъ. Осмѣлюсь, сударь, доложить вамъ про свое обстоятельство. Неподалеку у меня тутъ имѣньице: такъ, сударь, домишечко убогенькій, однако и заведеньице есть, и землицы малая толика... ужъ какъ бы для меня-то способно было!

Чиновникъ *(разсѣянно).* Вы говорите—неподалеку?

Кузнеевъ. Всего, сударь, верстъ съ пятокъ, а прямикомъ и того не будетъ.

Чиновникъ. Гм... да... прямикомъ... оно конечно... *(Мечтаетъ).* На третій день приходитъ въ пріемную горничная Маша: «вы, говоритъ, чиновникъ Антроповъ?»—а сама смотритъ на меня и смѣется...

Кузнеевъ. Опека у меня, сударь, на рукахъ. Послѣ дочки шестеро внучатъ осталось... Ужъ какъ бы для нихъ-то эти полторы тысячки пригодились!

Чиновникъ *(зѣвая).* Полторы тысячи? Да... это не вредно... *(Мечтаетъ).* «Вамъ, говоритъ, приказано сказать, что вы очень изъ себя интересны...»

Кузнеевъ. Ну, и я тоже: хоть старъ, а могу... и побранить могу... и взыскать могу.

Чиновникъ. Однако, вы мнѣ мѣшаете.

Кузнеевъ *(съежившись).* Помилуйте-съ, я полагалъ-съ, что вы не заняты-съ...

Чиновникъ. А почемъ вы знаете, что у меня въ головѣ происходитъ? Можетъ-быть, я обдумываю...

СЦЕНА III.

Тѣ же, мадамъ Артамонова и Антоша. *(Артамонова—очень бойкая барыня, одѣта пышно; Антоша—во фракѣ и въ бѣлыхъ перчаткахъ; въ продолженіе всего дѣйствія стоитъ неподалеку отъ матери и по временамъ кусаетъ ногти).*

Артамонова *(чиновнику)*. Генералъ дома? *(Подозрительно взглядываетъ на Кузнеева; сквозь зубы)*. Опередилъ-таки!

Чиновникъ. Дома-съ.

Артамонова. Ну, слава Богу. Представьте себѣ, мой милый, мое безпокойство: ѣдемъ за десять верстъ и всю-то дорогу думаемъ: а что, если генерала вдругъ дома нѣтъ? *(Сыну)*. Antoine! ne rongez pas vos ongles!

Чиновникъ. Имъ некуда выѣхать-съ. *(Въ сторону)*. Ужъ не начать ли съ этой?

Артамонова *(отводя чиновника къ сторонѣ)*. Нельзя ли, голубчикъ, узнать, какъ насчетъ этихъ новыхъ мѣстъ.... много роздано?

Чиновникъ *(любезно)*. Хоть это и секретъ-съ, однако для васъ извольте-съ: просьбъ поступило очень достаточно.

Артамонова *(безпокойно)*. Скажите, пожалуйста! И есть кандидаты съ сильными рекомендаціями?

Чиновникъ. Все больше отъ Матрены Ивановны-съ... Статскій совѣтникъ Стрекоза тоже довольно ходатайствуетъ... генералъ Брылкинъ-съ... штатсъ-дама Кровопійцева. Вы не можете себѣ вообразить, сударыня, даже съ Кавказа очень многіе пишутъ-съ...

Артамонова. Этимъ-то какая печаль?

Чиновникъ. Да такъ-съ... пишутъ, что очень было бы пріятно, и больше ничего-съ...

Артамонова. Ну, такъ и есть: опять опоздали! *(Сыну)*. C'est toujours toi, mauvais sujet!

Антоша *(хочетъ что-то сказать)*.

Артамонова. Ужъ молчи, пожалуйста! *(Передразниваетъ)*. «Чего, маменька, намъ спѣшить?» да «вотъ, маменька, попросохнетъ!»... Mais qu'avez vous donc sur la chemise? *(Антоша вытирается)*.

Чиновникъ. Напрасно, сударыня, изволите такъ тревожиться. Почти утвердительно можно сказать, что счастье поблагопріятствуетъ вамъ. *(Сентиментально)*. Счастье есть лотерея, сударыня, изъ которой вамъ, всеконечно, достанется самый лучшій билетъ!

Артамонова. Благодарю васъ, мой милый. Мнѣ очень пріятно, что здѣшніе чиновники почтительны. Вы хороши съ генераломъ?

Чиновникъ *(конфузясь)*. Я-съ... сударыня...

Артамонова. То-есть, можете иногда напомнить ему? *(Обдумывая)*. Впрочемъ, я полагаю, что объ этомъ всего лучше попросить генеральскаго камердинера? Какъ ваше мнѣніе?

Чиновникъ. Я-съ... сударыня... право, не могу...

Артамонова. Камердинеры всегда большое вліяніе имѣютъ. Съ ними могутъ соперничать только правители канцелярій— это ужъ я знаю! *(Указывая на Кузнеева).* Это кто?

Чиновникъ. Не знаю-съ. Кажется, тоже насчетъ новыхъ мѣстъ-съ.

Артамонова. Этотъ-то? *(Антоша фыркаетъ).* Antoine! vous salirez vorte chemise!

Антоша. Не могу, maman! Очень ужъ смѣшно!

СЦЕНА IV.

Тѣ же и Кувшинниковъ *(входитъ и кланяется на всѣ стороны; потомъ садится на стулъ и вынимаетъ прошеніе, которое внимательно и съ нѣкоторымъ безпокойствомъ прочитываетъ).*

Артамонова *(издали косясь на бумагу).* Желала бы я знать, что тамъ такое написано?

Кувшинниковъ *(читаетъ вполголоса и съ разстановкой, какъ будто силится понять).* «Будучи приведенъ въ извѣстность, что чрезъ обстоятельства высшаго соизволенія, прежде предполагаемыя нынѣ къ осуществленію удовлетворительно развиваются»... *къ сему...* гм!.. *къ сему... (Антоша внезапно прыскаетъ со смѣху).*

Артамонова. Antoine! c'est très-impoli ce que vous faites-là!

Антоша. Maman! il n'y a pas de substantif!

Кувшинниковъ *(продолжаетъ читать):* «И обладая имѣніемъ малымъ, большею частію изъ песковъ состоящимъ, съ нѣкоторымъ присовокупленіемъ каменистой и худородной земли»... *Прошенію...* гм!.. *прошенію! (Встаетъ въ волненіи со стула и нѣкоторое время ходитъ по комнатѣ. Наконецъ, съ рѣшительнымъ видомъ подходитъ къ Кузнееву).* Позвольте просить васъ, милостивый государь, прочитать это прошеніе! *(Кузнеевъ принимаетъ отъ него бумагу и читаетъ. Антоша вновь не можетъ удержаться и прыскаетъ. Кувшинниковъ смотритъ на него съ изумленіемъ).* Это очень любопытно...

Артамонова. Antoine! mais vous allez vous attirer une histoire, mauvais sujet!

Антоша. Maman! позвольте мнѣ выйти въ швейцарскую!

Артамонова. Restez ici et n'osez pas rire!

Кувшинниковъ *(Кузнееву).* Поняли?

Кузнеевъ. Темновато нѣсколько... однако, отчего же-съ... понять можно-съ... *(Тыкаетъ пальцемъ въ бумагу).* Вотъ

тутъ бы... вотъ тутъ бы... одно только словечко... самое, знаете, маленькое... чтобъ только, знаете, видъ дать... *(Показываетъ первымъ и указательнымъ пальцемъ нѣчто дѣйствительно очень маленькое).*

Кувшинниковъ. Представьте себѣ, я сряду три дня читаю... даже въ потъ бросаетъ... *(Антоша внезапно убѣгаетъ изъ комнаты, закрывши ротъ рукою. Артамоновой).* Сударыня! я, кажется, не подалъ никакого повода вашему сродственнику...

Артамонова. Извините, капитанъ, это съ нимъ безъ всякой причины бываетъ. *(Къ чиновнику).* Посмотрите, мой милый, что тамъ съ нимъ дѣлается? *(Чиновникъ уходитъ, выражая при этомъ самую любезную готовность служить).*

СЦЕНА V.

Тѣ же и дама подъ вуалью.

Дама *(встрѣчая чиновника въ дверяхъ).* Позвольте узнать мсьё, гдѣ здѣсь можно подождать генерала?

Чиновникъ. Въ этой комнатѣ, сударыня.

Дама. Какъ? здѣсь? Ахъ, какъ это странно! *(Отходитъ въ сторону и садится).*

Артамонова *(въ сторону).* Чему же она удивляется, однако?

СЦЕНА VI.

Тѣ же и Пересвѣтъ-Жаба *(входитъ съ письмомъ въ рукахъ; смотритъ на всѣхъ благосклонно и любезно улыбается. За нимъ входитъ и чиновникъ).*

Артамонова *(въ сторону).* Вотъ и еще кого-то принесла нелегкая! Хотя бы принялъ поскорѣй, развязалъ бы ужъ, что ли! *(Чиновнику).* Ну, что, мой милый?

Чиновникъ. Они сейчасъ пожалуютъ-съ.

Артамонова. Благодарю васъ, голубчикъ.

Пересвѣтъ-Жаба *(чиновнику).* Нельзя ли доложить генералу, что ротмистръ Пересвѣтъ-Жаба пріѣхалъ?

Чиновникъ. Они сейчасъ выйдутъ-съ.

Пересвѣтъ-Жаба. Съ письмомъ отъ Матрены Ивановны... вѣроятно, генералу угодно будетъ принять меня особенно...

Чиновникъ. Они кушаютъ чай-съ.

Пересвѣтъ-Жаба. А, ну это другое дѣло! *(Окидываетъ всѣхъ ласковымъ взоромъ).* Конечно, чай—такое занятіе, которое прерывать не слѣдуетъ! *(Садится неподалеку отъ дамы съ вуалью. Воцаряется молчаніе, которое длится*

нѣсколько минутъ. Антоша возвращается и садится около матери, которая ему выговариваетъ).

Пересвѣтъ-Жаба *(къ дамѣ съ вуалью).* Вы, конечно, съ просьбой къ генералу, сударыня?

Дама *(поправляя вуаль, чуть слышно).* Да-съ.

Пересвѣтъ-Жаба. Да, надо правду сказать: нынче ужъ вѣкъ такой наступилъ, что всякому чего-нибудь хочется.

Дама. Я не всякая-съ.

Пересвѣтъ-Жаба. Помилуйте, сударыня, зачѣмъ же такъ понимать мои слова? Я не смѣю и думать-съ... я вообще... я къ тому это сказалъ, сударыня, что вѣкъ нашъ вообще имѣетъ направленіе практическое...

Артамонова. Я думаю, однако, что и въ прежнее всякому чего-нибудь да хотѣлось.

Пересвѣтъ-Жаба. Не смѣю съ вами спорить, сударыня, но все-таки, если вамъ угодно будетъ сравнить недавнее прошедшее съ нашимъ настоящимъ, вы сами удивитесь, сколько мы въ какія-нибудь пять лѣтъ прожили! Пытливость ума какая-то... пароходы... акціонерныя компаніи... Нѣтъ, какъ хотите, а это шагъ! *(Вновь воцаряется молчаніе).*

Пересвѣтъ-Жаба. Пріятно жить въ такую эпоху, сударыня! Пріятно чувствовать, какъ все это кругомъ обновляется, молодѣетъ! Начну, напримѣръ, съ себя; конечно, я человѣкъ со средствами, могъ бы существовать независимо... наслаждаться природою... увлекаться съ любимымъ писателемъ въ страны воображенія... однако, нѣтъ! Въ воздухѣ, знаете, что-то такое... такъ вотъ и подталкиваетъ: дѣйствуй, дѣйствуй и дѣйствуй! *(Машетъ руками).*

Кузнеевъ *(умильно).* Даже мы, старики, и мы это чувствуемъ, господинъ ротмистръ.

Пересвѣтъ-Жаба *(смотритъ на Кузнеева ласково).* А что вы думаете, вѣдь это правда! У меня сосѣдъ по имѣнію есть, лѣтъ ужъ осьмидесяти старикъ... ну, и параличъ тоже... осьмой годъ недвижимъ лежитъ... а и онъ намедни сь говоритъ: «пожилъ бы, Станиславъ Казимировичъ, еще вотъ какъ пожилъ бы!» Эпоха такая!

Артамонова. Ну, пожить-то и во всякую эпоху хочется!

Пересвѣтъ-Жаба. Не смѣю съ вами спорить, сударыня, но все-таки позволю себѣ продолжать думать, что въ настоящей эпохѣ есть именно что-то живительное, возбуждающее *(нюхаетъ въ воздухъ).* Конечно... жить... то-есть пользоваться земными благами... *(скороговоркой)* попить... поѣсть хорошаго... конечно, такое желаніе законно во всякое время; но

согласитесь, что въ прежнее время не было ни этой пытливости, ни этой полноты, ни этого жару... а это великая вещь, сударыня! Всякому, знаете, хочется примѣнить, провести что-нибудь... убѣжденіе какое-нибудь этакое... Я даже такъ полагаю, что со стороны человѣка, который имѣетъ убѣжденія, было бы непростительно не выступить съ ними на поприще гражданственности!

Кувшинниковъ *(въ сторону)*. Эхма! Кабы все это да въ просьбу вклеить!

Пересвѣтъ-Жаба. Скажу опять-таки про себя. Я человѣкъ независимый, имѣю хорошее состояніе, слѣдовательно, могъ бы, повидимому, жить, ни въ комъ не нуждаясь. Однако, я чувствую, что это было бы съ моей стороны непростительно... даже подло... и вотъ я готовъ! *(Декламируя)*. Привѣтствую тебя, вѣкъ пытливости, вѣкъ изобрѣтательности ума, вѣкъ желѣзныхъ дорогъ и телеграфовъ!

Кувшинниковъ *(въ сторону)*. Ахти-хти, и я бы готовъ, да этотъ чортовъ сынъ, стрекулистъ, кажется, всю просьбу испакостилъ.

Кузнеевъ. Это справедливо, господинъ ротмистръ, что на зовъ отечества всякій изъ насъ свою лепточку... *(Дѣлаетъ крошечное движеніе рукой)*.

Пересвѣтъ-Жаба. И возьмите, сударыня, что во всемъ это движеніе, эта жизнь! Начнемъ съ нашего благонамѣреннаго, нашего истинно благодушнаго начальника. Скажите на милость: когда же была видна такая заботливость, такое истинное христіанское попеченіе обо всемъ? Чтобъ все это было хорошо, чтобъ все это благословляло, все радовалось... чтобъ помѣщикъ былъ доволенъ, чтобъ мужичокъ былъ счастливъ... согласитесь, что никогда? Повѣрите ли вы мнѣ, я даже въ губернскій городъ лѣтъ десять не ѣздилъ—такъ все это было противно! И вдругъ теперь пріѣзжаю—какое пріятное изумленіе! Мостовая вездѣ съ иголочки... тамъ бульварецъ... тутъ театрикъ... не тряхнетъ нигдѣ... просто даже странно послѣ прежняго безобразія! Нѣтъ, какъ хотите, а онъ не бюрократъ! Онъ дворянинъ, именно дворянинъ! Есть въ немъ эта сила, это что-то неуловимое, это... это...

Кузнеевъ. Осмѣлюсь доложить, господинъ ротмистръ, что былъ здѣсь, лѣтъ тридцать тому назадъ, начальникомъ Ѳедоръ Петровичъ Фютяевъ... тоже и театровъ, и бульваровъ—страсти сколько настроили; а послѣ нихъ поступили генералъ Вислоуховъ, и все это опять уничтожать начали!

Пересвѣтъ-Жаба. Да?

Кузнеевъ. Точно такъ-съ. А Ѳедоръ Петровичъ именно прямой начальникъ были! И такъ это строго себя противъ всѣхъ держали, что даже смотрѣть на нихъ внушительно было!

Пересвѣтъ-Жаба. Ахъ, да не то! да не въ строгости тутъ сила, милостивый государь! Тутъ просто что-то неуловимое... какъ бы вамъ выразить? «Ну, сдѣлай это, mon cher!»— и всякій сдѣлаетъ съ удовольствіемъ!

Кузнеевъ. Конечно-съ, мѣрами кротости... это такъ! Однако, осмѣлюсь доложить вашему высокоблагородію, что съ купцами не всегда это удобно. Пойдутъ это у нихъ сказы да разсказы, да отговорки разныя—ну, а начальству не всегда досужно бываетъ.

СЦЕНА VII.

Тѣ же, Уколкинъ и Накатниковъ *(входятъ очень шумно и вообще выказываютъ развязность самаго лучшаго тона; одѣты пестро; часто между собой перемигиваются, указывая на прочихъ соискателей).*

Уколкинъ *(чиновнику).* Въ какомъ положеніи начальство?

Накатниковъ. То-есть, въ «положеніи» или ужъ въ «состояніи»?

Уколкинъ. Joli!

Чиновникъ. Чай кушаютъ-съ.

Уколкинъ. А импрессаріо?

Чиновникъ. Прошли къ нимъ-съ.

Уколкинъ. Ну, волоките его сюда; скажите, что Тамберликъ и Кальцоляри ждутъ... joli?

Накатниковъ. Да вы не переврите; не скажите: «трубочистъ и канцелярія»...

Уколкинъ. Joli!

Чиновникъ. Сейчасъ-съ. *(Уходитъ).*

Уколкинъ *(вполголоса, подмигивая на прочихъ дѣйствующихъ лицъ).* Катнемъ?

Накатниковъ. Вальнемъ!

Уколкинъ. Какъ... какъ... какъ это ты давеча сказалъ: «вотъ онъ-онъ»?

Накатниковъ. Съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать, наше вамъ-съ!

Уколкинъ. Charmant!

Артамонова *(въ сторону).* Это, прости, Господи, что еще за скоморохи ввалились!

Пересвѣтъ-Жаба *(очевидно завязываетъ съ Уколкинымъ и Накатниковымъ)*. Вотъ, хоть бы взять, напримѣръ, нынѣшнее молодое поколѣніе... Скажу откровенно: я тоже былъ молодъ, и въ то же время не послѣднюю роль игралъ, однако, нѣтъ... не то! Не было, знаете, этого дѣльнаго взгляда, не было этого изящества, этой волшебной простоты, которая такъ очаровываетъ въ нынѣшнемъ молодомъ поколѣніи.

Уколкинъ *(вполголоса Накатникову)*. Гм... однако этотъ антрепренеръ не дуракъ!

Накатниковъ. У него аппетитъ очень силенъ... joli?

Кузнеевъ *(подходя къ Накатникову)*. Позвольте, Семенъ Петровичъ, вы, кажется, не изволите узнавать меня... Кузнеевъ, Хрисанфъ Степановъ.

Накатниковъ. Боже! да это, кажется, тотъ самый Кузнеевъ, который...

Кузнеевъ. Именно, Семенъ Петровичъ, тотъ самый...

Накатниковъ. Знаменитый Кузнеевъ!

Уколкинъ. Достославный Кузнеевъ!

Кузнеевъ *(Уколкину)*. И васъ тоже, Петръ Николаичъ, имѣю честь знать... Точно-съ, мы, какъ бы сказать, люди темные: куда намъ съ образованными людьми компанію вести! Однако и мы тоже слышимъ!

Уколкинъ. И много лестнаго слышите?

Кузнеевъ. Столь много, Петръ Николаичъ, что, кажется, если бы у меня былъ такой сынъ, то я именно почелъ бы себя счастливымъ!

Накатниковъ. А у васъ сынъ развѣ очень плохъ?

Кузнеевъ. Я совсѣмъ не имѣю сына, Семенъ Петровичъ!

Накатниковъ. Въ такомъ случаѣ я понимаю! Достославный Кузнеевъ, томясь жаждой родительской любви, желаетъ усыновить насъ! Папаша! позволь облобызать тебя!

Уколкинъ. Безцѣнный родитель! Позволь придушить тебя въ объятіяхъ сыновней нѣжности!

СЦЕНА VIII.

Тѣ же и Бирюковъ; за нимъ дежурный чиновникъ. *(Бирюковъ выходитъ изъ внутреннихъ аппартаментовъ; Уколкинъ и Накатниковъ немедленно устремляются къ нему; Пересвѣтъ-Жаба встаетъ и расшаркивается; лицо Кузнеева принимаетъ выраженіе человѣка, на всю жизнь осчастливленнаго; Кувшинниковъ держитъ руки по швамъ; дама съ вуалемъ безпокойно подергивается на стулѣ; мадамъ Артамонова вглядываетъ съ любопытствомъ и дѣлаетъ знакъ Ан-*

тошь, чтобъ онъ поправился. Бирюковъ, высокій, румяный и плечистый молодой человѣкъ, гладко выстриженъ, слегка картавитъ, держится прямо и вообще всей складкой выражаетъ нѣкоторое подобіе англійскому джентльменскому типу, въ противоположность Уколкину и Накатникову, въ пріемахъ которыхъ видно нѣчто, напоминающее французовъ-куаферовъ).

Бирюковъ. А, солисты! *(Жметъ имъ руки).* Который же изъ васъ Тамберликъ?.. mais savez-vous que le général a beaucoup ri!

Уколкинъ. Joli? не правда ли? Вѣдь это я выдумалъ! Ѣдемъ мы сюда, а я и говорю Накатникову: знаешь что, Simon, велимъ о себѣ доложить: Тамберликъ и Кальцоляри?

Накатниковъ. Ну, а какъ же тамъ-то, Сеня? *(Показываетъ глазами наверхъ).* Вальнемъ?

Уколкинъ *(перебивая его).* А то вчера вечеромъ ѣдемъ мы въ клубъ, и вдругъ намъ навстрѣчу мужикъ: «вотъ онъ-онъ!» кричитъ; а Накатниковъ ему такъ, знаешь, равнодушно: «съ пальцемъ девять, съ огурцомъ пятнадцать—наше вамъ-съ!» Да ты понимаешь? съ пальцемъ девять... понимаешь? И такъ, знаешь, равнодушно... délicieux? *(Бирюковъ смѣется).*

Накатниковъ. Ну, да полно же, Уколкинъ! Такъ какъ же, Сеня,—вальнемъ?

Бирюковъ *(вполголоса).* L'affaire est baclée. *(Уколкинъ и Накатниковъ жмутъ ему руки).*

Уколкинъ. Сеня! Vous avez un noble coeur!

Накатниковъ. Сеня! Vous avez bien mérité de la patrie!

Бирюковъ *(ласково).* Шуты, перестаньте! l'on va descendre à l'instant!

Уколкинъ. А намъ нужно ждать?

Бирюковъ. Нѣтъ, васъ Анна Ивановна обѣдать зоветъ. Je vous dis que c'est une affaire arrangée.

Уколкинъ. Нѣтъ, да ты пойми, Сеня, какую ты вещь устроилъ: ты, я, Накатниковъ... et Mokrotnikoff pour président... Да вѣдь мы вчетверомъ такой концертъ...

Бирюковъ. Будетъ еще пятый.

Уколкинъ. Кто же?

Бирюковъ. Маленькій князекъ.

Уколкинъ. Соломенныя ножки? Ну, что-жъ, это ничего: онъ будетъ у насъ вмѣсто флейточки! Ну, а въ другихъ уѣздахъ какъ?

Бирюковъ. Un choix admirable. Анна Ивановна шутя

говоритъ, что у нея слѣдующей зимой составится un quadrille des myrovoys.

Уколкинъ. Mais quelle femme séduisante!

Накатниковъ. Гм... въ старину были тѣлеса...

Бирюковъ. Молчи ты, шутъ гороховый! Вотъ зададутъ тебѣ «тѣлеса»!

Уколкинъ. Да! à propos: чуть-чуть не позабылъ!.. Позволь рекомендовать тебѣ родителя!.. Достославный Кузнеевъ, ползите сюда!

Кузнеевъ. Петръ Николаичъ шутятъ-съ. Однако я очень радъ-съ. *(Подаетъ Бирюкову руку, которую тотъ не беретъ; за дверьми слышится шумъ).*

Бирюковъ. Тсс... самъ! Убирайтесь! *(Накатниковъ и Уколкинъ скрываются; слышится:* «au revoir», «au plaisir» и проч.).

СЦЕНА IX

Тѣ же и Зубатовъ *(румяный, бодрый старикъ; держитъ себя по-военному; глаза голубые; носъ большой; густые бакены съ просѣдью; привыкъ повелѣвать, а потому часто дѣлаетъ попытки перейти въ рулательный тонъ, но, вспомнивъ о существованіи благодѣтельной гласности, сдерживаетъ себя. Повторяется та же сцена, что и при появленіи Бирюкова, но въ усиленномъ градусѣ).*

Зубатовъ *(подходя къ Артамоновой).* Чѣмъ могу быть полезнымъ, сударыня?

Артамонова. Permettez-moi de vous recommander mon fils, général... Antoine! faites donc votre révérence au général!

Зубатовъ *(нѣсколько изумленъ).* Очень радъ, очень радъ, но въ чемъ же дѣло, сударыня?

Артамонова. Mon général...

Зубатовъ *(мало-по-малу багровѣетъ).* Позвольте васъ просить объясняться по-русски, сударыня.

Артамонова. Я пріѣхала, генералъ, рекомендовать вамъ моего сына на одно изъ новыхъ мѣстъ.

Зубатовъ. А вашъ сынъ гдѣ кончилъ воспитаніе?

Артамонова. Мой сынъ воспитывался дома, и я сама наблюдала, чтобъ внушить ему самыя строгія правила, генералъ.

Зубатовъ. Очень жаль-съ! очень жаль-съ! Но намъ необходимы люди, кончившіе курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ!

Артамонова. Однако, согласитесь, генералъ, что это тиранія!

Зубатовъ. Очень соболѣзную! И даже соглашаюсь съ вами отчасти; но таковы намѣренія высшаго начальства, а я... я рабъ, сударыня; то-есть, я хочу сказать: я рабъ своего долга!

Артамонова. Однако, это странно...

Зубатовъ. Что-жъ дѣлать, сударыня! Я самъ не всегда понимаю... и вполнѣ сочувствую вашему материнскому горю, но проникать въ высшія намѣренія не почитаю себя въ правѣ...

Артамонова. Итакъ, мы не можемъ питать никакой надежды?

Зубатовъ. Очень жаль-съ! очень жаль-съ! *(Подходитъ къ дамѣ съ вуалью).* Чѣмъ могу служить, сударыня?

Дама *(поднявъ вуаль).* Мой мужъ служитъ на Кавказѣ, ваше превосходительство...

Артамонова *(перебиваетъ).* Но, быть-можетъ, для сына моего сдѣлаютъ исключеніе, генералъ?

Зубатовъ *(очень любезно, но уже весь багровый).* Можетъ-быть-съ, можетъ-быть-съ... не знаю, сударыня... очень радъ буду за вашего сына!

Артамонова. Потому, что если бы Antoine, по молодости, и не смогъ чего сдѣлать, то я, какъ мать, могу ему помочь! Я пятнадцать лѣтъ вдовѣю и двадцать лѣтъ управляю имѣніемъ, генералъ!

Зубатовъ. Очень понимаю, сударыня! Но что-жъ прикажете дѣлать; я рабъ... то-есть, я хочу сказать: рабъ своего долга!

Дама съ вуалью. Мой мужъ служитъ на Кавказѣ, ваше превосходительство... *(Останавливается).*

Зубатовъ. Что-жъ прикажете, сударыня?

Дама *(нѣкоторое время молчитъ; потомъ застѣнчиво, почти плача).* Я позабыла-съ.

Зубатовъ *(снисходительно).* Постарайтесь вспомнить, сударыня... ну, напримѣръ, что бы такое! Ну, напримѣръ... быть-можетъ, супругъ вашъ мѣста ищетъ...

Дама *(повеселѣвъ).* Точно такъ, точно такъ! Новыя мѣста, новыя мѣста!

Зубатовъ. Вашъ супругъ — помѣщикъ здѣшней губерніи?

Дама. Никакъ нѣтъ-съ, ваше превосходительство, мы не помѣщики-съ.

Зубатовъ. Очень жаль-съ, очень жаль-съ, но намъ необходимы именно помѣщики и именно здѣшней губерніи!

Дама. Такъ это перемѣнить невозможно?

Зубатовъ. Я не полагаю-съ. Конечно... быть-можетъ... въ воздаяніе заслугъ... нѣтъ правилъ безъ исключеній...

Дама. Мой мужъ мнѣ именно пишетъ, что потребуется строгость, и что онъ, какъ военный...

Зубатовъ. Очень соболѣзную, сударыня, что долженъ лишиться такого полезнаго сотрудника, но что-жъ дѣлать? Предписанія закона ясны, тверды и положительны!

Дама *(нѣсколько подумавъ).* Ваше превосходительство! намъ бы эти полторы тысячи...

Зубатовъ. Что-жъ дѣлать. что-жъ дѣлать, сударыня! Я имѣлъ уже честь объяснить вамъ, что слова закона ясны, тверды и положительны!

Дама. Очень вамъ благодарна, ваше превосходительство! *(Закрываетъ лицо вуалемъ и выходитъ).*

Артамонова. Какъ вы думаете, генералъ, если я напишу къ графу Ивану Никитичу... это будетъ хорошо?

Зубатовъ. А вы коротко знаете графа?

Артамонова. Гм... не то, чтобъ коротко, а такъ. Я однажды съ нимъ въ одномъ вагонѣ по желѣзной дорогѣ ѣхала.

Зубатовъ *(почти посинѣлъ отъ злости, но еще сдерживается; еще минута — и обругаетъ).* Гм... да... это будетъ не дурно!

Артамонова. Да вы поймите, генералъ, что намъ, съ нашимъ вліяніемъ въ уѣздѣ, съ нашимъ состояніемъ, остаться ни при чемъ...

Зубатовъ *(вышелъ изъ себя и издаетъ только безсложные звуки).* Ффф... ззз...

Артамонова *(сначала смотритъ на него съ изумленіемъ, потомъ пугается).* Antoine! allons-nous en! allons-nous en! *(Быстро убѣгаетъ съ сыномъ).*

Пересвѣтъ-Жаба *(подавая письмо, вкрадчивымъ голосомъ).* Отъ Матрены Ивановны, ваше превосходительство!

Зубатовъ *(видимо встревоженный побѣгомъ госпожи Артамоновой и мыслью, что она можетъ прибѣгнуть къ благодѣтельной гласности).* Что вы хотите сказать этимъ, милостивый государь? *(Къ Бирюкову).* Семенъ Петровичъ, эта дама... успокойте! *(Бирюковъ выходитъ; изъ передней слышится: «de grâce, madame...» «mais non, il nous battra» и т. п. По боковымъ подергиваніямъ, которыя овладѣваютъ Зубатовымъ, видно, что его сильно подмываетъ пойти въ переднюю).*

Пересвѣтъ-Жаба *(вразумительно).* Отъ Матрены Ивановны, ваше превосходительство!

Зубатовъ. Я васъ спрашиваю, что вы хотите этимъ сказать? *(Пересвѣтъ-Жаба увядаетъ; Кузнеевъ видимо намѣревается улизнуть; входитъ Бирюковъ).*

Бирюковъ. Cette dame retournera demain à pareille heure.

Зубатовъ. Благодарю. *(Пересвѣтъ-Жабѣ).* Такъ вы говорили, что имѣете письмо отъ Матрены Ивановны?

Пересвѣтъ-Жаба *(расцвѣтаетъ).* Точно такъ, ваше превосходительство. *(Подаетъ письмо).*

Зубатовъ *(читаетъ письмо).* Очень жаль, очень жаль! *(Пересвѣтъ-Жаба мгновенно увядаетъ).* У меня все это ужъ организовано... люди подобраны... ждемъ только сигнала изъ Петербурга... Очень жаль, очень жаль-съ!

Пересвѣтъ-Жаба. Ваше превосходительство! Я въ цѣломъ околоткѣ извѣстенъ своею строгостью!

Зубатовъ. Тѣмъ больнѣе для меня отказать вамъ. Потому что намъ нужна строгость! *(Видимо желаетъ прочесть лекцію о строгости).* Строгость — это, такъ сказать, главнѣйшій нервъ администраціи! *(Подходитъ къ Кузнееву; Пересвѣтъ-Жаба машинально облизывается).*

Кузнеевъ *(струсилъ и съежился).* Позвольте мнѣ уйти, ваше превосходительство!

Зубатовъ. Вы развѣ только поглядѣть сюда пришли?

Кузнеевъ. Нѣтъ-съ, я, ваше превосходительство, съ просьбицей-съ; только просьба-то моя, вижу, не дѣльная.

Зубатовъ. Въ чемъ же ваша просьба?

Кузнеевъ. Самая, ваше превосходительство, не дѣльная. Нѣтъ, ужъ увольте, ваше превосходительство, позвольте уйти!

Зубатовъ *(давая ему дорогу, обидчиво).* Я, государь мой, не держу васъ! *(Кузнеевъ уходитъ, наклонивъ голову, какъ будто ожидая удара).* Странно, это очень странно! *(Къ дежурному чиновнику).* Вы, прежде, нежели допускать просителей до меня, обязаны обстоятельно разспрашивать, объ чемъ они просятъ. *(Чиновникъ раскрываетъ ротъ, чтобъ говорить).* Молчать! Семенъ Петровичъ, потрудитесь сказать Предпочтительному, чтобъ онъ впередъ не присылалъ ко мнѣ этого дурака на дежурство!

Чиновникъ *(въ сторону).* Вотъ тебѣ и Анна Ивановна!

Зубатовъ *(Кувшинникову).* Вамъ что? *(Кувшинниковъ молча подаетъ просьбу).* Извольте объяснить словесно, въ чемъ заключается ваша надобность.

Кувшинниковъ. Тамъ все написано-съ

Зубатовъ *(читаетъ).* Ничего не понимаю, положительно-таки ничего не понимаю!

Кувшинниковъ. Желаю получить мѣсто-съ.

Зубатовъ. Нѣтъ мѣста-съ.

Кувшинниковъ. Такъ нѣтъ мѣста-съ?

Зубатовъ. Нѣтъ мѣста-съ.

Кувшинниковъ. И на два съ полтиной нѣтъ-съ?

Зубатовъ *(изумленный, вращаетъ кругомъ глазами).* Что это такое? Что это такое?

Бирюковъ *(смѣясь, вполголоса Зубатову).* Il demande s'il ne pourrait pas être nommé comme candidat.

Зубатовъ *(понявъ).* А! *(Кувшинникову).* И на два съ полтиной нѣтъ мѣста-съ.

Кувшинниковъ. Благодарю покорно-съ! *(Дѣлаетъ полуоборотъ налѣво и выходитъ).*

Зубатовъ *(къ Пересвѣтъ-Жабѣ).* А! вы еще здѣсь?.. Гм... Такъ вы говорите, что вы строги?

Пересвѣтъ-Жаба *(расцвѣтая).* Весь нашъ уѣздъ засвидѣтельствуетъ вашему превосходительству. Смѣю увѣрить ваше превосходительство, что у меня все это останется по-старому!

Зубатовъ. Ну, хорошо! ну, хорошо! Я вижу! Семенъ Петровичъ! *(Неожиданно оборачивается спиной и уходитъ во внутреннія комнаты, насвистывая дорогой: «jeune fille aux yeux noirs!» Пересвѣтъ-Жаба раскрываетъ ротъ отъ огорченія).*

Бирюковъ. А это значитъ, что вамъ слѣдуетъ отправиться въ канцелярію его превосходительства, къ господину Предпочтительному... тамъ есть механикъ такой: онъ васъ запишетъ. *(Пересвѣтъ-Жаба задыхается отъ радости и хочетъ поцѣловать у Бирюкова руку).* Mais finissez donc! mais finissez donc!

(Занавѣсъ опускается).

III.—Недовольные.

СЦЕНА.

ДѢЙСТВУЮЩІЯ ЛИЦА:

Андрей Иванычъ
Иванъ Андреичъ

Пожилые, оставшіеся за штатомъ дѣйствительные статскіе совѣтники. Похожи другъ на друга до смѣшного; не тощи и съ виду добродушны. Андрей Иванычъ посолиднѣе и выше ростомъ; Иванъ Андреичъ ростомъ не великъ, и когда сидитъ на стулѣ, то не достаетъ ногами пола.

Иванъ Андреичъ. Конечно, ваше превосходительство, кабы на мѣсто Семена Петровича Степана Иваныча, на мѣсто Василія Кирилыча Сергѣя Николаевича, а на мѣсто Ѳедора Ѳедорыча Петра Григорьича...

Андрей Иванычъ *(держа въ рукахъ сигару).* А Ѳедора Ѳедорыча куда-жъ?

Иванъ Андреичъ. Ѳедора Ѳедорыча можно бы членомъ-съ... въ совѣтецъ какой-нибудь... Съ сохраненіемъ, разумѣется...

Андрей Иванычъ. Съ сохраненіемъ... н-да!.. Это пожалуй...

Иванъ Андреичъ. Русское царство, ваше превосходительство, очень обширно; отчего Ѳедора Ѳедорыча не прокормить? Сколько теперича однихъ жидовъ прокармливаемъ, желѣзнодорожниковъ, подрядчиковъ-съ, а чтобъ Ѳедора Ѳедорыча...

Андрей Иванычъ. Прокормить въ состояніи.

Иванъ Андреичъ *(заискивающимъ голосомъ, какъ бы намѣреваясь пощекотать Андрея Ивановича).* А на мѣсто бы Петра Григорьича...

Андрей Иванычъ *(перебивая его).* Мечта одна!

Иванъ Андреичъ. Отчего же мечта-съ? Ваше превосходительство въ такихъ еще лѣтахъ...

Андрей Иванычъ. Мечта одна!

Иванъ Андреичъ. А какъ бы дѣло-то пошло-съ!

Андрей Иванычъ *(распускаясь и скороговоркой).* Къ концу мѣсяца—чисто! Ни единой, ни самомалѣйшаго отношенія... *(Дѣлая надъ собой усиліе).* М-мечта одна! *(Минута молчанія).*

Иванъ Андреичъ. Нынче, ваше превосходительство, все фантазіи на службѣ пошли... ничего положительнаго нѣтъ-съ...

Андрей Иванычъ. Правда.

Иванъ Андреичъ. Пошла въ ходъ филантропія-съ... протолеріатъ-съ...

Андрей Иванычъ. Пролетаріатъ, то-есть.

Иванъ Андреичъ. Мы, бывало, въ неизвѣстное-то не пускались-съ. Видишь по бумагамъ, что коллежскому секретарю время на титулярные приспѣло—ну, и пишешь: «аксіосъ».

Андрей Иванычъ. То-есть не «аксіосъ», а «внести въ общее присутствіе».

Иванъ Андреичъ. Ну, конечно-съ. Насъ, ваше превосходительство, воображеніямъ-то не учили... съ насъ дѣла спрашивали...

Андрей Иванычъ. Это такъ.

Иванъ Андреичъ. А нынче «титулярнаго-то совѣтника»—

въ сторону-съ... все норовятъ, какъ бы въ «уничтоженіе чиновъ» ударить!

Андрей Иванычъ *(глубокомысленно)*. Оно къ тому идетъ.

Иванъ Андреичъ *(хихикая)*. Стало-быть, ваше превосходительство, такимъ манеромъ у насъ, въ департаментѣ, какой-нибудь коллежскій секретарь директоромъ сдѣлаться можетъ?

Андрей Иванычъ *(усиленно выпуская дымъ)*. Оно къ тому идетъ.

Иванъ Андреичъ. Ну, это ужъ очень что-то забавно будетъ!.. Я думаю, наши-то, департаментскіе, такъ и прыснутъ, какъ онъ войдетъ этакъ фертикомъ въ департаментъ?

Андрей Иванычъ. Не прыснутъ!

Иванъ Андреичъ. Да нѣтъ-съ, послѣ этого, ваше превосходительство, и сторожъ Михей надежды имѣть можетъ...

Андрей Иванычъ. Ну, этотъ еще погодитъ.

Иванъ Андреичъ. А что-жъ, ваше превосходительство, нынче и эту идею подать можно... Право-съ! *(Хихикая)*. Нынче эти новости вотъ какъ любятъ! Только презабавно, презабавно это будетъ: войдетъ, это, Михей, да вмѣсто портфеля-то—щетка въ рукахъ...

Андрей Иванычъ. Этого-то еще не будетъ, а что коллежскій секретарь будетъ директоромъ, такъ это вѣрно.

(Нѣсколько минутъ молчанія, въ продолженіе которыхъ Иванъ Андреичъ сидитъ смущенный, а Андрей Иванычъ скрещиваетъ ноги и смотритъ на собесѣдника съ торжествомъ, какъ бы говоря ему: «да, братъ, и я либералъ! а ты что думалъ!»)

Иванъ Андреичъ *(въ раздумьи)*. А вѣдь какъ поразмыслишь, такъ это именно правда, что оно къ тому идетъ.

Андрей Иванычъ. Къ тому.

Иванъ Андреичъ. Вездѣ-съ... по всѣмъ вѣдомствамъ-съ... Возьмемъ, напримѣръ, почтовое вѣдомство-съ... Ужъ какое было, кажется, смирное: муха, бывало, пролетитъ, и то слышно... И вдругъ-съ: сперва штемпельные куверты, а потомъ и этого мало показалось—марки выдумали!

Андрей Иванычъ. Выдумали.

Иванъ Андреичъ. А кому, кажется, какое зло штемпельный кувертъ сдѣлалъ?

Андрей Иванычъ. Совершенно никому.

Иванъ Андреичъ. Или вотъ дома-съ. Надоѣло, что по фамиліямъ называются, все это старо, изволите видѣть!...

Что-жъ, переформировали и это-съ!.. Нумерами какими-то окрестили—налѣво чётъ-съ, направо нечетъ-съ...

Андрей Иванычъ. Смотрѣть скучно!

Иванъ Андреичъ. Идешь иногда по улицѣ, видишь все это разрушеніе... даже вздохнешь потихонечку-съ.

Андрей Иванычъ. Все комитетъ о сокращеніи переписки сдѣлалъ.

Иванъ Андреичъ. Н-да-съ, этотъ комитетъ, доложу вамъ... Вѣдь какое, кажется, мѣсто, даже и не мѣсто совсѣмъ, а просто какъ бы сказать... комитетъ-съ! А сколько яду пролилъ!

Андрей Иванычъ. Даже остроты ума никакой нѣтъ. Вотъ губернаторамъ разрѣшили: подъ бумагами полной фамиліи не подписывать, а только однѣ буквы начальныя.

Иванъ Андреичъ *(вздохнувъ)*. Заварили кашу!

Андрей Иванычъ. Каково-то будетъ расхлебывать!

Иванъ Андреичъ. Расхлебать-то бы еще можно, а главное, ваше превосходительство, слугъ хорошихъ нѣтъ!

Андрей Иванычъ. И то правда.

Иванъ Андреичъ. То-есть, такихъ слугъ, какъ въ наше время были, чтобъ за начальство въ огонь и въ воду, чтобъ и написать могли, и поправить бы могли, и отношенія эти понимали бы... кому и какъ. Словомъ, чтобъ все это шито да крыто было...

Андрей Иванычъ. Да, были мастера!

Иванъ Андреичъ. Ужъ такіе мастера, что въ нынѣшнее время даже постичь трудно. Помните ли, напримѣръ, ваше превосходительство, какъ оберъ-полицеймейстеръ къ нашему графу бумагу прислалъ, что такого-то числа найденъ на улицѣ безъ чувствъ лежащій человѣкъ, назвавшій себя чиновникомъ Лепехинымъ? Помните ли, какъ мы въ ту же минуту отвѣчали, что такого чиновника въ нашемъ вѣдомствѣ не состоитъ, а между тѣмъ этого Лепехина заднимъ числомъ изъ службы выключили?

Андрей Иванычъ. А помните ли вы, какъ у нашего графа князь Р. мнѣнія по дѣлу Тепицына спрашивалъ?

Иванъ Андреичъ. Помню, помню!.. Еще мы ему отвѣчали, что наше мнѣніе то же, что и по дѣлу Чурилова... Помню!

Андрей Иванычъ. И какъ онъ къ намъ потомъ приставалъ, что обстоятельства сихъ двухъ дѣлъ совершенно различныя, а мы ему въ отвѣтъ все одно да одно: отвѣтственно, дескать, тогда-то, за нумеромъ такимъ-то!

Иванъ Андреичъ. Ха-ха!

Андрей Иванычъ. Да, были мастера! Были... да сплыли.

Иванъ Андреичъ. Оно и нынче, ваше превосходительство, не мудрено бы... Всѣ эти марки, нумера... Можно бы ко всему привыкнуть... Только вотъ слугъ нѣтъ!

Андрей Иванычъ. Нѣтъ. *(Задумываются и вздыхаютъ).*

Иванъ Андреичъ *(послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія).* Вотъ и насъ съ вами, ваше превосходительство...

Андрей Иванычъ. Сократили.

Иванъ Андреичъ. А мы могли бы еще послужить, ваше превосходительство!

Андрей Иванычъ. И очень.

Иванъ Андреичъ. Вашему превосходительству и всего-то пятьдесятъ съ небольшимъ!

Андрей Иванычъ. Да и вашему превосходительству не больше шестидесяти...

Иванъ Андреичъ. Мы еще много полезныхъ вещей могли бы сдѣлать, ваше превосходительство!

Андрей Иванычъ. Да, мы бы... тово...

Иванъ Андреичъ. Возьмемъ хоть инспекторскую часть: сколько бы тутъ графъ новыхъ можно было подѣлать! Или еще: приказы издаются нынче по вѣдомствамъ, а можно бы, сверхъ того, издавать ихъ и по алфавиту...

Андрей Иванычъ. Полезно.

Иванъ Андреичъ. Иной, ваше превосходительство, не знаетъ, въ какомъ вѣдомствѣ служитъ лицо, его интересующее, а по алфавиту его въ одну минуту отыскать можно.

Андрей Иванычъ. Удобство большое.

Иванъ Андреичъ. И удобство-съ, а главное, что для всѣхъ безобидно...

Андрей Иванычъ. Это главное. *(Новое молчаніе, въ продолженіе котораго Иванъ Андреичъ хочетъ что-то сказать, но нѣкоторое время не рѣшается).*

Иванъ Андреичъ *(заискивающимъ голосомъ).* А что, ваше превосходительство, если дѣйствительно оправдается слухъ этотъ самый, что васъ на мѣсто Петра Григорьича?

Андрей Иванычъ *(повертываясь на стулѣ отъ внутренняго довольства).* Развѣ слухъ есть?

Иванъ Андреичъ. Ходитъ, ваше превосходительство, ходитъ!

Андрей Иванычъ *(тревожно).* Развѣ сказывалъ кто?

Иванъ Андреичъ. Какъ же-съ, ваше превосходительство, какъ же-съ! Давеча иду я по Гороховой (я нынче, отъ нечего дѣлать, моціономъ больше занимаюсь), и вдругъ это, изъ-за угла, навстрѣчу мнѣ Гаврило Петровичъ...

Андрей Иванычъ. Гаврило Петровичъ? Онъ, кажется, благонамѣренный?

Иванъ Андреичъ. Отличный человѣкъ! Ни про кого кромѣ пріятнаго ничего не скажетъ! А ужъ какъ ваше превосходительство уважаетъ, такъ даже захлебывается весь-съ!..

Андрей Иванычъ. Надо имѣть въ виду... Ну-съ?

Иванъ Андреичъ. Ну-съ, встрѣчается со мной Гаврило Петровичъ. «А слышали, говоритъ, вѣдь Андрея-то Иваныча на мѣсто Петра Григорьича хотятъ назначить? А мы, говоритъ, думали, что у насъ ужъ и департаментъ-то весь прахомъ пошелъ!»

Андрей Иванычъ *(подумавши).* Что-жъ, я послужить не прочь!

Иванъ Андреичъ. А ужъ для службы-то было бы какъ полезно!.. Такъ полезно! Безъ лести вашему превосходительству доложу!

Андрей Иванычъ *(повеселѣвъ).* Ну, ужъ и вы тогда на меня не пеняйте, Иванъ Андреичъ! Я ваше превосходительство опять на свѣжую воду выведу! Въ вицы, сударь, ко мнѣ, въ вицы! Вотъ мы, сударь, какъ васъ!

Иванъ Андреичъ *(внезапно покрываясь масломъ).* Что-жъ, ваше превосходительство!.. И я отъ трудовъ не прочь!

Андрей Иванычъ. Славно мы заживемъ!

Иванъ Андреичъ. Главное, ваше превосходительство, что единодушіе будетъ... Потому что у меня, ваше превосходительство, и ухо, и око, и все, такъ сказать... Это какъ передъ истиннымъ Богомъ-съ!.. Потому что, при исполненіи служебныхъ обязанностей, и душа, и тѣло—все это не мое, а начальниково-съ... Вотъ я какъ себя понимаю!

Андрей Иванычъ. Это основательно!

Иванъ Андреичъ. А потому самому я и позволяю себѣ думать, что если бы на мѣсто Петра Григорьича назначили ваше превосходительство—эта часть большому бы подверглась преуспѣянію!

Андрей Иванычъ. Да, я бы... тово...

Иванъ Андреичъ. Возьмемъ хоть инспекторскую часть... Сколько тутъ добраго можно сдѣлать!

Андрей Иванычъ. Да, я бы... тово...

Иванъ Андреичъ. Или вотъ насчетъ опредѣленій и увольненій... Вѣдь это теперь, ваше превосходительство, въ младенчествѣ...

Андрей Иванычъ. Да, я бы... тово... Я бы все это двинулъ.

Иванъ Андреичъ. У васъ бы, ваше превосходительство, не зазѣвались!

Андрей Иванычъ. Надо такъ полагать!

Иванъ Андреичъ. Однимъ словомъ, ваше превосходительство, только бы это устроилось, а ужъ мы бы... *(Махаетъ рукой и задумывается. Андрей Иванычъ тоже нѣкоторое время разсѣянно пускаетъ кольца дыма. Оба встаютъ).*

Вмѣстѣ *(къ публикѣ).* Да! Мы бы... мы бы... *(Скороговоркой и рѣшительно).* Да, мы бы... тово!

IV.—Скрежетъ зубовный.

(Посвящается любителямъ общественнаго просвѣщенія).

Май у насъ нынче особенно душистъ и радошенъ. На волѣ, за городомъ, такъ хорошо, свѣжо, нарядно и благоуханно, что, кажется, вѣкъ бы не вышелъ оттуда. Поля въ иномъ мѣстѣ уже покрыты сильными зеленями, въ другомъ еще сверкаютъ черневатыми полосами только-что взрыхленной земли; деревья одѣты довольно густою, но еще молодою, искрасна-зеленою листвою; воздухъ влаженъ и весь проникнутъ испареніями нѣжащейся на весеннемъ солнцѣ земли; въ синемъ небѣ не видно ни облачка, и все оно словно играетъ, словно сверкаетъ, но не тѣмъ давящимъ сверканіемъ, какимъ бываетъ облито знойное іюльское небо, а какимъ-то мягкимъ, ласковымъ, радостнымъ, точно милое, улыбающееся лицо ребенка, только-что освѣженное студеною водою; въ пространствѣ волнами ходятъ звуки, Богъ-вѣсть откуда и кѣмъ заносимые; радостные и торжествующіе, они сплошнымъ гуломъ стелются по землѣ, словно сама всецѣлая природа въ этихъ звукахъ стонетъ подъ бременемъ внутренней силы и ликованія. И неизвѣстно, посредствомъ какого тайнаго процесса все это ликованіе, все это цвѣтеніе, вся эта сила, звучность и ясность вдругъ переходятъ внутрь человѣка, и дѣлается ему такъ легко, такъ хорошо жить на свѣтѣ, что даже душа, какъ будто, играть начинаетъ... Право!

Зато картина пустѣющаго города съ каждымъ днемъ дѣлается печальнѣе и печальнѣе. Замеръ послѣдній звукъ польки, разыгранной усердымъ оркестромъ гарнизоннаго батальона; замерли балы, пикники, рауты и катанья; замерли таинственныя рѣчи болѣе или менѣе любовнаго содержанія, нашёптываемыя ловкими канцеляристами и обольстительными юристами училища правовѣдѣнія во время

кадрилей и мазурокъ; бѣлая, ѣдкая пыль густою стѣной стоитъ на улицахъ; дорожные экипажи различныхъ видовъ и свойствъ то и дѣло снуютъ по направленію къ заставѣ, унося своихъ обладателей куда-то далеко-далеко, на лоно неумирающей природы и умирающаго крѣпостного права; все суетится, все рвется вонъ изъ города.

Замерли и начатки нашего краснорѣчія.

Да, и у насъ оно выросло, это пресловутое древо краснорѣчія, которымъ до сихъ поръ мы любовались лишь издали; и у насъ, подъ прохладною тѣнью его, уже многіе пріобрѣли для себя миръ душевный и невозмутимость сердечную; и у насъ, Dieu mercі, боляринъ Сергій, насытившись вдоволь разъѣдающими рѣчами раба Божія Павла, можетъ въ веселіи сердца своего воскликнуть: «ахъ, чортъ возьми, кто бы могъ думать, что у насъ явятся такія ядовитыя бестіи!.. Да вѣдь это Jules Favre pur sang!» (только видимый съ затылка, прибавлю я отъ себя),—да, и мы, наконецъ, съ законною гордостью можемъ сболтнуть изумленной Европѣ, что въ нашихъ

. . . . . parages
Le doux ramage

—уже не мечта разгорячennаго воображенія, а настоящая, истинная истина!.. И если вамъ, о, любители отечественнаго просвѣщенія, доселѣ остается неизвѣстнымъ сей достопримѣчательный фактъ, то это происходитъ оттого, что вы слишкомъ охотно разсуждаете о свойствахъ буквы ижицы, и изъ-за ижицы не замѣчаете обновляющейся Россіи.

Что до меня, то я самъ его видѣлъ, самъ убѣдился въ существованіи этого милаго растенія, называемаго древомъ краснорѣчія, и, если хотите, могу даже сообщить вамъ «краткое» описаніе его. Почва, въ которой лежатъ его корни, болотиста и злокачественна; стволъ его жидокъ и тонокъ, но верхушка объемиста, и если не густа, то косматa; листья блѣдны и безсочны, но снабжены колючками, которыя если не наносятъ положительнаго вреда, то производятъ въ субъектѣ, къ нимъ прикасающемся, чесотку и волдыри. Вообще, это дитя хилое, больное, слабосильное и, несмотря на свои колючки, весьма безобидное. При малѣйшемъ дуновеніи вѣтра оно всей своей растрепанной массой приклоняется къ землѣ и рабски-болѣзненно при томъ стонетъ. «Я безвреденъ! я безвреденъ!—слышится въ этомъ желанномъ стонѣ:—меня можно бить, и потому не зачѣмъ убивать!» И вѣтры все дуютъ да дуютъ, а дерево все жи-

бетъ да живетъ, какъ будто для того, чтобъ доказать нелѣпую мысль, что и во мракѣ есть свѣтъ, и въ смерти есть жизнь.

Пріятель мой Иванъ Педагоговъ, великій охотникъ до всякаго рода словоизверженій, едва лишь издали завидѣлъ вершину этого дерева, какъ уже не въ силахъ былъ воздержать необузданность своего сердца, преисполненнаго благими намѣреніями и безкорыстнѣйшими побужденіями. Онъ вдругъ, безъ всякой побудительной причины, уподобился укушенному шакалу, началъ соваться и бѣгать, и въ заключеніе стиснулъ меня въ своихъ объятіяхъ, въ которыхъ, однакожъ, я, въ качествѣ наблюдателя, не могъ не замѣтить сильнаго присутствія реторики. «Любезный другъ ты дѣлаешь сочиненіе на тему: «восходъ солнца»!—думалъ я, покуда онъ задыхающимся отъ искусственнаго волненія голосомъ декламировалъ передо мной: «О, какъ мы должны гордиться тѣмъ, что дожили до такого момента! Другъ мой, если бы да къ этому на мѣсто Петра Петровича назначили Ѳедора Ѳедоровича, то нѣтъ сомнѣнія, что обновленіе нашего любезнаго отечества можно бы считать совершившимся!» Послѣ этой рѣчи мы оба заплакали, заплакали гнусными, дѣланными слезами, и я до сихъ поръ не могу отдѣлаться отъ тяжести, которая легла на мое сердце отъ этихъ неприличныхъ слезъ.

Появленіе на нашей почвѣ дерева краснорѣчія тѣмъ болѣе должно было поразить, что до сихъ поръ мы думали, что ораторское искусство не можетъ быть добродѣтелью россіянъ. Предки наши занимались воздѣлываніемъ земли, утучняли стада свои, были гостепріимны и благодушны, сидѣли бо́льшею частью «уставя брады»; когда же хотѣли солгать, то приговаривали только: «да будетъ мнѣ стыдно», и затѣмъ были уже совершенно увѣрены, что любезный собесѣдникъ обязанъ принимать слова ихъ за чистую монету. Вотъ свидѣтельство, оставленное намъ исторіей. Сверхъ того, извѣстно, что россіяне съ успѣхомъ занимались приготовленіемъ многоразличныхъ сортовъ меда, но, во всякомъ случаѣ, въ числѣ этихъ сортовъ никогда не значилось меда краснорѣчія.

Очевидно, что при такомъ земледѣльческомъ, скотоутучняющемъ характерѣ цивилизаціи, страсти къ словоизверженіямъ не могло быть дано много мѣста. «Ѣшь пирогъ съ грибами, а языкъ держи за зубами», гласитъ намъ мудрость вѣковъ; а «Пчелы», да «Измарагды» прибавляютъ:

«человѣку даны два уха, чтобъ слушать, и одинъ языкъ, чтобъ говорить».

И дѣйствительно, отцы наши говорили или черезчуръ сжато, или же хотя по временамъ и размазисто, но больше наполняли свои рѣчи украшеніями и учтивостями въ родѣ: «тово», «таперича», «тово-воно какъ оно», «съ позволенія сказать» и т. д. Въ подкрѣпленіе моей мысли позвольте мнѣ представить вамъ нѣсколько образцовъ этого древняго, коренного нашего витійства.

Краснорѣчіе Марса. «Не разсуждать! руки по швамъ!» При этомъ—гласитъ преданіе—нерѣдко случалось и такъ, что Марсъ, вмѣсто словъ, ограничивался простымъ рычаніемъ, что̀, безъ сомнѣнія, представляетъ самую сжатую форму для изъясненія чувствъ и мыслей.

Краснорѣчіе сельское. Но объ этомъ видѣ краснорѣчія я много распространяться не стану; оно вполнѣ резюмировано г. Тургеневымъ въ звукѣ: «чюки-чюкъ! чюки-чюкъ!»

Краснорѣчіе бюрократическое. «Да вы знаете ли, милостивый государь! Да какъ вы осмѣлились, государь мой! Да извѣстно ли вамъ, что я васъ туда упеку, куда Макаръ телятъ не гонялъ!»

Краснорѣчіе торжественное или, такъ сказать, обыденное. Очень радъ, господа, что имѣю случай... тово... Это таперича доказываетъ мнѣ, что вы съ одной стороны... чувства преданности... ну, и прочее... а съ другой стороны и я, безъ сомнѣнія, не премину... отъ слезъ не могу говорить... Господа, за здоровье Крутогорской губерніи!»

Однимъ словомъ, пользуясь указаніями опыта и бывшими примѣрами, мы имѣли полное право догадываться, что у насъ скорѣе можетъ процвѣтать балетъ, нежели драматическое искусство.

И вдругъ мы задумали отречься отъ преданій, завѣщанныхъ благоразумными отцами нашими, и въ юношескомъ восторгѣ забыли даже пословицу: «ѣшь пирогъ съ грибами, а языкъ держи за зубами». Мы, весь свой вѣкъ твердившіе: «а вотъ поговори ты у меня, такъ узнаешь, какъ кузькину мать зовутъ», мы, проливавшіе слезы умиленія при одномъ словѣ: «безмолвіе», которымъ грады и веси цвѣтутъ,—мы... вдругъ почувствовали, что у насъ одно ухо, чтобъ слушать, и два языка, чтобъ говорить, и что пирогъ, который мѣшалъ намъ свободно разѣвать ротъ, съѣденъ весь безъ остатка... Да полно, мы ли это?

Н-да, это мы.

Въ одно морозное, свѣтлое ноябрьское утро мы проснулись и безъ всякой причины ощутили въ себѣ нѣчто въ высшей степени странное. Какъ будто вокругъ насъ что-то измѣнилось: и просторъ сузился, и пригорочки на ровныхъ мѣстахъ появились; какъ будто въ насъ нѣчто оборвалось; какъ будто и извнѣ, и внутри что-то, въ одно и то же время, и покалываетъ, и тревожитъ, и возбуждаетъ, и смущаетъ насъ. Добро бы еще это случилось весной, когда, по пословицѣ, и щепка щепку обнять желаетъ, а то, разсудите сами, на дворѣ осень, глубокая, темная осень, а въ насъ происходитъ явленіе чисто-весенняго свойства! И въ то же самое время (должно полагать, вслѣдствіе общаго ненормальнаго состоянія организма) въ оконечностяхъ языка почувствовали мы нестерпимое раздраженіе... «Папаса, хацу гавалить!» сказали мы.—«Говори, другъ мой!» отвѣчали намъ.

Какая же причина столь внезапнаго явленія? Что̀ заставило насъ замѣнить наше прежнее необузданное молчаніе столь необузданною болтовнею?.. Хотя отвѣчать на этотъ вопросъ довольно трудно, однако, попытаюсь.

Ближайшія изслѣдованія даютъ поводъ думать, что первою и главною побудительною причиной было то, что намъ вышло позволеніе говорить, подобно тому, какъ выходятъ: отставка, опредѣленіе, отсрочка, новыя формы и т. д. Спрашивается: если вышла человѣку отставка, можетъ ли онъ продолжать служить? Если вышла человѣку новая форма одежды, можетъ ли онъ продолжать ходить въ старой? Подобно сему, если вышло человѣку дозволеніе говорить, можетъ ли онъ молчать? И самое нежеланіе съ его стороны воспользоваться предоставленнымъ правомъ не должно ли быть признано равносильнымъ ослушанію волѣ начальства?

Разрѣшеніе этихъ скромныхъ вопросовъ вовсе не такъ легко, какъ это можетъ показаться съ перваго взгляда. Я даже думаю, что для совершенно яснаго ихъ разумѣнія необходимо перенестись на историческую почву, нужно принять въ соображеніе et cecі, et cela. Какъ понималъ, напримѣръ, слово «дозволеніе» Гостомыслъ? Какой смыслъ давали ему Рюриковичи? И прямо или перекосясь взирали на него Батыевичи? Но, вступая на историческую почву, я прежде всего долженъ откровенно признаться, что свѣдѣнія мои о Гостомыслѣ весьма слабы. Помню, что когда я былъ маленькій, то съ именемъ его въ умѣ моемъ соединялась мысль о мракѣ временъ, а съ мыслью о мракѣ

временъ соединялось представленіе темнаго чулана, ключъ отъ котораго постоянно хранился у ключницы Акулины. А такъ какъ старая Акулина охотнѣе согласилась бы разстаться съ жизнью, нежели подѣлиться съ кѣмъ-нибудь драгоцѣннымъ ключомъ, то мнѣ оставалось сожалѣть только о томъ, что чуланъ недостаточно великъ, чтобъ скрыть въ своемъ мракѣ, кромѣ Гостомысла, еще десятка два лицъ, которыя, безъ ущерба для своей репутаціи, могли бы воспользоваться этимъ убѣжищемъ. Впослѣдствіи я пришелъ въ возрастъ; изученіе исторіи продолжалось, но старую Акулину уже замѣнилъ почтенный нашъ публицистъ М. П. Погодинъ. Онъ также никому не повѣрялъ ключа отъ своего чулана, и я, вновь не имѣя возможности познакомиться съ «мракомъ временъ», попрежнему негодовалъ на моего руководителя: зачѣмъ онъ окуталъ подвальнымъ туманомъ хотя удѣльный періодъ, эту безалабернѣйшую тюрю изъ всѣхъ недоѣденныхъ тюрь, когда-либо хранившихся въ подвалахъ и чуланахъ разсчетливыхъ русскихъ хозяекъ. Итакъ, все, что я могу сообщить читателямъ о Гостомыслѣ, заключается въ томъ, что это былъ тотъ самый старичина, который разрѣшилъ своимъ однодеревенцамъ просить варяговъ въ наши хлѣвы хлѣба-соли откушать. Какъ будто сквозь сонъ мелькаетъ передъ глазами моими лубочная картина, видѣнная мною еще въ томъ счастливомъ возрастѣ, когда Акулина была неразлучною спутницей моихъ историческихъ изысканій. Гостомыслъ изображенъ на ней лежащимъ на кровати (къ сожалѣнію, фамилія мебельнаго мастера, дѣлавшаго кровать, осталась неизвѣстною); вокругъ него стоятъ, какъ водится, уставя брады, въ длинныхъ парчевыхъ мантіяхъ, коварные царедворцы того времени, къ которымъ маститый старецъ держитъ рѣчь свою.

Внизу безобразнѣйшимъ шрифтомъ было изображено: «Гостомыслъ *разрѣшаетъ* своимъ единоплеменникамъ призвать варяговъ изъ-за моря». Заучивши наизусть эту подпись, я былъ твердо увѣренъ, что варяги были какіе-нибудь благодѣтельные геніи, въ родѣ бывшаго въ то время въ нашемъ городѣ городничнаго, безпрестанно слонявшагося по мяснымъ рядамъ безъ всякой иной цѣли, кромѣ попечительнаго наблюденія, чтобъ жителямъ не были продаваемы съѣстные припасы въ испорченномъ видѣ. Каково же было мое удивленіе, когда я впослѣдствіи, изъ книгъ и наставленій нашего почтеннаго публициста, узналъ, что эти варяги только и дѣлали, что жгли и грабили русскую землю;

что они были не только непростительно-невѣжливы съ нашими дамами, но даже не давали себѣ труда попросить въ своихъ невѣжествахъ извиненія у ихъ мужей; что они угоняли стада наши, безцеремонно выпивали нашъ медъ и, дергая нашихъ доблестныхъ предковъ за бороды, давали симъ послѣднимъ (т. е. бородамъ) презрительное наименованіе «мочалокъ»! Извѣстившись объ этихъ неистовствахъ, я долго не могъ придти въ себя отъ огорченія. «Что могло заставить,—восклицалъ я въ мучительномъ безпокойствѣ:—что могло заставить нашихъ предковъ внезапно забыть всѣ оскорбленія и стремглавъ броситься за-море къ варягамъ?» И я долго мучился бы этимъ вопросомъ, если бы, съ лѣтами, не сталъ твердою ногою на ту историческую почву, съ которой мнѣ сдѣлалось яснымъ, какъ дважды два, что весь узелъ этой драмы заключается именно въ словѣ «разрѣшеніе». Да; не «разрѣши» Гостомыслъ—и долго, быть-можетъ, не было бы порядка въ землѣ русской, и долго, быть-можетъ, оставалась бы она только великою и обильною! И затѣмъ всюду, куда я потомъ ни обращался, бродя по дебрямъ и лѣсамъ нашей исторіи, всюду видѣлъ, что слово «разрѣшеніе» имѣло для насъ такую магическую силу, отъ которой слабѣли не только умы, но и желудки нашихъ предковъ. Вотъ Рюриковичи, разрѣшающіе своимъ добрымъ подданнымъ полянамъ колотить добрыхъ подданныхъ кривичей, а кривичамъ—добрыхъ подданныхъ радимичей. И всѣ эти поляне, кривичи и радимичи не только не задаютъ себѣ вопроса, откуда и на какой конецъ этотъ градъ колотушекъ, но, пользуясь даннымъ разрѣшеніемъ, съ безкорыстною отчетливостью тузятъ другъ друга и по сусаламъ, и подъ микитки, и въ рождество! Вотъ Батыевичи, любезно разрѣшающіе нашимъ предкамъ платить имъ дани многи, и предки не только пользуются этимъ дозволеніемъ, но даже всякій разъ произносятъ при этомъ: «хи-хи!» Вотъ Иванъ Грозный, разрѣшающій утопить въ Волховѣ цѣлое народонаселеніе; вотъ Петръ Великій, разрѣшающій дворянамъ вступать на службу и брить бороды... Боже, какъ дѣлается легко, какъ все становится ясно, если перенесешь вопросъ на историческую почву! И что бы мы стали дѣлать, если бы не было у насъ этой благодѣтельной исторической почвы? Пожалуй, смотря на нашихъ нынѣшнихъ ораторовъ, мы и впрямь могли бы подумать, что они заговорили—чего добраго—не дождавшись разрѣшенія!..

Но, слава Богу, этого нѣтъ, и я надѣюсь, о, любезная

отечественнаго просвѣщенія, что въ настоящее время слово «разрѣшеніе» имѣетъ для насъ ясный и опредѣленный смыслъ, и что самая исторія настоящей цивилизаціи вполнѣ разъясняется посредствомъ одного этого слова.

Итакъ, если кѣмъ-либо употребляется, напримѣръ, выраженіе: «дозволяется быть веселымъ», то это положительно значитъ, что веселость есть вещь обязательная, и что всякій, кто отнынѣ осмѣлится взглянуть исподлобья, или быть недовольнымъ погодой, и проч., долженъ подлежать истязанію, какъ нарушающій общественную симметрію. Подобно сему, слова: «позволяется говорить»—положительно означаютъ... не то, что отнынѣ могутъ пользоваться даромъ слова желающіе, а то, что всякій благонамѣренный гражданинъ долженъ считать своею обязанностью говорить, и не просто говорить, а до тѣхъ поръ, пока на устахъ не покажутся клубы пѣны, а глаза не пропадутъ Богъ вѣсть куда... Выходитъ, что это ужъ не краснорѣчіе, а нѣчто въ родѣ щекотанія подъ мышками...

Второю причиной, побудившей насъ къ словеснымъ подвигамъ, было, кажется, то, что въ послѣднее время развелось на Руси много людей, которые вдругъ, ни съ того, ни съ сего, начали утверждать, что вѣчно спать невозможно. Сначала одинокіе голоса эти насъ забавляли; мы даже охотно имъ вѣрили, потому что дѣло касалось насъ еще стороною. Но вотъ мало-по-малу они начали раздаваться назойливѣе и назойливѣе, и въ то самое время, когда, погруженные въ волшебный сонъ, мы ходили по коврамъ и по бархату, нѣкто взялъ на себя трудъ окончательно растолкать насъ. «Очнитесь, лежебоки!—услышали мы:—вставать велѣно!» Можете себѣ представить, въ какой переполохъ мы пришли отъ этого привѣтствія! Спросонья мы были нѣкоторое время въ недоумѣніи, не зная, трусить ли намъ, или быть храбрыми, уткнуться ли снова въ подушку, или выставить измятое лицо на свѣтъ Божій... Вокругъ насъ все смотрѣло какъ-то ново и непривычно; кипѣла новая жизнь, проходили новые люди, которые глядѣли на насъ хотя и безъ злобы, но съ какою-то сдержанной ироніей. «Что намъ дѣлать? что намъ дѣлать? — восклицали мы, ощущая всѣ муки предсмертной тоски. — Откуда всѣ эти пришельцы? Что значатъ эти приготовленія?» И долго бы колебались мы, если бы время не убѣдило насъ, наконецъ, что надъ нами много смѣются и очень мало злорадствуютъ. «Слѣдовательно, надо быть храбрыми!» восклик-

нули мы, и въ то же мгновеніе разразились цѣлымъ потокомъ словъ. Мы внезапно почувствовали, что и мы можемъ лицомъ товаръ показать, тѣмъ болѣе, что намъ предстояло защищать свое право лежанія, сладкое право, безъ боя добытое нашими предками.

Итакъ, второю причиной нашей болтливости было живое и законное чувство самосохраненія.

Объ чемъ же мы говоримъ и какъ мы говоримъ? спросите вы. Прежде, нежели отвѣчать на этотъ вопросъ, позвольте мнѣ разсказать нѣсколько печальныхъ исторій.

У меня былъ знакомый, который вмѣстѣ съ прелестнѣйшимъ голосомъ былъ одаренъ отъ природы и чувствительнѣйшей душою. Повидимому, нѣжный теноръ и чувствительная душа—двѣ вещи, которыя какъ нельзя болѣе идутъ другъ къ другу, однако на дѣлѣ выходило совершенно противное. Едва, бывало, затянетъ мой пріятель: «oh, per che non posso odiar ti», какъ голосъ его внезапно оборвется, и изумленные слушатели, вмѣсто пѣнія, дѣлаются свидѣтелями самихъ горькихъ, а иногда и безобразныхъ рыданій. Такимъ образомъ мы, почитатели вокальныхъ дарованій нашего друга, такъ-таки и не могли добиться случая насладиться звуками его голоса, хоть ни одинъ изъ насъ ни на минуту не усомнился въ томъ, что голосъ этотъ долженъ быть прелестенъ.

У меня былъ другой знакомый, который могъ бы быть образцовымъ человѣкомъ, если бы... если бы не та же чувствительность, бѣдственныя послѣдствія которой описаны уже мною выше. Бывало, недѣлю-другую пріятель мой только и дѣла, что благодѣтельствуетъ, а потомъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, взгрустнетъ... и пошелъ все въ рыло да въ рыло.

У меня есть третій знакомый, который могъ бы быть весьма пріятнымъ публицистомъ, если бы перо его, собственнымъ своимъ побужденіемъ, не производило всякій разъ такого клякса, послѣ котораго дѣятельность публициста становится совершенно невозможною.

Примѣровъ такихъ маленькихъ несчастій встрѣчается не мало, и я разсказалъ о нихъ для того собственно, что у меня развелось въ настоящее время множество знакомыхъ, которые могли бы затмить своимъ краснорѣчіемъ и Беррье, и лорда Дерби, если бы не препятствовало тому несовмѣстное съ ораторскою карьерой косноязычіе.

Однако, вы можете себѣ представить, какъ я долженъ

чувствовать себя несчастливымъ, проводя жизнь среди такихъ неудавшихся дарованій! Очевидно, я долженъ ихъ утѣшать, увѣрять деликатнымъ образомъ, что это ничего, что это пройдетъ, что, можетъ-быть, и ихъ усердіе принесетъ современемъ желаемые плоды... Но къ дѣлу.

«Объ чемъ мы говоримъ и какъ говоримъ?» Легко вамъ поставить такой вопросъ, но каково тому, кто принялъ на себя добровольную обязанность отвѣчать на него! Уловите мнѣ «сію мечту», которая вотъ-вотъ сейчасъ зародилась въ головѣ вашего молчаливаго и углубившагося въ себя сосѣда! А между тѣмъ «сія мечта» существуетъ—въ этомъ вы не можете сомнѣваться, потому что сами видите, какъ она явственно играетъ на губахъ и въ бровяхъ молчаливаго господина! Уловите мнѣ это благоуханіе, эту раздражающую эманацію любви, которая горитъ въ воздухѣ, окружающемъ вашу возлюбленную. А между тѣмъ вы ни на минуту не можете усомниться въ существованіи ихъ, потому что слишкомъ явственно ощущаете, какъ сердце ваше мучительно раскрывается, чтобъ принять въ себя эти жгучія испаренія! Поймайте мнѣ, наконецъ, рукой первый палецъ той же руки, заключенный между вторымъ и третьимъ пальцами.

Увѣряю васъ, что уловить характеръ и содержаніе нашего краснорѣчія гораздо труднѣе, нежели... нежели даже поймать вышеупомянутый первый палецъ.

Однако попытаюсь.

Во-первыхъ, я долженъ съ прискорбіемъ сознаться, что сжатость, которою преимущественно щеголяли наши предки, утрачена нами безвозвратно. Увы! мы уже не говоримъ больше: «цыцъ, собака!» Мы уже находимъ, что эти первобытныя формы не соотвѣтствуютъ современному состоянію цивилизаціи, и что никакая рѣчь не можетъ быть, въ строгомъ смыслѣ, названа человѣческою, если она не обставлена приличными дѣлу обстоятельствами и не заключаетъ въ себѣ силлогизма. Поэтому мы стараемся выразить мысль нашу не прямо, а какъ-нибудь стороною; даемъ, напримѣръ, почувствовать, что «на свѣтѣ становые существуютъ», что «если они существуютъ, то надо полагать, что есть какая-нибудь цѣль этого существованія»... Или, напримѣръ, по поводу искренняго желанія содрать кожу съ нашего ближняго, мы отнюдь не выскажемъ прямо, что очень бы, дескать, пріятно и, такъ сказать, пользительно, но прежде углубимся въ дѣвственные лѣса Америки, под-

нимемъ завѣсу, скрывающую отъ насъ древній Римъ, «съ истиннымъ прискорбіемъ» найдемъ, что вездѣ и всегда обдираніе ближняго считалось чуть ли не доблестью, и только тогда уже, когда достаточно забросаемъ слушателя грязью нашихъ историческихъ и статистическихъ изысканій, осторожненько заключимъ, что если вездѣ были люди, вездѣ человѣки, что если древній Римъ, покорившій полъ-вселенной... то почему же бы и намъ и т. д.

Признаюсь откровенно, я душевно оплакиваю такое направленіе нашего краснорѣчія. Во-первыхъ, я всякій разъ вспоминаю при этомъ наше древнее: «да будетъ мнѣ стыдно», а во-вторыхъ, мнѣ истинно жаль, что столько драгоцѣннаго времени, которое можно было бы съ пользою употребить за зеленымъ столомъ, тратится на сомнительное и торопливое ознакомленіе съ «краткой всеобщей исторіей» Кайданова.

Второе качество, дающее содержаніе нашему краснорѣчію, заключается въ желаніи нашемъ доказать, что мы люди и ничто человѣческое намъ не чуждо. Казалось бы, что людямъ нечего и доказывать, что они люди: вѣдь такъ естественно быть человѣкомъ! Однако, мы усиливаемся, мы заявляемъ объ этомъ всѣмъ и каждому, мы просимъ вѣрить и даже очень огорчаемся, если бы кому-нибудь вздумалось покачать при этомъ головою. Что̀ означаетъ этотъ фактъ? То ли, что мы до сихъ поръ были слишкомъ робки, или то, что нами искони обладало чрезмѣрное высокомѣріе?

Я полагаю, что въ этихъ безпрестанныхъ оговоркахъ и извиненіяхъ есть частица того и другого. Многіе изъ насъ были дѣйствительно до того скромны, что названіе «людей» охотно присвоивали всѣмъ и каждому, исключая самихъ себя. Французъ—человѣкъ, англичанинъ—человѣкъ, даже нѣмецъ отчасти человѣкъ, но мы... какъ мы смѣемъ! Другіе, напротивъ того, до безконечности злоупотребляя словомъ «человѣкъ», не на шутку убѣдились, что намъ можно называться барами, благородіями, превосходительствами и т. д., но отнюдь не «человѣками». Слѣдовательно, появленіе въ нашемъ разговорномъ языкѣ слова «человѣкъ», въ собственномъ его смыслѣ, было такъ ново и такъ оригинально, что нѣтъ ничего удивительнаго, если на первыхъ порахъ мы желаемъ вдоволь натѣшиться имъ. Зато посмотрите на насъ, какъ мы краснѣемъ и потупляемъ глаза, когда объявляемъ во всеуслышаніе о своей принадлежности

къ общечеловѣческой семьѣ! Сквозь каждый звукъ нашего голоса просвѣчиваетъ и нетерпѣніе наше какъ можно скорѣй получить дипломъ на званіе человѣковъ, и наша неувѣренность въ томъ, дѣйствительно ли мы «люди» и не напустили ли мы на себя это мнѣніе, подобно тому, какъ долгое время напускали на себя убѣжденіе въ томъ, что мы герои и цѣлый міръ шапками закидать можемъ. Тѣмъ не менѣе (послѣ того говорите, что я человѣкъ мало снисходительный!), — несмотря на то, что эти стыдливыя, прикрытыя фиговымъ листомъ протестаціи, эти жалобныя моленія страшно раздражаютъ мнѣ нервы,—я, все-таки, вижу въ нихъ успѣхъ и нахожу ихъ похвальными и заслуживающими поощренія. И въ этомъ случаѣ я не только не противорѣчу самому себѣ, но, напротивъ того, имѣю даже совершенно основательныя причины радоваться такому искаженію мысли человѣческой. По крайней мѣрѣ, думаю я, теперь рѣже и рѣже встрѣчаются тѣ неистовые герои, которые нѣкогда языкомъ своимъ приводили въ ужасъ самую природу, ихъ создавшую. По крайней мѣрѣ, если древнее ехидство еще живо, то оно уже не поднимаетъ головы, не говоритъ во всеуслышаніе, что оно ехидство, но робко извивается по землѣ и, заговаривая льстивыми голосами, проситъ пожаловать ему ручку поцѣловать. Согласитесь, что это уже изрядный шагъ впередъ, и что всякій, желающій пользы дѣлу, о томъ только и долженъ умолять боговъ, чтобъ неувѣренность въ человѣческомъ достоинствѣ продолжилась въ насъ, по крайней мѣрѣ, до тѣхъ поръ, когда мы и въ самомъ дѣлѣ сдѣлаемся людьми. Ибо, въ противномъ случаѣ, мы, чего добраго, сневѣжничаемъ и какъ разъ уподобимся тѣмъ мужикамъ-бахвалamъ, про которыхъ сложена поговорка: «человѣкъ онъ умный: на пусто не плюнетъ, а все въ горшокъ да въ чашку».

Третье качество, въ которомъ мы искренно желаемъ завѣрить почтеннѣйшую публику, намъ внимающую, есть современность. Когда все кругомъ насъ говоритъ и пишетъ объ обветшалости крѣпостного права, о неудобствѣ откуповъ, взяточничества и казнокрадства, можемъ ли мы оставаться равнодушными? Можемъ ли мы, спрашиваю я васъ, удержать біенія сердецъ нашихъ и не преподнесть нашего собственнаго издѣлія букетовъ на алтарь отечества? Очевидно, что нѣтъ,—во-первыхъ, потому, что это не будетъ à la mode, а во-вторыхъ, и потому, что кто же бы тогда сталъ внимать намъ? Вымолви-ка мы теперь такое слово,

какъ, напримѣръ: *откупа полезны,* гдѣ-жъ бы нашлась публика для такихъ рѣчей?! Итакъ, мы условились единодушно и заранѣе, что откупа—гадость, взяточничество—мерзость, казнокрадство—мерзость, ябедничество—мерзость, а крѣпостное право—une chose sans nom. Но, Господи! что за горечь кипитъ въ нашихъ сердцахъ, когда мы произносимъ эти слова! Какое горькое дрожаніе усматривается на поблѣднѣвшихъ губахъ нашихъ! что за соленый вкусъ ощущается на языкѣ, когда онъ лепечетъ заповѣдное вступленіе къ предстоящей рѣчи: «господа! нѣтъ сомнѣнія, что предметъ, насъ занимающій, заслуживаетъ искренняго нашего сочувствія!» «Чорта съ два, искренняго!» думаемъ мы въ это самое время, и повѣрьте, что для насъ было бы во сто кратъ пріятнѣе, если бы заставили насъ проглотить ежа, нежели выдавить изъ себя эту простую, невинную фразу! Однакожъ мы выдавливаемъ ее, и хотя внутри насъ все колышится и какъ будто хохочетъ, но слова наши въ порядкѣ, носы не буйствуютъ, языки въ порядкѣ и даже физіономіи въ порядкѣ... Да, чортъ побери... въ порядкѣ!..

Изъ всего сказаннаго выше вы можете сами легко сдѣлать заключеніе о томъ, что составляетъ содержаніе нашего краснорѣчія. Это, во-первыхъ, стараніе не войти въ слишкомъ явное противорѣчіе съ грамматикой и синтаксисомъ; во-вторыхъ, желаніе убѣдить всѣхъ и каждаго, что ничто человѣческое намъ не чуждо, и въ-третьихъ, стремленіе, хоть какъ-нибудь, хоть бокомъ пріобщиться къ общему, современному направленію идей. Словомъ, чтобъ опредѣлить характеръ нашего витійства однимъ терминомъ, можно назвать его размазисто-стыдливо-пустопорожнимъ.

Однако, я сознаю, что вы въ правѣ возразить мнѣ, что съ такимъ малоразнообразнымъ фондомъ можно съ грѣхомъ пополамъ составлять только вступленія или предисловія. Къ сожалѣнію, я ничего не могу сказать противъ этого, потому что и мнѣ достовѣрно извѣстно, что до сихъ поръ мы дѣйствительно говорили одни вступленія. Но, съ другой стороны, вы, конечно, будете снисходительнѣе, если примете въ расчетъ молодость нашихъ лѣтъ, нашу неопытность и другія качества... Откуда взять намъ содержанія для нашихъ ораторскихъ упражненій? Изъ науки—но развѣ мы учились? Изъ жизни—но развѣ мы жили?

Въ первомъ отношеніи, я вамъ скажу по секрету, что если бы не «Русскій Вѣстникъ», то рѣшительно неизвѣстно,

какъ бы мы вывернулись изъ нашихъ тѣсныхъ обстоятельствъ. Онъ впервые повѣдалъ изумленному міру, что есть на свѣтѣ государства благоустроенныя, есть государства такъ себѣ, что называется, середина на половинѣ, и есть государства совершенно разстроенныя (мы же до сихъ поръ, въ простотѣ души, объясняли себѣ, что государство есть государство и больше ничего); онъ довелъ до нашего свѣдѣнія, что усовершенствованные пути сообщенія не въ примѣръ лучше неусовершенствованныхъ; онъ поразилъ нашъ слухъ словами: «кредитъ» (подъ этимъ словомъ мы разумѣли исключительно опекунскій совѣтъ, въ которомъ закладывали свои имѣнія), «спекуляція» (съ этимъ словомъ въ умѣ нашемъ соединялось смутное понятіе о чемъ-то въ родѣ мазурика), «поземельная рента» (подъ этимъ выраженіемъ мы ровно ничего не разумѣли) и многими другими, при произнесеніи которыхъ мы благодарно раскрывали наши рты. Что было бы, что было бы, если бы не существовалъ «Русскій Вѣстникъ»? часто спрашиваю я самого себя. Я трепещу произнесть, но мнѣ кажется, что мы поневолѣ вверглись бы въ бездну «Исторіи г. Кайданова» и «Статистики г. Зябловскаго». Но такъ какъ, съ другой стороны, «Русскій Вѣстникъ» издается періодически и небольшими книжками, и, слѣдовательно, не можетъ за разъ обучить всему, то очевидно, что покуда онъ будетъ издаваться, покуда не извлечетъ изъ первобытной тьмы всего, что намъ на потребу, мы, все-таки, не можемъ съ увѣренностью сказать, что мы дѣйствительно что-нибудь знаемъ. Что, если вдругъ «Русскій Вѣстникъ», въ слѣдующей же книжкѣ, начнетъ разсматривать извѣстный вопросъ съ другой точки зрѣнія? думаемъ мы, блѣднѣя... И вдругъ окажется, что то, что въ такомъ-то нумерѣ доказывалось такъ убѣдительно и осязательно, на самомъ дѣлѣ вовсе не убѣдительно и не осязательно? Куда мы тогда поспѣли съ своими «кредитами» и «поземельными рентами»? Страхъ этой неизвѣстности заставляетъ насъ быть осторожными и держаться болѣе береговъ, не пускаясь далеко въ много-волнистое море научныхъ изысканій. Вотъ когда «Русскій Вѣстникъ» изобрѣтетъ компасъ, когда онъ окончитъ свое земное странствованіе и съ свойственною ему скромностью произнесетъ: «здѣсь предѣлы человѣческой мудрости, добрые сограждане!»—тогда милости просимъ поговорить съ нами.

Что касается до жизни, то какія поученія могли мы из-

влечь изъ нея? Шли мы все по отлогому мѣсту, не знали ни враговъ, ни пригорковъ, не ѣхали, можно сказать, а катились. Урожай у насъ — Божья милость, неурожай — такъ, видно, Богу угодно; цѣны на хлѣбъ высоки—сталобыть, такія купцы даютъ; цѣны низки—тоже купцы даютъ... Господи! и жарко-то намъ, и объѣлись-то мы и не умѣемъто, и не знаемъ-то... поневолѣ со всякою мыслью свыкнешься, со всякимъ фактомъ примиришься! О чемъ тутъ думать, чѣмъ озабочиваться! Жили какъ-нибудь прежде — проживемъ какъ-нибудь и теперь, и послѣ! Развѣ поможешь тутъ думаньями да размышленіями? И точно, мы не думали и не размышляли; развѣ по хозяйству что-нибудь укажешь, да и то больше рукой, а не словомъ...

Итакъ, ни наука, ни жизнь не даютъ дѣйствительнаго содержанія для нашего витійства. Понятно, что при такихъ данныхъ мы поневолѣ должны ограничиваться одними вступленіями и предисловіями, но зато въ искусствѣ предисловій мы въ самое короткое время сдѣлали столько успѣховъ, что едва ли не обогнали на этомъ поприщѣ всѣ народы земного шара.

Послушаемъ нашихъ ораторовъ.

— Милостивые государи!—говоритъ престарѣлый князь Оболдуй-Тараканов (о происхожденіи и заслугахъ этого значительнаго древняго рода я когда-нибудь доложу читателю особо).—Милостивые государи! не подлежитъ никакому сомнѣнію, и всѣ вы, конечно, со мною согласитесь, что нашему любезному отечеству открывается будущность не только прекрасная, но даже, смѣю думать, и блестящая. Я, милостивые государи, и часто, и много объ этомъ помышляю въ тиши моего уединенія, и сознаюсь вамъ искренно, что результатъ моихъ помышленій есть таковъ: ни одно въ мірѣ отечество не имѣло столько прекрасныхъ залоговъ, столько утѣшительныхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ несомнительныхъ принциповъ и данностей будущаго благополучія, сколько имѣетъ ихъ наша матушка Русь православная. Возьмемте древній Римъ, взглянемте изъ нашего отдаленія на Сѣверо-Американскіе Штаты, сошлемтесь на Францію и Англію (ужъ я не говорю, мм. гг., объ Испаніи!)—что мы видимъ? Вездѣ раздоры, вездѣ партіи; Маріи завидуетъ Силлѣ, Аннибалъ Сципіону и т. д. Взамѣнъ того, что видимъ у насъ? Города цвѣтутъ, селенія процвѣтаютъ, порядокъ не нарушается, арміи удивляютъ міръ, пролетаріатъ невозможенъ, просвѣщенное дворянство стремится и изъявляетъ готов-

ность, почтенное купечество съ своей стороны жертвуетъ, добрые земледѣльцы благоденствуютъ и наслаждаются плодами рукъ своихъ... однимъ словомъ, всѣ сословія соединены одною и притомъ неразрывною, такъ сказать, цѣпью! Не говорю здѣсь о разныхъ географическихъ данностяхъ, но не излишнимъ считаю напомнить здѣсь, что мы имѣемъ Сибирь, которая, какъ извѣстно, составляетъ весьма важное подспорье въ нашемъ гражданскомъ и государственномъ быту. Таково наше настоящее, милостивые государи! Есть ли что-нибудь подобное въ другихъ государствахъ? Встрѣчалось ли такое соединеніе единодушія съ благодушіемъ въ какія бы то ни было отдаленныя времена исторіи? Никогда и нигдѣ. Вотъ плоды моихъ посильныхъ размышленій! Но отъ настоящаго обращусь къ грядущему, позволяя себѣ поднять трепетною рукою завѣсу, его скрывающую. *(Лицо князя начинаетъ мало-по-малу перекашиваться).* Что вижу я тамъ, достойные мои слушатели? Я вижу усовершенствованные пути сообщенія, вижу безпримѣрное развитіе нашей промышленности, испытавшей на себѣ вліяніе благотворнаго и оплодотворяющаго кредита, вижу процвѣтаніе земледѣлія и скотоводства, вижу свободный трудъ, господа! Нѣтъ сомнѣнія, что сей послѣдній есть такой же нервъ земледѣлія, какъ кредитъ — нервъ промышленности. Благодаря новѣйшимъ изысканіямъ нашихъ ученыхъ, это истина несомнительная, и съ нашей стороны было бы не только неблагоразумно, но и неразсчетливо отвергать ее. Итакъ, прежде всего заявимъ, милостивые государи, наше сочувствіе благодушной принципіи, которая въ отвлеченіи, т.-е. взятая сама по себѣ, не терпитъ возраженія. Да, я первый готовъ подать примѣръ въ этомъ смыслѣ, первый во всеуслышаніе готовъ сказать всѣмъ и каждому, что безъ свободнаго труда нѣтъ и не можетъ быть надежныхъ условій истиннаго процвѣтанія для государства! И не одинъ я такъ думаю; всѣ мы, господа, сколько насъ ни есть, единодушны въ этомъ отношеніи! Но если съ вершинъ отвлеченности мы спустимся къ низменностямъ практичности, если отъ умозрѣній великодушія обратимся къ примѣняемости обыкновенныхъ нашихъ житейскихъ условій—что мы должны заключать? То, мм. гг., что всякая теоричность прежде всего должна быть повѣрена практичностью, и только тогда можно судить, въ какой степени можетъ быть достигнута примѣняемость условій. Но справедливъ будетъ тотъ изъ васъ, достойные слушатели, кто изъ словъ моихъ за-

ключитъ, что я врагъ теорическихъ требованій, или осуждаю свободный трудъ въ его отвлеченности. Повторяю, что мы всѣ, и притомъ всѣми силами души, должны стремиться къ осуществленію этой мысли, но, какъ человѣкъ практичности, какъ земледѣлецъ, прибавляю: надо предварительно повѣрить эту мысль въ ея осуществительности, надо опредѣлить теченіе ея въ ея постепенности, надо приготовить почву, милостивые государи, и тогда уже, и только тогда, начать сѣять наше прекрасное сѣмя! Сойдемъ въ тайники души своей, спросимъ себя съ полною откровенностью: готовъ ли *онъ* къ встрѣчѣ съ тѣми трудностями жизни, съ которыми будетъ неизбѣжно сопряжено его новое положеніе? И замѣтьте, господа, я не говорю о готовности умственной или нравственной... нѣтъ, я говорю о простой готовности физической... да, не болѣе какъ физической! Какія отличительныя черты встрѣчаемъ мы въ поселянахъ нашихъ? Младенческую безпечность и нѣкоторую наклонность къ сладостному far-niente. Поселянинъ, какъ дитя, срываетъ цвѣты жизни, не заботясь о будущемъ и вполнѣ слѣдуя евангельскому изреченію: *довлѣетъ дневи злоба его.* И все въ его существованіи было приспособлено къ этому порядку вещей, все ему улыбалось и ничто не огорчало. Требовались ли правительствомъ подати и повинности — онѣ платились за него; постигалъ ли страну неурожай — его ожидали богатые запасы землевладѣльца, всегда готоваго поспѣшить на помощь ближнему. Повторяю, онъ срывалъ цвѣты жизни, не касаясь корней ея. Если мы оторвемъ его отъ этого идиллическаго настроенія души, если поставимъ его лицомъ къ лицу съ суровой мачехой-дѣйствительностью—чего можемъ мы ожидать? Не того ли, что онъ захирѣетъ и зачахнетъ, какъ хирѣютъ и чахнутъ тепличныя растенія, бывъ пересажены изъ теплой и влажной атмосферы теплицъ на холодную и негостепріимную почву нашихъ сѣверныхъ полей?.. Итакъ, господа, во имя живого всегда присущаго намъ чувства чести, я умоляю васъ быть осмотрительными! Я умоляю васъ не спѣшить навстрѣчу волнамъ пожирающаго океана, но девизомъ вашихъ будущихъ дѣйствій избрать слова, глубоко начертанныя въ моемъ собственномъ сердцѣ: неторопливость и постепенность!

Князь кончаетъ при всеобщемъ ропотѣ одобренія. Онъ очень доволенъ собою и, повидимому, съ гордостью сознаетъ, что вполнѣ исполнилъ долгъ, предписываемый природою: сходилъ въ Америку, побывалъ въ Римѣ, заѣхалъ даже во

Францію, не говоря объ Испаніи, высказалъ нѣсколько пріятныхъ словъ о «теоричности» и не навлекъ никакого сомнѣнія насчетъ знакомства своего съ грамматикой и словосочиненіемъ. Престарѣлое лицо его лоснится, ротъ улыбается до такой степени широко, что, кажется, такъ и хочетъ сбѣгать посмотрѣть, что дѣлается на затылкѣ; самая спина вздрагиваетъ какою-то веселою, юношескою дрожью, какъ будто она во что бы то ни стало хочетъ принять участіе въ недавнемъ словесномъ торжествѣ.

Слушатели тоже съ своей стороны довольны. Пріятель князя, Андрей Карлычъ Кирхманъ, успѣлъ шепнуть имъ на ушко, какой истинный смыслъ слѣдуетъ придавать словамъ: «постепенность и неторопливость»; многіе, вслѣдствіе этого толкованія, весело потираютъ себѣ руки, и уважаемый Сила Терентьевичъ Барсученко считаетъ долгомъ незамедлительно и отъ имени всѣхъ возблагодарить князя.

— Позвольте и мнѣ, господа, — говоритъ онъ мягкимъ, словно бланжевымъ голосомъ:—позвольте и мнѣ положить свою лепту на алтарь отечества!.. Золотое вы слово сказали, князь, насчетъ этой теоричности! Конечно, въ томъ и сомнѣваться нельзя, что всѣ мы не прочь, и всѣ мы чувствуемъ, что любовь къ матушкѣ-Россіи есть первый долгъ и священная обязанность. Князь очень вѣрно это выразилъ, и хотя я не имѣю блестящаго образованія, но понимать могу. Только ужъ насчетъ этой теоричности скажу, что лучше бы совсѣмъ ея не было! Я долго на свѣтѣ живу; сначала въ полку служилъ, а съ тѣхъ поръ, вотъ ужъ тридцать лѣтъ, управляю имѣніями моими и жены моей, и всегда имѣлъ передъ глазами одну практичность, а теоричности нигдѣ не видалъ. Да и не было ея совсѣмъ въ наши времена. Слѣдственно, если слово ваше, князь, о теоричности можно назвать золотымъ, то другія слова ваши о постепенности и неторопливости нельзя назвать иначе, какъ брильянтовыми! Довольно.

За Барсученкомъ вступаетъ на сцену отставной капитанъ Постукинъ, но онъ не говоритъ, а только безпорядочно махаетъ руками и страшно при этомъ оттопыриваетъ губы. За Постукинымъ слѣдуютъ Петровы, Ивановы, Ѳедоровы, Григорьевы и прочіе потомки коллежскихъ асессоровъ, Амалатбековы, Уланбековы, Млодзіевскіе, Войдзицкіе... и всю эту компанію достойнымъ образомъ заключаетъ отличающійся представительной наружностью маркизъ де-Шассе-Круазе. Сердце земли надрывается скорбью, рѣки

выходятъ изъ береговъ, Лиссабонъ разрушается и рыбакитъ выбрасываетъ изъ себя Іону отъ ихъ благородныхъ воплей и восклицаній. «Постепенность! Постепенность!»— стонетъ этотъ новый кагалъ.

Потревожился и другой князь. Князь этотъ — его сивушество князь Полугаровъ, всѣхъ кабаковъ, выставокъ и штофныхъ лавочекъ всерадостный обладатель и повелитель. Онъ покидаетъ бочку, въ которой, какъ Діогенъ, скрывался отъ взоровъ людскихъ, и громкимъ хрюканіемъ заявляетъ желаніе сказать слово на пользу общую.

— Господа!—говоритъ онъ:—вы меня извините; я пышныхъ этихъ словъ не знаю, а говорю просто, что̀ Богъ на сердце положитъ. Теперича я разсуждаю такъ: желѣзныя дороги—хорошо, грамотность—хорошо, пароходство—и того лучше. Все это рождаетъ новыя потребности, новыя потребности рождаютъ новыя отрасли промышленности, а новая промышленность пускаетъ въ народное обращеніе денежные знаки—все равно, что масло въ кашу! Да я и не къ тому веду рѣчь. Извѣстно, что матушка Русь православная не погибнетъ. Это мы сто разъ доказали и передоказали, и есть такіе признаки, которые даютъ право думать, что мы докажемъ это и не одинъ разъ. Поведу рѣчь прямо и откровенно объ откупахъ. Я, господа, былъ откупщикомъ, есть откупщикъ и буду откупщикомъ (hilarité générale). Говорю по опыту: ремесло неблагонадежное... Мужику, послѣ тяжелой дневной работы, хочется подкрѣпить свои силы рюмкой добраго полугара, а ему вмѣсто вина даютъ какую-то мутную жидкость, отъ которой только воняетъ сивухой. Такого дѣла защищать нельзя—это ясно какъ день, а потому нельзя и не сочувствовать нашей благодѣтельной литературѣ, которая выводитъ нашего брата, откупщика, на свѣжую воду. И все-таки, господа, я былъ откупщикомъ, есмь откупщикъ и не теряю надежды умереть откупщикомъ—что-жъ это значитъ? Не значитъ ли это, что дѣйствія мои разногласятъ съ убѣжденіями? Не значитъ ли это, что я говорю одно, а дѣлаю другое? А ларчикъ просто отворялся, сказалъ дѣдушка Крыловъ, и сказалъ истину святую. Я есмь и буду откупщикомъ, потому что не убѣжденъ, чтобъ мы были достаточно приготовлены къ принятію какой-нибудь другой системы. Во время тридцатилѣтней моей откупной карьеры я и примѣривалъ, и прикладывалъ, и дѣйствительно пришелъ къ тому убѣжденію, что откупа́— вещь не хорошая. Однако, мы къ этому привыкли, однако

это доходъ даетъ—вотъ на что я хочу указать. Поговорю о привычкѣ. Извѣстно, что истый русскій человѣкъ безъ клоповъ спать не можетъ, безъ таракановъ щи хлебать не въ силахъ, безъ ухабовъ и рытвинъ ѣзда ему не въ ѣзду. Отнимите у него эти привычки (комфортъ)—и вотъ ропотъ! Кто-жъ можетъ предусмотрѣть, что безъ откуповъ самая жизнь ему не будетъ въ тягость? Никто. А это статья важная. Теперь поговорю о доходѣ. Что такое доходъ? А доходъ, господа, это тотъ самый «мальчикъ съ пальчикъ», та самая «птичка-невеличка», которая въ государствѣ всѣ суставчики въ движеніе приводитъ. Отъ опредѣленія обращусь къ самому дѣлу, т. е. къ откупамъ. Тутъ, господа, ужъ не то, что «плевъ сто рублевъ», тутъ пахнетъ милліонами; а запахъ милліоновъ—сильный, острый, всѣмъ любезный, совсѣмъ не то, что запахъ теорій. Чѣмъ замѣнить эти милліоны? какою новою затыкаемостью заткнуть эту старую поглощаемость? Прикидывалъ я и на глазомѣръ, прикидывалъ и на аршинъ, тридцать лѣтъ только и дѣлалъ, что измѣрялъ эту поглощаемость—и все какъ съ гуся вода! И опять-таки скажу: великое русское спасибо господамъ писателямъ, которые выводятъ на свѣжую воду нашего брата откупщика! Объ одномъ только они маленько забываютъ—это объ томъ, что и въ этомъ дѣлѣ, какъ и во всякомъ другомъ, необходимы два непремѣнныя условія: *постепенность и неторопливость*. Слова нѣтъ, государи мои, идите впередъ и идите неуклонно, разсматривайте, обсуждайте, взвѣшивайте, однимъ словомъ, помогайте нашей улиткоподобной близорукости вашею орлоподобною далекозримостью! Но дѣйствуйте постепенно, не торопясь; по копейкѣ собирайте въ общую русскую сокровищницу—и вотъ передъ вами милліардъ въ туманѣ! Это я всегда скажу. Монументъ новой литературѣ на свой счетъ воздвигну, а правду скажу. Ибо правды не боюсь. Хлѣбъ-соль ѣшь, а правду рѣжь, говоритъ русская пословица. И еще: Варвара мнѣ тетка, а правда мнѣ мать.

Можно себѣ представить, какое электрическое дѣйствіе производитъ на нашу улиткоподобность такого рода словоизвержимость! Мы постепенно открываемъ наши раковины и высовываемъ оттуда наши рожки. Порицаніе откуповъ сначала пугаетъ насъ, но послѣ, прислушиваясь къ музыкѣ рѣчей, мы начинаемъ одобрительно помавать рожками и даже неблагоразумно высовываемъ изъ раковины все туловище, забывая, въ минутномъ упоеніи, что гдѣ-нибудь

вблизи таится грозная піявка, которая ждетъ только минуты, чтобъ воспользоваться нашею одуряемостью и испробовать вкусъ нашей извлекаемости. «Да, да! постепенность и неторопливость!» восклицаютъ всѣ эти Гершки и Ицки, всѣ эти Бестіанаки и Мерзеконаки и, восклицая, скрежещутъ зубами.

— Почтенный князь Полугаровъ!—шипитъ въ отвѣтъ Іосель Гершсонъ, молодой, но уже въ конецъ изворовавшійся еврей:—позвольте, отъ лица всего нашего собранія, изъявить вамъ истинную признательность за то, что вы такъ вѣрно выразили мысль нашу. Въ своей простой, но откровенной рѣчи вы вполнѣ примирили требованія современной мысли съ благоразуміемъ, свойственнымъ мудрому! Никто изъ насъ не станетъ защищать того, что несовмѣстно ни съ требованіями вѣка, ни съ требованіями строгой справедливости... Всѣ мы давно уже прокричали откупамъ: pereant! Но мудрый, прежде нежели начнетъ разрушать старое зданіе, всегда приведетъ въ точную извѣстность, достаточно ли у него приготовлено матеріаловъ, чтобъ воздвигнуть новое. Вы, почтенный князь, поступили подобно этому мудрому и указали намъ ту самую дорогу, по которой всегда и вездѣ шло человѣчество, въ величественномъ поступаніи своемъ, отъ временъ древняго, до-историческаго мрака и до настоящихъ свѣтлыхъ минутъ. Честь вамъ и слава.

Но вотъ и еще нѣкто выходитъ изъ тьмы, по всей вѣроятности, также съ благою цѣлью положить грошъ на алтарь отечества. Ба, да никакъ это старый знакомый нашъ, Порфирій Петровичъ! Что вызвало его изъ мрака? Что заставило его покинуть зеленый столъ, на которомъ онъ сейчасъ только соорудилъ большой шлемъ князю Чебылкину? Посмотрите, какъ онъ торопится и сѣменитъ ножками, какъ онъ пыхтитъ и краснѣетъ! Я бьюсь объ закладъ, что онъ горитъ нетерпѣніемъ подѣлиться съ слушателями какою-то радостною новостью! «Что такое? что такое?» съ безпокойствомъ вопрошаютъ другъ друга члены почтенной крутогорской публики.—«Не изобрѣтенъ ли порохъ? Не открыта ли Америка? Или найденъ новый способъ выиграть семь въ червяхъ съ восьмеркой самъ-другъ козырей?»— Всѣ эти недоумѣнія разрѣшаются Порфиріемъ Петровичемъ самымъ неожиданнымъ образомъ.

— Ну, господа!—начинаетъ онъ, предварительно потоптавшись на одномъ мѣстѣ, какъ это приличествуетъ всякому оратору, получившему первоначальное образованіе въ

городѣ Сергачѣ и потомъ съ честью окончившему курсъ наукъ въ сморгонской академіи: — вотъ и мы, наконецъ, воспользовались двумя первѣйшими благами жизни: устностью и гласностью... тэ-э-къ-съ!..

Однако, добрые жители Крутогорска (извѣстные подъ именемъ aimables kroutogoriens), еще не освоенные съ безвреднымъ значеніемъ этихъ словъ, въ испугѣ окружаютъ Порфирія Петровича и осаждаютъ его вопросами.

— Откуда приходятъ къ вамъ подобныя новости?— восклицаетъ до глубины души оскорбленный генералъ Змѣищевъ.

— Свихнулся старикъ!—произноситъ губернскій врачъ.

— За такія новости его надо въ Вятку сослать! — настаиваетъ генералъ Змѣищевъ.

— Въ Вятку!—добродушно повторяетъ Алексѣй Дмитричъ Размановскій.

— Господа!—продолжаетъ, между тѣмъ, Порфирій Петровичъ, нисколько не смущаясь:—новость эта получена мной изъ вѣрныхъ рукъ, а именно: отъ одного одолженнаго мною столоначальника *(произнося послѣднія слова, Порфирій Петровичъ издаетъ горломъ звукъ)*...

— Гм!—замѣчаетъ губернскій врачъ.

— Признаюсь откровенно, я отъ души порадовался... Вотъ, подумалъ я, какъ отечество-то наше процвѣтаетъ! Давно ли, кажется, давно ли?.. А вотъ теперь и съ гласностью!

— Да еще и съ устностью!—раздается чей-то голосъ въ толпѣ, возбуждая общій сочувственный хохотъ.

— Да и можно ли этому не радоваться! — безстрашно напѣваетъ Порфирій Петровичъ:—ибо если мы молча совершали подвиги, то чего-жъ можно и должно ожидать, когда мы всѣ вдругъ заговоримъ! Теперь, значитъ, всякій будетъ имѣть возможность пожинать отъ трудовъ рукъ своихъ; я, скажетъ, думаю такъ-то, а я, скажетъ, думаю такъ. И такъ далѣе, по мѣрѣ силъ и способностей, и выйдетъ, теперича, у насъ тутъ обмѣнъ прожектовъ, мыслей, чувствъ и замѣчаній. Лежатъ два кремня рядомъ — ну, и ничего: лежатъ и безмолвствуютъ. Идетъ мимо искусный прохожій: беретъ одинъ кремень, беретъ другой, разсматриваетъ ихъ внимательно, осторожно ударяетъ ихъ другъ объ друга— и вотъ искра! Выходитъ, что если меня, напримѣръ, угнететъ исправникъ, то я, не говоря ни слова, прибѣгаю къ гласности...

— Сначала-то слѣдуетъ прибѣгнуть къ устности,—перебиваетъ чей-то голосъ въ толпѣ:—загнуть, то-есть...

— Прибѣгаю къ гласности, — продолжаетъ Порфирій Петровичъ:—и вотъ угнетателю моему стыдно! Или посылаю, напримѣръ, я кухарку на рынокъ; купецъ, разумѣется, ее обманываетъ, беретъ втридорога и вдобавокъ продаетъ дурной продуктъ. Что-жъ, я прибѣгаю къ гласности — и купцу стыдно! Нельзя, господа, не сочувствовать такому явленію! Нельзя не радоваться такимъ благимъ предначертаніямъ. Людямъ съ чистымъ сердцемъ нечего опасаться гласности. Не только она не потревожитъ ихъ мира душевнаго, но еще и воздастъ каждому по дѣламъ его. Чего, напримѣръ, могу я бояться, если я исполнилъ долгъ свой по совѣсти и данной присягѣ. Утромъ я всталъ, помолился Богу...

— Умылся и чаю напился,—прерываетъ голосъ въ толпѣ.

— Что-жъ, и въ этомъ постыднаго я ничего не вижу!— отвѣчаетъ Порфирій Петровичъ, и затѣмъ, обращаясь къ теченію своей рѣчи, продолжаетъ: — Итакъ, помолившись Богу, отправился въ палату, исправилъ тамъ что слѣдуетъ; потомъ, возвратясь домой, провелъ нѣсколько часовъ въ кругу своей семьи...

— Часочекъ-другой всхрапнулъ, — прерываетъ тотъ же враждебный голосъ, но на этотъ разъ уже не возбуждаетъ ни въ комъ сочувствія.

— Шш!—раздается со всѣхъ сторонъ, и Порфирій Петровичъ получаетъ возможность продолжать рѣчь свою безпрепятственно.

— Потомъ вечеромъ поѣхалъ въ клубъ или въ гости... Такимъ образомъ, я исполнилъ долгъ христіанина, долгъ гражданина, долгъ семьянина и не упустилъ изъ вида обязанностей члена общества!.. Спрашивается: что можетъ сказать обо мнѣ пасквильнаго, или гнуснаго, или противоестественнаго «гласность»? Окромя хорошаго, ровно ничего. Итакъ, гласность есть дѣло святое, и нижайшій поклонъ отъ всѣхъ тому, кто первый это слово произнесъ.

Порфирій Петровичъ останавливается и тяжело дышитъ. По всему видно, что до сихъ поръ онъ взвозилъ въ гору какую-то огромную и тяжелую фуру, которую, наконецъ, и поставилъ благополучно на вершину. Теперь ему предстоитъ трудъ эту же самую фуру спустить подъ гору, у подошвы которой разстилается цѣль его путешествія—отличное, покрытое плѣсенью, болото.

— Но, употребляя слово «гласность»,—начинаетъ онъ помаленьку спускать:—я, само собой разумѣется, понимаю гласность благонамѣренную, то-есть такую, которая никого не обижаетъ, никого не затрогиваетъ и предоставляетъ всякому спокойно пожинать плоды рукъ своихъ. Конечно, многіе, быть-можетъ, поймутъ это дѣло иначе и возмечтаютъ, что во имя гласности можно всѣхъ и каждаго по зубамъ колотить. Для лицъ подобнаго образа мыслей я кратко повторяю прежнее мое уподобленіе: лежали два камня и безмолвствовали; шелъ мимо *искусный* прохожій, *осторожно* ударилъ одинъ камень о другой—и вотъ искра! Что, если бы прохожій былъ *неискусенъ?* Что, если бы онъ ударилъ *неосторожно?* Если бы поблизости оказался навозъ или другой удобовоспламеняющійся матеріалъ? Извлеченная изъ кремня искра упала бы въ сей матеріалъ, воспламенила бы его — и вотъ пожаръ! Подобно сему, и гласность, находящаяся въ рукахъ неискусныхъ и употребляемая безъ осторожности, можетъ произвести не умѣренное и благопотребное для любезнаго отечества освѣщеніе, но пагубный и малопотребный для онаго пожаръ. Руководствуясь этими соображеніями, и я соболѣзную о тѣхъ, которые, въ ослѣпленіи своемъ, и въ солнцѣ думаютъ зрѣть пятна, и радуюсь о тѣхъ, которые, пользуясь благодѣтельною гласностью, за правило себѣ поставили: *постепенность и неторопливость.*

Порфирій Петровичъ умолкъ. Онъ нѣсколько сконфуженъ, но не потому, чтобъ солгалъ, а единственно по новости дѣла. Но чтобъ не испортить своей репутаціи въ глазахъ согражданъ, онъ всячески старается маскировать свое смущеніе, топчется на мѣстѣ, покрякиваетъ, отираетъ слезящіеся глаза и въ заключеніе столь искусно повертывается на одной ножкѣ, что окончательно сбиваетъ съ толку своихъ слушателей, которымъ становится ясно какъ день, что для Порфирія Петровича всякая штука—какъ съ гуся вода. Добрые жители Крутогорска взволнованы и растроганы. Они густою толпой окружаютъ Порфирія Петровича, жмутъ ему руки и вообще выказываютъ какое-то необыкновенное нервное разслабленіе.

Увы! и я съ своей стороны изумленъ и растроганъ, хотя и не спѣшу облобызать Порфирія Петровича въ сахарныя уста.

«Гласность!—думаю я:—откуда, изъ какихъ темныхъ норъ вызвала ты всѣхъ этихъ таракановъ, которые до сихъ

поръ спокойно себѣ копошились въ горшкѣ надъ кускомъ чернаго хлѣба, покуда всеистребляющая рука заботливой кухарки не заливала ихъ кипяткомъ и не прекращала тѣмъ прожорливой ихъ дѣятельности? Подобно тому, какъ на выборы являются лица, никѣмъ не виданныя, являются только для того, чтобъ изумить вселенную безобразіемъ мохнатыхъ шапокъ, узостью панталонъ, густотою рыка и необыкновеннымъ ожирѣніемъ затылковъ, изумить и черезъ нѣсколько дней снова потонуть во мракѣ; подобно тому и на торжество гласности и разума являются какія-то страшныя чудища, лишь замѣнившія мохнатость шапокъ—мохнатостью понятій, а узость панталонъ—узостью стремленій, и сохранившія во всей неприкосновенности и густоту рыка, и необыкновенное ожирѣніе затылковъ!»

Что, ежели, вмѣсто того, чтобъ потонуть, по минованіи надобности, во мракѣ, чудища эти укоренятся навсегда съ ихъ мохнатыми шапками и узкими панталонами?

Утомленный болтовнею дня, я не безъ сладостнаго чувства надежды взираю на сумракъ вечера, постепенно окутывающій окрестность. Жадно и зорко слѣжу я за послѣдними движеніями угасающаго дня, и все мнѣ кажется, что огни въ окнахъ недостаточно скоро меркнутъ, что собаки на улицахъ слишкомъ громко лаютъ, какъ бы продолжая и преобразуя своимъ лаемъ ту безлѣпицу, которая преслѣдовала меня въ теченіе дня. Окна общественнаго клуба ярко освѣщены, и сквозь застилающее ихъ облако дыма я замѣчаю, какъ снуютъ взадъ и впередъ какія-то неимовѣрныя усатыя фигуры съ чубучищами въ рукахъ, снуютъ безъ дѣла и безъ цѣли, останавливаясь только за тѣмъ, чтобъ выпить рюмку водки. Но вотъ и огни стали окончательно гаснуть; вотъ послѣдній разъ, и какъ будто сквозь сонъ, гдѣ-то взвизгнула охрипнувшая отъ злобы шавка; вотъ и капитанъ Постукинъ выпилъ послѣднюю рюмку очищенной, выпилъ, крякнулъ и закусилъ кусочкомъ чернаг хлѣба... Покой! забвеніе! ты ли грядешь?..

Но—увы!—горькая работа сердца, разъ начатая, уже не въ силахъ улечься и угомониться вмѣстѣ съ затихающими звуками. Мохнатыя чудища продолжаютъ преслѣдовать меня даже въ моемъ одиночествѣ и производятъ столь сильное раздраженіе во всемъ моемъ существѣ, что я чувствую, какъ ходитъ кровь ходенемъ въ жилахъ моихъ. Ночь, которую я звалъ съ такимъ нетерпѣніемъ, вмѣсто желаемаго

успокоенія, приноситъ мнѣ лишь мучительныя грёзы. Въ безмолвіи, которое меня окружаетъ, мнѣ слышатся какіе-то досадные звуки, смутный гулъ которыхъ заставляетъ болѣзненно сжиматься мое сердце; сѣрыя тѣни, одна за другой, смѣняются передъ глазами моими... Я ощущаю боль во всемъ организмѣ; всѣ чувства мои насторожены; какая-то особенная чуткость объемлетъ всѣ мыслящія способности души моей; глазъ мой видитъ незримое, ухо мое слышитъ неслышимое, руки мои осязаютъ неосязаемое...

«Все ночь, все еще ночь!» думаю я.

Мучимый внутреннею тревогой, изнемогая отъ жажды успокоенія, я съ злобнымъ нетерпѣніемъ обращаюсь къ востоку: не видно ли тамъ луча, не сверкнула ли тамъ, среди черныхъ тучъ, та яркая полоса, которая должна возсіять міру свѣтомъ радости? Востокъ, востокъ! скоро ли освѣтишься ты?

«Засни!—шепчетъ мнѣ ночь:—засни, замученный, засни, истомленный! Сонъ убаюкаетъ тебя на мягкихъ крыльяхъ своихъ; онъ неслышно пронесетъ тебя чрезъ суровыя пространства, чрезъ трудныя времена, въ ту волшебную страну, гдѣ бѣгутъ голубыя рѣки, гдѣ горитъ голубое небо, въ ту страну, гдѣ, торжествующъ, блещетъ ликъ человѣческій, не изнуренный вѣчными исканіями, вѣчными и горькими стремленіями...

«Кинь ты черную думу, забудь обо всемъ! Зачѣмъ замѣчать, сколько золъ тѣснитъ душу брата твоего, сколько нуждъ точитъ его изможденное тѣло? Къ чему эти странныя, сѣрыя картины, на которыхъ такъ любитъ останавливаться уязвленное воображеніе твое? Взгляни, сколько еще разлито свѣта въ самыхъ сумеркахъ, окружающихъ тебя, сколько еще теплится красоты и добра подъ темнымъ флёромъ, наброшеннымъ на жизнь!»

Но мнѣ не спится. Ни шопотъ ночи, ни усталость отъ прожитыхъ волненій дня не усыпляютъ меня... Сладко было бы мнѣ забыться, сладко было бы, безъ тревогъ, не глядя впередъ и не оборачиваясь назадъ, окунуться въ волны рѣки забвенія; но есть внутри меня нѣчто гнетущее, что мѣшаетъ мнѣ поддаться убаюкивающему обаянію ночи. Въ невыразимой тоскѣ продолжаю я обращаться къ востоку: «востокъ, востокъ! скоро ли, ахъ, скоро ли освѣтишься ты?»

Но что же за видѣніе отдѣляется въ глубинѣ изъ мрака, объемлющаго окрестность? Потрясая косою, стуча всѣмъ составомъ своимъ, неподвижно неся безокую голову, оно

проходитъ мимо меня, цѣпеня мою мысль, обдавая холодомъ и ужасомъ все существо мое. Смерть! ты ли это? Если это ты, желанная, если это ты—конецъ и разрѣшеніе тревогъ и исканій жизни! если это ты—успокоеніе мучительныхъ надеждъ и обагренныхъ кровью сердца желаній! если это ты—миръ и забвеніе!—то зачѣмъ же воображеніе мое населяетъ огнями ада зіяющія впадины головы твоей? Зачѣмъ самая тьма ихъ кажется мнѣ сверкающею? Не тебя ли я столько лѣтъ жаждалъ—то съ томительной тоской, то съ сладостнымъ трепетомъ? Не къ тебѣ ли обращались всѣ упованія и мечты моего сердца? Сладко умереть! думалъ я. Сладко забыться и быть забытымъ среди кликовъ растлѣнія, среди постящихся и знаменующихся лицемѣровъ-грабителей, среди ликующихъ откупщиковъ и осклабляющихся ябедниковъ! Стоны торжища жизни, стоны, отъ которыхъ надрывается сердце земли, пронесутся мимо меня, разъѣдая только живое и не касаясь того, что̀ заранѣе и добровольно обрекло себя забвенію!

Отчего же теперь, когда ты явилась передо мною, грозная и торжествующая, меня объемлетъ иной трепетъ, иная тоска? Или запала въ сердце мое робость? или срослась со мною эта горькая привычка жить, которую многіе почему-то называютъ сладкою? Да, я не безъ радостнаго волненія вижу, какъ проходитъ мимо меня грозное видѣніе, не задѣвъ меня своею косой; я сладко вздыхаю по мѣрѣ того, какъ оно отъ меня удаляется... «Я хочу жить!» кричу я изъ всѣхъ силъ, подобно тому выздоравливающему, который, еще шатаясь на дрожащихъ и ослабѣвшихъ ногахъ, не знаетъ, какъ надышаться ему свѣжимъ воздухомъ, и пьетъ не напьется золотыхъ лучей солнца, горячимъ свѣтомъ обливающихъ и его, и всю природу.

И вотъ безграничная панорама открывается передо мной; скорбные образы возстаютъ изъ мглы и тумана; далекая-далекая, окутанная снѣжнымъ саваномъ, равнина разстилается передъ глазами моими... и все мнѣ кажется, что нѣкто вблизи меня стонетъ, что весь міръ полонъ горечи и страданій...

Смерть! смерть! куда же лежитъ разрушительный путь твой? кого обрекла ты на гибель?

Она идетъ, стуча всѣмъ составомъ своимъ; она идетъ по холмамъ и по лугамъ, по лѣсамъ и по полямъ, идетъ черезъ рвы и рѣки, черезъ разсѣдины и топи... Она проникаетъ всюду, гдѣ только слышится трепетъ и дыханіе жизни!

И вотъ вдали, въ длинной вереницѣ городовъ и селъ, чертоговъ и хижинъ, замелькали огни, послышалась суета и движеніе. Люди ветхіе, хворые, еле дышащіе, выходятъ на дорогу; иные идутъ съ поникшими головами; другіе еще трепещутъ отъ неостывшаго сознанія недавняго торжества; иныхъ терзаетъ раскаяніе; черты другихъ исказились ненавистью; одни еще простираютъ дрожащія руки, чтобъ оборониться отъ прикосновенія смерти; другіе клонятся подъ ударами ея безропотно.

Вотъ тучный, весь претворившійся въ брюхо откупщикъ. «Я современный человѣкъ! Я дѣйствительно былъ когда-то мерзавцемъ, но теперь... теперь я воистину человѣкъ современный!—вопіетъ онъ, пряча оторопѣвшими руками за пазуху штофъ съ мутной, испорченной жидкостью.—Виноватъ, я грабилъ... я много грабилъ! Но если душѣ моей не безызвѣстенъ позоръ преступленія, то не заглаживаетъ ли его столь же нечуждая ей сладость раскаянія? Прочитай мои статьи, выслушай мои рѣчи... и пощади меня!»

Вотъ и умирающій торгашъ. Живой, онъ никогда не доводилъ себя до сознанія, что вся жизнь его есть непрерывная сѣть хитросплетеннаго плутовства и неправедныхъ стяжаній, но предъ лицомъ смерти онъ струсилъ. Тщетно окружаетъ его толпа алчныхъ родственниковъ и прихлебателей; тщетно усиливаются они вырвать сокровище изъ хладѣющихъ, но все еще страстно его прижимающихъ рукъ... Онъ глухъ къ ихъ стонамъ, слѣпъ къ ихъ кривляніямъ. Иные звуки терзаютъ его слухъ, иные образы смущаютъ его цѣпенѣющую мысль. Тамъ, вдали, среди облаковъ чернаго дыма, прорѣзываемаго красными языками неугасимаго огня, представляется ему царь тьмы, сидящій на престолѣ изъ змій, видятся ему огненныя сковороды, раскаленныя клещи, видится собственная душа его, ходящая по мытарствамъ... «Страшно! страшно!» лепечетъ коснѣющій языкъ его. Ахъ, не вамъ, добрые родственники, и не вамъ, преданные прихлебатели, оставитъ онъ кубышку свою! Новое любостяжаніе, новое, неслыханное воровство смущаетъ его бѣдную голову: нельзя ли, на тѣ самыя деньги, ради которыхъ погубилъ онъ душу свою, купить для нея царство небесное?..

Вотъ закоренѣлый казнокрадъ и взяточникъ. Онъ застегнулъ мундиръ на всѣ пуговицы, вымылъ руки и, показывая ихъ смерти, заискивающимъ голосомъ шепчетъ: «объ чисты!»

Вотъ и ты, бѣдная, сгорбленная нуждой, бабушка Непила. Спокойно сидишь ты у воротъ покосившейся избенки твоей, чертя клюкой по землѣ и бормоча про себя все одни и тѣ же съ младенчества затверженныя слова. Безъ страха ждешь ты минуты, когда среброкудрые ангелы возьмутъ твою душеньку и успокоятъ ее на лонѣ Авраамовомъ... Однако, отчего же и ты порой задумываешься? Отчего по временамъ губы твои смыкаются, рука крѣпче сжимаетъ клюку, и ты всѣми остатками твоего существа какъ будто прислушиваешься къ чему-то, какъ будто припоминаешь нѣчто? Или еще не порвалась нить, привязывающая тебя къ жизни? или жизненное начало, независимо отъ тебя самой, еще совершаетъ въ тебѣ работу свою? или не совсѣмъ еще застыло старое горе, не всѣ выплакались старыя слезы, не покрылось еще пепломъ забвенія пережитое и выстраданное иго жизни?..

Смерть! смерть! гдѣ же остановишь ты шествіе свое? Ужели ни слабость, ни бѣдность, ни кротость, ни искренность не избѣгнутъ косы твоей? Гдѣ же будетъ ютиться жизнь, кому суждено быть подъ сосудомъ ея? Для кого залѣетъ востокъ давно желаннымъ свѣтомъ радости?

И вдругъ мнѣ чудится, что я тихо-тихо опускаюсь, что меня со всѣхъ сторонъ обхватываетъ нѣчто мягкое, нѣжащее... Вотъ заалѣлъ востокъ... вотъ улеглись тѣни ночи... въ воздухѣ пронеслось словно неявственное дребезжаніе и наполнило слухъ мой... Предметы, покрытые цвѣтами радуги, внезапно закружились передъ глазами моими... Вотъ ворвалось въ мою комнату, неизвѣстно откуда, облако бѣлесоватаго тумана... Вотъ. наконецъ, и ничего не видно... Сонъ! ты ли это?

СОНЪ.

Всталъ-встрепенулся дуракъ Иванушка, пожелалъ онъ, голубчикъ, глаза протереть, руки ноги-протянуть, поразмять свое тѣло бѣлое. Только глянулъ онъ—анъ въ глазахъ у него бѣлый свѣтъ словно мутенъ стоитъ; хочетъ руку поднять—анъ рука, ровно чужая, о бокъ болтается; чуетъ ногами, что подъ нимъ дорога торная, а куда идти, взадъ ли, впередъ ли—не вѣдаетъ. Ишь до чего, лежебокъ, доспался, что забылъ, въ которую сторону головами лежалъ!.. Всплакался тогда Иванушка.

— Эко чудо!—говоритъ.—Слышишь, дяденька, никакъ я

маленько вздремнулъ, что глаза у меня словно не разлипаются!

— Ишь, соня, хватился!—отвѣчаетъ дядя: — спалъ на печи безъ просыпу, да туда же на свѣтъ Божій взглянуть хочетъ! А ты поди сперва да промой глаза-то живой водой!

Побѣжалъ Иванушка къ тому ручью, гдѣ живая вода бѣжитъ, обмылся, обчистился, да и въ ручеекъ, по старой привычкѣ, кстати плюнулъ и пошелъ на дорогу.

Видитъ: идутъ по дорогѣ люди ветхіе, идутъ и руками разводятъ, словно сомнѣваются. Шибко не показались они Иванушкѣ.

— Что за мразь!—говоритъ:—и куда это я попалъ? Эй вы, господа честные, молодцы удалые! не можно ли васъ поспрошать, въ кои страны больно спѣшно ползете?

Возопили къ нему старцы ветхіе:

— Идемъ мы, младый юноша, Иванъ сынъ Ивановичъ, отъ міру прелестнаго, отъ жизни прелюбезныя въ страну преисподнюю...

— Ну, мнѣ, видно, съ вами идти несподручно будетъ?— молвилъ Иванушка и пошелъ отъ нихъ прочь.

Пошелъ Иванушка по той неторенной дорогѣ, гдѣ младая жизнь кишитъ, гдѣ цвѣтутъ цвѣточки алые, гдѣ растетъ трава шелковая, гдѣ поютъ птицы райскія, гдѣ бѣгутъ ручьи молочные... Любо Иванушкѣ! Глаза у него разгорѣлися, кудри русые по широкимъ плечамъ разметалися, ходенемъ пошла грудь могучая, встрепенулось въ ней сердце богатырское, пьетъ не напьется онъ воздуха вольнаго...

. . . . . .

— Ваше благородіе! ваше благородіе! — раздается въ ушахъ моихъ знакомый голосъ:—извольте скорѣе вставать! Иванушку-дурака за столъ посадили!

Слова эти поражаютъ меня; я спѣшу встать и прихожу въ комнату, по срединѣ которой поставленъ столъ и которая видомъ и убранствомъ своимъ напоминаетъ мнѣ нѣчто знакомое. За столомъ сидитъ молодой малый съ русыми волосами, круглымъ и добродушно осклабляющимся лицомъ...

— Это онъ самый Иванушка и есть,—объясняетъ мнѣ тотъ же голосъ, который разбудилъ меня.

Но Иванушкѣ неохота сидѣть въ креслахъ; краска робости или, лучше сказать, той милой застѣнчивости, которая составляетъ врожденное свойство истиннаго сына полей, выступаетъ на лицѣ его; онъ рвется и мечется въ креслѣ, и если бы не удерживала его сзади сильная рука извѣст-

наго своими административными способностями Зубатова, приставленнаго къ нему въ видѣ дядьки, то нѣтъ никакого сомнѣнія, что Иванушка безъ оглядки бѣжалъ бы изъ этой душной комнаты въ тѣ родныя равнины, надъ которыми широко раскинулось сѣренькое небо, гдѣ привольно гуляютъ буйные вѣтры, разнося изъ конца въ конецъ перекатистую пѣсню Иванушки.

— Сиди же, Иванушка! сиди, любезный! — увѣщаваетъ Зубатовъ.

Но Иванушка продолжаетъ барахтаться. На открытомъ лицѣ его я безошибочно могу прочесть тревожную думу, которая неотступно преслѣдуетъ его во время этого барахтанья.

«Врешь, не обманешь!—думаетъ онъ:—развѣ мы своего мѣста не знаемъ!»

Съ этимъ словомъ Иванушка ловкимъ манеромъ выскользаетъ изъ рукъ его и совершенно неожиданно скрывается подъ столъ.

— Господи! вотъ дѣтище-то Богъ послалъ!—угрюмо ворчитъ сторожъ, отправляясь вытаскивать Иванушку.

— Да сядь же, Иванушка! сядь, голубчикъ! — продолжаетъ усовѣщивать Зубатовъ:—какъ передъ Богомъ, обмана тутъ нѣтъ, а именно посадить тебя отъ начальства приказано!

Иванушка вслушивается и повидимому начинаетъ сдаваться. Но переходъ отъ сомнѣнія къ увѣренности совершается въ немъ быстро и рѣзко. Минуту назадъ, онъ прятался подъ столъ—теперь же, къ полному изумленію всѣхъ предстоящихъ, онъ не только сѣлъ на мѣстѣ, но даже ноги на столъ вскинулъ.

— Не годится, Иванушка, не годится такъ!—снова вступается Зубатовъ:—ты пойми, голубчикъ, что не для озорства здѣсь посаженъ... Сядь, Ваня, сядь же смирнехонько, подожми подъ себя ноженьки, коли совладать съ ними не въ мочь!

Нѣкоторое время, однако, Иванушка сомнѣвается. Видалъ онъ на своемъ вѣку виды, и потому знаетъ вѣрно, что всѣ на этомъ мѣстѣ споконъ вѣку именно такъ сижывали, какъ онъ сидитъ! Все думается ему, не издѣвается ли надъ нимъ Зубатовъ, не надуваетъ ли его, не будетъ ли ущерба его значенію, если онъ сядетъ, какъ всѣ люди сидятъ. Однако добрые его инстинкты возымѣли свое дѣйствіе. Не прошло четверти часа, какъ вижу я: сидитъ Ива-

пушка на мѣстѣ прямо и чинно, руками не болтаетъ, ногами не неистовствуетъ, смотритъ ласково и радошно.

— Ну, давай, коли такъ, судить да рядить! — говоритъ онъ, предварительно перекрестившись.

V.—Нашъ губернскій день.

Введеніе.

Какъ тамъ ни шути, а жить скучно. Жизнь сорвалась съ прежней колеи, а на новую попасть и не смѣетъ, и не умѣетъ. Люди ходятъ какъ сонные или сидятъ себѣ сложа руки, вперивъ взоры въ туманную даль—ничего въ волнахъ не видно! Особенно мастерски умѣемъ скучать мы, провинціалы. Тамъ, въ Петербургѣ, что-то затѣвается, какая-то все стряпня идетъ: одни болтаютъ, что готовится нѣчто громадное; другіе брешутъ, что черезчуръ что-то маленькое. Мы сидимъ въ мурьѣ и недоумѣваемъ; намъ-то желалось бы, чтобъ все это было маленькое да миніатюрненькое... а вдругъ, чортъ возьми, левіаѳана хватятъ! Вѣдь съ нашими робятами и это случиться можетъ!

Вотъ пронеслись слухи, будто откупа трещатъ—предсѣдатель казенной палаты дрожитъ и слабѣетъ желудкомъ.

«Куда же я съ малыми дѣтьми дѣнусь? — спрашиваетъ онъ самъ себя.—Да пойми же ты, чортъ, что у меня восемь дочерей и каждой надобно по приданому!»

До свѣдѣнія губернатора доходитъ, что въ губерніяхъ будутъ заведены новыя какія-то учрежденія, совсѣмъ будто бы независимыя.

«Какъ же я теперича повелѣвать буду? — вопрошаетъ онъ самъ себя.—Да пойми же ты, чортъ, какъ я за благосостояніе губерніи-то отвѣчать буду?»

Предсѣдатель судебной палаты тоже узналъ кое-что о гласномъ судопроизводствѣ, и тоже совсѣмъ растерялся. Онъ то застегнетъ, то разстегнетъ свой вицмундиръ, то берется за шляпу, точно идти куда-то собирается, то бросаетъ шляпу на столъ и садится. Наконецъ рѣшается послать за секретаремъ.

— Иванъ Ксенофонтычъ,—слышалъ?

— Поговариваютъ-съ.

— Ну?

— Поговариваютъ-съ.

— Какъ же это... въ публикѣ-то сидѣть?

— Будемъ прописывать-съ.

— Да, но какъ же, братъ, это... въ публикѣ-то?

— Будемъ прописывать-съ.

— Да пойми же ты, любезный: вѣдь кругомъ-то вездѣ публика понатыкана! Пу-бли-ка!

— Что же-съ? Каждому кто что̀ заслужилъ-съ!

— О, чортъ побери да и совсѣмъ!

— Это точно-съ.

Однимъ словомъ, всѣ повѣсили головы, всѣ отстали отъ дѣла, которое уже признается старымъ, отжившимъ свой вѣкъ; всѣ ждутъ чего-то новаго, а новое не идетъ.

— Хоть бы развязали, что ли! — слышится со всѣхъ сторонъ.

Всѣ эти люди сидятъ на чеку, словно куда-то собираются, словно теперь только почему-то вспомнили, что они лишь временные жильцы этого міра. Очевидно, нѣчто волнуетъ ихъ, и мы, конечно, поймемъ и это волненіе, и эту озабоченность, если припомнимъ, что это «нѣчто»—ни болѣе, ни менѣе, какъ вопросъ о жизни и смерти ихъ.

Скучно жить! Скучно видѣть людей, которые разучились смѣяться, которыхъ мысль постоянно находится въ отсутствіи. Подойдешь къ губернатору, спросишь: «не угодно ли вашему превосходительству карточку?» а онъ вмѣсто отвѣта выпучитъ глаза и бормочетъ какія-то безсвязныя фразы: «гм!.. да... что?.. объ чемъ, бишь, мы говорили?» Прошу покорно тутъ думать о какихъ-нибудь общественныхъ удовольствіяхъ при видѣ столь огорченнаго начальника!

Да и одинъ ли губернаторъ, одинъ ли предсѣдатель опустили носы? Увы! улицы пусты, базары обезлюдѣли! Полиція не знаетъ, драться ли ей, или вѣжливенько приглашать: пойдемъ, дескать, милый мой, я тебя въ части посѣку! Обыватели тоже пришли въ сомнѣніе. То, что̀ прежде разрѣшалось въ одно мгновеніе ока и однимъ мановеніемъ руки, нынче перекладывается съ мѣста на мѣсто, перевертывается съ боку на бокъ, да такъ на боку и остается.

— Да разрѣши ты мою нужду!—пристаетъ несчастный обыватель къ лицу власть имѣющему.

— Нельзя, братецъ, закона нѣтъ! — отвѣтствуетъ лицо власть имѣющее.

— Охъ, да хоть бы ужъ развязали поскорѣй!—вопитъ обыватель, и слѣдомъ за нимъ эхо изъ конца въ конецъ перекатываетъ:—«Охъ, да хоть бы ужъ развязали поскорѣй!»

Какъ жить? какъ поступать? чѣмъ быть?—вотъ вопросы, которые слышатся всюду. Пойдешь направо—назовутъ ретро-

градомъ; сунешься налѣво—прослывешь прогрессистомъ... Оба прозвища равно не безопасны. Одинъ мой знакомый говоритъ: «а мы пройдемъ середочкой!» Гм!.. хорошо, коли кто эквилибристикѣ обучался, а каково тому, кто этой науки не знаетъ? Каково идти-то по этой переузинѣ? Каково цѣлую жизнь о томъ только думать, какъ бы не покачнуться ни направо, ни налѣво и не выронить изъ рукъ спасительнаго шеста?

Объ чемъ писать? какіе подвиги воспѣвать? Подвиговъ нѣтъ—ихъ мѣсто заступило унылое балансированіе; героевъ нѣтъ—ихъ мѣсто заступили люди, у которыхъ трясутся поджилки; фестивалей и пиршествъ нѣтъ—ихъ мѣсто заступили молчаливыя сборища съ головными помаваніями, съ односложными рѣчами и скорбными дрожаніями устъ и ноздрей. Что за время! что за время!

Увы! я охотно бы разсказалъ, напримѣръ, о томъ, какъ Леонидъ Звонскій, протанцовавъ туръ вальса съ Пульхеріей Пронской, почувствовалъ, что все его существо внезапно охватилось токомъ любовнаго электричества, но не могу, потому что мнѣ никто не повѣритъ. «Полно!—скажетъ мнѣ читатель:—да развѣ вы не знаете, что нынче Леонидъ Звонскій насчетъ любовныхъ дѣлъ совсѣмъ слабъ сталъ?» И читатель будетъ правъ, потому что, дѣйствительно, Звонскій не тѣмъ занятъ: онъ думаетъ о томъ, будетъ или не будетъ опредѣленъ помощникомъ управляющаго питейными сборами, и, весь погруженный въ расчеты и соображенія, взираетъ на Пульхерію не только съ холодностью, но даже не безъ ироніи.

Еще охотнѣе я началъ бы свой разсказъ такъ: «Леонидъ Звонскій принадлежалъ къ одной изъ великихъ либеральныхъ партій, которыя въ послѣднее время оказали столько услугъ для отечественнаго преуспѣянія. Онъ ненавидѣлъ откупа со всею искренностью пламенной души», и т. д., и т. д. Конечно, тутъ было бы больше правдоподобія и больше животрепещущаго интереса (ибо кто же, въ самомъ дѣлѣ, не принадлежитъ нынче къ одной изъ либеральныхъ партій?), однако, я и этого написать не рѣшусь. Во-первыхъ, если я углублюсь въ свой предметъ надлежащимъ образомъ, то разсказъ можетъ выйти не совсѣмъ цензурный; во-вторыхъ, откупной либерализмъ уже нѣсколько провонялъ сивухой и въ этомъ видѣ давно сданъ въ архивъ.

Одинъ мой пріятель предлагаетъ такого рода сюжетъ: Леонидъ Звонскій, начитавшись мемуаровъ Казановы, ощу-

тилъ и т. д. «Тутъ можетъ выйти цѣлый рядъ очень миленькихъ сценъ, да и цензура непремѣнно пропуститъ разсказъ»,—прибавляетъ пріятель. Но нѣтъ... я не могу писать на эту тему! Я не сомнѣваюсь, что цензура пропуститъ разсказъ мой, но сомнѣваюсь, чтобъ нашелся журналъ, который рѣшился бы напечатать его.

Что-жъ остается мнѣ дѣлать? Очевидно, остается грустить вмѣстѣ со всѣми, остается быть лѣтописцемъ вздоховъ... Поймите, какъ это трудно!

Да и какой еще вздохъ? какой его цвѣтъ? какой его запахъ? Во времена счастливыя, въ тѣ времена, когда жизнь изживается «безъ тоски, безъ думы роковой», отвѣтъ на эти вопросы дать не трудно. Тогда вздохъ бываетъ голубой и пахнетъ фіалкой. Вотъ Леонидъ Звонскій, который только-что кончилъ вторую фигуру кадрили съ возлюбленной Пульхеріей; онъ садится возлѣ предмета своихъ страстныхъ, но законныхъ помышленій и вздыхаетъ... Вздохъ не задерживается въ груди его, не вылетаетъ оттуда ураганомъ: онъ выходитъ легко, ровно, благоуханно. Очевидно, Звонскій вздыхаетъ потому только, что онъ счастливъ; онъ принадлежитъ Пульхеріи, Пульхерія принадлежитъ ему; кадриль кончится, и растроганные родители благословятъ ихъ. Вотъ патріархъ-помѣщикъ, въ «бояхъ домашнихъ посѣдѣлый», который только-что получилъ оброкъ съ возлюбленныхъ домочадцевъ своихъ. Онъ сидитъ за конторкой, разглаживаетъ замасленныя и измятыя пачки ассигнацій и вздыхаетъ... Миръ царствуетъ во всемъ существѣ его; онъ пересчитываетъ деньги, и въ душу его закрадывается увѣренность, что недоимки нѣтъ и что слѣдовательно домочадцы его блаженствуютъ и живутъ припѣваючи. Веселыя картины рисуетъ его воображеніе: пейзанки гуляютъ въ кумачныхъ сарафанахъ, пейзане—въ синихъ суконныхъ поддевкахъ; а тамъ горѣлки, хороводы, орѣхи, пряники... Тутъ вздохъ понятенъ: тутъ онъ служитъ выраженіемъ того кроткаго блаженства, которое напояетъ душу и катится благоуханной струей по всѣмъ жиламъ... Вотъ чиновникъ, который сейчасъ только сходилъ въ карманъ своего ближняго; онъ тоже нѣчто считаетъ, онъ умиленъ духомъ, онъ чувствуетъ, какъ дыханіе спирается въ его зобу, онъ вздыхаетъ. Понятно, что и тутъ вздохъ не можетъ быть горькимъ.

Все это вздохи голубые, пропитанные запахомъ фіалки. Человѣкъ, который вздыхаетъ такимъ образомъ, можетъ

сказать о себѣ: я вздыхаю, потому что во мнѣ играетъ сердце, потому что природа разыгрываетъ въ мою пользу постоянное увеселительное представленіе. Я вижу цвѣтокъ—и радуюсь; я внимаю пѣнію птички—и радуюсь; я слышу мычаніе осла—и радуюсь; все въ Божьемъ мірѣ манитъ и взираетъ на меня свѣтлыми очами, все говоритъ: живи и наслаждайся!

Но я имѣю дѣло съ міромъ огорченныхъ, съ міромъ людей трепещущихъ и скучающихъ. Они тоже вздыхаютъ, но ихъ вздохи желтые и пропитанные тлѣніемъ органическихъ остатковъ. Имѣть дѣло съ подобными вздохами почти невыносимо.

А другихъ вздоховъ нѣтъ. Странно измѣнился міръ Божій; уже не смотритъ онъ на человѣка свѣтлыми очами, не приглашаетъ его жить и наслаждаться. Подобно бурѣ, вырывающей съ корнемъ столѣтніе дубы и щадящей молодые, гибкіе побѣги, смерть прошла крыломъ своимъ по рядамъ человѣческимъ и посѣкла въ одинъ мигъ все, что считало себя навѣки несокрушимымъ. Валятся люди, а за ними валится цѣлый порядокъ явленій, валится цѣлая жизнь.

Лѣтописецъ минуты, я роковою силою осужденъ раздѣлять настроеніе ея. Міръ грустенъ—и я грущу вмѣстѣ съ нимъ; міръ вздыхаетъ—и я вмѣстѣ съ нимъ вздыхаю. Мало того, я приглашаю грустить и вздыхать вмѣстѣ со мною и читателя.

Изъ послѣдующихъ очерковъ онъ увидитъ, что сталось съ нашимъ провинціальнымъ «днемъ», этимъ днемъ, который еще столь недавно былъ днемъ веселія и утѣхъ.

I.

У пустынника.

Мы составляемъ особое общество, status in statu. Насъ не много: губернаторъ, губернскій предводитель дворянства, я, предсѣдатель казенной палаты, управляющій палатой государственныхъ имуществъ и жандармскій штабъ-офицеръ. Еще допускается къ намъ откупщикъ, потому собственно, что имѣетъ очень пріятное обхожденіе.

До тѣхъ поръ, пока мы не начали грустить, мы жили очень весело: днемъ распоряжались, а вечеромъ играли въ стуколку; но теперь это все перемѣнилось. Коли хотите, мы продолжаемъ и распоряжаться, и играть въ стуколку,

но на все это легла какая-то печать уныніе. Все идетъ машинально, безъ присказокъ, безъ острыхъ словъ, словно не сами мы все это дѣлаемъ, а играетъ и распоряжается въ насъ не порвавшійся еще процессъ нашего прежняго, веселаго существованія. Скоро онъ порвется, а съ нимъ вмѣстѣ порвутся распоряженія и стуколка...

Есть у насъ пріятель, который слыветъ между нами подъ именемъ «пустынника». Почему мы дали ему такое прозвище—объяснить не могу. Развѣ потому, что онъ любитъ прибѣгнуть къ славянскимъ оборотамъ рѣчи, а можетъ-быть, и потому, что въ дѣйствительности ничто такъ не противно его природѣ, какъ уединеніе. Человѣкъ онъ старый и одинокій, но еще до сихъ поръ сохранившій въ душѣ своей юношескую веселость и проказливость. Мы любили посѣщать его. Когда ни придите къ нему, у него всегда словно масленица: либо самъ пѣсни поетъ, либо соберетъ мальчишекъ да и заставитъ ихъ голосить, а самъ сидитъ на диванѣ и благодушествуетъ.

— Величай, душе!—дерутъ во все горло мальчишки.

— Преславнаго и пречестнаго!—подтягиваетъ имъ пустынникъ, и когда придется забирать голосомъ высоко, то вытянетъ шею и руки простретъ, точь-въ-точь какъ дѣлаютъ регенты.

И такимъ образомъ время проходитъ быстро, весело и для души невредительно.

— Не люблю, государи мои, не люблю одинъ оставаться: черти въ уединеніи посѣщаютъ!—говаривалъ онъ намъ, когда мы веселою толпой врывались въ его уединенную комнату. И потомъ, словно о чемъ-то задумавшись, прибавлялъ: — И по хлѣбѣ явился ему діаволъ... Вотъ и выходитъ, государи мои, что діаволъ-то завсегда намъ тайно соприсутствуетъ, ибо еще отцы наши выражались: веселіе есть Руси пити и ясти... Ахти-хти, грѣхи наши!

И дѣйствительно, такой страстной жажды общества, сопровождаемой безпримѣрнѣйшимъ гостепріимствомъ, рѣдко можно было встрѣтить. Бывало, чуть немного засидится безъ гостей, какъ ужъ бредетъ на балконъ и выглядываетъ оттуда, не видать ли гдѣ праздношатающагося, котораго можно бы залучить, накормить, напоить и утѣшить. И благо тому, кто, завидѣвъ издалека его приземистую фигуру съ распущенными по вѣтру волосами, послѣдуетъ влеченію сердца и, не оглядываясь по сторонамъ, пойдетъ прямо

сказать о себѣ: я вздыхаю, потому что во мнѣ играетъ сердце, потому что природа разыгрываетъ въ мою пользу постоянное увеселительное представленіе. Я вижу цвѣтокъ—и радуюсь; я внимаю пѣнію птички—и радуюсь; я слышу мычаніе осла—и радуюсь; все въ Божьемъ мірѣ манитъ и взираетъ на меня свѣтлыми очами, все говоритъ: живи и наслаждайся!

Но я имѣю дѣло съ міромъ огорченныхъ, съ міромъ людей трепещущихъ и скучающихъ. Они тоже вздыхаютъ, но ихъ вздохи желтые и пропитанные тлѣніемъ органическихъ остатковъ. Имѣть дѣло съ подобными вздохами почти невыносимо.

А другихъ вздоховъ нѣтъ. Странно измѣнился міръ Божій; уже не смотритъ онъ на человѣка свѣтлыми очами, не приглашаетъ его жить и наслаждаться. Подобно бурѣ, вырывающей съ корнемъ столѣтніе дубы и щадящей молодые, гибкіе побѣги, смерть прошла крыломъ своимъ по рядамъ человѣческимъ и посѣкла въ одинъ мигъ все, что считало себя навѣки несокрушимымъ. Валятся люди, а за ними валится цѣлый порядокъ явленій, валится цѣлая жизнь.

Лѣтописецъ минуты, я роковою силою осужденъ раздѣлять настроеніе ея. Міръ грустенъ—и я грущу вмѣстѣ съ нимъ; міръ вздыхаетъ—и я вмѣстѣ съ нимъ вздыхаю. Мало того, я приглашаю грустить и вздыхать вмѣстѣ со мною и читателя.

Изъ послѣдующихъ очерковъ онъ увидитъ, что сталось съ нашимъ провинціальнымъ «днемъ», этимъ днемъ, который еще столь недавно былъ днемъ веселія и утѣхъ.

I.

У пустынника.

Мы составляемъ особое общество, status in statu. Насъ не много: губернаторъ, губернскій предводитель дворянства, я, предсѣдатель казенной палаты, управляющій палатой государственныхъ имуществъ и жандармскій штабъ-офицеръ. Еще допускается къ намъ откупщикъ, потому собственно, что имѣетъ очень пріятное обхожденіе.

До тѣхъ поръ, пока мы не начали грустить, мы жили очень весело: днемъ распоряжались, а вечеромъ играли въ стуколку; но теперь это все перемѣнилось. Коли хотите, мы продолжаемъ и распоряжаться, и играть въ стуколку,

но на все это легла какая-то печать уныніи. Все идетъ машинально, безъ присказокъ, безъ острыхъ словъ, словно не сами мы все это дѣлаемъ, а играетъ и распоряжается въ насъ не порвавшійся еще процессъ нашего прежняго, веселаго существованія. Скоро онъ порвется, а съ нимъ вмѣстѣ порвутся распоряженія и стуколка...

Есть у насъ пріятель, который слыветъ между нами подъ именемъ «пустынника». Почему мы дали ему такое прозвище—объяснить не могу. Развѣ потому, что онъ любитъ прибѣгнуть къ славянскимъ оборотамъ рѣчи, а можетъ-быть, и потому, что въ дѣйствительности ничто такъ не противно его природѣ, какъ уединеніе. Человѣкъ онъ старый и одинокій, но еще до сихъ поръ сохранившій въ душѣ своей юношескую веселость и проказливость. Мы любили посѣщать его. Когда ни придите къ нему, у него всегда словно масленица: либо самъ пѣсни поетъ, либо соберетъ мальчишекъ да и заставитъ ихъ голосить, а самъ сидитъ на диванѣ и благодушествуетъ.

— Величай, душе!—дерутъ во все горло мальчишки.

— Преславнаго и пречестнаго!—подтягиваетъ имъ пустынникъ, и когда придется забирать голосомъ высоко, то вытянетъ шею и руки простретъ, точь-въ-точь какъ дѣлаютъ регенты.

И такимъ образомъ время проходитъ быстро, весело и для души невредительно.

— Не люблю, государи мои, не люблю одинъ оставаться: черти въ уединеніи посѣщаютъ!—говаривалъ онъ намъ, когда мы веселою толпой врывались въ его уединенную комнату. И потомъ, словно о чемъ-то задумавшись, прибавлялъ: — И по хлѣбѣ явился ему діаволъ... Вотъ и выходитъ, государи мои, что діаволъ-то завсегда намъ тайно соприсутствуетъ, ибо еще отцы наши выражались: веселіе есть Руси пити и ясти... Ахти-хти, грѣхи наши!

И дѣйствительно, такой страстной жажды общества, сопровождаемой безпримѣрнѣйшимъ гостепріимствомъ, рѣдко можно было встрѣтить. Бывало, чуть немного засидится безъ гостей, какъ ужъ бредетъ на балконъ и выглядываетъ оттуда, не видать ли гдѣ праздношатающагося, котораго можно бы залучить, накормить, напоить и утѣшить. И благо тому, кто, завидѣвъ издалека его приземистую фигуру съ распущенными по вѣтру волосами, послѣдуетъ влеченію сердца и, не оглядываясь по сторонамъ, пойдетъ прямо

туда, гдѣ ожидаютъ всѣ утѣхи, какихъ только можетъ пожелать самый прихотливый желудокъ.

— Не хотите ли зернистой икорки закусить? Мнѣ наши черноглазовскія дѣвки вотъ эко мѣсто въ презентъ прислали!—привѣтствуетъ онъ гостя, и тутъ же сряду дрожащимъ старческимъ голосомъ запоетъ:—Пріи-ди-те поклони-и-и-и-м-ся!.. Да балыкъ тоже преотмѣнный есть: это наши мужики изъ Полорѣцка презентовали!

И не пройдетъ получаса, какъ одно за другимъ переберутся всѣ произведенія глуповской природы во всѣхъ видахъ и со всевозможными приправами. Не пройдетъ получаса, какъ гость уже ощущаетъ себя и сытымъ, и глупымъ.

— Теперь бы вотъ поплясать гожо!—восклицаетъ пустынникъ:—я смолоду-то куда дерзокъ плясать былъ!

И вотъ призываются пѣсенники, шлются гонцы за новыми собесѣдниками, столъ уставляется новыми снѣдями и питіями, и зачинается пиръ-горой до самой ночи.

Увы! этому ликованію, этой вѣчной масленицѣ суждено было прекратиться!

На-дняхъ я посѣтилъ утромъ пустынника и былъ самымъ грустнымъ образомъ пораженъ происшедшею въ немъ перемѣной. По обыкновенію, онъ сидѣлъ на диванѣ и по обыкновенію же кого-то дрожащимъ голосомъ величалъ. Это тоскливое величаніе и прежде порой досаждало мнѣ; теперь же, какъ только я его заслышалъ, сердце мое сжалось, какъ бы томимое тяжкимъ предчувствіемъ. Дѣйствительно, закуски на столѣ не было: пустынникъ сидѣлъ и качалъ головой изъ стороны въ сторону, словно бѣлый медвѣдь, оторванный отъ родной стихіи и посаженный въ звѣринецъ. Казалось, даже лысина его потускнѣла.

— Что съ вами, пустынникъ?—спросилъ я его послѣ обычнаго привѣтствія.

— Скорблю!

Я посмотрѣлъ на него въ недоумѣніи. Грѣшный человѣкъ, я подумалъ сначала, что у него вышелъ весь запасъ свѣжей икры, что откупщикъ забылъ прислать ему обычную дань водки и пива, и эта догадка тоскливо подѣйствовала на мой желудокъ.

— Мятутся!—продолжалъ онъ, и вслѣдъ за тѣмъ въ грустно-минорномъ тонѣ запѣлъ:—И смятошася людіе...

Я все-таки не понималъ, хотя нельзя было сомнѣваться, что нѣчто произошло. Конечно, мнѣ не безызвѣстно было, что наше маленькое общество съ нѣкотораго времени про-

никлось гражданскою скорбью; но какое же дѣло до нея пустыннику? Пустынникъ—отрѣзанный ломоть отъ общества; пустынникъ самой природой такимъ образомъ устроенъ, что было бы у него вдоволь ѣства да пойла, да малахай шелковый, такъ не проймешь его никакой скорбью—это ясно! И вдругъ о чемъ-то скорбитъ и произноситъ отрывистыя и неподобныя рѣчи.

— Да что же случилось, пустынникъ?—спросилъ я.

Онъ, въ свою очередь, взглянулъ на меня, но въ этомъ взглядѣ виднѣлась скорбная иронія.

— Не велѣть ли развѣ рыбки подать? Мнѣ намеднись преотмѣнной изъ Песчанолѣсья прислали! — сказалъ онъ, но въ звукахъ его голоса слышался укоръ, и я даже явственно различалъ, что укоръ этотъ относится именно ко мнѣ, какъ будто онъ говоритъ: «малодушный человѣкъ! я знаю, что ты думаешь объ осетринѣ... въ такую горестную для отчизны минуту!»

— Да нѣтъ, позвольте же, зачѣмъ рыбки? Если въ самомъ дѣлѣ что-нибудь важное случилось, то можно и безъ рыбы... Скажите, что же случилось?

Онъ посмотрѣлъ на меня строго.

— Да что ты, сударь, смѣешься, что ли?

— Нѣтъ, не смѣюсь.

— Не знаешь, что ли, что дѣлается!

— Да что же такое, наконецъ?

— А вотъ, сударь, что! Приходитъ ко мнѣ сегодня одинъ изъ моихъ жеребцовъ стоялыхъ (пустынникъ называлъ такимъ образомъ своихъ дворовыхъ) и кланяется мнѣ... вотъ этакъ (пустынникъ кивнулъ головой съ невыносимымъ пренебреженіемъ)! Я на него смотрю и думаю: не въ горячкѣ ли малый, не очупется ли? Однако, нѣтъ: стоитъ какъ столбъ безчувственный.—Постой! что ты, дама, что ли?—спрашиваю я его.—«Нѣтъ, говоритъ, я не дама, а по вашему мнѣнію выходитъ — я жеребецъ стоялый!» Ну, ужъ меня, знаешь, и разбирать зачало, однако все терплю.—Что-жъ, говорю, коли ты не дама, зачѣмъ же такъ кланяешься?—Все еще, знаешь, мыслю, что онъ очунѣетъ... Хорошо. Только что-жъ бы, ты думалъ, онъ сдѣлалъ?—«А коли, говоритъ, мой поклонъ тебѣ не нравится, такъ и нѣтъ тебѣ ничего!» Повернулся хребтомъ-то, да и былъ таковъ! А? что? хорошо?

— Гм!.. да...

Я не зналъ, что отвѣтить пустыннику, но чувствовалъ,

что въ головѣ моей бродитъ не то мысль, не то ощущеніе, однимъ словомъ, нѣчто такое, что̀ можно бы формулировать словами: «эге! да это явленія одного и того же порядка!»

— Такъ вы думаете?..—сказалъ я вслухъ.

— Чего тутъ думать... оно!

— Гм!.. да... это оно!

Мы не объяснили другъ другу, что̀ значитъ это «оно»: мы поняли. Я вознамѣрился-было посѣтовать, высказать нѣсколько жалкихъ словъ, какъ это обыкновенно дѣлаютъ люди, которыхъ претензіи ограничиваются желаніемъ выпить и закусить, и которыхъ, вмѣсто того, заставляютъ ломать голову надъ какими-то проклятыми вопросами. Но пустынникъ оказался и рѣшительнѣе, и воинственнѣе меня. Онъ вскочилъ съ дивана и накинулся на меня съ такою неистовою яростью, что я одну минуту думалъ, что онъ растерзаетъ меня на части.

— Чего же вы-то, начальство, смотрите?—закричалъ онъ на меня, сверкая глазами.

Я поникъ головой.

— Вѣдь это зараза!—продолжалъ онъ, все болѣе и болѣе наступая:—вѣдь это чума!

Я почувствовалъ себя сугубо виновнымъ. Мнѣ не приходило даже въ голову сказать въ свое оправданіе стереотипную фразу: «да чѣмъ же я виноватъ?» — которою, по заведенному изстари обычаю, оправдываются всѣ птенцы бюрократіи. Мнѣ какъ-то вдругъ пришли на умъ всѣ пословицы, въ родѣ: «взявшись за гужъ, не говори, что не дюжъ», «люби кататься, люби и саночки возить» и проч. Я вдругъ почувствовалъ, что на мнѣ лежитъ какая-то отвѣтственность: что я долженъ былъ предугадать, предвидѣть, предозаботиться и предотвратить. Держа въ рукахъ своихъ милліонную частицу административной вожжи, имѣя право, въ милліонной части, рѣшить и вязать, я обязанъ былъ тянуть свою тягу, насколько ставало моихъ силъ. Если вожжа ослабла—слѣдовательно я не натягивалъ ее съ надлежащею заботливостью, слѣдовательно я не исполнилъ своего долга, слѣдовательно я былъ безъ оправданій.

Пустынникъ, казалось, понялъ, что во мнѣ происходитъ нѣчто очень тяжелое, и смягчился.

— Да ужъ не велѣть ли рыжичковъ подать? Мнѣ дѣвки мелконькихъ такихъ въ уксусѣ прислали!—сказалъ онъ ласково.

Но мнѣ было не до грибковъ. Чортъ знаетъ, что̀ бродило въ это время въ головѣ моей, но только, вмѣсто того, чтобъ отказаться и поблагодарить, я отвѣчалъ:

— А кто ихъ знаетъ, можетъ-быть, онѣ не дѣвки, а бабы!

Пустынникъ усмѣхнулся.

— Да ну ужъ, ну! велѣть, что ли? Вижу, все вижу. Обидѣлъ я тебя!

— Нѣтъ ужъ, увольте... Лучше потолкуемъ!

Я былъ смущенъ: мнѣ представлялась «зараза». Не могу опредѣлительно объяснить фигуру этого существа, но помню, что это было нѣчто похожее на громадное черное пятно, которое безобразно шевелилось передъ моими глазами, словно угрожая лечь мнѣ на грудь всею своею массой. Стало-быть, она поселилась вездѣ, коли проникла даже въ такое тихое пристанище, какъ домъ нашего милаго пустынника.

— Такъ потолкуемъ!—повторилъ я.

— Потолкуемъ!—отвѣчалъ онъ.

Но уста наши нѣмѣли. Было какое-то слово, которое, казалось, вертѣлось на губахъ, но оно словно застыло тамъ.

— Вотъ каково оно тяжко, — произнесъ, наконецъ, пустынникъ:—что даже словъ не измыслишь!

Что̀ за будущее представлялось воображеніямъ нашимъ! Сѣрое, неприглядное, покрытое бурьяномъ и колючками! Нужны мы или не нужны?—безпрестанно приходило на мысль. Или мы тотъ самый бурьянъ и есть, который предстоитъ настоятельная надобность скосить? Если мы бурьянъ, то какое же сдѣлаютъ употребленіе изъ насъ, подкошенныхъ? Отдадутъ ли на кормъ осламъ, или просто кинутъ въ навозъ? Если же мы не бурьянъ, то за что же, Господи, за что же?

Странное дѣло! Въ то время, когда наши души были полны скорби, въ саду, прилегавшемъ къ пустынникову дому, беззаботно чиликали птички. Для нихъ горизонтъ былъ чистъ и безоблаченъ; имъ не угрожала ни гласность, ни устность, ни уничтоженіе откуповъ; вокругъ нихъ природа оставалась неизмѣнною; вчера она радовала, насыщала и убаюкивала, и завтра будетъ точно такъ же радовать, насыщать и убаюкивать. Майскій солнечный день такъ и врывался въ комнату сквозь отворенную дверь балкона, врывался со всѣмъ своимъ влажнымъ теплomъ, со всѣми благоуханіями молодой, только-что распустившейся

флоры. Хорошо тамъ, въ саду; хорошо птицамъ, хорошо жучкамъ и мошкамъ, хорошо цвѣтамъ! Только человѣку скверно вездѣ: и на солнышкѣ, и въ тѣни, и въ саду, и на погребѣ; вездѣ преслѣдуетъ безотвязная дума, вездѣ насквозь прохватываетъ мысль о заразѣ...

Отъ представленія о человѣкѣ мысль моя невольно перенеслась къ представленію о губернаторѣ (привычка!). — «Если вообще человѣку не хорошо, то каково же должно быть губернатору?»—безпокойно спрашивалъ я себя.

«Расхитятъ! растащатъ! по кусочкамъ разнесутъ!» долженъ онъ ежемгновенно твердить себѣ, чтобъ не ослабнуть духомъ. Каково тутъ жить? Каково недреманнымъ-то окомъ всю жизнь глядѣть? Ну, а чѣмъ онъ, напримѣръ, виноватъ, если и въ самомъ дѣлѣ растащатъ? Развѣ онъ не человѣкъ? Развѣ не хочется ему и погулять, и выпить, и съ дѣвушками побаловать, и на птичекъ полюбоваться? Развѣ веснато не дѣйствуетъ на него?

— А чего вы смотрѣли, покуда у васъ злонамѣренныя мысли распространялись?—спросятъ его, быть-можетъ, строгіе цѣнители и судьи.

— А я, скажетъ, въ это время у Матрены Ивановны пирогъ съ грибами ѣлъ, ибо я тоже обязанъ и о соединеніи общества подумать.

— Правда. Ну, а гдѣ вы были въ то время, какъ у васъ въ Оковскомъ уѣздѣ нѣкоторый продерзостный нахалъ на полной сходкѣ утверждалъ, что словесное производство лучше безсловеснаго?

— А я въ это время у себя въ кабинетѣ на приговорахъ уголовной палаты «согласенъ», «согласенъ», «согласенъ» писалъ!

— Правда.

Такого рода разговоръ можно продолжать хоть до завтра, и, все-таки, въ результатѣ ничего иного не выйдетъ, кромѣ: правда, правда и правда.

Признаюсь, если бы я былъ губернаторомъ, я отнюдь не затруднился бы никакимъ вопросомъ. Я бы заранѣе для себя такой катехизисъ составилъ, въ которомъ начерталъ бы простодушные, но дышащіе истиной отвѣты на всевозможные вопросы.

Вопросъ. Это что?

Отвѣтъ. Не разорваться же мнѣ!

Вопросъ. А это что?

Отвѣтъ. А это правитель канцеляріи напуталъ!

Вопросъ. Ну, а это что?

Отвѣтъ. Гм!.. это? Помнится, что я посылалъ туда своего чиновника, а онъ ничего не сдѣлалъ! и т. д., и т. д.

Дѣла пошли бы у меня какъ по маслу, начальство было бы довольно, я былъ бы правъ, а обыватели славословили бы имя мое.

Размысливъ все это, я почувствовалъ себя облегченнымъ; идея объ отвѣтственности уже не лежала тяжелымъ камнемъ на сердцѣ; призракъ слабонатянутой административной вожжи не тревожилъ воображенія. Очевидно, весна подѣйствовала благотворно; я даже не прочь былъ отвѣдать грибковъ.

— Однако, вы несправедливы, пустынникъ, къ начальнику-то къ нашему!—молвилъ я, покоряясь новому порядку идей.

— Въ чемъ же, сударь?

— Намеднись я былъ у него по дѣламъ... Только, знаете, слово за слово—онъ мнѣ и открылся: «повѣрите ли, говоритъ, Николай Иванычъ, вотъ третій вицмундиръ приходится бросить съ тѣхъ поръ, какъ эти слухи пошли!» Такъ вотъ оно что!

— Что-жъ, потомъ, что ли, оно изъ него выходитъ?

— Смѣйтесь тамъ или не смѣйтесь, а что человѣкъ скорбитъ—это вѣрно!

— Гм!.. да... чай, расходъ на одёжу большой!

Мнѣ стало обидно и больно.

— Пустынникъ!—сказалъ я серьезно:—поймите, что это дѣло совсѣмъ не шуточное. Вѣдь мы всѣ, сколько насъ ни есть, должны будемъ, такъ сказать, сократиться... исчезнуть...

— Скорблю!—вздохнулъ пустынникъ.

— Вмѣсто того, чтобъ смѣяться другъ надъ другомъ, намъ надлежало бы соединиться!

— О семъ мечтаю и всечасно сего желаю!

— Вотъ у Ивана Николаича восемь дочерей-невѣстъ: вѣдь ему и съ дочерьми исчезнуть придется!

— Яко исчезаетъ дымъ, да исче-е-езнутъ!—затянулъ пустынникъ.

— Намеднись я у Семена Петровича былъ, онъ тоже говоритъ: что я съ этой устностью буду дѣлать?

— Куда прочіе, туда и онъ!

— Да вѣдь люди-то какіе!

— Люди отмѣнные!

— И всѣхъ вотъ словно холерой посѣкло! Вѣдь мухѣ зла не сдѣлали! Иванъ-то Николаичъ курицы въ супѣ не съѣстъ безъ того, чтобъ не сказать: «Вотъ, курочка, кабы не плотоядность человѣческая, клевала бы ты да клевала теперь по зернышку!»

— Что и говорить!

— А вы еще обвиняете!

— Постой! Я въ чемъ обвиняю? Я въ томъ, сударь, и обвиняю, что много въ васъ добродѣтели этой развелось... да! Возьмемъ хоть губернатора: сажаетъ это всякаго, руку подаетъ—пристойно ли? Нѣтъ, вотъ я съ предмѣстникомъ его хлѣбъ-соль важивалъ, такъ тотъ и слово-то молвитъ, бывало, такъ словно укуситъ, того гляди! Видъ-отъ одинъ дикій что̀ предвѣщалъ!

— Однако, какъ же руки не подать, согласитесь!

— Да такъ: не подавай да и шабашъ! Иной еще такой озорникъ выищется: ты ему руку подашь, а онъ на нее плюнетъ!

Признаюсь, это предположеніе совсѣмъ сшибло меня съ ногъ своею непредвидѣнностью. Во все время моей административной карьеры ничего подобнаго не приходило мнѣ на мысль—и вдругъ!

«А ну, если и въ самомъ дѣлѣ плюнетъ?»—подумалъ я.

Вся кровь во мнѣ закипѣла; я явственно слышалъ, какъ внутри меня разомъ поднялись тысячи голосовъ, которые кричали: въ острогъ! въ острогъ его!

— Такъ-то вотъ, сударь! Дѣло-то оно съ маленькаго начинается: тамъ посадишь, тамъ погладишь, анъ онъ ужъ и думаетъ, что и завсегда его сажать да гладить слѣдуетъ... Черти!

— Да вѣдь велѣно!—сказалъ я голосомъ, полнымъ отчаянія.—Кому бы охота, кабы не велѣно!

— А коли велѣно, такъ, стало-быть, и шабашъ!

Мы умолкли: часы заунывно простонали двѣнадцать. Странное дѣло! я еще не завтракалъ, а между тѣмъ былъ такъ сытъ, какъ-будто цѣлаго осетра одолѣлъ.

— Сколько добродѣтельныхъ людей чрезъ это самое погибнуть должны!—промолвилъ пустынникъ.

«Можетъ-быть, и я!»—подумалъ я.

«Можетъ-быть, и я!»—подумалъ пустынникъ.

Въ это время, неся подносъ и гремя тарелками, влетѣлъ въ комнату прислужникъ въ длинномъ кафтанчикѣ, на манеръ ополченскаго. На подносѣ красовались вещи знакомыя,

но вѣчно милыя: янтарный балыкъ, свѣжая икра, духовая осетрина, копченыя стерляди и проч.

— Ну, мы доздѣ побесѣдовали; теперь потрапезуемъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, ужъ увольте, я сытъ!

— Чѣмъ же сытъ? Развѣ у кого потрапезовалъ?

— Нѣтъ, ни у кого! Я... я просто сытъ...

— Гм!.. оно и вправду... какая нынче ѣда!

— Какая ѣда!—повторилъ я машинально.

— Не о хлѣбѣ единомъ... такъ-то!

— Прощайте, пустынникъ!

— Куда же?

— Да надобно бы... тово...

Я хотѣлъ-было сказать, что надобно бы распорядиться, но вспомнилъ, что все уже кончено, что зараза уже совершаетъ разъѣдающій кругъ свой—и замолчалъ.

— Нѣтъ, ужъ прощайте!

— Ну, прощай, сударь, прощай! Я-то съ своими справлюсь; вотъ вы-то, гражданскіе, какъ?

Я взялся за шляпу и спѣшилъ уйти. Слова пустынника давили меня; никогда еще я не понималъ такъ отчетливо, что все кончено; никогда будущее не представлялось мнѣ въ такомъ черномъ цвѣтѣ.

«Зараза!—думалъ я, возвращаясь домой:—зараза!»

И такимъ образомъ, погибая отъ думы, я пробылъ въ этотъ день не завтракавши.

II.

ОБѢДЪ.

Бьетъ четыре часа; дѣла покончены, пора обѣдать. Впереди еще остается цѣлый день, пустой и длинный день... Куда дѣваться? куда дѣваться такъ, чтобъ уйти отъ политическихъ соображеній, не слыхать политическихъ вздоховъ, не видать политическихъ взоровъ? Свиданіе съ пустынникомъ положительно разстроило меня. Представьте себѣ, что когда секретарь принесъ мнѣ къ подписи бумаги, то я вмѣсто своей фамиліи вездѣ подписался: «зараза», «зараза», «зараза»... Хорошо, если ни одна изъ этихъ бумагъ не отправлена по начальству, а то вѣдь отъ этихъ приказныхъ станется, что и нарочно пошлютъ — каковъ тогда срамъ!

Куда дѣваться? Дома оставаться нельзя, во-первыхъ, потому, что дома нечего дѣлать, а во-вторыхъ, и потому, что

мы положительно не привыкли къ уединенію. Какъ только останешься одинъ, такъ вотъ тебя и томитъ, такъ и сосетъ что-то: десятки да двойки въ глаза мечутся, нагія плечи, розовыя улыбки, французскія рѣчи—такъ и тревожатъ воображеніе... Правду говорилъ пустынникъ, что въ уединеніи черти посѣщаютъ...

— Не зайдете ли къ намъ отобѣдать?—вдругъ раздался подъ окномъ моимъ ласковый голосъ, и вслѣдъ затѣмъ показался украшенный брильянтовымъ перстнемъ палецъ, который легонько постукивалъ по стеклу.

И палецъ, и перстень принадлежали генералу Голубчикову. Разумѣется, я поспѣшилъ воспользоваться приглашеніемъ съ благодарностью.

Генералъ Голубчиковъ—тотъ самый предсѣдательствующій старецъ, у котораго восемь дочерей. Онъ любитъ и видимо ласкаетъ меня, потому что полагаетъ, что изъ этого выйдетъ гименей. Быть-можетъ, это предположеніе и не лишено основанія, однако я еще крѣплюсь: пускай, думаю, старикъ покопитъ!

Генералъ — очень маленькій и чистенькій старичокъ. Когда онъ бываетъ въ хорошемъ расположеніи духа, мы называемъ его мышинымъ жеребчикомъ, когда же въ мрачномъ (а это случается всякій разъ, какъ только зайдетъ рѣчь объ уничтоженіи откуповъ), то каримъ мериномъ.

— Господа, сегодня нашъ генералъ въ образѣ мышинаго жеребчика!—раздается въ одномъ концѣ комнаты, какъ только онъ войдетъ.

— Нѣтъ, онъ сегодня въ образѣ каряго мерина!—раздается въ другомъ концѣ.

И такимъ образомъ шутки идутъ не прерываясь, но шутки безобидныя, незлостныя, доказывающія лишь наше расположеніе къ милому генералу.

Увы! я не могу не сознаться, что съ нѣкотораго времени генералъ почти постоянно является въ образѣ каряго мерина. Глаза его тусклы, носъ какъ-то раздался вширь и вытянулся, словно хочетъ слиться съ мясистыми губами; въ звукахъ его голоса слышится нѣчто похожее на темное, разслабленное ржаніе; однимъ словомъ, по всему видно, что его насквозь пронизываютъ заботы о любезныхъ восьми дочеряхъ.

Какъ и всѣ мы, генералъ гостепріименъ, но въ немъ это гостепріимство усугубляется вѣчно присущимъ воспоминаніемъ о дочеряхъ. Милые птенцы! имъ необходимы развле-

ченія, имъ нужно общество, имъ нужны, наконецъ, женихи. Разсказываютъ, будто его зятьямъ не житье, а масленица. Я этому очень вѣрю. Я самъ, неоднократно обѣдая у генерала, замѣчалъ какихъ-то двоихъ господъ, которыхъ генеральша разъ навсегда рекомендовала мнѣ такъ: «мужья моихъ двухъ старшихъ дочерей» (эти дочери были выданы замужъ еще до возникновенія слуховъ объ уничтоженіи откуповъ). Господа имѣли видъ здоровый, ѣли за обѣдомъ съ двоякимъ аппетитомъ, и никто имъ въ этомъ не препятствовалъ ни косвенными взглядами, ни тонко брошеннымъ намекомъ на то, что вотъ, дескать, есть люди на свѣтѣ, на которыхъ и пропасти нѣтъ. Напротивъ того, мнѣ даже достовѣрно извѣстно, что этихъ господъ не только поятъ и кормятъ, но даже одѣваютъ, обуваютъ и обмываютъ. По этому случаю ихъ въ нашемъ обществѣ называютъ въ шутку «наемными мужьям

— Да поскорѣе!—весело торопилъ меня генералъ, покуда я облекался въ сюртукъ.—Вы, можетъ-быть, не слыхали еще, что сегодня у насъ по палатѣ распоряженіе получено, которое даетъ основаніе заключить, что откупа остаются на неопредѣленное время... Да!

— Ну, вотъ и слава Богу!—отвѣчалъ я также весело.

Съ одной стороны меня радовала мысль, что хоть на этотъ разъ я убѣгу отъ политики; съ другой стороны, я все-таки невольно говорилъ самъ себѣ: пускай старикъ покопитъ, пускай его!

Я вышелъ; мы поздоровались.

— Представьте, какъ все это неожиданно вышло: сидимъ мы сегодня въ палатѣ и по обыкновенію разсуждаемъ о томъ, что ожидаетъ впереди нашу матушку Русь православную, какъ вдругъ приходитъ пакетъ. Раскрываю—и что же, напримѣръ, вижу! «Снисходя, говоритъ, къ ходатайству грека Мерзоконаки, оставляемъ»... Ну, однимъ словомъ, оставляемъ, да и все тутъ!

Генералъ хихикнулъ, какъ будто его кто-нибудь нечаянно щекотнулъ пальцемъ подъ мышкой.

— Ну, и слава Богу!—повторилъ я.

— Я, впрочемъ, заранѣе зналъ, что это такъ будетъ! Да оно, коли хотите, и не правдоподобно! Не было еще примѣровъ въ исторіи, чтобъ правительство просвѣщенное добровольно отказывалось отъ такихъ полезныхъ сотрудниковъ...

— Да, объ нихъ именно можно сказать, что это истинные вѣрноподданные!

— Это такъ. Потому, живутъ смирно и никого не задѣваютъ!

— Мало того, что не задѣваютъ, но всегда, такъ сказать, на общую пользу стремятся!

— И это опять-таки именно такъ. Кто во время послѣдней войны неестественныя суммы съ явнымъ для себя ущербомъ, на торгахъ набавилъ?

— Мерзоконаки и Лампурдосъ!

— Кто нашего губернатора изъ бѣды выручилъ, когда вслѣно было женскія училища вездѣ заводить?

— Лампурдосъ и Мерзоконаки.

— Кто обществу угодилъ, когда оно постоянный театръ имѣть пожелало?

— Лампурдосъ, Лампурдосъ и Лампурдосъ!

— Какъ вспомнишь да соединишь все это въ одинъ фокусъ, такъ оно денегъ-то и многонько выйдетъ!

— Что ужъ и говорить!

— А вѣдь имъ тоже съ деньгами-то, чай, жаль разставаться! А вѣдь они даже вида этого не подадутъ, что жаль! А вѣдь у нихъ только и словъ, что «сейчасъ» да «съ нашимъ удовольствіемъ»! Самый, то-есть, кроткій, безотвѣтный народъ!

Такимъ образомъ, славословя Лампурдоса, мы дошли до самой квартиры генерала. Столъ былъ уже накрытъ, и насъ встрѣтила въ залѣ сама Прасковья Петровна, которая привѣтствовала меня самымъ утонченнымъ образомъ. За нею стояла Nathalie, та самая, на которую старики Голубчиковы наиболѣе разсчитывали въ отношеніи гименея. Я взглянулъ на нее, и такъ какъ былъ въ отличномъ расположеніи духа, то мнѣ опять пришло на мысль: пускай старикъ покопитъ, пускай!

Надобно сказать правду, что въ наружности Nathalie было нѣчто двойственное. Когда она имѣла основаніе надѣяться и, вслѣдствіе того, чувствовала себя счастливою, то была похожа на мать и могла нравиться; когда же сладкія надежды гименея покидали ее и будущее покрывалось чернымъ флёромъ, то была похожа на отца и нравиться не могла. Сколько разъ, бывало, видя ее въ этомъ послѣднемъ образѣ, я съ досадой восклицалъ: «охъ, ужъ этотъ мнѣ карій меринъ! Даже хамелеонство свое проклятое потомству передалъ!» Однако, дѣлать было нечего.

На этотъ разъ Nathalie была похожа на отца. Вообще съ нѣкотораго времени на всемъ домѣ генерала лежала

словно опала какая-то. Не говоря ужъ о немъ самомъ, все семейство его, очевидно, скорбѣло. Прасковья Петровна, несмотря на утонченную свѣтскость манеръ, предписывающую выказывать какъ можно больше равнодушія къ житейскимъ мелочамъ, безпрестанно прорывалась. То не донесетъ до рта ложки съ супомъ и съ крикомъ: «ахъ, это ужасно!» положитъ ее опять въ тарелку; то потянется, чтобъ достать соли, но на обратномъ пути почувствуетъ дрожаніе въ рукѣ и разсыплетъ свою ношу на столъ, и т. д.

— Хоть не ѣвши сиди! — говаривалъ мнѣ иногда генералъ съ полными слезъ глазами.

Да, политическіе кризисы ужасны; они возбуждаютъ чувства и уничтожаютъ аппетитъ. Но еще чаще бываетъ такъ, что аппетитъ остается прежній, а органы, долженствующіе служить ему, внезапно, вслѣдствіе какихъ-то нелѣпыхъ политическихъ соображеній, отказываются отъ исполненія своихъ обязанностей. Несноснѣе этого положенія ничего быть не можетъ. Человѣкъ, постигнутый такимъ несчастіемъ, постепенно линяя и выцвѣтая, дѣлается, наконецъ, способнымъ только ронять ножи и вилки, которые, какъ орудія ѣды, во всякое другое время могли бы доставить ему полное удовольствіе. Только во время глубокаго мира, когда политическій горизонтъ совершенно безоблаченъ, можно найти полную гармонію между аппетитомъ и чувствами; только тогда они пополняютъ и даже, такъ сказать, подстрекаютъ другъ друга; чувства рождаютъ новый аппетитъ, аппетитъ рождаетъ новыя чувства. Веселѣе и пріятнѣе этого положенія нельзя себѣ ничего вообразить.

— А я, ma chère, пріятную новость принесъ! — началъ генералъ.

— Ну, вотъ и прекрасно! А то, признаюсь вамъ, Николай Иванычъ, даже противно жить стало: кругомъ все только пошлости однѣ слышишь!

— Да вы спросите напередъ, какую новость-то! — сказалъ я, желая нѣсколько помучить генеральшу.—Вѣдь дозволено оглашать всѣ злоупотребленія... и съ именами, Прасковья Петровна, съ именами-съ!

— Да къ тому же и гласное судопроизводство вводится! — брякнулъ за мной генералъ, любезно подмигивая мнѣ.

Но генеральша не могла видѣть подмигиванія, потому что съ ней сдѣлалось дурно. Разумѣется, генералъ струсилъ и засуетился около нея: онъ безпрестанно хлопалъ ей по ладони и нѣжнымъ голосомъ ворковалъ на ухо.

— Ma chère, я пошутилъ! этого никогда не будетъ! Напротивъ того, откупа продолжены, а типографіи всѣ до одной закрыты!

— А!—слабо вскрикнула Прасковья Петровна.

Признаюсь, я не ожидалъ, чтобъ слово «откупъ» заключало въ себѣ такую магическую силу. Конечно, всѣ мы, члены великой отечественной консервативной партіи, чувствуемъ искреннюю преданность къ откупщику, но это все-таки не мѣшаетъ намъ сохранять нѣкоторый decorum въ выраженіи чувствъ нашихъ. Со стороны генеральши подобный поступокъ могъ быть объясненъ только силою материнскихъ чувствъ и деликатностью женскихъ нервовъ.

— Maman всегда такъ! Когда папа въ первый разъ получилъ извѣстіе, что откупщиковъ всѣхъ выгоняютъ, она по пяти разъ въ день въ обморокъ падала! — сфискалила мнѣ на ухо Nathalie.

«Какая, однако, милая дѣвушка!»—подумалъ я.

— Потому что вѣдь намъ нельзя,— продолжала Nathalie:—у papa денегъ не будетъ, если откупщиковъ выгонятъ.

«Ну, деньги-то у папа, пожалуй, и теперь есть!» — подумалъ я.

Между тѣмъ генеральша оправилась совершенно; она ужъ шутила и даже пребольно выдрала генерала за ухо за его неумѣстную выходку.

— И вамъ бы то же слѣдовало сдѣлать,— сказала она, обращаясь ко мнѣ: — да такъ ужъ и быть, на этотъ разъ я снисходительна.

Въ глазахъ ея я прочелъ: «прощаю тебя, но сдѣлай же милость, не медли: сдѣлай счастливою мою дочь!»

— Maman, вы, однакожъ, забыли, что къ папа письмо изъ Петербурга есть!—вступилась Nathalie.

— Ахъ, да, дѣйствительно, къ тебѣ есть письмо, Jean; enfants, apportez donc la lettre à papa!

Я совершенно согласенъ, что лучше, если бы этого письма совсѣмъ не было, но ужъ во всякомъ случаѣ было бы лучше, если бы оно пришло послѣ обѣда. Едва генералъ прочиталъ нѣсколько строкъ, какъ уже позеленѣлъ отъ верхняго края до нижняго; сердца всѣхъ присутствующихъ сжались болѣзненнымъ предчувствіемъ.

— Вотъ такъ штука!—сказалъ, наконецъ, генералъ какимъ-то унылымъ голосомъ, какъ будто всѣ внутренности его въ одну минуту отсырѣли.

Въ письмѣ было изображено:

«Нѣтъ сомнѣнія, что вы уже получили, почтеннѣйшій другъ, распоряженіе насчетъ продолженія откупной системы. Скажу безъ хвастовства: нужно было много ловкости, чтобъ при настоящемъ откупновраждебномъ настроеніи умовъ провести нашу мысль, однако, мы не пощадили ни трудовъ, ни издержекъ, и провели. Но не спѣшите радоваться, ибо радоваться въ наше время столь же несовмѣстно, какъ и мечтать о временахъ недавняго, но,—увы!—невозвратимаго отечественнаго благополучія. Едва успѣли мы покончить, какъ противная партія ударила уже въ набатъ. Что говорилось и писалось по этому случаю, того бумагѣ довѣрить не могу, однако, положа руку на сердце, скажу: уши вянутъ! Подобно злымъ и неотвязнымъ шавкамъ набросились школяры на нашъ проектъ и неистовымъ своимъ крикомъ (именно однимъ крикомъ) успѣли-таки поколебать величественное зданіе его.

«Мы стояли на твердой почвѣ и упирались въ казенный интересъ; противники наши приводили возраженія мечтательныя и опирались на требованія нравственности. «Нравственность,—говорили мы,—есть вещь второстепенной важности, когда дѣло идетъ объ интересѣ казны и славѣ любезнаго отечества» (вамъ должно быть по опыту извѣстно, почтеннѣйшій другъ, что слава безъ денегъ мертва есть).—«Интересъ казны,—возражали наши противники,—есть вещь второстепенной важности, когда дѣло идетъ о нравственности». И такимъ образомъ сговориться никакъ не могли, тѣмъ болѣе, что и самое преніе какъ бы о томъ только шло, чтобъ сказуемое на мѣсто подлежащаго поставить, а подлежащее на мѣсто сказуемаго. Все сіе было бы смѣшно, если бы не заключало въ себѣ, какъ въ зернѣ, зачатка самыхъ горькихъ послѣдствій. Границы россійскія, какъ вамъ извѣстно, обширны—войска требуется пропасть; народъ русскій многочисленъ и склоненъ къ увеселеніямъ—полиціи требуется пропасть; полиція, съ своей стороны, обладаетъ нѣкоторою игривостью нравовъ—губернаторовъ требуется пропасть... но всего и не перечтешь... Съ одной стороны обширность, съ другой лѣсистость и малообработанность—вотъ положеніе нашего любезнаго отечества въ финансовомъ, экономическомъ и административномъ отношеніяхъ! Донынѣ все это шло, все это удовлетворялось: обширность была обезпечена, лѣсистость уничтожалась, къ воздѣлыванію полей принимались мѣры. Откуда извлекались средства для всего этого?—спрашиваю я васъ. Откуда,

какъ не изъ откуповъ? Они представляли и для государства, и для общества убѣжище постоянное и непоколебимое: они изображали собой шкатулку, въ которую всякій достойный гражданинъ свободно запускалъ руку, безъ опасеній завязить ее. Тутъ была цѣлая государственная теорія, на мѣсто которой нынѣшніе мечтатели предлагаютъ что? Предлагаютъ нравственность?.. Скучно слушать! И тѣмъ не менѣе побѣдили! Откупа окончательно и безвозвратно уничтожены...

«Не могу по этому случаю не выразить моего искренняго соболѣзнованія о васъ и о всемъ вашемъ почтенномъ семействѣ. Знаю по себѣ, что подобные удары переносить не легко, но думаю, что упованіе на милость Божію и въ семъ крайнемъ случаѣ не оставитъ васъ. Оно одно»...

И т. д., и т. д.

Подписалъ: «Георгій Лампурдосъ».

Описать сцену ужаса и смятенія, которая произошла вслѣдствіе чтенія этого письма, я не въ силахъ. Скажу одно: лица у дочерей-невѣстъ вытянулись, и на лицахъ этихъ я очень явственно могъ прочесть, что женихи улетѣли. Наемные мужья, пользуясь общей суматохой, незамѣтно удрали. Генералъ, вдругъ преобразившись въ каряго мерина, шагалъ по комнатѣ и безпрестанно повторялъ, что жизнь есть обманъ. Генеральша, едва замѣтно вздрагивая ноздрями, возражала, что жизнь совсѣмъ не обманъ, а что, напротивъ того, дураки сами во всемъ виноваты.

— Представьте себѣ, Николай Иванычъ,—сказала она, обращаясь ко мнѣ:—даже въ дѣтяхъ эта зараза дѣйствуетъ! Намеднись, на балѣ у Пеструшкиныхъ, подходитъ мой Иванъ Николаевичъ къ сыну Шалимова, гимназисту, и хочетъ, знаете, по щечкѣ его потрепать... Только какъ бы вы думали, что этотъ мальчишка сдѣлалъ? Повернулся этакъ къ нему спиной, да и говоритъ: «я, говоритъ, съ вами незнакомъ, потому что вы откупа защищаете!»

— Ссс!..

— Нѣтъ, да каковъ клопъ! Вѣдь отъ земли не видать букашку, а туда же въ политику лѣзетъ!

— Скажите пожалуйста!

— Право! Какъ же теперь можемъ мы жаловаться, когда ужъ дѣтей своихъ не умѣемъ въ истинныхъ правилахъ воспитать! Когда мы сами вездѣ кричимъ: откупа гадость! крѣпостное право мерзость! Ну, и докричались!

— Я, ma chère, никогда ничего подобнаго не кричалъ!— отозвался генералъ.

— Ахъ, отстань, пожалуйста! Не о тебѣ и говорятъ!

— Я положительно отъ того терплю, что жизнь есть обманъ!—приставалъ генералъ.

— Да отстань же, сдѣлай милость! Развѣ кто-нибудь съ тобой споритъ?

— Я положительно утверждаю, что жить въ настоящее время не только гадко, но даже и не безопасно.

Генеральша пожала плечами.

— Взгляните въ микроскопъ на каплю воды — вы увидите, что инфузоріи съ жадностью пожираютъ другъ друга! Взгляните на нашъ человѣческій міръ даже безъ увеличительнаго стекла—вы увидите, что люди съ такою же жадностью пожираютъ другъ друга, какъ и безсмысленныя инфузоріи!

— Mais qu'est-ce qu'il a donc?—сказала генеральша, съ безпокойствомъ глядя на мужа.

— Я положительно удостовѣряю, что Лампурдосъ—подлецъ!—провозгласилъ генералъ торжественно.

Генеральша вскочила со стула и, вся перепуганная, устремилась къ мужу.

— Jean! что съ тобой, другъ мой?—сказала она.

— Грекъ Лампурдосъ—подлецъ, потому что лишилъ меня аппетита! Грекъ Лампурдосъ—подлецъ, потому что, не будь его поганаго письма, я былъ бы въ настоящую минуту счастливъ! Вотъ все, что я желалъ сказать.

Генералъ заплакалъ.

— За докторомъ! ради Бога, за докторомъ!—вскрикнула встревоженная генеральша.

— Меня ни одинъ докторъ лѣчить не станетъ!—продолжалъ жаловаться генералъ.—Мнѣ даже крошка Шалимовъ въ глаза сказалъ, что я ретроградъ... Да! О, если бы я былъ либераломъ! Я былъ бы теперь здоровъ, и всякій докторъ согласился бы лѣчить меня съ удовольствіемъ!

Генеральша металась; малыя дѣти взвизгивали и машинально хватались за фалды генерала, словно боялись, что онъ улетитъ... Смутно стало на душѣ моей. Съ одной стороны мнѣ представлялся вопросъ: неужели я и обѣдать сегодня не буду? Съ другой стороны, взирая на генерала, я невольно говорилъ самъ себѣ: ну, нѣтъ, братъ, копить ты ужъ больше не будешь!

— Кушать подано!—гаркнулъ въ это время лакей.

Никто не тронулся.

— La soupe est sur la table, maman! — робко подсказала Nathalie, которая, надо сказать правду, и въ мирное, и въ смутное время кушала съ одинаковымъ аппетитомъ.

Но генеральша такъ строго взглянула на дочь, что та навѣрное откусила себѣ языкъ.

Я увидѣлъ, что надеждамъ моимъ суждено разлетѣться въ прахъ, взялся за шляпу и поспѣшилъ уйти. На другой день весь городъ зналъ, что генералъ лишился разсудка, что онъ безъ умолку говоритъ какія-то странныя рѣчи, упоминаетъ о грекѣ Лампурдосѣ и грозитъ дѣтямъ, что если они будутъ дурно учиться, то онъ отдастъ ихъ въ ретрограды, а самъ останется въ либералахъ и будетъ носить бѣлый колпакъ.

III.

НА БАЛѢ.

Въ бывалыя времена, когда губернаторша желала повеселить себя и своихъ demoiselles, то просто говорила губернатору:

— Губернаторъ! что же ты не прикажешь откупщику балъ дать?

— Можно!—отвѣтствовалъ обыкновенно губернаторъ, и тотчасъ же посылалъ за откупщикомъ.

— Балъ?—вопрошалъ губернаторъ.

— Можно-съ,—отвѣтствовалъ откупщикъ.

И дѣло устраивалось легко, просто и умилительно. Губернаторъ оставался доволенъ, что онъ далъ возможность откупщику повеселиться; откупщикъ оставался доволенъ, что онъ хотя на нѣсколько часовъ могъ послужить въ нѣкоторомъ смыслѣ административнымъ орудіемъ для соединенія общества.

Нашъ глуповскій губернаторъ не дальнозорокъ (употребляю это слово не въ обидномъ для этого сановника смыслѣ, но просто желая выразить, что онъ близорукъ). Помѣщики знаютъ это и говорятъ: «это ничего»; чиновники знаютъ это и говорятъ: «это ничего»; наконецъ, мѣстные либералы знаютъ это и говорятъ: «это ничего». Для всѣхъ «ничего»— стало-быть очень хорошо.

Съ своей стороны скажу: это хорошо, именно потому, что это «ничего». Горе тому граду, въ которомъ «князь» юнъ, усерденъ по службѣ и не чуждъ разговоровъ о про-

грессѣ. «Князь» можетъ забрать себѣ въ голову, что онъ благонамѣреннѣйшій и образованнѣйшій человѣкъ, и чортъ знаетъ чего надѣлаетъ. Почнетъ кущовъ за бороды трясти, а помѣщикамъ реприманды дѣлать, почнетъ женскія гимназіи устроять, почнетъ заботиться о распространеніи обществъ трезвости... однимъ словомъ, учредитъ нѣчто въ родѣ временнаго землетрясенія.

Нашъ начальникъ края принадлежитъ къ такъ-называемой старой школѣ. Онъ управляетъ съ прохладою, любитъ поѣсть, попить и поврать съ барынями, о прогрессѣ же не имѣетъ никакого понятія. Зато чиновники боготворятъ его; зато помѣщики безпрестанно зовутъ его къ себѣ откушать; зато откупщикъ устрояетъ въ честь его обжорныя торжества и говоритъ на нихъ благодарственные спичи, въ которыхъ сравниваетъ его съ Минервою; зато землетрясенія—ни временнаго, ни постояннаго—у насъ нѣтъ и не бывало. Зато онъ пріѣхалъ къ намъ на губернію худенькій и мизерненькій, а въ два года отъѣлся такъ, что сдѣлался совершенной кубышечкой, и только послѣднія моральныя потрясенія возвратили его къ первоначальной худобѣ и мизерности.

На-дняхъ какъ-то губернаторша, по старой привычкѣ, обратилась къ мужу съ обычнымъ вопросомъ относительно устройства какого-либо увеселенія.

— Губернаторъ, — сказала она: — ты забываешь, душа моя, что откупщикъ ужъ третій мѣсяцъ ничего не дѣлаетъ!

— Мож...—отвѣчалъ-было губернаторъ, но потомъ спохватился и, махнувъ рукою, прибавилъ очень рѣшительно:— Нельзя!

— C'est inconcevable!—сказала губернаторша.

— Чего тутъ «inconcevable»!—запальчиво возразилъ губернаторъ.—Ты знаешь ли, сударыня, что за нами съ тобой нынче тысячи глазъ наблюдаютъ?

Въ это время маленькій Володя (сынокъ ихъ превосходительствъ) навелъ на maman свое зеркальце (на дѣтскомъ языкѣ это называется *устроить зайчика*), и отраженіе свѣта на минуту ослѣпило глаза ея. Губернаторша подумала, что это смотрятъ тѣ самыя тысячи глазъ, о которыхъ только-что упомянулъ губернаторъ.

— Во всякомъ случаѣ, хоть намъ самимъ да слѣдуетъ что-нибудь устроить!—сказала она.—Вѣдь это невозможно! Aglaé и Cléopatre (pauvres petites!) совсѣмъ никакихъ развлеченій не имѣютъ!

— Я самъ объ этомъ... да! надо положить конецъ этимъ распрямъ, надо соединить обѣ партіи! — пробормоталъ губернаторъ, какъ бы обдумывая нѣчто грандіозное.

— Ну, вотъ и прекрасно! Кстати же мы такъ давно не доставляли никакихъ удовольствій обществу!

Слово «партіи» не ново въ провинціи, но значеніе его на нашихъ уже глазахъ совершенно измѣнилось. Въ прежнія времена у насъ обыкновенно свирѣпствовали двѣ партіи: стараго предводителя дворянства и новаго предводителя дворянства. Обѣ партіи исключительно занимались тѣмъ, что объѣдали и опивали своихъ патроновъ и бушевали на выборахъ, кладя имъ шары направо, поднося имъ шары на блюдѣ и вообще оказывая самые разнообразные знаки всевозможной преданности. Тутъ борьба не имѣла никакого политическаго оттѣнка, тутъ дѣло шло единственно о томъ, кто кого перекормитъ. И, Господи, что за обѣды проистекали изъ этого благороднаго соревнованія! Петръ Петровичъ шесть недѣль спаиваетъ съ круга какого-то благороженнаго теленка; холитъ и ублажаетъ нѣкоторую необычайную свинью; бѣлые какъ снѣгъ поросята визжатъ и мятутся отъ желудочныхъ болей—слѣдствія неслыханнаго сбжорства... Партія Петра Петровича притаила дыханіе, взирая на эти приготовленія, и заботится только о томъ, чтобъ Иванъ Яковлевичъ какъ-нибудь не прозналъ о нихъ и не успѣлъ отразить ударъ чѣмъ-нибудь въ томъ же родѣ. Но Иванъ Яковлевичъ тоже не промахъ; съ помощью преданныхъ ему клевретовъ онъ зорко слѣдитъ за своимъ противникомъ, и въ то время, какъ тотъ торжествуетъ мысленно побѣду, онъ наноситъ ему ударъ въ самое сердце, посылая въ Москву за такою провизіей, о которой мудрецамъ глуповскимъ и во снѣ не снилось.

— Фазановъ! фазановъ! фазановъ!—кричитъ онъ восторженно и отъ нетерпѣнія даже подпрыгиваетъ.

И вотъ, чрезъ какой-нибудь день послѣ обѣда у Петра Петровича, гдѣ гости до оглупѣнія объѣдались неслыханными колбасами и чудодѣйственною телятиной, устраивается обѣдъ у Ивана Яковлевича, гдѣ гостямъ предлагаютъ фазановъ и тончайшее вино въ бутылкахъ съ золотыми ярлыками... Чудное время, гдѣ ты?

Мы, предержащія власти, а также тѣ изъ благоразумныхъ людей, которые находили для себя выгоднымъ равно уважать и Петра Петровича, и Ивана Яковлевича,—мы съ одинаковымъ рвеніемъ ѣли и у того, и у другого. Мы ѣли

и радовались, что въ отечествѣ нашемъ процвѣтаетъ гостепріимство, что въ отечествѣ нашемъ откармливаются неслыханныя свиньи, и что это не мѣшаетъ фазанамъ населять отечественные лѣса. Души наши ничѣмъ не возмущались, ибо мы были чисты; сердца наши стучали въ груди ровно, ибо мы были пьяны; понятно, какое благотворное вліяніе оказывало это обстоятельство на дѣла.

Увы! партіи остались, но это партіи, такъ сказать, голодныя. Нынче не ѣдятъ и не пьютъ, но разговариваютъ. Порою кажется, что міръ долженъ потонуть въ потокѣ словесъ, стоновъ и восклицаній. Завелись ретрограды, завелись либералы красные, умѣренные, завелись даже такіе люди, которые соглашаются и съ одними, и съ другими, и съ третьими, и надѣются пройти какъ-нибудь по серединѣ (не потомки ли это доблестныхъ мужей, которые, во времена оны, обѣдывали и у Петра Петровича, и у Ивана Яковлевича?). И странное дѣло! прежніе люди партій, встрѣчаясь въ обществѣ, все-таки подавали другъ другу руки и даже взаимно другъ у друга обѣдывали; нынѣшніе же не только взаимно не угощаются (и самимъ-то, видно, перекусить нечего!), но даже выказываютъ другъ другу совершенное презрѣніе, выражая оное шлепками, пощечинами и плеваніемъ въ глаза... Вотъ какъ ожесточилось человѣчество въ какіе-нибудь два года!

У насъ въ настоящее время двѣ партіи: ретрограды и либералы (разумѣется, умѣренные). Представителемъ первыхъ служитъ Сидоръ Петровичъ (сынъ Петра Петровича), представителемъ послѣднихъ—Эмманюель Иванычъ (сынъ Ивана Яковлевича). Чего хотятъ ретрограды, чего добиваются либералы—понять очень трудно. Съ одной стороны, ретрограды кажутся либералами, ибо составляютъ оппозицію; съ другой стороны, либералы являются ретроградами, ибо говорятъ и дѣйствуютъ такъ, какъ бы состояли на жалованьи. Повторяю: понять очень трудно. Если же захотѣть объяснить, какой смыслъ имѣетъ у насъ слово «оппозиція», то навѣрно въѣдешь въ такой дремучій лѣсъ, изъ котораго потомъ и дороги не найдешь. Скажу одно: если гнаться за опредѣленіями, то первую партію всего приличнѣе было бы назвать ретроградною либераліей, а вторую—либеральною ретроградіей.

Нашъ начальникъ края искренно сокрушался, взирая на всѣ эти раздоры.

— Ахъ, mon cher! — не разъ говаривалъ онъ мнѣ:—

мнѣ хотѣлось бы, чтобъ все это было полегче да потише...

Желаніе вполнѣ законное. По мнѣнію его, благосостояніе губерніи было бы нарушено, ибо благосостояніе это тогда́ только возможно, когда помѣщики совершенно довольны. Сколько положилъ онъ труда, чтобъ умирить враждующія стороны! Сколько истинно-сводническихъ способностей выказалъ онъ, перебѣгая изъ одного лагеря въ другой и успѣвая пошептаться à parte со всякимъ изъ враждующихъ членовъ! И все вотще! Члены, вмѣсто исполненія его желанія, показывали ему языки (да, нынче и это дѣлается!) и даже съ дерзостью замѣчали, что онъ суется не въ свое дѣло. Балъ представлялся послѣднимъ, крайнимъ средствомъ для сближенія враговъ.

— Если и послѣ того я не успѣю,—сказалъ начальникъ края:—тогда...

Онъ хотѣлъ сказать: «тогда выйду въ отставку», но запнулся и подумалъ: «тогда... я останусь на службѣ по-прежнему!»

Когда мы пріѣхали, балъ былъ въ полномъ разгарѣ. Волнующееся море танцующихъ пестрѣло самыми яркими и разнообразными цвѣтами; дамы граціозно колыхались; кавалеры нашептывали любезности и выдѣлывали такія па, которыя положительно доказывали, что они съ честью выдержали весь курсъ петербургскихъ шпицбаловъ. Въ одномъ углу интересная блондинка млѣла подъ звуки рѣчей мѣстнаго льва, Свербиллы-Замбржицкаго, который разсказывалъ, что вчера проигралъ въ стуколку послѣдніе пять цѣлковыхъ, что сегодня утромъ онъ успѣлъ изобличить во взяткѣ своего надсмотрщика и что однажды въ Петербургѣ въ него влюбились разомъ пять княгинь. Въ другомъ углу очень бойкая брюнетка спрашивала своего кавалера: «что вы зѣваете?» Танцующихъ обступила густая толпа праздныхъ зрителей, которыхъ довольныя лица, казалось, говорили:

— Эге! да вѣдь это все наши!

Хорошая вещь балъ, господа, но въ особенности хорошъ балъ въ провинціи. Онъ хорошъ тѣмъ, что служитъ какъ бы продолженіемъ нашихъ домашнихъ дѣлъ, что никто изъ насъ не передѣлываетъ себя по этому случаю, что всѣ мы находимся какъ бы въ семейномъ кружкѣ своемъ. Въ этой непринужденности отношеній есть своя особенная, неисчерпаемая прелесть. Хотя мы знаемъ другъ друга наизусть,

знаемъ всѣхъ этихъ женщинъ съ благоухающими плечами и цвѣтущими улыбками, но это не мѣшаетъ намъ видѣть другъ друга каждый разъ все съ новымъ и новымъ наслажденіемъ. Причина такого явленія, я полагаю, заключается въ томъ, во-первыхъ, что мы сами очень ужъ милы, а во-вторыхъ, въ томъ, что намъ не нужно много затрудняться и насиловать воображеніе, чтобъ найти предметъ для разговора. Предметы эти общи намъ всѣмъ въ равной степени, и хотя мало разнообразны, но зато прямо вытекаютъ изъ нашего существованія и потому затрогиваютъ насъ гораздо сильнѣе, нежели какой-нибудь вымученный разговоръ о преимуществѣ Тамберлика передъ Кальцоляри. Тѣ, которые распространяютъ мнѣніе о чопорности провинціальныхъ баловъ, тѣ или клевещутъ на провинцію, или не знаютъ сами, о чемъ говорятъ и пишутъ. Да, они не видали тѣхъ подмигиваній и улыбокъ, которыя пересылаются отъ одного конца залы въ другой; они не слыхали тѣхъ веселыхъ покрякиваній, которыми сосѣдъ сосѣду выражаетъ свою мысль. Что же касается до того, что на провинціальныхъ балахъ царствуетъ чинопочитаніе, то это и не можетъ быть иначе: чинопочитаніе существуетъ въ природѣ, а потому нѣтъ резона не быть ему и на балахъ.

Въ самыхъ дверяхъ залы я встрѣтился съ Сидоромъ Петровичемъ, и съ перваго же взгляда убѣдился, что предпріятіе нашего почтеннаго начальника края совершенно не удалось.

— Скажите пожалуйста, что̀ это съ вашимъ префектомъ сдѣлалось? Совсѣмъ, что ли, онъ голову потерялъ?—обратился ко мнѣ этотъ ретроградъ.

Сидоръ Петровичъ въ шутку называлъ всѣхъ вообще губернаторовъ «префектами», ибо стоялъ за selfgovernment, а централизацію признавалъ вреднымъ порожденіемъ наплыва французскихъ демократическихъ идей. Съ другой стороны, Эмманюель Иванычъ называлъ всѣхъ губернаторовъ «пашами», потому что былъ сторонникомъ самой строгой административной централизаціи и находилъ, что наше губернское учрежденіе есть горькій плодъ нашей древней азіатской распущенности.

— Развѣ что-нибудь случилось?—спросилъ я.

— Чего «случилось»! Онъ, кажется, вознамѣрился нынче потѣшить публику увеселительнымъ представленіемъ! Вообразите: вѣдь онъ выдумалъ сводить меня съ нашимъ доморощѐннымъ Лафайетомъ... да вѣдь такъ и толкается, такъ

и толкается! А тутъ ему сдуру Лампадниковъ взялся помогать: тотъ Лафайета на меня толкаетъ—чуть-было носы намъ не разбили! Изволите видѣть, это у нихъ называется примирять враждующія стороны!

— Вѣроятно, однакожъ, его превосходительство имѣлъ при этомъ въ виду какую-нибудь благонамѣренную цѣль...

— Да чортъ его дери съ его благонамѣренными цѣлями! Да какое намъ дѣло до его цѣлей!

— Однакожъ, согласитесь сами, Сидоръ Петровичъ, его превосходительство, какъ начальникъ края...

— Нѣтъ, да вы представьте себѣ: вѣдь такъ и толкаетъ! такъ и толкаетъ! «Позвольте, господинъ префектъ, говорю я ему, развѣ въ вашихъ instructions написано, чтобъ толкаться? Да вы за маленькаго, что ли, или за вашего adjoint или substitut меня принимаете?» Такъ вѣдь нѣтъ, не унялся: щекочетъ у меня подъ мышками да и полно! Насилу вѣдь освободился!

— Ахъ, какъ это непріятно! Куда-жъ вы теперь?

— Домой, батюшка, домой, и съ этой минуты на всѣ эти bals de la préfecture ни шагу! Нѣтъ, да каковъ, однако? Щекотаться выдумалъ!

— Послушайте, Сидоръ Петровичъ, вашъ отъѣздъ можетъ глубоко огорчить начальника края... Конечно, я совѣтовать вамъ не смѣю, но, съ своей стороны, полагалъ бы, что благоразумное снисхожденіе и, такъ сказать, покорность волѣ начальства...

Но я не успѣлъ кончить, потому что Сидоръ Петровичъ какъ-то странно обозрѣлъ меня съ ногъ до головы и тотчасъ же началъ спускаться по лѣстницѣ.

«Эге!—подумалъ я:—да какой же ты ретроградъ! Ты, братъ, либералъ, да еще какой—въ носъ бросится!»

Между тѣмъ въ кабинетѣ его превосходительства разыгрывалась другая исторія. Начальникъ края стоялъ посреди комнаты совершенно растрепанный и застѣнчиво выслушивалъ заносчивыя рѣчи Эмманюеля Ивановича. Гости сжались и притаились; нѣкоторые изъявили явное намѣреніе улизнуть, другіе попрятались къ сторонѣ, но ни одинъ не пикнулъ. Среди этой всеобщей тишины привольно было раздаваться громкому голосу нашего либерала.

— Вы обязаны были, государь мой, — кричалъ онъ:— предварительно освѣдомиться, пріятно ли будетъ *мнѣ... да, мнѣ!* а не подмигивать какому-нибудь баши-бузуку Лампадникову толкаться!

— Эмманюель Иванычъ! повѣрьте, я никакъ не думалъ, чтобъ вы такъ горячо приняли такое дѣйствіе, которое, въ сущности, заключало въ себѣ лишь желаніе примирить двухъ благонамѣренныхъ согражданъ и...

— Я, государь мой, ни съ кѣмъ не ссорился! Я имѣю свои политическія убѣжденія, а Сидоръ Петровичъ—свои! Мы можемъ оспаривать другъ друга, мы можемъ даже враждовать, но толкать себя никому не позволимъ! Jeu de mains, jeu de vilains; время нашей прошло безвозвратно, государь мой! Вы должны бы болѣе другихъ помнить и понимать, что мы живемъ въ цивилизованномъ государствѣ, которое нѣкогда имѣло во главѣ своей блаженной памяти государя императора Петра Великаго и которое мы имѣемъ честь и счастье называть своимъ отечествомъ!

— Но, повѣрьте...

— Извините, мнѣ здѣсь не мѣсто!

Сказавъ эти слова, Эмманюель Ивановичъ вышелъ, гордо потрясая головой. Зрители мгновенно вышли изъ оцѣпенѣнія и зажужжали, какъ шмели въ рою. Всѣ до одного выражали непритворное соболѣзнованіе о нашемъ добромъ начальникѣ, который за свое усердіе и благонамѣренность вознагражденъ столь пакостнымъ образомъ. Но начальникъ стоялъ блѣдный, приложивъ палецъ къ носу, и какъ бы въ забытьи повторялъ:

— Стало-быть, толкаться нельзя... славно!

— Мое почтеніе, ваше превосходительство!—сказалъ я, подходя къ нему.

— Здравствуйте! Вы слышали, что онъ говорилъ?

— Отчасти, ваше превосходительство; я пришелъ ужъ на самомъ кончикѣ...

— Да, у него отличный даръ слова! Я всегда утверждалъ и теперь утверждаю! Тотъ... Сидоръ... тотъ ничего! Поболталъ, поболталъ руками—и дѣло съ концомъ! А этотъ... орелъ!

Я смутился; я уже надѣялся, что во второй разъ буду свидѣтелемъ умственнаго разстройства.

— Онъ говоритъ, что толкаться не слѣдуетъ—это такъ!—продолжалъ, между тѣмъ, начальникъ края.—Но развѣ я толкался? Я просто хотѣлъ ихъ свести... я просто желалъ, чтобъ общество наше не помрачалось...

— Несомнѣнно, что цѣль вашего превосходительства была самая благонамѣренная...

— Не правда ли? Вѣдь я имѣлъ не только право, но и

обязанность такъ поступить? Вѣдь мое назначеніе какое? Мое назначеніе быть миротворцемъ, мое назначеніе—улаживать, соединять, предотвращать.... А онъ говоритъ, что я толкаюсь!

Но хотя мы всѣмъ хоромъ спѣшили подтвердить, что сводить людей еще не значитъ толкаться, гармонія была уже нарушена. Губернаторъ повѣсилъ носъ; губернаторша бросала окрестъ безпокойные взоры; губернаторскія demoiselles, танцуя, болтали руками, что̀ случалось съ ними лишь тогда, когда ихъ волновали политическія соображенія.

— Я бы этого стараго Манюшку (презрительное отъ «Эмманюель») за ноги повѣсилъ! Просто всю картину испакостилъ, подлецъ!—шепнулъ мнѣ на ухо тотъ самый Лампадниковъ, который помогалъ начальнику края примирять враждующія стороны.

— Я просто не знаю, что̀ дѣлать,—нашептывалъ мнѣ съ другой стороны начальникъ края:—правленіе губерніей сдѣлалось рѣшительно невозможнымъ!

— Я полагаю, ваше превосходительство...

— Вотъ вы увидите, что̀ они на предстоящихъ выборахъ надѣлаютъ!

— Я полагаю, ваше превосходительство, что относительно этихъ обывателей надлежитъ быть строже!—осмѣлился замѣтить я, возмущенный всѣмъ мною видѣннымъ и слышаннымъ.—Необходимо, чтобъ они всегда чувствовали руку надъ собой...

— Нельзя, mon cher!—отвѣчалъ онъ мнѣ рѣшительно.—Зайдите ко мнѣ завтра утромъ, и я объясню вамъ подробно, où nous en sommes!

— N'est-ce pas quel esclandre?—обратилась ко мнѣ губернаторша:—ces vieux grigous qui se donnent des airs!

— Ахъ, матушка!—прервалъ ее губернаторъ.

— Да помилуй, Nicolas!

— Ахъ, матушка!—вновь настаивалъ губернаторъ.

— Папасецка! ты навѣрное этихъ гьюбіяновъ въ тюйму посадишь?—сказала старшая губернаторская demoiselle, подлетѣвшая къ намъ въ эту минуту и имѣвшая обыкновеніе при постороннихъ картавить, какъ маленькій ребенокъ.

— Ахъ, матушка!—опять возразилъ губернаторъ.

Губернаторша и ея demoiselle спѣшили удалиться, потому что по опыту знали, что когда губернаторъ начнетъ говорить: «ахъ, матушка!» то изъ него ужъ ничего, кромѣ этихъ словъ, и не выбьешь. Въ этомъ отношеніи онъ нѣсколько

походилъ на попугая: вдругъ нападетъ на него стихъ говорить: «нельзя-съ»—ну, цѣлый день и говоритъ: «нельзя-съ»; въ другой разъ вздумаетъ говорить: «закона нѣтъ»—такъ и пойдетъ на цѣлый день: «нѣтъ закона». До такой степени зарапортуется, что даже когда докладываютъ, что кушанье подано, онъ все-таки кричитъ: «нѣтъ закона!»

— Ахъ, Nicolas, какой ты разсѣянный!—замѣтитъ, бывало, губернаторша.

— Ахъ, матушка!—возразитъ губернаторъ, и съ этой минуты, вмѣсто «нѣтъ закона», почнетъ пилить: «ахъ, матушка!»

Надо сознаться, что съ непривычки это крайне затрудняетъ сношенія съ нашимъ начальникомъ края, а незнакомыхъ съ его обычаями повергаетъ даже въ крайнее изумленіе. Я помню, одинъ эстляндскій баронъ, пріѣхавшій изъ-за двѣсти верстъ жаловаться, что у него изъ грунтового сарая двѣ вишни украли, даже страшно оскорбился, когда начальникъ губерніи, вмѣсто всякой резолюціи, сказалъ ему: «ахъ, матушка!»—и чуть ли даже не хотѣлъ довести объ этомъ до свѣдѣнія высшаго начальства.

— На что это похоже,—сказалъ онъ мнѣ:—у него ищутъ правосудія, а онъ: «ахъ, матушка!»

Но когда присмотришься къ людямъ, когда поймешь, что все это отъ незлобивости происходитъ, тогда все сдѣлается ясно, и въ сношеніяхъ никакой помѣхи происходить не будетъ.

Вокругъ по залѣ пронесся зловѣщій шопотъ. Пьеръ Уколкинъ, цвѣтъ и надежда нашей молодежи, весь взволнованный, переходилъ отъ одного гостя къ другому и таинственно передавалъ какую-то новость. «Телеграфическая депеша! телеграфическая депеша!»—слышалось всюду, и внезапно, вопреки всѣмъ приличіямъ, по угламъ образовались кружки, такъ что губернаторское семейство осталось совершенно одинокимъ по срединѣ залы.

— Да что тамъ такое?—спросилъ меня губернаторъ, встревоженный горькимъ предчувствіемъ.

Губернаторша озиралась во всѣ стороны; губернаторскія demoiselles съ изумленіемъ смотрѣли на мать, какъ бы говоря: maman, maman! да что-жъ мы не танцуемъ!

— Господа! ваше поведеніе крайне изумляетъ его превосходительство!—сказалъ я, подходя къ той группѣ, въ которой ораторствовалъ Пьеръ Уколкинъ.

— Шт... le gouverneur est flambé!—отвѣчалъ Уколкинъ.

Я не понялъ: я все еще думалъ, что рѣчь идетъ объ этой поганой исторіи между Сидоромъ Петровичемъ и Эмманюелемъ Иванычемъ, и поспѣшилъ выразить все мое изумленіе.

— Mais non, il ne s'agit pas de cela!—шопотомъ сказалъ мнѣ Уколкинъ:—je vous dis que le gouverneur est flambé!

Въ глазахъ у меня завертѣлись зеленые кружки. Съ одной стороны: «бѣдный старикъ!»—съ другой стороны: «чортъ возьми, нельзя ли какъ-нибудь мнѣ на его мѣсто?»—все это страннымъ образомъ перемѣшалось въ моей головѣ. Во всякомъ случаѣ, я былъ крайне смущенъ, ибо на мнѣ лежала тяжкая обязанность предувѣдомить обо всемъ губернатора. Къ счастью, ее добровольно принялъ на себя Лампадниковъ.

— Ваше превосходительство!—сказалъ онъ:—въ древности знаменитѣйшіе философы, будучи настигаемы ударами судьбы, вѣнчали себя розами...

Кругомъ оратора мало-по-малу образовалась толпа.

— Ваше превосходительство! отъ лица всего общества принимаю смѣлость выразить вамъ наше соболѣзнованіе!—вмѣшался Пьеръ Уколкинъ.

Губернаторъ все еще хлопалъ глазами.

— Vous n'êtes plus gouverneur!—шепнулъ я ему на ухо.

Губернаторъ не изумился, не заплакалъ и не закричалъ. Онъ только инстинктивно расшаркался и сказалъ:

— Честь имѣю поздравить!

— Mais qu'est-ce que c'est donc cela? mais qu'est-ce qu'ils ont, Nicolas?—приступала губернаторша.

— Честь имѣю поздравить!—повторилъ губернаторъ.

— Mais dites donc! mais dites donc!

— Честь имѣю поздравить!—неизмѣнно отзывался губернаторъ на всѣ приставанія.

Легко можно представить себѣ, въ какое положеніе были поставлены присутствующіе! Ясно, что танцы должны были прерваться, ясно, что ужинъ... При этой мысли волосы мои встали дыбомъ.

«Да вѣдь Лампадниковъ говоритъ, что въ древности философы вѣнчались розами,—думалъ я:—стало-быть»...

Но скоро сомнѣнія мои разсѣялись окончательно. Я собственными глазами увидѣлъ, какъ гости одинъ за другимъ брались за шляпы и незамѣтно исчезали.

— Какая неблагодарность!—шептала губернаторша, не объясняя, однакожъ, къ кому относятся ея слова.

— Честь имѣю поздравить!—отозвался губернаторъ.— А впрочемъ... увѣнчаемъ себя розами, какъ говоритъ Лампадниковъ! Эй, человѣкъ! шампанскаго!

Но зала была пуста.

— Честь имѣю поздравить!—въ послѣдній разъ уныло повторилъ начальникъ края.

— «Кумиръ развѣнчанный—все Богъ!»

—не безъ иронiи подумалъ я, надѣвая галоши:—однако поужинать такъ-таки и не удалось.

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Итакъ, мы не завтракаемъ, не обѣдаемъ и не ужинаемъ. Хотя я самъ отчасти дѣлаю то же самое, но порою, когда голодъ уже слишкомъ настоятельно даетъ себя чувствовать, въ голову мою невольно закрадывается сомнѣніе, дѣйствительно ли мы правы, поступая столь самоубійственнымъ образомъ?

Дѣйствительно ли намъ угрожаетъ опасность?

Дѣйствительно ли міръ погибаетъ подъ гнетомъ новыхъ идей, утопаетъ въ развратѣ реформъ и преобразованій?

Дѣйствительно ли въ воздухѣ пахнетъ фіалками, а не скотнымъ дворомъ?

Оглядываюсь кругомъ себя—и съ удовольствіемъ примѣчаю, что все обстоитъ благополучно. Правда, что появилось множество неслыханныхъ прежде промышленныхъ обществъ, но дѣйствія ихъ ограничивались доселѣ только невыдачею дивиденда простодушнымъ акціонерамъ. Правда, что старики вымираютъ или кротко стушевываются, но молодые, которые взлѣзаютъ на упраздненныя мѣста, отнюдь ихъ не хуже. Въ нихъ тотъ же запахъ, тотъ же вкусъ, та же закваска. Собственно отечество нисколько отъ того не теряетъ.

Скажу болѣе: отечество даже много выигрываетъ.

Мы, старики, смотрѣли на Божій міръ слишкомъ простодушно; мы не строили системъ, не добивались принциповъ; мы жили и дѣйствовали сплеча. Рѣшаясь на что-либо, мы справлялись только о томъ, такъ ли было поступаемо въ подобныхъ случаяхъ прежде; но почему поступалось именно такъ, а не иначе, почему Петръ всегда оказывался правымъ, а Иванъ всегда виноватымъ, почему добродѣтель и смиреніе служатъ украшеніемъ простолюдиновъ, а пороки и непокорливость, не украшая ихъ, служатъ

лишь къ огорченію начальства—всѣ эти вопросы, вся эта философія жизни ускользала отъ насъ. Мы благодѣтельствовали единственно по добротѣ сердца, и если были у насъ подъ руками рецепты на различные административные случаи, то это были рецепты, механически списанные изъ домашняго лѣчебника, безъ изслѣдованія причины цѣлительности ихъ свойствъ. Напротивъ того, молодое поколѣніе успѣло привести все это въ ясность, и тамъ, гдѣ мы говорили: «видно, такъ Богу угодно»—сумѣли доискаться до системы, а тамъ, гдѣ мы говорили: «самъ чортъ не разберетъ»—дорылись до принциповъ. Такимъ образомъ, хотя сущность осталась та же, что и прежде, но Иванъ уже знаетъ, почему онъ долженъ оставаться виноватымъ, а простолюдины не оставлены въ невѣдѣніи насчетъ того, что̀ именно должно считаться ихъ украшеніемъ и что̀—посрамленіемъ. Ясно, что жизнь сдѣлалась несравненно болѣе пріятною.

Конечно, нашъ милый грекъ Лампурдосъ справедливо выразился, что безъ системы нельзя, но онъ ошибся, сказавъ, что именно въ настоящее время мы живемъ безъ системы. Удостовѣряю его, что никогда «система» не сказывалась столь настоятельно, какъ въ настоящую минуту. Прежнія системы были не что̀ иное, какъ младенческій лепетъ передъ тѣми, которыя воздвигаются нынѣ.

Но важнѣе всего то, что мы не имѣли понятія о томъ, что̀ такое дисциплина, что̀ такое корпорація. Мы думали, что всякій изъ насъ можетъ дуть въ свою дудку, какъ ему угодно; мы свободно якшались съ суетными и неосвященными; мы охотно прохаживались съ ними по хересамъ, отнюдь не подозрѣвая, что это общеніе пріучаетъ ихъ смотрѣть на насъ какъ на простыхъ смертныхъ и поселяетъ въ нихъ вредную мысль о возможности кормить насъ современемъ подзатыльниками. Напротивъ того, истинный служитель системы всегда живетъ особнякомъ и сохраняетъ гордую неприступность; подобно идолу, онъ стоитъ гдѣ-нибудь въ углу, одѣтый сумракомъ; жрецы (правители канцелярій) сметаютъ съ него пыль, а обыватели только кадятъ и славословятъ—и ничего болѣе.

Такіе истинные служители только теперь нарождаются на Руси и, надо отдать имъ справедливость, понимаютъ свое дѣло отлично. Несмотря на молодость и неопытность, они сразу постигли, что галиматья, взятая сама по себѣ, есть вещь отличная, и что вся штука заключается въ томъ, чтобъ возвести ее въ перлъ созданія. Вотъ они и возводятъ...

Итакъ, галиматья осталась, но галиматья, возведенная въ перлъ созданія. Отчего же мы испугались, отчего потеряли аппетитъ, составлявшій доселѣ лучшее украшеніе нашей жизни? Я вамъ скажу—отчего.

Несмотря на дряхлость и истощеніе силъ, мы желаемъ жить. «Послужилъ бы, ей-Богу еще послужилъ бы!»—повторяемъ мы безпрерывно: до такой степени слова «жить» и «служить» сдѣлались въ нашихъ понятіяхъ синонимами. Привыкнувъ дѣйствовать всегда во имя личныхъ ощущеній, мы и на все происходящее въ мірѣ смотримъ въ силу этихъ же ощущеній. Если бы міръ разрушался, но насъ это разрушеніе не коснулось,—мы не почувствовали бы его, мы не ощутили бы ни озлобленія, ни негодованія. Но худо то, что міръ стоитъ, а мы разрушаемся. Это мы уже считаемъ дерзостью, и на все, что не валится кругомъ насъ, смотримъ какъ на посягателей, отнимающихъ наши лакомые куски. Отсюда стоны, раздирающіе воздухъ, отсюда вопли о вторженіи новыхъ идей, угрожающихъ будто бы смертью старымъ порядкамъ.

Исторія эта не новая. Всякій разъ, какъ какой-нибудь Иванъ Петровичъ сходитъ съ дѣятельнаго поприща и на смѣну его является Петръ Иванычъ, мы уже трясемся и надсаживаемъ себѣ грудь, крича, что послѣзавтра имѣетъ быть революція. Кто нашептываетъ намъ эту мысль, кто внушаетъ намъ такое обидное мнѣніе о Петрѣ Иванычѣ—мы и сами затруднились бы объяснить это; но несомнѣнно, что явленіе это повторяется безъ ошибки каждый разъ, какъ на горизонтѣ восходитъ новое свѣтило. Намъ и въ голову не приходитъ, что свѣтило это вовсе даже не свѣтило, а просто-на-просто новый милостивецъ, что ни сущность дѣлъ, ни теченіе ихъ нимало отъ того не измѣняются, и что вся штука ограничивается тѣмъ, что на мѣсто Ивана Петровича, покровительствовавшаго многочисленной династіи Трифонычей, поступилъ Петръ Иванычъ, покровительствующій не менѣе многочисленной династіи Сидорычей. А кто же и въ какія времена могъ уловить политическіе признаки, характеризующіе эти двѣ разновидности?

Трифонычи смѣняютъ Сидорычей, Сидорычи смѣняютъ Трифонычей—вотъ, благодареніе Богу, всѣ перевороты, возможные въ нашемъ любезномъ отечествѣ. Если такая перетасовка картъ можетъ назваться переворотомъ, то, конечно, нельзя не согласиться, что онъ совершается и на нашихъ глазахъ. Пожалуй, можно сказать даже, что въ

настоящее время онъ совершается сугубо, потому что на мѣсто старыхъ и простыхъ Трифонычей поступили Трифонычи молодые, сугубые, махровые.

Но вопросъ не въ этомъ; вопросъ въ томъ, слѣдуетъ ли изъ этой перетасовки заключать, что на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ стоитъ любезное отечество, будетъ завтра дыра?..

Соображая все вышеизложенное, я нахожу, что мы имѣемъ болѣе причинъ радоваться, нежели унывать. Что нужды, что насъ оттираютъ, а отчасти и умерщвляютъ? Мы обязаны въ этомъ случаѣ позабыть о себѣ и имѣть въ виду одно отечество. Если оно довольно, если преемники наши не только не отступаютъ отъ мудрой политики своихъ предковъ, но даже видимо оную совершенствуютъ— этого достаточно для успокоенія уязвленныхъ сердецъ нашихъ!

Итакъ, забудемъ наши горести и станемъ жуировать жизнью, въ надеждѣ, что доблестные потомки не посрамятъ именъ и дѣлъ доблестныхъ отцовъ своихъ. Благо тому, кто въ этой сладкой увѣренности можетъ встрѣтить тихій закатъ жизни своей! Благо тому, кто, взирая на рѣзвящуюся юность, можетъ безъ озлобленія сказать: «да, и я былъ молодъ! и я въ свое время проказничалъ!»

VI.—Литераторы-обыватели.

Пчелка златая,
Что ты жужжишь?
Все вкругъ летая,
Прочь не летишь?

Конечно, вамъ случалось, читатель, пробѣгать въ газетахъ и журналахъ послѣдняго времени различные «голоса» изъ всевозможныхъ концовъ Россіи: и изъ Рязани, и изъ Елабуги, и изъ Астрахани, однимъ словомъ, отовсюду, гдѣ только слышится человѣческое дыханіе. Вы, вѣроятно, замѣтили также, что характеръ этихъ «голосовъ», «впечатлѣній» и проч. совершенно не тотъ, какимъ отличались подобныя же литературныя произведенія, еще столь недавно находившія себѣ убѣжище въ «Московскихъ Вѣдомостяхъ». Въ нихъ уже не идетъ рѣчи о томъ, что вчерашняго числа въ городѣ N выпалъ градъ величиною съ голубиное яйцо, но повѣствуется преимущественно о предметахъ, близко касающихся нашего умственнаго и гражданскаго развитія; о градѣ же хотя и упоминается, но вскользь, и единственно для того, чтобъ заявить, что при

единодушныхъ усиліяхъ мѣстныхъ полицейскихъ властей и этотъ бичъ не могъ бы имѣть тѣхъ пагубныхъ для земледѣльца послѣдствій, съ которыми онъ сопряженъ въ настоящее время. Не говорится въ нихъ даже и о томъ, что такого-то числа въ городѣ Б., на бульварѣ, играла музыка бѣлобородовскаго пѣхотнаго полка, а господа офицеры наслаждались благопріятною погодой и очаровывали дамъ своимъ благонравіемъ; напротивъ того, если порою и встрѣчается разсказъ о какомъ-либо происшествіи подобнаго рода, то и музыка, и самая погода являются здѣсь дѣломъ побочнымъ; главныя же усилія автора направлены къ тому, чтобъ заявить, что во время музыки произведенъ былъ скандалъ, при чемъ прапорщикъ К*** ущипнулъ жену виннаго пристава («не сынъ ли это вышневолоцкаго готтентота?»—спрашиваетъ анонимный корреспондентъ).

Не знаю, какъ кого, а меня это явленіе очень радуетъ. Какъ человѣкъ благонамѣренный и современный, я съ удовольствіемъ взираю, какъ любезное наше отечество полегоньку выворачивается наизнанку. И не то чтобъ мнѣ нравился собственно процессъ этого выворачиванія, но я искренно убѣжденъ, что только благодаря ему наша изнанка въ непродолжительномъ времени перестанетъ быть скверною и дырявою, какою была до сихъ поръ, и съ помощью соединенныхъ усилій калужскихъ, рязанскихъ и астраханскихъ корреспондентовъ замѣнится хотя неизящною, но зато несокрушимою подкладкою изъ арестантскаго холста.

И дѣйствительно, многія уже заявленныя въ этомъ смыслѣ попытки самымъ отраднымъ образомъ убѣждаютъ меня, что если корни гласности горьки, то плоды ея отмѣнно вкусны и сладки. Такимъ образомъ, напримѣръ, слѣдя за «голосами изъ Рязани», я съ удовольствіемъ вижу, что городъ этотъ рѣшительными и быстрыми шагами изготовляется къ совершенству. Тамъ процвѣтаетъ женская гимназія; тамъ открыты воскресные классы и публичная библіотека; тамъ, въ Зарайскомъ уѣздѣ, благоденствовали общества трезвости, покуда извѣстный публицистъ и либералъ (по-русски: «свободный художникъ») Василій Александровичъ Кокоревъ (онъ же и мѣстный откупщикъ) своими очаровательными манерами вновь не приковалъ мужичковъ къ кабаку; тамъ, въ недавнее время, устроенъ бульваръ въ такомъ мѣстѣ, гдѣ со временъ Олега сваливался навозъ («куда же мы теперича навозъ валить будемъ?»—спрашиваютъ другъ друга

смущенные обыватели—не-литераторы); тамъ имѣетъ быть выстроенъ, стараніями откупщика, каменный театръ, и носятся даже слухи объ устройствѣ водопровода... Отдыхая сердцемъ на этихъ утѣшительныхъ извѣстіяхъ, я живо представляю себѣ и обывателей города Рязани, спѣшащихъ принесть свою лепту на общественное устройство, и душку-откупщика, устремляющагося выстроить не питейный домъ, какъ бывало прежде, а храмъ искусствъ, въ которомъ будутъ приноситься посильныя жертвы Таліи и Мельпоменѣ! И все это безъ малѣйшаго подзатыльника, безъ самоничтожнѣйшей административной затрещины, по одному только искреннему убѣжденію, что пора и намъ... тово... тово воно какъ оно! И я невольнымъ образомъ восклицаю: «ахъ! если бы можно было умереть въ Рязани!»

Но если хороша Рязань, то не дурна и Калуга. И въ ней съ большимъ рвеніемъ принимаются за анализированіе отечественныхъ нечистотъ, и въ ней болѣзненно звенитъ въ воздухѣ вопросъ о женской гимназіи, и въ ней идетъ усердная очистка улицъ и дѣятельно освобождаются площади отъ наслоившагося на нихъ навоза. Однимъ словомъ, все шло бы хорошо, если бы, нѣсколько мѣсяцевъ тому назадъ, не подпакостили шесть или семь молодыхъ прогрессистовъ, которые, явясь пообѣдавши въ театръ, неизвѣстно почему вообразили себѣ, что пришли въ баню и начали вести себя en conséquence. «Не дурно умереть и въ Калугѣ!»—размышляю я, ибо надѣюсь, что упомянутые прогрессисты потому только дѣйствовали столь безцеремонно, что были пообѣдавши, и что передъ обѣдомъ они парни смирные.

Меня до слезъ трогала полемика между селомъ Ивановымъ и Вознесенскимъ посадомъ. «Коварные вознесенцы!»—восклицалъ я, читая статейку ивановскаго обывателя. «Да куда же, однако, вы лѣзете, ивановцы!»—думалъ я, съ другой стороны, смакуя возраженіе обывателя вознесенскаго. И я до сихъ поръ не могъ уяснить себѣ, въ чемъ заключаются обиды и язвы, которыми преисполненъ этотъ знаменитый споръ двухъ муниципій, но лицамъ, имѣющимъ чувствительное сердце, не совѣтую читать относящіеся до него документы, такъ какъ чтеніе это можетъ довести до идеи о самоубійствѣ.

Вотъ сладкіе плоды гласности! Подобно лирѣ Орфея, она приводитъ въ движеніе утесы, въ гранитности которыхъ никто доселѣ не сомнѣвался, и заставляетъ плясать без-

словесныхъ, которые до настоящей минуты паслись по привольнымъ равнинамъ обширнаго нашего отечества. Подъ вліяніемъ тихаго ея вѣянья умственныя тундры нашихъ бюрократовъ населяются цвѣтами проектовъ и предположеній, а сердца обывателей воспламеняются неутолимою жаждой просвѣщенія и добровольныхъ пожертвованій. Подъ сѣнью ея весело засыпаютъ всѣ «Ивановы», «Батраковы», «Калужане», «Угличане», «Проѣзжіе», «Прохожіе», въ сладкомъ убѣжденіи, что и они не безполезные члены общества, что и имъ удалось пролить капельку въ обширную лахань родного преуспѣянія.

И если противники гласности указываютъ мнѣ на какой-то Краснорѣцкъ, гдѣ будто бы и до сихъ поръ, подобно вѣтру пустынь, рыскаетъ по улицамъ Рыковъ, сокрушая зубы попадающимся навстрѣчу обывателямъ, то я отнюдь не смущаюсь этимъ обстоятельствомъ. Во-первыхъ, разсуждаю я, свѣту истины не суждено проникать съ одинаковою легкостью во всѣ закоулки земного шара, и если существуютъ на свѣтѣ цѣлыя страны, погруженныя въ скверну исламизма, то почему же Краснорѣцку не быть погруженнымъ въ скверну зуботычинъ? Во-вторыхъ, если Рыковъ и дѣйствительно не внемлетъ спасительнымъ увѣтамъ гласности, то это составляетъ лишь частный случай, доказывающій, что голова Рыкова подобна каменоломнѣ, для разработки которой потребенъ желѣзный ломъ, а не гласность. И въ-третьихъ, наконецъ, что̀ значитъ мрачный скрежетъ зубовъ одинокаго Краснорѣцка передъ радостными кликами, раздающимися въ пользу гласности въ Пензѣ, Тамбовѣ и другихъ центрахъ отечественнаго просвѣщенія?

И не обращая болѣе вниманія на унылый Краснорѣцкъ, я съ сердечнымъ замираніемъ жду каждаго новаго нумера «Московскихъ Вѣдомостей». Изъ нихъ я узнаю, во-первыхъ, что у насъ въ городѣ Глуповѣ городничій совсѣмъ отъ рукъ отбился: на главной площади лежитъ кучами навозъ; по улицамъ ходятъ стаями собаки, готовыя растерзать всякаго indiscret; въ трактирахъ—вонь и мерзость; торгующее сословіе продаетъ втридорога и притомъ дурной товаръ; въ довершеніе же всего, на-дняхъ виденъ былъ на небѣ метеоръ, но никто не заблагоразсудилъ обратить на него вниманіе, ибо купцы и мѣщане въ это время ужъ спали, а городничій и прочіе аристократы играли въ карты. «Да, братъ, плохъ ты, совсѣмъ, старикъ плохъ! — обращаюсь я мысленно къ глуповскому городничему. — Пора

бы тебѣ въ отставку, да съ женой на печку спать!» Во-вторыхъ, я узнаю, что въ городѣ Нововласьевскѣ былъ предложенъ обществу вопросъ о женскомъ училищѣ, но общество оказало при этомъ не только равнодушіе, но даже невѣжество, соединенное съ тупоуміемъ; городничій, какъ урожденный насадитель просвѣщенія, простеръ-было десную свою, чтобъ учинить бородотрясеніе одному изъ ревнителей тьмы, но долженъ былъ остаться при одномъ намѣреніи, ибо общество единодушно оскалило зубы. «Да, братъ,— обращаюсь я мысленно и къ нововласьевскому городничему:—лѣтъ шесть тому назадъ, попытки твои, всеконечно, увѣнчались бы успѣхомъ: и бороды были бы вытрясены, и Нововласьевскъ не остался бы безъ просвѣщенія, а теперь вотъ... ахти-хти-хти!» И еще, наконецъ, узнаю, что въ окрестностяхъ города Ляказина ухаетъ въ болотѣ какая-то птица; что крестьяне въ одинъ голосъ говорятъ, что это ухаетъ лѣшій и предвѣщаетъ войну, а исправникъ и не думаетъ объ истребленіи этихъ предразсудковъ, какъ будто бы это и не его дѣло!

Прочитавши все это, я ощущаю спокойствіе во всемъ моемъ организмѣ. Я убѣждаюсь до очевидности, что нѣтъ уголка на Руси, который не имѣлъ бы своего пѣснопѣвца, карателя пороковъ и оградителя чистоты и невинности; что десница его оградитъ меня въ моихъ странствіяхъ и удержитъ станціоннаго смотрителя отъ отказа мнѣ въ лошадяхъ, если сіи послѣднія дѣйствительно находятся налицо, а не въ разгонѣ. Я сознаю себя безопаснымъ; я чувствую, что могу жить и дышать свободно; что если кровожадный откупщикъ отпуститъ мнѣ скверной водки, то не останется безъ обруганія; что если ночью на улицѣ нападутъ на меня собаки, то бдительный градоначальникъ выскочитъ изъ-за угла и не допуститъ растерзать меня; что если у меня въ домѣ случится пожаръ, то мѣстная пожарная команда распорядится мною и моимъ имуществомъ прежде даже, нежели я о томъ провѣдаю.

Вотъ сладкіе плоды гласности!—снова восклицаю я и, полный прочитаннаго, спокойно засыпаю себѣ съ «Московскими Вѣдомостями» въ рукахъ, а во снѣ, между тѣмъ, безчисленными группами возстаютъ передо мной все новыя и новыя родныя срамоты!

Не могу до сихъ поръ позабыть то ужасное, потрясающее дѣйствіе, которое произвело въ нашемъ родномъ городѣ Глуповѣ полученіе первой обличительной статьи, на-

правленной противъ нашего градоначальника. Погода въ этотъ день стояла тихая и радостная: дороги были въ самомъ исправномъ положеніи, и почта по этому случаю пришла необыкновенно рано, какъ бы сговорившись съ редакціей «Московскихъ Вѣдомостей», чтобъ сколь возможно неотложнѣе поразить нашъ городъ скорбью. Почтенный нашъ градоначальникъ, какъ нарочно, всталъ утромъ съ постели правой ногой и, будучи въ отличномъ расположеніи духа, отправился обрѣзывать сухіе сучья у недавно посаженныхъ имъ яблонь; супруга его, сидя на крылечкѣ, варила варенье изъ только-что поднесенной ей сочной и крупной клубники; маленькій Коля и крохотная Ляля прыгали и рѣзвились, поминутно перебѣгая отъ нѣжно любимой баловницы-матери къ строгому, но справедливому отцу.

— Мамаса! эту клубнику купецъ пьисьяй? — пищала суетливая, отъ природы надѣленная замѣчательнымъ хозяйственнымъ взглядомъ Леля.

— А вцеласнее сѣно папасѣ Иванъ Ѳомичъ пьисьяй!— задумчиво разсуждалъ Коля, заглядѣвшись на вкусныя пѣнки, накипавшія на вареньи.

- Мамаса! это за то, стобъ папаса Андьюску ихняго высѣкъ?—допытывалась рѣзвая Ляля.

— Цыцъ, пострѣлята!—отозвался нашъ градоначальникъ, вслушавшись въ долетавшіе до него отрывки невиннаго дѣтскаго разговора.—Уйми ты ихъ, сударыня! Этакъ они, пожалуй, при губернаторѣ сдуру ляпнутъ!

Однимъ словомъ, все здѣсь дышало идилліей, но не той приторно-сладкой идилліей, въ которой дѣйствующими лицами являются разрумяненные пастухи и пастушки, а нашею родною, отечественною идилліей, которая преимущественно избираетъ себѣ убѣжище въ самомъ сердцѣ полиціи (по пословицѣ: «невинное къ невинному льнетъ»), и въ которой замѣчается полное отсутствіе барашковъ (барашки эти, въ видѣ брюхастыхъ купцовъ и изворовавшихся мѣщанъ, обыкновенно пасутся тамъ, гдѣ кончается картина, а именно въ глуповскомъ гостиномъ дворѣ),—однимъ словомъ, идилліей, въ которой нерѣдко слышатся доносящіеся съ пожарнаго двора крики: «ай, батюшки, не буду!»

Но въ мірѣ всегда такъ бываетъ, что чѣмъ чище и непорочнѣе невинность, тѣмъ менѣе она пріобрѣтаетъ правъ наслаждаться плодами своей безукоризненности. Невинный ягненокъ едва успѣлъ подойти къ ручью, чтобъ утолить жажду, какъ на него уже наскакиваетъ хищный волкъ и

самымъ наглымъ образомъ придирается къ нему, что онъ мутитъ воду («а я совсѣмъ и не мутилъ!»—пищитъ ягненокъ). Въ рѣкѣ Нилѣ безпечно купается бѣдный мальчикъ, а изъ-за камышей уже стережетъ его крокодилъ. Въ городѣ Нововласьевскѣ нѣкоторый фабрикантъ, благодѣтельствуя своимъ меньшимъ братіямъ, дѣятельно выкупаетъ ихъ на волю, какъ вдругъ налетаетъ на него бюрократъ и какъ дважды-два—четыре доказываетъ, что товаромъ симъ спекулировать воспрещается («Ваше превосходительство! позвольте мнѣ двадцать тысячъ на общеполезное устройство пожертвовать!»—какъ бѣлуга реветъ фабрикантъ, силясь освободить попавшую въ капканъ лапу. «Изволь, братецъ»,—отвѣчаетъ его превосходительство). Тѣмъ менѣе долженъ былъ ожидать себѣ отъ судьбы пощады нашъ градоначальникъ, который, несмотря на чистоту своихъ побужденій, все-таки былъ менѣе невиненъ, нежели упомянутые выше ягненокъ, купающійся мальчикъ и нововласьевскій благодѣтельный фабрикантъ. И дѣйствительно, царствовавшая въ городническомъ домѣ съ утра идиллія была возмущена самымъ неожиданнымъ образомъ, и крокодиломъ на этотъ разъ явился уѣздный стряпчій.

Стряпчій вбѣжалъ прямо въ садъ, какъ говорится, словно съ цѣпи сорвался.

— Необыкновенная вещь! удивительная вещь!—во все горло кричалъ онъ, еще издали махая только-что полученнымъ нумеромъ газеты.

У градоначальника во рту сдѣлалось горько: ему представилось, что въ рукахъ у стряпчаго указъ губернскаго правленія о преданіи его за невинность суду, и вдругъ, не болѣе какъ въ нѣсколько секундъ, онъ пережилъ всю прежнюю жизнь свою.

— Что такое? что такое?—могъ онъ только проговорить, устремляясь навстрѣчу гостю.

— Вотъ ужъ подлинно гость хуже татарина!—ворчала, между тѣмъ, градоначальница, которая отъ испугу чуть-чуть не выронила изъ рукъ тазикъ съ вареньемъ.

— А вотъ-съ, прочтите-съ!—отвѣчалъ стряпчій, тыкая пальцемъ въ одно мѣсто развернутаго листа.

Въ этомъ мѣстѣ было изображено:

«Что сказать вамъ о нашемъ городѣ? Несмотря на всеобщее стремленіе къ преуспѣянію, у насъ оказывается полное равнодушіе къ общественнымъ интересамъ, а въ кругу нашихъ аристократовъ только и слышатся что толки о вче-

рашнемъ преферансѣ. Грустно! За доказательствами, впрочемъ, ходить не далеко. Въ недавнее время былъ въ нашемъ городѣ пожаръ; сгорѣли холостыя постройки при домѣ мѣщанки Залупаевой, и какъ бы вы думали, кто послѣдній явился на пожаръ? Стыжусь за свой городъ, но изъ уваженія къ истинѣ (amicus Plato, sed magis amica veritas) долженъ во всеуслышаніе объявить, что послѣднею прибыла наша пожарная команда, и притомъ прибыла въ то время, когда пожаръ былъ окончательно потушенъ усиліями частныхъ лицъ. Говорятъ, будто городничій былъ въ то время на пулькѣ у одного изъ нашихъ аристократовъ и не могъ оторваться отъ интересной игры; говорятъ, будто и пожарная команда была занята совсѣмъ другимъ дѣломъ... Мало ли что говорятъ! Поневолѣ вспомнишь описанный въ вашей многоуважаемой газетѣ пожаръ въ городѣ А**, во время котораго начальникъ губерніи дѣйствовалъ лично, и притомъ съ такимъ самоотверженіемъ, что у него обгорѣли фалды! А пора бы, кажется, и намъ!»

Туземецъ.

Когда нашъ градоначальникъ прочелъ эту рацею, окружающіе предметы внезапно исчезли изъ глазъ его и воздухъ наполнился зелеными струистыми кругами, которые то отдѣлялись другъ отъ друга, то снова сплывались. За ними, словно сквозь дымку, виднѣлась черная пропасть, изъ которой грозилось губернское начальство. Уничтоженный и ошеломленный, стоялъ онъ, выпустивъ газету изъ рукъ и ухватясь за фалды. Конечно, въ эту минуту онъ ничего такъ страстно не желалъ, какъ того, чтобъ глупыя его фалды сгорѣли до тла, и онъ уподобился бы тому герою, который прославилъ собою городъ А**.

— Что тамъ за глупость еще написана?—вступилась градоначальница.—Ляля! подай-ка сюда газету!

— Да-съ, пощелкиваютъ-таки нашего брата!—задумчиво замѣтилъ стряпчій.—Эта гласность, доложу вамъ, словно тля: разъ заведется,—такъ и съѣстъ поѣдомъ человѣка до тла!

— Да и вы хороши, разбѣжались смаху, точно и Богъ знаетъ радость какую принесли!—колко отозвалась градоначальница.—Это все, я думаю, учителишки накостятъ!

Голосъ дорогой супруги возвратилъ градоначальника къ сознанію горькой дѣйствительности, но этотъ возвратъ выразился въ немъ какъ-то безпорядочно.

— Желалъ бы я! желалъ бы я!—вдругъ вскрикнулъ онъ такимъ неестественнымъ голосомъ, что стряпчій затрясся и поблѣднѣлъ какъ полотно, а дѣти въ испугѣ заметались и, въ довершеніе всего, разразились самымъ неистовымъ плачемъ.

Вѣроятно, онъ имѣлъ намѣреніе выразить этимъ восклицаніемъ, что желалъ бы знать, кто былъ неизвѣстный составитель пасквиля, но по стиснутымъ кулакамъ можно было догадываться, что восклицаніе имѣло и другой смыслъ.

— Я тебѣ говорю, что это учителишки пакостятъ!—отозвалась градоначальница, которая одна не потеряла присутствія духа.

— Живъ не хочу быть, коли не изуродую!—вопіялъ градоначальникъ.

— А я бы на вашемъ мѣстѣ презрѣлъ-съ! — замѣтилъ стряпчій.

— Нѣтъ, ужъ это аттàнде! Истиннымъ Богомъ клянусь, что зубы въ пепелъ обращу!

— Еще неизвѣстно, какъ губернское начальство посмотритъ!—благоразумно увѣщавалъ стряпчій.—Съ слѣдующей же почтой запросца надо ожидать-съ!

— Ну, что-жъ, я такъ и отвѣчу, что распоряженіе сдѣлано!

— Ну, да-съ... а все-таки будто сомнительно! Нынче, Ѳедоръ Ильичъ, пасквилянты-то нѐ дòлу смотрятъ, а больше взодравши носъ ходятъ! Я съ своей стороны полагалъ бы не горячась, а исподволь... домашними средствами... черезъ часъ по ложкѣ...

— А чтò ты думаешь, вѣдь Иванъ-то Пахомычъ правду говоритъ!—замѣтила градоначальница.

— Сквозь строй жизненныхъ обстоятельствъ пропустить,— задумчиво пояснилъ свою мысль стряпчій:—чтобъ человѣка сего, такъ сказать, постепенными и неторопливыми мѣрами огня и воды лишить... Такъ-то-съ!

— Понимаю,—отвѣчалъ градоначальникъ.

— Напримѣръ, если этотъ человѣкъ имѣетъ привычку прогуливаться, можно неизвѣстныхъ людей на него напустить, которые, будто пьяные, могутъ легонько бока ему помять, а потомъ скрыться-съ!

— Понимаю,—сказалъ градоначальникъ.

— Ахъ, это безподобно!—воскликнула градоначальница.

— Или, напримѣръ, Яшку-вора научить, чтобъ онъ у того человѣка въ квартирѣ пошарилъ!

— Понимаю!

— Или, напримѣръ...

— Понимаю!—воскликнулъ градоначальникъ, переходя отъ уныніи къ восторгу и благодарно сжимая въ рукахъ своихъ обѣ руки стряпчаго.—Анна Петровна! водки и закусить!

— Такъ-то лучше будетъ!—задумчиво заключилъ стряпчій.

Выпивши и закусивши, градоначальникъ нашъ, по обычаю, отправился пѣшкомъ осматривать городъ, и глуповскіе мѣщане могли собственными глазами убѣдиться, что въ лицѣ его было что-то ангельское. Въ этотъ достопамятный день въ городѣ Глуповѣ не было разбито ни одной рожи, а торговля и промышленность внезапно процвѣли яко кринъ сельный. Пришедши въ лавку мясника Брадищева и увидѣвъ, что мясо покрыто не холстомъ, а грязной рогожей, градоначальникъ не полѣзъ на хозяина, какъ озаренный, но кротко и учтиво сказалъ, что говядина, любезный мой, по Своду Законовъ, должна быть чистымъ полотенцемъ покрыта. «Это не я, милый мой, говорю, а Сводъ Законовъ!»—На такую рѣчь Брадищевъ могъ лишь выпучить глаза, какъ бы говоря ими: «да что-жъ ты по зубамъ-то меня не бьешь?» Но и за всѣмъ тѣмъ градоначальникъ не воспользовался своимъ правомъ, а только вздохнулъ и отправился тихимъ манеромъ въ лавку мясника Усачева, гдѣ также дѣйствовалъ кроткими мѣрами убѣжденія.

На возвратномъ пути изъ обзора встрѣтился исправникъ, который, по всему было видно, поспѣшалъ къ Ѳедору Ильичу, чтобъ подѣлиться съ нимъ свѣжею новостью и сообща пособолѣзновать.

— Скажите, какая новость!—крикнулъ онъ ему съ дрожекъ, остановивъ на минуту ретивую пару кругленькихъ саврасокъ.

Но Ѳедоръ Ильичъ, не прекращая шествія, лишь улыбнулся кротко и махнулъ рукой.

— Да стойте же!—закричалъ ему вслѣдъ исправникъ.—На пулькѣ-то сегодня будете?

Градоначальникъ остановился и нѣсколько секундъ пребывалъ въ мучительной борьбѣ съ самимъ собою.

— Буду!—сказалъ онъ, наконецъ, рѣшительно и плюнулъ при этомъ въ сторону, какъ бы отбиваясь отъ дьявольскаго наваждения.

— То-то же,—присовокупилъ съ своей стороны исправникъ:—смотрѣть-то на нихъ нечего!

Вслѣдъ затѣмъ встрѣтился судья, который шелъ пѣшкомъ

и, по причинѣ тучности, до того запыхался, что, ставши лицомъ къ лицу съ градоначальникомъ, нѣкоторое время разводилъ только руками. Ѳедора Ильича нѣсколько покоробило.

— Скажите, какая новость!—проговорилъ, между тѣмъ, судья.

— А вамъ что̀ за дѣло? — со злобою отвѣчалъ городничій, и, отвернувшись отъ судьи, пошелъ своею дорогой.

Но не успѣлъ онъ пройти и десяти шаговъ, какъ изъ-за угла вскинулся на него почтмейстеръ.

— Скажите, какая новость!—кричалъ онъ, какъ-то странно всхлипывая.

— Экъ, васъ, чертей, развозило!—процѣдилъ сквозь зубы градоначальникъ, и потомъ, въ свою очередь наскочивъ на почтмейстера, не безъ азарта спросилъ:—Позвольте, Иванъ Максимычъ, вамъ что̀ отъ меня угодно?

— Помилуйте, Ѳедоръ Ильичъ... я ничего-съ... я собственно по чувству христіанскаго человѣколюбія-съ...

— Ну, такъ я вамъ вотъ что̀ скажу: когда про васъ будетъ въ газетахъ написано, что вы на почтовыхъ лошадяхъ по городу ѣздите, что вы съ почтосодержателей взятки берете, что вы частныя письма прочитываете... тогда я вамъ крендель пришлю! А теперь прошу васъ оставить меня въ покоѣ!

Сказавъ это, градоначальникъ почти бѣгомъ побѣжалъ до дому, и только тогда отдохнулъ душой, когда взялся за скобку двери.

Однимъ словомъ, въ средѣ нашей уѣздной аристократіи переполохъ былъ рѣшительный. Каждый изъ членовъ ея счелъ нужнымъ сойти въ глубину души своей и провѣрить свою служебную и даже домашнюю дѣятельность. Оказалось, что дѣло совсѣмъ дрянь выходитъ. Почтмейстеръ простеръ свою щепетильность въ этомъ отношеніи до того, что вдругъ почувствовалъ, будто въ квартирѣ его пахнетъ чѣмъ-то кисленькимъ, и въ ту же минуту приказалъ покурить вездѣ порошками. Окружный начальникъ сначала храбрился и не прочь былъ даже посочувствовать неизвѣстному корреспонденту, но потомъ, пошептавшись о чемъ-то съ исправникомъ, вдругъ поблѣднѣлъ и съ этой минуты началъ звонить во всѣ колокола, что это ни на что не похоже, и что этакъ, чего добраго, незамѣтно можно подорвать величественное зданіе общественнаго благоустройства. Одинъ исправникъ остался совершенно равнодушенъ къ общей

тревогѣ, и въ этотъ же вечеръ, обыгравъ, по обыкновенію, своихъ партнеровъ въ карты, съ самымъ убійственнымъ хладнокровіемъ произнесъ: «по мнѣ, лишь бы выигрывать, а затѣмъ милости просимъ!.. Хоть въ каждомъ нумерѣ!»

Вѣсть о посрамленіи городничаго дошла и до гражданъ города Глупова, но здѣсь эффектъ, ею произведенный, былъ совершенно особаго рода. Прежде всѣхъ, какъ и водится, узналъ городской голова, къ которому прямо отъ городничаго забѣжалъ стряпчій. Должно-быть, разсказъ стряпчаго былъ особенно умилителенъ, потому что голова, слушая его, совсѣмъ растужился.

— Ишь ты, что!—сказалъ онъ, когда стряпчій кончилъ.— Что-жъ теперича мнѣ-ка дѣлать?

— Да надо бы... тово...

— Опчество собрать, видно, надоть,—продолжалъ голова и жалобно вздохнулъ.

— Общество не общество, а именитыхъ.

Голова вновь вздохнулъ.

— Однако, какъ же это,—произнесъ онъ:—не въ примѣръ, значитъ, прочимъ?

— Ну, такъ что-жъ такое?

— Ничего-съ... я такъ только—къ примѣру, что опчество собрать, видно, надоть... Ничего-съ, можно-съ!

На скорую руку были собраны въ домъ головы именитые, къ которымъ хозяинъ держалъ рѣчь.

— Ну, именитые,—сказалъ онъ:—градоначальника нашего обидѣли... Богъ грѣхамъ терпѣлъ, царь жаловалъ, губерніи начальникъ благодарность объявлялъ, а песъ борзой облаялъ... поди́ткось!..

— Значитъ, смириться должо́нъ!—произнесъ одинъ изъ именитыхъ.

— Это, Ѳедоръ Аѳанасьичъ, значитъ, для смиренія ему Богъ послалъ,—произнесъ другой.

— Божьи дѣла судить намъ не приходится, — сказалъ голова: — а выраженіе отъ насъ по этому случаю потребуется!

Именитые переглянулись.

— Что́-жъ, именитые, почтить начальника въ горести, по мѣрѣ силы-возможности, есть каждаго долгъ и обязанность...

Молчаніе.

— Итакъ, возблагодаримъ Создателя!—произнесъ голова, вспомнивъ, что однажды начальникъ губерніи именно этими словами кончилъ рѣчь свою.

И вотъ какимъ образомъ «Московскія Вѣдомости» сдѣлались причиной, что нашъ градоначальникъ былъ въ этомъ году лишній разъ именинникомъ.

Въ этотъ же вечеръ, въ трактирѣ купца Босоногова, собрались всѣхъ шерстей приказные. Разговоръ, какъ и слѣдовало ожидать, шелъ объ афронтѣ, полученномъ городничимъ, но всѣ рѣшительно терялись въ догадкахъ насчетъ сочинителя этого афронта. Споръ шелъ горячій и оживленный: говорили и pro, и contra; находились защитники и у городничаго, но справедливость требуетъ сказать, что бо́льшая часть спорящихъ оказалась приверженною благодѣтельной гласности.

— Нельзя достаточно похвалить неизвѣстнаго корреспондента,—произнесъ секретарь уѣзднаго суда Наградинъ:—въ настоящемъ случаѣ онъ явилъ себя истиннымъ гражданиномъ.

— Лихо откаталъ городничаго!—отозвался столоначальникъ Благолѣповъ.

— Чего ужъ откаталъ: въ самое рыло угодилъ!—присовокупилъ секретарь магистрата Столпниковъ.

— Не объ откатаніи идетъ здѣсь рѣчь,—замѣтилъ Наградинъ:—ибо статья написана безъ излишествъ, и истина является въ пристойномъ ей одѣяніи. Достохвально то, что неизвѣстный корреспондентъ отважился взять на себя защиту правъ человѣчества противъ посягательства лица сильнаго и власть имѣющаго!

— Не могу, однакожъ, не сказать, что неизвѣстный поступилъ крайне неосторожно,—возразилъ секретарь полиціи Попковъ:—ибо городничій, какой бы онъ ни былъ, все-таки—установленная власть!

— Патрона своего защищаете, почтеннѣйшій?

— Нѣтъ, не патрона защищаю, а сужу дѣло по существу!

— Нѣсть власть, аще не отъ Бога!—вздохнувъ, сказалъ архиваріусъ Пульхеровъ и какъ-то тоскливо заглянулъ въ слѣдующую комнату, гдѣ на большомъ столѣ, въ симметрическомъ порядкѣ, красовались графины съ различными сортами водокъ.

— Противъ этого не возражаю, но не могу отъ себя не замѣтить, что и въ Писаніи не похваляются глупыя дѣвы, погасившія свѣтильникъ; въ настоящемъ же случаѣ градоначальникъ нашъ едва ли не уподобился означеннымъ глупымъ дѣвамъ.

При этихъ словахъ въ залу трактира вошло новое лицо; при появленіи его, собесѣдники значительно переглянулись, какъ будто бы всѣхъ ихъ озарила одна и та же мысль. И дѣйствительно, вошедшій былъ не кто иной, какъ учитель глуповскаго уѣзднаго училища, Корытниковъ.

— Иванъ Ѳомичъ! милости просимъ побесѣдовать!—радушно пригласилъ Столпниковъ.

Корытниковъ былъ еще молодой малый, только-что преодолѣвшій трудности гимназическаго курса. Поселившись въ Глуповѣ съ недавняго времени и имѣя слишкомъ ограниченныя средства жизни, онъ вообще рѣдко показывался въ обществѣ; но на этотъ разъ почему-то нашелъ нужнымъ измѣнить своей обычной нелюдимости и, войдя въ трактиръ, обнаружилъ особенную потребность къ душевнымъ изліяніямъ. Онъ выступалъ какою-то смѣлою, бойкою поступью и все его молодое лицо какъ будто свѣтилось улыбкою.

— Что, господа, не о сегодняшнемъ ли нумерѣ газеты разсуждаете?—спросилъ онъ.

— Вообще о гласности,—отвѣчалъ Наградинъ.—Желательно бы знать мнѣніе ученаго сословія на этотъ счетъ.

— А что, ловко статейка написана?—спросилъ Корытниковъ, котораго, повидимому, болѣе интересовало впечатлѣніе, произведенное статьею, нежели отвлеченныя разсужденія о послѣдствіяхъ гласности.

— Нечего сказать, лихо откаталъ неизвѣстный!—отозвался Благолѣповъ.

— Угодилъ въ самое рыло! — повторилъ Столпниковъ, которому, очевидно, понравилось это выраженіе.

Корытниковъ, смѣясь, пожалъ Столпникову руку.

— Я, господа, такъ разсуждаю, что настоящее время—самое благопріятное для гласности!—сказалъ онъ, становясь въ позу и незамѣтно впадая въ дидактизмъ. — Для Россіи наступаетъ, такъ сказать, эпоха очищенія. Потребность очищенія чувствуется повсюду: она разлита въ воздухѣ; она проникаетъ всѣ слои нашего общества; она до такой степени присуща всѣмъ намъ, что если я, напримѣръ, встрѣчаю на улицѣ подлеца, то не могу воздержать себя, чтобъ не высказать ему во всеуслышаніе, что онъ подлецъ!

— Не будетъ ли слишкомъ шибко?—возразилъ Столпниковъ, сомнительно посмѣиваясь.

— Нѣтъ, это будетъ только священною обязанностью со стороны каждаго гражданина, сознающаго свой долгъ въ отношеніи къ обществу! Я убѣжденъ, если всѣ мы будемъ такъ дѣйствовать и мыслить, то очевидно, что подлецамъ, негодяямъ и тунеядцамъ невозможно будетъ существовать на свѣтѣ! Единодушія, милостивые государи, единодушія требуетъ отъ васъ страждущее общество! И вы сами изумитесь, какъ скоро и какъ естественно воцарятся на землѣ добро и истина!

— И подлецовъ будутъ по рылу бить! — воскликнулъ Благолѣповъ, весело подпрыгивая.

— А учителя и архиваріусы будутъ господствовать!— задумчиво замѣтилъ Пульхеровъ, почесывая себѣ колѣнки.

Всѣ засмѣялись.

— Позвольте, господа!—отозвался Наградинъ:—заключеніе Ивана Ѳомича хотя и нельзя признать безусловно вѣрнымъ (ибо подлецы бываютъ тѣлосложенія различнаго, и не всякій изъ нихъ допуститъ сказать ему въ лицо слово истины!), но вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя и отрицать, что обличеніе, выраженное въ формѣ легкаго нравоученія, несомнѣнно должно принести пользу. Съ этой точки зрѣнія я не могу не радоваться, что и нашъ родной Глуповъ нашелъ своего дѣписателя.

— А что, вѣдь ловко статейка написана?

— И ловко, и благоразумно... нѣтъ недостатка въ словесныхъ украшеніяхъ, но нѣтъ и излишествъ...

Корытниковъ, при такой похвалѣ, весь вспыхнулъ отъ наслажденія.

— Однимъ словомъ, — продолжалъ Наградинъ: — если неизвѣстный сочинитель скрываетъ себя въ лицѣ вашемъ, то позвольте привѣтствовать васъ и поздравить съ успѣхомъ!

Наградинъ протянулъ руку Корытникову, а за нимъ и всѣ прочіе бросились поздравлять его. Со всѣхъ сторонъ посыпались восклицанія и радостные возгласы, при чемъ Столпниковъ не преминулъ въ третій разъ сказать:—«угодилъ въ самое рыло!» Одинъ Попковъ смотрѣлъ какъ-то сумрачно исподлобья.

— Вы угадали, господа, — сказалъ Корытниковъ взволнованнымъ голосомъ:—авторъ статьи, вызвавшей ваше сочувствіе, дѣйствительно я! Но не могу не оговориться при этомъ, что я дѣйствовалъ въ этомъ случаѣ не самъ собою; я былъ не что иное, какъ орудіе, выразившее общую потребность! Повторяю, господа, времена созрѣли! Умолчи

я, несомнѣнно нашелся бы другой, который, быть-можетъ, еще съ бо̀льшей рѣзкостью выразилъ бы чувства общаго негодованія! Такъ или иначе, но ка̀ра была неизбѣжна—таковъ непреложный законъ общественной Немезиды!

— Это справедливо! — выразился Наградинъ, какъ бы давая тѣмъ почувствовать, что и онъ не прочь бы попытать счастія на поприщѣ гласности.

— Стой, братцы!—воскликнулъ Благолѣповъ:—ужъ коли на то пошло, такъ и я... тово... рѣшился!

— Ура!—загремѣли присутствующіе.

— Давеча прочиталъ я статью Ивана Ѳомича, и вдругъ какъ будто свыше меня озарило! Думаю: катать, такъ катать... чѣмъ наша изба хуже городнической!

— При тебѣ?—лаконически спросилъ Наградинъ.

— При мнѣ-съ,—отвѣчалъ Благолѣповъ, робѣя.

— Послушаемъ,—сказалъ Наградинъ.

Благолѣповъ вынулъ изъ бокового кармана бумагу, откашлялся и совсѣмъ-было приступилъ къ чтенію, но вдругъ смалодушествовалъ и застыдился.

— Валяй!—поощрили присутствующіе.

Благолѣповъ началъ:

«У насъ судья очень хорошій человѣкъ. Тучности столь необыкновенной, что даже когда въ креслѣ сидитъ и ничего не дѣлаетъ, то и тутъ, по времени, столь запыхается, какъ бы верстъ тридцать не кормя сдѣлалъ. А фанты и онъ вынимать мастеръ».

Авторъ остановился.

— Продолжай!—сказалъ Наградинъ.

— Все-съ,—отвѣчалъ смущенный Благолѣповъ.

— Недостаточно,—сказалъ Наградинъ.

— Отдѣлки мало!—отозвался Корытниковъ.—Мысль есть, но не мѣшало бы, такъ сказать, округлить ее, чтобъ она являлась не въ наготѣ, а окруженная приличными аттрибутами!

— У меня еще другое есть написано-съ,—проговорилъ Благолѣповъ.

— Послушаемъ,—произнесъ Наградинъ.

«У насъ засѣдатели хорошіе люди»...

— Это можно измѣнить-съ,—сказалъ онъ, вдругъ остановившись.

— Ничего, продолжай!—сказалъ Наградинъ.

«У насъ засѣдатели хорошіе люди. Придутъ въ судъ и ковыряютъ въ носу, доколѣ секретарь не сунетъ въ руку

докладного и не заставитъ резолюціи переписывать. Одинъ, на-дняхъ, началъ съ оборота листа переписывать, и симъ образомъ весь докладной перепакостилъ»...

— А вѣдь это истинное происшествіе! — прервалъ Наградинъ, снисходительно улыбаясь.

...«и симъ образомъ весь докладной перепакостилъ. Другой, дабы избѣжать надзора секретаря, почасту выбѣгаетъ изъ присутствія въ сторожевскую и услаждаетъ свой вкусъ неприхотливой бесѣдой со сторожами и приводимыми арестантами. Прелюбопытно это видѣть, какъ они сидятъ на своихъ мѣстахъ, уткнувшись въ докладные, и, держа перья всѣми пальцами (на манеръ малолѣтнихъ), пыхтятъ и отдуваются, машинально списывая резолюціи съ заготовленныхъ нарочито лоскуточковъ, межъ тѣмъ какъ мысли ихъ заняты совсѣмъ не отправленіемъ суда, а предстоящими щами и кулебякой!»

— Тутъ есть уже фактъ,—сказалъ Наградинъ, между тѣмъ какъ присутствующіе единодушно смѣялись.

— И все-таки голо!—отозвался Корытниковъ.

— Помилуйте! отчего жѣ-съ? — возразилъ Благолѣповъ, нѣсколько обиженный.

— Обработки мало!

— Съ этимъ, конечно, нельзя не согласиться,—сказалъ Наградинъ:—но въ сравненіи съ первой статьей успѣхъ замѣтенъ.

— По мнѣнію моему, обѣ статьи слѣдовало бы соединить въ одну, и тогда, съ помощью нѣкоторой переработки, можетъ-быть, что-нибудь и выйдетъ! Если авторъ дозволитъ, это можно сейчасъ же.

И такъ какъ Благолѣповъ не возражалъ, то черезъ полчаса, благодаря Корытникову, статья явилась на судъ публики уже въ слѣдующемъ обновленномъ видѣ:

«Въ настоящее время, во всѣхъ концахъ Россіи, всѣ, даже самые отсталые люди, начинаютъ сознавать живую потребность въ судѣ правомъ и нелицепріятномъ. И дѣйствительно, что̀ можетъ быть святѣе, что̀ можетъ быть естественнѣе этой потребности? Но наши глуповцы и тутъ умудрились выдѣлиться изъ общей массы, жаждущей возрожденія! Справедливо гласитъ русская пословица: «не бойся суда, а бойся судьи»; мудрость этого изреченія намъ приходится испытывать на бокахъ нашихъ! Какъ бы вы думали, чьимъ рукамъ ввѣрены у насъ вѣсы Ѳемиды? Я не буду ни слова говорить о личныхъ качествахъ на-

шихъ «судей праведныхъ»... Богъ съ ними! Быть-можетъ, всѣ они хорошіе семьяне, подаютъ нищей братіи, неуклонно исполняютъ христіанскія обязанности — все это остается при нихъ! Но способны ли они, но имѣютъ ли они право судить подобныхъ себѣ?—вотъ вопросъ! Для разрѣшенія этого вопроса, позвольте мнѣ представить вамъ портретную галлерею нашихъ «судей праведныхъ». Предупреждаю: не ищите въ этихъ портретахъ остроумія—ищите одну истину, одну голую истину! Судья — отличный человѣкъ: тученъ до того, что даже когда, ничего не дѣлая, сидитъ въ креслахъ, то и тутъ, черезъ какихъ-нибудь полчаса, такъ запыхается, какъ будто не кормя во весь духъ тридцать верстъ проскакалъ. Не дурные люди и засѣдатели: придутъ въ судъ и слоняются изъ угла въ уголъ, покуда секретарь почти насильно не засадитъ ихъ за докладной и не заставитъ резолюціи переписывать. Казалось бы, работа не головоломная, но и тутъ бываютъ смѣхотворные случаи. На-дняхъ одинъ засѣдатель, переписывая съ черновой довольно длинную резолюцію, занимавшую двѣ страницы, что бы вы думали ухитрился сдѣлать? Началъ съ оборота листа, а кончилъ началомъ! И это бываетъ сплошь да рядомъ! А другой засѣдатель, чтобъ избѣжать надзора секретаря, безпрестанно, какъ школьникъ, бѣгаетъ въ сторожевскую, гдѣ проводитъ время въ разговорахъ со сторожами и арестантами. Вообще довольно любопытно заглянуть въ нашъ судъ и видѣть, какъ наши «судьи праведные» сидятъ за докладными и, пыхтя и потѣя, безсознательно списываютъ резолюціи съ листочковъ, на которыхъ онѣ предварительно пишутся секретаремъ, между тѣмъ какъ мысль ихъ «далече отстоитъ» отъ предмета ихъ занятій и поглощена исключительно щами и кулебякой, ожиданіемъ которыхъ уже съ утра раздражено ихъ воображеніе. Таковъ составъ нашего суда! Можно ли послѣ этого удивляться, что если бы не почтенный секретарь суда Р. Е. Н., то у насъ не только праваго, но и никакого суда не было бы. А фанты вынимать и наши судьи мастера!»

— Превосходно!—отозвались присутствующіе.

Наградинъ крѣпко пожалъ руку Корытникову и тутъ же заказалъ для всей компаніи пуншу.

— Я съ своей стороны на передѣлку согласенъ,—отозвался Благолѣповъ:—но зачѣмъ же вы опустили, что засѣдатели въ носу ковыряютъ?

— Это подробность, которая мало идетъ къ дѣлу,—отвѣчалъ Корытниковъ.

— Нѣтъ, я не могу съ этимъ согласиться! Нѣтъ, это не подробность, а, такъ сказать, занятіе ихъ жизни! Я требую, чтобъ это обстоятельство не было выпущено изъ вида!

— Что-жъ, Иванъ Ѳомичъ, можно потѣшить малаго! — снисходительно замѣтилъ Наградинъ.

— Я желаю, чтобъ было сказано такъ: «придутъ въ судъ и, *ковыряя въ носу*, слоняются изъ угла въ уголъ»...—настаивалъ Благолѣповъ.

Споръ былъ въ самомъ разгарѣ, когда появился пуншъ. Купецъ Босоноговъ, какъ бы въ ознаменованіе важнаго событія, превзошелъ самого себя, и по комнатѣ внезапно разлился тотъ острый запахъ клоповъ, который, по мнѣнію канцелярскихъ служителей, составляетъ непремѣнное условіе отличнаго пунша.

— Пожалуйте!—сказалъ Наградинъ, привѣтливо приглашая присутствующихъ.

— Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь!—произнесъ Пульхеровъ, вздыхая и почесывая себѣ колѣнки.

— Развѣ за здоровье гласности выпить!—отозвался Столпниковъ.

И вновь полилась шумная бесѣда, вновь полились словоизверженія, словопренія, словоизліянія... И вечеръ кончился бы прекрасно, если бы не подгадилъ предатель Попковъ. Когда ужъ было достаточно выпито, онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, началъ придираться къ автору.

— А вѣдь ты тово... ты, братъ, сквернословъ!—сказалъ онъ, обращаясь къ Корытникову.

— Господину Попкову, кажется, не нравится статья моя?—возразилъ Корытниковъ, нѣсколько пріосанясь.

— Да ты скажи, чему въ ней нравиться-то? Сквернословіе пополамъ съ пустословіемъ—вотъ и все!

При этихъ словахъ Корытникову сдѣлалось холодно, несмотря на достаточное количество выпитаго пунша. Только теперь онъ сообразилъ, что сдѣлалъ великую глупость, признавъ себя передъ Попковымъ авторомъ непріязненной городничему статьи.

— Я надѣюсь, однако, господа, что здѣсь сидятъ благородные люди, которые не употребятъ во зло моей откровенности!—проговорилъ онъ, нѣсколько заикаясь.

— Держи карманъ, «благородные»!—сказалъ Попковъ, язвительно усмѣхаясь.

— Да онъ не скажетъ!—успокаивалъ Наградинъ.

— Анъ скажу! отсохни у меня языкъ, если не скажу!— съ своей стороны увѣрялъ Попковъ.

— Послѣ этого, позвольте мнѣ возразить вамъ, господинъ Попковъ, что вы подлецъ!—сказалъ Корытниковъ, самъ не помня, что говоритъ.

— Ну, и пущай подлецъ!

— Позвольте, однакожъ, просить васъ...

— А коли подлецъ, такъ зачѣмъ у подлеца прощенія просишь?

— Я не прощенія прошу, я прошу...

— Нѣтъ ужъ, сказано: «подлецъ», такъ подлецъ и есть; слѣдовательно и неестественно тебѣ у подлеца прощенія просить!

Однимъ словомъ, Попковъ утвердился на томъ, что онъ «подлецъ», и нашелъ позицію эту столь для себя выгодною, что соединенныя усилія всей компаніи не могли вышибить его изъ нея.

Не могу сказать утвердительно, что произошло послѣ этого, но знаю, что въ скоромъ времени послышались звуки битой посуды, и купецъ Босоноговъ, для собственнаго своего спасенія, вынужденъ былъ преждевременно потушить свѣчи и дать знать въ полицію.

Цѣлую ночь, со связанными назадъ руками, провелъ Корытниковъ въ такъ-называемой сибиркѣ; на нарахъ, занимавшихъ почти все пространство тѣсной и душной каморы, въ которую онъ былъ брошенъ, во всю мочь храпѣла пьяная нищенка, а въ другомъ углу безпокойно метался парень, за полчаса передъ тѣмъ пойманный въ воровствѣ. Напрасно Корытниковъ протестовалъ, напрасно заявлялъ, что онъ учитель, напрасно бранился и угрожалъ: сторожъ сначала только посвистывалъ въ отвѣтъ на его протесты, а потомъ разостлалъ на полу шинель, перекрестился и, затушивъ ночникъ, преспокойно растянулся себѣ на полу.

Бываютъ минуты въ жизни, когда, несмотря на всю очевидность явленія, разсудокъ человѣка упорно отказывается вѣрить въ возможность происходящаго. Кажется, что все это видишь въ какомъ-то страшномъ бреду, въ какой-то горячечной тоскѣ, что вотъ-вотъ пройдутъ горячечные симптомы, и сама собой исчезнетъ эта невозможная, гнетущая обстановка. Игрокъ, окончательно проигравшій все свое состояніе, человѣкъ, сдѣлавшій подлость, въ которой тутъ же его уличили, господинъ, не привыкшій получать по лицу,

и получившій, бѣднякъ, у котораго украли послѣдній рубль,—должны именно находиться въ этомъ мучительномъ состояніи невѣрія очевиднымъ свидѣтельствамъ разсудка. Въ такомъ точно положеніи былъ и Корытниковъ. Сначала онъ еще находилъ въ себѣ довольно силы, чтобъ браниться и протестовать, но потомъ, когда сторожъ потушилъ свѣчу, когда камору вдругъ охватилъ со всѣхъ сторонъ густой мракъ, когда кругомъ воцарилась глубокая тишина, нарушаемая лишь безобразнымъ храпомъ пьяной бабы, когда окончательно исчезла надежда услышать откуда-нибудь живое слово, имъ овладѣлъ ужасъ и оцѣпенѣніе. Инстинктивно онъ еще продолжалъ изрѣдка стучать ногами отъ злобы и порывался разорвать веревку, связывавшую его локти, но потомъ опять стихалъ и такъ же инстинктивно началъ то плакать, то скрежетать зубами. Измученнаго физически и нравственно застало его утро.

Когда его привели въ полицію, градоначальникъ нашъ былъ крайне изумленъ и даже огорченъ.

— Ба! Иванъ Ѳомичъ! какими судьбами?—воскликнулъ онъ, простирая къ нему руки.

— Да вотъ, благодаря вашимъ сюррамъ... а быть-можетъ, и лично вамъ,— отвѣтилъ Корытниковъ, и вдругъ затрясся всѣмъ тѣломъ.

— Ахъ, что это за свиньи народъ!—въ отчаяніи закричалъ Ѳедоръ Ильичъ.—Ну, что прикажете съ такими анаѳемами дѣлать! Эй, кто тутъ есть, позвать ко мнѣ старшого!

— Прикажите, по крайней мѣрѣ, мнѣ руки на первый разъ развязать!—осмѣлился замѣтить Корытниковъ.

— Какъ, и руки связаны! Ну, скажите на милость!— счелъ долгомъ вновь изумиться Ѳедоръ Ильичъ.

Однимъ словомъ, оказалъ отеческую заботливость; назвалъ себя свиньею и старымъ дуралеемъ; извинился за полицейскихъ; извинился чуть не за всю полицію Россійской имперіи. Оказалось, что это было одно недоразумѣніе, происшедшее отъ того, что подлецы полицейскіе не наметались еще отличать людей образованныхъ отъ необразованныхъ. Попкову, какъ главному виновнику недоразумѣнія, была посулена отставка, при чемъ Ѳедоръ Ильичъ энергически погрозилъ ему кулакомъ.

Не стану описывать дальнѣйшихъ приключеній Корытникова; скажу, однакожъ, что программа стряпчаго была не только выполнена, но даже и украшена значительными присовокупленіями. Происшествія и такъ-называемыя исто-

ріи какъ будто взапуски ловили бѣднаго публициста; не успѣвалъ онъ освободиться отъ одного казуса, какъ изъза угла ждалъ его уже другой. Явились дѣвицы, которыя положительнымъ образомъ доказывали, что онѣ шли себѣ по ровному мѣсту, и шли бы благополучно такимъ манеромъ и до сей минуты, но, повстрѣчавшись съ Корытниковымъ, вдругъ оступились. Число этихъ оступившихся было такъ велико, что весь городъ отшатнулся отъ виновника столькихъ паденій, а городничиха даже отплевывалась каждый разъ, какъ при ней произносили фамилію Корытникова. Самъ начальникъ края усомнился и счелъ долгомъ пригласить къ себѣ на совѣтъ директора училищъ.

— Что это у васъ въ Глуповѣ... Донъ-Жуанъ какой-то... mille e tre!—сказалъ начальникъ края, кстати вспомнивъ фразу Лепорелло изъ Моцартова «Донъ-Жуана».

— Молодой человѣкъ-съ, ваше превосходительство! — отвѣчалъ директоръ, умильно осклабляясь.

— Однакожъ, все-таки! Александръ Македонскій былъ великій человѣкъ, но зачѣмъ же стулья ломать!—замѣтилъ начальникъ края, вспомнивъ кстати фразу изъ «Ревизора».

— Какъ прикажете, ваше превосходительство!

— Да я полагалъ бы покончить это домашнимъ образомъ... ха-ха!.. mille e tre! Я полагаю, всего лучше перевести его въ другое мѣсто... подальше отъ Дульциней!

И такимъ образомъ, en petit comité, былъ рѣшенъ вопросъ о переводѣ публициста Корытникова изъ города Глупова въ городъ Дурацкое-Городище.

Къ чести Корытникова я долженъ сказать, что несправедливость судебъ отнюдь не заставила его упасть духомъ и понурить голову. Проникнутый убѣжденіемъ въ святости своего гражданскаго назначенія, онъ съ легкимъ сердцемъ отправился въ Дурацкое-Городище, твердо увѣренный, что и тамъ найдется мѣщанка Залупаева, и тамъ найдется градоначальникъ, не брегущій о благосостояніи и здравіи пасомаго имъ стада.

Что, если бы Залупаевой не оказалось? Что, если бы градоначальникъ, вмѣсто того, чтобъ играть въ карты, непрестанно тушилъ пожары и ходилъ по городу не иначе, какъ съ обгорѣлыми фалдами? Что, если бы ни одинъ метеоръ, ни одна комета не проходили въ городѣ Глуповѣ незамѣченными? Что, если бы засѣдатели не ковыряли въ носу? Угомонилась ли бы тогда публицистская дѣятельность Корытникова? Произнесъ ли бы онъ тогда: «nunc dimittis»

и обмакнулъ ли бы обличительное перо свое, вмѣсто чернильницы, въ песочницу, въ знакъ того, что дальнѣйшее служеніе его обществу становится безполезнымъ?

Къ общему удовольствію всѣхъ «Проѣзжихъ», «Прохожихъ», «Калужанъ», «Угличанъ» и проч., отвѣтить на эти вопросы столь же мудрено, какъ и на то, когда бы кто, не шутя, спросилъ: что было бы, если бы русскій народъ не былъ мужественъ въ бояхъ, твердъ въ перенесеніи бѣдствій и великодушенъ въ счастіи? И въ самомъ дѣлѣ: «что было бы тогда?»—А чортъ его знаетъ, что бы тогда было!—отвѣчаю я, и нахожу, что отвѣтъ мой есть единственно приличный въ этомъ случаѣ. Что было бы, если бы русскій народъ и т. д.? Признаюсь, я даже не могу придти въ себя отъ потрясенія, произведеннаго во мнѣ этимъ непристойнымъ вопросомъ.—А что было бы, если бы ты ходилъ вверхъ ногами, а внизъ головой? А что было бы, если бы у тебя, вмѣсто двухъ глазъ во лбу, былъ одинъ на затылкѣ?—И я столь близко подхожу къ лицу вопрошающаго, что онъ блѣднѣетъ и въ то же мгновеніе проситъ меня извинить его.

Но если дико и непонятно кажется намъ сомнѣніе въ доблестяхъ нашихъ соотечественниковъ; если, съ одной стороны, не предвидится конца мужеству русскихъ въ бояхъ, твердости ихъ въ перенесеніи бѣдствій и великодушію въ счастіи, то, съ другой стороны, кто даетъ намъ право предполагать, что когда-нибудь умретъ мѣщанка Залупаева, а засѣдатели перестанутъ ковырять въ носу? Поистинѣ, никто!

Допустимъ, что вы живете далеко отъ Глупова, допустимъ, что вы лишены даже удовольствія дышать благорастворенным воздухомъ Дурацкаго-Городища. Что-жъ изъ этого? Не думаете ли вы, что вотъ такъ-таки и избавились и отъ Залупаевой, и отъ городничаго, приносящаго жертвы мамонѣ, а не современнымъ интересамъ? Ошибаетесь, мой милый! Вашъ родной Глуповъ всегда находится при васъ, и никуда не уйти вамъ отъ Дурацкаго-Городища!

Вы выходите на улицу. Вонъ бѣдный Ванька, съ заиндивѣвшею отъ мороза бородой и съ побѣлѣвшими щеками и носомъ; на улицахъ пустынно и тихо; ковыряющіе въ носу засѣдатели сидятъ себѣ въ теплѣ по домамъ и ѣдятъ пироги съ начинкой; нѣтъ сѣдока бѣдному Ванькѣ, и онъ со злобой настегиваетъ свою худую клячу, которая въ от-

вѣтъ на это помахиваетъ хвостомъ,—какъ-то учтиво, кротко, умиленно помахиваетъ. Этотъ Ванька—мѣщанка Залупаева; эта ободранная, избитая кляча—мѣщанка Залупаева! Вотъ, на базарѣ, принесла старуха-салопница продать поношенную и разрозненную пару шерстяныхъ носковъ; подходитъ служивый и предлагаетъ за товаръ девять копеекъ; что-жъ, цѣна, повидимому, хорошая, но старуха упрямится и проситъ двѣнадцать; съ одной стороны, кавалеръ готовъ въ ступѣ старуху истолочь, съ другой стороны, старуха не прочь горло кавалеру перервать — и все изъ-за трехъ копеекъ! Эта старуха—мѣщанка Залупаева! Этотъ кавалеръ—мѣщанка Залупаева!

Увы! міръ кишитъ Залупаевыми! Они ходятъ по бѣлому свѣту и съ бородами, и безъ бородъ, и въ паневахъ, и въ зипунахъ, и о двухъ ногахъ, и о четырехъ! Если вы любитель русской фауны и имѣете крошечку любознательности, то не стѣсняйтесь, сдѣлайте милость, пронзайте булавочкой всѣхъ этихъ Залупаевыхъ и, пришедши домой, насаживайте ихъ на листъ бѣлой бумаги—увидите, какая у васъ образуется коллекція!

А городничіе, поклоняющіеся мамонѣ? А засѣдатели, начинающіе переписывать съ оборота листа? Ужели изсякнетъ родникъ ихъ? Да чѣмъ же тогда будетъ сладка наша жизнь? Чѣмъ будетъ сдабриваться наше горькое существованіе? Воображаю я себѣ, если бы нашъ (не глуповскій, а полоумновскій) Ѳедоръ Ильичъ не заигрывался до запоя въ карты и не наѣдался до отупѣнія золотыми стерлядями, вытаскиваемыми изъ орошающей наше отечество рѣки Большой-Глуповицы... Господи! что̀ бы это было! Во-первыхъ, чело Ѳедора Ильича навѣки задернулось бы непроницаемымъ мракомъ начальническаго всемогущества; во-вторыхъ, онъ съ утра о томъ бы только и думалъ, какъ бы кого-нибудь оборвать, какъ бы сокрушить кому-нибудь зубы! Коли хотите, это былъ бы своего рода Катонъ, но намъ едва ли пришлось бы отъ этого легче. Нѣтъ, я рѣшительно держу сторону Ѳедора Ильича въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представляется мнѣ au naturel! По крайней мѣрѣ, теперь я знаю, что и онъ не изъятъ своего рода слабостей, и слѣдовательно, какъ человѣкъ, снизойдетъ и къ моимъ прегрѣшеніямъ. По крайней мѣрѣ, теперь я знаю, что наступитъ вечеръ, зажгутся въ квартирѣ исправника огоньки, Ѳедоръ Ильичъ весь углубится въ карты—анъ Глуповъ-то и поотдохнетъ мало-мало!

Messieurs! сознаюсь откровенно, я человѣкъ слабый и терпѣть не могу Катоновъ, которые прутъ впередъ, сами не зная куда! Я понимаю русскаго человѣка, который расшибетъ своему ближнему носъ, да тутъ же и водочки поднесетъ, и я понимаю русскаго человѣка, которому расшибутъ носъ и въ то же время водочки поднесутъ. Кулакъ, разсматриваемый съ этой точки зрѣнія, утрачиваетъ свою свирѣпую, искаженную злобой физіономію и принимаетъ въ моихъ глазахъ какое-то благодушное, почти ангельское выраженіе.

Итакъ, мы логическимъ путемъ приходимъ къ тому заключенію, что всякое сомнѣніе въ неизсякаемости Залупаевыхъ и засѣдателей должно быть устранено. Но, съ другой стороны, передо мной возникаетъ новый, не менѣе важный вопросъ: возможно ли, естественно ли при такой обстановкѣ не сдѣлаться публицистомъ? Я замѣчаю, что разсужденія увлекли меня слишкомъ далеко, и что я, самъ того не подозрѣвая, попалъ, такъ сказать, въ самое сердце болота, составляющаго предметъ настоящей статьи... О, Боже! что это за удивительное болото! и какъ должно трепетать сердце охотника, взирающаго на неоглядныя глазу равнины его! Сколько на немъ кочекъ! сколько ржавыхъ трясинъ и колдобинъ! сколько куликовъ и чибисовъ! Стонъ стоитъ въ воздухѣ отъ разнообразныхъ взвизгиваній этихъ добродѣтельныхъ птицъ, которыя не имѣютъ въ жизни иной цѣли, кромѣ высиживанія безчисленнаго множества невинныхъ цыплятъ! Что, если бы не было охотника, отъ времени до времени разрѣжающаго своими мѣткими выстрѣлами эту сплошную массу пернатыхъ? Что, если бы вверху надъ облаками не рѣялъ коршунъ, высматривающій съ тактомъ знатока-помѣщика, который изъ цыплятъ пооткормленнѣе и пожирнѣе?

Но къ дѣлу.

Прежде всего я долженъ оговориться, что всей душой сочувствую Корытникову. Cher Корытниковъ, вашу руку! Прохожій, прими меня въ свои объятія! Житель Ярославля,

Лобзай меня! твои лобзанья
Мнѣ слаще мирры и вина!

Но шутки въ сторону: я сердечно убѣжденъ, что всѣ вы—почтенные люди, горячо и искренно сочувствуете тѣмъ началамъ истины и добра, появленіе которыхъ привѣтствуете съ такою радостью. Горесть мѣщанки Залупаевой не можетъ не трогать вашего сердца, ибо въ сердцѣ этомъ

всегда найдется откликъ для всякаго истиннаго горя. Преступная безпечность Ѳедора Ильича не можетъ не возбуждать вашего негодованія, ибо въ ней заключается источникъ золъ дѣйствительныхъ, невымышленныхъ, золъ, которыхъ жало преимущественно обращено противъ бѣднаго и безпомощнаго. Сосредоточиваясь въ самихъ себѣ и размышляя о вещахъ міра сего, вы невольнымъ образомъ переноситесь мыслью къ временамъ вашей юности, къ тѣмъ золотымъ временамъ, когда съ каѳедры къ вамъ обращалась живая рѣчь, если не самого Грановскаго, то одного изъ учениковъ его, вызывая къ дѣятельности благороднѣйшіе инстинкты души, когда съ иной, болѣе обширной каѳедры, лилось къ вамъ полное страсти слово Бѣлинскаго, волнуя и утѣшая васъ, и наполняя сердца ваши скорбью и негодованіемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ указывая цѣль для вашихъ стремленій.—Будемъ же вѣрны добру и истинѣ! будемъ вѣрны памяти наставниковъ нашихъ!—восклицаете вы, и бодро выступаете впередъ на честный бой съ лицемѣріемъ, равнодушіемъ и неправдою!

Да, замѣчательное было это время! То было время, когда слово служило не естественною формой для выраженія человѣческой мысли, а какъ бы покровомъ, сквозь который неполно и словно намеками свѣтились очертанія этой мысли; и чѣмъ хитрѣе, чѣмъ запутаннѣе сплетенъ былъ этотъ покровъ, тѣмъ скорбнѣе, тѣмъ нетерпѣливѣе трепетала подъ нимъ полная мощи мысль, и тѣмъ горячѣе отдавалось ея эхо въ молодыхъ душахъ читателей и слушателей! То было время когда мысль должна была оговариваться и лукавить, когда она тысячу разъ вынуждена была окунуться въ помойныхъ ямахъ житейскаго базара, чтобы выстрадать себѣ право, хотя однажды, хотя на мгновеніе, засіять надъ міромъ лучомъ надежды, лучомъ грядущаго обновленія! И, стало-быть, крѣпки были эти люди, если и при такой обстановкѣ они не изолгались, не измелочничались, не сдѣлались отступниками!

Я вѣрю, о, «Прохожій», что когда ты берешься за перо, чтобъ обличить раба спящаго и лукаваго, то передъ тобой невольно и неотразимо возстаютъ тѣ свѣтлыя личности наставниковъ, которымъ ты жадно внималъ въ былое время. И въ душѣ твоей заманчиво рисуется живая преемственность мысли и стремленій, на служеніе которымъ ты хочешь принести посильную лепту твою.

Повторяю, я вѣрю твоей искренности. Но ты не замѣ-

чаешь, что иные люди, иныя вещи, что цѣлый новый міръ народился кругомъ тебя. Ты забываешь, что и въ устахъ твоихъ наставниковъ отвлеченные интересы человѣчества служили только покровомъ, подъ которымъ не всегда искусно скрывалась томительная жажда иной, болѣе реальной дѣятельности. Ты забываешь, что ты перенялъ отъ учителей только фразу, и что переимчивость, какъ бы ни была она счастлива, не представляетъ еще достаточнаго права, чтобы поучать людей.

Но странная и неудержимая сила обстоятельствъ! Въ то время, какъ ты мучишься въ потугахъ рожденія, чтобъ бросить міру какую-нибудь высокопарную мысль о человѣчествѣ и постепенномъ поступаніи его на пути совершенствованія, трезвая и неподкупная дѣйствительность силой приковываетъ тебя къ тѣсной твоей раковинѣ, къ родному твоему Глупову! И выходитъ тутъ нѣчто нелѣпое: Глуповъ— и человѣчество, судья Лапушниковъ — и вѣчные законы правды...

Корытниковъ! именемъ той же преемственности, убѣждаю васъ: бросьте подъ столъ перо ваше, или обуздайте вашу мысль!

Неужели вы не можете сневѣжничать безъ того, чтобъ этотъ актъ вашей жизни не сопровождался цѣлымъ громомъ тромбоновъ и трубъ?

Неужели солнце правды, солнце гласности, солнце устности, солнце трезвости, которое вѣчно свѣтитъ въ душѣ вашей, до того лучезарно, что мѣшаетъ вамъ просто и безъ ужимокъ подойти къ той навозной кучкѣ, которую вы взялись, которую вамъ фаталистически суждено описывать?

Юный другъ мой! если наставники ваши горькою необходимостью вынуждались окунать мысль свою въ помои, то вы совершенно добровольно, совершенно никѣмъ не вынуждаемые, окунаете ее въ многочисленныя солнца души вашей, и я принимаю смѣлость завѣрить васъ, что эти солнца неизмѣримо непріятнѣе помой Бѣлинскаго и Грановскаго!

Зачѣмъ, когда вы беретесь за перо, васъ внезапно одолѣваетъ какое-то адское самоуслажденіе? Зачѣмъ вы съ самозабвеніемъ склоняете на бокъ вашу слабенькую головку, жмурите ваши голубенькіе глазки, уподобляясь соловью, заслушивающемуся своихъ собственныхъ пѣсенъ? Зачѣмъ это?

Вспомните, mon cher, что соловей потому имѣетъ право наслаждаться самимъ собой и заслушиваться до опьянѣнія

своихъ пѣсенъ, что пѣсни, которыя онъ поетъ, суть его собственныя пѣсни! Сдѣлайте-ка намъ ваше собственное «Фю-ію-ію-ію», и тогда я первый готовъ буду признавать ваше право на самоуслажденіе.

Вспомните и то, что міръ кишитъ кругомъ васъ примѣрами горькихъ послѣдствій самоуслажденія. Я могу указать вамъ на цѣлый кружокъ весьма почтенныхъ людей, которые, заручившись одною идейкой, до того перемололи ее на всѣ лады и образцы, что въ настоящее время не могутъ безъ тошноты взирать другъ на друга («Господи! и въ немъ сидитъ эта треклятая идея!»), не могутъ безъ ужаса вспомнить о той минутѣ, когда надобно будетъ вновь вести бесѣду, и вновь на ту же тему... потому что иной въ запасѣ не обрѣтается!

Если этого мало для васъ, то укажу еще на каплуновъ. Этотъ достойный сожалѣнія народъ, не имѣя никакихъ иныхъ видовъ въ будущемъ, кромѣ удовольствія быть обкармливаемымъ до отвратительности, также съ неистовствомъ предается самоуслажденію, въ продолженіе всего того времени, покуда грецкіе орѣхи, комки творогу и прочая дрянь переваривается въ зобахъ ихъ. А тутъ, между тѣмъ, не имѣется даже ни одного наличнаго достоинства, а есть лишь весьма непріятный изъянъ, изъ чего вы можете убѣдиться, что для того, чтобъ считать себя въ правѣ наслаждаться самимъ собою, вовсе нѣтъ необходимости быть Богъ вѣсть какимъ соловьемъ, а достаточно въ иныхъ случаяхъ быть и простымъ каплуномъ.

Зачѣмъ вы взираете на себя какъ на историка и философа, тогда какъ вы просто-напросто лѣтописецъ, а быть-можетъ отчасти и водевилистъ?

На вашемъ мѣстѣ, я писалъ бы статьи мои такъ:

«Января дня 18.. года. Городъ Полоумновъ. Сего числа Ударъ-Ерыгинъ, въ присутствіи всѣхъ, проглотилъ шпагу, или, точнѣе сказать, цѣлое скралъ дѣло (имя рекъ); онъ показалъ при этомъ столь замѣчательное проворство, что никто даже не ахнулъ».

Туземецъ.

И довольно! Неужели вы думаете, что статья эта, несмотря на свою сухую, лѣтописную форму, менѣе задеретъ Ударъ-Ерыгина, нежели та же статья, разбавленная разсужденіями о томъ, что «въ наше время, когда, казалось бы, воровство преслѣдуется повсюду», или о томъ, что «въ

наше время, когда привычки законности мало-по-малу проникаютъ во всѣ административныя трущобы» и т. п.?

Смѣю васъ увѣрить, Корытниковъ, что нѣтъ. Прочитавши вашу статью, онъ скажетъ: «Что за чортъ! о какомъ это онъ воровствѣ говоритъ! Развѣ я воръ?»—ибо онъ убѣжденъ, и вслѣдъ за нимъ убѣждено и большинство, что воровствомъ называется только похищеніе чужихъ платковъ изъ кармановъ; актъ же, подобный тому, который имъ совершонъ, онъ называетъ административною ловкостью. Или еще скажетъ: «О какихъ это привычкахъ законности онъ тамъ проповѣдуетъ? Э! да онъ, кажется, позабылъ пословицу: «что русскому здорово, то нѣмцу смерть!» и наоборотъ. Хорошъ бы я былъ, кабы дѣйствовалъ на законномъ основаніи!» И съ своей точки зрѣнія онъ будетъ правъ; конечно, это будетъ точка зрѣнія ударъ-ерыгинская, но все-такй точка зрѣнія, съ которою, быть-можетъ, согласятся и многіе другіе: иные по слабости, другіе изъ страха, третьи изъ корысти, четвертые, наконецъ, по привычкѣ во всемъ соглашаться съ лицомъ, обладающимъ извѣстною степенью нахальства. Напротивъ того, прочитавши мою статью, онъ позеленѣетъ, и губы его затрясутся. Поймите, что я оскорбилъ его въ томъ, въ чемъ онъ считалъ себя непогрѣшимымъ: въ его проворствѣ! Затроньте его честность—онъ скажетъ, что честность—понятіе относительное; затроньте пользу общественную—онъ скажетъ, что еще бабушка на-двое сказала, черное ли бѣло, или бѣлое черно. Но не затрогивайте его проворства! Онъ думалъ, что никто не подозрѣваетъ, что онъ глотаетъ шпаги: онъ воображалъ, что всѣ глаза устремлены на него съ дѣтскою довѣрчивостью, что никому и на мысль не приходило видѣть въ немъ фокусника... и вдругъ! Увѣряю васъ, что онъ устыдится, устыдится хотя того, что былъ недостаточно искуснымъ фокусникомъ...

Столоначальникъ Благолѣповъ съ гораздо бо̀льшимъ тактомъ попалъ пальцемъ въ небо, когда кратко доложилъ читателю, что «судья у насъ хорошій человѣкъ» и проч. (зри выше). Вы испортили статью его, драгоцѣнную по своей наивности; вы напустили туману туда, гдѣ слѣдовало бы только исправить орографическія ошибки и проставить знаки препинанія. Я увѣренъ, что будь Благолѣповъ не столоначальникомъ, а секретаремъ уѣзднаго суда, онъ не дозволилъ бы вамъ перемѣнить ни іоты въ своемъ произведеніи, и былъ бы правъ. Итакъ, больше краткости,

любезный Корытниковъ! больше той величественной краткости, которая прямо и неуклонно впивается въ самую морду заподозрѣннаго въ гнусности субъекта—и тогда смѣло дерзайте на поприще гласности!

И еще позволю себѣ одно замѣчаніе: вы не всегда удачно выбираете темы для вашихъ обвиненій и не вполнѣ удачную берете для нихъ обстановку.

Начнемъ хоть съ Ѳедора Ильича. Слова нѣтъ, что происшествіе, которое послужило канвой для вашей краснорѣчивой статьи,—весьма печальное происшествіе, ибо оно лишило мѣщанку Залупаеву ея холостыхъ строеній. Но съ другой стороны, если бы вы потрудились объясниться съ обвиняемымъ, то, можетъ-быть, и въ половину не были бы такъ строги къ нему. Вспомните, Корытниковъ, что вы не просто нравы и обычаи административные описываете, а желаете поучать!

Итакъ, если бы вы спросили Ѳедора Ильича: «по какому случаю вы, государь мой, не явились своевременно на пожаръ, бывшій въ домѣ Залупаевой?» — я увѣренъ, что, вмѣсто отвѣта, почтенный нашъ градоначальникъ молча повелъ бы васъ на пожарный дворъ.

Тамъ онъ представилъ бы вамъ:

1) Двѣ пожарныя трубы, изъ которыхъ одна носитъ названіе *новой* и дѣйствуетъ плохо, а другая именуется *старою* и, что называется, только колобродитъ, то-есть брызжетъ во всѣ стороны и обливаетъ водой однихъ зрителей.

2) Четырехъ лошадей (отчего-жъ и не двухъ?), изъ которыхъ двѣ изъявляютъ сильное желаніе окунуться въ купель силоамскую.

3) Десятокъ инвалидовъ, изъ которыхъ двое въ эту самую минуту, что называется, безъ заднихъ ногъ.

— Что-жъ вы не представляете куда слѣдуетъ?—спросите вы.

— Представляемъ-съ!

— Что-жъ, отвѣчаютъ?

— И отвѣчаютъ-съ!

— Да что отвѣчаютъ?

— А отвѣчаютъ: здорово живешь-съ!

Такимъ образомъ одинъ пунктъ обвиненія устраненъ, и Ѳедоръ Ильичъ осязательно доказалъ вамъ, что никакой въ свѣтѣ пожаръ не можетъ и не обязанъ бояться подъ опасеніемъ прослыть за трусишку и дурака.

— Но какъ же вамъ не стыдно, только и дѣла, что въ карты дуться?—продолжаете вы свои обвиненія.

— Помилуйте, отчего же-съ? День-то-деньской слоняешься, день-деньской всякую нечистоту по городу прибираешь—надо же и отдохнуть-съ.

Вы начинаете понимать, что не виноватъ же Ѳедоръ Ильичъ, что карты служатъ для него единственно доступнымъ средствомъ отдохновенія; что тутъ есть нѣчто, кроющееся въ самой средѣ, въ которой онъ процвѣтаетъ; что Ѳедоръ Ильичъ самъ по себѣ не можетъ ни жить, ни дѣйствовать иначе, нежели какъ онъ живетъ и дѣйствуетъ. И вы невольнымъ образомъ повторяете: «отчего же и не отдохнуть хорошему человѣку?»

Я же, съ своей стороны, могу, въ оправданіе нашего градоначальника, прибавить, что онъ вовсе не такъ равнодушно принялъ вѣсть о пожарѣ. Напротивъ того, когда ему доложили: «мѣщанка Залупаева горитъ, ваше высокоблагородіе!»—то онъ стремительно бросилъ карты и воскликнулъ при этомъ: «вѣдь дернула же ее нелегкая горѣть въ такую пору!» Стало-быть, онъ страдалъ.

Но, кромѣ изложенныхъ выше обвиненій, вы позволили вашей фантазіи увлечь васъ дальше, нежели сколько было нужно для выполненія вашей же собственной задачи. Вы указали на героя, прославившаго собой городъ А**, и пожелали, чтобъ Ѳедоръ Ильичъ, подобно этому герою, ходилъ съ обгорѣлыми фалдами. Позвольте сказать вамъ, что упрекъ этотъ сколько несправедливъ, столько же и неоснователенъ.

Самъ Ѳедоръ Ильичъ всего болѣе возмущенъ былъ именно этимъ мѣстомъ вашей статьи.

— Ну, скажите на милость!—говорилъ онъ въ тотъ самый вечеръ собравшейся у исправника компаніи единомышленниковъ:—ну, что-жъ было бы хорошаго, если-бы я, какъ профанъ какой-нибудь, безъ фалдъ по городу бѣгалъ? Да и на чей я счетъ, кукишъ съ масломъ, буду фалды новыя покупать?

Резоннѣе и складнѣе этого отвѣта я ничего придумать не въ состояніи.

Или опять судья: чѣмъ виноватъ онъ, что тученъ? Или засѣдатели: чѣмъ виноваты, что ковыряютъ въ носу? Благолѣповъ правду сказалъ, что это занятіе всей ихъ жизни; а если это такъ, то слѣдовательно никто и не имѣетъ права лишать ихъ возможности предаваться этому занятію.

Извините меня, Корытниковъ, но мнѣ кажется, что вы скользите только по поверхности; вы только подозрѣваете, что есть гдѣ-то, въ окрестностяхъ вашихъ, болото, но гдѣ оно и какого оно свойства—это тайна, которую вамъ врядъ ли суждено когда-нибудь проникнуть.

Но времена созрѣли, и какъ бы ни была малоискусна пѣсня Корытникова, онъ не можетъ не пѣть. Выдьте весною на улицу, прислушайтесь, какой концертъ задаютъ тамъ воробьи! Стадами они перелетаютъ съ одной крыши на другую; вприпрыжку, и какъ бы торопясь куда-то, снуютъ по улицѣ; суетливыми и веселыми обществами хлопочутъ около обнажившихся кучекъ старой ветоши, и что за неистовыя чириканія оглашаютъ въ то время теплый, насыщенный влагою воздухъ! Воробка, воробка, зачѣмъ такъ подпрыгиваешь? зачѣмъ, дурачокъ, такъ весело чирикаешь? Но не даетъ отвѣта воробка, а только пуще и пуще чирикаетъ, уморительнѣе и уморительнѣе подпрыгиваетъ.

Подобно сему и Корытниковъ, объятый весеннимъ чувствомъ, поетъ возрожденіе природы, поетъ красоту гласности и самоуправленія, поетъ взволнованность своихъ собственныхъ чувствъ. Спросите, зачѣмъ поетъ онъ пѣсню про городничаго,—онъ въ отвѣтъ споетъ вамъ пѣсенку про почтмейстера; спросите, зачѣмъ поетъ про почтмейстера,—онъ споетъ вамъ пѣсню объ исправникѣ... Дальнѣйшихъ объясненій отъ него не требуйте, ибо это объясненіе лежитъ въ его артистически устроенномъ горлышкѣ и въ той весенней оттепели, которая чувствуется въ воздухѣ.

И потому Ѳедоръ Ильичъ поступилъ не только нечестно, но даже и неразсчетливо, преслѣдуя Корытникова съ такою неумолимостью. Во-первыхъ, онъ этимъ преслѣдованіемъ ничего не выигралъ, ибо хотя и удалось ему изгнать Корытникова, но мѣсто его тотчасъ же занялъ Благолѣповъ, занялъ Наградинъ, занялъ Столпниковъ, и въ настоящую минуту нѣтъ въ Россіи города, въ которомъ такъ часто раздавалось бы чириканье воробьевъ, какъ въ нашемъ родномъ городѣ Глуповѣ. Во-вторыхъ, не достигши своей цѣли, Ѳедоръ Ильичъ сдѣлался грустенъ и раздражителенъ. Онъ безъ разбора хваталъ и ловилъ пріѣзжающихъ на базаръ мужиковъ и торговцевъ, вездѣ предполагая измѣну, во всякомъ неизвѣстномъ ему лицѣ заподозрѣвая насадителя клеветы и распространителя ложныхъ слуховъ. Взятки сталъ брать пуще прежняго: первѣе всего, слѣдую-

щія ему вообще, по установленнымъ праотцами обрядамъ, потомъ—слѣдующія ему же за страхъ будущаго обругательства.

— Пускай пишутъ! пускай пишутъ! — приговариваетъ онъ, съ какимъ-то дикимъ наслажденіемъ пересчитывая и разглаживая на столѣ ладонью поднесенныя ему ассигнаціи.

Но, нѣтъ, онъ обманываетъ лишь себя, говоря такимъ образомъ! Въ ту самую минуту, когда онъ притворяется равнодушнымъ къ филиппикамъ Благолѣпова (доказывающаго, между прочимъ, что Ѳедоръ Ильичъ до того безпеченъ, что не даетъ себѣ даже труда выдергать вылѣзающіе изъ его носа волосы), онъ чувствуетъ, что внутри его нѣчто колышется и хохочетъ, что руки его судорожно сжимаются, какъ бы обвивая мысленно длинную шею Благолѣпова.

— Желалъ бы я!—восклицаетъ онъ въ безсильной ярости, но уже не тѣмъ здорово-зычнымъ голосомъ, которымъ восклицалъ въ началѣ нашей статьи, а тонами двумя пониже.

И все оттого только, что онъ чириканье воробья принялъ за крикъ орла! Все оттого, что дернула нелегкая какую-то мѣщанку Залупаеву горѣть въ такое время, когда къ нему, градоначальнику, привалило восемь въ червяхъ, а пожарныя лошади отъѣзжали въ луга за сѣномъ, для собственнаго своего прокормленія!

Да! разрушительно дѣйствуешь ты, о, гласность, на организмы человѣческіе! Пенза! Уфа! Саратовъ! Ужели никто никто не избѣжитъ ея всепожирающаго зѣва? Вездѣ, даже тамъ, гдѣ прежде спокойно грабили почту на главной улицѣ, даже тамъ, гдѣ нѣкогда, среди бѣла-дня, безнаказанно застрѣливали людей (и никто не слыхалъ выстрѣла!), вездѣ возстаетъ свой домашній бардъ, беретъ въ руки гармонику и воспѣваетъ славу или стыдъ своей отчизны!

Самъ генералъ Зубатовъ смутился и поистинѣ не знаетъ, что ему дѣлать. И до него доползло весеннее чувство, но не подновило, а, напротивъ того, произвело лишь разслабленіе въ ветхомъ его организмѣ.

— Что это за женскія гимназіи? что это за воскресныя училища?—восклицаетъ онъ, ломая въ отчаяніи руки.

И въ ту же минуту отправляетъ гонца за откупщикомъ.

Откупщикъ изумляется и вызываетъ кассира.

— За майскую треть дадено?—спрашиваетъ онъ.

— Дадено,—отвѣчаетъ кассиръ.

— Что за чортъ!

Однако, дѣлать нечего, напяливаетъ фракъ и отправляется.

— Ну, мой милый!—еще издали кричитъ ему генералъ, какъ-то особенно-привѣтливо улыбаясь:—вотъ теперь-то мы посмотримъ, дѣйствительно ли вы патріотъ?

Его сивушество слегка съёживается, точно ему змѣю за пазуху пустили, но въ то же время старается сохранить веселый и непринужденный видъ, ибо вздумай онъ нахмуриться — генералъ, чего добраго, скажетъ ему: «невѣжа, пошелъ вонъ!»

— Что прикажете, ваше превосходительство?—говоритъ онъ, развязно расшаркиваясь.

— Для себя—ничего, для отечества—многое!—отвѣчаетъ генералъ, пронзая откупщика взорами и какъ бы измѣряя глубину его патріотизма.

— Прикажете балъ-съ... маскарадъ-съ?.. Ваши слуги, ваше превосходительство!

— Гимназію!—восклицаетъ генералъ неожиданно.

Его сивушество стоитъ озадаченный, очевидно недоумѣвая, какое можетъ имѣть отношеніе очищенная и трехпробная къ отечественному просвѣщенію.

— Гимназію, женскую гимназію!—повторяетъ генералъ, полоснувъ себя краемъ ладони по горлу въ знакъ того, что гимназія у него вотъ гдѣ сидитъ.

Откупщикъ покраснѣлъ какъ ракъ. Онъ понимаетъ, что какъ тутъ ни вертись, а отъ издержекъ не отвертишься, но не умѣетъ еще сообразить, какою суммою можно отдѣлаться. А ну, какъ ляпнешь сдуру такой кушъ, какого совсѣмъ и не требуется!

— Да, мой милый,—грустно говоритъ, между тѣмъ, генералъ:—было... было! Было время, когда мы думали о томъ, какъ бы общество наше соединить... чтобъ пикники тамъ... parties de plaisir... Теперь это все надо кинуть!

Генералъ умолкаетъ и какъ будто начинаетъ грустить, но черезъ нѣсколько минутъ поправляется и продолжаетъ уже съ нѣкоторою молодцоватостью:

— Теперь мы о гимназіяхъ разсуждаемъ... Да!

Но его сивушество все еще не собрался съ духомъ. Ему слишкомъ отчетливо представляется и недавнее пожертвованіе спирта для освѣщенія города, и недавняя покупка десяти фунтовъ чаю для больницы, и другія посильныя жертвы... Ахъ, чортъ побери да и совсѣмъ!

— Конечно, ваше превосходительство, — говоритъ онъ наконецъ:—гимназія... и въ особенности для благородныхъ дѣвицъ... очень пріятное заведеніе.

— Ну-съ!

— Я къ тому, ваше превосходительство... что еще въ недавнее время... освѣщеніе города... а также и другія общеполезныя устройства-съ...

— Ну-съ!—повторяетъ генералъ.

Откупщикъ откашливается.

— Я ничего, ваше превосходительство... мы гимназіямъ не препятствуемъ-съ... мы, напротивъ того, съ нашимъ удовольствіемъ... я только насчетъ того, что еще въ недавнее время...

— Гм!.. стало-быть, вы допустите, чтобъ въ какой-нибудь мерзкой газетишкѣ на всю Россію опубликовали, что *у меня* нѣтъ гимназіи?

— Помилуйте, ваше превосходительство, зачѣмъ же-съ?

— Стало-быть, для васъ все равно, что какой-нибудь щелкоперъ осмѣлится выразиться обо мнѣ, что я не имѣю достаточно энергіи, что я человѣкъ несовременный... что *у меня* нѣтъ гимназіи, наконецъ?

— Я, ваше превосходительство...

— Такъ я вамъ докажу, милостивый государь, что у меня еще есть энергія! — восклицаетъ генералъ, величественно выпрямляясь.

Однимъ словомъ, его сивушество смиряется, и вопросъ о женской гимназіи, едва-едва не претерпѣвшій крушеніе, разрѣшается благопріятно. Въ слѣдующемъ же нумерѣ мѣстныхъ вѣдомостей редакторъ уже предвкушаетъ ея учрежденіе въ особо написанной по этому поводу статьѣ:

«СЛУХИ».

«Слухъ носится, что, благодаря неусыпнымъ попеченіямъ (чьимъ—на это отвѣтитъ всякое сердце Полоумновской губерніи), у насъ въ скоромъ времени будетъ открыта женская гимназія, и что всѣ нужныя распоряженія уже сдѣланы. Мы уполномочены объявить, что старанія начальства въ этомъ истинно-полезномъ и благотворительномъ дѣлѣ встрѣтили полное и просвѣщенное содѣйствіе со стороны мѣстнаго управляющаго акцизно-откупнымъ комиссіонерствомъ, купца М., готоваго, какъ извѣстно, на всякаго рода пожертвованія, имѣющія цѣлью счастіе и пользу ближняго.

«Носятся и другіе, не менѣе отрадные слухи (какъ, напримѣръ, объ открытіи въ нашемъ городѣ воскресныхъ

классовъ), но покамѣстъ умолчимъ о нихъ, предоставляя себѣ право подѣлиться съ читателемъ нашими надеждами въ то время, когда онѣ будутъ близкими къ осуществленію.

«Но такъ какъ всякая медаль имѣетъ свою хорошую и свою дурную сторону, то не можемъ пройти молчаніемъ, что дѣло просвѣщенія и въ нашей губерніи не вездѣ встрѣчаетъ одинаковое сочувствіе. Такъ, напримѣръ, дикіе и невѣжественные нововласьевцы и доселѣ упорствуютъ въ своемъ коснѣніи и твердо принятомъ намѣреніи оставаться безграмотными во что бы то ни стало. Когда же лучъ солнца освѣтитъ это непроходимое болото?»

— Вотъ тебѣ и съ праздникомъ!—говоритъ нововласьевскій городской голова Прудовъ, прочитавъ эту любезность.

— За что-жъ онъ насъ по зубамъ-то треснулъ?—спрашиваетъ, въ свою очередь, гласный Клубницынъ.

— А такъ вотъ: проѣзжалъ поблизости — и заѣхалъ! Поди, судись съ нимъ!

И я, въ свою очередь, спрошу васъ, почтенный редакторъ полоумновской газеты: за что вы треснули по зубамъ гражданъ города Нововласьевска?

Я съ вами напередъ соглашаюсь, что просвѣщеніе—хорошая вещь, что ученіе свѣтъ, а неученіе тьма и т. п. Сознаюсь также, что образованіе, которое дается нашимъ дѣвицамъ, убійственно. Образованнѣйшая изъ нихъ еще можетъ поразсказать вамъ кое-какія подробности о Гвадалквивирѣ, потому что—

Ночной зефиръ
Струитъ эѳиръ,
Шумитъ, бѣжитъ Гвадалквивиръ...

или о Брентѣ, потому что—

Ночь весенняя дышала
Ароматной тишиной,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной.

Но чуть дѣло коснется Мансанареса, послѣдуетъ неизбѣжный тупикъ, ибо Мансанаресъ — рѣчка маленькая и, должно полагать, очень вонючая, если ни въ одномъ русскомъ романсѣ о ней не упоминается. Согласенъ, что при такомъ уровнѣ образованія дѣвицы наши не въ состояніи интересоваться полезною дѣятельностью географическаго общества, ни даже принять участіе въ спорѣ, возникшемъ по поводу опредѣленія дѣйствительнаго дня смерти Бориса Годунова.

чаешь, что иные люди, иныя вещи, что цѣлый новый міръ народился кругомъ тебя. Ты забываешь, что и въ устахъ твоихъ наставниковъ отвлеченные интересы человѣчества служили только покровомъ, подъ которымъ не всегда искусно скрывалась томительная жажда иной, болѣе реальной дѣятельности. Ты забываешь, что ты перенялъ отъ учителей только фразу, и что переимчивость, какъ бы ни была она счастлива, не представляетъ еще достаточнаго права, чтобы поучать людей.

Но странная и неудержимая сила обстоятельствъ! Въ то время, какъ ты мучишься въ потугахъ рожденія, чтобъ бросить міру какую-нибудь высокопарную мысль о человѣчествѣ и постепенномъ поступаніи его на пути совершенствованія, трезвая и неподкупная дѣйствительность силой приковываетъ тебя къ тѣсной твоей раковинѣ, къ родному твоему Глупову! И выходитъ тутъ нѣчто нелѣпое: Глуповъ— и человѣчество, судья Лапушниковъ — и вѣчные законы правды...

Корытниковъ! именемъ той же преемственности, убѣждаю васъ: бросьте подъ столъ перо ваше, или обуздайте вашу мысль!

Неужели вы не можете сневѣжничать безъ того, чтобъ этотъ актъ вашей жизни не сопровождался цѣлымъ громомъ тромбоновъ и трубъ?

Неужели солнце правды, солнце гласности, солнце устности, солнце трезвости, которое вѣчно свѣтитъ въ душѣ вашей, до того лучезарно, что мѣшаетъ вамъ просто и безъ ужимокъ подойти къ той навозной кучкѣ, которую вы взялись, которую вамъ фаталистически суждено описывать?

Юный другъ мой! если наставники ваши горькою необходимостью вынуждались окунать мысль свою въ помои, то вы совершенно добровольно, совершенно никѣмъ не вынуждаемые, окунаете ее въ многочисленныя солнца души вашей, и я принимаю смѣлость завѣрить васъ, что эти солнца неизмѣримо непріятнѣе помой Бѣлинскаго и Грановскаго!

Зачѣмъ, когда вы беретесь за перо, васъ внезапно одолѣваетъ какое-то адское самоуслажденіе? Зачѣмъ вы съ самозабвеніемъ склоняете на бокъ вашу слабенькую головку, жмурите ваши голубенькіе глазки, уподобляясь соловью, заслушивающемуся своихъ собственныхъ пѣсенъ? Зачѣмъ это?

Вспомните, mon cher, что соловей потому имѣетъ право наслаждаться самимъ собой и заслушиваться до опьянѣнія

своихъ пѣсенъ, что пѣсни, которыя онъ поетъ, суть его собственныя пѣсни! Сдѣлайте-ка намъ ваше собственное «Фю-ію-ію-ію», и тогда я первый готовъ буду признавать ваше право на самоуслажденіе.

Вспомните и то, что міръ кишитъ кругомъ васъ примѣрами горькихъ послѣдствій самоуслажденія. Я могу указать вамъ на цѣлый кружокъ весьма почтенныхъ людей, которые, заручившись одною идейкой, до того перемололи ее на всѣ лады и образцы, что въ настоящее время не могутъ безъ тошноты взирать другъ на друга («Господи! и въ немъ сидитъ эта треклятая идея!»), не могутъ безъ ужаса вспомнить о той минутѣ, когда надобно будетъ вновь вести бесѣду, и вновь на ту же тему... потому что иной въ запасѣ не обрѣтается!

Если этого мало для васъ, то укажу еще на каплуновъ. Этотъ достойный сожалѣнія народъ, не имѣя никакихъ иныхъ видовъ въ будущемъ, кромѣ удовольствія быть обкармливаемымъ до отвратительности, также съ неистовствомъ предается самоуслажденію, въ продолженіе всего того времени, покуда грецкіе орѣхи, комки творогу и прочая дрянь переваривается въ зобахъ ихъ. А тутъ, между тѣмъ, не имѣется даже ни одного наличнаго достоинства, а есть лишь весьма непріятный изъянъ, изъ чего вы можете убѣдиться, что для того, чтобъ считать себя въ правѣ наслаждаться самимъ собою, вовсе нѣтъ необходимости быть Богъ вѣсть какимъ соловьемъ, а достаточно въ иныхъ случаяхъ быть и простымъ каплуномъ.

Зачѣмъ вы взираете на себя какъ на историка и философа, тогда какъ вы просто-напросто лѣтописецъ, а быть-можетъ отчасти и водевилистъ?

На вашемъ мѣстѣ, я писалъ бы статьи мои такъ:

«Января дня 18.. года. Городъ Полоумновъ. Сего числа Ударъ-Ерыгинъ, въ присутствіи всѣхъ, проглотилъ шпагу, или, точнѣе сказать, цѣлое скралъ дѣло (имя рекъ); онъ показалъ при этомъ столь замѣчательное проворство, что никто даже не ахнулъ».

Туземецъ.

И довольно! Неужели вы думаете, что статья эта, несмотря на свою сухую, лѣтописную форму, менѣе задереть Ударъ-Ерыгина, нежели та же статья, разбавленная разсужденіями о томъ, что «въ наше время, когда, казалось бы, воровство преслѣдуется повсюду», или о томъ, что «въ

наше время, когда привычки законности мало-по-малу проникаютъ во всѣ административныя трущобы» и т. п.?

Смѣю васъ увѣрить, Корытниковъ, что нѣтъ. Прочитавши вашу статью, онъ скажетъ: «Что за чортъ! о какомъ это онъ воровствѣ говоритъ! Развѣ я воръ?»—ибо онъ убѣжденъ, и вслѣдъ за нимъ убѣждено и большинство, что воровствомъ называется только похищеніе чужихъ платковъ изъ кармановъ; актъ же, подобный тому, который имъ совершонъ, онъ называетъ административною ловкостью. Или еще скажетъ: «О какихъ это привычкахъ законности онъ тамъ проповѣдуетъ? Э! да онъ, кажется, позабылъ пословицу: «что русскому здорово, то нѣмцу смерть!» и наоборотъ. Хорошъ бы я былъ, кабы дѣйствовалъ на законномъ основаніи!» И съ своей точки зрѣнія онъ будетъ правъ; конечно, это будетъ точка зрѣнія ударъ-ерыгинская, но все-такй точка зрѣнія, съ которою, быть-можетъ, согласятся и многіе другіе: иные по слабости, другіе изъ страха, третьи изъ корысти, четвертые, наконецъ, по привычкѣ во всемъ соглашаться съ лицомъ, обладающимъ извѣстною степенью нахальства. Напротивъ того, прочитавши мою статью, онъ позеленѣетъ, и губы его затрясутся. Поймите, что я оскорбилъ его въ томъ, въ чемъ онъ считалъ себя непогрѣшимымъ: въ его проворствѣ! Затроньте его честность—онъ скажетъ, что честность—понятіе относительное; затроньте пользу общественную—онъ скажетъ, что еще бабушка на-двое сказала, черное ли бѣло, или бѣлое черно. Но не затрогивайте его проворства! Онъ думалъ, что никто не подозрѣваетъ, что онъ глотаетъ шпаги: онъ воображалъ, что всѣ глаза устремлены на него съ дѣтскою довѣрчивостью, что никому и на мысль не приходило видѣть въ немъ фокусника... и вдругъ! Увѣряю васъ, что онъ устыдится, устыдится хотя того, что былъ недостаточно искуснымъ фокусникомъ...

Столоначальникъ Благолѣповъ съ гораздо бо̀льшимъ тактомъ попалъ пальцемъ въ небо, когда кратко доложилъ читателю, что «судья у насъ хорошій человѣкъ» и проч. (зри выше). Вы испортили статью его, драгоцѣнную по своей наивности; вы напустили туману туда, гдѣ слѣдовало бы только исправить орографическія ошибки и проставить знаки препинанія. Я увѣренъ, что будь Благолѣповъ не столоначальникомъ, а секретаремъ уѣзднаго суда, онъ не дозволилъ бы вамъ перемѣнить ни іоты въ своемъ произведеніи, и былъ бы правъ. Итакъ, больше краткости,

любезный Корытниковъ! больше той величественной краткости, которая прямо и неуклонно впивается въ самую морду заподозрѣннаго въ гнусности субъекта—и тогда смѣло дерзайте на поприще гласности!

И еще позволю себѣ одно замѣчаніе: вы не всегда удачно выбираете темы для вашихъ обвиненій и не вполнѣ удачную берете для нихъ обстановку.

Начнемъ хоть съ Ѳедора Ильича. Слова нѣтъ, что происшествіе, которое послужило канвой для вашей краснорѣчивой статьи,—весьма печальное происшествіе, ибо оно лишило мѣщанку Залупаеву ея холостыхъ строеній. Но съ другой стороны, если бы вы потрудились объясниться съ обвиняемымъ, то, можетъ-быть, и въ половину не были бы такъ строги къ нему. Вспомните, Корытниковъ, что вы не просто нравы и обычаи административные описываете, а желаете поучать!

Итакъ, если бы вы спросили Ѳедора Ильича: «по какому случаю вы, государь мой, не явились своевременно на пожаръ, бывшій въ домѣ Залупаевой?» — я увѣренъ, что, вмѣсто отвѣта, почтенный нашъ градоначальникъ молча повелъ бы васъ на пожарный дворъ.

Тамъ онъ представилъ бы вамъ:

1) Двѣ пожарныя трубы, изъ которыхъ одна носитъ названіе *новой* и дѣйствуетъ плохо, а другая именуется *старою* и, что называется, только колоброднтъ, то-есть брызжетъ во всѣ стороны и обливаетъ водой однихъ зрителей.

2) Четырехъ лошадей (отчего-жъ и не двухъ?), изъ которыхъ двѣ изъявляютъ сильное желаніе окунуться въ купель силоамскую.

3) Десятокъ инвалидовъ, изъ которыхъ двое въ эту самую минуту, что называется, безъ заднихъ ногъ.

— Что-жъ вы не представляете куда слѣдуетъ?—спросите вы.

— Представляемъ-съ!

— Что-жъ, отвѣчаютъ?

— И отвѣчаютъ-съ!

— Да что отвѣчаютъ?

— А отвѣчаютъ: здорово живешь-съ!

Такимъ образомъ одинъ пунктъ обвиненія устраненъ, и Ѳедоръ Ильичъ осязательно доказалъ вамъ, что никакой въ свѣтѣ пожаръ не можетъ и не обязанъ бояться его, подъ опасеніемъ прослыть за трусишку и дурака.

— Но какъ же вамъ не стыдно, только и дѣла, что въ карты дуться?—продолжаете вы свои обвиненія.

— Помилуйте, отчего же-съ? День-то-деньской слоняешься, день-деньской всякую нечистоту по городу прибираешь—надо же и отдохнуть-съ.

Вы начинаете понимать, что не виноватъ же Ѳедоръ Ильичъ, что карты служатъ для него единственно доступнымъ средствомъ отдохновенія; что тутъ есть нѣчто, кроющееся въ самой средѣ, въ которой онъ процвѣтаетъ; что Ѳедоръ Ильичъ самъ по себѣ не можетъ ни жить, ни дѣйствовать иначе, нежели какъ онъ живетъ и дѣйствуетъ. И вы невольнымъ образомъ повторяете: «отчего же и не отдохнуть хорошему человѣку?»

Я же, съ своей стороны, могу, въ оправданіе нашего градоначальника, прибавить, что онъ вовсе не такъ равнодушно принялъ вѣсть о пожарѣ. Напротивъ того, когда ему доложили: «мѣщанка Залупаева горитъ, ваше высокоблагородіе!»—то онъ стремительно бросилъ карты и воскликнулъ при этомъ: «вѣдь дернула же ее нелегкая горѣть въ такую пору!» Стало-быть, онъ страдалъ.

Но, кромѣ изложенныхъ выше обвиненій, вы позволили вашей фантазіи увлечь васъ дальше, нежели сколько было нужно для выполненія вашей же собственной задачи. Вы указали на героя, прославившаго собой городъ А**, и пожелали, чтобъ Ѳедоръ Ильичъ, подобно этому герою, ходилъ съ обгорѣлыми фалдами. Позвольте сказать вамъ, что упрекъ этотъ сколько несправедливъ, столько же и неоснователенъ.

Самъ Ѳедоръ Ильичъ всего болѣе возмущенъ былъ именно этимъ мѣстомъ вашей статьи.

— Ну, скажите на милость!—говорилъ онъ въ тотъ самый вечеръ собравшейся у исправника компаніи единомышленниковъ:—ну, что-жъ было бы хорошаго, если-бы я, какъ профанъ какой-нибудь, безъ фалдъ по городу бѣгалъ? Да и на чей я счетъ, кукишъ съ масломъ, буду фалды новыя покупать?

Резоннѣе и складнѣе этого отвѣта я ничего придумать не въ состояніи.

Или опять судья: чѣмъ виноватъ онъ, что тученъ? Или засѣдатели: чѣмъ виноваты, что ковыряютъ въ носу? Благолѣповъ правду сказалъ, что это занятіе всей ихъ жизни; а если это такъ, то слѣдовательно никто и не имѣетъ права лишать ихъ возможности предаваться этому занятію.

Извините меня, Корытниковъ, но мнѣ кажется, что вы скользите только по поверхности; вы только подозрѣваете, что есть гдѣ-то, въ окрестностяхъ вашихъ, болото, но гдѣ оно и какого оно свойства—это тайна, которую вамъ врядъ ли суждено когда-нибудь проникнуть.

Но времена созрѣли, и какъ бы ни была малоискусна пѣсня Корытникова, онъ не можетъ не пѣть. Выдьте весною на улицу, прислушайтесь, какой концертъ задаютъ тамъ воробьи! Стадами они перелетаютъ съ одной крыши на другую; вприпрыжку, и какъ бы торопясь куда-то, снуютъ по улицѣ; суетливыми и веселыми обществами хлопочутъ около обнажившихся кучекъ старой ветоши, и что за неистовыя чириканія оглашаютъ въ то время теплый, насыщенный влагою воздухъ! Воробка, воробка, зачѣмъ такъ подпрыгиваешь? зачѣмъ, дурачокъ, такъ весело чирикаешь? Но не даетъ отвѣта воробка, а только пуще и пуще чирикаетъ, уморительнѣе и уморительнѣе подпрыгиваетъ.

Подобно сему и Корытниковъ, объятый весеннимъ чувствомъ, поетъ возрожденіе природы, поетъ красоту гласности и самоуправленія, поетъ взволнованность своихъ собственныхъ чувствъ. Спросите, зачѣмъ поетъ онъ пѣсню про городничаго,—онъ въ отвѣтъ споетъ вамъ пѣсенку про почтмейстера; спросите, зачѣмъ поетъ про почтмейстера,—онъ споетъ вамъ пѣсню объ исправникѣ... Дальнѣйшихъ объясненій отъ него не требуйте, ибо это объясненіе лежитъ въ его артистически устроенномъ горлышкѣ и въ той весенней оттепели, которая чувствуется въ воздухѣ.

И потому Ѳедоръ Ильичъ поступилъ не только нечестно, но даже и неразсчетливо, преслѣдуя Корытникова съ такою неумолимостью. Во-первыхъ, онъ этимъ преслѣдованіемъ ничего не выигралъ, ибо хотя и удалось ему изгнать Корытникова, но мѣсто его тотчасъ же занялъ Благолѣповъ, занялъ Наградинъ, занялъ Столпниковъ, и въ настоящую минуту нѣтъ въ Россіи города, въ которомъ такъ часто раздавалось бы чириканье воробьевъ, какъ въ нашемъ родномъ городѣ Глуповѣ. Во-вторыхъ, не достигши своей цѣли, Ѳедоръ Ильичъ сдѣлался грустенъ и раздражителенъ. Онъ безъ разбора хваталъ и ловилъ пріѣзжающихъ на базаръ мужиковъ и торговцевъ, вездѣ предполагая измѣну, во всякомъ неизвѣстномъ ему лицѣ заподозрѣвая насадителя клеветы и распространителя ложныхъ слуховъ. Взятки сталъ брать пуще прежняго: первѣе всего, слѣдую-

щія ему вообще, по установленнымъ праотцами обрядамъ, потомъ—слѣдующія ему же за страхъ будущаго обруганія.

— Пускай пишутъ! пускай пишутъ! — приговариваетъ онъ, съ какимъ-то дикимъ наслажденіемъ пересчитывая и разглаживая на столѣ ладонью поднесенныя ему ассигнаціи.

Но, нѣтъ, онъ обманываетъ лишь себя, говоря такимъ образомъ! Въ ту самую минуту, когда онъ притворяется равнодушнымъ къ филиппикамъ Благолѣпова (доказывающаго, между прочимъ, что Ѳедоръ Ильичъ до того безпеченъ, что не даетъ себѣ даже труда выдергать вылѣзающіе изъ его носа волосы), онъ чувствуетъ, что внутри его нѣчто колышется и хохочетъ, что руки его судорожно сжимаются, какъ бы обвивая мысленно длинную шею Благолѣпова.

— Желалъ бы я!—восклицаетъ онъ въ безсильной ярости, но уже не тѣмъ здорово-зычнымъ голосомъ, которымъ восклицалъ въ началѣ нашей статьи, а тонами двумя пониже.

И все оттого только, что онъ чириканье воробья принялъ за крикъ орла! Все оттого, что дернула нелегкая какую-то мѣщанку Залупаеву горѣть въ такое время, когда къ нему, градоначальнику, привалило восемь въ червяхъ, а пожарныя лошади отъѣзжали въ луга за сѣномъ, для собственнаго своего прокормленія!

Да! разрушительно дѣйствуешь ты, о, гласность, на организмы человѣческіе! Пенза! Уфа! Саратовъ! Ужели никто никто не избѣжитъ ея всепожирающаго зѣва? Вездѣ, даже тамъ, гдѣ прежде спокойно грабили почту на главной улицѣ, даже тамъ, гдѣ нѣкогда, среди бѣла-дня, безнаказанно застрѣливали людей (и никто не слыхалъ выстрѣла!), вездѣ возстаетъ свой домашній бардъ, беретъ въ руки гармонику и воспѣваетъ славу или стыдъ своей отчизны!

Самъ генералъ Зубатовъ смутился и поистинѣ не знаетъ, что̀ ему дѣлать. И до него доползло весеннее чувство, но не подновило, а, напротивъ того, произвело лишь разслабленіе въ ветхомъ его организмѣ.

— Что̀ это за женскія гимназіи? что̀ это за воскресныя училища?—восклицаетъ онъ, ломая въ отчаяніи руки.

И въ ту же минуту отправляетъ гонца за откупщикомъ.

Откупщикъ изумляется и вызываетъ кассира.

— За майскую треть дадено?—спрашиваетъ онъ.

— Дадено,—отвѣчаетъ кассиръ.

— Что̀ за чортъ!

Однако, дѣлать нечего, напяливаетъ фракъ и отправляется.

— Ну, мой милый!—еще издали кричитъ ему генералъ, какъ-то особенно-привѣтливо улыбаясь:—вотъ теперь-то мы посмотримъ, дѣйствительно ли вы патріотъ?

Его сивушество слегка съёживается, точно ему змѣю за пазуху пустили, но въ то же время старается сохранить веселый и непринужденный видъ, ибо вздумай онъ нахмуриться — генералъ, чего добраго, скажетъ ему: «невѣжа, пошелъ вонъ!»

— Что прикажете, ваше превосходительство?—говоритъ онъ, развязно расшаркиваясь.

— Для себя—ничего, для отечества—многое!—отвѣчаетъ генералъ, пронзая откупщика взорами и какъ бы измѣряя глубину его патріотизма.

— Прикажете балъ-съ... маскарадъ-съ?.. Ваши слуги, ваше превосходительство!

— Гимназію!—восклицаетъ генералъ неожиданно.

Его сивушество стоитъ озадаченный, очевидно недоумѣвая, какое можетъ имѣть отношеніе очищенная и трехпробная къ отечественному просвѣщенію.

— Гимназію, женскую гимназію!—повторяетъ генералъ, полоснувъ себя краемъ ладони по горлу въ знакъ того, что гимназія у него вотъ гдѣ сидитъ.

Откупщикъ покраснѣлъ какъ ракъ. Онъ понимаетъ, что какъ тутъ ни вертись, а отъ издержекъ не отвертишься, но не умѣетъ еще сообразить, какою суммою можно отдѣлаться. А ну, какъ ляпнешь сдуру такой кушъ, какого совсѣмъ и не требуется!

— Да, мой милый,—грустно говоритъ, между тѣмъ, генералъ:—было... было! Было время, когда мы думали о томъ, какъ бы общество наше соединить... чтобъ пикники тамъ... parties de plaisir... Теперь это все надо кинуть!

Генералъ умолкаетъ и какъ будто начинаетъ грустить, но черезъ нѣсколько минутъ поправляется и продолжаетъ уже съ нѣкоторою молодцоватостью:

— Теперь мы о гимназіяхъ разсуждаемъ... Да!

Но его сивушество все еще не собрался съ духомъ. Ему слишкомъ отчетливо представляется и недавнее пожертвованіе спирта для освѣщенія города, и недавняя покупка десяти фунтовъ чаю для больницы, и другія посильныя жертвы... Ахъ, чортъ побери да и совсѣмъ!

— Конечно, ваше превосходительство, — говоритъ онъ наконецъ:—гимназія... и въ особенности для благородныхъ дѣвицъ... очень пріятное заведеніе.

— Ну-съ!

— Я къ тому, ваше превосходительство... что еще въ недавнее время... освѣщеніе города... а также и другія общеполезныя устройства-съ...

— Ну-съ!—повторяетъ генералъ.

Откупщикъ откашливается.

— Я ничего, ваше превосходительство... мы гимназіямъ не препятствуемъ-съ... мы, напротивъ того, съ нашимъ удовольствіемъ... я только насчетъ того, что еще въ недавнее время...

— Гм!.. стало-быть, вы допустите, чтобъ въ какой-нибудь мерзкой газетишкѣ на всю Россію опубликовали, что *у меня* нѣтъ гимназіи?

— Помилуйте, ваше превосходительство, зачѣмъ же-съ?

— Стало-быть, для васъ все равно, что какой-нибудь щелкоперъ осмѣлится выразиться обо мнѣ, что я не имѣю достаточно энергіи, что я человѣкъ несовременный... что *у меня* нѣтъ гимназіи, наконецъ?

— Я, ваше превосходительство...

— Такъ я вамъ докажу, милостивый государь, что у меня еще есть энергія! — восклицаетъ генералъ, величественно выпрямляясь.

Однимъ словомъ, его сивушество смиряется, и вопросъ о женской гимназіи, едва-едва не претерпѣвшій крушеніе, разрѣшается благопріятно. Въ слѣдующемъ же нумерѣ мѣстныхъ вѣдомостей редакторъ уже предвкушаетъ ея учрежденіе въ особо написанной по этому поводу статьѣ:

«СЛУХИ».

«Слухъ носится, что, благодаря неусыпнымъ попеченіямъ (чьимъ—на это отвѣтитъ всякое сердце Полоумновской губерніи), у насъ въ скоромъ времени будетъ открыта женская гимназія, и что всѣ нужныя распоряженія уже сдѣланы. Мы уполномочены объявить, что старанія начальства въ этомъ истинно-полезномъ и благотворительномъ дѣлѣ встрѣтили полное и просвѣщенное содѣйствіе со стороны мѣстнаго управляющаго акцизно-откупнымъ комиссіонерствомъ, купца М., готоваго, какъ извѣстно, на всякаго рода пожертвованія, имѣющія цѣлью счастіе и пользу ближняго.

«Носятся и другіе, не менѣе отрадные слухи (какъ, напримѣръ, объ открытіи въ нашемъ городѣ воскресныхъ

классовъ), но покамѣстъ умолчимъ о нихъ, предоставляя себѣ право подѣлиться съ читателемъ нашими надеждами въ то время, когда онѣ будутъ близкими къ осуществленію.

«Но такъ какъ всякая медаль имѣетъ свою хорошую и свою дурную сторону, то не можемъ пройти молчаніемъ, что дѣло просвѣщенія и въ нашей губерніи не вездѣ встрѣчаетъ одинаковое сочувствіе. Такъ, напримѣръ, дикіе и невѣжественные нововласьевцы и доселѣ упорствуютъ въ своемъ коснѣніи и твердо принятомъ намѣреніи оставаться безграмотными во что бы то ни стало. Когда же лучъ солнца освѣтитъ это непроходимое болото?»

— Вотъ тебѣ и съ праздникомъ!—говоритъ нововласьевскій городской голова Прудовъ, прочитавъ эту любезность.

— За что-жъ онъ насъ по зубамъ-то треснулъ?—спрашиваетъ, въ свою очередь, гласный Клубницынъ.

— А такъ вотъ: проѣзжалъ поблизости — и заѣхалъ! Поди, судись съ нимъ!

И я, въ свою очередь, спрошу васъ, почтенный редакторъ полоумновской газеты: за что вы треснули по зубамъ гражданъ города Нововласьевска?

Я съ вами напередъ соглашаюсь, что просвѣщеніе—хорошая вещь, что ученіе свѣтъ, а неученіе тьма и т. п. Сознаюсь также, что образованіе, которое дается нашимъ дѣвицамъ, убійственно. Образованнѣйшая изъ нихъ еще можетъ поразсказать вамъ кое-какія подробности о Гвадалквивирѣ, потому что—

Ночной зефиръ
Струитъ эѳиръ,
Шумитъ, бѣжитъ Гвадалквивиръ...

или о Брентѣ, потому что—

Ночь весенняя дышала
Ароматной тишиной,
Тихо Брента протекала,
Серебримая луной.

Но чуть дѣло коснется Мансанареса, послѣдуетъ неизбѣжный тупикъ, ибо Мансанаресъ — рѣчка маленькая и, должно полагать, очень вонючая, если ни въ одномъ русскомъ романсѣ о ней не упоминается. Согласенъ, что при такомъ уровнѣ образованія дѣвицы наши не въ состояніи интересоваться полезною дѣятельностью географическаго общества, ни даже принять участіе въ спорѣ, возникшемъ по поводу опредѣленія дѣйствительнаго дня смерти Бориса Годунова.

Но чѣмъ виноваты во всемъ этомъ нововласьевскіе граждане? Тѣмъ ли, что въ средѣ ихъ не отыскалось, какъ въ Полоумновѣ, благодѣтельнаго откупщика? Тѣмъ ли, что ихъ ужъ тошнитъ отъ общеполезныхъ устройствъ и сопряженныхъ съ ними пожертвованій? Тѣмъ ли, что они, быть-можетъ, имѣютъ причины (по ихъ разумѣнію, даже весьма законныя) не желать именно *вашихъ* общеполезныхъ устройствъ?

И между тѣмъ, не разобравши дѣла порядкомъ, вы разогорчили нововласьевскихъ гражданъ всѣхъ до единаго!

Повторяю: разрушительно дѣйствуешь ты, о, гласность! и не только на отдѣльныхъ людей, но и на цѣлые общественные организмы. Несмотря на учрежденіе женскихъ гимназій и воскресныхъ школъ, несмотря на процвѣтаніе трезвости, несмотря на успѣхи, которые въ послѣднее время сдѣлала мысль о самоуправленіи, провинціальный нашъ людъ скучаетъ и бьетъ баклуши. Прежняя привольная жизнь провинціи исчезаетъ все болѣе и болѣе; вмѣсто нея является какая-то чопорная натянутость, какой-то нелѣпый антагонизмъ, еще не высказывающійся явно, но уже дающій себя чувствовать особаго рода метаніемъ взоровъ, расширеніемъ ноздрей, покорабленіемъ устъ и общимъ рыло-кошеніемъ. Старая веселая Русь (old merry Russia) прячется по домамъ и втихомолку переворачиваетъ анекдоты о загнанныхъ жидахъ и обманутыхъ нѣмцахъ. Подобно стыдливымъ фіалкамъ, члены ея собираются другъ у друга интимными кружками, и тутъ, сокрушаясь и вздыхая, бесѣдуютъ о временахъ минувшихъ, когда и солнце грѣло свѣтлѣе, и земля, безъ помощи удобренія, приносила самъ-двадцать, и Фильки отправлялись на конюшню безпрекословно, и винокуренные заводчики удѣляли милостивцамъ по четыре копейки съ ведра, а не по двѣ, какъ нынѣ. Вотъ они всѣ тутъ: вотъ и заиндивѣвшій обладатель множества Филекъ и Прошекъ, и застѣнчивый откупщикъ, и облизывающійся аристократъ изъ казенной палаты—однимъ словомъ, всѣ тѣ, которымъ дорого, чтобъ наша отечественная цивилизація развивалась постепенно, а не скачками.

— Какое изобиліе рыбы въ рѣкахъ было!—тоскуетъ помѣщикъ Птицынъ.

— И какая была все крупная-съ! — вздыхаетъ недоросль изъ дворянъ Сагитовъ.

Присутствующій при этомъ разговорѣ отставной капитанъ Постукинъ хотя и не принимаетъ словеснаго участія

въ разговорѣ, но оттопыриваетъ губы и отмѣриваетъ руками два аршина, чтобъ показать наглядно, какихъ размѣровъ водилась въ рѣкахъ рыба.

— Во всемъ, во всемъ изобиліе было! — вступается генералъ Голубчиковъ, облизываясь и сгорая нетерпѣніемъ дать разговору винокуренное направленіе.

— И музицкій больше вина кусали!—подвиливаетъ хвостомъ Гершъ Шмулевичъ.

— И винокуренные заводчики свой расчетъ находили!—подхватываетъ Голубчиковъ.

— Да и люди были какіе-то особенные!—рычитъ отставной корнетъ Катышкинъ.—Примѣрно доложу хоть насчетъ дорогъ—что это за безцѣнный народъ въ дорогахъ былъ: засядешь, бывало, въ трущобу, экипажи были все грузные, отъ лошадей такъ и валитъ паръ—ну, просто смерть! Ничуть не бывало! Кликнешь только: «Трошка!» Слѣзетъ это Трошка съ козелъ: тутъ ногой, тамъ плечомъ — и пошла въ ходъ колымага!

— Сердечный народъ былъ, любовный!

— И какъ, бывало, все просто дѣлалось! Угодилъ, бывало, финизервъ какой-нибудь къ обѣду сочинилъ—рюмка водки тебѣ; сплошалъ, таракана тамъ, что ли, въ супъ пустилъ—не прогнѣвайся, другъ, сейчасъ его au naturel, и маршъ на конюшню!

— И не роптали!

— Не только не роптали, а еще Бога за господъ молили, поильцами, кормильцами называли!

Но—увы!—какъ ни велики, какъ ни искренни сѣтованія Постукина и Сагитова, не подлежитъ сомнѣнію, что прежнее веселое время исчезло безъ возврата. Какое-то мрачное шпіонство, какое-то пошлое подглядываніе и подслушиваніе всасываются повсюду: и въ присутственныя мѣста, и въ клубы, и въ частные дома, не говоря уже объ улицахъ, перепутьяхъ, распутьяхъ и мѣстахъ пустопорожнихъ. Садитесь ли вы въ клубѣ за карты—вы, даже зажмуривъ глаза, ощущаете, какъ изъ темнаго угла сверкаютъ на васъ глаза мѣстнаго публициста, какъ будто говоря вамъ: «Малодушный! какъ могъ ты найти въ себѣ рѣшимость заниматься презрѣнными картами въ то время, когда отечество столь сильно нуждается въ хорошихъ людяхъ!» Идете ли вы по улицѣ и, зазѣвавшись по сторонамъ, ощущаете необходимость заняться носомъ — передъ вами изъ земли вырастаетъ другой публицистъ и, прерывая ваше

занятіе, вопіетъ: «Время ли, сударь, ковырять въ носу, когда отечество требуетъ служенія безпрестаннаго, неуклоннаго и неумытнаго?» Вздумаете ли созвать къ себѣ гостей—передъ вами возстаетъ третій заскорузлый въ обличеніяхъ публицистъ и, поѣдая приготовленныя закуски и яства, въ то же время неистовствуетъ руками и ногами, мечетъ огненные взоры и одаряетъ веселящихся язвительными улыбками, ясно говорящими: «смѣйтесь! веселитесь! скоро-скоро наступитъ благорастворепіе воздуховъ, и помеломъ очищено будетъ ваше нечистое торжище!»

Однимъ словомъ, нѣтъ возможности предпринять самое простое дѣйствіе: сшить себѣ новое пальто, купить фунтъ икры и т. д., чтобъ дѣйствія этого не подсмотрѣлъ мѣстный бардъ и тутъ же безцеремонно не выразилъ, что «чѣмъ икру-то пожирать, лучше бы эти деньги на воскресную школу пожертвовать!»

О, Корытниковъ! дай мнѣ вздохнуть на минуту! Я готовъ умереть, если это можетъ доставить тебѣ удовольствіе, но не смотри же на меня своими черными глазами, покуда я говорю послѣднее «прости» женѣ и дѣтямъ!

Но нѣтъ, даже здѣсь, даже въ моемъ уединеніи, ты не оставляешь меня! Покуда я дописываю настоящую статью, изъ-за тонкой перегородки, отдѣляющей мою квартиру отъ сосѣдней, долетаютъ до моего слуха знакомые звуки. То бесѣдуютъ два друга-публициста, и въ разумной ихъ бесѣдѣ принимаетъ участіе и жена моего сосѣда.

— А трезвость продолжаетъ-таки дѣлать успѣхи!—говоритъ гость.—Еще нѣсколько усилій, и побѣда за нами!

— Ахъ, какой циркуляръ насчетъ этого въ Самарѣ вышелъ!—восклицаетъ моя сосѣдка.

— Н-да, нашему генералу такого не написать! — отзывается хозяинъ дома.

— А въ Саратовѣ, напротивъ того, дикости какія-то дѣлаются! Представьте себѣ, тамъ трезвыхъ людей бунтовщиками называютъ.

— Всякая плодотворная идея имѣетъ своихъ мучениковъ!—говоритъ гость.

— Нѣтъ, воля ваша, а со стороны саратовскихъ властей это просто отсутствіе всякаго понятія о гражданской доблести.

— Ахъ, Марья Ивановна! развѣ всякій въ состояніи вмѣстить въ себѣ это понятіе?—уныло спрашиваетъ гость.

— Конечно... однакожъ, какое варварство!

Разговоръ стихаетъ; звуки стакановъ и чашекъ мѣшаютъ мнѣ слѣдить за продолженіемъ его. Одна только фраза долетаетъ до меня, и рука моя невольнымъ образомъ передаетъ ее печати:

— А я сегодня читала «Морской Сборникъ»,—говоритъ жена сосѣда:—«Правительственныя распоряженія» до такой степени увлекли меня, что я совершенно забылась!

1860 г.

VII.—Клевета.

(Посвящается добрымъ моимъ пріятелямъ).

Что Глуповъ возрождается, украшается и совершенствуется—это, я полагаю, давно всѣмъ извѣстно. Онъ не имѣлъ никакихъ понятій—явились понятія; онъ не имѣлъ страстей—явились страсти. Глуповъ задранъ за живое.

Глуповцы спокойно жили доселѣ въ своемъ горшкѣ и унавоживали дно его. Когда-то какая-то рука бросила имъ въ горшокъ кусокъ чернаго хлѣба, и этого было достаточно для удовлетворенія ихъ неприхотливыхъ потребъ. Постепенно этотъ кусокъ сдѣлался истиннымъ палладіумомъ глуповскаго міросозерцанія, глуповскихъ надеждъ и глуповскаго величія. Въ немъ одномъ находили для себя глуповцы источникъ жизни и силы; онъ одинъ имѣлъ привилегію пробуждать отъ сна и вызывать къ дѣятельности этихъ зодчихъ праздности, этихъ титановъ тунеядства и чревоугодничества. Они суетились, бѣгали и ползали; они плевали другъ другу въ глаза и въ носъ, и въ ротъ (и тутъ же наскоро обтирались); они толкались и подставляли другъ другу ногу... и все изъ-за того, чтобъ встать поближе къ лакомому куску, чтобъ вырвать изъ него зубами какъ можно больше утучняющаго вещества.

Настало другое время, явилась другая рука. Стало казаться страннымъ, что Божій даръ обгаживается самымъ непозволительнымъ образомъ; возникли опасенія, что при дальнѣйшемъ обгаживаніи Божій даръ можетъ окончательно утратить свой первобытный образъ; почувствовалась необходимость, чтобы та же рука, которая бросила приваду въ горшокъ, взяла на себя трудъ и вынуть ее оттуда. Рука явилась—и ошпарила глуповцевъ.

Понятно, что послѣ этого Глупову невозможно не развиваться и не стремиться къ совершенству. Онъ и радъ бы снова юркнуть въ горшокъ, но видитъ, что кипятку еще

предостаточно, и потому сгрубить не осмѣливается. Но не менѣе понятно и то, что Глуповъ, хотя и доведенный столь рѣшительнымъ оборотомъ дѣла до раскаянія, не долженъ, однакожъ, питать никакихъ особенно благодарныхъ чувствъ. Свои чувства онъ таитъ про себя, и, чтобъ успѣшнѣе надуть публику, шевелитъ усами, цѣлуетъ ручку и увѣряетъ, что исправился и впередъ не будетъ. Но не увлекайся, о, неопытный путникъ, манящею наружностью зеленаго ковра, покрывающаго трясину! Не успѣешь ты поставить на него ногу, какъ трясина ужъ засосетъ тебя; не успѣешь ты войти во вкусъ глуповскихъ протестацій, какъ Глуповъ ужъ засосетъ тебя!

Я достаточно наблюдалъ надъ нравами глуповцевъ, чтобъ умѣть распознавать истинныя движенія сердецъ ихъ отъ движеній мнимыхъ. Я знаю, что если глуповецъ, несмотря на мое упорство, ловитъ у меня руку поцѣловать, то это значитъ, что онъ почему-то меня боится, что онъ ждетъ отъ меня какой-то милости. Быть-можетъ, онъ заблуждается; быть-можетъ, я не имѣю возможности сдѣлать ему ни добра, ни зла, но я напрасно сталъ бы завѣрять его въ этомъ: не повѣритъ ни за что въ свѣтѣ. Онъ подлецъ, и потому убѣжденъ, что всякій, кто имѣетъ силу, имѣетъ ее для того, чтобъ бить, и что отъ этихъ побоевъ можно избавиться только кривляніями. Въ такихъ обстоятельствахъ, если я самъ человѣкъ глупонравный и безстыжій, то могу дѣлать надъ глуповцемъ все, что моей душѣ угодно: могу заставить его снимать съ меня сапоги; могу заставить его брать сигару зажженнымъ концомъ въ ротъ, пить изъ полоскательной чашки, представлять Фанни Эльслеръ и вообще производить всѣ увеселительныя упражненія, на изобрѣтеніе которыхъ такъ торовато глуповское воображеніе. Но зато я знаю также, что если я чуть-чуть оплошалъ, если глуповецъ почему-либо утратилъ вѣру въ мою силу, если онъ не имѣетъ побужденія ни бояться меня, ни ждать отъ меня милости, онъ сейчасъ же подбѣжитъ къ столбику и подниметъ ногу.

И потому, когда глуповецъ гримасничаетъ и говоритъ мнѣ: «ха-ха!»—я всегда совершенно явственно слышу, что въ утробѣ его бурчитъ «хо-хо!»; когда глуповецъ жметъ мою руку, я всегда самымъ положительнымъ образомъ ощущаю, что въ его рукѣ есть трясеніе какое-то, есть ехидная какая-то судорога; когда глуповецъ лѣзетъ цѣловаться со мной, я знаю навѣрное, что въ это время у него щелкаютъ зубы.

Зрѣлище унизительное и въ высокой степени безнравственное! Надо безъ оглядки бѣжать изъ этой страшной среды, чтобъ не засосаться въ нее, чтобъ не осквернить свою душу.

Во всякомъ случаѣ, глуповскими протестаціями въ любви увлекаться нельзя. Во-первыхъ, глуповецъ слишкомъ ошпаренъ, а во-вторыхъ, онъ ищетъ только случая, какъ бы поудобнѣе и побезнаказаннѣе поднять ногу. Повторяю: не довѣряй слишкомъ опрометчиво, о, неопытный путникъ, манящей наружности зеленаго ковра, покрывающаго сію трясину! Коверъ—это распухшая отъ водки рожа глуповца; трясина—это исполненная ехидства душа его!

Самая простая и вмѣстѣ съ тѣмъ самая дѣйствительная манера подниманія ноги—это сплетня и клевета, и глуповецъ пользуется ею до пресыщенія. Я бы сказалъ, что сплетня разъѣдаетъ Глуповъ, что со временемъ она должна въ конецъ уничтожить его, если бы не зналъ навѣрное, что тутъ ни разъѣдать, ни уничтожать нечего, что тутъ живетъ одно тлѣніе, которое потому и живетъ, что оно тлѣніе. Сплетнею и клеветой занимался Глуповъ еще до ошпариванія, еще въ то время, когда онъ, въ веселіи сердца, унавоживалъ дно горшка. Онъ былъ на это великій художникъ и предпочиталъ этому искусству развѣ искусство смѣшить и увеселять своихъ добрыхъ начальниковъ. Первое онъ называлъ своимъ незаконопротивнымъ упражненіемъ души и сердца, второе—своею политикой. Первое доставляло ему утѣшеніе; второе бросало ему въ ротъ катышки со стола богатаго Лазаря.

Повидимому, какое дѣло Флору Лаврентьевичу Ржанищеву, что у Николая Семеныча Примогенова носъ вавилонами выросъ? Анъ дѣло, потому что Флоръ Лаврентьевичъ о томъ только и печалится.

Какое дѣло Ѳедькѣ Козелкову, что Сеня Бирюковъ и легъ, и всталъ у Катерины Силантьевны? Анъ дѣло, потому что Ѳедька Козелковъ находится по этому случаю въ большихъ попыхахъ: онъ наскоро сообщаетъ объ этомъ по секрету своему другу Володькѣ Паршивину, а Володька Паршивинъ приходитъ въ ужасъ, и тутъ же дѣлится полученною новостью съ Петькой Перетыкинымъ.

Какое дѣло кабаньей женѣ, что поросенковъ братъ третьяго дня съ свиньиной племянницей черезъ плетень нюхался? Анъ дѣло, потому что кабанья жена до изступленія чувствъ этимъ взволнована, потому что кабанья

жена дала себѣ слово неустанно искоренять поросячью безнравственность и выводить на свѣжую воду тайные поросячьи амуры.

Какое дѣло всѣмъ этимъ Терентьичамъ, Сидорычамъ и Трифонычамъ, что я ѣлъ сегодня пирогъ съ капустой, потомъ заходилъ къ Матренѣ Ивановнѣ, и у нея ѣлъ пирогъ съ налимьими печенками? Анъ дѣло, потому что едва я вхожу въ залу клуба, какъ ко мнѣ подлетаетъ Терентьичъ.

— А вы сегодня пирогъ съ капустой ѣли! — говоритъ онъ, и при этомъ строитъ такую рожу, какъ будто хочетъ спросить:—«а раскуси-ко, братъ, какъ я это узналъ?»

— Ну, да, ѣлъ.

Не отлетѣлъ еще Терентьичъ, какъ подлетаетъ Сидорычъ:

— А вы сегодня у Матрены Ивановны были!

— Ну, да, былъ.

За нимъ подлетаетъ Трифонычъ:

— А вы сегодня у Матрены Ивановны пирогъ съ налимьими печенками кушали!

— Ну, да, ѣлъ.

И благо мнѣ, если я ограничусь краткими отвѣтами. Но если я истинный глуповецъ, то непремѣнно пущусь въ разысканія, буду мучиться мыслью, какимъ образомъ все это узналось, буду допытываться, буду приставать. И выйдетъ изъ этого такая благодатная штука, которая самымъ пріятнымъ образомъ наполнитъ мое существованіе въ продолженіе нѣсколькихъ дней.

Все это, однакожъ, было очень невинно и потому мало кого трогало. Конечно, разсказъ о лежаніи и вставаніи Сени Бирюкова довольно пакостнаго свойства, но свойство это значительно умѣрялось тѣмъ, что если Ѳедька Козелковъ разсказывалъ о похожденіяхъ Сени, то и Сеня, въ свою очередь, передавалъ подъ величайшею тайной, что вчера ночью достовѣрные люди видѣли, какъ Ѳедька влѣзалъ черезъ окно къ Матренѣ Ивановнѣ, и что, вслѣдствіе этого, сегодня утромъ у Ѳедьки появились золотые часы. И оба были довольны, и оба не питали ни малѣйшей другъ къ другу претензіи.

Да и можно ли было оставаться недовольнымъ? Если Флоръ Лаврентьичъ треснетъ Николая Семеныча по уху, а Николай Семенычъ также треснетъ за это Флора Лаврентьича по уху—стало-быть, они квиты. Если Ѳедька Козелковъ плюнетъ Володькѣ Паршивину въ лицо, а Во-

лодька Паршивинъ за это также плюнетъ Ѳедькѣ Козелкову въ лицо—стало-быть, они квиты. «Гарсонъ! подай шампанскаго!»—и все тутъ. Это круговая порука, въ которой не было ни одного не битаго и насквозь не исплеваннаго.

Однако бывали клеветы и погнуснѣе.

Повѣритъ ли, напримѣръ, благосклонный читатель, что въ одной изъ глуповскихъ палестинъ нѣкоторый старецъ десять лѣтъ состоялъ подъ судомъ по жалобѣ эстляндской уроженки дѣвицы Фрикъ на обольщеніе ея тѣмъ коварнымъ старцемъ, и что жалоба эта и самая дѣвица оказались впослѣдствіи остроумнымъ вымысломъ нѣкоторыхъ развеселыхъ глуповскихъ ребятъ? А между тѣмъ такое дѣло было, я видѣлъ его собственными моими глазами!

Дѣвица Фрикъ!—А позвать старца къ отвѣту! Ха-ха!

— Милостивые государи!—взываетъ старецъ:—никогда такой дѣвицы не бывало! Сами видите, что это пасквиль!

Нужды нѣтъ!—Отнестись къ начальству Эстляндской губерніи о разысканіи дѣвицы Фрикъ... Хи-хи!

— Нѣтъ дѣвицы Фрикъ! — отвѣтствуетъ начальство Эстляндской губерніи.

А сдѣлать дѣвицѣ Фрикъ повсемѣстный по Россійской имперіи розыскъ... Хи-хи!

А предписать глуповской земской полиціи произвести по прошенію дѣвицы Фрикъ наистрожайшее слѣдствіе... Хи-хи!

А объявить старцу, что, по свойству взводимаго на него обвиненія, онъ обязывается отыскать лицо, которое согласилось бы взять его на поручительство... Хи-хи!

И вотъ старецъ, который, быть-можетъ, мечталъ только о томъ, чтобъ остатокъ дней своихъ посвятить посыпанію пескомъ аллей своего сада, чувствуетъ существованіе свое отравленнымъ. Онъ день и ночь строчитъ отвѣты и объясненія; онъ мечется какъ угорѣлый и соритъ деньгами, чтобъ достать по себѣ поручителя («чего добраго, еще напляшешься съ такимъ сорванцомъ!» не безъ ироніи говорятъ глуповцы), онъ подаетъ жалобу за жалобой, онъ ѣздитъ, онъ кланяется, онъ умоляетъ... Но нѣтъ ничего мрачнѣе глуповцевъ, когда они принимаются острить! Напрасно кланяется и умоляетъ старецъ—они не внемлютъ; они стоятъ себѣ въ кружкѣ да покатываются.

— Скажите, пожалуйста, какая непріятная исторія!—говоритъ одинъ изъ нихъ огорченному старцу.

Старецъ клянется, что онъ невиненъ.

— Да какъ же ты, Панфилъ Пантелеичъ, не умѣлъ концы въ воду схоронить?—говоритъ другой.

Старецъ вновь клянется, что онъ невиненъ.

– Э! да ты Донъ-Жуанъ, Панфилъ Пантелеичъ!

— Э! да тебя, братъ, семейному человѣку въ домъ къ себѣ опасно пускать!..

И проводя такимъ образомъ жизнь, глуповцы блаженствовали, наслаждались и умирать отнюдь не желали. Казалось бы, что такого рода занятіе слѣдовало бы оставить, особливо въ настоящее время, когда и т. д. Казалось бы, что кабаньей женѣ надлежало бы болѣе интересоваться тѣмъ, что въ Глуповѣ о-сю пору не заведено женской гимназіи, нежели амурными похожденіями поросенкова брата. Но,—увы!—все это только «казалось бы»! Отнюдь не слѣдуетъ забывать, что глуповское возрожденіе есть въ полной мѣрѣ глуповское, и что, слѣдовательно, самыя проявленія и послѣдствія его должны быть глуповскими.

Глуповецъ упоренъ, и отъ привычки своей (особливо, если она ему пришлась по сердцу) не отстанетъ ни за что на свѣтѣ. Разрушайся въ глазахъ его вселенная, лопайся откупъ, сокрушайся крѣпостное право—онъ останется вѣренъ своей привычкѣ и твердъ какъ скала. Казалось бы, какая дрянная привычка (и какъ бы легко ее бросить!)—ковырять въ носу, класть въ ротъ пальцы, плеваться, когда говоришь,—а глуповецъ и ее не оставилъ! Какъ же послѣ этого требовать отъ него, чтобъ онъ бросилъ сплетничать и клеветать, когда въ этомъ заключалась вся отрада его жизни, весь внутренній смыслъ ея? Очевидно, что такое требованіе было бы не только не практично, но даже и крайне притязательно.

А потому никто и не предъявляетъ подобнаго требованія, а потому никто и не мечтаетъ, чтобъ глуповецъ когда-нибудь могъ перестать быть глуповцемъ.

Но глуповецъ ошпаренъ, и потому клевета его принимаетъ другой характеръ. Прежде она была легкой забавой, безцѣннымъ препровожденіемъ времени; теперь она дѣлается клеветою злостною, клеветою, имѣющею—чортъ побери!—политическій оттѣнокъ.

Глуповецъ любитъ пригибаться къ землѣ и прикидываться сидоровой козой, но онъ помнитъ. Онъ такъ хорошо помнитъ то огорченіе, которое причинило ему внезапное ошпариваніе, что даже даетъ себѣ слово пересказать объ этомъ въ назиданіе всему свиньину потомству («вотъ, молъ,

друзья мои, какое страшное дѣло было, что у насъ въ горшкѣ словно мгла поднялась!»). На первый разъ онъ былъ какъ будто ошеломленъ, но теперь онъ уже шевелитъ усами и нюхаетъ, но теперь изъязвленныя мѣста начинаютъ ужъ вновь мало-по-малу зарастать шерстью. Онъ нюхаетъ, откуда бы могла придти на него такая напасть; но такъ какъ голову высоко поднять не можетъ, то нюхаетъ больше поблизости. И всякій смертный, не раздѣляющій безусловно глуповскихъ убѣжденій, не погрязшій безусловно въ болотѣ глуповскаго міросозерцанія, кажется ему личнымъ врагомъ, котораго надлежитъ приличнымъ образомъ опакостить. Всякій, кто заблаговременно выползъ изъ горшка, кого ошпариваніе не застало врасплохъ, кажется ему отступникомъ отъ отеческихъ преданій, противъ котораго дозволительна всякая гнусность. Эта мысль охватила все существованіе глуповца. Съ тѣхъ поръ, какъ она въ немъ засѣла, онъ видитъ веселые сны, онъ чувствуетъ въ себѣ какую-то страстность; онъ уподобляется тому немощному старцу, который, женившись на молодой и здоровой дѣвушкѣ, явственно ощущаетъ, какъ ветхое его тѣло крѣпнетъ и возстановляется насчетъ молодого и свѣжаго организма. Онъ позабылъ даже о дѣвицѣ Фрикъ, онъ не обращаетъ вниманія на похожденія поросенкова брата. Ненависть сдѣлала его почти красавцемъ; она сдѣлала его почти умнымъ...

Но если цѣль и намѣренія клеветы измѣнились, то пріемы и содержаніе ея остались тѣ же, какіе были и прежде. Поговоримъ напередъ о содержаніи.

Страннѣе всего то, что глуповцы не могутъ придумать клеветы болѣе гнусной и омерзительной, какъ назвать своего противника глуповцемъ же. Въ этомъ отношеніи они патріоты самые несостоятельные. Русскій, напримѣръ, никогда не скажетъ въ укоризну французу: «ахъ ты, русакъ-вахлакъ!»—но либо назоветъ его «мусью безпардоннымъ», либо напомнитъ ему то славное время, когда:

Барклай-де-Толли и Кутузовъ
Въ Москвѣ морозили французовъ.

Но глуповецъ—совсѣмъ дѣло другое. Онъ такъ и претъ впередъ съ своимъ «глуповцемъ».—«Мотри, мотри, робята,—говоритъ онъ:—вѣдь это нашъ! вѣдь это наши робята на солнцѣ онучи сушатъ!»

Я полагаю, это происходитъ оттого, что горизонтъ глуповской мысли еще не успѣлъ выработать себѣ иныхъ —

нятій, кромѣ тѣхъ, которыя дала ему жизнь въ горшкѣ. Напримѣръ, онъ дралъ взятки съ живого и съ мертваго, и по писку, который поднимали обыватели горшка, подвергнутые такой реквизиціи, заключалъ, что имъ не должно быть очень сладко. И хотя это соображеніе отнюдь не останавливало его отъ дальнѣйшихъ подвиговъ на томъ же поприщѣ, но въ головѣ его уже рождалось смутное понятіе, что взятки дѣло не хорошее, и что тотъ, кто занимается такимъ дѣломъ, есть подлецъ. Отъ этого, даже въ его понятіи, слово «взяточникъ» сдѣлалось словомъ ругательнымъ. Отъ этого, если онъ хочетъ уязвить своего врага, то распускаетъ слухъ, что онъ взяточникъ. И выходитъ тутъ нѣчто странное, потому что, въ сущности, глуповецъ ругается здѣсь своимъ собственнымъ именемъ. И выходитъ это столь же странно, какъ если бы Сила Терентьичъ, вздумавъ хорошенько отдѣлать Терентья Силыча, не нашелся сказать ему ничего болѣе гнуснаго, кромѣ фразы «ахъ ты, Сила Терентьичъ!»

Возьмемъ другой примѣръ. Глуповцу нерѣдко приходилось претерпѣвать побои, и онъ всякій разъ чувствовалъ, что это больно. Сверхъ того, какъ онъ ни былъ обмятъ и обколоченъ, но не могъ въ то же время не сознавать, что это и стыдно. Но если даже ему казалось больно и стыдно принимать побои, то каково же должно это казаться тому, кто въ продолженіе цѣлой жизни не испытывалъ ни малѣйшей затрещины? Это соображеніе проникаетъ страшнымъ лучомъ свѣта въ его голову. Глуповецъ понимаетъ, что положеніе этого человѣка должно быть нестерпимо, и потому, если хочетъ уязвить своего противника, то распускаетъ слухъ, что его побили. И тутъ глуповецъ обругалъ своимъ собственнымъ именемъ, и тутъ Сила Терентьичъ назвалъ Терентья Силыча—Силой Терентьичемъ!

Возьмемъ третій примѣръ. Извѣстно, что глуповецъ имѣлъ совѣсть покладистую и готовъ былъ на всякій подвигъ, лишь бы инициатива подвига исходила отъ лица, могущаго дать на водку. Стоило только поманить глуповца рукой и сказать ему: «вотъ тебѣ, Сидорычъ, двугривенный: поди и послушай тамъ-то и тамъ-то!»—и Сидорычъ устремлялся стремглавъ; онъ удѣлялъ гривенникъ своему сообщнику и на остальной гривенникъ не только подслушивалъ и подсматривалъ, но даже и присочинялъ. Съ такими теплыми парнями можно было дѣйствовать широкой рукой: и дешево, и сердито. Однако, подобные подвиги не всегда же

сходили глуповцу съ рукъ удачно. Случалось, что ему съ замѣчательною щедростью накладывали за это и въ зубы, и въ носъ, и въ скулы, а нерѣдко повреждали и самые бока. Глуповецъ помнитъ это, и по степени полученныхъ поврежденій заключаетъ о непригодности ремесла. «Сталобыть,—разсуждаетъ онъ,—скверно подглядывать, если меня бьютъ за это!» А потому, если онъ хочетъ уязвить своего врага, то даетъ почувствовать, что онъ подкупленъ, что онъ дѣйствуетъ такъ, а не иначе, не потому, что это согласно съ его убѣжденіями, а потому, что такъ велѣно.

А глуповцы ахаютъ и вѣрятъ. Дыханіе спирается отъ радости въ ихъ зобахъ; имъ сладко и жутко отъ этихъ разсказовъ; они молодѣютъ и переносятся мыслью къ тѣмъ незабвеннымъ временамъ, когда ихъ били ежеминутно, били, не зная усталости, били и притомъ мазали сальной свѣчой по мордѣ, били и притомъ приговаривали: «не подслушивай! не мошенничай! не передергивай въ карты!» Она вѣрятъ, они не могутъ не вѣрить, если бы даже и хотѣли. Они такъ созданы, что не въ силахъ даже представить себѣ, чтобъ могъ существовать такой міръ, въ которомъ не было бы ни взятокъ, ни подглядыванія, ни мордобитія!

Въ этомъ случаѣ клевета пріобрѣтаетъ характеръ естественный, почти законный.

Положимъ, что горькая сила неизбѣжной судьбы приковала васъ къ Глупову, акклиматизировала среди глуповцевъ. Положимъ даже, что вы до такой степени акклиматизировались, что ничѣмъ особеннымъ и не отличаетесь отъ глуповцевъ; что у васъ, какъ и у нихъ, два желудка и только половина головы; положимъ, что вы, въ довершеніе всего, играете въ карты и не презираете водку. Повидимому, тутъ есть все, чтобъ обворожить глуповцевъ, чтобъ пріобрѣсти между ними популярность и снискать ихъ довѣріе. Однако, нѣтъ. У глуповца имѣется своего рода чутье; онъ нюхаетъ день, нюхаетъ два, и наконецъ поднюхиваетъ-таки въ васъ нѣчто несродное Глупову. И съ этой поры онъ васъ ненавидитъ, хотя и продолжаетъ цѣловать ваши руки; онъ ненавидитъ васъ тѣмъ сильнѣе, что любовь къ картамъ и снисхожденіе къ водкѣ кажутся ему съ вашей стороны лишь преднамѣреннымъ притворствомъ. Съ этихъ поръ онъ считаетъ себя въ правѣ взнести на васъ всякую мерзость изъ того богатаго запаса мерзостей, который хранится въ его душѣ.

И тутъ-то именно выступаютъ на сцену истинные глуповскіе пріемы. Поговоримъ о пріемахъ.

И въ этомъ случаѣ глуповецъ остается вѣренъ самому себѣ; и здѣсь онъ прежде всего памятуетъ, что за клевету могутъ помять ему бока. Онъ знаетъ, какъ это больно, и потому дѣйствуетъ съ осторожностью.

— Вы знакомы съ мосьё Шалимовымъ?—спрашиваетъ пѣтухову свояченицу курицынъ племянникъ.

— Еще бы!—отвѣчаетъ пѣтухова свояченица.

— Правда ли, что онъ?..—подвиливаетъ курицынъ племянникъ, показывая рукою хапанца.

Пѣтухова племянница, которая за минуту передъ тѣмъ даже не мечтала о возможности подобнаго вопроса, внезапно воспламеняется.

— Еще бы! да это весь Глуповъ знаетъ!—восклицаетъ она и какъ-то желчно при этомъ обдергивается.

Повидимому, это неосторожно; повидимому, пѣтухова свояченица рискуетъ, что мосьё Шалимовъ всенародно за это ее поцѣлуетъ. Однако, она не смущается. Не смущается она потому, во-первыхъ, что у мосьё Шалимова нѣтъ привычки цѣловать морвёзокъ, а во-вторыхъ, потому, что она ни на минуту не забываетъ, что живетъ въ Глуповѣ, и что въ этомъ любезномъ городѣ есть такое болото, которое въ одну минуту засосетъ въ себя какую угодно мерзость.

И дѣйствительно, вслѣдъ за курицынымъ племянникомъ является къ ней на выручку индѣйкинъ сынъ.

— А вы знаете, что курицынъ племянникъ разсказывалъ про мосьё Шалимова?—спрашиваетъ она его.

Индѣйкинъ сынъ разѣваетъ ротъ.

— Онъ говоритъ, что мосьё Шалимовъ ужаснѣйшій развратникъ!—продолжаетъ она и, въ видахъ собственнаго своего огражденія, прибавляетъ:—Впрочемъ, это не можетъ быть!

Но индѣйкинъ сынъ уже проглотилъ. Онъ берется за шляпу и спѣшитъ подѣлиться новостью съ куликовой тещей, которая, въ свою очередь, передаетъ ее цаплину внуку, а цаплинъ внукъ сообщаетъ сестрицамъ-чекушечкамъ.

— Слышали? Слышали?—стонетъ болото.

— А слышали ли вы, какую намеднись нашъ чибисъ трепку мосьё Шалимову задалъ?—вязывается кукушкинъ сирота.

— Неужто?

— Лопни мои глаза!

— Да кто-жъ это видѣлъ?

— Да гдѣ-жъ это случилось?

— Ай-да чибисъ!

— А я такъ напередъ зналъ, что наше болото задастъ себя знать! Ай-да лихо!

Мосьё Шалимовъ сидитъ въ это время дома и, по своему обыкновенію, скорбитъ о глуповцахъ. Онъ думаетъ о томъ, какими средствами можно бы сдѣлать изъ нихъ умновцевъ, и до такой степени погруженъ въ свои мечтанія, что даже не замѣчаетъ, что противъ него уже съ полчаса, какъ очарованный, сидитъ индѣйкинъ сынъ и, очевидно, сгораетъ нетерпѣніемъ нѣчто снаушничать. Натурально, мосьё Шалимовъ, выслушавъ мерзость, прежде всего плюетъ, но потомъ размышляетъ и такъ, что не жирно ли будетъ, если курицынымъ дѣтямъ будутъ даромъ проходить всѣ ихъ противоестественности. Расправа.

— А ну-те, подлецы,—говоритъ мосьё Шалимовъ:—сказывайте, кто изъ васъ первый эту пакость выпустилъ?!

— Это не я, это цаплинъ мужъ!—спѣшитъ прежде всѣхъ отозваться пѣтухова жена.

— Это не я, это сестрицы-чекушечки выдумали!—оправдывается цаплинъ мужъ.

— Что ты, пьянъ, что ли? Не при тебѣ ли куликова сноха это разсказывала? — щебечутъ, не на шутку струсивъ, сестрицы-чекушечки.

— Анъ сами вы пьяны! Не вѣрьте имъ, добрые люди, вѣдь онѣ извѣстныя сплетницы!—возражаетъ куликова сноха.

И тутъ начинается одна изъ тѣхъ сценъ взаимныхъ поклеповъ и обоюдныхъ доносовъ, истинная прелесть которыхъ понятна только глуповцу. Въ продолженіе многихъ часовъ воздухъ оглашается односложными возгласами, въ родѣ: «нѣтъ, ты!» «анъ, ты!»—покуда, наконецъ, кукушкинъ сирота не наплюетъ въ глаза цаплину мужу въ доказательство своей невинности.

Засосало, засосало-таки проклятое болото!

Нѣтъ сомнѣнія, что существуетъ же на свѣтѣ тотъ курицынъ сынъ, который считаетъ для себя полезнымъ и выгоднымъ наклеветать на Шалимова; но кто именно этотъ курицынъ сынъ, и какая именно курица, дымчатая или крапчатая, высидѣла такую ехидную гадину, это остается тайною глуповской почвы и глуповской природы.

Однако, постой же, достойный сынъ Глупова! умѣрь на минуту клеветническій пылъ свой и объяснимся!

Я очень хорошо понимаю, что ты имѣешь полное право клеветать. Ты глуповецъ, и въ качествѣ глуповца не можешь себѣ представить оружія болѣе дѣйствительнаго. Ты убѣжденъ, что Шалимовъ былъ непричастенъ тому ошпариванію, которое надѣлало тебѣ столько хлопотъ,—итакъ, клевещи на него, обличай его, удовлетворяй потребности твоего сердца безъ церемоній!

Но для чего ты хоронишься? для чего ты бѣжишь въ кусты, когда нить изслѣдованія приводитъ къ тебѣ? Для чего ты не говоришь прямо: «да, это я солгалъ! это я наклеветалъ!»

Не оттого ли, что ты жалѣешь свои щеки? Нѣтъ, ты не жалѣешь ихъ. Ты очень хорошо понимаешь, что онѣ самой природой созданы для пощечинъ; ты неоднократно доказывалъ это самымъ убѣдительнымъ образомъ, ибо не только безгорестно принималъ пощечины, но даже, немедленно послѣ того, отправлялся играть въ бабки. Не оттого ли, что въ тебѣ еще остались кой-какіе огрызки совѣсти, которые мѣшаютъ тебѣ смотрѣть прямо въ глаза честнымъ людямъ послѣ такого подвига? Нѣтъ, и не оттого, ибо ты достаточно совершалъ на своемъ вѣку и не такихъ подвиговъ, и всегда смотрѣлъ на свѣтъ Божій не только прямо, но даже съ нахальствомъ.

Сказать ли тебѣ, почему ты прячешься?

Ты прячешься потому, что чувствуешь паническій страхъ при одномъ имени Шалимова. Шалимовъ, въ твоихъ понятіяхъ, не просто молотъ, могущій раздробить твою голову, не просто ступа, которая можетъ стереть тебя въ табакъ: Шалимовъ — это принципъ, который подрываетъ всѣ основы твоей внутренней жизни, Шалимовъ—это навѣки нарушенный твой сонъ.

Еще никогда въ жизни ты не испытывалъ такого потрясенія, какое испытываешь въ настоящее время. Въ тебѣ совершился цѣлый психологическій переворотъ. Ты былъ убѣжденъ до сихъ поръ, что у твоей жизни есть только физическая основа, и эта сладкая мысль наполнила твою душу тѣмъ тихимъ веселіемъ, которое можетъ ощущать только невинность теленка, заранѣе увѣреннаго, что ему не грозитъ въ будущемъ недостатка ни въ сѣнѣ, ни въ рѣзкѣ. И вдругъ явились обстоятельства, доказавшія тебѣ самымъ положительнымъ образомъ, что ты заблуждался. Представь себѣ, въ самомъ дѣлѣ: вѣдь и тобою руководилъ какой-то нравственный принципъ! вѣдь и ты не все

же ѣлъ, да пилъ, да посягалъ, а тоже вѣровалъ и мыслилъ!

Да, ты вѣровалъ, ты мыслилъ—это несомнѣнно, хотя вѣрованія твои были нелѣпы, хотя мысли твои были поганы. Это несомнѣнно уже по тому одному, что вотъ теперь тебя и не бьютъ, и кормятъ исправно, а тебѣ еще больнѣе, нежели въ то время, когда тебя и били, и оставляли безъ обѣда. Ты въ первый разъ понялъ, что̀ значитъ настоятельное прикосновеніе къ нравственнымъ основамъ жизни, и какую страшную боль причиняетъ это соприкосновеніе. Что̀ плюха?—съѣлъ плюху, съѣлъ двѣ—встряхнулся и пошелъ щеголять по-старому... Но тутъ вѣдь сердце умираетъ отъ боли! но тутъ вѣдь кровь разлагается въ жилахъ отъ жестокаго обращенія!

И всѣ эти бѣдствія, и все это нравственное посрамленіе причинилъ тебѣ Шалимовъ и ему подобные! Истинно говорю тебѣ, что понимаю всю ненависть, которая должна закипать въ твоемъ сердцѣ при одномъ упоминовеніи этого имени!

Но откуда, однако, эта сила въ Шалимовѣ? Почему же онъ сила, а сосѣдъ твой, Флоръ Лаврентьевичъ Ржанищевъ—навозъ, а другой твой сосѣдъ, отставной капитанъ Постукинъ—бутыль, наполненная желудочной настойкой? Повидимому, и общественное глуповское мнѣніе мало симпатизируетъ Шалимову, и массы остаются къ нему равнодушными... и все-таки онъ сила! Стало-быть, есть нѣчто среднее между глуповскимъ повѣтріемъ и глуповскою массою, стало-быть, есть нѣчто еще не выразившееся, но уже предощущаемое, нѣчто неизвѣстное, но уже предощущаемое, что̀ благопріятствуетъ и покровительствуетъ Шалимову.

Если желаешь, я могу тебѣ это растолковать.

По всѣмъ признакамъ, положеніе Глупова — одно изъ самыхъ безнадежныхъ: его точитъ какой-то недугъ, который неминуемо долженъ привести къ одру смерти. Однако, онъ не только не умираетъ, но даже изъявляетъ твердое намѣреніе жить безъ конца. И несмотря на видимую нелѣпость этихъ надеждъ, я не могу не раздѣлять ихъ, я не могу не признать ихъ вполнѣ основательными. Почему? А потому, достойный мой глуповецъ, что хотя сограждане твои и поражены проказой, но воздухъ Глупова чистъ, ибо освѣжается прилетающими изъ Умнова вѣтрами. Благодаря этой чистотѣ, въ глуповскомъ воздухѣ ощущается та струя честности, которая полагаетъ непереступаемыя гра-

ницы нравственной распущенности глуповцевъ. Благодаря ей, глуповское міросозерцаніе не дѣлается владыкою міра, но остается въ предѣлахъ своего горшка. Благодаря ей, глуповскій аборигенъ, который съ трудомъ можетъ отличить свѣтъ отъ тьмы, не смѣетъ, однакожъ, открыто не признавать благотворной, всепроникающей силы добра, точно такъ же, какъ ни одинъ глуповскій jeune homme bien élevé не рѣшится сказать, что громъ оттого бываетъ, что Илья пророкъ по небу ѣздитъ, хотя навѣрное знаетъ, что въ этомъ именно и заключается единственная и настоящая причина грома.

Сойди въ трущобы своего собственнаго сердца, о, глуповецъ, и очисти ихъ отъ наслоившагося вѣками навоза! И тамъ ты отыщешь зачатки нѣкоторой застѣнчивости, и тамъ ты доскребешься до чего-то похожаго на робкое признаніе силы добра! Конечно, этотъ эмбріонъ стыдливости слишкомъ слабъ, чтобы подѣйствовать рѣшительно на твое собственное нравственное возрожденіе, но все же онъ достаточенъ, чтобъ внести въ твою душу тотъ спасительный трепетъ, который не дозволяетъ ей наругаться надъ тѣмъ, что, по общему, вселенскому сознанію, признается за добро.

Ты не отречешься отъ клеветы, но будешь клеветать потихоньку. Ты не отречешься отъ клеветы, но, клевеща, будешь озираться кругомъ, не подслушиваетъ ли тебя кто-нибудь. Ты не отречешься отъ клеветы, но при первомъ шорохѣ струсишь, но при первомъ настоятельномъ вопросѣ отопрешься и скажешь: «это не я, это индѣйкина дочь!»

Да, и въ самыхъ растлѣнныхъ обществахъ имѣется своего рода стыдливость; и самый великій, самый несомнѣнный подлецъ никогда еще не доходилъ до такого цинизма, чтобъ всенародно признавать себя за подлеца и гордиться этимъ званіемъ!

Вліяніе этой честной, благотворной струи, которая спасаетъ Глуповъ отъ окончательнаго разложенія, я могу доказать тебѣ многими несомнѣнными фактами.

Скажи мнѣ, напримѣръ, почему госпожа Падейкова, которая свою горничную всегда называла Аришкою, халдою и чумичкою, вдругъ начала ее называть Аришею и голубушкою? Измѣнила ли она свое воззрѣніе на нее, убѣдилась ли, что Ариша, въ самомъ дѣлѣ, стала изъ халды голубушкой? Ни то, ни другое. И госпожа Падейкова, и Ариша остались вѣрными самимъ себѣ: попрежнему, первая непреклонна въ своихъ убѣжденіяхъ; попрежнему,

послѣдняя упорствуетъ въ своей халдоватости. Однако, нѣчто измѣнилось между ними; во взаимныхъ отношеніяхъ ихъ поселилась какая-то холодность, дѣлающая ихъ подчасъ весьма непріятными. Что же произошло, что измѣнилось? А измѣнилась, вдругъ, та атмосфера, въ которой онѣ до сихъ поръ жили и дѣйствовали, и вслѣдствіе этого измѣненія госпожа Падейкова и хочетъ, да не смѣетъ, а дѣвка Ариша и не хочетъ, а смѣетъ. Ясно ли?

Отчего сосѣдъ мой, капитанъ Постукинъ, извѣстный цѣлому околотку, какъ малый лихой и притомъ весьма развязный на руку, внезапно опустилъ длань свою, началъ хирѣть и задумываться? Отчего онъ, вмѣсто того, чтобъ дѣйствовать чубукомъ наотмашь, усовершенствовалъ себя до той степени деликатности, что только стискивалъ свой чубучище въ рукѣ, но бить имъ никого не билъ? Получилъ ли онъ внезапно убѣжденіе, что чубукъ не составляетъ еще совершеннаго доказательства? Нѣтъ, не получилъ, и это доказывается тою судорогою, которая коверкаетъ его руку. Закралось ли въ его душу сомнѣніе насчетъ возможности получить сдачи? Нѣтъ, не закралось; ибо до самаго конца жизни онъ оставался сложеннымъ до такой степени прочно, что одинъ поверхностный взглядъ на его наружность сразу подрывалъ всякое предположеніе о возможности сдачи. Что-жъ измѣнилось? И тутъ, повторяю, измѣнилась лишь атмосфера, измѣнились лишь отношенія—и ничего больше.

А если бы ты зналъ, о, достойный глуповецъ, какой страшной, неслыханной борьбы стоило Постукину его воздержаніе! Онъ нѣсколько мѣсяцевъ сряду умиралъ ежемгновенно, и все молчалъ, и все курилъ трубку, и все хотѣлъ что-то высказать... и не высказалъ! Съ тѣмъ мы его и похоронили. Только напослѣдяхъ, передъ самой своей кончиной, онъ собралъ своихъ челядинцевъ и сказалъ имъ:

— Ну, подлецы, прощайте! По крайней мѣрѣ, не при мнѣ...

Но и тутъ не досказалъ, и тутъ сама судьба не допустила его отдать на поруганіе тайну его сердца.

Отчего у другого моего сосѣда, отставного прапорщика Сидорова, прислуга вдругъ объявила, что не хочетъ кислаго молока хлебать? Измѣнилось ли свойство молока? Сдѣлались ли желудки менѣе устойчивыми? Ни то, ни другое. Еще вчера ѣла прислуга то же самое молоко, ѣла, и видъ здоровый и бодрый имѣла. Ѣли это самое молоко отцы, ѣли дѣдушки, а никогда-таки на животы не жаловались — и вдругъ словно вотъ оборвалось! Тщетно господинъ Сидоровъ

уговариваетъ ихъ: «что, молъ, вы, сударики,—вафель, что ли, вамъ хочется?» Тщетно онъ подбѣгаетъ то къ одному, то къ другому: «а ну-ко, Егоръ!» — «а ну-ко, Прохоръ!..» Увы! ни въ комъ не находитъ онъ никакого раскаянія! Что-жъ измѣнилось? Опять-таки измѣнилась одна атмосфера: «не ѣшь, братцы, молока!»—да и шабашъ!

Отчего ключница Матрена, видѣвшая прежде во снѣ, что доитъ коровъ, либо на погребъ за огурцами ходитъ, съ нѣкотораго времени видитъ, что гуляетъ въ саду по цвѣтамъ? Оттого, что атмосфера измѣнилась.

Отчего госпожа Антонова, какъ только войдетъ въ комнату истопникъ Степушка, тотчасъ же прерываетъ интересный разговоръ и предупреждаетъ своего собесѣдника: «парле франсе, доместикъ иси!» Оттого, что атмосфера измѣнилась.

Многіе глуповцы, пораженные столь неожиданными для нихъ явленіями, прежде всего ищутъ объяснить ихъ себѣ чисто-внѣшнимъ образомъ. Имъ все кажется, что тутъ дѣйствуютъ какіе-то зачинщики и подстрекатели, безъ тайныхъ козней которыхъ все шло бы какъ по маслу. Такъ, напримѣръ, господинъ Сидоровъ утверждаетъ, что начало всей смутѣ положилъ Егорка-Лысый, а госпожа Антонова божится и клянется, что перемѣна въ характерѣ сновидѣній ключницы Матрены произошла именно съ тѣхъ поръ, какъ эта подлая тварь снюхалась съ подлецомъ Іонкой. Пріятель мой Ударъ-Ерыгинъ идетъ въ этомъ случаѣ еще дальше. Когда до его свѣдѣнія доходитъ слухъ о подобной смутѣ, онъ даже не дастъ себѣ труда разобрать, въ чемъ дѣло, но просто-на-просто приказываетъ отобрать пятокъ или десятокъ зачинщиковъ.

Однако, опытъ и добросовѣстныя изслѣдованія самымъ положительнымъ образомъ доказываютъ, что подобный способъ оцѣнки явленій совершенно не состоятеленъ.

Допустимъ, что Егорка-Лысый дѣйствительно первый сказалъ: «не ѣшь, братцы, кислаго молока!» — но почему же онъ сказалъ это? Почему онъ вчера не говорилъ ничего, а нынче сказалъ? Почему, наконецъ, не предположить и того, что если бы Егорка, на одну только минуту, прикусилъ себѣ языкъ, то эти же самыя слова не были бы высказаны прежде него Антипкой или Прошкой? А можетъ-быть, Егорка далъ еще довольно умѣренную форму требованіямъ, долгое время таившимся на днѣ всѣхъ вообще сердецъ Прошкиныхъ? А можетъ-быть, не вырази этого требованія

Егорка, выразилъ бы его Филька-Косачъ, и тогда Богъ вѣсть, какая вышла бы изъ этого кутерьма? А можетъ-быть, Егорка явился еще миротворцемъ; можетъ-быть, своимъ вмѣшательствомъ онъ еще спасъ дѣло?

Но, конечно, еще болѣе несостоятельной представляется манера Ударъ-Ерыгина. Тутъ все случайно, тутъ все такъ-таки просто ни на что не похоже. Почему именно пятокъ, а не десятокъ зачинщиковъ? И какихъ зачинщиковъ: блондиновъ или брюнетовъ? И если блондиновъ, то почему не брюнетовъ?

Я серьезно обращаю вниманіе гг. Сидорова и Ударъ-Ерыгина на эти вопросы и приглашаю ихъ размыслить, ибо, мнѣ кажется, они смотрятъ на это дѣло слишкомъ легко.

Конечно, если взирать съ высотъ глуповскихъ на всѣхъ этихъ Антипокъ и Прошекъ, которые тамъ, внизу, копошатся, то кажется, что они составляютъ безразличную массу, и что, въ смыслѣ общеглуповскихъ интересовъ, все равно, кого ни вырвать изъ этой массы: Антипку или Прошку. Но это не такъ. Микроскопическія наблюденія доказываютъ намъ до очевидности, что каждый изъ этихъ Антипокъ имѣетъ свое собственное очертаніе. Затѣмъ наблюденія психологическія доказываютъ еще больше: они доказываютъ, что каждый Антипка имѣетъ не только свое собственное очертаніе, но и свою собственную нравственную физіономію, такъ что если, напримѣръ, Антипку высѣкутъ понапрасну, а Прошку не высѣкутъ и за дѣло, то оба они этимъ обижаются. Стало-быть, и сѣчь не слѣдуетъ зря, а тоже разсматривать. Это первый результатъ, къ которому должно привести размышленіе.

А второй результатъ будетъ заключаться въ томъ, что и Антипка, и Прошка, послѣ тщательнаго разбора дѣла, навѣрное очистятъ себя отъ всякихъ несправедливыхъ нареканій. Антипка скажетъ: «не я!», Прошка скажетъ: «не я!»—и оба будутъ правы, ибо виноватъ не Антипка, а время, а струя, которая, несмотря ни на что, держится себѣ да держится въ глуповскомъ воздухѣ...

Итакъ, вотъ почему ты весь трясешься при одномъ имени Шалимова, курицынъ сынъ! Вотъ почему ты боишься его пуще палки и боя смертнаго! Вотъ почему ты прячешься!

Но какъ ни искусны дѣйствія клеветника, какъ ни безслѣдно засасываются они болотомъ, составляющимъ поприще клеветы, тѣмъ не менѣе, положеніе его должно быть ужасно.

Каждую минуту онъ долженъ опасаться, что вотъ-вотъ его уличатъ; каждую минуту онъ долженъ трепетать, что вотъ-вотъ настанетъ страшное мгновеніе, когда онъ вынужденъ будетъ всенародно назвать себя клеветникомъ!

А ну, какъ болото не засосетъ?

А ну, какъ индѣйкинъ сынъ смалодушествуетъ?

И пораженному ужасомъ воображенію клеветника представляются какъ живыя всѣ малѣйшія подробности, вся мелочная обстановка, сопровождавшая его гнусный поступокъ. Тогда-то онъ былъ тамъ-то и сказалъ то-то («еще въ это время ветчину съ горошкомъ подавали!» — подсказываетъ глуповское брюхо); тогда-то, при такихъ-то свидѣтеляхъ, курицына дочь высказала такую-то мерзость, и онъ не только не протестовалъ, но даже сомнительно улыбнулся («цаплина внучка чай разливала!» — подсказываетъ брюхо); тогда-то онъ до такой степени увлекся, что выставлялъ себя даже очевидцемъ небывалаго происшествія («не хотите ли еще кусочекъ каплуна?» — спрашивала его въ это время куликова теща).

Волосы шевелятся на головѣ его, во рту дѣлается горько...

Что плюха? — видалъ онъ на своемъ вѣку виды! И десять, и сто плюхъ съѣсть ничего; но быть униженнымъ передъ своей братіей, но попасться, но быть пойманнымъ, но быть названу подлецомъ въ такое время, когда подлецы перестаютъ производить фуроръ, — вотъ гдѣ ужасъ, вотъ казнь, которую онъ не могъ предвидѣть и ожиданіе которой заставляетъ его всечасно блѣднѣть и умирать!

Только воръ можетъ испытывать нѣчто подобное, когда лѣзетъ ночью въ окно чужого дома...

Но, кромѣ страха, клеветникъ долженъ по временамъ ощущать и приливы раскаянія. Когда впечатлѣніе, произведенное ошпариваніемъ, ослабѣваетъ, онъ не можетъ не сознавать, что происшествіе, столь много его огорчившее, исходитъ не отъ Шалимова, но вообще отъ силы ошпаривающихъ обстоятельствъ. И тогда онъ начинаетъ ругать себя подлецомъ и свиньею, и даже изъявляетъ намѣреніе намазать свой глупый языкъ горчицей.

Только каплунъ можетъ испытывать нѣчто подобное, когда, думая, что поймалъ носомъ кусокъ творогу, онъ внезапно догадывается, что поймалъ кусокъ извести.

Въ уваженіе этого глупаго страданія, во вниманіе къ этому нелѣпому раскаянію, убѣждаю тебя, Шалимовъ: плюнь на клеветника!

Для тебя это тѣмъ легче сдѣлать, что наблюденія надъ общимъ строемъ глуповской жизни должны были дать тебѣ удовлетворительный матеріалъ для плеванія и достаточно развить въ тебѣ способность къ такому способу выраженія чувствъ и движеній души. Плюй же смѣло, плюй прямо, плюй направо, плюй налѣво: можетъ-быть, доплюешься и до клеветника!

Помни, что Глуповъ не можетъ не клеветать, потому что онъ возрождается. Возрожденіе вызвало въ немъ новыя страсти и новыя понятія, но прежде всего вызвало ненависть къ самому возрожденію. Хоть это, повидимому, и противорѣчіе, но оно разрѣшается очень просто. Еще не остылъ въ Глуповѣ потъ прежней, горшечной его жизни; еще не перегорѣлъ внутри его старый хламъ, накопленный тамъ вѣками; онъ все еще прежній, ветхій Глуповъ, который такъ забавлялъ тебя своимъ оригинальнымъ міросозерцаніемъ... Странно было бы, если бы онъ покончилъ со своимъ прошлымъ, не поговоривъ немного, не сневѣжничавъ хоть ради очищенія совѣсти!

Но, быть-можетъ, ты возразишь, что глуповскія палестины обширны, и клевета разливается въ нихъ съ зазорною быстротой. Скучно и досадно жить посреди жалкаго гвалта, поднимаемаго курицыными дѣтьми; омерзительно видѣть эти глупо разинутые рты, эти выпученные отъ радостнаго удивленія глаза. И не потому досадно, что трогаетъ самый крикъ курицыныхъ дѣтей, но потому, что крикъ лѣзетъ въ уши, что онъ посрамляетъ мысль, что онъ, во что бы то ни стало, хочетъ вгрызться въ существованіе, совершенно непричастное глуповской жизни.

Согласенъ; дѣйствительно, все это и скучно, и омерзительно. Но, въ такомъ случаѣ, не лучше ли сразу покончить съ Глуповымъ?

Ты самъ отчасти виновенъ въ томъ, что Глуповъ сдѣлался развязенъ, что онъ забылъ пословицу, что розга для его же добра существуетъ. Ты былъ слишкомъ снисходителенъ къ глуповцамъ, ты слишкомъ якшался съ ними. Ты самъ нѣкоторымъ образомъ заразился глуповскими привычками, сдѣлался причастнымъ глуповскому міросозерцанію, а глуповцы, видя это, и впрямь заключили, что ты совсѣмъ сдѣлался глуповцемъ. И вотъ начались между ними «ха-ха» да «хи-хи», и вотъ появилась толпа amis cochons, которая, утерявъ всякій страхъ, приглашаетъ тебя выпить водочки и сыграть пулечку...

Сбрось съ себя эту дрянь, покончи съ Глуповымъ, и дѣлай свое дѣло, иди своею дорогой! Стань въ сторонѣ отъ Глупова, и вѣрь, что грязь его не забрызжетъ тебя!

VIII.—Наши глуповскія дѣла.

«Въ надеждѣ славы и добра,
Идемъ впередъ мы безъ боязни»...

Вотъ и опять я въ Глуповѣ; вотъ и опять потянулись заборы да пустыри; вотъ и опять широкой лентой блеснула въ глаза рѣка Большая Глуповица и узенькой—рѣка Малая Глуповица; вотъ и опять пахнуло на меня ароматами свѣженспеченнаго хлѣба... Дѣтство! родина! вы ли это?

Сердце мое замираетъ; въ желудкѣ начинается невыразимо-сладостная тревога... передо мною крутой спускъ, а за спускомъ играетъ и нѣжится наша милая, наша скромная, наша многоводная Глуповица! Господи! сколько стерлядей лавливали здѣсь во время оно! И какія славныя варева сочинялъ изъ нихъ поваръ Трифонычъ! Даже теперь языкъ невольно подщелкиваетъ, даже теперь разсудокъ отказывается вѣрить, чтобъ Тигръ и Евфратъ могли предложить первому человѣку что-либо подобное ухѣ изъ налимьихъ печенокъ, которую ѣстъ самый послѣдній изъ обитателей береговъ нашей родной рѣки!

Да, мы гордимся нашей рѣкой, и имѣемъ на это право, ибо Глуповица (шутка сказать!)—рѣка историческая. Во-первыхъ, на берегахъ ея кто-то кого-то побилъ. Во-вторыхъ, это истинная колыбель тѣхъ золотыхъ поросятообразныхъ стерлядей, которыми объѣдались достославные наши предки, которыми продолжаемъ объѣдаться и мы. Въ Глуповицѣ, какъ въ неподкупномъ зеркалѣ, отражается вся жизнь Глупова. Вмѣсто того, чтобъ утомлять свой умъ наблюденіями надъ живыми проявленіями жизни, историку и этнографу стоитъ только взглянуть на гладкую поверхность славной нашей рѣки—и всякая завѣса, будь это самая плотная, мгновенно спадетъ съ его глазъ. Глуповъ и рѣка его—это два близнеца, во взаимной нераздѣльности которыхъ есть нѣчто трогательное, умиляющее.

Весною Большая Глуповица широко разливается. Холодныя, мутныя волны лѣниво перекатываются отъ одного берега къ другому, а надъ рѣкой стоитъ какой-то пріятный, разслабляющій гулъ. Не бурлитъ родимая Глуповица, разливая по лугамъ и ложбинамъ сокровища утучняющей влаги; ничего и никого не уноситъ она въ теченіи своемъ;

не слышно ни треску, ни гвалта въ воздухѣ, когда, освободившись отъ зимнихъ оковъ, вдругъ хлынетъ на вольный свѣтъ черная, негостепріимная масса водъ... Нѣтъ, учтиво и благодушно разливается наша Глуповица; неохотно и неуклюже лѣзутъ волны ея одна на другую, производя тотъ вѣжливый, разслабляющій гулъ, о которомъ говорится выше. Подъ этотъ гулъ славно спится глуповцамъ.

Лѣтомъ Глуповица пересыхаетъ. Тамъ, гдѣ темнѣли бурныя волны, выглядываютъ острова песковъ рудожелтыхъ; лукавая корова охотно рискуетъ переправиться вбродъ, чтобъ забиться въ поемные луга; безчисленныя стада водяныхъ курочекъ обсѣдаютъ песчаные берега и тоскливымъ своимъ крикомъ приводятъ въ раздраженіе нервы заѣзжаго человѣка-необывателя; вода свѣтла и прозрачна; сладко, чуть слышно журчитъ рѣка, катя въ безконечную даль голубую ленту струй своихъ. Подъ это журчаніе славно спится глуповцамъ.

Осенью Глуповица надувается и какъ будто проявляетъ желаніе подурить. Я охотно хожу тогда посмотрѣть на рѣку; все мнѣ кажется, что она сбирается какую-то неслыханную дебошь сдѣлать. Но ожиданіе мое напрасно. Тщетно вглядываюсь я въ колышущуюся пучину водъ; тщетно жду: вотъ-вотъ разверзнется эта пучина, и изъ зіяющей пропасти встанетъ чудище рыба-китъ! Вмѣсто того, я слышу только, какъ шлепаютъ волны о берега, какъ онѣ разлетаются въ брызгахъ, и опять шлепаются, и опять разлетаются... Подъ звуки этого шлепанія славно спится глуповцамъ.

Но вотъ наступаетъ и зима. Зимою славно спится глуповцамъ подъ звуки собственнаго своего храпѣнія.

Нѣкоторые мѣстные изслѣдователи полагаютъ, что отъ рѣки Большой Глуповицы поднимаются какіе-то пары особенные, которые снотворнымъ образомъ дѣйствуютъ на жителей Глупова. Напротивъ того, другіе изслѣдователи полагаютъ, что пары поднимаются собственно отъ обывателей и снотворнымъ образомъ дѣйствуютъ на Глуповицу. Я, съ своей стороны, склоняюсь къ послѣднему мнѣнію, ибо я самъ однажды видѣлъ, какъ нѣчто въ родѣ пара поднималось надъ лысиной прокурора, когда онъ, безъ шапки, возвращался съ обѣда отъ откупщика.

Особы, люди и людишки, наѣздомъ посѣщающіе Глуповъ, не нарадуются на него. Во всякое время, когда угодно, тишина и благораствореніе воздуховъ; даже среди бѣлаго

дня, когда, какъ извѣстно, въ Вавилонѣ происходило столпотвореніе, Глуповъ откликается на зовъ жизни только тѣмъ, что собаки, спавшія доселѣ у воротъ, свернувшись калачикомъ, начинаютъ потягиваться и повиливать хвостами. Одинъ заѣзжій аптекарь, взирая на эту картину мира и безмолвія, даже заплакалъ отъ умиленія. Онъ вообразилъ себѣ, что въ большихъ каменныхъ домахъ, ограничивающихъ главную улицу, обитаютъ трудолюбивые сапожники, богобоязненные колбасники и друзья порядка—булочники, что колбасники отдыхаютъ отъ трудовъ среди вымывшихъ руки женъ и дочерей; что старшая дочь, бѣлокурая Гретхенъ, читаетъ собравшемуся семейству трогательную повѣсть Лафонтена, а маленькій сынишка Карлъ, завладѣвши, съ дозволенія папаши, негодной кишкой, набиваетъ ее лоскутками и всякою дрянью, воображая, что дѣлаетъ колбасу... И много потребовалось усилій, чтобъ растолковать честному нѣмцу, что тишина происходитъ совсѣмъ не оттого, что городъ населенъ колбасниками, а оттого, что таково прирожденное свойство обитателей Глупова (ихъ грѣхъ первородный): не могутъ они шевелиться, ибо отяжелѣли. Начальствующіе отдыхаютъ въ объятіяхъ секретарей, помѣщики—въ объятіяхъ крѣпостного права, купцы—въ объятіяхъ единоторжія и надувательства. Чтобъ повѣрить такой отзывъ, аптекарь сталъ вслушиваться въ эту тишину, и до слуха его дѣйствительно долетѣли странные ночные звуки. Услышавъ ихъ, нѣмецъ покраснѣлъ и поспѣшно сталъ собираться въ дорогу, а обыватели, провожая его сонными глазами, приговаривали: «что̀ русскому здорово, то̀ нѣмцу смерть!»

У Глупова нѣтъ исторіи. Всякая вещь имѣетъ свою исторію; даже старый губернаторскій вицмундиръ имѣетъ свою исторію («а помните, какъ на обѣдѣ у градского головы его превосходительству вицмундиръ соусомъ облили?»—любятъ вопрошать другъ друга глуповцы), а у Глупова нѣтъ исторіи. Разсказываютъ старожилы, что была какая-то исторія, и хранилась она въ соборной колокольнѣ, но впослѣдствіи ни то крысами съѣдена, ни то въ пожаръ сгорѣла («помните, въ тотъ самый пожаръ, передъ которымъ тараканы изъ города поползли, и во время котораго глуповцы, вмѣсто того, чтобъ тушить огонь, только ахали да въ колокола звонили?»).

Разсказываютъ, что было время, когда Глуповъ не назывался Глуповымъ, а назывался Умновымъ, но на бѣду

сошелъ нѣкогда на землю громовержецъ Юпитеръ и, обозрѣвая владѣнія свои, завернулъ и въ Глуповъ. Тоска обуяла Юпитера, едва взглянулъ онъ на рѣку Большую Глуповицу, болѣзненная спячка такъ и впилась въ него, какъ будто говоря: «а! ты думаешь, что Юпитеръ, такъ и отвертишься! Шалишь, братъ!» Однако, Юпитеръ отвертѣлся, но въ память пребыванія своего въ Умновѣ повелѣлъ ему впредь именоваться Глуповымъ, чѣмъ глуповцы не только не обидѣлись, но даже поднесли Юпитеру хлѣбъ-соль.

Наѣзжала еще въ Глуповъ Минерва-богиня. Пожелала она, матушка, знать, какую это думу мудреную думаетъ Глуповъ, что все словно молчитъ да на усъ себѣ мотаетъ, какіе есть у него планы и соображенія насчетъ глуповскихъ разныхъ дѣлъ. Вотъ и созвала Минерва вѣрныхъ своихъ глуповцевъ: «скажите, дескать, мнѣ, какая это крѣпкая дума въ васъ засѣла?» Но глуповцы кланялись и потѣли; самый, что называется, горланъ ихній хотѣлъ-было сказать, что глуповцы головой скорбны, но не осмѣлился, а только взопрѣлъ пуще прочихъ. «Скажите, что-жъ вы желали бы?»—настаивала Минерва и топнула даже ножкой отъ нетерпѣнія. Но глуповцы продолжали кланяться и потѣть. Тогда, Богъ-вѣсть откуда, раздался голосъ, который во всеуслышаніе произнесъ: «лихо бы теперь соснуть было!» Минерва милостиво улыбнулась; даже глуповцы не выдержали и засмѣялись тѣмъ нутрянымъ смѣхомъ, которымъ долженъ смѣяться Иванушка-дурачокъ, когда ему кукишъ показываютъ. Съ тѣхъ поръ и не тревожили глуповцевъ вопросами.

Глуповцы и доселѣ съ умиленіемъ передаютъ эти преданія, какъ въ назиданіе юному поколѣнію, такъ и въ удовлетвореніе любознательности изслѣдователей-энтузіастовъ, которые и до сего часа не перестали вѣровать въ возможность исторіи Глупова. Путешествующимъ археологамъ охотно показываютъ домъ, въ которомъ останавливался Юпитеръ, и комнату, въ которой подписанъ былъ указъ о наименованіи города Глуповымъ. Скажу даже, что послѣ гармоники и разсказовъ о невзгодахъ, которымъ подвергался губернаторскій вицмундиръ на различныхъ обѣдахъ и пирахъ, передача этихъ преданій составляетъ любимѣйшее занятіе глуповцевъ. И при этомъ изъ внутренностей ихъ излетаетъ тотъ самый смѣхъ, которымъ смѣялись достославные ихъ предки во время переговоровъ съ Минервою.

Охотники также глуповцы покалякать на досугѣ о разныхъ губернаторахъ, которые держали въ рукахъ своихъ судьбы ихъ сновидѣній. Были губернаторы добрые, были и злецы; только глупыхъ не было—потому что начальники! Былъ Селезневъ губернаторъ; этотъ, какъ добрался до Глупова, первымъ дѣломъ уткнулся въ подушку, да три года и проспалъ.

— Такъ сонного, сударь, и смѣнили!—прибавляетъ отъ себя убѣленный сѣдинами глуповецъ-старожилъ.

А то былъ губернаторъ Воиновъ, который въ полгода чуть вверхъ дномъ Глупова не поставилъ; позвалъ это предъ лицо свое глуповцевъ, да какъ затопочетъ на нихъ: «только пикните у меня, говоритъ, всѣхъ правъ состоянія лишу, на каторгу всѣхъ разошлю!»

— А мы, сударь, и не пикали совсѣмъ,—прибавляетъ отъ себя тотъ же убѣленный сѣдинами разсказчикъ.

— Однако, не что взялъ, умаялся!—замѣчаетъ другой обыватель и, позѣвывая, удаляется на печку спать.

Достославный Селезневъ! и до сихъ поръ въ глазахъ глуповцевъ не изсякаетъ источникъ благодарныхъ слезъ при воспоминаніи о тебѣ! То-то было времечко! то-то были храпъ и сопѣніе великое! Еще недавно собирались глуповцы около колокольни (той самой, гдѣ съѣдена крысами исторія Глупова) потолковать о томъ, не слѣдуетъ ли монументъ воздвигнуть для увѣковѣченія твоего имени, но толковать не осмѣлились и, помахавши руками, разошлись по домамъ.

Разсказываютъ еще о губернаторѣ рыжемъ, въ которомъ только и имѣлось замѣчательнаго, что онъ былъ рыжій, и глуповцы пугали имъ дѣтей своихъ, говоря: «погоди вотъ, ужо рыжій чортъ придетъ!»

Разсказываютъ еще о губернаторѣ сивомъ, о губернаторѣ каремъ, о губернаторѣ, красившемъ свои волосы, «да такъ, сударь, прочудеснѣйше, что всѣ только ахали!»

— А помните ли, Иванъ Саввичъ, Кузьму Петровича Фютяева? Какая ихняя барыня преотмѣнная была?—говоритъ старожилъ Павелъ Трифонычъ.

— Ужъ такая-то преотмѣнная, что, кажется, и не нажить намъ другой такой!—отвѣчаетъ Иванъ Саввичъ.—Въ тѣ поры, какъ родился у меня Ванюшка, она сама его, покойница, посадила на ладоночку, да и говоритъ мнѣ-ка: «молодецъ, говоритъ, будетъ у тебя Ванюшка, торговецъ!» Такая была барыня предобрѣйшая!

И жадно внимаетъ этимъ разсказамъ путешественникъ-археологъ, жадно вписываетъ въ записную свою книжку каждую крупицу, каждую мелкую срамоту и, возвратясь въ Петербургъ, передаетъ собранные матеріалы тисненію. Но тщетно пыжится археологъ; тщетно надувается онъ, въ надеждѣ, что пишетъ о глуповцахъ для глуповцевъ же, которые, пожалуй, и не различатъ анекдотовъ отъ исторіи: исторіи Глупова все-таки нѣтъ какъ нѣтъ, потому что ее съѣли крысы!

Въ то счастливое время, когда я процвѣталъ въ Глуповѣ, губернаторъ тамъ былъ плѣшивый, вице-губернаторъ плѣшивый, прокуроръ плѣшивый. У управляющаго палатой государственныхъ имуществъ хотя и были цѣлы волосы, но такая была странная физіономія, что съ перваго и даже съ послѣдняго взгляда онъ казался плѣшивымъ. Соберется, бывало, губернскій синклитъ этотъ, да учнетъ о судьбахъ глуповскихъ толковать—даже мухи мрутъ отъ рѣчей ихъ, таково оно тошно!

— А что, Василій Иванычъ!—скажетъ губернаторъ управляющему палатой государственныхъ имуществъ:—нельзя ли черноглазовскому лѣсничему внушить, чтобъ рябчиковъ для меня пострѣляли?

— Какъ изволите приказать, ваше превосходительство!—отвѣтитъ управляющій.

— Н-да; поваръ у меня таперича манную кашу какую-то на рябчиковомъ бульонѣ выдумалъ: пропасть рябчиковъ выходитъ!—объяснитъ губернаторъ.

— А замѣтили, ваше превосходительство, какую вчера у Порфирія Петровича стерлядь за ужиномъ подали?—молвитъ вице-губернаторъ и отъ удовольствія даже передернется весь.

Его превосходительство, вмѣсто отвѣта, только улыбнется во весь ротъ, словно арбузъ проглотить собирается.

— Это ему семиозерскій казначей въ презентъ прислалъ,—замѣтитъ прокуроръ и вздохнетъ потихоньку.

Подмѣтивъ этотъ вздохъ, губернаторъ вновь улыбнется и ласково щелкнетъ прокурора по брюшку, и вице-губернаторъ, изловивъ на лету улыбку его превосходительства, загогочетъ какъ жеребецъ и скажетъ:

— А что, вѣрно, стряпчіе-то тово?..

— Вѣрно, стряпчіе-то тово!—добродушно повторитъ губернаторъ, и вслѣдъ за этимъ обратится къ присутствую-

щимъ: — А что, господа, бумаги-то, кажется, подписать можно? Господинъ секретарь, пожалуйте сюда бумаги!

И бумаги подписывались, а плѣшивый синклитъ удалялся въ столовую, гдѣ были ужъ приготовлены и стерлядка копченькая, и рыжечки черноглазовскіе въ уксусѣ, и грудочки солененькіе, и колбаски разныя: и съ чесночкомъ и на мадерцѣ, и рябчиковая, и на сливкахъ...

Да хорошо еще, коли дѣло такъ обходилось. А не то, грѣховъ нашихъ ради, и взаправду начнутъ разсуждать о дѣлахъ—вотъ когда заслушаться можно!

Секретарь докладываетъ, что на рѣкѣ Малой Глуповицѣ мостъ, отъ старости лѣтъ, опасенъ сталъ.

— Что же таперича дѣлать? — говоритъ губернаторъ.— Я полагаю, господа, городничему написать?

И обводитъ присутствующихъ глазами, словно онъ и впрямь Мартына Задеку съѣлъ.

— Да, да,—гвоздитъ вице-губернаторъ:—да не мѣшаетъ еще подтвердить, чтобъ тово... наблюлъ...

— Стало-быть, предписать и подтвердить, — изрекаетъ губернаторъ.

— Осмѣлюсь доложить, ваше превосходительство...—некстати вмѣшивается секретарь.

— Извольте, сударь, писать, какъ присутствіе полагаетъ,—строго замѣчаетъ губернаторъ, и даетъ секретарю знакъ умолкнуть.

И не забудетъ, бывало, своего приказанія (злопамятный былъ старикъ), и долго потомъ, всякій разъ, какъ секретарь подсовываетъ ему журналы подписывать, непремѣнно спроситъ:

— А это не тотъ ли, по которому присутствіе положило предписать и подтвердить городничему?

— Точно такъ, ваше превосходительство.

— Ну, то-то же! Что присутствіе положило, то должно быть свято, молодой человѣкъ!

Мудрено ли, что глуповцы блаженствовали, видя надъ собой такое диковинное управленіе! Мудрено ли, что глуповцы земли подъ собой отъ счастія не слышали! Мудрено ли, что они славословили и пѣли хвалу!

Да и общество-то какое было (само собой разумѣется, я говорю здѣсь о высшемъ глуповскомъ обществѣ)—именно такое, какое требуется въ соотвѣтствіе описанному выше управленію! Это именно было то общество «хорошихъ людей», о которыхъ сложилась мудрая русская пословица:

«сальныхъ свѣчей не ѣдятъ и стекломъ не утираются!» Глуповъ и Глуповица, управляющіе и управляемые — все это, взятое вмѣстѣ, представляло такую сладостную картину гармоніи, такое умилительное позорище взаимныхъ уступокъ, доброжелательства и услугъ, что сердцу дѣлалось больно и самый носъ начиналъ ощущать какъ бы приливъ благородныхъ чувствъ.

Увы! типъ «хорошихъ» людей добраго стараго времени исчезаетъ и стирается съ каждымъ днемъ, почти съ каждой минутой! Увы! нынче даже отличные люди не ѣдятъ сальныхъ свѣчей!

И потому, опасаясь, чтобъ типъ этотъ не затерялся совсѣмъ, я постараюсь возстановить характеристическія черты его, въ назиданіе отдаленному потомству.

Между «хорошими» людьми добраго стараго времени (old merry Gloupoff) много было плутовъ, забулдыгъ и мерзавцевъ pur sang. Почему они назывались «хорошими» людьми, а не канальями, это тайна глуповской почвы и глуповской природы. Но, разбирая дѣло внимательно, полагаю, что это происходило оттого, что надъ упомянутыми выше качествами парило какое-то добродушіе, какая-то атласистость сердечная, при существованіи которыхъ какъ-то неловко думать о вмѣняемости. Для объясненія прибѣгну къ примѣрамъ. Бывало, «хорошій» человѣкъ выпоретъ вплотную какого-нибудь Фильку и вслѣдъ за тѣмъ скажетъ другому такому же «хорошему» человѣку: «а пойдемъко, братъ, выпьемъ по маленькой». Развѣ это не добродушіе? Или, напримѣръ, передернетъ нечаянно въ карты (за что тутъ же получитъ возмездіе въ рождество), и вслѣдъ за этимъ воскликнетъ: «а не распить ли намъ бутылочку холодненькаго?» Развѣ это не атласистость сердечная?

А коли есть добродушіе, коли есть атласистость, сталобыть и говорить не о чемъ: chantons, buvons et... aimons! — и все тутъ!

Сообразно съ этими наклонностями, «хорошіе» люди и разговоры имѣли между собой самые простые, такъ сказать, первоначальные. Надо сказать правду, что «хорошій» человѣкъ стараго времени не имѣлъ обширныхъ свѣдѣній въ области наукъ. По части исторіи запасъ его познаній не выходилъ изъ круга разсказовъ о томъ, какъ въ тринадцатомъ году русскій бился съ нѣмцемъ объ закладъ, что сотворитъ такую пакость, отъ которой у него, нѣмца, глаза на лобъ полѣзутъ — и дѣйствительно дѣлалъ пакость на

славу. По части географіи, онъ могъ утвердительно сказать только то, что на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ онъ въ настоящее время играетъ въ карты и закусываетъ, росъ нѣкогда непроходимый лѣсъ, и что недавно еще уѣздный стряпчій Толковниковъ изъ окна своей квартиры бивалъ изъ ружья во множествѣ дупелей и бекасовъ. Юридическое образованіе его ограничивалось: по части правъ состоянія—отсылкою грубіяновъ на конюшню; по части гражданскаго права—выдачей заемныхъ писемъ и неплатежомъ по нимъ.

И между тѣмъ жили, пили, ѣли, женились и посягали, славословили, занимали начальственныя мѣста и пользовались покровительствомъ законовъ наравнѣ съ людьми, которымъ небезызвѣстно даже о распряхъ, происходившихъ въ Испаніи между карлистами и христиносами.

«Хорошій» человѣкъ имѣлъ привычки патріархальныя. Обѣдалъ рано, и въ послѣобѣденное время любилъ посвятить часокъ-другой гастрическимъ сновидѣніямъ, сопровождая это занятіе аккомпанементомъ всевозможныхъ шипящихъ звуковъ, которыми такъ изобилуютъ преисподнія глуповскихъ желудковъ. По исполненіи этого, онъ, по крайней мѣрѣ, въ продолженіе двухъ часовъ не могъ придти въ себя и вплоть до самаго вечера чувствовалъ себя глупымъ. Тутъ выпивалось несчетное количество графиновъ холоднаго квасу; тутъ испускались такія страшныя потяготы и позѣвоты, отъ которыхъ содрогались на улицѣ прохожіе. «Господи, какая тоска!»—безпрестанно восклицалъ онъ, отплевываясь во всѣ стороны, и въ это время не суйся къ нему на глаза никто: разобьетъ зубы!

«Хорошій» человѣкъ имѣлъ слабость къ женскому полу и взятыхъ имъ въ полонъ крѣпостныхъ дѣвицъ называлъ «канарейками».

— Ну, братъ, намеднись какую мнѣ канарейку изъ деревни прислали! — говорилъ онъ своему другу-пріятелю.— Просто персикъ!

И при этомъ причмокивалъ, обонялъ и облизывался.

Въ обращеніи съ «канарейками» онъ не затруднялся никакими соображеніями. Будучи того убѣжденія, что канарейка есть птица, созданная на утѣху человѣку, онъ дѣйствовалъ вполнѣ соотвѣтственно этому убѣжденію, то-есть заставлялъ ихъ пѣть и плясать, приказывалъ имъ любить себя и никакихъ противъ этого возраженій не принималъ. Если же современемъ канарейка ему прискучивала, то онъ ссылалъ ее на скотный дворъ или выдавалъ замужъ за ка-

мердинера и всенепремѣнно присутствовалъ на свадьбѣ въ качествѣ посаженаго отца.

«Хорошій» человѣкъ въ непривычномъ ему обществѣ терялся. Въ гостиной, въ особенности въ присутствіи женщинъ, онъ былъ застѣнчивъ какъ фіалка и неразговорчивъ какъ пустынножитель. Въ такихъ тѣсныхъ обстоятельствахъ онъ съ мучительнымъ безпокойствомъ поглядывалъ на дверь, ведущую въ кабинетъ хозяина, гдѣ, какъ ему извѣстно, давнымъ-давно поставлена водка и разложенъ зеленый столъ, и пользовался первымъ удобнымъ случаемъ, чтобъ бочкомъ-бочкомъ проскользнуть въ обѣтованную дверь. Вообще, онъ любилъ натянуться дома, въ халатѣ, съ добрыми знакомыми, и называлъ это жуировать жизнью; въ публику же показывался рѣдко, и то въ клубахъ, и притомъ лишь тогда, когда ему было извѣстно, что тамъ соберутся такіе же теплые други-пріятели, какъ и онъ самъ. Напившись, наѣвшись и досыта наигравшись въ карты, онъ, ложась на ночь спать, съ легкимъ сердцемъ восклицалъ: «вотъ, слава Богу, я наѣлся, напился и наигрался!»

Въ это хорошее старое время, когда собирались гдѣ-либо «хорошіе» люди, не въ рѣдкость было услышать слѣдующаго рода разговоръ:

— А ты зачѣмъ на меня, подлецъ, такъ смотришь?—говорилъ одинъ «хорошій» человѣкъ другому.

— Помилуйте...—отвѣчалъ другой «хорошій» человѣкъ, нравомъ посмирнѣе.

— Я тебя спрашиваю не «помилуйте», а зачѣмъ ты на меня смотришь?—настаивалъ первый «хорошій» человѣкъ.

— Да помилуйте-съ...

...Бацъ въ рыло!..

— Да плюй же, плюй ему прямо въ лохань! (такъ въ просторѣчіи назывались лица «хорошихъ» людей!) — вмѣшивался случавшійся тутъ третій «хорошій» человѣкъ.

И выходило тутъ нѣчто въ родѣ свѣтопреставленія, во время котораго глазамъ сражающихся, и вдругъ, и поочередно, представлялись всевозможныя свѣтила небесныя...

«Хорошій» человѣкъ былъ патріотъ по преимуществу. Онъ зарождался, жилъ и умиралъ въ своемъ миломъ Глуповѣ. Онъ былъ, такъ сказать, продуктомъ мѣстныхъ нечистотъ; о нихъ однѣхъ болѣло его сердце; къ нимъ однѣмъ стремились его вожделѣнія, и никакихъ иныхъ навозныхъ кучъ онъ не желалъ, кромѣ тѣхъ, которыми окружено было его счастливое дѣтство. Петербурга онъ не любилъ и не

понималъ; онъ охотно допускалъ, что хорошіе люди могутъ зарождаться въ Москвѣ, въ Рязани, въ Тамбовѣ и, разумѣется, въ Глуповѣ; но въ Петербургѣ, по его мнѣнію, могутъ существовать только выморозки, не имѣющіе ни малѣйшаго понятія о томъ, что̀ за блаженство ѣсть буженину, когда она изжарена въ соку и притомъ легонько натерта чесночкомъ...

Повторяю: типъ «хорошаго» человѣка исчезаетъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ исчезаетъ и глуповское добродушіе, и глуповская сердечная атласистость. Фильку наказываютъ попрежнему, но уже безъ прибаутокъ; передергиваютъ въ карты попрежнему, но, получая возмездіе въ рождество, уже протестуютъ и притворяются оскорбленными.

Но мы, которые были свидѣтелями и этого добродушія, и этой атласистости, мы, молодые люди прежняго времени, мы не можемъ быть равнодушными къ нашимъ воспоминаніямъ. Мы должны хранить ихъ во всей непорочности, мы должны оберегать ихъ отъ всякаго нечистаго прикосновенія. Боже! какъ было тогда все тепло и уютно! какъ любили и уважали мы этихъ доблестныхъ руководителей нашей юности! и какъ, съ другой стороны, и они радовались и утѣшались, взирая на насъ!

Да и посудите сами, можно ли было не радоваться на насъ, тогдашнихъ молодыхъ людей. Возьмите, напримѣръ, Сеню Бирюкова: что̀ это за прелесть молодой человѣкъ былъ! Во-первыхъ, наружность чисто-англійская: плечи широкія, щеки румяныя, голова выстрижена, даже сзади ящичкомъ—все какъ слѣдуетъ джентльмену. А во-вторыхъ, и занятія-то у него какія благородныя: утромъ, до двѣнадцати часовъ, ногти чистить; отъ двѣнадцати до трехъ визиты дѣлаетъ; отъ трехъ до четырехъ рубашку перемѣняетъ; потомъ ѣдетъ обѣдать къ Матренѣ Ивановнѣ; оттуда, dans l'avant soirée, къ Петькѣ Козелкову; потомъ опять рубашку мѣняетъ; потомъ, вечеромъ, къ губернатору... И вездѣ-то, во всякомъ-то домѣ умѣетъ что-нибудь почтительное сдѣлать: у Матрены Ивановны ручку поцѣлуетъ; Петру Петровичу сообщитъ, что къ купцу Загребину въ лавку новыхъ сельдей привезли; Пелагею Александровну поблагодаритъ, отъ имени маменьки, за присланный рецептъ, какъ солонину дѣлать... Или опять Свербилло-Замбржецкій Болеславъ—что̀ это за необыкновенный малый былъ! И уклончивъ, и какъ будто самостоятеленъ, и въ душу лѣзетъ, и какъ будто кукишъ въ карманѣ кажетъ! Или Бернгардъ

Форбрихеръ, или Петька Козелковъ! Да, наконецъ, и самъ я... какой я былъ тогда милый человѣкъ! Бывало, что-нибудь и совру, такъ все такое выходило милое, что у старушки Матрены Ивановны даже брюшко отъ моихъ словъ пощекочетъ, и вся она просіяетъ, а меня, грѣшнаго, только за ушко легонько потянетъ...

Удивительно ли послѣ этого, что дѣла шли безъ задоринки. Иногда вмѣшивались въ нихъ Матрена Ивановна и Пелагея Александровна, но онѣ хлопотали не о мостѣ черезъ рѣку Глуповицу, а преимущественно о томъ, какъ бы порадѣть родному человѣчку.

— Матрена Ивановна просила напомнить вашему превосходительству о мѣстѣ станового для Зонтикова,—докладываетъ, бывало, Сеня Бирюковъ.

— Это для усача-то?—спрашиваетъ его превосходительство.

— Да-съ, вотъ что вчера вашему превосходительству прошеніе подалъ.

— Быть такъ... опредѣляемъ!—говоритъ его превосходительство, и потомъ, уставивъ глаза въ Сеню, повторяетъ:—Во уваженіе просьбы Матрены Ивановны, опредѣляемъ усача въ становые!

И такимъ образомъ были у насъ становые-усачи, становые-бакенбардисты, становые съ бородавкой, становые шестипалые. Старикъ нашъ фамилій не помнилъ, и когда, бывало, докладываешь ему о комъ-нибудь изъ становыхъ, онъ непремѣнно спроситъ:

— Это который?

— Съ бородавкой, ваше превосходительство.

— А! съ бородавкой!

И затѣмъ ужъ понимаетъ, о комъ идетъ рѣчь.

Хотя мы сами и урожденные глуповцы, но глуповцы, такъ сказать, отборные, всплывшіе на поверхность нашего родного горшка. О томъ, что происходило тамъ, въ глубинѣ горшка, мы не тужили: мы знали, что тамъ живутъ Иванушки (Иванушки, да еще глуповскіе—поди, раскуси такую штуку!), что Иванушками этими заправляютъ бакенбардисты и шестипалые, а бакенбардистовъ и шестипалыхъ опредѣляетъ Матрена Ивановна, у которой отмѣнно приготовляютъ пироги съ налимьими печенками, и Пелагея Александровна, у которой послѣ обѣда такой liqueur des îles подаютъ, вкусивши котораго остается только убираться поскорѣй во-свояси да часика три соснуть.

Затѣмъ жизнь наша была постояннымъ праздникомъ: мы пили, ѣли, спали, играли въ карты, подписывали бумаги и, подобно сказочной бабѣ-ягѣ, припѣвали: «покатаюся, поваляюся на Иванушкиныхъ косточкахъ, Иванушкина мясца поѣвши!»

. . . . . .

И вѣдь нужно же было, при такой-то жизни, какому-то, прости Господи, кобелю борзому заговорить о возрожденіи! А заговорилъ! именно заговорилъ! И не отсохъ у него языкъ, и не провалился онъ сквозь землю, и не пожралъ его огонь, и не лопнули его глазыньки!

Глуповъ еще загодя блѣднѣлъ и трясся при этомъ словѣ, и все про себя шепталъ: «Господи! ахъ, кабы да мимо!» Еще загодя, при малѣйшемъ шорохѣ, онъ махалъ онучами и шугалъ, какъ шугаетъ баба-птичница, завидѣвъ въ небѣ коршуна, кружащагося надъ всполошившимся стадомъ ввѣренныхъ ей цыплятъ. «Чѣмъ наша жизнь не красна?—говорилъ онъ потихоньку:—или пуховики у насъ не толсты? или вотрушки наши не сдобны?»

— Старики-то, старики-то наши развѣ хуже насъ были?—шепталъ обыватель Сила Терентьичъ на ухо обывателю Терентью Силычу.

— На могилку, видно, ужо къ нимъ сходить!—грустно отвѣтствовалъ Терентій Силычъ.

— Эхма! жили-жили, а теперь на-поди!

— Родителей-то жалко, Сила Терентьичъ!

— Старики-то наши во-какіе были!

— Кряжистые были!

— И возможно ли теперича всѣ порядки нарушать? Чтобъ господинъ теперича у стула съ тарелкой стоялъ, а рабъ за столомъ развалившись сидѣлъ? Или, опять, чтобъ купецъ исправника въ морду билъ, а исправникъ ему за это барашка въ бумажкѣ сулилъ?

— Праховое дѣло затѣяли!

— Да и то опять ты возьми, что люди-то мы непривышные. Проторили себѣ дорогу одну, инъ и ходить бы по ней до скончанія!

— Это точно, что непривышные!

— У меня вонъ воронко: привыкъ на пристяжкѣ ходить—ну, и самъ бѣсъ его тепереча въ оглобли не втащитъ... Такъ-то!

— Оно, пожалуй, что втащить можно!—говоритъ Терентій Силычъ, задумчиво улыбаясь.

— Оно, конечно, коли захочу втащить, отчего не втащить!—соглашается Сила Терентьичъ.

— Можно втащить! — положительно утверждаетъ собесѣдникъ.

— Отчего не втащить! Втащимъ!

— Да вѣдь отцы-то наши... пойми, другъ.

— Это точно, что отцы наши вѳ-какіе были!

— Кряжистые были!

И затѣмъ въ продолженіе цѣлыхъ часовъ разговоръ развивался на ту же тему и наконецъ доходилъ до такого умоизступленія, что кромѣ «ахъ ты, Господи!» да «вѳ-какіе!» ничего и разобрать было нельзя. Глуповцы именовали подобныя бесѣды совѣщаніями, а нѣкоторые изъ нихъ, прислушавшись къ рѣчамъ Силы Терентьича и Терентья Силыча, называли ихъ даже бунтовскими и, подмигивая другъ другу, приговаривали: «а? каково? Каково катаютъ наши-то! Вотъ бы кого министромъ сдѣлать—Силу Терентьича... Да!»

Однимъ словомъ, мы такъ безмятежно были счастливы, такъ дѣтски-невинны и довѣрчивы, что предшествовавшее слову «возрожденіе» время, несмотря на соединенныя съ нимъ тревоги и ожиданія, все-таки ничего не вызвало на поверхность. Подойдите къ лужѣ, взбудоражьте чѣмъ-ни-наесть ея спящія воды—на поверхности ихъ покажутся пузыри. Въ Глуповѣ и пузырей не показалось.

Указываютъ мнѣ на Силу Терентьича, какъ на несомнѣнный пузырь, но, ради Бога, какой же это пузырь? Я охотно соглашаюсь, что мѣстный либерализмъ достигъ въ немъ высшаго своего выраженія; я соглашаюсь, что ссылка на стариковъ и ихъ кряжистость есть довольно смѣлая, въ своемъ родѣ, штука; но, сознаюсь откровенно, для меня этого недостаточно, чтобъ признать его дѣйствительнымъ пузыремъ.

Истинный, благородный пузырь лопается во всеуслышаніе, лопается публично, лопается, не взирая ни на какія особы. Напротивъ того, Сила Терентьичъ лопался и проявлялъ свой либерализмъ лишь подъ воротами своего дома, и притомъ въ такое, по преимуществу, время, когда прочіе глуповцы исключительно были поглощены игрою на гармоникѣ.

Истинный пузырь никогда не появляется на поверхности одинокимъ, но всегда приводитъ за собой цѣлую семью маленькихъ пузырей и пузырятъ, которые тянутъ къ нему и ищутъ съ нимъ слиться. Напротивъ того, куда бы ни обра-

тилъ свои взоры Сила Терентьичъ, вездѣ онъ встрѣчаетъ пустыню. Добрые глуповцы, если и слышали и подозрѣвали что-нибудь, то старались не слышать и не подозрѣвать, и, при всемъ сочувствіи къ нему, потупляли взоры при встрѣчѣ съ нимъ, чтобъ, Боже сохрани, не попасть въ исторію съ такимъ болтуномъ.

Наконецъ, истинный пузырь не терпитъ никакого внѣшняго давленія. Ткните въ него пальцемъ—и его уже нѣтъ. Качество это, по мнѣнію моему, свидѣтельствуетъ о благородствѣ свойствъ пузыря, который скорѣе соглашается не существовать вовсе, нежели нести на себѣ иго тыкающаго пальца. Напротивъ того, Сила Терентьичъ продолжаетъ благоденствовать и доселѣ, несмотря на то, что обстоятельства и время сильно ткнули въ него пальцемъ. Онъ продолжаетъ бормотать подъ воротами, хотя бормотаніе его запоздало, и не можетъ ни на волосъ измѣнить силу тыкающихъ обстоятельствъ.

Скажите же на милость, какой это пузырь?

Да, ты осталась вѣрна самой себѣ: ты никого, ни единой личности не вынесла на поверхность волнъ своихъ, кормилица-поилица Глуповица! Попрежнему вяло и неуклюже лѣзутъ эти волны одна на другую; попрежнему на поверхности ихъ бѣлѣютъ щепки да какая-то дрянная, нечистая накипь... Правда, что, по временамъ, глуповцы словно шарахаются изъ стороны въ сторону, но надъ шараханіемъ этимъ всецѣло царитъ чувство тупого испуга—и ничего болѣе.

Какъ ни пристально вглядывался я въ причины, ходъ и послѣдствія этихъ чисто-физическихъ движеній, какъ ни жадно доискивалась душа моя во мракѣ глуповской жизни, въ преисподнихъ глуповскаго созерцанія, того примиряющаго звена, которое въ исторіи является посредникомъ между прошедшимъ и будущимъ,—тщетны были мои усилія! «Испугъ!» говорили мнѣ отекшія, безстрастныя лица моихъ согражданъ; «испугъ!» говорили мнѣ ихъ нескладныя, отрывистыя рѣчи; «испугъ!» говорило мнѣ ихъ торопливое, не осмысленное сознаніемъ стремленіе сбиться въ кучу, чтобъ поваднѣе было шарахаться... Испугъ, испугъ и испугъ! Взирая на весь этотъ переполохъ, я невольно вспомнилъ устныя преданія, которыя ходили въ Глуповѣ по рукамъ. Вспомнился мнѣ и громовержецъ Юпитеръ, и переговоры съ матушкой Минервой... И вдругъ я понялъ и прошлое, и настоящее моего родного города... Господи! мнѣ кажется, что я понялъ даже его будущее!

О, вы, которые еще вѣрите въ возможность исторіи Глупова, скажите мнѣ: возможна ли такая исторія, которой содержаніемъ былъ бы непрерывный, безконечный испугъ?

Жизнь вѣковъ! ты, которая была столь обильна дарами для умновцевъ, ты, которая, подобно нестомчивой и ревнивой матери, заботливо ведешь народы по пути усовершенствованія, охраняя ихъ и отъ паденія, и отъ поворотовъ назадъ,—чѣмъ была ты для Глупова? Ты не была даже мачихой, не была даже нянькой: стыдно сказать, но ты была чѣмъ-то въ родѣ жалкаго обѣда за скуднымъ табльд'отомъ. «Зачѣмъ пичкаютъ меня этимъ гнуснымъ варенымъ картофелемъ? зачѣмъ не даютъ мнѣ рябчиковъ?» спрашиваю я, чувствуя, что злость закипаетъ въ моемъ сердцѣ. А мнѣ, вмѣсто рябчиковъ, вновь подаютъ картофель, и нѣтъ конца этому гнусному картофелю!

Возрожденіе! безспорно, ты хорошая вещь, безспорно, я влекусь къ тебѣ всѣмъ сердцемъ, всѣми силами души моей; но гдѣ же, въ какомъ отдаленномъ Умновѣ, видано, чтобъ ты подавалось въ видѣ манной каши съ масломъ изумленнымъ твоимъ появленіемъ посѣтителямъ обязательнаго табльд'ота!?

Но, дѣлать нечего, картофель и рябчики, каша ли съ масломъ или желе, а приходится втаскивать воронка въ оглобли! Сомнѣнія Силы Терентьича больше чѣмъ оправдались. Я самъ видѣлъ, какъ выводили воронка изъ конюшни, какъ его исподволь подводили къ оглоблямъ, какъ держали его подъ уздцы, все въ чаяніи, что вотъ-вотъ онъ брыкнетъ. Не брыкнулъ. Старый воронко! я видѣлъ, какъ прошибла тебя слеза; я видѣлъ, какъ дрожали твои мясистыя губы; я слышалъ твой вздохъ, которымъ, казалось, ты умолялъ своихъ вожаковъ не впрягать тебя въ корню, ибо это мѣсто принадлежитъ не тебѣ, а гнѣдку! Но ты не измѣнилъ обычаямъ праотцевъ, ты не исказилъ однимъ махомъ заднихъ копытъ исторіи Глупова, ты не брыкнулъ—хвалю тебя!

Свершилось: отнынѣ Глуповъ обязывается ѣсть манную кашу съ масломъ. Но не подавись ею, милый, ибо кашу эту ѣсть надо умѣючи. Умой руки, выполоскай ротъ и сиди вѣжливенько, ибо каша—вещь хитрая: можетъ и въ ротъ попасть, можетъ и глаза залѣпить.

Дуракъ Иванушко! чему смѣешься?.. Или сердце въ тебѣ взыграло?.. Или пахнуло на тебя свѣжимъ воздухомъ?.. Или почуялъ ты, что пришелъ конецъ твоему гореваньицу, тому

тамъ оно въ чемъ-нибудь выражается... ну, хоть въ томъ, напримѣръ, что лица веселѣе смотрятъ, что ноги бодрѣе ходятъ... Но возрожденіе глуповское!.. Воля ваша, тутъ есть что-то непроходимое, что-то до такой степени несовмѣстимое, что мысль самая дерзкая невольно цѣпенѣетъ передъ дремучимъ величіемъ этой задачи. Да помилуйте! Да осмотритесь же кругомъ себя! Да потяните же носомъ воздухъ! Вѣдь глуповцы даже половъ въ своихъ жилыхъ покояхъ не вымыли! вѣдь глуповцы даже въ баню лишняго раза не сходили! А безъ этого какое же можетъ быть возрожденіе!

Посмотримъ, однакожъ, не знаютъ ли чего-нибудь Сила Терентьичъ и Терентій Силычъ? Они такъ долго чего-то боялись, такъ долго о чемъ-то между собой шушукались, что не можетъ же статься, чтобъ эта штука не была имъ досконально извѣстна.

Увы! Сила Терентьичъ и Терентій Силычъ только вздыхаютъ и отдуваются. Сеня Бирюковъ взираетъ на нихъ, и хоть убей—ничего не понимаетъ. И не то чтобъ они въ самомъ дѣлѣ не разумѣли; нѣтъ, и знаютъ, и разумѣютъ, да вотъ не хотятъ да и не хотятъ открыться! И рожу такъ состроятъ: «знаю, да не скажу»—и не говорятъ.

Мнѣ положительно, напримѣръ, извѣстно, что Сила Терентьичъ подозрѣваетъ, что все возрожденіе заключается въ томъ, что на мѣсто Петра Иваныча сѣлъ Иванъ Петровичъ; однакожъ предположенія своего онъ высказать не рѣшается, потому что, быть-можетъ, оно и не то значитъ. Терентій Силычъ идетъ дальше: онъ мнитъ, что возрожденіе означаетъ возможность грубить и невѣжничать; однакожъ мысли своей тоже не высказываетъ, потому что опасается, чтобъ кто-нибудь за нее его не треснулъ. Оба чего-то ждутъ, а чего—не говорятъ. А я знаю, чего они ждутъ: они ждутъ, не придетъ ли когда-нибудь кто-нибудь и не зарубитъ ли у нихъ на носу, что̀ именно слѣдуетъ разумѣть подъ возрожденіемъ. Если придетъ—мысли ихъ прояснятся; а не придетъ—ну, и опять будетъ попрежнему: «знаю, да не скажу»!

Но это не политично. Допустимъ, что вы передо мной скрывались; допустимъ, что вы имѣете даже свои причины на это; но зачѣмъ же скрываетесь вы передъ Сеней, за что же его-то вы вводите въ заблужденіе? Вѣдь онъ и впрямь, бѣдняжка, думаетъ, что возрожденіе—это новые сѣрые штаны съ лампасами, что возрожденіе—это проборъ à l'anglaise, что возрожденіе—c'est quelque chose de très

porté et de très couru pour le moment. Однимъ словомъ, онъ смотритъ на возрожденіе какъ на что-то съѣдобное, какъ на что-то такое, что̀ можно носить, мять, пачкать и вообще употреблять по своему произволу.

А вѣдь это заблужденіе, даже очень опасное заблужденіе, и Сеня, оставаясь при немъ, можетъ, по милости вашей, попасть въ самый печальный просакъ.

Raisonnons.

Сѣрые штаны съ лампасами сбиваютъ Сеню съ толку. Онъ такъ увлекается щегольствомъ и шикарностью ихъ покроя, онъ такъ поощренъ ласковыми взглядами, обращаемыми на него по этому случаю Матреной Ивановной и Пелагеей Александровной, что въ роговой его накипи, которую онъ въ шутку называетъ своей головой, рождается положительное убѣжденіе, что на комъ нѣтъ точно такихъ же штановъ, тотъ ужъ и не человѣкъ. Убѣжденіе это, очевидно, можетъ повредить его отношеніямъ къ глуповскому возрожденію. Ибо, спрашиваю я васъ, что̀ будетъ, если Сеня, взирая на міръ съ точки зрѣнія штановъ, будетъ видѣть въ Глуповѣ лишь пустыню, населенную звѣрьемъ, не имѣющимъ никакого понятія ни о красотѣ лампасовъ, ни объ изяществѣ полосокъ и клѣтокъ? Изъ этого выйдетъ, что глуповцы будутъ казаться ему чѣмъ-то въ родѣ низшихъ организмовъ, а отсюда...;

Положимъ, что глуповцы не обидятся (натерпѣлись они, бѣдные, и не такихъ потасовокъ!), но согласитесь сами, что-жъ это будетъ за возрожденіе! Щелкъ да щелкъ—развѣ это резонъ? «Онъ щелкнулъ въ зубы, но почему же не въ носъ?»—спроситъ оскорбленный глуповецъ.

У глуповца зубы болятъ, а носъ—слава Богу; слѣдовательно ему выгоднѣе, чтобъ его въ носъ щелкали. Вѣдь это несправедливость, которую не потерпитъ даже Зубатовъ! Но вопросъ усложняется, если глуповцы обидятся; а вѣдь и это можетъ случиться, благодаря тому же возрожденію. Что̀ можетъ тогда выйти? Увы! я опасаюсь, что тутъ также выйдетъ... но только съ другой стороны...

Итакъ, скрывать отъ Сени истинный глуповскій смыслъ возрожденія противно его интересамъ, противно его репутаціи. Не лучше ли прямо объявить ему, что бываютъ въ жизни минуты, когда сила обстоятельствъ заставляетъ насъ, людей хорошаго тона, забывать о штанахъ съ лампасами и утирать носъ ногою? Не лучше ли объяснить ему, что не мѣшаетъ иногда и въ зипунъ принарядиться, не вза-

правду, конечно, а такъ... для внушенія въ глуповцахъ довѣрія. Не лучше ли сказать ему: «Сеня! сдѣлай это, мой другъ, и надуй почтенную публику!»

Люди, понявшіе характеръ и сущность глуповскаго возрожденія, именно такъ и поступаютъ. Съ этой стороны Сила Терентьичъ правъ совершенно: Петръ Иванычъ сѣлъ на мѣсто Ивана Петровича — и больше ничего не случилось.

Старые «хорошіе» люди исчезаютъ—это вѣрно. Словно персидскій порошокъ, Богъ вѣсть откуда, на нихъ посыпался; но каждая новая минута есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и минута смерти для кого-нибудь изъ глуповскихъ Гостомысловъ. Гостомыслы умираютъ безпрекословно, скрестивши на груди руки и облачившись въ свои лучшія глуповскія одежды. Какъ нѣкогда умирающій Трифонычъ алкалъ предстать на тотъ свѣтъ тѣмъ же дворовымъ господина Чертопханова человѣкомъ, какимъ состоялъ въ земной сей юдоли, такъ и нынѣ умирающіе глуповцы выказываютъ твердое намѣреніе и въ загробной жизни воспрянуть старыми, непреклонными глуповцами, недоступными ни резонамъ, ни соображеніямъ. Въ этомъ есть нѣчто древнескандинавское, въ этомъ есть нѣчто новѣйше-ирокезское.

Но мѣсто старыхъ глуповцевъ не могло быть не занято уже по тому одному, что «было бы болото, а черти будутъ». Вмѣсто прежнихъ «хорошихъ» людей должны были явиться новые «хорошіе» люди—и они явились.

Они явились—и мы были ослѣплены ихъ сіяніемъ; они явились—и глуповскія дамы всѣмъ соборомъ объявили, что никогда еще глуповская жизнь не была такъ сладостна, никогда еще не представляла она столько pittoresque и imprévu. Бойко и ходко накинулись эти новые рюриковичи на тучно удобренную глуповскую землю, и глуповская земля не выдержала: изъ груди ея вырвался тяжкій и болѣзненный стонъ. Казалось, всѣ «родители» разомъ запротестовали изъ могилъ своихъ...

Нынѣшній «хорошій» человѣкъ въ наружномъ отношеніи представляетъ совершенную противоположность «хорошему» человѣку добраго стараго времени. Послѣдній былъ неряшливъ и неумытъ, частенько даже несло отъ него словно морскими травами; первый, напротивъ того, безукоризненъ и чистъ, какъ кристаллъ. Послѣдній былъ невѣжественъ и грубъ; первый, напротивъ того, утонченъ и образованъ. Голова послѣдняго положительнымъ образомъ представляла

Затѣмъ жизнь наша была постояннымъ праздникомъ: мы пили, ѣли, спали, играли въ карты, подписывали бумаги и, подобно сказочной бабѣ-ягѣ, припѣвали: «покатаюся, поваляюся на Иванушкиныхъ косточкахъ, Иванушкина мясца поѣвши!»

. . . . . .

И вѣдь нужно же было, при такой-то жизни, какому-то, прости Господи, кобелю борзому заговорить о возрожденіи! А заговорилъ! именно заговорилъ! И не отсохъ у него языкъ, и не провалился онъ сквозь землю, и не пожралъ его огонь, и не лопнули его глазыньки!

Глуповъ еще загодя блѣднѣлъ и трясся при этомъ словѣ, и все про себя шепталъ: «Господи! ахъ, кабы да мимо!» Еще загодя, при малѣйшемъ шорохѣ, онъ махалъ онучами и шугалъ, какъ шугаетъ баба-птичница, завидѣвъ въ небѣ коршуна, кружащагося надъ всполошившимся стадомъ ввѣренныхъ ей цыплятъ. «Чѣмъ наша жизнь не красна?—говорилъ онъ потихоньку:—или пуховики у насъ не толсты? или вотрушки наши не сдобны?»

— Старики-то, старики-то наши развѣ хуже насъ были?—шепталъ обыватель Сила Терентьичъ на ухо обывателю Терентью Силычу.

— На могилку, видно, ужо къ нимъ сходить!—грустно отвѣтствовалъ Терентій Силычъ.

— Эхма! жили-жили, а теперь на-поди!

— Родителей-то жалко, Сила Терентьичъ!

— Старики-то наши во-какіе были!

— Кряжистые были!

— И возможно ли теперича всѣ порядки нарушать? Чтобъ господинъ теперича у стула съ тарелкой стоялъ, а рабъ за столомъ развалившись сидѣлъ? Или, опять, чтобъ купецъ исправника въ морду билъ, а исправникъ ему за это барашка въ бумажкѣ сулилъ?

— Праховое дѣло затѣяли!

— Да и то опять ты возьми, что люди-то мы непривышные. Проторили себѣ дорогу одну, инъ и ходить бы по ней до скончанія!

— Это точно, что непривышные!

— У меня вонъ воронко: привыкъ на пристяжкѣ ходить—ну, и самъ бѣсъ его перепречь въ оглобли не втащитъ... Такъ-то!

— Оно, пожалуй, что втащить можно!—говоритъ Терентій Силычъ, задумчиво улыбаясь.

— Оно, конечно, коли захочу втащить, отчего не втащить!—соглашается Сила Терентьичъ.

— Можно втащить! — положительно утверждаетъ собесѣдникъ.

— Отчего не втащить! Втащимъ!

— Да вѣдь отцы-то наши... пойми, другъ.

— Это точно, что отцы наши вѣ-какіе были!

— Кряжистые были!

И затѣмъ въ продолженіе цѣлыхъ часовъ разговоръ развивался на ту же тему и наконецъ доходилъ до такого умоизступленія, что кромѣ «ахъ ты, Господи!» да «вѣ-какіе!» ничего и разобрать было нельзя. Глуповцы именовали подобныя бесѣды совѣщаніями, а нѣкоторые изъ нихъ, прислушавшись къ рѣчамъ Силы Терентьича и Терентья Силыча, называли ихъ даже бунтовскими и, подмигивая другъ другу, приговаривали: «а? каково? Каково катаютъ наши-то! Вотъ бы кого министромъ сдѣлать—Силу Терентьича... Да!»

Однимъ словомъ, мы такъ безмятежно были счастливы, такъ дѣтски-невинны и довѣрчивы, что предшествовавшее слову «возрожденіе» время, несмотря на соединенныя съ нимъ тревоги и ожиданія, все-таки ничего не вызвало на поверхность. Подойдите къ лужѣ, взбудоражьте чѣмъ-ни-наесть ея спящія воды—на поверхности ихъ покажутся пузыри. Въ Глуповѣ и пузырей не показалось.

Указываютъ мнѣ на Силу Терентьича, какъ на несомнѣнный пузырь, но, ради Бога, какой же это пузырь? Я охотно соглашаюсь, что мѣстный либерализмъ достигъ въ немъ высшаго своего выраженія; я соглашаюсь, что ссылка на стариковъ и ихъ кряжистость есть довольно смѣлая, въ своемъ родѣ, штука; но, сознаюсь откровенно, для меня этого недостаточно, чтобъ признать его дѣйствительнымъ пузыремъ.

Истинный, благородный пузырь лопается во всеуслышаніе, лопается публично, лопается, не взирая ни на какія особы. Напротивъ того, Сила Терентьичъ лопался и проявлялъ свой либерализмъ лишь подъ воротами своего дома, и притомъ въ такое, по преимуществу, время, когда прочіе глуповцы исключительно были поглощены игрою на гармоникѣ.

Истинный пузырь никогда не появляется на поверхности одинокимъ, но всегда приводитъ за собой цѣлую семью маленькихъ пузырей и пузырятъ, которые тянутъ къ нему и ищутъ съ нимъ слиться. Напротивъ того, куда бы ни обра-

тилъ свои взоры Сила Терентьичъ, вездѣ онъ встрѣчаетъ пустыню. Добрые глуповцы, если и слышали и подозрѣвали что-нибудь, то старались не слышать и не подозрѣвать, и, при всемъ сочувствіи къ нему, потупляли взоры при встрѣчѣ съ нимъ, чтобъ, Боже сохрани, не попасть въ исторію съ такимъ болтуномъ.

Наконецъ, истинный пузырь не терпитъ никакого внѣшняго давленія. Ткните въ него пальцемъ—и его уже нѣтъ. Качество это, по мнѣнію моему, свидѣтельствуетъ о благородствѣ свойствъ пузыря, который скорѣе соглашается не существовать вовсе, нежели нести на себѣ иго тыкающаго пальца. Напротивъ того, Сила Терентьичъ продолжаетъ благоденствовать и доселѣ, несмотря на то, что обстоятельства и время сильно ткнули въ него пальцемъ. Онъ продолжаетъ бормотать подъ воротами, хотя бормотаніе его запоздало, и не можетъ ни на волосъ измѣнить силу тыкающихъ обстоятельствъ.

Скажите же на милость, какой это пузырь?

Да, ты осталась вѣрна самой себѣ: ты никого, ни единой личности не вынесла на поверхность волнъ своихъ, кормилица-поилица Глуповица! Попрежнему вяло и неуклюже лѣзутъ эти волны одна на другую; попрежнему на поверхности ихъ бѣлѣютъ щепки да какая-то дрянная, нечистая накипь... Правда, что, по временамъ, глуповцы словно шарахаются изъ стороны въ сторону, но надъ шараханіемъ этимъ всецѣло царитъ чувство тупого испуга—и ничего болѣе.

Какъ ни пристально вглядывался я въ причины, ходъ и послѣдствія этихъ чисто-физическихъ движеній, какъ ни жадно доискивалась душа моя во мракѣ глуповской жизни, въ преисподнихъ глуповскаго созерцанія, того примиряющаго звена, которое въ исторіи является посредникомъ между прошедшимъ и будущимъ,—тщетны были мои усилія! «Испугъ!» говорили мнѣ отекшія, безстрастныя лица моихъ согражданъ; «испугъ!» говорили мнѣ ихъ нескладныя, отрывистыя рѣчи; «испугъ!» говорило мнѣ ихъ торопливое, не осмысленное сознаніемъ стремленіе сбиться въ кучу, чтобъ поваднѣе было шарахаться... Испугъ, испугъ и испугъ! Взирая на весь этотъ переполохъ, я невольно вспомнилъ устныя преданія, которыя ходили въ Глуповѣ по рукамъ. Вспомнился мнѣ и громовержецъ Юпитеръ, и переговоры съ матушкой Минервой... И вдругъ я понялъ и прошлое, и настоящее моего родного города... Господи! мнѣ кажется, что я понялъ даже его будущее!

О, вы, которые еще вѣрите въ возможность исторіи Глупова, скажите мнѣ: возможна ли такая исторія, которой содержаніемъ былъ бы непрерывный, безконечный испугъ?

Жизнь вѣковъ! ты, которая была столь обильна дарами для умновцевъ, ты, которая, подобно нестомчивой и ревнивой матери, заботливо ведешь народы по пути усовершенствованія, охраняя ихъ и отъ паденія, и отъ поворотовъ назадъ,—чѣмъ была ты для Глупова? Ты не была даже мачихой, не была даже нянькой: стыдно сказать, но ты была чѣмъ-то въ родѣ жалкаго обѣда за скуднымъ табльд'отомъ. «Зачѣмъ пичкаютъ меня этимъ гнуснымъ варенымъ картофелемъ? зачѣмъ не даютъ мнѣ рябчиковъ?» спрашиваю я, чувствуя, что злость закипаетъ въ моемъ сердцѣ. А мнѣ, вмѣсто рябчиковъ, вновь подаютъ картофель, и нѣтъ конца этому гнусному картофелю!

Возрожденіе! безспорно, ты хорошая вещь, безспорно, я влекусь къ тебѣ всѣмъ сердцемъ, всѣми силами души моей; но гдѣ же, въ какомъ отдаленномъ Умновѣ, видано, чтобъ ты подавалось въ видѣ манной каши съ масломъ изумленнымъ твоимъ появленіемъ посѣтителямъ обязательнаго табльд'ота!?

Но, дѣлать нечего, картофель и рябчики, каша ли съ масломъ или желе, а приходится втаскивать воронка въ оглобли! Сомнѣнія Силы Терентьича больше чѣмъ оправдались. Я самъ видѣлъ, какъ выводили воронка изъ конюшни, какъ его исподволь подводили къ оглоблямъ, какъ держали его подъ уздцы, все въ чаяніи, что вотъ-вотъ онъ брыкнетъ. Не брыкнулъ. Старый воронко! я видѣлъ, какъ прошибла тебя слеза; я видѣлъ, какъ дрожали твои мясистыя губы; я слышалъ твой вздохъ, которымъ, казалось, ты умолялъ своихъ вожаковъ не впрягать тебя въ корню, ибо это мѣсто принадлежитъ не тебѣ, а гнѣдку! Но ты не измѣнилъ обычаямъ праотцевъ, ты не исказилъ однимъ махомъ заднихъ копытъ исторіи Глупова, ты не брыкнулъ—хвалю тебя!

Свершилось: отнынѣ Глуповъ обязывается ѣсть манную кашу съ масломъ. Но не подавись ею, милый, ибо кашу эту ѣсть надо умѣючи. Умой руки, выполоскай ротъ и сиди вѣжливенько, ибо каша—вещь хитрая: можетъ и въ ротъ попасть, можетъ и глаза залѣпить.

Дуракъ Иванушко! чему смѣешься?.. Или сердце въ тебѣ взыграло?.. Или пахнуло на тебя свѣжимъ воздухомъ?.. Или почуялъ ты, что пришелъ конецъ твоему гореваньицу, тому

злому, лютому гореваньицу, что и къ материнскимъ сосцамъ съ тобой припадало, что и въ зыбкѣ тебя укачивало, что и въ пѣсняхъ тебѣ подтягивало, что и въ царевъ-кабакъ съ тобой разгуляться похаживало?

Смѣйся, дурачокъ! Самъ господинъ Зубатовъ отмѣнно радъ, что ты смѣешься... Въ другое время онъ сказалъ бы тебѣ: «чего, ска-а-тина, ротъ до ушей дерешь?»—ну, а теперь ничего, спѣшитъ даже поскорѣй домой, чтобъ отрапортовать куда слѣдуетъ: засмѣялся, дескать.

Зубатову хлопотъ полонъ ротъ. Онъ не призывалъ возрожденія; по правдѣ сказать, едва ли даже онъ желалъ его, хотя, въ качествѣ обладателя и руководителя глуповскихъ сновидѣній, и обязанъ былъ призывать и желать его.

— Ma chère,—не разъ говаривалъ онъ супругѣ своей:—это возрожденіе—чортъ его знаетъ, что это такое!

— Pourvu que tu conserves ta place, mon ami!—отвѣтствовала обыкновенно Анна Ивановна, которую, очевидно, интересовала въ этомъ дѣлѣ существенная сторона, а не вертопрашество.

И потому, какъ скоро Зубатовъ увидѣлъ, что все совершилось, то и онъ не брыкнулъ, и онъ поскорѣй побѣжалъ запрягаться въ оглобли.

Что происходило въ это время въ душѣ его? Что понималъ онъ подъ словомъ «возрожденіе»—это извѣстно единому Богу всевѣдущему, ибо Онъ одинъ можетъ проникать въ трущобы сердецъ Зубатовскихъ. Глуповъ могъ убѣдиться только въ томъ, что Зубатовъ вскипѣлъ и взревновалъ безконечно. Вслѣдствіе этой ревности самая наружность Глупова внезапно измѣнилась: на улицахъ засновали экипажи; въ канцеляріяхъ усиленно заскрипѣли перьями; изъ подворотенъ вылѣзли физіономіи съ усами и физіономіи безъ усовъ, физіономіи румяныя и физіономіи блѣдныя; одни недоумѣвали и хлопали глазами; другіе уже поняли и даже какъ будто приготовились насладиться плодами возрожденія...

Что-жъ они поняли, и по какому поводу весь этотъ переполохъ, всѣ эти шараханія изъ стороны въ сторону?.. И что такое это «возрожденіе», отъ котораго такъ усердно и такъ напрасно и отмаливались, и отплевывались добрые глуповцы?..

Въ самомъ дѣлѣ, какъ опредѣлить, что можетъ значить глуповское возрожденіе? Я допускаю возможность говорить о возрожденіи умновскомъ, о возрожденіи буяновскомъ, ибо

тамъ оно въ чемъ-нибудь выражается... ну, хоть въ томъ, напримѣръ, что лица веселѣе смотрятъ, что ноги бодрѣе ходятъ... Но возрожденіе глуповское!.. Воля ваша, тутъ есть что-то непроходимое, что-то до такой степени несовмѣстимое, что мысль самая дерзкая невольно цѣпенѣетъ передъ дремучимъ величіемъ этой задачи. Да помилуйте! Да осмотритесь же кругомъ себя! Да потяните же носомъ воздухъ! Вѣдь глуповцы даже половъ въ своихъ жилыхъ покояхъ не вымыли! вѣдь глуповцы даже въ баню лишняго раза не сходили! А безъ этого какое же можетъ быть возрожденіе!

Посмотримъ, однакожъ, не знаютъ ли чего-нибудь Сила Терентьичъ и Терентій Силычъ? Они такъ долго чего-то боялись, такъ долго о чемъ-то между собой шушукались, что не можетъ же статься, чтобъ эта штука не была имъ досконально извѣстна.

Увы! Сила Терентьичъ и Терентій Силычъ только вздыхаютъ и отдуваются. Сеня Бирюковъ взираетъ на нихъ, и хоть убей—ничего не понимаетъ. И не то чтобъ они въ самомъ дѣлѣ не разумѣли; нѣтъ, и знаютъ, и разумѣютъ, да вотъ не хотятъ да и не хотятъ открыться! И рожу такъ состроятъ: «знаю, да не скажу»—и не говорятъ.

Мнѣ положительно, напримѣръ, извѣстно, что Сила Терентьичъ подозрѣваетъ, что все возрожденіе заключается въ томъ, что на мѣсто Петра Иваныча сѣлъ Иванъ Петровичъ; однакожъ предположенія своего онъ высказать не рѣшается, потому что, быть-можетъ, оно и не то значитъ. Терентій Силычъ идетъ дальше: онъ мнитъ, что возрожденіе означаетъ возможность грубить и невѣжничать; однакожъ мысли своей тоже не высказываетъ, потому что опасается, чтобъ кто-нибудь за нее его не треснулъ. Оба чего-то ждутъ, а чего—не говорятъ. А я знаю, чего они ждутъ: они ждутъ, не придетъ ли когда-нибудь кто-нибудь и не зарубитъ ли у нихъ на носу, что̀ именно слѣдуетъ разумѣть подъ возрожденіемъ. Если придетъ—мысли ихъ прояснятся; а не придетъ—ну, и опять будетъ попрежнему: «знаю, да не скажу»!

Но это не политично. Допустимъ, что вы передо мной скрывались; допустимъ, что вы имѣете даже свои причины на это; но зачѣмъ же скрываетесь вы передъ Сеней, за что же его-то вы вводите въ заблужденіе? Вѣдь онъ и впрямь, бѣдняжка, думаетъ, что возрожденіе—это новые сѣрые штаны съ лампасами, что возрожденіе—это проборъ à l'anglaise, что возрожденіе—c'est quelque chose de très

porté et de très couru pour le moment. Однимъ словомъ, онъ смотритъ на возрожденіе какъ на что-то съѣдобное, какъ на что-то такое, что можно носить, мять, пачкать и вообще употреблять по своему произволу.

А вѣдь это заблужденіе, даже очень опасное заблужденіе, и Сеня, оставаясь при немъ, можетъ, по милости вашей, попасть въ самый печальный просакъ.

Raisonnons.

Сѣрые штаны съ лампасами сбиваютъ Сеню съ толку. Онъ такъ увлекается щегольствомъ и шикарностью ихъ покроя, онъ такъ поощренъ ласковыми взглядами, обращаемыми на него по этому случаю Матреной Ивановной и Пелагеей Александровной, что въ роговой его накипи, которую онъ въ шутку называетъ своей головой, рождается положительное убѣжденіе, что на комъ нѣтъ точно такихъ же штановъ, тотъ ужъ и не человѣкъ. Убѣжденіе это, очевидно, можетъ повредить его отношеніямъ къ глуповскому возрожденію. Ибо, спрашиваю я васъ, что будетъ, если Сеня, взирая на міръ съ точки зрѣнія штановъ, будетъ видѣть въ Глуповѣ лишь пустыню, населенную звѣрьемъ, не имѣющимъ никакого понятія ни о красотѣ лампасовъ, ни объ изяществѣ полосокъ и клѣтокъ? Изъ этого выйдетъ, что глуповцы будутъ казаться ему чѣмъ-то въ родѣ низшихъ организмовъ, а отсюда...;

Положимъ, что глуповцы не обидятся (натерпѣлись они, бѣдные, и не такихъ потасовокъ!), но согласитесь сами, что-жъ это будетъ за возрожденіе! Щелкъ да щелкъ—развѣ это резонъ? «Онъ щелкнулъ въ зубы, но почему же не въ носъ?»—спроситъ оскорбленный глуповецъ.

У глуповца зубы болятъ, а носъ—слава Богу; слѣдовательно ему выгоднѣе, чтобъ его въ носъ щелкали. Вѣдь это несправедливость, которую не потерпитъ даже Зубатовъ! Но вопросъ усложняется, если глуповцы обидятся; а вѣдь и это можетъ случиться, благодаря тому же возрожденію. Что можетъ тогда выйти? Увы! я опасаюсь, что тутъ также выйдетъ... но только съ другой стороны...

Итакъ, скрывать отъ Сени истинный глуповскій смыслъ возрожденія противно его интересамъ, противно его репутаціи. Не лучше ли прямо объявить ему, что бываютъ въ жизни минуты, когда сила обстоятельствъ заставляетъ насъ, людей хорошаго тона, забывать о штанахъ съ лампасами и утирать носъ ногою? Не лучше ли объяснить ему, что не мѣшаетъ иногда и въ зипунъ принарядиться, не вза-

правду, конечно, а такъ... для внушенія въ глуповцахъ довѣрія. Не лучше ли сказать ему: «Сеня! сдѣлай это, мой другъ, и надуй почтенную публику!»

Люди, понявшіе характеръ и сущность глуповскаго возрожденія, именно такъ и поступаютъ. Съ этой стороны Сила Терентьичъ правъ совершенно: Петръ Иванычъ сѣлъ на мѣсто Ивана Петровича — и больше ничего не случилось.

Старые «хорошіе» люди исчезаютъ—это вѣрно. Словно персидскій порошокъ, Богъ вѣсть откуда, на нихъ посыпался; но каждая новая минута есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, и минута смерти для кого-нибудь изъ глуповскихъ Гостомысловъ. Гостомыслы умираютъ безпрекословно, скрестивши на груди руки и облачившись въ свои лучшія глуповскія одежды. Какъ нѣкогда умирающій Трифонычъ алкалъ предстать на тотъ свѣтъ тѣмъ же дворовымъ господина Чертопханова человѣкомъ, какимъ состоялъ въ земной сей юдоли, такъ и нынѣ умирающіе глуповцы выказываютъ твердое намѣреніе и въ загробной жизни воспрянуть старыми, непреклонными глуповцами, недоступными ни резонамъ, ни соображеніямъ. Въ этомъ есть нѣчто древнескандинавское, въ этомъ есть нѣчто новѣйше-ирокезское.

Но мѣсто старыхъ глуповцевъ не могло быть не занято уже по тому одному, что «было бы болото, а черти будутъ». Вмѣсто прежнихъ «хорошихъ» людей должны были явиться новые «хорошіе» люди—и они явились.

Они явились—и мы были ослѣплены ихъ сіяніемъ; они явились—и глуповскія дамы всѣмъ соборомъ объявили, что никогда еще глуповская жизнь не была такъ сладостна, никогда еще не представляла она столько pittoresque и imprévu. Бойко и ходко накинулись эти новые рюриковичи на тучно удобренную глуповскую землю, и глуповская земля не выдержала: изъ груди ея вырвался тяжкій и болѣзненный стонъ. Казалось, всѣ «родители» разомъ запротестовали изъ могилъ своихъ...

Нынѣшній «хорошій» человѣкъ въ наружномъ отношеніи представляетъ совершенную противоположность «хорошему» человѣку добраго стараго времени. Послѣдній былъ неряшливъ и неумытъ, частенько даже несло отъ него словно морскими травами; первый, напротивъ того, безукоризненъ и чистъ, какъ кристаллъ. Послѣдній былъ невѣжественъ и грубъ; первый, напротивъ того, утонченъ и образованъ. Голова послѣдняго положительнымъ образомъ представляла

собою плотную роговую накипь, сквозь которую трудно было даже съ молоткомъ пробраться; голова перваго, напротивъ того, на свѣтъ прозрачна, а при малѣйшемъ щелчкѣ звенитъ, какъ серебро.

Нынѣшній «хорошій» человѣкъ въ карты ни-ни, исторій съ рылами, микитками и подсалазками удаляется, buvons употребляетъ лишь благороднымъ манеромъ, т. е. душитъ шампанское и презираетъ очищенную, и только къ aimons обнаруживаетъ прежнее ехидное пристрастіе. Зато прямъ какъ аршинъ, поджаръ какъ борзая собака, высокомѣренъ какъ семинаристъ, дерзокъ какъ губернаторскій камердинеръ и загадоченъ какъ тотъ хвойный лѣсъ, который отъ истоковъ рѣкъ Камы и Вятки тянется вплоть до Ледовитаго океана.

Нынѣшній «хорошій» человѣкъ не наѣдается за обѣдомъ до отвала и не падаетъ, послѣ гречневой каши, отъ изнеможенія силъ. Онъ обѣдаетъ вообще умѣренно (хотя и на чужой счетъ), и послѣобѣденное время любитъ посвятить разумной бесѣдѣ съ пріятелями о прекрасномъ устройствѣ оксфордскаго университета, о воскресныхъ забавахъ англичанъ, о рыбномъ обѣдѣ англійскихъ министровъ и о другихъ достопримѣчательностяхъ, въ которыхъ старые глуповцы ни уха, ни рыла не смыслили. Онъ очень мило говоритъ объ selfgovernment и даже находитъ qu'au fond il y a du vrai dans tout ceci, но въ то же время не можетъ не поставить на видъ, что большія континентальныя государства едва ли, безъ опасенія за свою самостоятельность, могутъ принять формы самоуправленія.

Нынѣшній «хорошій» человѣкъ въ дѣлахъ любви избѣгаетъ солнечнаго свѣта. Онъ развратничаетъ по уголкамъ и всему на свѣтѣ предпочитаетъ такъ-называемыя благородныя интриги. Онъ любитъ, чтобъ его называли Жоржемъ, а не Егорушкой, Мишелемъ, а не Мишуточкой, и pour rien au monde не согласится любить женщину, которая носитъ рубашки изъ посконнаго полотна.

Нынѣшній «хорошій» человѣкъ паче всего любитъ публичность, и не затрудняется ни предъ какимъ обществомъ. Онъ жаждетъ позировать неустанно, позировать наяву и во снѣ, позировать въ гостиной и въ чуланѣ. Онъ всю свою изобрѣтательность употребляетъ на то, чтобъ подыскать себѣ публику, и, достигнувъ этого, охотно во всякое время выбрасываетъ передъ нею накопившійся въ затхломъ архивѣ души хламъ юродивства, прикрытаго громкими именами безкорыстія, честности, гласности и т. д.

Нынѣшніе «хорошіе» люди, когда встрѣчаются въ обществѣ, наплюютъ другъ другу въ лохань, но ведутъ межъ собою скромную и даже отчасти ученую бесѣду.

— А что, mon cher, читали вы въ «Русскомъ Вѣстникѣ» послѣднее политическое обозрѣніе?.. délicieux!—говоритъ одинъ «хорошій» человѣкъ другому.

— А я, съ своей стороны, рекомендую вамъ, mon cher, «Письмо изъ Турина»... charmant!—отвѣчаетъ другой «хорошій» человѣкъ.

Такимъ манеромъ все обходится тихо, сражающихся не бываетъ, и даже свѣтилъ небесныхъ никто не видитъ.

Хотя уроженецъ Глупова, нынѣшній «хорошій» человѣкъ относится къ своей родинѣ съ холодностью и даже съ нѣкоторымъ высокомѣріемъ. Конечно, глуповскія дамы... oh! les dames de Gloupoff sont délicieuses, il n'y a rien à dire! но зато le reste... фи!... Къ Глупову онъ привязанъ горькою необходимостью возрожденія; въ Глуповъ онъ явился для исправленія дикихъ нравовъ и показанія своей благонамѣренности, но мысль, но сердце его не здѣсь, а тамъ, въ томъ миломъ, вѣчно юномъ Петербургѣ, гдѣ живутъ его добрые начальники, гдѣ онъ цѣловалъ ручки у свѣтлокудрой Florence, черезъ которую и получилъ мѣсто въ Глуповѣ!.. Глуповъ—это anima vilis, надъ которою ему предоставлено Провидѣніемъ дѣлать какія угодно операціи; Петербургъ—это alma mater, къ которой онъ привязанъ незримою, но прочною, несокрушимою пуповиной. Въ благоговѣніи своемъ передъ Петербургомъ онъ возвышается до фанатизма, онъ дѣлается ужасенъ...

Тотъ, кто внимательно прочиталъ изложенное выше опредѣленіе «хорошаго» человѣка добраго стараго времени и сравнитъ его съ опредѣленіемъ нынѣшняго «хорошаго» человѣка, тотъ согласится, что между ними огромная разница. Одно меня нѣсколько безпокоитъ, а именно то, что Матрена Ивановна не только не смущается появленіемъ новыхъ «хорошихъ» людей, но даже начинаетъ исподволь похваливать ихъ. А она въ этомъ дѣлѣ знатокъ.

Въ «хорошемъ» человѣкѣ прежняго времени былъ air fixe какой-то, какая-то непосредственность дѣвственная, нѣчто въ родѣ запаха дикой фіалки, смѣшаннаго съ запахомъ вареной капусты. Въ нынѣшнемъ «хорошемъ» человѣкѣ... ба! да нѣтъ ли въ немъ этого air fixe? и не это ли драгоцѣнное качество, цѣпко поднюханное тонкимъ обоня-

ніемъ Матрены Ивановны, послужило основою ея благосклонности къ новымъ людямъ?

Но прежде, нежели отвѣчать на эти вопросы, займемся нѣкоторыми необходимыми изслѣдованіями.

Во-первыхъ, что такое air fixe? есть ли это запахъ въ собственномъ и тѣсномъ смыслѣ этого слова? есть ли это другая какая-либо внѣшняя, чисто-физическая особенность? или это есть особенность высшая, психологическая, особенность души и сердца?

Разсказываютъ о какомъ-то животномъ, что оно, будучи настигаемо охотникомъ, какъ послѣднее средство обороны, испускаетъ изъ себя такой съ ногъ сбивающій запахъ, который сразу ошеломляетъ охотника самаго привычнаго. Очевидно, что въ этомъ примѣрѣ запахъ составляетъ истинный, неподдѣльный air fixe животнаго, что безъ него существованіе послѣдняго было бы обезпечено и самыя средства обороны мнимы. Но очевидно также, что такое опредѣленіе слишкомъ тѣсно, чтобъ исчерпывать собой весь air fixe глуповскій. Нельзя отрицать, что истинный глуповскій аборигенъ не лишенъ своего собственнаго запаха; несомнѣнно также, что если въ комнату, наполненную умновцами, войдетъ глуповецъ, то я сейчасъ же почувствую это; но несомнѣнно и то, что запахъ этотъ, какъ бы онъ ни былъ пронзителенъ, не составляетъ еще всего глуповца, и что онъ, съ помощью нѣкоторыхъ усилій и обвѣтриванія, можетъ быть не только видоизмѣняемъ, но даже и вовсе уничтожаемъ. Глуповецъ, какъ и всякій другой представитель породы человѣческой, есть организмъ сложный и притомъ доступный совершенствованію... Онъ пахнетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ ощущаетъ и даже другихъ заставляетъ ощущать; онъ пахнетъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ... мыслитъ. Если бы его настигалъ охотникъ, я не ручаюсь, чтобы онъ совершенно пренебрегъ столь сильнымъ оружіемъ, какъ запахъ, но ручаюсь, что онъ прибѣгнетъ и къ другимъ средствамъ, находящимся въ его распоряженіи. Напримѣръ, онъ можетъ стать передъ охотникомъ на колѣни и сказать ему: «за что ты меня бить хочешь?» или спрятаться отъ охотника за дерево, или, наконецъ, принять побои безпрекословно... Возьмемъ и еще примѣръ. Идетъ глуповецъ по дорогѣ и доходитъ до распутія. Одна дорога идетъ прямо, другая идетъ направо, третья налѣво; точь-въ-точь какъ въ сказкахъ сказывается. Я и опять не ручаюсь, чтобъ въ этомъ затруднительномъ случаѣ глуповецъ пренебрегъ за-

нахомъ, но несомнѣнно, что онъ пуститъ въ ходъ и другія соображенія. Напримѣръ, онъ можетъ зажмурить глаза и погадать съ помощью указательныхъ пальцевъ; или закинуть на всѣ три дороги по палкѣ: которая дальше кинется, ту и считать звѣздой путеводной, и т. д. Это тѣмъ болѣе для него удобно, что онъ самъ хорошенько не знаетъ, куда идетъ. Согласитесь, однакожъ, что все это предполагаетъ въ глуповцѣ возможность выбора, возможность дѣлать сравненія и выводы, и слѣдовательно рекомендуетъ его вниманію изслѣдователя, какъ организмъ сложный и высшій. Это первое. А второе важное преимущество состоитъ въ доступности глуповца къ совершенствованію. Чтобъ убѣдиться въ этомъ, не надо даже прибѣгать къ такимъ избитымъ сравненіямъ, каково, напримѣръ, постепенное усовершенствованіе различныхъ породъ домашнихъ животныхъ. Да сравненіе это будетъ и невѣрно, потому, во-первыхъ, что глуповецъ совершенствуется въ дикомъ, а не въ домашнемъ состояніи; а во-вторыхъ, самое совершенствованіе его состоитъ отнюдь не въ увеличеніи его молочности, но въ укрѣпленіи его мышцъ до той степени благонадежности, которая обезпечивала бы дальнѣйшее продолженіе глуповской породы. Для этого достаточно вспомнить только о той пользѣ, которую принесли Глупову сначала эмигранты французскіе и потомъ оборванные остатки de la grrrande armée, и о той, которую до нашихъ дней приносятъ французы-гувернеры, французы-куафёры, французы-камердинеры. Посмотрите, какія вдругъ чистенькія и бѣленькія дѣтки пошли у Матрены Ивановны взамѣнъ прежнихъ—чумазыхъ и слюнявыхъ. А отчего?.. Оттого, что въ домѣ ея французъ-гувернеръ поселился... Итакъ, не подлежитъ спору, что глуповцы дѣйствительно доступны совершенствованію и что запахъ ихъ посредствомъ постепенныхъ провѣтриваній можетъ быть измѣненъ до того, что не будетъ составлять даже отличительнаго признака... Слѣдовательно истинный, неподдѣльный air fixe можетъ свободно существовать и помимо запаха фіалки, смѣшаннаго съ запахомъ вареной капусты...

Но, можетъ-быть, онъ заключается въ какой-нибудь другой внѣшней особенности, какъ, напримѣръ, въ способности огрызаться, лягаться и т. д. Сознаюсь, что я дѣйствительно зналъ нѣкоего барбоса, который не только цѣлый день, но и цѣлую ночь лаялъ и огрызался, лаялъ на все и на всѣхъ, лаялъ на луну и на звѣзды, лаялъ на свой собственный хвостъ. Съ другой стороны, я зналъ нѣкото-

раго пѣгашку, который не могъ утерпѣть, чтобъ не брыкнуть, какъ только показывали ему хомутъ. Очевидно, въ этомъ заключался air fixe барбоски и пѣгашки. Но я не могу согласиться, чтобъ въ этомъ же заключался и air fixe моихъ сограждан, и даже съ негодованіемъ отвергаю это предположеніе. Я знаю навѣрное, что глуповецъ никогда и ни на кого не огрызался, что даже въ то время, когда его привязывали на цѣпь, онъ влѣзалъ въ конуру и спокойно зарывался себѣ въ солому, въ надеждѣ, что когда-нибудь да отвяжутъ же, а не отвяжутъ, такъ и на цѣпи накормятъ. Что же касается до ляганія, то очевидно, что, имѣя двѣ ноги, а не четыре, глуповецъ можетъ прибѣгать къ этому средству выраженія душевныхъ своихъ движеній лишь съ крайнею осторожностью. И въ самомъ дѣлѣ, исторія доказываетъ, что глуповецъ расточалъ пинки, сокрушалъ челюсти, превращалъ въ пепелъ зубы, но не лягался; что онъ обзывалъ непотребно, но не огрызался... «Такъ, стало-быть, въ этомъ-то и заключался глуповскій air fixe?» — спроситъ читатель. Нѣтъ, и не въ этомъ, потому что и эти качества, несмотря на свою солидность, тоже доступны совершенствованію, потому что не одно и то же—дать плюху смаху, и притомъ съ такимъ расчетомъ, чтобъ трескъ отъ удара разнесся изъ одного края Глупова въ другой, и дать плюху легкую, плюху либеральную, почти изящную, звуки которой не распространялись бы далѣе четырехъ стѣнъ комнаты. Можно даже до такой степени усовершенствовать себя, что и вовсе не давать плюхъ... и все-таки оставаться глуповцемъ... Ибо повторяю: сокрушеніе челюстей, какъ оно ни фундаментально кажется съ перваго взгляда, все-таки представляетъ только манеру и ни въ какомъ случаѣ не исчерпываетъ всего глуповца. Ибо глуповецъ не только дерется, но и мыслитъ...

Слѣдовательно, для опредѣленія глуповскаго air fixe, нужно обратиться къ даннымъ, не столь легко подчиняющимся внѣшнему натиску, къ даннымъ, составляющимъ, такъ сказать, подоплёку глуповской жизни,—однимъ словомъ, обратиться къ глуповскому міросозерцанію.

— Какого вы образа мыслей?—спросилъ я однажды добраго моего сосѣда, Флора Лаврентьича Ржанищева.

Флоръ Лаврентьичъ выпучилъ на меня глаза.

— То-есть, какъ это... образа мыслей? — пробормоталъ онъ, наконецъ, вмѣсто отвѣта.

— Ну, да, какого вы образа мыслей?—настаивалъ я.

Флоръ Лаврентьичъ съ минуту подумалъ, и вдругъ разразился самымъ добродушнымъ хохотомъ.

— Ахъ ты, проказникъ!—говорилъ онъ, держа себя за бока.

Онъ вообразилъ, что я сказалъ остроту.

Въ этомъ коротенькомъ разговорѣ, несмотря на кажущуюся его незначительность, заключается вся сущность глуповскаго міросозерцанія. Міросозерцаніе это состоитъ въ отсутствіи всякаго міросозерцанія. Нѣтъ мѣрила для оцѣнки явленій, нѣтъ мѣрила для распознанія не только добра отъ зла, но и стола отъ оврага. Въ глазахъ глуповца міръ представляется чѣмъ-то разрозненнымъ, расползшимся, чѣмъ-то въ родѣ мѣшка, въ который понапихали разнообразнѣйшей всячины и потомъ взболтали. Глуповецъ видитъ заборъ и думаетъ о заборѣ; видитъ рѣку и думаетъ о рѣкѣ, а о заборѣ забылъ. Это для него легко и удобно, потому что даетъ ему возможность цѣлую жизнь забавляться игрою въ бирюльки, вытаскивать которыя онъ великій мастеръ. Конкретность внѣшняго міра подавляетъ его, и оттого онъ не можетъ ни изобрѣсть порохъ, ни открыть Америку.

Нельзя себѣ представить ничего довольнѣе и любезнѣе глуповца, когда онъ сытъ, одѣтъ и пьянъ. Но зато нельзя себѣ представить ничего и несчастнѣе глуповца, когда онъ застигнутъ нуждою врасплохъ. Траву щипать онъ не можетъ, безъ водки обойтись—не хочетъ, безъ одежды ходить—холодно. Тогда-то, въ эти торжественныя минуты, является ему на помощь то скромное мужество, которое для многихъ послужило источникомъ обильныхъ глуповскихъ надеждъ и глуповскихъ рекламъ къ будущему. Мужество это заключается въ той покорности, съ которой онъ принимаетъ смерть, этотъ вѣнецъ глуповской жизни, этотъ роковой исходъ, къ которому прибѣгаетъ глуповецъ въ затруднительныхъ обстоятельствахъ (когда проиграетъ казенныя деньги или уволятъ его по третьему пункту). «Умру, но безпокоить себя не хочу!»

Спроси я у всякаго порядочнаго русскаго, спроси у француза, у итальянца, какого они образа мыслей, они не поглупѣютъ внезапно и повсемѣстно, они не захохочутъ. Кромѣ супа и макаронъ, ожидающихъ ихъ за обѣдомъ, у нихъ имѣются интересы общественные, затрогивающіе ихъ за́живо и окрашивающіе ихъ убѣжденія. Но глуповцы въ правѣ и хохотать, и глупѣть, потому что у нихъ дѣйствительно нѣтъ образа мыслей, потому что они не въ силахъ

до сихъ поръ столковаться даже насчетъ моста черезъ ручей «Дурій бродъ», который повалился назадъ тому десять лѣтъ и совершенно разобщилъ ядро города отъ его пригородковъ.

— Просто, братцы, бросовое дѣло!—говорятъ глуповцы, собравшись толпой около моста и махая руками.

— Дрянь дѣло, какъ есть! — подтверждаютъ другіе глуповцы.

— Вѣдь этакъ, пожалуй, въ пять верстъ объѣздъ надо дѣлать?—мотаютъ себѣ на усъ первые глуповцы.

— Да вѣдь и ручей-то какой: самый то-есть вниманія не стоящій ручеишко!—вступаются другіе глуповцы.

— Завалить бы его совсѣмъ!

— А и то завалить бы!

— А ну-ка, робята!

— А не то новый мостъ построить?

— Да такой еще, робята, мостище выстроимъ, чтобъ черезо всю, значитъ, линія прошла!

И потолковавши, расходятся по домамъ, какъ и въ тотъ достопамятный день, когда былъ крикъ и маханіе великое по поводу монумента Селезневу.

Мнѣ могутъ возразить, что ежели глуповцамъ нравится не имѣть никакого образа мыслей, то они имѣютъ полное право оставаться при своемъ убѣжденіи, и никому до этого дѣла нѣтъ. Чувствую всю справедливость этого возраженія, но согласиться съ нимъ не могу. Я патріотъ, и люблю Глуповъ не за стерлядей его, а за то, что на днѣ родной его рѣки спитъ, какъ мнѣ кажется, чудище рыба-китъ. Я патріотъ, и люблю Глуповъ не за безукоризненно здоровый его воздухъ, а за то, что въ этомъ здоровомъ воздухѣ носится словно мечта какая-то (по-глуповски, кисель), нѣчто какъ будто еще не опредѣлившееся, но уже предощущаемое и предосязаемое. Я патріотъ, и желалъ бы, чтобъ Глуповъ какъ можно скорѣй сказалъ свое слово, чтобъ онъ немедленно же изобрѣлъ порохъ и открылъ Америку. «Что-то скажетъ Глуповъ? Какого-то цвѣта порохъ онъ выдумаетъ?» твержу я и во снѣ, и наяву, и убѣжденъ, что всякій, кто хотя разъ въ жизни испыталъ приливъ патріотическихъ чувствъ и начитался притомъ на ночь исторіи Глупова, конечно, пойметъ тревогу, меня волнующую.

А поводовъ опасаться, и даже весьма серьезныхъ, предостаточно. Возьмемъ для примѣра хоть тотъ одинъ, что пріятели мои Прижимайловъ и Постукинъ совершенно искренно

исповѣдуютъ наивное убѣжденіе, что съ Глуповымъ, относительно міросозерцанія, безъ понудительныхъ мѣръ ничего не подѣлаешь. Въ соотвѣтствіе своимъ фамиліямъ, Прижимайловъ думаетъ, что Глуповъ поприжать надо, а Постукинъ мечтаетъ, что все пойдетъ хорошо, когда онъ достаточно настучитъ Глупову голову.

Но, говоря по совѣсти, я никакъ не могу согласиться съ мнѣніями этихъ достойныхъ преобразователей, хотя и отдаю должную справедливость ихъ добрымъ намѣреніямъ. Во-первыхъ, въ настоящую минуту, какъ ни жми, а изъ Глупова положительно ничего не выжмешь. А во-вторыхъ, я опасаюсь, чтобъ, при неумѣренномъ стучаніи въ головы глуповцевъ, какъ бы намъ съ вами, мсьё Постукинъ, совсѣмъ не застучать эти головы. Забить гвоздь въ стѣну легко, мсьё Постукинъ, но каково-то будетъ его потомъ вытаскивать? А можетъ-быть, вы думаете, что и вытаскивать совсѣмъ не надо? Однакожъ, что до меня, то я съ своей стороны видѣлъ въ жизни одинъ только примѣръ удачнаго стучанія въ голову, а именно: отставной подпоручикъ Живновскій, съ помощью этого процесса, выучилъ своего Прошку декламировать «Мистигриса» Беранже. Но и этотъ примѣръ не убѣдителенъ, ибо прошкоподобно декламировать «Мистигриса» глуповцы умѣютъ ужъ давно, а мнѣ хотѣлось бы, чтобъ они умѣли разсказывать эту милую пѣсенку своими словами, чтобъ они умѣли перелагать ее въ прозу и украшать различными фестончиками своего собственнаго изобрѣтенія. Для этого, по мнѣнію моему, необходимо, чтобъ головы ихъ были свободны отъ всякаго внѣшняго подавленія и постукиванія. Вы скажете, что изъ головъ этихъ ничего, кромѣ монстра, не выйдетъ— согласенъ. На первый разъ дѣйствительно выйдетъ монстръ, какая-то смѣсь изъ письма сидѣльца къ роднымъ и счета мелочной лавочки, но по времени, и именно по мѣрѣ постепеннаго ослабленія пожиманія и постукиванія, монстръ будетъ видоизмѣняться къ лучшему и къ лучшему, покуда, наконецъ, и впрямь заговорятъ глуповцы своими словами. Тогда вы и сами, messieurs, увидите, что̀ за милыя дѣти эти глуповцы, какъ они скромно себя держатъ и какъ понятливо излагаютъ трогательную исторію о Мистигрисѣ. И вы дадите себѣ слово навсегда оставить скверную привычку жать и стучать.

Я не говорилъ бы такъ пространно о моихъ опасеніяхъ, если бы не вынуждали меня къ тому сами глуповцы.

Страннѣе всего, что они сами непритворно убѣждены, что относительно ихъ безъ постукиванія и пожиманія никакъ-таки обойтись невозможно. Мало того, что они убѣждены въ этомъ—они чувствуютъ страсть, они дурѣютъ отъ любви къ тому, кто стучитъ имъ въ головы; они скучны, они унылы, если стучаніе почему-либо временно прекращается. Я увѣренъ, однакожъ, что это не больше, какъ недоразумѣніе. Вы заблуждаетесь, достойные мои сограждане, и заблуждаетесь оттого, что никто еще не пробовалъ употребить относительно васъ систему поглаживанія по головкѣ, никто еще не пытался позволять вамъ, въ награду за хорошее поведеніе, погулять послѣ обѣда и дѣйствовать на васъ посредствомъ лакомствъ. Поймите, что отъ васъ совсѣмъ даже не такъ много требуется, какъ вы думаете; что никто не ожидаетъ, чтобъ вы непремѣнно, не сходя съ мѣста, сдѣлались умновцами, немедленно сказали новое слово и изобрѣли порохъ! Отъ васъ требуется только, чтобъ вы оказали охоту и прилежаніе—и ничего больше! Порохъ и Америка придутъ впослѣдствіи: они придутъ тогда, когда вы вытвердите азбуку, и когда при этомъ не будетъ ни пожиманій, ни постукиванія.

Но возобновимъ слишкомъ давно прерванную нить размышленій нашихъ.

Итакъ, мы сказали, что истинный глуповскій air fixe заключается въ глуповскомъ міросозерцаніи, а истинное глуповское міросозерцаніе состоитъ въ отсутствіи какого бы то ни было міросозерцанія. Мы показали это наглядно, обозрѣвъ нашъ родной городъ, такъ сказать, à vol d'oiseau и не вдаваясь въ историческія изысканія, такъ какъ эта послѣдняя задача еще до насъ весьма удовлетворительно исполнена М. П. Погодинымъ. (Здѣсь, мимоходомъ, возникаетъ весьма важный вопросъ: труды ли Михаила Петровича сдѣлали то, что Глуповъ кажется Глуповымъ, или Глуповъ сдѣлалъ то, что труды Михаила Петровича кажутся глуповскими? Петръ Великій создалъ Россію, или Россія создала Петра Великаго?) Но, съ другой стороны, намъ могутъ замѣтить, что отсутствіе міросозерцанія есть такая же нелѣпость, какъ отсутствіе масла въ кашѣ, какъ отсутствіе дегтя въ колесахъ мужицкой телѣги. Подобно тому, какъ каша безъ масла обдираетъ горло вкушающаго, скажетъ мой возражатель, такъ и жизнь безъ міросозерцанія должна всечасно обдирать мозги глуповцевъ, что̀, очевидно, невозможно, если принять въ соображеніе продолжитель-

ность средняго термина глуповской жизни (отъ ста до ста-двадцати лѣтъ; но воро̀ны глуповскія живутъ и долѣе).

Мнѣ самому неоднократно приходило на мысль это возраженіе, и я всякій разъ долженъ былъ внутренно соглашаться, что оно справедливо. Въ самомъ дѣлѣ, какъ-таки прожить жизнь безъ міросозерцанія не только цѣлому и въ своемъ родѣ знаменитому городу, но даже и отдѣльному человѣку? Вѣдь такимъ образомъ на каждомъ шагу будешь стукаться лбомъ объ стѣну, будешь попадать ногами въ лужу и дойдешь, наконецъ, до такой неопрятности, которая не только въ Глуповѣ, но и въ домѣ умалишенныхъ терпима быть не можетъ. Я думаю, самъ Михаилъ Петровичъ долженъ былъ чувствовать это, стукаясь то объ Ярослава, то о Мстислава, то объ Ивана Берладника, и не нащупывая изъ нихъ ни котораго.

Итакъ, я обязанъ сознаться, что міросозерцаніе есть, но міросозерцаніе, пришедшее извнѣ (какъ извнѣ же приходятъ градъ и повѣтрія разныя) и управляющее Глуповымъ наравнѣ съ прочими городами и весями. Это не то тонкое, доступное лишь внутреннему постиженію міросозерцаніе, которое даетъ себя чувствовать какъ продуктъ цѣлаго строя жизни, но міросозерцаніе внѣшнее, міросозерцаніе, которое можно ощущать, которое можно облобызать, но на которое можно и наплевать; однимъ словомъ—міросозерцаніе въ родѣ знаменитыхъ правилъ: «цвѣтовъ не рвать, травы не мять, птицъ и рыбъ не пугать».

Выучивши наизусть эти правила, можно жить легко и пріятно. Сто̀итъ только смирно гулять по дорожкѣ, и если обладаешь какой-нибудь гнусной привычкой, какъ, напримѣръ, кряхтишь во всю мочь или откашливаешься (это пугаетъ рыбъ), или ногами дрыгаешь (это наноситъ вредъ прозябанію травъ), то можно и совсѣмъ въ садъ не ходить.

Въ доказательство, что все это нисколько не затруднительно, и что человѣкъ, руководимый этими правилами, легко можетъ остаться живъ, Флоръ Лаврентьичъ Ржанищевъ доставилъ мнѣ выдержки изъ своего журнала, въ которомъ онъ изо дня въ день описывалъ всѣ законныя и непротивныя правиламъ глуповскаго міросозерцанія дѣянія свои.

Не могу не подѣлиться съ читателями нѣкоторыми изъ этихъ выдержекъ.

«2 ноября (1858 г.). Каждую ночь посѣщаютъ меня видѣнія, а днемъ мучусь предчувствіями. Ѣздилъ къ Ивану

Ѳомичу побесѣдовать о пустоши, называемой «Дунькино болото», и побранился. Вечеромъ виденъ былъ огненный столпъ на небѣ.

«*9 ноября.* По обыкновенію, всталъ, умылся и помолился Богу. Утромъ выбирали съ Настасьей Петровной новаго форрейтора, вмѣсто Андрюшки, который отъ старости сталъ сѣдъ и выросъ безобразно. Однако, за душевной смутой, ни на комъ остановиться не могъ. Чортъ ихъ знаетъ, а въ ихнемъ званіи и законы природы какъ будто власти не имѣютъ. Вотъ Андрюшкѣ давно бы ужъ пора перестать расти, а онъ растетъ себѣ да растетъ, какъ ни въ чемъ не бывало. А говорятъ еще, что мало кормимъ! Во снѣ видѣлъ птицу.

«*11 ноября.* Пріѣзжалъ англичанинъ съ фабрики; спрашивалъ, не соглашусь ли отпустить въ работу дѣвокъ, и цѣну за сіе давалъ изрядную. Рѣшились выбрать до десяти наилучшихъ. Настасья Петровна, которая за всѣ эти дни замѣтно дулась, послѣ сего повеселѣла и заявила надежду, что у нея будетъ новая шляпа. Володинъ французъ поздравилъ меня съ выгодною сдѣлкой, на что я ему отвѣтилъ, что это совсѣмъ не сдѣлка, а просто доброе дѣло. Но французъ, не будучи достаточно знакомъ съ особенностями національнаго духа (каждая нація имѣетъ свой духъ — это вѣрно!), пожалъ лишь плечами. Володя расшалился и почти каждую минуту повторялъ: «на фаблику! на фаблику!»

«*15 ноября.* По случаю разнесшихся слуховъ, размышлялъ о томъ, прилично ли было бы, если бы деревья и злаки одѣвались не зеленымъ, а краснымъ цвѣтомъ? Во снѣ опять видѣлъ птицу.

«*20 ноября.* Все сіе совершилось.

«*22 ноября.* Былъ на гумнѣ... совсѣмъ не такъ молотятъ! Однако рѣшился переносить съ кротостью. Сбирали дворовыхъ мальчишекъ для выбора форрейтора, но рѣшили, что мысль эту надобно оставить. На что храбра Настасья Петровна, но и та, взглянувъ на сіе сборище, воскликнула: «ахъ, другъ мой! если ты хочешь, чтобъ я была покойна, не ввѣряй мою жизнь этимъ разбойникамъ!»

«*29 ноября.* Читалъ книгу, называемую «Русскій Вѣстникъ», отъ которой будто бы *все* произошло. Въ составленіи книги большое участіе принялъ Василій Александровичъ Кокоревъ, нашего уѣзда откупщикъ. Подписка принимается въ Москвѣ, въ Армянскомъ переулкѣ.

«*25 декабря.* Ѣздили въ храмъ Божій къ обѣднѣ, но не шестерней, а четверикомъ, и парадныхъ ливрей на лакеяхъ

не было (нынѣ, сказываютъ, ихъ не лакеями, а служителями называть велѣно). Послѣ обѣдни, сверхъ чаянія, пришли люди поздравить съ праздникомъ. Настасья Петровна замѣтила въ ихъ лицахъ иронію; я же хотя и желалъ сказать имъ: «а что, братцы, скоро ли господами будете?» однако воздержался. За обѣдомъ, по древнему обычаю, подавали буженину, натертую чеснокомъ. Такъ какъ въ сей день каждый глуповскій помѣщикъ непремѣнно ѣстъ буженину, то я полагаю, что въ обычаѣ семъ есть нѣчто масонское. На сей разъ буженина была отмѣнная, и по этой причинѣ я имѣлъ, послѣ обѣда, гастрическое сновидѣніе.

«*1 января.* Домъ нашъ, въ отношеніи тишины, уподобился горѣ Аѳонской. Никакихъ мыслей, кромѣ *тѣхъ препротивныхъ*, въ голову не приходитъ, но и сихъ не можемъ свободно другъ другу сообщать, ибо безпрестанно люди шныряютъ и вслушиваются, а выгнать ихъ не имѣемъ духа. Вслѣдствіе сего принужденнаго состоянія душевнаго произошла скука, а вслѣдствіе скуки произошло то, что Настасья Петровна великое пристрастіе къ Володину французу получила. Сегодня, отходя ко сну, внушалъ ей, что французъ этотъ, быть-можетъ, въ отечествѣ своемъ служительскую должность исправлялъ; но она въ отвѣтъ лишь смѣялась и въ досаду мнѣ повторяла, что зубы у него отмѣнно бѣлые»... И т. д., и т. д.

Прочитавши дневникъ этотъ, конечно, не удивишься ни смѣлости мыслей, ни глубинѣ соображеній, но все-таки подумаешь-подумаешь, да и скажешь: «ничего, жить можно!»

Итакъ, мы добились-таки того, что можемъ съ спокойною совѣстью воскликнуть: вотъ истинное глуповское міросозерцаніе! вотъ неподдѣльный глуповскій air fixe! Посмотримъ теперь, права ли была Матрена Ивановна, поднюхавшая этотъ air fixe и у новыхъ «хорошихъ» людей, которые засѣли въ Глуповѣ по поводу возрожденія.

По моему мнѣнію, вопросъ въ этомъ случаѣ можетъ быть поставленъ слѣдующимъ образомъ: есть ли въ новоглуповцахъ что-нибудь свое, ими самими выработанное, или же они продолжаютъ пробавляться тѣмъ самымъ міросозерцаніемъ, которое и до нихъ царило надъ Глуповымъ? Вносятъ ли они, кромѣ новыхъ фраковъ и жилетовъ, кромѣ новыхъ граціозныхъ манеръ, какой-нибудь новый нравственный элементъ въ глуповскую жизнь, или же продолжаютъ представлять собой неизмѣнно вѣрныхъ отеческимъ преданіямъ сыновъ Глупова?...

Вѣря въ проницательность Матрены Ивановны, я заранѣе убѣжденъ, что рѣшеніе этихъ вопросовъ несомнѣнно должно состояться въ ея пользу; но такъ какъ я, вмѣстѣ съ тѣмъ, обязанъ убѣдить въ томъ же и читателя, который легко можетъ быть подкупленъ красивою внѣшностью обязательныхъ поборниковъ новоглуповскаго возрожденія, то, дѣлать нечего, будемъ сравнивать и разсуждать.

Мнѣ говорятъ, что нынѣшній «хорошій» человѣкъ ищетъ просвѣтить свой умъ познаніями, что онъ любознателенъ и уже не признаетъ безусловной вѣрности аксіомы, въ силу которой жизнь являлась лишь рядомъ физическихъ упражненій... И въ доказательство, что это справедливо, мнѣ приводятъ въ примѣръ мною же подмѣченную фразу: «а вы читали, mon cher, политическое обозрѣніе?.. charmant!»

Фраза дѣйствительно не дурна, но—увы!—подобныхъ ей я могу выбрать достаточно и изъ исторіи физическихъ упражненій прежняго «хорошаго» человѣка, ибо и онъ въ свое время говаривалъ: «а какую мнѣ нынче канарейку изъ деревни привезли... Персикъ!»

Конечно, внѣшнее содержаніе обѣихъ фразъ совершенно различно; конечно, одна изъ нихъ трактуетъ о политическомъ обозрѣніи, а другая о канарейкахъ; но этимъ только и ограничивается различіе... Все остальное, и притомъ самое важное, а именно внутреннее настроеніе говорящихъ и отношеніе ихъ къ предметамъ, о которыхъ они говорятъ, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ совершенно тождественны. И старый глуповецъ, и новый глуповецъ равно не имѣютъ намѣренія выразить что-либо особенное; и тотъ, и другой горятъ лишь нетерпѣніемъ набить чѣмъ бы то ни было два-три досужихъ часа, которые, по заведенному обычаю, принято посвящать діалогамъ... Въ сущности, обѣ фразы имѣютъ лишь смыслъ междометій, произносимыхъ оконечностями языка, безъ всякаго участія мыслящей силы.

Но выборъ предмета, скажутъ мнѣ; но почему же разговоръ не вертится, попрежнему, на канарейкахъ, а постепенно вторгается въ область интересовъ, сфера которыхъ уже значительно выше той, гдѣ самое видное мѣсто занимали запросы желудка и похоти? Отвѣтъ на это весьма простъ: всякому возрасту, равно какъ и всякому времени, приличествуетъ свой особенный разговоръ. И древніе глуповцы никогда не дозволяли себѣ говорить зимою: «ахъ, какъ жарко сегодня! мы цѣлый день на погребѣ просидѣли!»—но говорили: «ну, ужъ и морозище нынче завер-

нулъ! только и спасаемся, что на печку грѣться лазимъ!» Подобно сему, и новые глуповцы, сообразивъ, что статья о канарейкахъ ужъ поистерлась, нашли необходимымъ замѣнить ее другою. Но какой именно будетъ сюжетъ этой другой статьи, но почему этимъ сюжетомъ будетъ именно рыбный обѣдъ англійскаго министерства, а не свѣтопреставленіе—это устраивается независимо отъ воли глуповцевъ, это предопредѣляется отчасти слухами, долетающими изъ Умнова, отчасти присылаемыми оттуда же новѣйшими діалогами.

Повторяю: въ такомъ спорномъ дѣлѣ прежде всего необходимо разъяснить отношеніе говорящаго къ фразѣ. Разрѣшите мнѣ, напримѣръ, почему глуповцы такъ словообильно распространяются о рыбномъ обѣдѣ и такъ скупы на размышленія о своихъ собственныхъ дѣлахъ? И какое отношеніе можетъ имѣть къ его жизни эта историческая странность, утратившая смыслъ даже въ мѣстѣ своего рожденія? Очевидно, что никакого; и я убѣжденъ, что глуповцы, болтая объ этомъ обѣдѣ, должны ощущать ту самую головную боль, которую ощущаютъ, по словамъ лондонскаго корреспондента «Русскаго Вѣстника», и англійскіе министры, объѣвшись вкусныхъ маленькихъ рыбокъ, составляющихъ существенную принадлежность обѣда.

Но, можетъ-быть, имѣются какія-нибудь особенныя и весьма секретныя причины тому, что глуповцы такъ охотно бесѣдуютъ о чужихъ дѣлахъ и такъ упорно умалчиваютъ о своихъ собственныхъ? Согласенъ: можетъ-быть, и существуютъ такія причины; но согласитесь же и вы со мной, что покуда онѣ существуютъ, покуда слово будетъ представляться чѣмъ-то оторваннымъ отъ жизни, чѣмъ-то существующимъ по себѣ и для себя, до тѣхъ поръ не можетъ быть и рѣчи о какихъ-либо новыхъ основахъ для жизни, до тѣхъ поръ глуповцы останутся глуповцами. Скажу болѣе: ихъ ожидаетъ на этомъ поприщѣ новая и весьма существенная опасность, ибо, будучи поставлены, такъ сказать, въ постоянное отлученіе отъ своей собственной жизни, глуповцы могутъ увлечься, могутъ принять средства за цѣль, полезную подготовку къ дѣлу за самое дѣло, и окончательно погрязнуть въ безднѣ рыбныхъ обѣдовъ... И тогда произойдетъ нѣчто странное: то, что̀ въ сущности составляетъ лишь негнусное препровожденіе времени, мало-помалу до того вѣстся въ глуповскіе нравы, что глуповцы сочтутъ себя вполнѣ удовлетворенными и получатъ сладкое

убѣжденіе, что для нихъ дѣйствительно не можетъ быть болѣе пріятнаго занятія, какъ облизываться, внимая разсказамъ о рыбныхъ обѣдахъ.

Матрена Ивановна очень хорошо постигла пустопорожній характеръ этихъ бесѣдъ глуповскихъ.

— Пущай побалуютъ, — призналась она мнѣ однажды, въ минуту откровенности:—это, батюшка, еще лучше, потому что мысли у нихъ разбиваетъ! Они, сударь, и не вѣсть бы чего начудесили, кабы все молча да насупившись сидѣли; а теперь вотъ сойдутся да набрехаются досыта... анъ сердце-то у нихъ и отойдетъ!

И вотъ отчего Матрена Ивановна не только не боится новоглуповцевъ, но даже считаетъ ихъ замѣсто своихъ дѣтей...

Указываютъ еще на общественную дѣятельность новоглуповца и отыскиваютъ въ ней признаки несомнѣнной гражданской доблести. Разсказываютъ, напримѣръ, что тогда-то такой-то неподкупный блюститель глуповскаго возрожденія въ-три-шеи выгналъ отъ себя Терентья Силыча, явившагося на поклонъ съ кулечкомъ... Приводятъ фактъ и еще поразительнѣйшій: Сила Терентьичъ, думая расположить въ свою пользу другого такого же блюстителя, позвалъ его къ себѣ на обѣдъ; но блюститель не только не тронулся этимъ, но даже всенародно и въ собственномъ Силы Терентьича домѣ невѣжничалъ и паскудничалъ надъ нимъ самымъ постыднымъ образомъ, и, возвратившись домой, тотчасъ же распорядился лишить этого обывателя всѣхъ правъ состоянія.

Дѣйствительно, перелистывая древнюю исторію Глупова, я не нахожу въ ней примѣровъ столь доблестныхъ. Древній глуповскій magistrat былъ простъ на этотъ счетъ: онъ любилъ, чтобъ къ нему ходили съ кулечками, и не скрывалъ этого. Если случалось, что онъ и безъ того сытъ по горло, то и тогда онъ не гналъ просителя въ-три-шеи, но кротко говорилъ ему: «отдай, братъ, это ребяткамъ: я сытъ!..» Отъ обѣдовъ же рѣшительно никогда не отказывался и, принимая хлѣбъ-соль Силы Терентьича, ѣлъ истово, ногъ на столъ не клалъ, Божьяго дара подъ столъ не кидалъ, банта всенародно не разстегивалъ и хозяйскую бороду мочалкой не обзывалъ.

Сравнивая эти двѣ формы общественной дѣятельности, я ни на минуту не могъ колебаться насчетъ того, которой изъ нихъ отдать преимущество. Конечно, древній глуповецъ былъ отвратителенъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ и милъ... Онъ представлялся милымъ уже потому, что былъ

не ужасно, а смѣшно отвратителенъ. Онъ весь былъ нелѣпость, а потому и оцѣнка его дѣятельности могла быть только нелѣпая. Человѣкъ, доведенный до необходимости вступить въ сношенія съ нимъ, имѣлъ полное право воскликнуть: «ахъ, да какая же ты славная бестія!» но не имѣлъ права считать свою руку оскверненною прикосновеніемъ его руки. Новый глуповецъ продолжаетъ быть отвратительнымъ и въ то же время утратилъ способность быть милымъ. Его прикосновеніе положительно оскверняетъ.

Но, переходя отъ формъ дѣятельности къ самому содержанію ея, я колеблюсь еще менѣе. Содержаніе это до такой степени тождественно, что невозможно безъ смѣха даже подумать объ этомъ. И въ томъ, и въ другомъ случаѣ пространно и размашисто развивается все та же знаменитая глуповская пословица: «кого люблю, того и бью»; и въ томъ, и въ другомъ случаѣ мотивы и побужденія дѣятельности нераздѣльно слиты съ общимъ строемъ глуповскаго міросозерцанія.

Попрежнему, глуповцы оказываются бѣдными иниціативой, шаткими и зависимыми въ убѣжденіяхъ; попрежнему гибко и недерзновенно пригибаются они то въ ту, то въ другую сторону, безпрекословно слѣдуя направленію ледовитыхъ вѣтровъ, цѣпенящихъ родную ихъ равнину изъ одного края въ другой.

Попрежнему, они наивно открываютъ рты при всякомъ вопросѣ, выработанномъ жизнью, и не могутъ дать никакого разрѣшенія, кромѣ тупого и безплоднаго гнета, не могутъ дать никакого отвѣта, не справившись напередъ въ многотомномъ и, къ сожалѣнію, еще не съѣденномъ архивѣ канцелярской рутинной мудрости. Скажу болѣе: въ прежнія времена глуповская необузданность смягчалась подкупностью и другими качествами, гнусность которыхъ хотя и не подлежитъ спору, но которыя въ свое время все-таки оказывали не малую практическую пользу; а нынче и это послѣднее убѣжище глуповскихъ вольностей рухнуло, благодаря каплуньему высокомѣрію и каплуньимъ операціямъ in anima vili, производимымъ ревнителями глуповскаго возрожденія.

Новоглуповецъ откровенно и даже залихватски кладетъ ноги на столъ; но спросите его, что онъ желаетъ выразить этимъ дѣйствіемъ, чего онъ требуетъ, чего онъ ждетъ отъ Глупова—онъ станетъ втупикъ. Темное ярмо тяготѣетъ не только надъ дѣйствіями его, но и надъ помыслами. Да, и надъ помыслами, потому что онъ до такой степени усо-

вершенствовалъ себя, что нашелъ средство поработить не только тѣло, но и свободную душу.

Въ сущности, и старый, и новый глуповецъ руководятся однимъ и тѣмъ же правиломъ: «травы не мять, цвѣтовъ не рвать и птицъ не пугать». Но на практикѣ, но въ способахъ проведенія этого правила въ жизни, между ними замѣчается ощутительная разница. Старый глуповецъ видѣлъ эти слова написанными на доскѣ, и выполнялъ ихъ не разсуждая. Новый глуповецъ не только выполняетъ, но и резонируетъ, не только резонируетъ, но и любуется самимъ собою. Онъ возводитъ исполненіе правила въ принципъ, и въ этомъ принципѣ находитъ достаточно содержанія для наполненія всей своей жизни. И горе тому, кто затронетъ новоглуповца въ этомъ послѣднемъ убѣжищѣ; горе тому, кто отнесется легко къ этой послѣдней святынѣ его сердца: онъ въ одну минуту налаетъ столько, сколько не успѣли налаять его достославные предки въ продолженіе многихъ столѣтій; онъ загрызетъ, онъ докажетъ цѣлому міру, что и въ Глуповѣ могутъ зарождаться своего рода Робеспьеры, что и глуповская почва способна производить сорванцовъ исполнительности.

Глуповское міросозерцаніе, глуповская закваска жизни находятся въ агоніи—это несомнѣнно. Но агонія всегда сопровождается предсмертными корчами, въ которыхъ заключена страшная конвульсивная сила. Представителями этой силы, этихъ ужасныхъ попытокъ древле-глуповскаго міросозерцанія удержаться на старой почвѣ, служатъ новоглуповцы. Въ лицѣ ихъ оно празднуетъ свою послѣднюю, безсмысленную вакханалію; въ лицѣ ихъ оно исчерпываетъ послѣднее свое содержаніе; въ лицѣ ихъ оно торжественно и окончательно заявляетъ міру о своей несостоятельности...

Итакъ, Матрёна Ивановна права: стэринный глуповскій air fixe, усовершенствованный и усиленный, цѣликомъ переселился въ новоглуповцевъ. Но она не права въ другомъ отношеніи: она думаетъ и надѣется, что глуповцамъ не будетъ конца, что за новоглуповцами послѣдуютъ новѣйшіе глуповцы, а за новѣйшими—самоновѣйшіе, и такъ далѣе, до скончанія вѣковъ.

Этого не будетъ.

Въ этомъ отношеніи я даже чувствую нѣкоторую симпатію къ новоглуповцу. Онъ милъ мнѣ потому, что онъ—послѣдній изъ глуповцевъ.

Оглавленіе

II ТОМА.

стр.

Помпадуры и помпадурши.

Отъ автора 5
I. «Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою!» 7
II. Старый котъ на покоѣ 23
III. Старая помпадурша 40
IV. «Здравствуй, милая, хорошая моя!» 61
V. «На зарѣ ты ее не буди» 77
VI. «Она еще едва умѣетъ лепетать» 107
VII. Сомнѣвающійся 128
VIII. Онъ!! 148
IX. Помпадуръ борьбы или проказы будущаго 174
X. Зиждитель. 211
XI. Единственный. Утопія 234
XII. Мнѣнія знатныхъ иностранцевъ о помпадурахъ . . . 253

Сатиры въ прозѣ.

Къ читателю 283
I. Госпожа Падейкова 324
II. Недавнія комедіи:
I. Соглашеніе 341
II. Погоня за счастьемъ 360
III. Недовольные 375
IV. Скрежетъ зубовный 381
V. Нашъ губернскій день 412
VI. Литераторы—обыватели 448
VII. Клевета 487
VIII. Наши глуповскія дѣла 506

Stanford University Libraries
3 6105 013 383 364

Stanford University Library
Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.